КОНСТАНТИН ГЕРДОВ

ИЗ АРКТИКИ, ИЗ МАТЕРИНСКОГО ЛОНА, ИЗ МИРОТВОРНОЙ БЕЗДНЫ

Роман. Эссеистика



Сухум, Абхазгосиздат, 2007 г.

ББК 84 (5 Абх) 6-46
Г 37

Эта книга – пятая по счету – из состава скорби, из состава живых и мертвых дней, из состава Гагринской Климатической станции, из состава болот Собачьего хутора, из состава гротов, из состава Баффиновой земли, из состава ледника Росса, из состава НКВД тридцатых годов – убийц, из состава кашалотов и тиранозавров, из состава болгар, абхазов, греков, персов, русских, турков, армян, грузин; сербов – мною особо любимых.

Книга – про магию расставания.

"И зеленые клены,
колокольные звоны,
и Шекспир, и Овидий, –

для того, кто их слышит,
для того, кто их видит.

От того все на свете
И грустит о поэте."

предсмертное стихотворение Николая Гумилева, убитого в подвалах ВЧК в 1921 году, в Кронштадте.

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Лакербай. О мире потерянном и возвращенном.

Эссе

I. Из книги: "Из гагринского послевоенного гетто" 14

Хребет 15

1. Девочка в синей косынке 21
2. Жемчуг 26
3. Зеленоватая мгла из фосфора 30
4. Убиение саранчи 35
5. На склоне жилища 37
6. Красная крыша предместий 39
7. Суук-су – жажда рта 55
8. Король на проржавевших утесах 60
9. На срубах золотистых сосен 67
10. Из цвета Франции 72
11. Горностаев профиль. История шампанских вин в Крыму 88
12. Заглавный мрамор 98

II. Из книги: **"Встречи с Евгением Евтушенко"** ... 108

IV. ИЗ АРКТИКИ, ИЗ МАТЕРИНСКОГО ЛОНА, ИЗ МИРОТВОРНОЙ БЕЗДНЫ.

Роман.

I. Солнечное безмолвие. Река Яна. Хребет Черского. Якутия. Письма из чистого времени 121

2. Этос смертии фалки 199

3. Украина, Инзовка. Болгарские села. Начало тридцатых годов двадцатого века. Голод. Спастись от голода в Очамчирах, но умереть от малярии. Семья Буюк-оглы. Маня Ахуба. Собирать детям щепки на берегах морей... Этнография парализованной земли. 254

4. От тяжелейшего плуга. Пастух Алхан. Жизнь на болотах. От вывороченных легких... Исчезновение персов, греков, турков от конца

тридцатых годов в Абхазии, в Крыму. Сок вампира. От белеющего финка. ГрекКоча..... 299

5. Вечное материнское бытие..... 339
6. Спрут снегов и лампад..... 381
7. В утешенье живущим /продавленный обелиск/. 415

IV. Евгений Евтушенко , Юрий Казаков, Михаил Капустин, Фазиль Искандер, Василий Аксенов, Чингиз Гусейнов, Валентин Катаев о прозе К. Гердова. Лиана Панцулая "На границах структур''..... 465
Модель для мира (Д.Лакербай)..... 479

Приложение
Из книги "Древние игры'':..... 481
Время..... 482
Стережет бедуин..... 491
Под шелестящую древность..... 493
Скелеты всех деревьев..... 501

Все в Абхазии, кто имеет удовольствие лично знать русского писателя, живущего в Гаграх, Константина Гердова, прекрасно осведомлены о том, что его своеобразный стиль письма не подлежит корректировке. Поэтому когда он высказал пожелание профигурировать у нас в газете под рубрикой "Абхазия в лицах'', то оговорил это условием, что написанный им самим текст будет опубликован полностью и без редакторской правки. Мы согласились.

Я, Константин Николаевич Соловьев /Гердов – девичья болгарская фамилия моей матери/ родился 16 февраля 1941 года в г. Гаграх. В 1958 году закончил гагрскую среднюю школу № 2. После школы работал по комсомольской путевке на строительстве ДжирхваГЭС на Бзыби; в типографии – наборщиком, нормировщиком, корректором. В 1960 году поступил в Московский государственный библиотечный институт, впоследствии переименованный в Институт культуры. По специальности – библиотечный работник. Но библиотекарем не стал. Позвала муза дальних странствий, муза моей всегдашней влюбленности в Арктику. В составе геологических, геодезических, геофизических экспедиций в течение тридцати лет мотался по айсбергам, по тундре, по тайге, по пескам, по пустыням Средней Азии, Казахстана, среди белых и бурых медведей, среди волков, среди берегов Северного Ледовитого океана, среди самой северной точки материковой части СССР – Таймыра, среди овцебыков, завезенных на наш Крайний Север из Канады.

Эти странствия – мое главное занятие на Земле.

Между экспедициями писал книги. Вышло пять книг прозы. Любил всегда только ньювангард в письме. Не любил писать общенакатанную фразу, которой грешат девяносто пять процентов членов Союза писателей. И поэтому эти писатели не останутся. Останется только тот, кто реформатор, революционер письма. А на это нужно огромное мужество.

Почетный член Русского Пен-центра Всемирной Ассоциации писателей, член Союза писателей Абхазии, России, Украины, Москвы

Знак Зодиака *– Водолей*

Любимый город *– Северный Ледовитый океан.*

Вероисповедание *– православный христианин. Люблю язычество. Поклонение звездам, небу, Луне. Поклонение священным рощам, друидам, пифиям, авгурам, священным животным, священным птицам.*

Партийность *– беспартийный*

Кем хотел стать в детстве *– капитаном Немо, таинственным островом.*

Какими языками владеете *– русским, эсперанто, змеиным, ядовито-благожелательным, языком корщуна, языком алыпийского тура, языком фантасмагории, языком кита, языком динозавра, ихтиозавра. "Ласкались к нам ихтиозавры".*

Любимый писатель, поэт *– мировая философская лирика скорби, русская пейзажная лирика, Гамсун, Стендаль, Томас Манн, Кант, Гегель, Пшибышевский, Воронский, Юлий Айхенвальд, Аристотель, Бергсон, Беркли, Некрасов, Тютчев, Рильке. В 1963 году – встреча с писателем Борисом Балтером, с лучшим из людей, с кем я встретился на земле, автором знаменитой повести "До свидания, мальчики!'' В 1969 году меня открыл Евгений Евтушенко за книгу "Древние игры'', до сих пор неизданную, зашифрованную в другое, чем принято видение времени, предметов, пространств. Попытка зафиксировать подсознание, плывущее кораблем из бездны. Поэзия декаданса, Шарль Бодлер, Бальмонт.*

Любимое блюдо *– жареные кишки медведя белого и бурого. Жареные кишки кашалота,жареные кишки тиранозавра, сатрапа.*

Любимый алкогольный напиток *– дагестанский зеленый коньяк.*

Любимый певец, певица *– Федор Шаляпин, Изабелла Юрьева, Вадим Козин, Иван Козловский, Энрико Карузо, Марио Ланца.*

Какбы вы потратили миллион долларов *– продлил бы жизнь близких людей. Встретился бы с мамой, Борисом Балтером, Гоголем, Фрейдом, Геродотом. Вместе с великим русским путешественником Федором Конюховым спустился бы в Маракотову бездну в Тихом океане.*

Любимая книга *– "Божественная комедия'' Дантэ. В молодости меня открыл Марсель Пруст – "В поисках за утраченным временем''* (в переводе Франковского и Федорова., М. – Л., "Академия'', *1937 год.) Вскрыл мою грудную клетку для инобытия*

Любимый актер, актриса *– Жерар Филипп, Жан Габен, Радж Капур, Николай Черкасов, Борис Андреев, Клауди Кардинале.*

Кем вы видите себя через десять лет *– в составе геологических экспедиций в Арктике, застыть во льдах как мамонт, чтобы не гнить. Поэтому мой любимый фильм "Красная палатка" Михаил Калатозова. О поиске великим полярным исследователем Арктики Руалем Амундсеном пропавшей в Арктике экспедиции генерала У. Нобиле в 1928 году. В этом же поиске Амундсен и погиб.*

Любимый цвет *– фиолетовый, цвет глициний, фиалок.*

Ваша отличительная черта *– спать в пещерах, в горах.*

Что вы относите к своим достоинствам *– любить собак, кошек, никогда не поднимать на них руку. Кормить бездомных.*

Какие недостатки вам хотелось бы преодолеть в себе *– не бояться втянуть себя в двенадцатибальный шторм. Выдержать эту огромную массу воды и времени, которая состоит из волн моря, из звезд. И пронырнуть сквозь эту массу. Протаранить, просквозить цунами, пробить.*

Самая выдающаяся историческая личн*ость – Иисус Христос, Зигмунд Фрейд – в попытке спасти человека от подлости.*

2006 г

«..Прекрасного советского фильма с Евгением Евстигнеевым «Зимний вечер в Гаграх». Недавно, в один из посленовогодних вечеров, мы гуляли по берегу моря в Гагре с живущим здесь самобытным русским писателем Константином Гердовым, и как обычно, спорили с ним о судьбах мировой литературы. В частности Константин каждый раз поправлял меня, когда я говорил «Гагра»; для него приемлемо только – «Гагры».

« – Потому что именно Гагры продлились от Принца Ольденбургского, основателя Гагринской Климатичекой станции от тысяча девятьсот первого года, куда в это же время, куда еще от тысяча восемьсот девяностого года приехал кровельщик-маляр мой дед Соловьев Григорий Максимович»... Гагра – это другая транскрипция. Именно – «Гагры» аборигенно, первоначально", – говорит Гердов. – Я же отвечал что «Гагры» давным-давно переменованы в «Гагру», но если он добьется через Парлмаент Абхазии обратного переименования, я буду говорить так, как ему роднее, ближе. А в какой-то момент, внезапно остановившись, я напомнил ему нашумевшее в свое время произведение Абрама Терца (Андрея Синявского) «Прогулки с Пушкиным» и пообещал, что когда-нибудь напишу мемуары, в которых будет глава «Прогулки с Гердовым». Константину, путеводной звездой которого с юных лет является Нобелевская премия по литературе, это обещание пришлось по душе...

Виталий Шария, «Эхо Абхазии»,

газета, Сухум, 2007 год

О МИРЕ ПОТЕРЯННОМ И ВОЗВРАЩЕННОМ

Проза Константина Гердова

...Сойдя на землю с колесницы путешествий,
утихомирив разговорчивых драконов,
вновь обрети, усталый чужестранец,
родимую пустыню звездной ночи.
Кого искать?.. пригрезились народы,
Века рассыпались, миры не устояли..

/Д. Лакербай/

Каждому времени есть своя человеческая мера, но и у каждого человека – сознает он это или нет – есть своя истина о времени. Наверное, когда безрадостность общей меры и одинокий трагизм личной истины совпадают, тогда и возникает сама собой спасительная(?) – не то космическая, не то космополитическая – дистанция между миром и тобой, рождающая бессильные строки, подобные вышеприведенным. И тем большим – в который раз! – оказывается удивление при встрече с книгами Константина Гердова: почему ему не нужна никакая "дистанция''? откуда берется это, говоря языком "Илиады'' "многомощная'', "бурнопенная'', нередко трагическая и все – таки жизнеутверждающая стихия его прозы? Как смог этот уже почти фольклорный автор – персонаж / романтик вольных профессий шестидесятнической закваски, бродячий философ, литератор – авантюрист, наивно-лукавый плут – собеседник, достойный "копатель'' тысячелетней истории и собиратель житейского "мусора'', также многое-многое другое/ соединить "вечно-зацветающий дух'' бессмертного романтизма с животрепещущей, как свежепойманная кефаль, плотью сумбурно рассказываемого мира /рождающегося в момент чтения в "буйстве глаз и половодье чувств''/?. Причем эта плоть, то призрачно-памятная, просвечивающая личным мифологизмом сквозь временное, как бабушкина могила, ("кафедра выношенного благовеста'', где "просвечивают даже колючки роз'' и от каждого движения ветки – ощущение, что это движется моя бабушка, ее плечи, ее кисти'', что

седеющая бабушкина голова, "как полевой мак, как тюльпан – все исчезающий какое тысячелетие, но все плывущий как парус по синему полотну веков''); то виртуозно-пунктирная и дробящаяся набегающей волной схваченных на лету деталей, метафор и реплик бесконечного диалога; – то прокаленная, как древний мрамор, беспощадным солнцем истории; то густо пропитанная "дельфиньим жиром'' и гвалтом приморского базара; то просто гниющая и разлагающаяся, как зловонные трупы людей и собак на расстрелянном побережье...

Конечно, при желании здесь можно отыскать различные стилевые влияния (опыт модернистской и авангардной прозы в конце XX века, особенно "отцов модернистской прозы двадцатого века'' – Джеймса Джойса, Франца Кафки и Марселя Пруста – игнорировать невозможно). Конечно, здесь и неугомонный "хватательный рефлекс'' чемпиона отзывчивости и обожаемого друга Евгения Евтушенко: от какой-то очень южной (скорее, "арапской'', чем русской!) "мятежной живости'' до – помните? – знаменитого "я жаден до людей..'' На первый взгляд, К. Гердов с такой же легкостью набивает всякой всячиной свою прозу, как Евгений Евтушенко умел весьма поверхностно (то есть публицистично/) "замусоривать'' свое лирическое пространство... Однако, откроешь порой книгу К. Гердова – скажем; "Мангуп'' – и прочтешь ошеломляющее: "Растет шелковица, плодоносит, и уже начинает казаться, что не время уничтожает шелковицу, а шелковица уничтожает время. Маленькой собачонкой у ног шелковицы ютится время, не растет, а проходит''. Оказывается, на той грани, где поэзия рискует стать плохой прозой, настоящая проза может перейти в тайную поэзию. Для этого художественный мир должен иметь не только четкие координаты, но и глубинную структуру, выстраивающую не поверхность, а всю зримую и незримую Вселенную без ущерба для ее жизни – пульсации – а может быть, и открывая неизвестные самой действительности истины и смыслы.. И в каждом таком авторском мире тексте есть, если вспомнить Блока, свое "во Имя''. Стоит прислушаться к взволнованному голосу писателя и его любимых героев (автобиографических и не очень, но, как правило, близких автору своей жизненной философией), чтобы ощутить credo: "В 19 лет прочитать у великого норвежца Кнута Гамсуна: "Бродяги – есть соль земли''. И с тех пор влюбиться в путешествия, в бродяжничество, в странствия , в материальную нищету. Ибо понять, что только странствия делают

человека богатым. Богатым на познание, а значит не зря прожитую жизнь. И, конечно, странствия только пешком, только босыми ступнями (….) Только странничество проходит между звезд и рептилий''.

"Я – археолог и, восстанавливая память человечества, не мог позволить, чтобы исчез, какой-нибудь из народов (….).И я спасал Абхазию, абхазов, чтобы не было новой Атлантиды. новых этрусков, новых караимов''. "Не прячь от детей свою увлеченность. Пусть ломает твой любимый предмет, пусть ломает твой телескоп, через который ты притронулся к звездам, – лишь бы у него, у сына, возник интерес к "Туманности Андромеды''; "Остаться, как красной птицей, на острие, пока не зайдет солнце. Оглянуться при сумерках, и предметы, испуганные днем, начнут являть себя. Кем было это дерево при земном существовании? Кем был храм, травинка, кем был камень? Все это запомнить, заполнить человеческому глазу, и воздать каждому причитающуюся ему память.

Кем видел себя, кем был в прошлом? Чтобы перевоплотить будущее в похожее состояние, в любимое. И привести сюда всех близких, родных. Пусть откроют для себя свои возможности''.

После таких признаний начинаешь понимать почти плюшкинскую с виду одержимость автобиографического героя, затерянного между повторимым только во сне детством и войной (второй мировой, грузино-абхазской?), обнажающей руины мира, обостряющей тягу к осмысленному, любимому бытию, преломляющей заветные мечты сквозь жажду выжить, причудливо роднящей тихо кровоточащего "я'' со "скифскими черепками'' бытия и культуры: "Собирать склянки, банки, дырявые ведра, дырявые тазы для высадки туда рассады помидорной, огуречной, табачной. Жить от множества тени, от огромных деревьев /…/ Быть побирушкой у моря: всегда искать старые сети, старые иглы, старые крючки рыбацкие /…/ Искать доски, щепки, пиджаки по берегам морей /…/ Жить от вечной раскладушки, от вечной тачки, от вечных штопанных брезентовых рукавиц /…/ Пробегать, перебегать от вечерних, знакомых, ночных, остерегаться патруля, остерегаться военных, автоматчиков, одни из которых склонны к разбою, мародерничеству, к убийству /…/ Жить, конечно, от улыбки. Обломиться веткой хурмы, чтобы ринуться кустарником. Биться волнами о след; оставить все – лишь бы остаться''.

Это не "плюшкинство'', не прореха на человечество'', не мертвящая

власть вещей, а прямо наоборот – выбор Бытия с большой буквы, латание "черных дыр'' жизни и памяти, истории и культуры личной самозабвенностью, любовью и болью, верой и надеждой. Ткань непоправимо расползается, но выбор тем более бескомпромисен, чем более напоминает копание в мусорной куче. Вот только выуженное оттуда перестает казаться просто постмодернистским мусором, а вновь дает шанс БЫТЬ и ЗАПЕЧАТЛЕТЬСЯ в этом НАСТОЯЩЕМ бытии. Парадокс? И не единственный.

Греки Костакис, Харлампий, некий "полустарик, полувыброс, полусброд'', пьющий нарзан артезианских колодцев вперемежку со звездами и опирающийся на холмы подземных рек как на сосцы непорочной девицы, – неизменные маргиналы тупой и жестокой реальности, но неизменно причастные к самой сердцевине жизни в ее первородном, не искаженном, не оболганном смысле… Романтическое двоемирие и романтические антитезы буйно прорастают магией мифологической цельности, /как тут не вспомнить современный латиноамериканский роман!/а "полюса'' нередко оказываются равноправными ликами амбивалентного мира: так, контрастные "звезды'' и "мусор'' ("грязь'', "рептилии'') символизируют Бытие и почти горьковская с виду романтика босячества /нищая безбытность героя и его "звездная'' свобода/ на самом деле опирается на глубинное приятие мироздания, а "мусор'' / по сути дела "мировая свалка'' постэсхатологической цивилизации/ – драгоценное связующее звено между чудом выжившим человеком и руинами его Вселенной / **лучшая книга К.Гердова – "Мангуп. Тайна глагол. /На руинах мира/''** – но с тех пор подзаголовок, не теряя метафоричности, приобрел в устрашающей буквальности/. Символ и миф выстраивают изнутри писательский мир – текст /кстати, "перманентно'' – незавершенный, "переваривающий'' любые сюжеты, все время устремленный за их пределы/: его герои-оборванцы часто имеют национальность "грек'', что – при постоянной актуализации историко-культурного контекста – означает наличие действующего "хронолифта'' от Древней Греции до друзей детства: тысячелетняя история и жгучая современность с ее политическими играми непрерывно осмысливаются друг через друга и также рождают своим буквальным текстом осязаемое пространство – время нового мифа.

Такое – прямое, на уровне газетной передовицы! – включение современности в художественный текст, вместе с "замусоренностью'',

цитированием / как попало, по наитию / поэтической классики в строчку'' и некоторыми другими приемами, заставляет задаться вопросом о природе самого писательского слова. Если это и постмодерн (в широком понимании), то спасительно-наивный: ощущающий пост-катастрофическое состояние бытия и культуры, но произрастающий не из интеллектуальных игр, а из писательского послевоенного гагринского детства, из неповторимого многоязычного – и многострадального! – маленького мира, в чертах которого, приглядевшись, можно различить наследие великой средиземноморской цивилизации... Поэтому родным и близким оказался и Крым, трагическая судьба народов, населявших его / "Мангуп''/, – это сродненность через любовь и боль, впитанная в Гаграх с молоком матери и впоследствии осмысленная в историко-культурной ретроспективе...

Так причудливо сплелись в творческом универсуме К. Гердова различное: корни и побеги, что сквозь постомодерные "смерти'' явственно проступило недвусмысленное: "Да!'' Жизни. И новая книга писателя, при всем откровенном ее трагизме, при всей натуралистичности жестоких подробностей и при всем бесстрашии авторского взгляда на отвратительную реальность военного и послевоенного времени – подтверждение однажды и навсегда сделанного выбора.

И еще мимо одного родника гердовской прозы нельзя пройти. Это сам язык, представленный не "спасительной'' лингвистической утопией, как, например, у Иосифа Бродского, а живым накатыванием, напластованием, "морфологизированием'' иногда за рамками нормативной грамматики. В то же время Гердов упорствует в своей верности нескольким конструкциям: инфинтивно-безличным предложениям, повторам сказуемого (от которого вьются варианты/, безбрежно расширенным /семантически и синтаксически/ предложно-падежным сочетаниям /глагол – на, от/. Мир- текст писателя не номинативен, а предикативен как бесконечный комментарий к не называемой загадке бытия. И этот комментарий больше всего похож на регулярное движение волн, на мерную поступь прибоя, и уже кажется совершенно естественным, что любимый глагол – сказуемое – "быть'', а любимое сочетание "было на''/ все что угодно/. Это, если хотите, уже не морфология, – а **онтология** – стиля двигаться к мировым смыслам прозой, бессознательно подражающей врожденным виду и гулу прибоя; забирать руками волн все, что плохо лежит /чтобы лежало хорошо/;

демонстрировать сочетанием "было от'' нерушимую связь со всем многообразным мирозданием, а сочетанием "было на'' – неслыханную щедрость, на которую способна только природа. И это действует даже на автора, приводимом в самом начале бессильных строк, понимающего к какой правде прикоснулся. Поэтому даже для него есть некая надежда – рожденные чужими на развалинах мира еще помнят о тайных путях родства...

... Полузакрыв глаза, драконы млели,
сияньем чешуи рассказывая сказки
о бесконечной радуге Вселенных,
о мире, возвращенном наугад, –
чтоб, растворясь чужими племенами,
с любовью обнимать чужие звезды!
...чтоб, прорастая памятью, родниться
не только одиночеством и смертью.

12-14. 08.99. Лакербай Д.Л. ,доктор
филологических наук, старший
преподаватель кафедры
теории литературы и русской
литературы XX века Ивановского
Государственного Университета

О МИРЕ ПОТЕРЯННОМ И ВОЗВРАЩЕННОМ

В самом названии "О мире потерянном, и возвращенном'' уже пробито на американское побережье, уже пробито на американскую литературу двадцатого века, уже пробито на Томаса Вулфа, пробито именно на плазму Вулфа – "О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ''. Притронуто движением, на движение Рэя Бредбери, Трумэна Капотэ. Пробито на влияние Марселя Пруста, когда воспоминания приходят трижды обогащенные памятью, преследованием лет и красной полоской заката, который забит на бычьи шкуры, прибит, закат прибит к древнему дереву, которое не шелохнется. А если что-то и закольшется в закате, то это только человечьи,

бычьи, китовые глаза или глаза кашалота. Закат непоколебим. Непоколебимо солнце. Оно стоит в упряжке и на взводе, не стронется с места никогда. Это трогаются люди, трогаются дни, трогается время. Трогается листва на истощение, когда продернута от керосиновой лампы, на износ.

Константин ГЕРДОВ
Августа 19, 1999 года, Гагры.

ИЗ КНИГИ: "ИЗ ГАГРИНСКОГО ПОСЛЕВОЕННОГО ГЕТТО''

Игорю Ивановичу Ковтуненко – профессору, академику педагогических наук (я познакомился с ним в Гаграх, когда нам было по пять лет), познавшему высшую субстанцию мира: никогда не отказал мне в ночлеге.

Рассказы "Пролив", "Волна" , "Хребет'', "Девочка синей косынке'', "Убиение саранчи'', "На склоне жилища'', "Красная крыша предместий", – были рекомендованы к печати отделом прозы журнала "Новый мир'' в 1969 году. Когда главным редактором журнала был легендарный А.Т. Твардовский, лучший, на мой взгляд, по народности русско-советский поэт. А народность – есть вершина поэзии.

Но эти рассказы были "зарублены'', остановлены редколлегией журнала. Когда огромный корабль набирает крейсерскую скорость, когда он разгоняется под горизонт, какое ему дело до надтреснутого состояния заката, который в конце концов этот корабль и уничтожит.

Хотя о т д е л п р о з ы /литературный критик – Инна Петровна Борисова/ увидел в этих моих ранних рассказах провозвестие о тайнах морей, об их структуре волн, структуре вечного заката и незаката в сердцах черноморских мальчиков сороковых годов. Увидела в них вечно шелестящий кипарис, увидел в них вечно шелестящий парус, увидела в них вечно шелестящее навсегда. И за это ему великая благодарность – за провозвестие. Ему и Евг. Евтушенко. За высоко оцененное черноморское бытие в моих глазах, в моем внутреннем

горле.

Рассказы из этого же цикла "Из роскошества красок'', "Таласа пареме'', "Под рукой проплывает далекая рыба'', "День после Победы'', "День детских игр'', "Греческое тысячелетие моря'', "Глубина'', "Мы сидели на теплом песке'', также рекомендованные отделом прозы к печати журнала "Новый мир'', но зарубленные редколлегией, спустя десятилетия была опубликованы в других моих книгах.

Это судьба всего, что живет, что дышит из нетрафарета, не из общего стандарта.

И поэтому:

"Принимаю как должное – из стремительных лет, – невнимание долгое, запоздалый привет.

И внимание – долгое, не минутный привет, принимаю как должное. – страха времени нет''. В.Казанцев – И. Анненскому.

Эти слова – о несовершенстве земной общечеловеческой коры, – с редкими вспышками прозелита.

ХРЕБЕТ

Вечернее солнце. Мы раздеваемся. Нам мальчикам, по десять лет.

Море теплое, ласковое. Если дотронуться до него рукой; еще весь не вошел в воду. Когда мокрый только до колен.

Море кажется подогретым. И так бы держал руки на поверхности моря и никогда бы не поднимал.

"Дрожидаемся последнего, и немного проплыв, набираем больше воздуха и ныряем''.

– Когда мы бываем на берегу, чтобы узнать скорость течения... "И в какую сегодня сторону оно направлено. Так как глаз наш пока недостаточно точно определяет движение, мы бросаем в воду, на воду легкую, вываренную рыбаками кору. Называется, называлась всегда – "балбера''. Эту кору привязывают к сетям, чтобы они не тонули, эти сети. Кора – это поплавки. Глубоко под водой, у сетей, со стороны противоположной поплавкам – грузила. Грузила тянут сети вниз, насколько позволяет ширина сети. Чем шире сеть – тем ближе дно, и значит Рыбы будет больше. Редкая неглубинная Рыба уйдет''.

– А если сети с мелкой ячейкой?..

“Только не берут сети очень глубинную Рыбу, потому что она ходит только по дну”.

– А дно не прополощет, как не достанет ни одна сетка на свете... “Грузила тянут вниз, поплавки не дают тонуть сетям”.

– Держат на поверхности или между...

“Чтобы бригады рыбаков, забросившие сети, видели их на расстоянии и не путали”.

– Свои...

– С чужими.

“У каждой бригады свое место ловли. Но так как рыбаки все равно часто путают все на свете – по случайности не туда попадают. Поэтому каждая бригада красит поплавки любимым цветом. Собрание рыбколхоза всегда решает, какой цвет любит та или иная бригада. Стоит заранее договориться, чтобы несколько бригад не слились в одну. Это смешение произойдет обязательно, если сети различных бригад выкрасят одним цветом”.

– Когда мы сегодня забросили балберу; – специально отваренную рыбаками кору, которой множество валялось на берегу во времена нашей жизни, жизни нашего поколения – ее все время прибивало к берегу и не несло в сторону от нас, как это бывает, когда в море сильное течение.

Мы забросили балберу – и поплыли.

Под нами заходили – Рыбы. Мы плыли к хребту, который расстилался по дну. Шел, как будто наращивался от дна, из глубины мира. Хребет начинался от берега, уходил далеко в море. Там мы не знали, что могло делаться с ним. Вероятнее всего – этот хребет кончался. Потому что как и на земле – за ним, за хребтом– только то, что мы видим сейчас. За хребтом мог быть следующий хребет. Могла быть равнина. И так бесконечно. И если странствовать от воды, от моря – то картина хребтов и равнин текла бы до противоположного берега. На воздухе равнина и хребты были бы возвышеннее, потому что их не давила вода.

Но нам, мальчикам, надо, чтобы хребты в море не кончались никогда. А раз нам надо – значит так и будет всегда. Потому что мы тоже были уже наслушаны об идее.

Мы плывем недалеко от поверхности. Значит мы пока близко от берега. Наши тела погружены в воду. Открыты глаза. Мы не можем

долго находиться под водой и поэтому, когда мы начинаем чувствовать, что воздух кончается , мы выходим наверх. Глотаем воздух и снова под воду: та стайка Рыб, за которой мы плывем уже долго – с самого начала подъема хребта – может уйти вперед и мы не заметим этого или просто не догоним ее. И тогда придется отстать. Или просто спутаем свою стайку с другой и уплывем совсем другой дорогой, которой ушла наша стайка.

Их несколько – этих смуглых, легко просматриваемых среди ярких цветов водорослей-Рыб.

Это не окуни, не ставрида, не барабулька и даже не красавцы – морские петухи.

Это вообще цветом – не светлая Рыба.

Те, за которыми мы плывем, – часто поднимаясь на поверхность за недостаточностью кислорода, – черные, с большими головами; у них выпучены глаза; упругие плавники и тело, сужающееся к хвосту резко. Так что нижняя часть туловища Рыбы очень изящна. Кажется, что не выдержит давления.

И хотя Рыбы уплывают все дальше в море, и мы теряем их из виду, они нам видятся такими же ясными, как и в начале пути: они в нас не могут быть удалены. Всегда одно и то же расстояние. Оно не может увеличиться: поверхность моря везде одинаковая, а Рыба поднимается по хребту – все выше.

Чем дальше мы плывем – тем ближе виднее Рыба нам. Но мы никогда не достаем ее рукой. Рыба плотно прижимается ко дну, когда хребет близко подходит к поверхности. Но он так никогда и не выйдет близко, чтобы Рыб ловили руками. Поймали. Хребет никогда не возвышается над водой. И вот на самой вершине хребта ставятся сети с грузилами на концах. И здесь всегда большой улов. Потому что Рыбы...

“Может быть, за исключением дельфинов, не могут видеть далеко”. Если они и посылают свои сигналы, они все равно проходят мимо сетей; через ячейки и возвращаются сигналы обратно, как будто впереди ничего нет.

Но только до одного, до первого от берега хребта мы с Рыбами наравне: сколько они ни плывут – не уплывают. Потому что гора все выше. Когда огромный холм доходит до вершины – мы плывем обратно. За хребтом мы уже не можем равняться с Рыбами. С этого момента,

если мы поплывем дальше, Рыбы начнут углубляться – соответственно хребту и мы не увидим ничего. Так что лучше увидеть за день еще одну освещенную стайку.

Рыбы плывут по дну. И им все время приходится пока идти вверх, плотно прижимаясь к хребту.

Сверху против них сильное подводное течение.

Лес водорослей. Под ним отмершая тина водорослей. Она сплошным слоем устлала дно – из которого идут, вьются длинные стволы темно-ярких водорослей. Хлипко трутся о плавники Рыб павшие иглы тины. Некоторые не лежат на земле, чуть кольщутся. Они скользкие.

Рыбы поднимаются вверх, придерживаясь плавниками за гладкие камни – которых здесь множество. Если не делать этого во время подъема – Рыбы могут скользить.

И еще одна причина, почему мы поплывем обратно – сразу за хребтом Рыба, спускаясь к подошве холма увеличивает расстояние между поверхностью воды и дном моря.

И хотя кажется, что Рыбы поднимаются вверх своим ходом, – они бы оставались на месте, – если бы не упирались о камни, не отталкивались бы от водорослей. Потому что невозможно идти вверх к вершине, не отталкиваясь от одного растения или камня, основания которых плотно зарыты в дно, непоколебимо.

Если какая-нибудь Рыба, преодолев течение, продвинулась вперед и не состояла при каком-нибудь выступе, – Рыба не удерживается вверху и отбрасывается вниз; стоит у самого начала, как будто и вовсе не было подъема. Правда, с остатком нашего опыта.

Это происходит с каждой Рыбой из стайки, которая вырывается вперед.

У них, наверно, каждая поочередно становится проводником, чтобы знать дорогу для других.

И то, что первые всегда отбрасываются назад, чтобы за ними уже поплыли другие – эта задержка движения из-за незнания пути неведомого и позволяет нам, плывущим по поверхности, не отставать от Рыб.

За растения здесь – уже дальше – задерживаться нельзя. На этой горе они, растения, так разбросаны и далеки друг от друга, что о них можно удариться, только падая вниз – ранее отброшенный сильным напором воды.

Твердые листья папоротника гибко жмутся к телам Рыб. Они плавно,

медленно обвивают их, словно гладят, не давая Рыбам идти быстрее их обычной скорости – возле самого плотного течения. Они ласкаются, задерживая дыхание, потому что морские папоротники растут там, где ослаблено течение. На этих тропинках много мелкого острого камня.

Этот хребет образовался недавно, и поэтому море еще не успело отшлифовать этот камень, эти мелкие камни. Как падали из жерла вулкана – так и остались. На дне моря нет наката, и камешки так часто не перемываются.

И когда Рыбы слишком долго и зависяще смотрят вперед, не видя где они находятся сейчас, что-то острое впивается им в смуглую чешую тела. Это, конечно, острые мелкие камни.

Начинается такое плотное течение, что Рыбам приходится уже плыть, только прижимаясь ко дну. Здесь встречное движение воды меньше, оно ослабевает, соприкасаясь со дном.

И только у самого дна возможен путь этих Рыб к хребту. Они вплывают в нагромождения камней закрытых со всех сторон – видимо, их жилища по пути этих длинных переходов.

Что Рыбы там делают – нам сверху не видно. Выплывают оттуда они медленно; видно, не очень спешат вперед.

Но радость движения живет в Рыбах в начале пути. Это только сначала, сразу после жилища хочется в дом опять. А чем дальше плывешь, удаляясь от него, – тем неистовее становятся эти Рыбы по пути преодоления всех встречаемых ими препятствий.

Эти короткие остановки Рыб позволяют нам в это время удерживаться на спине и, не шелохнувшись, отдыхать, находясь прямо над ними, над Рыбами.

Когда долго находишься на месте – исчезает желание действия. Поэтому Рыбы не очень долго пребывают в жилищах, даже если им там очень хорошо.

Но дорога их дальняя: они скоро перевалят хребет и уйдут от нас. Мы их больше не увидим. А там, кто знает сколько хребтов надо преодолеть и где окончится их поиск жилища в этой морской воде.

Мы плывем с ними только до тех пор, пока может наблюдать Рыб. Даже дотронуться до ним мы не можем. Они всегда глубоко для нас, глубже нашего возможного прикосновения.

И не плывем мы за ними дальше потому, что потом, преодолев один

хребет – по другой стороне холма – все глубже и глубже кажутся нам эти Рыбы у подножия. Рыбы становятся от нас все дальше и дальше. Дно моря идет вниз, углубляется и хребты тоже уходят все дальше. Какие ущелья пройдут, где уместятся? Где может появиться кашалот во мгле?

Мы поворачиваем к берегу, жители земли, – пока не темнеет, чтобы проследить за следующей стайкой – и нам, мальчикам, быть с ними до первого хребта, до первой вершины. Там наша власть, там наше зрение – прерывается, прервано. Как будто пелена. Мы ее отодвигаем – она растягивается как резина. Поддается. Но стоит ослабить натиск, нажим – резина, пелена выпрямляется – и мы опять отброшены к горам, к земле. Переломаны руки, ноги, позвоночник. Как страшно вбирать мглу. Она поддается как детская игрушка. На конце – тяжесть, свинец. А эту тяжесть с рукой соединяет детская резинка от трусов, чтобы когда случится судорога от долгого пребывания под водой, в воде – чтобы не утонуть – проткнуть ногу, икру до крови.

Как это мучительно – лететь два-три километра над землей, по воде. Фактически просто скользит тело – без крыльев, без парашютов, без пропеллеров.

Спиной к земле, лицом к звездам, – все время снижаться. Не поддержаны ничем. Только своим духом, своей мечтой, своими первыми днями жизни на земле. Только выгнутая собственная спина – парашют. Лететь на горы, на камни, на сады. Как еще выжить?! Не превратиться в груду мяса после стремительного приземления.

А мы еще поднимаемся. Снова вперед. Как нас влечет загадочность мира. Как будто глотать мглу. Как будто она там – во внутреннем мире, – станет сознанием, нашим прошлым, нашим опытом.

Прикрыть сердце, легкие, желудок, сосуды. Может вообще наступить мгла. Но и тогда ходить с посохом, прощупывать дорогу, прощупывать деревья в трауре.

Гагры, 1968.

ДЕВОЧКА В СИНЕЙ КОСЫНКЕ

Ольге и Марго Челидзе, соседским девчонкам младенческих гагринских лет.

Девочка в синей косынке смотрела со двора в комнату через оконное стекло

На улице было тепло, солнечно; и в комнате вдруг запахло колокольчиками и тем голубым холодным снегом.

И двор стал холодным, зимним.

И вечер из прошлого – все вокруг синее-синее, сумерки. В комнате тепло.

Меня не выпускают во двор. Я пишу на вспотевшем окне кружки, палочки, свое имя, которое я еще не могу выводить на стекле. Нигде не могу выводить. Свое имя предугадываю письменно. Знаю свое имя на слух. Когда кто-то окликает. Букв пока не разбираю. Поэтому писать, писать разные каракули и не стараться выводить красивые линии. Все равно не получится.

«Лишь бы писать, чтобы оставалось еще место».

– Когда все и испишешь - локтем стираешь.

«Стол стоит возле окна, почти продолжает подоконник. Спустишься со стола, на котором сидел; походишь немного; у печки хорошо погреться после окна, из которого как его не замазывай – все равно дует; и пока гуляешь, совсем забудешь, зачем слез со стола, глянешь – а стекло уже запотело. И снова забираешься писать».

– Иногда до того увлечешься, что нечаянно надавишь на стекло и оно треснет.

«Тогда прекращались мои писания и я сидел у окна – видел, длинную, покрытую пушистым снегом родную дорожку. Ветви сирени, лаврового листа, мушмулы, роз - склонялись к земле – низко-низко от тяжести снега.

– Бабушка ходит по саду - сбивает снег с ветвей, И они выпрямляются»

''Что-то синее, стылое перед глазами. Ударишь по нему -сразу звон'' И потом снег долго тает; во дворе слякоть голубая и ходишь, ходишь по двору, бросаешь снежки в соседских мальчиков - друзей – через забор;

и долго не идешь домой – хотя тебя давно зовут».

– Ходишь по саду, пока не промерзнешь совсем». Руки красные, дышишь на них, а они подергиваются иголками. Потом долго натираешь их снегом.

– «Вот и бабушка снова – уже пошла доить корову».

– Эта короткая дорожка – из дома в коровник.

«Бабушка идет по слякоти. Все вокруг голубое, стылое, тающее».

– Домой не хочется, все ходил бы, пока не кончатся эти сумерки».

«И не начнется ночь. Ночью вообще легче отходить ко сну''.

– Ночью выпадут крупные звезды».

«Но до ночи еще долго ходить по сумеркам, прятаться от мамы в саду, когда она выходит искать меня – к соседям, на улицу».

– Рядом дом нашей соседки, эстонки,

«Тетя Таня прядет и сейчас – в комнате у себя».

– Негромкое постукивание деревянной прялки, жужжит веретено.

«Что-то проходит незаметно. Сумерки плотными вдруг видят себя».

– И все никак нет сил остановиться. Все ходишь, ходишь»

«Вот и мама возвратилась от соседей – мне по-прежнему радостно во дворе одному на все сумерки и на всем свете».

– Прячусь, как будто не приду туда, куда меня зовут уже давно. Да все не хочется. Еще бы немного. Еще успею в комнату. Ведь я последний – кого нет дома» В доме одни женщины. Не успеешь зайти после сумерек, и дверь тут же на замок или крючок и так до утра.

«Хлопают двери».

– Кто-то крикнет и тихо.

«Соседская девочка Натэла перелезла через забор и бросает в меня снежок. Он летит, я знаю, в меня, но я не вижу его, он сливается с сумерками, с синевой, я хочу отклониться от него и не могу – не знаю куда, в какую сторону''.

– Кое-как непослушными от мороза руками леплю ответный снежок и бросаю в девочку.

«Но он так неплотно сделан, видно, пальцы не чувствовали снега, что разлетается, не долетев до нее».

– До кого?

– До девочки»

«Может, несколько снежинок задело ее. Но я не вижу этого – мешают сумерки. И поэтому я могу только догадываться, что как-то ответил

на ее снежок».

«Вечер. Мы сидим на песке».

– Он истоптан за день тысячами ног. Тихо. Волны тихие то же. Ветра нет.

«Отдыхающие проходят то и дело мимо нас».

– Они приходят, купаются, загорают.

«Мы, местные базарские пацаны, остаемся сидеть на берегу моря».

– Отдыхающие выбрасывают из кошелок недоеденные фрукты – не съестное для них; последний раз за день купаются, вытираются насухо мохнатыми узорчатыми полотенцами, одевают шелковые тенниски и уходят – некоторые с ракетками в руках или под мышками. У некоторых спортивные фигуры. Они уходят на теннисные корты.

– Мы остаемся на песке.

«Темнеет. Последние посетители громко плещутся в воде». Им, видимо, нравится перебрасываться горстями лунного света. Они шумно собираются».

– Мы остаемся. Зажигается прожектор погранзаставы. Светит долго – начинает с горизонта и ведет свой след к берегу – у самых наших ног обрывается. Это успокаивает нас. Долго светит нам.

Мы закрываем глаза. Потом он тухнет.

* * *

"У мотыльков дымчатые крылья сверху; снизу – серые с голубыми пятнами. Мотыльки как будто мохнатые, как будто припорошены мелкой пыльцой. У них неподвижные глаза и длинные усики».

Если мотыльки тронут крыльями человеческое тело – остаются следы «золы», которая потом плохо очищается.

«Если раздавить мотылька – ладонь становится угольной и куда ни притронешься, везде остаются следы их крыльев».

– Поэтому их любят ловить сачками дети.

«Потом аккуратно, двумя пальцами, берут за головы и опускают в закрытые банки».

– Но сачками ловят дети постарше, – продолжает. «Маленьким детям для этого достаточно белых панамок».

– Мотыльки бывают только летом, в жару, поэтому и есть эти

белые панамы. А если бы мотыльки существовали зимой, их бы ловили зимними шапками, и головы детей были бы тогда простужены.

«Дети бегают за мотыльками, пока не набрасывают на них летние головные уборы. Зажав эти летние головные уборы в горсти, быстро надевают на головы. Мотыльки оказываются между волосами детей и внутренним сводом панамок».

– Приходит время. Пока мальчики и девочки гонялись за другими мотыльками, за теми, которые на свободе – эти, невольники все медленнее порхают между детскими волосиками и внутренним сводом детского головного убора». Мотыльки в неволе меняют крылья на цвет. С белого на мутно-серый».

И дети бегают, бегают.

«А может, мотыльков и не стоило вообще ловить?! У них и так короткий век».

– Но если они сами хотят или намерены укоротить свой век значит, нужно им помочь. И сделать это, конечно, может кто-то другой, не из породы мотыльков.

«Потому что, если он сам, мотылек, укорачивает свой век значит, в каком-то дальнем плане, при каком-то дальнем прицеле он надеется прожить дольше, если его не поймать». Это просто маска, просто мечта о продолжении жизни – поиск всяких затяжных ям, рядом, предположим, с водопадом. Если мотылек ищет смерть – значит, он просто удлиняет жизнь: неистовое желание прибегающее ко всяческим уловкам – только бы эту черту отстранить».

«Мусорные ямы пахли одинаково во всех частях нашего города''.

Запах мусорных ям одинаков во всех частях мира.

Лицом к морю сидел я. Солнце заходило. Галька простывала Я это чувствовал, когда дотрагивался до нее ладонью. Она все время холодела.

Я сидел, положив голову на руки; прислонил голову к ладоням. Руки упирались в колени.

Провел ногтем по руке – осталась белая полоса; как раз по ширине моего ногтя.

Я прочертил еще одну полоску – наискосок первой.

«Я видел эти две полосы»».

– Теперь, когда я сам себе нарисовал это – закат интересовал меня

куда меньше.

«Хотя все дело было в нем».

– Смотри – не смотри, если ты понял это – то уже ничего не изменишь».

«Мы смотрели на закат – всегда долго, с самого начала до конца, пока он не скроется под водой».

– Сидела стайка мальчиков на камнях и все, кто здесь – в основном полулежали – так удобнее провожать; старались не пропустить ни одного изменения на заходящем диске.

«Тяжело и долго уходил от нас закат».

– Слишком сильна была эта связь с нами, с землей.

«Утром, едва проснувшись, мы каждый, еще в постели, не отрывая глаз, смотрели в сторону – противоположную будущему закату – даже глаза, болели от такого пристального напряжения. Смотрели долго, словно силой поднимали солнце раньше времени.

– И так всегда – с начала до конца.

«Каждый день наши головы следили за солнцем. Наши глаза следили за солнцем. Голова поворачивалась соответственно глазам. Солнце сначала двигалось медленно и мы успевали за ним».

– Успевали следовать за солнцем так плотно, что оно ни на секунду не исчезало из глаз Успевали не упустить из жизни солнца ни один миг. Находили время и на другие наши дела. Дела пацанов, дела мальчиков.

«Потом солнце делалось быстрее. Мы по-прежнему не упускали его – но нам это становилось делать все труднее. Приходилось забрасывать все дела, которые не касались солнца. Которые не имели к нему прямого отношения».

– Потом оно завертелось с бешеной быстротой и мы, потому что у нас стали кружиться головы, бросили это занятие – видеть этот огненный шар на протяжении всего дня.

«Тем более смотреть нам приходилось на него днем – прищурив глаза, чтобы не ослепнуть».

– Солнечные очки, предохранякщие глаза от жары, тогда еще не носили.

«Очки считались очень ценной вещью»» – Захочешь видеть солнце – смотри; захочешь снять очки –сними. Никто не узнает, что ты видел солнце открытыми глазами. Чуть прикрыв его стеклом.

«Стекло это было сначала». Когда они, очки, только поступили в продажу. Потом стали делать все из пластмассы. И корпус и то место, куда должны быть нацелены глаза. Очки солнцезащитные – не от близорукости, не от дальнозоркости. Сколько падали на песок, на гальку, тонули в море – все равно не оставалось ни трещин, никаких следов. Хоть целый день смотри, хоть урони на асфальт».

– Они все равно оставались целыми, без трещинок; новенькие – только что из магазина; никто сквозь них никогда не смотрел: здесь тебя представят всегда целым и первым.

«И если ты сам не скажешь, что долгое время они были в употреблении, что их носил чуть ли не весь пляж...»

– Еще бы не носить – открытие сезона.

«Одного заезда было достаточно, чтобы оставить следы. Но за ним следовал следующий заезд. Следующих двадцать четыре дня. И тот, кто их оденет, будет так хорошо видеть, что даже, если кто-то по доброте душевной и сердечной скажет, что их, эти очки, переносил весь пляж – это сколько он знает сам, сколько он сам видел – тот, кому это говорят, примет этот намек за оскорбление. Каждому хочется быть первым, а царапины – это всегда случайность».

– Очки, если на них нет ни царапины – не мог носить никто.

«Да весь мир об этом знает, а ты только грезишь...»

– Особенно они блестели и переливались на солнце, если их до этого несколько раз натереть, просквозить наждачной мелкозернистой бумагой.

«Шутит кто-то».

– До этой полоски на загорелой руке, которая осталась от двух движений ногтей – мы всегда считали, что огненный шар опускается немного позднее, чем ему полагается.

Гагры, 1969 г.

ЖЕМЧУГ

Выпускникам 1958 года средней школы №2 г. Гагры

Блаженствовал май – жаркий месяц. Тени сирени, акаций, жасмина лежали цветами на земле. Вольно и просторно дышалось в классах.

Школа была на взгорке. Там было всегда прохладно.

Мы учились в шестом классе, ждали экзаменов и в свободное время танцевали танго. Когда мы учились в школе, везде танцевали танго. Особенно мы любили "Жемчуг''. Мы на всех переменах танцевали "Жемчуг''. Без аккомпанемента, без гитары, если иногда ее не умудрялся проносить прямо в класс Панджо. Было невероятно, как он ухитряется вести танго на гитаре.

Перемена, только что отзвенел звонок, и откуда-то, как будто из моря – танго. Танго нашей юности, когда дано такое редкое царство и соответствие – прожить дни внутри любимой мелодии. И во всем этом нам помогает грек Панджо, сын чаландаря, из двора которого никогда не уходила музыка. Как будто кто-то рассыпает там в саду кастаньеты, вперемежку с маслинами и кипарисовой хвоей.

Мы довольно часто прислушивались к Панджо.

Хотя в этом, мы уже понимали, есть какая-то несправедливость: мелодия внутри нас самих, а мы ее относим к достоинству другого, который только случайно аккомпанирует мелодии. Мелодия безтелесна, нематериальна, и чтобы что-то оценить, нам уже нужно приблизить предмет нашего восхищения – к материи, к тому, что можно потрогать руками.

Но несмотря ни на что, грек Панджо играл. Все чаще и чаще.

Это танго помогало мне. Помогало находить в себе самом истинное настроение. Тогда я его часто терял. Это смятение было от того, что у меня еще не было линии. В "Жемчуге'' была эта линия. Но к этому я еще должен был прийти. Я был много моложе "Жемчуга'' и не знал, что это – роскошь, почти непозволительная, когда любимое танго и ты сам совпадаете.

Любимое танго всегда аккомпанемент, всегда "гитара'' становления. Была, есть. Именно, гитара, потому что почти всегда связана с юностью. Потому что это наиболее безыскусный инструмент. Легче всего научиться. Даже учиться не надо. Какая есть – такая и есть. Это потом – занятия над собой. Когда во внутреннем мире светло, а ты занят другим.

Гитара нашей юности. Именно нашей, потому что юность все проводит вместе. Дворы, шаги, очарования и тень листвы над родной крышей.

Тогда я думал, что музыка "Жемчуга'' – это музыка моря, жизнь

моря. Опускаясь на дно за ракушками, я отчетливо слышал ее мелодию. Она преследовала меня. Раздвигала границы души, границы моих возможностей. И кружилось на чистом поле моей будущей жизни – танго. Оно становилось живой душой. Светлые руки, светлые головы, светлый взгляд. Рядом сирень, лето. На дне моря – любимое лето – кружится, медленно кружится.

Тогда я только впитывал море, доходил до него. В юности все доходят. Доходят до чего-то. Например, до моря. Чтобы сейчас питать зрелость дней из той памяти. И если в нас что-то не сбылось, в этом нет вины моря, вины "Жемчуга''.

Я пришел в школу вновь, спустя лишь много лет после ее окончания. Не знаю, что толкнуло меня на этот шаг. Видимо, все то же желание испытать или вернее попытаться возвратить то внутреннее состояние юности, которое владело мною тогда и от желания возвратить которое я не избавился до сих пор.

Как только я вошел в актовый зал, где в нашей школе проводились торжества, я сразу понял, что и на этот раз мое желание не сбудется.

Медленной музыки не было. Танго тоже. Значит, где-то я потерялся. Значит, танго не было и во мне, раз я его не услышал. Раз я мог потерять даже на короткое время свой "Жемчуг'' –все это я успел отметить.

Я немного потанцевал и ушел по той бывшей центральной улице города, по которой мы когда-то ходили в школу и которая для нас была прекрасным вечерним садом, потому что почти не освещалась, и именно поэтому там мы чувствовали себя королями. Полумрак скрывал нашу нерешительность и неловкость движений, особенно вблизи девочек, которые нам нравились. И только потому, что они были нашими королевами, мы скрывая свою робость, были с ними грубыми и насмешливыми как ни с кем.

Я никогда не сомневался в мудрости того мальчика; в том, что если послушаться его голоса – он летним ли, весенним ли, зимним днем – светлячком любого времени года, – даже старящего, покажет дорогу в темноте, в дне, в рассвете; и уведет в тот мир; вернет первоначальный свет, где вещи дано единственное имя; где светит угольком кора, где единственный луч сфокусирован у угла первого впечатления. Где у школьного двора остались ребятишки с синими мотыльками крыльев в

руках. А пальцы голубые от дыма будущих птиц.

Уже давно нет полутонов.

И сонно где-то жуют траву далекие лошади.

Где к горам прислонено движение детей.

И голос того человека, которым заставили стать, когда он вступил в осмысленные отношения с миром.

Где пронизанный чистотой луч умирает в нищете.

Центральная улица – уже не центральная. То прошлое – уже и не настоящее. Неповторима инерция. День, день. И цветы огромные на лицо. Оглянулся – а на тебе мимоза. Слепят, слепят желтые цветы разлук.

Это потом – перед морем ожидания, когда мы учились во второй смене. И где из дома, недалеко от школы, звучало танго. И класс цепенел, останавливался на короткое время и на ощупь находил дорогу к морю. Море и "Жемчуг'' – гитара нашего становления, нашей юности. И все по-прежнему. И можно повториться тысячу раз. И еще тысячу. И не будет стыдно. Потому что нашу юность уже не повторит никто. Только в тысячелетии моря, в тысячелетней волне мы найдем всплеск, общий с нашей памятью. Найдем и застрекочем в неповторимом дне. Волна, волна. Бьет, бьет и заливает рот, грудь, плечи разноцветной пеной в лучах меняющегося солнца и дня. И мерк день и приближался вечер. Потому что солнце уставало от радости детей. Потому и уходило, что ему нужно было прислушаться вместе с морем к детям – в тишине. Когда смолк голос – и так хорошо прослушать тот мир. И тут подходил последний урок.

И он кончался, когда было уже совсем темно. И домой нам приходилось возвращаться в темноте. А в ней уютно. В ней легче прийти в себя, когда впереди жизнь. Короткая темнота – для вечного света.

Как будто на дне моря. На берегу – шторм, а здесь тихо, словно все спокойно на свете.

Это постоянство моря мы любили. Нам нравилось отсиживаться там, особенно во время игры в "пятну''. Вынырнешь где-нибудь в стороне, наглотаешься как рыба судорожного воздуха и снова на дно. Сидишь, уцепившись руками за камень.

Как мы тогда горевали, что неприспособлены к жизни на дне моря. И это значение мы поняли далеко не все. Далеко не все понимаем и

сейчас. Видеть на себе все подспудные движения мира.

Я, довольно взрослый человек, часто хожу по улицам с девчонками и мальчишками.

В разговоре с ними я пытаюсь стать на их позиции. Приблизиться к их сейчашнему возрасту. Пытаюсь быть с ними. Это всегда ново. Дети всегда ближе, чем взрослый, к тому первоначальному состоянию жизни, которое взрослый пытается только приблизить, чтобы не отстать. Он только вспоминает о тех днях, в которых дети живут.

И хотя я по-прежнему с детьми, я все равно не могу в них перевоплотиться.

Моими танцами были танго. Если бы я научился танцевать твист, он все равно не стал бы моим. Это было бы напрасно, как напрасно желание человека в одну жизнь прожить два возраста юности.

И по-прежнему – танго, танго, танго. Песок мешается с волной. С морем, с нашей юностью. Как руки закинуты за горизонты. Как кружится в любимых руках танго. Как светится "Жемчуг''.

Гагры, 1970.

ЗЕЛЕНОВАТАЯ МГЛА ИЗ ФОСФОРА,
(куда мы вернемся)

Маленький я, коричневый, загорелый.

Лето. Купаемся голышом. Еще нет запретов, заблуждений, ошибок. Еще не коснулись зоны взрослых. Есть утро, день, вечер, солнце. Вишневые сады весны. Открывающиеся горизонты с синей полосой перспективы. Вода. Парус. Песок.

Струится вода синеватой пены. Значит мы замерзли.

И сразу мимо отдыхающих у берега – светлые дельфины; ряд, другой, третий. Все в сторону; побледнели из тех, кто был в море, кинулись к берегу; так и осталось ощущение страха, что при бегстве пятки уже обгрызаны млекопитающимся.

Дельфины пока не были открыты. К ним интерес людей не обозначен. Это только дельфины стремятся к людям уже какое тысячелетие.

Море опустело. Нет следов пребывания. Только всегда – белый корпус судна за горизонтом. Как будто за горизонтом – конец пути

– так тревожно на свете.

Между морем и мальчиками – цветы; фиолетовые петушки вдоль дорожки. Между морем и мальчиками – олеандры, кипарисы, пальмы. Между морем и мальчиками – сладости на руках торговцев частников. Ходят по улицам, предлагают товар. В корзинах у торговцев различные формы конфет: слоны, верблюды, кошки, собаки, птицы. Держать это во рту. И животные, и птицы, и рыбы становятся все меньше и меньше.

И еще девочка Натэла – среди садов. Так часто появлялась.

Дальше опять оказаться у моря. Как будто и не было посредников между океаном и мальчиками. Так близко подойти к черте, которую не достать. А там дельфины. Они черного цвета. Выпрыгивают из воды на несколько метров в вышину. Обнимутся, как будто разорвут пределы своего полета у вершины пути и упадут в море.

Держать руку под головой в олеандровой аллее и с грустью провожать мир. И нельзя встать, чтобы не задеть дельфинов, которым дано волшебное зрение: на том месте, где они играют и где потом будет суша – образовывать фонтаны.

За дельфинами просто разглядеть корабли. Один за одним – вот и вплыл в жизнь, в дни. Высоко-высоко виден дымок. Какой провал защитил корпус кораблей в нашем восприятии, воображении?

Рядом песок. Ворот для поднятия баркасов из воды. Трос в мазуте. И за грядой маленьких холмов, мальчишеских – опять полоса розового олеандра в устойчивом воздухе, что можно остановить летящий плоский камень, вброшенный в круг.

Дальше глаза на город, на набережную, на кипарисы. Постояло у стен и вернулось почти с плачем сожаление, свернувшись в горсти. Осталось лежать в траве, чтобы продолжить счастье. Как будто сожаление нашептало за мальчика:

"В городе своего детства нельзя повзрослеть. Все равно – мальчик. Для этого города остался таким же робким, несмелым, осторожным. Если был королем – королем и остался.

Независимость города детства? Гигантское сопротивление об отстаивании своего мнения на мир? Или что? Или у каждого свой город, или просто местность, где можно придти в себя..''

Какие-то запятые, запятые. Сад летний, очень плотный.

Щепок во дворе много. Собирали на море, в саду. Это сухие стручки от фасоли, стебли репы, табака, что растет на колхозных полях, мелкие

ветки, почти пыль. Притронуться пальцем, и они рассыпаются.

Широкий свод деревьев, в частности айва и шелковица, закрывают двор от неярких небесных звезд.

Сидеть тихо у ног бабушки, тосковать, и уже понимать, что безмятежное очарование не будет сопровождать всю жизнь. Что на коленях бабушки больше не посидишь и не покачаешься у нее на ноге. Опавший лист полчаса лежит на плече, и не пошелохнуться, чтобы не встряхнуть наваждение.

Мужчин нет дома. Нищета, война. Дома женщины и старики, дети; дни, проведенные под присмотром моря, его внимательных глаз. Но до моря еще далеко, и смутно находиться возле него: страшно. Лучше сидеть на коленях бабушки и растирать в ладонях подсушенную мяту.

С ночи что-то заходило, заходило. Во дворе настораживалась вода в роднике, тоже удаленная от края.

И так близко к зарослям, к жасмину, что кажется, что это не бабушка моет косточки, а сам двор, сами заросли моют свиные косточки. Бабушка растворена в природе, так она мне уже близка, такая родная на свете.

Еще какие-то ощущения. Где-то в ущелье, недалеко от детского сада, куда мы с сестрой ходим уже давно, стояла островерховая башня. Она вилась среди зарослей жасмина, ежевики и страшила. В детстве все необитаемые углы настораживают.

Это потом мы узнали про мастерские греков, про печи для обжига кирпича.

А тогда думалось: там прячут детей. Встречают тех, кто много ходит по темноте, и эти дети исчезают.

Была война. В представлении детей по городу ходило много подозрительных людей. Подозрительные – это те, кто выделяется из других, из общей массы. Поэтому было легко подумать, что в той островерхой башне по ночам случаются страшные вещи; там всегда горит костер, там убивают детей и потом продают.

Нам так хотелось пойти туда, но так и не решились. Мы так и представляли издалека, что там по стенам какие-то росписи и над всей башней, даже внутри комнат, идут дожди. Под крышей. Как туда проникают дожди – неизвестно.

Мы на берегу моря. Небо в розовых стелющихся облаках. Над нами одинокая яркая звезда зеленоватого цвета. Это солнце, прикрытое

облаками.

Мы лежим на песке. Песок струится между пальцами. Море далеко-далеко, спокойно.

Мысль о том, что мы прожили здесь свое детство, а нам совсем мало лет. Даже первоначальные ощущения известны не всем. Такой долгий день, как будто вместилась вся жизнь, и мы уже не живем. Только дано из старости созерцание.

Как волны – пришли, ушли – морю это одинаково. Оно даже и не узнало нас. Были мы, не были.

Море перелистывает страницы, листает вечность свою так безразлично: отлив, прилив, пролив...

Долго смотреть и вдруг выпрямиться. Ведь это неправда, что мы не отмечены морем. Мы же жили во времени, значит представляли собой какую-то страницу времени: от такой-то даты до такой. Из вечности страницу не убрать. Если бы не было нас, одной из страниц, вечность бы распалась, как море бы иссякло без нас. Может быть, просто жалко, что через тысячу лет мы будем какой-нибудь страницей в вечности, например, тысячной, а будет жить, любить закат, олеандры, своих родителей, товарищей – только последняя страница; тот именно год, день, который только что прожил мир.

И эта последняя страница еще не перелистана. Этим и отличаемся.

И сразу на последнем мгновении подхватывает нас Волошин, поэт поддерживает:

"Теперь я мертв.
Я стал листами книги.
И можешь ты меня перелистать''.

И еще о детстве. Лучше нас его никто не прожил. Да и не проживет. Потому что наше детство – только наше. Другого детства не будет. Именно этого срока не будет. Как неповторимо скорбно ощущение и время, прожитое тобой сегодня.

В нашем детстве могли жить только мы. Заменить нас нельзя, вечность рассыпется. Как для нас важна преемственность поколений! Страницы.

Мы жили на берегу моря, и наши глаза никогда не определяла граница,

черта. Нас определяла бесконечность, то есть горизонт. Для нас не было территории, например, домов, фасадов, заборов, которые могли бы нас ограничить.

В нас жило море, оно тоже жило нами и ограничивало нас тем, до того поглощало, что кроме моря мы ничего не могли видеть. Но море уже просматривало нас со стороны, готовило к чему-то; отмечало нам какое-то определенное расстояние, учитывало наши возможности в виде примет: дальше заплывать нельзя.

Это только мы думали, что возвращаться очень просто: море к берегу понижается, само принесет. Горизонт всегда выше берега: поэтому, естественно, к берегу скользят, как под горку. "Каравай-каравай, кого хочешь – выбирай''. Сейчас так понятно и просто до прозрения. Это божественное определение моря: это текучая местность понижается от горизонта к берегу, где стоят ребятишки.

Жили на берегу мальчики. И море было экраном, белым полотном. Впитывало нас и вводило в текст своей книги.

Так в санаториях, на фоне которых проходило наше детство, вечерами вывешивали на стенки зданий скатерти и проецировали фильмы. Мы сидели на высоких белых акациях и знали, что так быстро, как фильмы, наше счастье, наше состояние не исчезнет в мире.

Спектакль проходил на берегу моря без декораций.

Мы еще не догадывались о забвении, хотя все в нас было пронизано этим чувством. Как сохранить наши игры, то именно состояние сумерек, скапливающееся на вершине холма?

Каменные плиты врезаны в море. Внизу чернеет вода. Море красное от заката. То, что днем было солнцем, чудилось очень долгим (на годы протянется этот свет!), теперь остывало. Оставалось несколько сантиметров до соприкосновения с горизонтом. Нижний диск солнца мрачнел в нижних слоях горизонта огненной глубинной медузой. Потом у солнца следующее превращение: меняться перед закатом на ярко-красную юбку экстравагантных курортниц.

В закат входит черная птица. От лучей солнца меняет птица и цвет и окраску. Медленные взмахи огромных крыльев. Хотят прикрыть солнце, но солнце сбрасывает крылья. Солнце снова свободно, никто его не загораживает.

Темнеет. Показывается баркас. Это проплывают рыбаки. С берега кто-то острогой бьет рыбу.

Долго идти домой по темноте. Ступать по щиколотки в пыльную

тень улиц. Пройти по длинной дорожке, сесть у крыльца рядом с бабушкой. Согреться у огня, подложить под себя мешковину и держать голову на ступне матери. Смотреть на зеленую мяту, сорванную сегодня. Она собрана в пучки и притаилась, как перед посвящением в тайну. Сморщенный лик, в юбочке, в червичках:раскачивается, подпоясана веревочкой.

Из-за частых виноградных листьев звезды никак не могут заглянуть в этот лучший из двориков.

1978 г.

УБИЕНИЕ САРАНЧИ

"В этот день рассвет был неясным''.

– Хотя небо было чистым, всю ночь в саду гудел сильный ветер, задевал провода, стучался в окна, двери.

"Иногда в ветре слышалось постукивание позднего гостя в окно. Но все знали, что это ветер и никто не открывал ни дверей, ни ворот''.

– Было в воскресенье на понедельник.

"Некоторых весь день не было дома''.

– Это когда?

"С воскресенья на понедельник''.

– И там, где они отсутствовали, им ничего не было сказано о ветре, о силе, которую он брал к ночи.

Были такие, кто выезжал в субботу – в море на своих лодчонках. Выходной день – почему бы не порыбачить? Некоторые были с детьми''.

– В сумерки всегда клюет.

"Было хорошо видно с лодки, как под водой рыба ходит возле самодуров – луженых крючков красной шелковой ниткой – обмотаны''.

– Вода темноватая, теплая. Опустишь руки и не хочется ничего делать, даже рыб снимать с крючков. Пока ждешь – рыба и уходит.

"Далеко берег, не видно огоньков''.

– Те, кто уезжал на рыбную ловлю, ничего не могли знать.

"Потому что обещали суховей, довольно редкий в этих местах''.

– Ты не прав, что редкий. Случался, когда находил распространение в больших по размеру пустынях. Накапливался там и затем просачивался – правдами и неправдами – к зеленеющим равнинам. Неся в себе саранчу. Испепеляющий ветер проносился над миром и уничтожал

все живое, что попадалось ему.

"Ты это преувеличиваешь!''

– Зачем этот скептицизм?..

"Для порядку''.

– Не надо демагогии, любитель юбилейных истин, подслащенных.

"Продолжайте''.

– Уничтожал ветер все. Живое. И если место было и без этого засушливое, где ничего не растет – суховей сворачивал в сторону.

"В эту ночь люди, осведомленные об этом вечером, плотно закрывали все щели. Даже делали это так плотно, чтобы свет не выносился со двора на улицы''.

– Потому что именно этот вид саранчи летел на свет, даже на мгновенную вспышку его, и если перегородка была ненадежной...

"Влетал в комнаты''.

– В секунду комнаты заполнялись этими летающими насекомыми. Они поедали все съестное. Даже мебель жрали, одежду – лишь бы ничего не оставить.

"Так это наше правило – после нас хоть потоп'', – ответила бы саранча''.

– Первым делом бросались на живое. Жалили всех, отрывая кусочки тела. Впуская через жало яд. Укус их давал медленную смерть. Спастись от него было нельзя. Они поражали все тело.

"Яд мгновенно парализует жертву''.

– Жаль, что сыворотка для массового спасения еще не была выработана. Ее к тому времени только испытывали в научно-исследовательских институтах – на животных.

"Уведомленные заранее – не знали мер борьбы, но знали средства защиты: плотнее закрывать дом''.

– И этим все оправдано?

"Да. – И словно не спеша. – И не впускать в дом даже самых близких. Потому что близкие тоже в это время сидели взаперти. Значит это может быть только случайный прохожий, гость''.

– А кем может оказаться гость – в вашем понятии?

"Саранчой. Некоторых суховей застал на дороге и они, не догнав массив, погибли сами''.

– Вы о ком?

"О людях''.

– Так путая их?

"Другие не подозревая ни о чем, эти люди, сидели в хорошем расположении духа у открытых окон, чтобы проветрить жилье перед сном. Они слышали приближающийся гул, но подумали, как всегда, о запоздалой арбе которая затерялась в стынущей дороге''.

– Но когда люди бросились к окнам, они уже ничего не смогли сделать – саранчи набралось видимо-невидимо...

"Но город все равно тихо оживал. Потому что к утру суховей прошел''.

– Как легко бы тебе было умереть – ни чести, ни совести...

"И земля еще носит''.

– Ты знаешь, что я подумал?: **"Вся суть, вся жуть твоего удела, – то, что живу я на земле... Так до конца своих времен, как двух прожекторов скрещенье – одно и тоже сновиденье, мы будем видеть с двух сторон''.**

И к утру опять тихо, как будто и не было жертв.

Суховей унес все баркасы. Их можно было бы натянуть и привести снова.

"Но на складах как нарочно вышла вся проволока''.

– А при чем здесь это?

"У электриков ее было очень мало. Они расходовали ее только на личные нужды или в основном работали на частников. И наш город был очень долго без света''.

"Улицы стояли беспризорные'' – сам за себя заговорил город. Без освещения. Откуда-то понавезли свечей. И люди жгли их. Ложились теперь рано. Свечи выдавали по карточкам, и никто не знал, когда будут выдавать их снова''.

1967 – 1973 Гагры

НА СКЛОНЕ ЖИЛИЩА

Бескорыстным врачам Старого базара Гагр
– Валерию и Алле Хащенко

– Холодный день. Кутаешься в рубашку – поверх майки, хотя это никогда не случается в такие дни.

Сидишь под ветром, зябнешь или ходишь – ищешь местечка на пляже где не холодно.

"Долго это длится – пока найдешь''.

– Но если искать, то обязательно найдешь, встретишь такое место, защищенное со всех сторон.

Сегодня я ищу его вновь. Когда-то было у меня – это пристанище. Где всегда теплело от моего приближения – даже название, даже имя. Как "имена местностей – местность''. Там всегда было солнечно и в те дни, когда солнца не было.

Я долго сидел там. Это пространство было не очень большое. Но там я всегда согревался. Потом выходил из него и даже если кругом стыли камни – я ходил между другими очарованиями почти раздетый, чтобы замерзнуть.

"Только промерзнув – можно согреться''.

– Зачем?

"Чтобы почувствовать вкус и разницу''.

– То место, где я лежал, было покрыто укатанной галькой. Вода неслышная булькала в разрушенных дамбах, заброшенных и не нужных уже городу, потому что уже не защищала город от штормовых накатов. Фиолетовая вода спокойно оббивала берега, взбегала по покатому настилу в гальке, намытому ею же. Волна старалась достать сухую гальку и утянуть ее под воду, чтобы обкатав ее там – выбросить на берег еще более мелкой. И не оставлять ее в покое до тех пор – пока не превратит некогда крупные булыжники – в песок.

"В этом художественном повествовании или исследовании?''

– Не бери глупое в голову.

"И послушать можно. Ты прав''.

– Сначала в крупный песок, потом помельче, пока море не превратит некогда булыжники – в пыль, поднимающуюся в воздух от малейшего ветра. Превращенного в морские брызги.

В воде около моей руки, неподвижно обмываемой, – маленькая Рыба затеяла игру с Большой серебристой – с огромными глазами и широким плавником.

Рыба не отстает от Большой – все хочет догнать. Кажется вот-вот состоится эта встреча!

Они всегда плывут на одном расстоянии. Просвет, просвет – сколько ни смотреть – всегда один.

Сокращается очень редко – почти никогда. Рыба предлагает ошеломляющий спурт, но Большая этого и не видит – из вечной гонки. И уменьшила просвет только на этом отрезке, в который

вложила все силы. После этого бега не приходится думать о дыхании – оно разложено на спине. И не подняться пока. А Большая Рыба как и была – живет! И во время ее замедления просвет все равно оставался тем же. Эти быстрые отрезки были очень короткими, как и вершины этой Рыбы.

Игра их – сколько я мог наблюдать, затянется надолго. Она не кончится еще задолго до того, как рыбы уплывут с этого подводного холма – снова в холодное ущелье теней и редких полос солнца.

И если там не будет холодно, может, их плавники больше не будут шевелить ту воду. Ведь потом, наверно, случится то, что они все откладывают – эти рыбы: если тепло – никто не движется!

Игра может изменить их повадки. Но это потом.

Но еще долго продлится игра с этими плаваниями наперегонки: быть там, где всегда тепло. И где ничто не напоминает о пейзажах покинутых.

Эти холмы меняют местами все игры. Когда-нибудь Большая Рыба будет плавать за маленькой, выкладываясь на коротких дистанциях, чтобы сравняться на длинных, как когда-то маленькая ловила Большую и недосягаемую серебристую рыбу с большими глазами, в которой так много фосфора и потому светящуюся и ночью.

Когда тухнут звезды и останавливают свой бег вокруг мироздания.

Где же это теплое место, где играют и в котором никогда не бывает зябко. Где в любое время зноя – прохладно. Это от обтекаемости упругой воды, разрезаемой этими плавающими существами – Рыбами – в постоянно обновляющемся течении.

Когда они потом приплывут, здесь уже не будет густых плотных зарослей и водорослей, коричневых и длинных, в полах которых часто путались их тела. Их будет тогда внимательно просматривать пустое, насквозь голое дно.

Гагры, 1967 – 1973 гг.

КРАСНАЯ КРЫША ПРЕДМЕСТИЙ

Пионеру прерий – Игорю Варову

Медленный день высоко над рекой. Чуть в глубине сад. Скверы. Дорожки среди деревьев, кустарников. Ограды земли, трав. Снова беседка

сверлит небо. И железная крыша, расходящаяся на конус. Кружит небосвод голова. И за водой силуэты и профили хижин, излуки рек. И россыпи все, и виноградники, и вина, которые перепробовали, которые знаем. И на ковре, прямо в траве, под шелковицей – хрустально – зеленое вино. Горлышко бутыли почти поддерживает небо – такое высокое горлышко под шелковицей в июне месяце. Скатерть-самобранка. Недалеко за хлебом – другие вина. Стол накрыт на земле – самый сладкий, пища, которая лежит на земле, на траве – самая сладкая. Все роскошествует. Как интерьер к горам. А там солнечно, алыча расцветила сады и шелковица даже белая – ничего не скажешь – все летят лепестки. Ковер старый, в дырках желтоватых. Нам – самый щедрый и богатый – от предков идет! Самый нищенский дом тот – где нет предметов обихода предков, своих дедов, прадедов. Самый нищенский дом юродивый тот, где живут предметы жизни только из одного, ныне здравствующего поколения. За спиной цветы и дом: белый, чистый, и к окну прислонен жасмин. Дальше изгородь. Старая колючая проволока, репа, которую мы так любим есть – выкапывая из земли; репой мы называем топинамбур, /земляная груша, ачирква по-абхазски/ сирень так близко к земле, что из-за благодарности и милости подметает солнечные тени. И дом наш чуть заброшенный, так и тянет руки вслед – за ворота, за улицу, – и никогда не покидай свой очаг, который тебя согрел! И так тепло вокруг родной крыши. Под одной крышей родины и шелковицы. Лежишь – и так прохладно, и на лице фиалки все мира. И полусон, элегия, полуосень – началась золотая. Холодит лицо – с моря. И это высота – над рекой. Не видно ее. Но излуки зеркал видит день, денек. Кто-то говорит из мглы светящейся:'' И не вышло ничего опять. Проклюнулась беседка. Железная крыша почти покоя дальнего. И этого вина почти прожилки мрамора тронули горло''. Свет прибоя. И просто там, за реками синий вечер с кипарисами вдоль набережных – надо возвращаться туда. Море подступит к берегам. Вернет выгоревшие рубашонки и майки. Горы тепла и фруктов. Развернет все сражения на мечах и деревянных саблях. Там камыши, болота, наши лодчонки. Плантации красного перца – сладкого. И родники на холме под вечерним серебристым тополем. Вода ключевая – как будто пьешь серебро – всегда знобит и пропитана рассветом. Несет в ладонях целебные травы. Шалфея и подорожника.

Красная крыша предместий – занимает улицу, занимает море. Вот

и старик, безглазый, турок, с огромной темно-коричневой бородой, загорелый; любит по ночам купаться в море, долго сидит на песке. У него был дом на углу, возле базара, напротив огромного платана. Жены у старика не было. Были дочь и сын. Дочь – Тамара, очень красивая. На нее все предместье заглядывалось. Она ходила в синем сарафане. Потом эта семья исчезнет, как исчезнут все греки, все персы; все турки, живущие здесь, в этих краях, исчезнут в песках, в Кара-Кумах, среди казахских пространств. Так больше не вернутся в эти края. "Тогда и из нас, армян, готовили себе здесь слуг, – прокричит армянин-парикмахер, – готовили те, кто считал себя представителем более чистой и высокой нации, даже списки были составлены, чтобы и нас отсюда изгнать. Но потом эти люди, эти пришельцы, которые прибыли чуть раньше нас, но которые были поддержаны из губернского департамента свыше, поняли, увидели из своего кекелства, своего высокомерия, из своей спеси, что, кроме нас – некому будет обрабатывать поля, некому будет кормить их. И главное – как эти представители более древнего народа по сроку пребывания здесь – быстро освоились. Сначала их была здесь только горстка. Они сошлись где-то возле старинной гимназии, там подолгу сидели со своим скарбом, некуда им было деться. Потом потеснили какого-то старика, нашего, армянина, чуть укрепились, стало их здесь много, они стали прибывать на своих телегах, быстро укрепились, "и вдруг рассосались, впились в наши интернациональные нравы, и в нашем крае запахло расизмом'', – как скажет моя одноклассница Анна Кассова, мы все ее звали Нюрой. Но я не поддался нацизму. Произвел на свет трех сыновей, рассеял их в местной промышленности, и во мне всегда все сведения о перемещениях в настроении нашего края, нашей земли. Кушай, Костос, кушай, что на столе – все твое. Нажимай на маслинки. Насколько я тебя ненавижу – настолько же люблю. Ненавижу за то, что ты пошел в познании мира дальше меня, за то тебя ненавижу, но и преклоняюсь, что у тебя, в тебе больше живет общественного пульса, чем во мне. Ты больше горишь жизнью других. Я же больше зациклен на своей семье, сужен. Но, когда ты приходишь в мой дом, я чувствую себя человеком, как будто и я подвержен общественному пульсу, как будто – когда кормлю тебя – тоже подвержен борьбе за справедливость. Но я тоже иногда показываю свой нрав, свой характер, свою ненависть, когда одна нация начинает жить за счет другой, вдыхать ее кислород, когда одна нация начинает презирать

тот народ, за чей счет она живет, чьим трудом кормится. Тут недавно был малый хлеб-соль, я сидел с представителями пользующейся преимуществом нации, они подняли тост, провозгласили славу убийце всемирного масштаба Ниласу, рядом с ним и Ирод Великий был ничтожен по изощренности уничтожения своего народа. Этот Нилас – из шести лиц, которые должны были придти к Верховной власти в своем крае, которых рекомендовал умирающий Верховный правитель, уничтожил поодиночке всех, кого рекомендовал в Совет умирающий Верховный правитель. И вот эти ребята стал пить за Ниласа. Их было человек шесть. Я сказал, что пить за убийцу своего народа не буду. Я уже чувствовал нож в своей руке, если мне придется сражаться. Но те, с кем я пил, мои одноклассники в далеком прошлом, не полезли на скандал, успокоились сразу, хотя затаили зло. Видно, климат стал не тот для убийства, и почва у них летит из под ног – раз такие агрессивные насильники стали смиряться перед непокорностью, перед-фактически-оскорблением … Давай, что-нибудь прочтем, прочитаем, узнаем о колониях, о колонизации. Опять возьмем в руки старинный Энциклопедический словарь: "Колонизация – заселение к. – л. местности , обыкновенно вне отечества. Внутренняя колонизация – заселение какой-либо местности в пределах страны, у нас – Сибири". Колонизировать – заселять. Колонисты – переселенцы из другой местности или государства; у нас колонистами в частности называют немцев и других иностранцев, переселившихся в разное время в Россию, в особенности при Екатерине II, по вызову правительства для заселения пустынных земель и ознакомления русских крестьян с более совершенными способами ведения сельского хозяйства. Колониальные товары – сырые продукты, привозимые в Европу из колоний европейцев, преимущественно Вест-Индии и Индии. Таковы: кофе, сахарный песок, чай, пряности, хлопок и т. д. Колонии – 1/ поселения, основываемые государством или его жителями в другой стране. Смотря по цели заселения, различают: ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ КОЛОНИИ, основываются в малонаселенных странах: КОЛОНИИ ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫЕ – для приобретения политического влияния в стране: ТОРГОВЫЕ КОЛОНИИ (фактории) – для доставления отечественному производству новых рынков сбыта; КОЛОНИИ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ – для поселения лиц, подвергшихся уголовному наказанию, как, например, у нас ссылка на остров Сахалин; 2) у нас земледельческие поселения немецких, болгарских крестьян, евреев

и т.д.; 3) общества низших животных, связанных между собою органически, часто результат неполного деления или почкования: колонии часто бывают полиморфными, если среди них наблюдается полиморфизм".

Занимает улицу, занимает море. Вот и человек Ипполит, кто проверяет чеки тех, кто идет на рынок.

Подметенные дорожки, чистый асфальт, выкрашенные серым ларьки.

– Когда заканчивался базар, мама всегда оставалась.

– После всех.

– Она ходила между рядов – собирала непроданные фрукты.

– Разной степени порчи.

– Иногда попадались почти целые.

– И продавцы уступали по дешевой цене – все что оставалось после дня.

"Из-за этого небольшого количества залежавшегося товара, они не могли оставаться здесь и эту ночь. Все-то торговцы приезжие, особенно фруктами. Да и не терять же им весь следующий день. И если они продадут остаток рано – куда деваться им?! Вот и проводят время на базаре, как и все неиспользованные дни".

– Но такие фрукты были не очень хорошие, и на базаре, естественно, шли вторым сортом, когда мама уже зимой – выносила их продавать уже сухофрукты.

"От просушивания прямо на крыше они перегорали, делались жесткими, когда их переворачивали на другую сторону, отдирались вместе с красной краской крыши.

Высокое качество продукции получалось, когда фрукты сыпали на сушильни. С таким расчетом их ставили, чтобы продувались они ветерком. Воздух сухой сверху и снизу. И тогда сухофрукты – золотистые и пахучие".

– Их аромат разносился по всему базару и нашему саду. Почти по миру – щекотал ноздри. И возле моей мамы тогда стояла очередь.

"Видно, мама знала секрет просушки плодов, в который она не посвящала меня, в душе считая шалопаем, а на людях – еще маленьким – чтобы доверять фамильные тайны, почти как фамильные драгоценности".

– Запах точно стоял очень нежный, если учесть, что мама ничего не уступала по дешевой цене.

Но таких ароматных сушек у нас было мало, и мама выносила их на базар, когда другие начинали идти плохо. Она комбинировала сорта, чтобы спрос на те сушки был всегда высокий''.

– Но когда начинались дожди, мама будила меня и мы первым делом бросались к фруктам, аккуратными рядами разложенными на сушилках из-под бамбука, расколотого на двое и заключенного в грубо сколоченные рамки, почерневших – от сажи, еще когда была война, и никогда потом не смытых от копоти, потому что совсем рядом дымила труба кухни и ветер почти всегда дул в сторону крыши. Мама почему-то не мыла сушилки. Хотя сажа отставала от бамбука даже от прикосновения теплой воды. Или это как память о войне, когда эти сушилки у нас появились, и когда сажа от трубы – воспоминание молодости мамы, когда она еще долго ожидала отца с фронта – на перронах... Но сажа до того въелась в тростник, что сделалась уже не маркой когда слой ложится на слой, лег давным-давно.

"Мама, а тебе не стыдно стоять на базаре? Продавать знакомым?

"Сначала было очень стыдно.Я краснела, когда мне протягивали деньги. Когда папа ушел на войну, мне было двадцать шесть лет. Вас чем-то нужно было кормить?!''

– А это вот отрывки из любимой книги "Прибой'' – испанского или кубинского, по-моему, Гойписоло:

"..Направился к развалинам старого склада. Любители соорудили там футбольное поле, и ребятишки каждую неделю устраивали на нем матчи. Полоска земли, на которой приютилось предместье, постепенно сходила на нет, зажатая с одной стороны стеной, огораживающей железнодорожное полотно, а с другой – покрытым галькой берегом, куда выходили сточные канавы со всего предместья..

Последние бараки предместья были расставлены на берегу, словно игрушечные домики на шахматной доске...

– Ну, дядя... Посмотри, как я делаю "уходы''...

– А я делаю стойку лучше его, – сгорая от зависти, заявил Мариано'' (касательно бокса – К.Г.).

"Весь вечер шли с Сережей и Наташенькой по рельсам – товарной станции Москва-Ярославская.

Везде огни станции, синие огни, красные, а под ногами сор.

– В такие времена вспоминаю войну, детство. А воспоминания о войне самые близкие мне.

– Почему ты, интересно помнишь, войну? Я не помню ее, хотя мы и одногодки, – сказал Сережа Бандурян.

– Может, это свойство духовной организации, в которой с детства жил поэт, и чувствовать во много раз острее и глубже?! И почему это разруха станций напоминает о войне? Потому детство было в войне и ближе всего и почему это младенчество? Дальше всего от меня склоны те заветные. И дороже, потому что до детства уже труднее всего дотянуться, – поэтому и важнее всего входить в заросли, когда мы нагружены истоками''.

На груди и рубашках профили деревьев, сады и рисунки возвышенностей. Остатки дождя, листья, линии дорожек, видишь себя непроторенными дорожками, следами, каплями зеленоватыми, как будто удерживает тебя в ладонях слеза.

Всплыла рама окна и кусок жасмина на родине. И заполнил тебя полусвет, превратилась в лодку твоя грудная клетка и прочитала: "Вечер занимает нас согласно пейзажу нашего собственного сердца''. И от себя я добавил: "Какие мы, таков и день, прилегший у плетня''.

И дальше кукурузное поле, стебли, вскопан чернозем, и ты сам в капельках пота. Потому что не достает до тебя то дерево алычовое недалеко от плеча.

В стеблях прозрачные иероглифы как и все поле.

– Стебли лета растворяют нас в своем солнце; расходимся в прожилках, сетчатке, через них даже роса не пройдет; сквозь крышу сочится потолок, белые стены цветов.

– Занавеси легкие, прозрачные, разнесены по саду и перевоплощены в тени – подобие парусников.

"Как и мир после нас и при нас''.

– Такой же вечер, в окне северное короткое лето. Кто-то сидит у стола, пишит. На печи сушится хлеб, который продается сырым. Дрова тихонько трещат как сверчки.

– Уезжай, куда можно пойти.

– И здесь и там.

"Солнце вечернее. Блики на золотых крышах. Кому-то нужен. Женщина смотрит, спускается вниз к реке. Она не уходит. Тебя нет

– это не ты здесь. Раздвоение. Ты – там, где живет в тебе одно постоянное время и стоит. Как и будет стоять, умрет, словно меня нет. И как повторение: "Все боится времени, а время боится пирамид''. С огромными стражами, поднятыми к небу – сфинксы. А это я сегодняшний – на берегу другой речки по над ивами и камышами. И свирель припрятана, возле которой время застыло и стоит, словно раскрывается это мне навстречу площадь и этого тоже не знает. И этот сразу у печи сушит хлеб. У него не было ничего до этого. Ему уже за тридцать, а на самом деле и день еще не прошел. А тот так и грезит.

– Зачем?

– А у него нет времени. Оно кончилось для него. Теперь оно есть у тридцатилетнего, которому чуть больше дня. А тот что?

– Окружен своей нескончаемой площадью, ходит все там, иногда остановится у вечного огня, стоит, словно и был здесь всегда. Все отдал. Только возраст остановился и замолк. И с тем стуком началась жизнь другого, которому нет и белого света в помине кроме луча – из-за кукурузного поля.

– А он уже ходит по вагону, пьет пиво в ресторане, мимо мчавшихся чахлых сосен севера.

– Когда тот вернется, может второй встретит его, замершего на той площади, и тогда первый уже будет знать, может быть, куда ему идти.

– И женщина с пшеничными волосами, так похожая на ожидание... выходит на реку. В далеких плесах – ее косы и руки, выводят в переулки. С них то и высвечен весь Млечный путь ...

"В окне комнаты, где стоит стол – дышит печь за сарай, где таятся или находятся кони, за забор – через который вы смотрите за рваные, обещающие ветер красные тучи, зашло полярное солнце. Ночь здесь уже не была как день: лето перевалило за вторую половину...''

Поселок Лабытнанги, Салехард.
Гагры.1967–1972 г.

Здесь, вот, есть слова Жан Жака Руссо, великого французского просветителя, которые так близко касаются колонистов, странников, вообще людей ищущих, страждущих: "Я знаю, что мы вынуждены искать в чужих краях средства к жизни, в которых наша земля нам отказывает, и что нам было бы трудно просуществовать, не покидая ее; но пусть по крайней мере изгнание это не будет вечным для всех''. Эти слова, эти признания как будто про нас. И еще из "Евангелия от Матфея'': "Блаженны изгнанные за правду, ибо они есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде нас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы – свет мира''. Но ты, Костос парень, мужик с юмором. Ты столько скитался, столько спал на свалках, вдоль дорог, пока искал счастье, долю, пока ты набрел на счастье о заступничестве за других, пока в тебе проклевывался общественный ритм. Ты спал возле госпитальных ям, что ты уже так удобно устроился на меня на скамеечке, в кухне, на кухне с земляным полом. Ты уже совсем устал, и я проведу тебя, вернее отвезу на моей арбе домой, к твоим кипарисовым садам, твоей сакле, к дому.

Видеть плато, отдохновение, начало. Откуда начался путь. Там соткано из световых зерен. Немного песок, песок, желтоватый ковыль на обрывах. Подметенные ветром тропы, пути, пыль почти поистерта, сухо, босая ступня не холодит, не проколота колючками, старыми брошенными, забытыми гвоздями. Мальчуган в латаных трусиках крутится возле матери, на базаре, вблизи торговых рядов. Людей на базаре уже мало. Но мальчуган загорелый, коричневый, давно не стриженный, стоит возле женщины с миндалевыми глазами. Женщина начинает ходить между рядами. Начинает собирать непроданные фрукты. Груши, яблоки, персики разной степени порчи. Бывает, что и половина груши, яблока уже сгнила. Но все равно подобрать. Сложить, складывать в сумку, в кошелку. Иногда попадались целые, роскошные корабли счастья. Можно обтереть рукой, ладонью плод, приблизить к нему зубы и сосредоточиться в глубину сладостной пещеры, грота.

И продавцы, крестьяне из близлежащих деревень могли уступить женщине с миндалевыми глазами по самой дешевой цене. Из-за этого небольшого количества залежавшегося товара они не могли оставаться здесь, под открытым небом вторую, следующую ночь, проводить вдали

от дома.

Мальчик исчезает в глубину моря, потом снова появляется возле матери.

– Бывало, я приходил домой совсем рано, никого не заставал, и шел на базар, – помогать маме нести ведра с фруктами найденными, помогал нести домой кошелки различные, продырявленные, целые, тяжелые. Лежит в кошелках перемешанный персик, виноград, ягоды. Из этой всякой всячины, предварительно промытой, мама могла делать, варить удивительно вкусные вещи.

Давно понять из нашей бедности, что если красивый плод, фрукты, – то необязательно вкусный, сладкий. Заглядывать в глубину вещей, на замухрышку. Она пропитана солнцем, незаметна. Раскатывать пастилу из инжира. Особенно вкусна пастила зимой, когда на базаре уже ничего нет из сладостей, только что уроненных деревом.

Мы садились на скамейку перед ведром попорченных яблок, груш, слив, помидоров, алычи. У каждого в руке нож. Гнилое выковыривали и бросали в ведро с отбросами: пойдет курам, коровам, свиньям. Свиньи, чуя корм, повизгивали в хлеву, за сараем. Наиболее целые фрукты мы откладывали в сторону, чтобы потом помыв, положить в вазу. Ели сами, и гостям доставалось вволю. Самые лучшие, самые твердые фрукты отправлялись в подвал, пусть хранятся на празднества, сохранятся до праздников, пусть пульсируют, как самое дорогое напоминание. Что похуже, резали на части, на дольки, на доли, и когда ведро наполнялось, можно было подняться на плоскую железную крышу дома, в котором мы жили. Высыпать на эту крышу фрукты. Эту крышу бабушка называла "горище''. "Взбираться на горище!''. Наверно, потому это слово такое, что там жарко. Там сушились фрукты, меняли цвет в основном на коричневый.

Как и наш, мальчишеский загар, – завсегдатаев морских побережий. Нищенских, бедных. Все детство прошло, проходило в поисках лежащей на берегу моря, выброшенной волной рыбы, рыбешки, хамсы. Или пройдет веселый баркас, и кто-нибудь из рыбаков бросит на берег жменю – другую серебристого счастья. Проводить дни на берегу моря и становиться похожими друг на друга. Жить старинными и новыми историями, повествованиями, например, о том, что по соседству умер совсем недавно старик, он был не очень изношен временем, всего шестьдесят два года, но приключилась болезнь легких, злокачественная

от того, что много пил, курил, себя не берег; у другого кислое вино разъело сердце, разъело мочевой пузырь, вены истончило, что они лопнули, смешались с пространством, с землей.

Какой-то парень бежал по песку, среди госпитальных ям, брошенных, заполненных бинтами, бурьяном, противогазами испорченными, изношенными, среди увечных ям скитаться, споткнуться о колючую проволоку, о моток, упасть на песок, упасть за клубок змей, у них случилась змеиная свадьба. Змеи зашипели, стали расползаться. Но одна кинулась на руку, которая еще пока давила клубок, пытаясь подняться, выпростать руку. Змея вцепилась в руку, в ладонь, вцепилась сильно, провисает на человеческой руке, и человек ее высоко поднял, руку, пытается стряхнуть змею, она не отстает. Тогда парень зажимает ее между рукой и гимнастеркой, прижимает к боку, и змея отваливается, спадает с руки, с ладони. Змея сильно держала ладонь человека и испускала, испускает яд. Парень очень страдает, мучается от этой змеи. Он слыхал, нет противоядия. Попадает в больницу, лежит долго. Вблизи живет остров Сахалин. Тихоокеанская волна, она все время грозит развалом, уничтожением. Просачиваются многочисленные дожди, округа подернута туманом разноцветным, расслабленным. Болезнь отступает, отступает, яд змеиный захлебывается, переполнен соленой водой, нечем ему дышать. Появляется летучая мышь, и высасывает, выпивает весь яд. Врачи говорят, что этот парень теперь проживет долго, поднялся, фактически, со дна неисчислимо глубокого обрыва.

Нарастают ветра, и голубые полосы чернеют. Их больше нет. На зрачок намыт песок – и речной и морской. Образован холм в виде конуса. С него скатываются юные змеи. Но на дне холма, у основания холма живет мангуста, и вступает с ними, со змеями, в бой. Холм уже подернут кровавой пеленой, протекают уже кровавые ручьи.

Появляются захватчики, поработители. Их арестовывают аборигены, старые жители этой земли. Исконные жители.

У одного захватчика обнаруживают кисет, мешочек. Там оказывается около ста зубов, многие из них золотые. Захватчик убивал людей, разрывал рты, готовил добычу. Захватчиков повели в бамбуковую рощу, разбили головы копьями, каменьями. Появились откуда-то огромные собаки, и растерзали тела. Чтобы не было даже тления, остатков. Перемолото, переработано на экскременты.

Прослеживается ручей о парне и девушке. Парень долго ходил в дом

к девушке, девушка жила с родителями. Они ему стелили на втором этаже. Девушка спала на первом. В глубине рощи парень однажды принудил ее, эту девушку, к любви, к соитию. Пообещал ввести ее в свой дом. Девушка ему, парню, доверилась, он уже столько времени навещал ее дом, хорошо знал ее родителей. Девушка забеременела. Парень почти перестал, перестает появляться в доме девушки. Как-то подсылает к ней женщину; эта женщина говорит, гадает девушке на кофе, и якобы ничего не зная о тайной связи, просто по пророчеству, просто по рисунку разлитого кофе видит, что девушка носит запретный плод. Женщина советует ей скрыться в хижине лесной на короткое время. Туда явится знахарь, известный специалист, он безболезненно выведет плод, и девушка снова станет на выданье, не будет опозорена внебрачным ребенком, нагуленным. Девушка не соглашается на операцию. Потом узнает, что парень отказывается от нее, избегает. Девушка нервничает, мучается, свиданий не просит, работает много по дому, делает тяжелую физическую работу. Не бережет себя. Наступает время родов, и ребенок рождается мертвым, длинная пуповина обмотала шею ребенка еще во чреве, и он появился на свет уже неживой. Парень, как и прежде, не появляется. Но вскоре его настигает рок, справедливость, божья кара. Он начинает выпивать, и выпивший работает на строительстве дома. Будет как-то мокро, парень будет на крыше, сорвется, но упадет удачно, и в двух местах переломает ногу. Казалось бы простая травма, легко срастается кость. Но одна операция следует за другой, неудачные, нога начинает гнить, пухнуть, грозит перейти во всеобщее заражение крови. Умирает старый хирург, который неудачно лечил ногу. За дело принимается местный самоучка, костоправ Илия. Срывает гипс, промывает раны, правильно вытягивает ногу, налаживает тугой корсет. Нога начинает поправляться, но сохнет, начинает сохнуть. Так и остается парень калекой, еле бродящий, еле дышащий на костылях. Девушка сидит у себя в саду, на горе, на скамеечке вблизи кипарисов, и вяжет детские носочки.

Кто-то идет по тропе лесной, переговаривается с кем-то, со спутником: "Спрашивает Верховный у подчиненного, тоже занимающего ответственный пост:'' Что ж ты, Гелий так поступаешь... Ты долго работал в большой губернии, в большом губернском городе, казалось бы, наводишь порядок, мне писал докладные, что через столько-то лет –

в твоем губернском городе вообще исчезнет преступность. Я перевел тебя к себе, ты получил хорошее повышение, теперь разъезжаешь по колониальным странам, все видишь, все слышишь, купаешься в молоке, в шампанском купаются твои любимые танцовщицы, ты выполняешь большие задачи, справляешься с ними. Перед тобой свет, будущее. Значит и прошлое твое должно быть чистым, честным. Но я узнал, что ты вылез в губернские начальники за счет того, что продал нечестно своих старых друзей; они к тебе приходили в гости, ты их вынуждал на искренние беседы касательно губернских дел, провоцировал их на подлог, потом они уходили, ты записывал эти беседы подробно. Приехал в стольный град, и передал все эти сведения выше. Они прошли нужные инстанции, и твоих товарищей, друзей с кем ты начинал жизнь, с кем провел свое первое море, – оказались за решеткой. Некоторые там же, находясь в неволе, не привычные к суровой жизни, покончили жизнь самоубийством.. Теперь, в связи с тем, что ты получил повышение, на твое место в губернии пришел новый человек; я его назначил, хотя ты хотел другого. И этот новый начальник губернии почти всех с кем ты дружил, находясь на губернском посту, пересажал. Они все оказались замешанные в крупнейших махинациях. У многих нашли по десять килограммов золота, нашли под кафелем в ванне. Нашли в саду, под вековым деревьями. На что ж ты, смотрел, Гелий? Я тебя приблизил, повысил. И вот сейчас думаю – а не готовишь ли ты мне яму? Я тоже снимаю людей с высоких постов, которых время изжило, но я же начинал свою жизнь честно, к власти я же не шел по трупам своих друзей. Вот что видится мне, когда я узнал твою подноготную: ты есть та новая змея, от которой пока нет противоядия. Ты как новое ископаемое, не изученное. Но это и есть суть двигающегося, развивающегося времени, которое дает, изрыгивает из себя новые продукты эпохи, следствие эпохи: чем развитее страна – тем изощреннее подлость. Но во времени тоже – чуть заминка, чуть оторопь от подлости людской. Она, эпоха, сразу не может найти противоядие против тирании, не может найти сыворотки, изобрести. Но все равно находятся новые бойцы, ученые – и поражают заразу. Я, может быть, тоже наберусь силы, смелости, и восстановлю город на севере, вблизи Гессельдорфа, назову вновь его тем именем, откуда собственно и началась лет триста назад эта великая болотистая местность. Это сподвижник тащил ее к цивилизации, бороды брил богатым людям, чтобы они шли на соединение

с Западом. Хотя лично я против этого витка. Мне всегда была ближе местность, где дышит мир и воздух старинной древностью, где много магии, пророчества, много старинных избушек, изб, затерянных в глубине жизни, где старухи варят месиво и колдовской навар и излечивают этим наваром, этими лекарствами, этими травами верующих. Но все равно – нельзя уничтожать память о великом сподвижнике, не жалеющем живота своего во имя движения. Как сказал о нем поэт: "Он – великий был работник. И нельзя производить эту ничего не значащую замену, нельзя подбивать прошлое на дешевый марафет. Столетия пропитаны именем этого великого работника – государя, и нельзя этот мрамор, этот дух, – который и построил этот храм, который до сих пор и освещает нас, – раскачивать, колебать, множить на осколки. Кто восстанавливал место их топи – тому там и стоять..''.

Больше девушке ничего не слышать, не слыхала: голоса унесла, скрыла огромная кипарисовая роща.

И к девушке пришло видение в ее городе, на окраине, вблизи порта заброшенного. Якобы на берегу моря кто-то ворочает котел большой, выше человеческого роста. Ветер, летят листья, надвигается шторм. И подойти ближе, увидеть, что в котле кипят человеческие внутренности. Но так все отдельно, не смешиваются легкие, кишки, почки, сердце... Девушка идет перевести дух на холм, он живет вблизи моря, вблизи узкой полосы, и видит множество умерших людей; была буря, большой корабль вынесла на мыс, разбила. И у людей раздроблены кости, руки, ноги, нет голов, лежат тела, перемешаны, пересыпаны песком, мелкой и крупной галькой. И там, где мать этой девушки обычно собирает дрова, у устья речки, впадающей в море, лежит труп, и голова отрезана так ровно, так прозрачно вдруг становится на свете, что через горло, через срез как через просвечивание виден желудок, видны почки, печень, половые органы, когда они рассмотрены через все тело, когда оно расположено, стоит вертикально. И буря еще надвигается, и грозит прибить к берегу парус. И с гор начинает в это время спускаться бабушка этой девушки. У бабушки вырваны ноздри. Бабушка уже умерла давно, но как живая, садится рядом. И девушке уже не двадцать лет, а семь лет. И бабушка говорит: "Вот я скоро умру, а этот персик хороший. Вы, дети, берегите его...'' Девушка прерывает наваждения, сны, грезы. Смотрит, видит, что персика того очень вкусного

давно нет на белом свете. Он вскорости после смерти бабушки высох. Бабушка недолго еще жила после того разговора о сохранении персика. Подолгу лежала, не поднималась. Уже не хотела жить, таяла, жизнь от бессилия потеряла для нее прелесть. Бабушка перед смертью все-таки встретила того парня, который опозорил ее внучку, и говорила ему очень вежливо, что если не хочет он жить с ее внучкой – не надо, никто его не неволит. Но нельзя, чтобы он и внучка были врагами. Бабушка боялась, что если она, по-хорошему не поговорит с парнем у которого не лады с совестью, который гниет на корню, еще от юности начал гнить, – что он может от злобы, что у него после того, как он обидел ее внучку, ничего не стало получаться в жизни, может подстеречь ее, внучку, и убить. Или подослать друзей для убийства в глубине оврага, в глубине орешника, затерянного в пещере.

Фрукты чуть подгнившие, побитые, вырезаны по краям ножом, мелко нарезаны, ровными дольками, поднятые на крышу железную, крашеную. Сохнут, просушиваются. Такие сухофрукты идут не первым сортом, когда мама уже зимой выносит, выносила их продавать на базар. Летом, на жаре, от просушивания очень энергичного фрукты часто пересыхали, почти перегорали, делались жесткими; когда их переворачивали на другую сторону, отдирались вместе с красной краской крыши. Конечно, покраска, крыши была некачественной; новый слой краски лепили на старый, поистершийся, не снимали наждаком, или металлической щеткой старый слой.

Было военное время, женщинам детям и старикам надо было лишь продержаться до лучших, мирных времен.

Высокое качество продукции получалось тогда – когда фрукты сыпали на сушильни.

С таким расчетом фрукты посыпали на сушилки, чтобы сушилки и фрукты продувались ветрами. Воздух сухой снизу и сверху. И так дни и ночи напролет. Прикрывать в звездные ночи, чтобы фрукты не сырели от вечерней и рассветной росы.

В сухие и солнечные дни открыты очи плодов, как и очи человеческие, звериные, птичьи, рыбьи. Также осмысленно и пристально к протекающей жизни. Сухофрукты от солнечных дней – золотистые и пахучие.

Их аромат разносился по всему базару, по нашему саду, почти по миру, щекотал ноздри.

И возле моей матери на базаре всегда стояла, жила, пульсировала

очередь за фруктами.

Застаивался, жил запах очень нежный, устойчивый.

Так все сухо. Можно спокойно спать по ночам, сушки не продувает ветерок, раскачивает деревья, кусты, занавески, нащу извечную бедность, еще идет война, стены истончаются от ожидания, становятся прохладными, сквозят.

Совсем рядом кухня. Она дымит всегда. Всегда бабушка наша – латышка поддерживает огонек жизни.

Ветер в наших краях всегда почти морской, и дует в сторону крыши.

Потом я долго болел. К нам тогда часто приезжал родственник с гор, брат мой двоюродный, кряжистый, работяга; матери все помогал, руки у него было всегда в мозолях, не проходила эта упрямая, твердая желизна рук, ладоней. Мне все казалось, что если он кого-нибудь ударит этой каменной ладонью – убьет сразу, не отходя от кассы. Там, в нашем селении, потом в уездном городе, где я лежал в больнице, в лазарете, бабушка, старушка-санитарка, всегда говорила мне, произносила. "К тебе сумасшедший родственник пришел...Такой стремительный, быстро говорит. Но видно, что душевный''. Все просила меня писать моему брату записки, что я жду его. А я записки тогда писать не мог, я терял все время сознание.

Вечером я тихо убегал из лазарета, когда уже прозвонил отбой, вылезал через окно, и мы шли гулять по городу. У знакомых забирал свою одежду. Ходили по улицам, дышали морем освежительным.

Редки были огни керосиновых ламп, синие огни гор, красные. Под ногами листья. На душе было тревожно, позванивал и мерцал разными огнями горизонт, темнел, страшил. Я жил состоянием перемен, жил сражениями, которые мне предстояли, я словно готовил себя к ним.

Грудную клетку земли разворачивали неистовые волны. Они поднимались из глубин на поверхность, и разбрасывали по частям город, селение, берег, пытались поднять на себя горы, но не могли. Горы были далеко и перегорожены километрами земли. Море разбивало линию береговой полосы, каменной набережной. Как на ладони – маленькие перед стихией просматривались буны, плиты, горы земли, завезенные телегами, тачками, чтобы отдалить море от города; корни деревьев, акаций, особенно кирпичи, камни, продолговатая изморось, развалины хижины, громоздились груды; море подходило к домам, разворачивало берег и саклю, прикрытую циновкой. Рядом с крохотными лодчонками;

мокли под дождем железные, фанерные, деревянные. Светился фонарь.

Стыла ночь. Люди то и дело подходили к своему причалу.

Дальше шли военные лагеря. Они были надежно прикрыты дамбой. Дамбой была прикрыта и рыбацкая артель. Вблизи рыбацкой артели покоились огромные баркасы. Чуть выше причала – дома рыбаков. Не забивало волной домик, саклю старого рыбака, основателя рыбной артели, старейшего грека Яни Кисиди. Волны все шли и шли к берегу, просматривали с высоты своих водяных горбов окна, щели старой хижины, где сейчас не было рыбака. Дом как будто входил в море, и был мысом, о который разбивалось могущество моря. Огорожено сухими стволами деревьев, стволов, врытых в землю, и сверху присыпанных песком, галькой, присыпано основание, начало деревянного сооружения. Редко доставала волна и подножие хижины. И чердак и чистый воздух глаз, где уровень горизонта всегда загораживал вечный косяк кефали. Никто не мог разглядывать, замечать косяки кефали, а в глазах Яни словно жил перископ волшебный, дальнозоркий перископ, особый прицельный, все видящий глаз. Кефаль серебристо разворачивала серебристую дорожку, и грезила возле дома старого рыбака.

Яни высокий, с белой, чуть рыжеющей от вечного мундштука, бородой; с длинными волосами, спадающими на плечи; лицо морщинистое, голубое, с голубыми глазами.

Гагры. 1976 год,

СУУК-СУ – ЖАЖДА РТА

Декабря 2002 года. Гагры.

Вблизи старинного Дома рыбаков. Построенного из деревяшек, из досок, прибитых к берегу морем, штормом, бурей.

Построенного от начала тридцатых годов двадцатого века.

Когда здесь еще ютились кузни персов, хижины греков, так начавшие молодеть маслиновые деревья – такие редкие вдоль Черноморских берегов к началу века. И так распространенные, распространившиеся от Афонского Симона-Кананитского монастыря. От монахов, которые начали разводить сады из маслин. И все эти одноэтажные бараки рыбаков прикрывают вот уже много лет четыре огромных дубовых

пробковых дерева.

И как часто подвыпивший родич рыбаков Коля Фоменко, красный на лицо, на тяжелое нищенское детство почти шестидесятилетней давности.

– Местечко на горах, на уровне очень крутого поворота, – дали нам землю в местечке Суук-су. Там жили армяне. До этого жили греки, которых уничтожил отсюда главный вампир СССР в конце тридцатых годов двадцатого века. Воды так было очень мало. Копили дождевые капли, дождевые цистерны, дождевые вмятины в камне, в камень. Выбивали в камне ниши для хранения воды дождевой.

Место тяжелое, зато далеко от моря, далеко от врагов, которые могли появиться от моря, и грабить население города, близко лежащий к морю поселок.

Жить в глубине гор – это защищаться от нападения внезапного. Враг же не сразу начнет распространяться в горы, когда и вблизи много добычи.

Брат работал в годы Великой Отечественной войны в пекарне, и с большим трудом мог иногда вынести тайно из пекарни буханку хлеба. Тогда, во время войны, все было очень строго. Все подчинено борьбе с немцем.

Сразу срок, сразу расстрел, сразу пошлют в штрафные роты. Но брат все же вынес буханку хлеба, чтобы отнести матери, которая работала в горах, на огороде, выращивала свеклу, морковь, картофель, кукурузу. И были так голодны, что пока шли босиком по острым камням альпийской дороги к матери, которая не ела уже три дня, мы с братом поели почти всю буханку хлеба. Стыдно и горестно до сих пор.

Мой отец – тысяча восемьсот девяносто четвертого года рождения. Работал на рыбзаводе бондарем, делал бочки для заготовки рыбы, для отправки на фронт.

Когда уже шла война – отцу было под пятьдесят лет.

И отца призвали на фронт. Пришла повестка из военкомата.

Тогда директор Гагринского рыбзавода Цхелия пошел в военкомат и сказал: "Если вы возьмете на фронт Фоменко – закрывайте рыбзавод. Некому будет делать бочки для рыбы, для фронта..'' И отца оставили, продлили ему бронь. А у этого Цхелия была очень красивая жена. Звали ее Оля. У Цхелия было двое сыновей.

Рядом с турком стоял его дом.

Цхелия завел роман со своей секретаршей Любой Ворцовой.

Начал с ней таскаться по горам, по весям.

Жена Цхелия обиделась на мужа, подала на развод, поделили дом. Осталась жить с двумя сыновьями.

Такая история из времен войны. Нашумела в Гаграх. И надолго, навсегда мне запомнилась.

– Но насколько мне известно, Гагринским рыбзаводом руководил всегда Хута Абшилава. Откуда, кстати, он? Из каких краев приехал?

– Хута – местный, гагринский. Сразу после войны, когда куда-то исчез Цхелия, Хута начал работать директором рыбзавода. А начал Хута с простого приемщика мандарин.

– Я помню эти послевоенные времена. Рыбы много. И ящики с рыбой были везде. И таким жиром отслеживались, отблескивались, янтарно. И пиламида, и скумбрия огромная на рост. И такие мигрельцы все – по продаже рыбы – небритые; чернеющая с сединой борода, скулы небритые. Все эти мигрельцы в рыбной шелухе, стоят по углам улиц у своих прилавков. А глаза блестят, чуть налитые сладчайшим вином – таким желтым, прозрачным. И марки вино "Столовое № 5'', "Столовое №7''. Литровые бутылки, зеленоватое стекло, под шампанское.

И сейнеров много на причале, у пирса старогагринской пристани. И на якорях качаются.

Ждут приема рыбы

Тогда мощно работали холодильники.

И наши рыбачки из Дома рыбаков – рабочие рыбзавода – таскали эту рыбу свежемороженую под блузками, под грудями, под лифчиками и продавали у своих домов. И если этих рыбачек нагонял милиционер, они говорили: "А ту рыбу наши мужья привезли на своих баркасах..''

Хотя все знали, что такие мощно движущиеся позвоночники рыбные, рыб глубоководных – рыбаки гагринские со своих хлипких баркасов достать не могли .

Хута Абшилава учился в одном классе с Сашей Мукба.

Саша Мукба прошел войну, прошел плен, прошел во время войны Великой Отечественной жизнь краткую во Франции. Мог бы уехать в Америку, мог остаться богатым во Франции. Но Саша Мукба настолько любил свою Абхазию, Гагры, что вернулся после плена домой.

А ему (как и всем великомученикам, вместо того, чтобы согреть, наградить) – давали от имени Сталина, от имени СМЕРШа /

карательный орган во время и после войны по борьбе с военнопленными, СМЕРш – по простому СМЕРТЬ ШПИОНАМ) двадцать пять лет лагерей. А когда после смерти Сталина все военнопленные вернулись домой, Хута Абшилава, будучи директором рыбзавода, как старому своему школьному товарищу, дал Саше Мукба ордер на вселение в новую квартиру на Пицунде в только что строящемся доме от рыбзавода.

Саша Мукба отказался.

В скором времени Саша Мукба уехал на житие в Ростов.

Все это история Гагр, и она не должна быть предана забвению. Каждый ее штрих бесценен, – говорит Коля Фоменко, старинный житель Гагры; абориген. – Всегда живая история. И она с общими аналогами о дружбе или ненависти не совпадает. Не совпадает с общей установкой на насилие или на террор. И просвечена только на голые ступни на острых камнях, на урочище Суук-су, на школьные годы под медленно текущий, тлеющий блюз.

26 марта 2005 года. Гагры.

Из Вовки Эгуш, из почти семидесятилетнего возраста. Из послевоенного гетто – в годах так тысяча девятьсот сорок восьмом, сорок девятом, пятидесятом.

Вовка и сейчас на внешность самоуверенный, лицом агрессивный. Одно ухо надкусано, почти оторвано, видны резцы, шрамы.

– Вовка, ты когда в детстве лез в драку, ты боялся?

– Конечно, боялся. Но преоделовал страх.

– Я помню, – говорит грек Костакис, – как Гурген Кшнаворян, сам маленький, лез в драку с Купцом, таким здоровым, кучерявым парнем.. Гурген упрямый. купец уже два раза бросал на четыре кости маленького армяна. Сажал на песок возле Лесосбыта, возле разрушенного кафе. А Гурген все равно лезет, лезет. Весь в крови, а лезет, лезет на Купца. И итоге Купец испугался, что убьет Гургена, сам убежал с поля боя...

– А ты помнишь, как я один отлупил сразу двоих – Рыбздика и Гургена? – Это Вовка Эгуш по прежнему не желает уступать место боя, хотя прошло уже почти шестьдесят лет.

– Нет.

– Тогда я порвал лицо Рыбздинку возле губы порвал, потом сшивали губу. Лоб рассек Рыбздику. Я луплю Рыбздику, а сзади на меня прет Гурген; маленький упрямый армян влезает на спину, и почти откусывает мне ухо. Теперь, когда мы встречаемся изредка, я всегда показываю Гургену свое порванное ухо.

– А зачем вы дрались?

– За первое место в районе нашем старобазарском, старорыбацком.

– А я был всегда слабый, всегда жил на задворках, почти пресмыкался перед сильными. И сейчас хочу добавить уже из старости нашей перед сильными физически, но горбатыми внутридуховно. Потому что по истечении лет никто из сильных внешне не стал в итоге мыслителем.

– Я помню, как боялся Леньку Карасева. Он был на два года старше меня. Но я его все равно отлупил, лицо сильно расквасил. Он побежал за ножом домой. Прибежал ко мне к калитке, кричит: «Выходи, я тебя зарежу..» Я потом несколько дней на улицу боялся выходить. И хорошо, что к тому времени Игорь Андреев пришел из армии наш сосед. Я ему все рассказал, пожаловался. И тогда Игорь при встрече сказал Леньке: «Он тебя победил в честном бою... А что ж ты ножом с бегаешь? Если хотите, можете снова подраться один на один.”

Но Ленька не захотел.. А помнишь твоего соседа Митьку Макиди, грека. Он сто лет назад из-за своей нищеты своровал из магазинчика на старом базаре колбасу. И ему дали пять лет. Он на то воровство меня тоже звал. Но я отказался. Я в тот вечер наелся в саду чужом кислых яблок и от этих кислых яблок уснул. А Митька агитировал одного русского парня – Саргакина. Они разбили стекло, вытащили колбасу. Но их заметила соседка и выдала милиции. Фамилия соседки была – Хожейко.

– Да, я знаю. Наш сосед милиционер – дядя Шура настоял, чтобы Митьку посадили: “В тюрьме Митька выпрямится...”, – говорил он, когда соседи стали собирать деньги, чтобы передать в милицию, чтобы заплатить за ущерб.

– Да, тюрьма здорово исправляет. Митька, когда вернулся из тюрьмы, он был весь нашпигован блатным говором, слогом, сленгом.

– Меня лично он почему-то стал называть: “Сифонный Кот...” Может, от того, что я заикаюсь.

– Этот Митька как только пришел из тюрьмы, стал более взрослых ребят учить боксу. Собирал у себя в доме, в подвале очень тесном, узком. Весь пол был засыпан опилками из лесозавода, который работал рядом.

– А зачем эти опилки?

– А для тех, кто будет падать на пол, на землю от ударов, чтобы у них не было травм. У Митьки была чисто атлетическая фигура. Плечи очень широкие, торс узкий, как у танцовщицы из Большого театра, как у балеруна – профессионала. А ноги очень тонкие, слабые. И когда мы с ним боролись, Митька старался свалить меня только при помощи рук. Но я всегда его опережал с помощью своих ног, с помощью "подсечки''. Есть такой прием в вольной борьбе.

– Потом у Митьки было еще много побегов из тюрем. Митька чаще после побегов скрывался в болотах, на Гнилушке, в стороне озера Инкит. Там его ловили. Сильно били. И добили до того, что он заболел туберкулезом. В милиции у него отбили легкие. В те времена начальником Гагринской милиции был Метия. Время сразу послевоенное, после Великой Отечественной войны. Потом этого начальника милиции очень жестокого, застрелил один армян, живший высоко в горах. Когда Метия пришел его брать, этого армяна молодого, армян из окна своего дома выстрелил, и почти отрубил одно легкое у начальника милиции... Митьку-грека впоследствии списали из Кировской тюрьмы. Он был уже безнадежен от вечных побоев. Мать привезла его в Гагры, поместила в туберкулезную больницу, где он вскорости и скончался. Похоронен рядом с отцом – чаландарем, который умер от простуды. Такая загадочная и печальная история нашего местечка, дорогая для тех, кто здесь родился и вырос.Такая дорогая и печальная уздечка под будущий эшафот.

1996–2005 год, Гагры.

КОРОЛЬ НА ПРОРЖАВЕВШИХ УТЕСАХ

Семье Павличевых

Декабря 2002 года Гагры.

От вечера возвращаться с похорон молодого армяна, сорокавосьмилетнего, умершего по дороге из Абхазии в Россию, через пост Псоу, через реку бурную, дождливую на изморось, на валуны у самого моря.

От высокого, мощного на торс старика, на изюминку улыбки, от

общего географического происхождения, от места, где так много протекало, таилось болот, залежей и привкусов заразных комаров.

Старик подвыпивший. Идет по дороге с греком Костакисом вдоль железнодорожного полотна.

Полотно – в бузине, в зарослях ежевики, в высоком инжире, в соснах, в холмах от прошедшей любви, от надвигающейся любви.

И, конечно, нужно успеть на память. И так много пропущено, пробито насквозь, не удержать. Провалы под гроб, провалы под волдыри, провалы под лягушатник, где и откуда так сладко проживает былье, былое.

Такая мощная старческая одежда – всегда в камуфляже, в комбинезоне из английской шерсти. Не пропускает ветер, мороз, не пропускает иней и дышит на эшафот.

Уже поистерлась гимнастерка и кости согревают солнце тем, что трутся от солнца во время ходьбы. Во время сна кости стариков подталкивают солнце и луну к сходу в долину, где проживают тени из фиолетовых занавесок.

– Я с двадцать пятого года. Тысяча девятьсот двадцать пять. Родился на Шапшаловке. Этими болотами и утками дикими забиты мои вены до сих пор. Хотя болота давно высушены.

Но остался родник от которого росло в наши года – конец тридцатых – огромное персиковое дерево.

От тех мест жили Желтуновы, Соловьевы, Михайловы, Павличевы, Инапха... До моря шли кукурузные поля в ежевике, в змеях, в диких кабанах, в гадюках, в ежах.

От наших мест шло Шапшаловское кладбище, где начали хоронить убитых солдат еще от Первой Империалистической /Мировой войны/ . Там еще лежали австрийцы. Были узорные ограды. Теплилась часовня, церквушка для отпевания.

Мой отец Аким Павличев работал на фаэтоне – извозчиком. Возил людей от Старых Гагр до Красного Креста. Редко кого возил до селения Бзыбь. На такие большие расстояния редко кто соглашался из извозчиков.

Из нашего двора долго не уходил запах лошадей, которых отец держал.

Отец деньги за провоз, которые получал с пассажиров, рассовывал по карманам. И когда возвращался домой, к вечеру, деньги, разбросанные

по всем карманам, заставлял искать и выкладывать на стол нас, своих детей, двух сыновей – меня, Виктора, и Александра, будущего знаменитого футболиста, центрального нападающего гагринской команды в течение двадцати с лишним лет. Повсеместная кличка моего старшего брата была – Король. Так он великолепно справлялся с обязанностями центрального нападающего Гагр – пятидесятые – семидесятые годы двадцатого века. Сколько раз моего старшего брата звали в столичные клубы Москвы, но брат не хотел, не мог бросить свою родину – Гагры. Только на фронт Великой Отечественной войны отлучился на короткое время – пять лет, чтобы снова вернуться к истокам, к своему заветному роднику, от которого росло всю нашу жизнь персиковое дерево, огромное как терриконы, где-нибудь в Донбассе, где брат служил мотористом.

Эти терриконы в ночи уходят как головы ибиса. Головы как будто отсекаются от туловища, покрыты вечно прогорающей лавой, не остывающей.

В конце тридцатых годов мы все притаились. Началось время доносов. Сосед доносил на соседа, и тому давали десять дет – всегда пятьдесят восьмая статья – политическая, контрреволюция, саботаж, борьба с советской властью.

В те годы пропал и твой дед, товарищ Костакис, Григорий Максимович Соловьев. Как раз Нестора Лакоба Берия объявил врагом народа. А Лакоба тогда был Председатель ЦИК Абхазии. Берия позвал Лакоба в Тифлис – и там отравил. Следом Лакоба был объявлен врагом. А дед твой, который любил выпивать, как-то у себя на чердаке, на крыше, под звездами, куда поднялись и его соседи Мельников и Севастьянов, сказал: "А что плохого сделал Лакоба? Он был хороший человек..'' И в эту же ночь в окно вашего дома постучался НКВД. На деда твоего донесли его же товарищи. Мельников тогда работал в милиции. Деду дали десять лет без права переписки. Это означало – конец. Дед так и не вернулся. И где исчез, никто не знает. В каких краях замучен.

В те годы одним из начальников гагринского НКВД был Жуков. Огромный мужик – однофамилец знаменитого полководца.

Мельникова потом выгнали из милиции. Он работал зав складом. Сделал растрату. Дали что-то много, не меньше пятнадцати лет.

А сын милиционера Мельникова хорошо играл в футбол в нашей гагринского городской команде. Кличка его была Цилимбина. У Цилимбины была узкая голова, чуть обостренная на конус. Он рано

погиб в Днепропетровске. Ходили слухи, что его сбросили под колеса трамвая в самом начале шестидесятых годов. Обокрали, раздели и выбросили из вагона. Ему было чуть за тридцать. С вершины наших годов, почти восьмидесятилетних, почти мальчик был этот Цилимбина, когда пропал.

Я получаю пенсию российскую как участник, как инвалид Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Еще до начала войны в Гаграх, в гараже гагринском, который назывался "Союзтранс'', находились механические мастерские. Это – где сегодняшняя почта, гагринская администрация, бывший гагринский райком... Гараж был большим – вплотную упирался к железной дороге, к полотну. За полотном железной дороги начинались леса, горы, шакалы, волки, дикие кабаны. Это конец тридцатых годов, начало сороковых. Часто у пьяниц, оставшихся спать на дороге в этих местах, шакалы отгрызали ногти и пальцы. Пьяница -то настоящий спит беспробудным же сном.

В этих механических мастерских мы с братом работали. Брат – с 1918 года, я – с 1925. Мне – четырнадцать лет, брату двадцать два, двадцать один.

В наши механические мастерские привозили на ремонт дизеля, моторы со всего Черноморского флота. Из Одессы не везли, из Севастополя не возили. Но из Туапсе, из Новороссийска, из Анапы возили.

И мы в составе бригады ремонтировали повреждения. Слесарили. В самом начале войны мы тоже работали в этих мастерских. Потом брата забрали на фронт. И долго мы о нем ничего не знали. По мере приближения фронта к Гаграм механические мастерские почему-то закрыли.

Я с ребятами-малолетками записался в аэроклуб. Тех, кто учился на парашютистов, накладывалась бронь. Мы были как бы в резерве.

Наш штаб располагался, где раньше был гагринский рыбзовод.

Война нарастала. И я понял, что скоро с нас, с будущих парашютистов, снимут бронь.

А тут как раз в Гагры в военкомат приехал майор из Ахалцихского погранотряда. Тогда в стороне от Турции, от Джавахети, было спокойно. Мы попросились в этот погранотряд. И майор нас с удовольствием выпросил из нашего гагринского военкомата.

Наш погранотряд был недалеко от озера Хазапин. В погранотряде

было человек тридцать. Мы ходили в караулы, на стрельбы. Ходили вдоль перепаханных полос, вдоль колючей проволоки, вдоль турецких солдат. Нарушений почти не случалось. К концу моей службы – сорок седьмой, сорок восьмой год – начали вести через колючую проволоку электрическое напряжение. Чуть что – вся застава в ружье. Стоит задеть провод даже шакалу, волку, собаке.

Зимой там холодно. Ветер с ног валит, песок как стена непроницаемая. Температура – минус тридцать пять. Летом жара.

Питание – хорошее. Иногда отпускали в увольнительную. Рядом с нами жили армяне, армянские селения. А мы молодые. Нам хоть какую-нибудь деваху, хоть бабушку. А они, армяне, по русски – ни бэ, ни мэ. Мы им по пальцам объясняем что надо солдату. Конфеты предлагаем этим армянам, пряники. Куда там! Ни в какую. Там же дикарские отсталые обычаи. Там и пальцем нельзя к женщине притронуться. Убьют.

Тогда мы зачастили в духоборам, к староверам – в селения, которые когда-то благословил на жизнь в Грузии – еще сам Лев Николаевич Толстой. Село Богдановка. Там нам отказу не было никакого.

Там улицы широкие, сады ухоженные, живности много.

Водка льется рекой. Там нам хорошо было.

В этих местах давно уже жили русские молокане, староверы. Были работническими людьми, первопроходцами на этих жирных пластах земли.

От мелких лужиц нагрузили, заставили, поселили в эти мелкие воды рыбу разнообразную – лещей, карасей, сазанов. Создали перемежающиеся пути. Создали взаимный перехват. Открывали запруду из одной лужицы в другую – вода уходила, протекала, и оставались на дне озерца рыбы различной тяжести, различного веса, различной окраски – золотистой, сиреневой, желтеющей, бледно-розовой.

Светили звезды, солнце, ветра, весны. Было хорошо на прожитую стезю, стерню, на брусчатку у мраморно-чернеющих дорог.

Сыры огромной тяжести плавали в водоемах метровой, двухметровой глубины. На всю округу славились жирные, отточенные на янтарь. На арбах, на подводах, на бричках развозились, разносились, распространялись, передавались.

И из разношерстного люда, из мрачного настроя души позавидовали этому распространению, этой слаженной плотине благоденствия.

Построили разные уловки, разные козни по выживанию этих работных людей их этих мест, вытеснению из этих мест, светловолосых, белеющих на цвет души, на цвет кожи.

После магии благоденствия распространились черные волосы, черные загулины, черные наброшенные отвертки, удавки, крючки. И все захирело на плазмы навоза, месяцами не убираемого. И скотина оставленная людьми выдающимся на труд, на новшества быта, новшества ведения старинных хозяйств перемерла, истощились от недосмотра. И опустели эти озера, эти пути. Превратились в затхлость, в болото, в непроветриваемый песок. Где только злыдень из волков перебирает посох и скальп и проржавевшую удавку. Запахло нацизмом из Тифлиса. и староверы русские исчезли из этих мест, исчезли эти работяги-великаны.

– Вы же жили вблизи озера Хазапин. Охота была на уток, на селезней..

– Куда там? Там – один выстрел – это тревога на всю границу. Это война. И совсем рядом с нами эти утки плодились, жили зимы. Плавали, как в заповеднике. Погранпункт назывался Агдаш. Это с турецкой стороны. А ехали домой мы через Ахалцихе, через Тифлис. Из гагринских ребят со мной был Кочконян. Тот, с кем мы и поехали в погранотряд из Гагры. Семь лет я был в армии. Остался жив. А старший брат Саша тоже вернулся живой из армии, из войны. В самом начале службы – был отправлен в Павлодар /Украина/. Попал в плен, когда немец пошел. Бежал из плена. Ранен в обе ноги. После побега, как ноги едва подлечил, был сигналировщиком. Сигналировщиком встретил Победу 1945 года. И все же преодолел боль в ногах, стал знаменитым гагринским футболистом. Он и остался в памяти Гагр-Королем. Брат и головой хорошо играл. Меня называли – Брат Короля. Я играл слабее, чем старший брат. Ни особой точности в ударах, ни видения поля. Я как бы слабая тень моего старшего брата.

– Как бы сказал Пастернак про Маяковского: МНЕ ХОРОШО В ТВОЕЙ БОЛЬШОЙ ТЕНИ...»

– К старости я приболел. К старости СССР развалился. Я остался в Абхазии, на родине. Нужно было как-то выживать. И я подумал о пенсии, вспомнил, что во время войны я работал в механических мастерских в "Союзтрансе''. Послал запрос в архив в местечко под названием Гатчина. Там хранится архив Черноморского флота. И мне прислали подтверждение. Потом это подтверждение получил и мой

брат-Король.

– Подожди, насколько я знаю, архив всесоюзный находится в Подольске, под Москвой.

– В Подольске – архив всей Советской Армии. А в Гатчине – Черноморского флота.

– А отец, мать когда умерли? Сколько им было лет?

– Отцу Акиму семьдесят пять. У него ноги сильно стали болеть к старости. А мать умерла, когда ей было всего шестьдесят пять лет. Не старой была.

У нее была одна особенность. Мама любила во время жары – спать под кроватью. Расстилала матрац, простыни, подушку. "Зачем ты это делаешь?'' – спрашивали мы, ее дети. "– А здесь прохладно'', – отвечала наша мама.

Мама наша была в девичестве – Дермановская. Сестра Стасика – знаменитого гагринского рыбака: сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов, тридцатых... Другой брат моей матери – Герой Советского Союза, моряк. Погиб где-то вблизи Сухума во время Великой Отечественной войны... И что я, Костакис, стал все чаще вспоминать... Наши предки, наши деды, бабушки. У них были хозяйства огромные, и лошади, и брички, и коровы, и козы, и свиньи, и кролики. И пахали, и сажали гектары, успевали обрабатывать. Вечно дома и кровяные колбасы, и сельдессоны, и домашние колбасы. И своя кукуруза. И молоко. И бочки солонины. Почему мы так рано ушли? Почему мы такие дураки – их дети, их внуки? Возомнили себя бездельниками, просвещенными.. А что есть лучше света звезд!? Света вечно меняющейся равнины моря. И как ни сопротивляться – время все равно нас вберет в черную дыру, все равно заглотит как Левиафан.

– И как хорошо быть среди чернозема, среди зарослей, среди утиного, коровьего, буйволиного стада, сообщества, содружества. И среди них, и только среди них кружить свое краткое время, краткое время препровождение на земле. Но даже среди отзвеневшего прошлого – тоже нет покоя. Прошлое прошло прошило, сквозь нас как струи, как когти ихтиозавра, динозавра. Оно сплетено из колючек и расстилает ложе для сердца, из сердца. И наше старинное кладбище – Шапшаловское. Почему его так растерзали люди, стоящие у трона – такие непросвещенные на совесть, на душу. Ведь это же первое Принцевское кладбище. Здесь на Шапшаловке хоронили первых рабочих,

первых господ, приехавших в Гагры для устроительства будущего так знаменитого курорта. Не меньше тысячи покоится, покоилось здесь. Где потом развалился, заледенел Гагринский Госбанк, Универсам. Какие люди здесь успокоились, какие здесь были ограды, порталы, склепы, семейные заграждения, реликвии?! Какая здесь процветала изящная архитектура. Здесь лежат, покоятся косточки моих четырех родных тетек и дядек: Щурочка, Федечка, Ниночка, Леночка. Все они умерли совсем маленькими, молодыми. Все умерли от малярии, которая здесь только в конце тридцатых годов перестала свирепствовать. Которая унесла столько тысяч жизней. Гагры, Абхазия – вдоль Черного моря – болото, превратившееся в курорт. Действительно, плакать и веселиться на гробах. И потом, в семидесятых годах, когда на этом кладбище работали экскаватором – сколько потревожили человечьих скелетов, человечьих костей. Сгребали, как унижение, как глину и бросали на свалки. И что хорошего может взойти от такого счастья, от такого гуманизма? О каких можно там говорить положительных встречах, если оттуда уничтожались гроба?!

Гагры, 2002 г.

НА СРУБАХ ЗОЛОТИСТЫХ СОСЕН

24.4. 92. года. Разговор с **Милей Владимировной Мукба**, из села Мгудзерхва, уроженкой Гудаутского района, тысяча девятьсот двадцать седьмого года рождения, **девичья фамилия – Джикирба**. Высокая, стройная, медсестра, взор открытый, приветливый, всегда для людей припасает улыбку. Мать четверых детей. Муж ее – Мукба Георгий Алексеевич, года рождения тысяча девятьсот двадцать пятого, уроженца села Отхара Гудаутского района; умер от рака легких в 1977 в городе Гагры; при жизни работал на рыбзоводе – заготовщиком рыбы.

– Муж был очень грамотный. Начитанный. Все знал и быстро поэтому умер, – говорит Миля Владимировна в задумчивый вечер, в шестьдесят пятый год своей жизни, в весенний дождь, очень грустный.

– А он был красивый?

– Да. Ты его помнишь. Он был очень красивый. Высокий, как Вовка Тесс. Плечи широкие. Спина прямая. Кто его знает по Гаграм – спроси.

– Как он тебя сватал?

– Родители наши друг друга знали. У Жоры была двоюродная сестра; мы вместе учились в школе сухумской... И Жора пришел в наш дом в Мгудзерхва вместе с моей подругой, Жориной сестрой, и засватал меня. Первой родилась дочь Нона – в 1954 году.

– А у тебя были женихи до Жоры?

– Был один фасонистый, богатый. Мы же смотрим – какой фамилии, какие родители. За каких попало людей выходить нельзя. За хулигана же не выйдешь... Ты что, женишься на первой попавшейся? Нужно выбирать на всю жизнь. У абхазцев нельзя дружить и нельзя гулять. Ты девушка. Домой приходили, познакомятся. Родители смотрят на него, если он, жених, родителям понравится – согласие дают. Я молодая была. Следом присылают подарки. Сватают... Жора меня не бил. Он знаешь какой был? Очень строгий. Он сказал – все. Если бы он побил – я бы и один день не осталась. Принимала его друзей, товарищей. Павлик, помнишь, Хащенко. Они были очень близкие товарищи. Жора любил порядок. Лишнее никому не позволял. Поэтому и дети не хулиганы. Войдет во двор, спрашивает в первую очередь: "Где дети?''

– Расскажи про хулиганов вашей деревни.

– У нас раньше не было хулиганов. Это сейчас полно хулиганов. Когда я росла, хулиганов не было. Все было открыто. И никто не воровал. А сейчас я попробуй оставь открытой дверь. Сейчас умные люди стали – воруют.

– А изнасилования были в вашей деревне в тридцатые, двадцатые годы?

– Когда я росла – не было. Все мы живем в деревне – близкие родственники. Я не слышала. Сейчас – в девяностые годы двадцатого века – все услышишь.

– А сколько было семей в деревне?

– Много. Хорошие люди были. Землю обрабатывали. Все у них было – фрукты /яблоки, груши, персики/. Земля хорошая. Что посадишь, все выходит. И сейчас есть. От моря далеко. Там спуск большой. По лесам идешь, по горам. Километров пять.

– А ты медвежье мясо кушала?

– Откуда я могла кушать?! Отца рано посадили в тридцать седьмом году. В отцовском доме не было. Брат молодой был. Это в Гаграх у мужа я немного кушала медвежатину. Жора любил охоту. На

Рицу он ходил. Он подолгу не ходил в лес. Идет и быстро придет. Там они кушали, в лесу. Ой, как Жора любил друзей! И Вовка такой. Я постарела. Говорю сыновьям: "Женитесь. Пусть они ваших друзей принимают''.

– Соседи в твоей деревне были кем?

– Рабочие, колхозники. Когда я была молодая, все были молодые. Бабушку звали – Исма. Тети были – папы сестры.

Когда мои тети увидели Жору в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году они сразу захотели, чтобы Жора забрал меня. Но виду не подали. Тетя – папина сестра, замужем не была – нас воспитывала, пять душ детей. Мы – без отца. Взяли за что? Ни за что. Как троцкиста. Потом оправдали. Сами они троцкисты. И дядю забрали – Хаджарата; Хаджарат был большой человек. Отец был грамотный человек, прорабом работал в Мюссерах. Убили их там, в Тбилиси одного, второго – в Сухум. Я маленькая была. Я помню из разговоров. Тогда всех хороших людей брали, умных. Хаджарат был начальник милиции, потом их оправдали, когда их убили. Спасибо им.

– Передачу не носили?

– Я маленькая была. По-моему, передачу не разрешали арестованным по-политически... Отец у меня красавец был писанный, и дядя тоже красавец. У дяди дочка есть и сын. Живые сейчас.

– Вот утром вставала ты, когда была в девичестве; что начинала делать по дому? Как вообще у абхазов начинается день, утро? В деревне?

– Утром встают рано. Двор подметают, убирают Большой двор. Очень чисто, аккуратно было... Коров доишь. Летом корову доишь на улице, а зимой корову доишь в сарае, сено сушат, кладут на одинокий ствол дерева. Когда сено лежит на дереве, провисает – как стог, – тогда сено не гниет... Коров было по две, по три. Каждая семья имела. Коров обычно волк у нас не убивал. Только, конечно, если далеко пойдут коровы. Но в нашем селении не было такого.

– А змей любишь?

– Не дай Бог. Я их боюсь. Это страшно. А если укусит умрешь. Но чтобы в нашей деревне кусали – я не слышала.

– А зайцев ты кушала?

– Зайцев я не кушала. Брат молодой был. Отца не было. В довоенные годы мы кушали молоко, сыр, мамалыгу, чурек. И хлеб покупали в магазине.

Хлеб привозили из Гудаута. Во время войны с хлебом было трудно. Чурек пекли. Кукурузу мы мололи на сельской мельнице. И у матери была маленькая, ручная – по-абхазски – алу. Круглый камень – и внизу и наверху. Два камня. И палка вставлена в верхний камень. И руками крутишь, крутишь. И еще сверху, в камне, -дырка, куда сыпать зерно кукурузное. Нижний камень с чуть острыми камушками, чтобы зерно лучше расщеплялось. И мука после долгого вращения верхнего жернова рассеивалась по поверхности очень гладкой, откуда муку и собирали в мешочки. Бедная моя мама. Сколько труда она тратила, чтобы кормить нас, пятерых. Мама умерла, когда ей было девяносто шесть лет. Четыре года тому назад. А сейчас год тысяча девятьсот девяносто первый. Умерла в своей деревне – Мгудзерхва. Мама. Как не плакать. Умерла от старости. Она упала, ногу сломала. Еще бы долго жила, если бы не нога. Много значит, когда в детстве хорошо воспитывалась. У нее отец был богатый. Дедушка мамы был еще богаче. Моя мама сама из Лыхны. И там ей хорошо жилось. Дедушка жил сто двадцать лет. В каком году умер – я не помню. Дедушку звали – Яивана. У дедушки была мельница. Земли много. Фруктов много. А больше я ничего не знаю. У него сарай такой длинный, черепицей был покрыт. И там стояло белое вино, яблочный сок, грушевый. Раньше делали. Вино дедушка вывозил в Россию, продавал. Купец был. **Фамилия дедушки – Симониа**. У него, знаешь, сколько внуков?! Очень богатый по всем статьям… Дедушка по отцу рано умер. Приблизительно – сорок пять лет. Врачом был. Он лечил, знаешь, каких людей! Он был известный даже за границей. Тетя рассказывала. У царя заболел сын. И царь российский везде искал врача. И потом этот царь узнал про моего дедушку. Царю рассказали. И царь к дедушке обратился: "Вылечи моего сына. И что хочешь проси…'' Дедушка ответил: "Мне ничего от тебя не надо. Если я его вылечу – он будет моим шестым сыном''. Дедушка вылечил. Царь дал дедушке награду – большой кусок земли. Карту, план дал на имя дедушки. Нарисована земля, где много леса. Порубишь каштан, продашь. Знаешь, какой доход в то время. Мои дети спрашивают. "Где, мама, карта – план от царя-батюшки?''. Отец мой имел эту карту – пока был жив. Отец мой был жив до тридцать седьмого года. Отец мой был раскулачен. Он имел два буйвола, лошадь. Моя тетя рассказывала. И земля наша, и буйволы, и лошадь – ушли в колхоз… Мой отец – никому не отказывал

в помощи. Жалостливый был. Я кроме Советской власти, ничего не хочу. Я выросла при этой власти. И знать другую власть, кроме Советской, не хочу. Кто эту власть не хочет – они ошибаются. Кого больше любить, кроме тех, при чьих именах мы вырастали. Кого любишь – кроме них – я не представляю. Разве это неправда? Это мое прошлое. Оно всегда со мной. Эта власть дала нам очень много хорошего… А отца моего убила не власть Советская, а Берия. Я Берия терпеть не могу. Его имя вспомню – у меня волосы дыбом становятся. Эти убийства невинных людей совершали нехорошие люди. Я кончила техникум, а меня на работу не брали. Я считалась дочерью кулака, дочерью врага народа.

В Госздраве, в Министерстве здравоохранения попался хороший грузин. Он мою тетю знал. И он ей подсказал: "Пусть твоя племянница в анкете при заполнении учетной карточки при приеме на работу пишет: "Отец умер''. Тетя моя работала в Сухуме.

После Великой Отечественной войны это было. Я так и написала: "Отец умер''. И меня приняли на работу в больницу.

А потом оправдали отца, когда начали разоблачать культ личности Сталина.

А потом пришло извстие: "Обеспечить квартирой''. А куда обеспечивать, когда отца уже нет.

В Сухуме я проработала пять лет. А потом вышла замуж в Гагры. Стаж у меня рабочий – сорок пять лет.

– Скажи мне, а ты зимы помнишь холодные или теплые, чтобы люди погибали в ваших краях, в деревне Мгудзерхва…

– Вот, ты, больной, пришел писать историю моей жизни. Тебе нельзя вставать с постели. Выпей горячего и лежи. А то горло можешь потерять.

– Скажи про зимы?

– Никогда от холода у абхазцев не погибали… Люди пришли, придут, помогут. Когда выпал большой снег – пришли соседи, помогли. У нас, абхазцев – стариков не сдают в приют. Это считается позором. Я кушаю, а сосед мой голодный? Разве я могу это позволить? Абхазцы насчет этого молодцы. Придут соседи – тебе дрова принесут. Если кто-то умрет – придут: "Что надо?'' Материально помогут. Фасоль варить, хлеб-соль несут, чтобы сосед не опозорился. Жалостливые люди. Курицу на похоронах у нас нельзя есть. У нас фасоль с орехом готовят.

У абхазцев на похоронах: мясо не кушают. У них горе – а я кушаю мясо?! Как будто смеюсь над чужим горем. У нас знаешь, что дают на похоронах?: фасоль, соления, вино, водку, еще плов. Не так, как у грузин – хачапури делают. У нас такой пост. На девять дней – стол делают: куры, индюшки. На сорок дней – барашку режут, куры, корову, быка. Если умерла женщина – то корову режут; быка не режут. Если умер мужчина – то на сорок дней режут быка. Вино, водка, стол накрывают, хачапури. У абхазцев есть мусульмане и христиане. Христиане – сорок дней справляют, а мусульмане – пятьдесят два дня. Мусульман бы не было у абхазцев, но когда Абхазия попала под власть турков – турки потихоньку меняли веру абхазцев. Моего дедушку тоже забирали в Турцию, заставляли взять их веру, но дедушка не поддался, приехал домой в Лыхны.. Раньше мясо мало ели, и люди чувствовали себя хорошо, меньше гнил человек без мяса.

Я люблю Советскую власть... Только Берия ненавижу... Тогда было в 1937 году мало машин. И ночью моя младшая сестра, когда слышит, что подъезжает к дому нашему, большому, жактовскому, машина – она сразу начинает плакать: "Приехали, заберут нас..''. Боялись, что в Сибирь вышлют. Боялись, у кого отцы сидят. Я опускала голову, закрывала глаза. И в чью квартиру стучали – те могли умереть, и умирали...

– От Гагр, от дачи Берии много красивых девушек исчезло без следа прямо из пляжей, прямо из волн вечерних или дневных... Всех поглотила навеки жабообразная гадина в очках-пенсне со следами улитки под зобом.

ИЗ ЦВЕТА ФРАНЦИИ

Из жизни старинного жителя Гагры Александра Алексеевича МУКБА. Человек суровой совести. Участник Великой Отечественной войны. Участник Французского сопротивления.

В прошлом был женат на полячке. Познакомился с ней во Франции, когда только что открыли Второй фронт.

Саша весь белый, снежный от белизны. Но бодрый, но крепкий в ногах, на ноги, крепкий и быстрый на подъем, на скорость, на бег – от тысяча девятьсот девяносто первого года. Крепок на сегодняшний день.

Саша в большом доме племянников, в большом доме жены младшего брата Георгия, который умер лет тридцать назад от рака легких.

Саша смотрит телевизор. По телевизору показывают девчат, мужиков, у которых голубые глаза.

– Не верю тем, у кого голубые глаза. Они все жулики. У меня был близкий друг Ираклий – у него тоже были голубые глаза. И тот, у кого голубые глаза – для меня обман зрения. Они правду никогда не скажут, – говорит Саша про белизну, про белизну отношений.

Протягивает греку Костакису, соседу пятидесяти с лишним лет, документ, показывает удостоверение краснеющего цвета.

Грек читает при слабом свете:

"УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0174 :

выстоящим репрессии

Выдано Мукба Александру Алексеевичу на основании справки о реабилитации от 27 июля 1963 г. № 01404/51, выданной Военной Комиссией Верховного Суда Союза ССР.

Председатель историко-
просветительского общества
"МЕМОРИАЛ'' /Э.Н. Емельянов/

дата выдачи 9 июля 1990 г.
г. Ростов

В удостоверении – тексты о множестве льгот для репрессированных.

– Расскажи, Саша, про свое довоенное детство в Гаграх. Расскажи про девчат вашей юности. Расскажи про речку Гнилушку, про болота, про шторма, про снега.

– Вот это ты прав. Мы приходили, проходили, учились в Старогагринской средней школе. Единственная тогда была в Гаграх. А потом мы учились в Новогагринской школе, бывшая греческая школа, где сейчас грузинская школа в центре города.. В 1936 году мы переехали на житие в Новые Гагры с дачи княгини Ореховой. Дача так называемая, а на самом деле это большой двухэтажный каменный особняк, по крепости рассчитанный на столетия. Ведь все же это дореволюционные постройки. Потом это здание княгини Ореховой стало санаторием "МПС'', совсем рядом с древним рестораном Принца – "Гагрипш''. Рассказывали, что княгиня Орехова была интеллигентнейшая женщина,

редкой грации. Эту грацию Советская власть как могла выбивала, чтобы везде насадить хама необразованного, босяка. После санатория "МПС" стал на месте дачи Ореховой существовать санаторий "Скала''. Саму Орехову – аристократку – выгнали из ее собственного дома, экспроприировали ее жилище богатейшее – и дали ей квартиру, где сейчас "Водолечебница'' от местечка "Шапшаловка'', рядом с кладбищем древним. Дали квартиру в бараках, под общий двор, под общий сарай, под общую кутузку, под общий сортир, под общую керосинку в длинном общежитейском коридоре. Дали Ореховой барачное жилье взамен того замка островерхого – откуда пульсировала эпоха Возрождения, эпоха Эль Греко. Вид этого замка – был подобен Толедо – все прорешечено мерцающим хрусталем.

– Ты в разговоре смелый, нападаешь на врагов, а перед текстами, перед чистым листом бумаги – тусуешься. Не можешь самостоятельно записать свою жизнь. Меня позвал.

– Ленинским комсомолом воспитан, в духе коммунизма.

– А в вашей юности были изнасилование, грабежи в Гаграх?

– Нет. В нашем времени не имели права такое дело делать. Мы все были: "один за всех и все за одного''. В горы поднимались, уходили на Мамзышху, на Альпийскую. Ради спортивного развлечения, ради молодости своей. В Гагрипшское ущелье поднимались наверх к резервуару, водостоку, водоснабжению Гагр. Зафундаментировано водоснабжение Гагр тоже Принцем Ольденбургским. Там скалы, пихты огромной высоты.

– А вы там девчат не мучали, не обижали?

– Такое нельзя было в наше время. Сразу по морде били эти же девчата. До такого позора мы дойти не могли. Мы были романтиками революции, романтиками гражданской войны: ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ СИНИЕ НОЧИ. МЫ – ПИОНЕРЫ, ДЕТИ РАБОЧИХ...''. Из девчат были Котова Дашка, Казашвили Нюрка, Гогинава Танька. Это наши школьные друзья. Узунян Варсеник. Та, бедная, уже умерла, земля ей будет пухом. Гогинава Таня. Я с ней часто танцевал. Нам тогда по пятнадцать, шестнадцать лет... Первым секретарем комсомола был у нас Аласания Харитон. Комитет комсомола был в Старых Гаграх, где сейчас автобус поворачивает к туннелю. А потом комитет комсомола перенесли в 1937 году, в Колоннаду, где Курупр, где стоит от начала парка полуовальный домик. И на танцы туда бегали. Колоннаду строили в 1934 году. Санаторий "ЦК Украины'' – в 1934-м. "Челюскинцы'' – дом отдыха и будущий госпиталь времен Великой Отечественной войны – в 1934 году. Дом отдыха "Маяк'' – построен в 1935-м. Дача "Берия'', будущая Госдача – в 1936-м; дом-особняк за старогагринской школой, Принцевской... Дальше что? Монпарнас! Монпарнас... – В этот миг Сашу вспоминает Францию, где он когда-то жил.

– Какие-то вы скромные пацаны тех времен, тридцатых... Я знаю пацанов из Жоэкварского ущелья. Они были менее в годах, чем вы, но уже девчат по парку сопровождали и часто очень успешно даже – в это же довоенное время...

–Такие вещи идут периодами. Они, жоэкварские пацаны, попали в такой момент, когда девки смело шли на открытую, на обнажение. А нам не повезло. Петухи мы были хорошие, но курочки были вредные сильно...

– А из довоенного времени кто-нибудь погибал из твоих товарищей?

– Один товарищ погиб – Гобизошвили Жора. Погиб под Севостополем. Он в армии был. Какие-то учения были...

– Как насчет девчат? Многих обидел по их согласию?

–Этого не было. "Тем де люкс''. Это по-французски... Про местность нашей юности – это речушка Гнилушка, сразу за городом протекала. Чистое предместье, где отдыхала наша душа. Было время, когда там рос богатейший камыш – десяток километров. От Старого базара – до самой Колхидки, до самой реки Бзыбь. И широко и вольно, и колючки везде. Там много сбежавших из тюрем скрывалось. Легко затеряться, замуроваться в этот песок, в эти глинистые, непроходимые овраги, заполненные змеями, лягушками, пиявками. Пиявки так полезны от давления. На этих болотах многие старики-пастухи – вылечивались. Опустят ноги в болота – и пока коровы пасутся рядом – пиявки успевают хорошо обработать ноги, успеют высосать из вен ножных густую, черную кровь. Очень высокий был камыш. Мы играли в камышах, в "казаков-разбойников''. Ходили на поля вблизи камыша – воровали на плантациях – арбузы. Колхозные арбузы. Нам по пятнадцать, шестнадцать лет. Приносили на берег моря, сидели на горячем песке, ели сладость краснеющую... Была от наших мест большая сырость. Тогда эвкалипт не сажали – и сколько людей погибло от малярий. Меня, моих братьев, наших сверстников малярия еще долго трясла после нашей юности. Сейчас есть дерево – эвкалипт – и нет болот, нет малярийной смерти.

– А как насчет красоты наших, гагринских, бухт, заливов?

– Пока на всем Черном море – гагринский берег побеждает.

– А так было, чтобы к вам, на камыш, на берег пустынного тогда моря, побережья – девчата приходили?

–Это "цасим'' – по-абхазски. Значит – нельзя. Грешить нельзя. – Пронесется прохладный ветер. Продлится время. – В эти места, возле Старого базара мы переехали в 1937 году. Здесь нам дали участок. Десять соток было. Четыре сотки отрезали. Когда Берия в 1948 году сделал нашествие на Абхазию, – он всех мингрелов, сванов вселил сюда. Участки, земельный надел, и до того маленький – превращался в клочок суши, где можно едва устроить маленький домишко. Хозяевам, у которых отбирали земли ничего не давали, ничего не платили. Просто экспроприировали – и все. Обокрали всю Абхазию. Самые жулье, аферисты приехали сюда. Кто из настоящих хозяев бросит насиженное место?! Жулье приезжало, кто искал легкой жизни.

– Я знаю, в Крым, в эти же годы и после тоже – присылали украинцев, русских. И из Сумской, Белгородской, Черниговских областей. И многих присылали насильственно. И эти русские, украинцы не могли уехать на родину, потому что их бы посадили на родине. Этот перекос шел на уровне тоталитарного правительства Москвы, СССР.

– В Абхазии дело было другое. Здесь высылали греков, персов, турок. А русские сами бежали из Абхазии, когда началось нашествие мингрелов сюда.

– В чем-то ты не прав насчет Крыма. Там тоже взамен высланных крымских татар, греков, турков, болгар, караимов, французов, немцев, армян – присылали, привозили русских, украинцев – верноподданную нацию. В самом этом раскладе на нации живет какая-то дьявольщина. Мови тон, если подражать тебе по-французски. Мови тон – значит – дурной тон. Я знаю – многие мингрелы уезжали из Абхазии на родину, в Мингрелию. Но их обратно гнали сюда.

– Сваны уезжали на родину. Они – горцы, и не могли жить в долине. А сюда присылали абашских жуликов. Может, среди них были и хорошие люди, но хороших не видно. Видно только тех, кто орет, видно только тех, того – кто хам, кто имеет роскошное на хамство горло. Вот эти хамы и родили отторжение, от них так и поперло высокомерие высшей расы.

– Саша, а в горах местные люди чем занимались до войны?

– Картошку сажали. Кукурузу кто сажал. Население всего города было пять тысяч. Со Старыми Гаграми – было семь тысяч. А сейчас все добавляют, добавляют, и стало сорок тысяч.

– А почему греков высылали отсюда, с Черного моря?

– Потому что греки греческие поданные. А причина была в другом: нужно было землю Абхазии освобождать от греков для мингрелов. В послевоенное время абхазам ничего не было, мингрелы здесь пиратствовали, грабили кого хотели. Они все были на постах. Всеми торговыми точками они руководили. Первые секретари были все время мингрелы – Чхотуа, Мотуа. Все приезжие. Местных ни грузин, ни абхазов не допускали. Это делалось для того, что Абхазия стала Мингрелией.

– А как семья Мукба попала в Гагры? Откуда? И когда вы сюда приехали в Гагры?

– Мы сюда приехали из села Отхара Гудаутского района. Приехали в тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Отец работал здесь в горисполкоме – дорожный мастер. А потом оттуда отца перевели в Ермоловку – уполномоченным по хозяйственной части. Считай, хозяин был Ермоловки. Ермоловку из России Абхазии передали примерно в двадцатые годы. Сейчас Леселидзе... Отец все время работал при исполкоме...

– Тогда, наверно, беднота была?

– Конечно. Каждый гвоздик выдергивали из старых домов, брошенных, которые разрушались. Не было даже гвоздей в 1935, 1936 годах. Цемент был новороссийский, в бочках деревянных. Бочки весом килограммов на двести. Больше, чем четыре мешка. Привозили на подводах. Сюда привозили на машинах, на базу. И из базы к себе домой на подводах снова. Тогда с машинами было очень редко и тяжело. В основном работали на дальние края, на дальние дистанции – пароходы. База цементная, большие склады были, где сейчас милиция. На Старагагринскую пристань приходили пароходы. Там тоже были склады – вдоль реки Жоэквара, рядом с морем. Потом, после войны – эти склады поломали. Там, на месте складов, – сделали парк. Я имею в виду Комсомольский парк. Пристань была пассажирская и грузовая. Подгоняли баржами.

– Расскажи про маму свою?

– Мама была простая домохозяйка. Воспитала одиннадцать человек. Всю родню собирала. Воспитала Акакия Мукба, моего двоюродного брата, Хижба Филиппа, Мукба Симона. Эти наши родичи в Гаграх устроились

на работу, а жить негде. И жили у нас.

– Я помню твою маму – высокую женщину, очень стройную, строгую, в черной одежде всегда... Это видимо, от того, что потеряла сыновей на Великой Отечественной войне, на Финской войне...

– Звали ее Надя. Надежда Джготовна Авидзба. Эшерская. Верхние Эшеры. Ее отец был крестьянин. Свой дом имел. Коровы были, верховые лошади были. Мандарины были свои, усадьбы хорошие. Табак вырабатывали на колхозной земле. Кукуруза – закон. Абхаз живет от кукурузы. Раньше дома крыли пихтовой дранкой. Дома все деревянные строились в то время – в двадцатые годы, в 1919 году. Считай –конец девятнадцатого века. Отец моей матери когда умер – не знаю.

– А как, ты помнишь, людей забирали в 1937 году, и дальше и раньше, и позже?

– Как не помню?! Даже за отцом приезжали из НКВД. Но не забрали. Потому что старший брат работал в военкомате. Когда подъехала машина, черный ворон, вышел старший брат к машине. Подошел. Энкэвэдэшники увидели, что вышел их знакомый, работник военкомата. Старшего брата Колю знали все.

– " Что вы хотите? – спросил брат у них.

– Мы так просто приехали, – ответили.

– Я вас всех перестреляю, если вы еще раз сюда приедете'', – сказал Николай, отец Владика Мукба. Потом Николая взяли на фронт, и там он погиб. Даже не знаю, где он погиб, где он лежит. Не знаю как его разыскать.

– И Петя – ваш еще один брат погиб. И ты, Саша, сам, добровольцем, пошел на фронт, чтобы отомстить за братьев. Сколько страдал! Из вашего рода, племени – никто не прятался от пуль. Никто не дезертировал, не скрывался по лесам. Все истинные защитники. Какое правильное воспитание досталось вам от отца, от матери. Никто из вашего рода не стал преступником. Все ребята высокого уровня. Смелости. Молодец твой старший брат – Николай, когда вышел из дома, вступаясь за отца перед энкэвэдэшниками гагринскими. А ведь он же рисковал! Отчаянная голова. Вот если бы так все, к кому приезжали из НКВД в тридцатых годах, поступали как Николай Мукба то есть отстреливали бы этих энкэвэдэшников – то и энкэвэдэшников бы не осталось, и репрессий от которых погибли десятки миллионов советских граждан, не было бы. И война Великая Отечественная прошла бы без

таких огромных жертв. И все наши маршалы не были бы уничтожены в самом начале войны. Кстати, и сын Николая Владик Мукба, мой школьный товарищ по 2-й средней школе города Гагры – унаследовал от отца мужество, когда будучи кадровым офицером много лет назад держал под прицелом ресторан в городе Ленинград, не давая никому подняться из посетителей, среди которых было много преступников, которых нужно было задержать. Владик подходил к каждому из преступников и разоружал. Отец гордился бы сыном, если бы остался в живых. Кстати, надо сказать, что Владик служил на той же погранзаставе, где так прославился на весь мир пограничник Карацупа... А что собой представляла тюрьма Гагринского НКВД? И где она располагалась?

– Находилась, где мост перейдешь в Старых Гаграх. Как раз по левой стороне. Там двухэтажный внешне дом. На самом деле этот дом многоэтажный. Там глубокие подвалы, как просторные залы. Туда людей сажали чаще всего просто по клевете. Там их били, издевались, вгоняли, как и в гестапо, под ноги сапожные иглы, чтобы признались в том, что они, заключенные, не совершали. А там была одна серия из нескольких слов: "Заговор троцкистов с целью убийства Сталина – нашего вождя''. И абхазцы там работали, и русские, и армяне, и мингрелы. Туда только сволочь может прийти работать...

– А что еще было вблизи этих мест?

– Вблизи этих мест был Старогагринский базар. Под платанами. Если идти в Жоэкварское ущелье – с правой стороны будет речка. И с этой же стороны речки – прямо напротив базара с высоты метров сто низвергался водопад, который обрушивался на лопасти гидроэлектростанции, которую тоже строил Принц Ольденбургский... Петя Молоко там жил. Мы с Молоко вместе пошли на фронт. Воевали отдельно друг от друга. После войны Молоко переехал в Ленинград. Сейчас часто приезжает в родительский дом в Гаграх. Теперь родители Пети Молоко наши соседи. Возле Жоэкварского ущелья жили Мародудины. Волобуевы жили. Один грузчик. Другой – шофер. Сейчас вижу – один ходит. Потихонечку еще ползает.

– А дельфиньим жиром торговали на этом базаре?

– Дельфиньим жиром не торговали. Дельфиний жир был для мандарин лекарством. Масляная эмульсия – назывался. Смешивали с ядом, чтобы лечить мандариновые деревья.

– Насчет фронта? И дальнейшей судьбы?

– Пошел в 1939 году – по допризывному, добровольцем. Отсюда отправили нас в Сухум. В Сухуме находился два дня на сухумской турбазе. Из Гагр нас забрали в то время – пятьдесят человек. Взяли нас в сентябре. В Сухуме спали – пока не прибыл вагон. Кроме меня, кого я знал из Гагр и помню взяли – Казанджян, Барцыц, Язычба Назым. Язычба Назым умер после войны. Работал на молзаводе Демирчян. Нет никого уже в живых. Из пятидесяти ребят с кем я отправлялся служить 1939 году в живых на 1991 год – я один остался... Прибыл вагон. Поехали в Тифлис в Авчалу Военную. Там была военная часть, расформировочная часть. И оттуда направили нас – кого в Белоруссию, кого – в Латвию. Я попал в Белоруссию, в город Мозер, кавалерийская часть, 54-й отдельный разведбатальон. После финской операции были расформированы многие части, и нас прислали как пополнение. Перед войной нас опять расформировали и послали в танковую часть, ближе к Брестовской границе. И там как раз меня застала война. В армии строевой занимались, политзанятия, налево, направо, шагом марш. И война нас застала в городе Пружане, местечко, если не ошибусь, Кошары, под Брестом, семьдесят километров. И оттуда мы пошли отступать. В первый день войны я как раз был дежурный в танковой своей части. Разводящий. Развел посты. И смотрю – бомбят аэропорт наш военный, аэродром. И оттуда мы стали отступать. Все брошено. Я выстрелы дал. Командир батальона подходит и дает команду: "К передовой нам дороги нет. Немцы уже наступили. И гонят нас. Все полки бегут. Дивизия вся бежит..'' Танки разобраны, без моторов. Был приказ: "Снять моторы. Облегченные моторы придут''. И это как раз накануне бомбежки. И остались наши танки там, уже в тылу врага. И пошли мы бежать – с наганами, с винтовками, у кого они были. Новая часть была совсем. Автоматов еще не было. И мчались мы до Бобруйска. От Кошар, откуда мы отступали мы прошли до Бобруйска тысячу километров – за двадцать дней. Немец нас гнал беспощадно. И девятнадцатого июля я был уже в плену. Вся наша дивизия попала в плен на берегу Березина. Когда мы стали переправляться перед рассветом – река поднялась на два метра высотою. Все части, которые кинулись в реку, и весь фронт, – и вода поднялась. Так много было людей. Танки, обозы. Тогда танки пошли под воду. И могут танки выходить из воды, из реки. Танки закрыты герметически. И танк идет и идет, если мотор

не заглохнет. Танк – Т-34 самый лучший наш танк. КВ/Клим Ворошилов/ – самый плохой танк, обрубок железа, скорость малая, слабая, маневрирует плохо. Мы его называли "Жабо''. От слова – Жаба. Немец нас окружил кольцом. Немец нас встречает автоматами, пулеметами. А мы все мокрые, как поросята брошенные. Дальше нас немец повернул от реки Березина – повернул нас в лагерь. И оттуда стал нас распределять по лагерям, по зонам. В Ломже, в Барановичи. Оттуда нас завезли в Польшу. В Польше мы находились в Сухожебре. И пригнал нас около тысячи полторы, две. Свободное чистое поле, ни землянок, ни сараев. Все сидели. Никуда нельзя выходить. Автоматчики окружили. Стали строить лагерь. Тысяч пятнадцать пригнали. Землю рыли сантиметров шестьдесят, сверху шалашиком, коньком доски, а сверху землей засыпали. Каждый день по две, три подводы вывозили пленных мертвых – и в общую могилу. За забор вывозили. Все снималось с них – и сапоги, и ботинки, и гимнастерки все снимали. Ведь босые приходили, голые... Чистые немцы над нами не особенно издевались. А финны, итальянцы издевались. Хуже всего были румыны. После Сухожебр нас отправили в Седлице. А в Седлице нас привели в конюшни. А там было теплее немного. Ели конину, конину привозили. Хлеба – на двенадцать человек – булку давали. И дальше оттуда – стали организовывать легионы: грузинский легион, северокавказский легион, армянский легион; российская, власовская армия – отдельно. Нас начали снова расформировывать. Это уже шел 1942 год. Нас начали снова обучать. Меня взяли в грузинский легион. Один-единственный абхаз попал в то время. Из грузинского легиона я перешел в северокавказский легион, так как язык северокавказского легиона был мне ближе, был ближе к абхазскому языку. Там все малые нации находились. А грузинский легион был послан на фронт, на передовую для борьбы против СССР. А нас пока там держали в местечке Веселое, от Варшавы двадцать километров, в военном городке. Питание стало хорошее. Как нас кормили, так и немцев. Обучали нас военному делу для борьбы с СССР. Остался этот восьмисотый легион. Я остался так, без отправки на фронт, так как был больной, голодный. А после голодного – так быстро здоровым не станешь. А северокавказский легион послали под Брест, на фронт. А потом нашу часть стали собирать. Стали собирать и тех, кого разбили в борьбе против СССР. Нас отправили во Францию, в город Кюмпер. А оттуда нас по точкам распределяли. Я попал в

Латош. Это Бретония. Военные части стояли вокруг Атлантики. Кругом мы стояли. А оттуда, когда появилась возможность я перешел к партизанам. Ушел в партизанский отряд. Отряд – Плагостель-сежаме. Местечко, как возьми, Бзыбь или Гантиади. Красиво очень. Холмы, не холмы – не скажешь. Ложбинами. Мы операциями военными проходили в двух местах – Дордане, Авдерн. А потом, когда кончилась война собрал свои шмотки, и стал уходить к себе домой. Оттуда, из Авдерн, я попадаю в Бельгию. Оттуда в Люксембург. А в Люксембурге я попал из-за русских товарищей в заключение. А я им не дал грабить правительство Люксембургское. А когда пришли американцы – я пошел к ним. И американцы сдали меня в люксембургскую тюрьму. А эти русские убежали. Перешли границу с Францией – и ищи. А я до тех пор пробыл в заключении там, в Люксембурге, пока не пришли наши люди из посольства, и я был освобожден.

– А ты помнишь кого-нибудь из французов?

– Нет. И это беда. Имена не помню ничьих. Если бы помнил – я бы сейчас много благ получил бы из Франции как участник Сопротивления.

– А когда ты был во Французском Сопротивлении, вы где жили?

– Там у нас была казарма. Были у нас казарменные постели. Немцев уже не было. И там я был месяцев пять-шесть. Кормили нас на убой. Мясо давали грамм четыреста на день, мясо вареное. Каждый раз когда кормили – давали кружку вина, считай, полтора стакана. Черное вино. Три раза в день. Сухое вино. В казармах был свет электрический. Девчата там были – в Плагостель-сежаме. Вблизи города Кюмпер. Провинциальный городок. Каштан там кушали. Каштан там цветет, растет. Ходили в гражданском. Приходили на танцы. Двое русских ребят. Один – Мартынов. Другого не помню. Нас всего было трое – из СССР, кто был в этом отряде из Французского сопротивления.

– Какие там были танцы?

– Танго, фокстрот. Конечно, я мог танцевать... Мы до войны все санатории гагринские ступенек не считали – так пролетали. И на горы тоже. Француженки почти все, в Бретони, носили бигуди длинные, красивые высокие. Лаковые колодки, деревянные. Суббота, воскресенье – ходили в церковь. Очень нарядные. В Эльзасе, Лотарингии был, где линия Мажино. В Париже на Эйфелеву башню забирался. На второй

этаж. А выше не пускают. Триста пять метров высотой. В Париже я пробыл недели две. Жил в гостиницах. Как участников партизанских отрядов, Французского Сопротивления, нас пускали бесплатно. В гостиницах кормили бесплатно тоже. В ресторане что дадут? Первое, второе, третье. Без мяса там никогда не дадут.

Там я был в Париже – в июне. По аллеям иди. И там русская церковь, недалеко от Эйфелевой башни. Бедные русские эмигранты боятся ехать сюда, в Абхазию, в СССР. Они там, во Франции, богато живут. Там русские эмигранты делают очень красивые книжные обложки... За Францию скажу, за девчат французских. В Бретоне девчат мы водили в леса, на поля. На полях в Бретони росла пшеница, ячмень.

– А ты вспоминаешь Францию здесь, в Абхазии?

– Если бы сегодня разрешили – я бы сегодня уехал.

В тех местах, где я находился – я бы мануфактуру набрал. Потом явился бы к Жоржу Марше, руководителю Коммунистической партии Франции и сказал бы: ‘‘Давай машину. И уеду я отсюда как участник Французского Сопротивления. Я – бедный абхаз – разве не имею права иметь машину?’’.

‘‘О, ам, Пари, Пари..’’... ‘‘Мой Париж’’...

Бретань, где мы находились – это французская колония. Эту землю Франция отобрала у Англии. Там берега Атлантики. Шербург. Брест. Там тоже есть – Брест – на берегу Атлантики. Пески, пески Атлантики – отлив, прилив. Полдня – прилив, полдня – отлив.

– Начнем про СССР. Ты когда вернулся в 1945 году – я помню ты привез себе жену польку. Я был пацаном, года четыре, и видел на лужайке, у вашего дома – тогда много-много людей. Тогда не было асфальта на нашей улице. Все было в лужайках зеленых, в гусях, в петухах, в козах, в коровах. И только лишь изредка могла проехать какая-то запоздавшая подвода или лошадь со всадником. И был такой солнечной денек, светло-зеленый и синий день.

– Она была хохлушка. Ее звали Люся. С ней я познакомился в Люксембурге. Я приехал в командировку в Люксембург из Бельгии, и там меня посадили. Я пришел туда, где русских собирали, чтобы отправить в СССР. И оттуда мы поехали в СССР с ней. Когда мы приехали в Ангулем /Эльзас-Лотарингия/, – оттуда нас отправили поездом до города Халле. Прошел там фильтрацию. Спрашивали в следственной части. Целый месяц я там был. И оттуда направили домой. Оттуда

в Брест нас привезли. А в Бресте собирали вагоны. И мне товарищ сказал: "На Кавказ едет целый состав''. Я подхожу. И вижу Псардия Володю и Гвазава Мушта, демобилизованных из армии. И взяли меня с собой: "Без тебя не поедем''. Пошли к начальнику, сказали: "Мы встретили двоюродного брата. Его мы не можем оставить, что его мать скажет, если приедем без него!'' Оттуда я доехал до Белореченска. В Белореченске нас ссадили.

Меня кто-то выдал. КГБ меня снял. Но когда увидели, что я ни в чем не замешан – на другой день снова посадили на поезд. И седьмого ноября 1945 года я был дома. Днем я приехал. Меня встретили мать и младший брат – Жора. Я дал телеграмму. А до этого на Павильоне меня встретили друзья. Только до Павильона тогда ходили поезда, в одной остановке от санатория "''Челюскинцев'', где во время войны располагались эвакогоспитали. И на Павильон приехал целый автобус пацанов, друзей юности, родичей. И дома я жил с Люсей – год. Потом мы разошлись. Семейная обстановка.

Работал в ГОССОРТОИСПЫТАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ. Прививки деревьев – всякие новые сорта; мандарины, лимоны, хурма японская, граната, инжир, маслины.

Начальник участка был чех.

Потом его место заняли мингрелы. Позавидовали ему. Место доходное. Сейчас это место – дача Калинина. И этот чех уехал в Лазоревское. Потом этот мингрел уехал на Украину, и там разбился – говорят – на машине.

Я хотел вырастить арбуз без косточек и не удалось.

Посадили меня в 1950 году в октябре. Так как я находился во Франции во время Великой Отечественной войны.

Указ был специальный: "Кто находился во время войны за границей, судить и давать по двадцать пять лет''. Северо-Кавказский военный трибунал судил меня. Судья Джгамадзе. А прокурор – Свиридов. Суд был в Сухуме. И я там познакомился с отцом Руденко, Руденко тогда был Генеральным прокурором СССР. И сам старик был посажен в тюрьму по-политически. Не пожалел сын отца. А если бы пожалел, самого Генерального прокурора посадили, и я удивился чумовой жестокости сталинских лет. Сам отец Генерального прокурора СССР был сухумский.

И сам Генеральный прокурор пятидесятых, шестидесятых годов тоже был рожден в Сухуме. Сухум был городом знаменитых людей с привкусом

Средиземноморья, греков, флорентийцев, генуэзцев, садзов, синдхов.

И бедный старик, отец Генерального прокурора СССР, сказал мне: "Если мне дадут двадцать пять лет – я останусь в долгу перед государством, потому что не выдержу этого срока, так как мне семьдесят два года...'' Старику дали десять лет. Мне – двадцать пять. Я попал в Рустави в тюрьму. С Рустави я запросился на Дальний этап. И там я жил на Дальнем Востоке – в Советской Гавани. Но как нас везли в Совгавань – я не пожелал бы и злейшему врагу. Везли в "телятнике''.

Понаставили пулеметы, автоматы. Молотками деревянными били, кто не успевал. Бежать влево, бежать вправо, два шага от колонны – побег. Выстрел в упор.

Охранники боялись, что мы стенки продырявим, продырявим пол. В Совгаване я работал. На стройке. Куда пошлют. Хочешь пили, хочешь руби. Наш лагерь держал переходящее Красное знамя Хабаровского края. Питание там было на хозрасчете. Мы платили деньги за харч. А когда вышел после смерти Сталина закон об амнистии, когда сдох этот людоед меня в сентябре в 1955 году – выпускают на свободу. Я попадаю под амнистию. Я приезжаю домой. Меня находит Военный трибунал. И присылает мне реабилитацию. Присылает реабилитационную книжку, что ошибалась Советская власть. А кто мне вернет утраченные годы?! Что мне их извинения? Что мне их лицемерия о сожалении. Только в одно место сходить. За годы моего унижения мне должны были выдать огромную сумму, но мне не выдали ничего.

Когда пришла моя реабилитация – я находился в Бендерах. Работал на винном заводе экспедитором. Там у меня жена была. Я с ней живу тридцать три года.

– А в Согвани кто-нибудь на зоне, в лагере погибал от голода?

– Никто там почти не умер. Там у нас была чистота. Почему и было переходящее Красное знамя! Чисто было идеально. На завтрак давали кофе, чай. На обед – картофельное пюре, мясо... Педерастов у нас не было. Все были – по-политически. По 58-й статье. От десяти до двадцати пяти лет... После зоны я всю свою жизнь живу, как в сказке.

– Самая твоя интересная жизнь – по звуку – идет из Франции, из тех мест, где ты жил вблизи двухметрового Генерала Французского

Сопротивления – Шарля де Голля. Насколько ты смелый – ровно настолько боится текстов моих в вечность невестка твоя, жена твоего младшего брата Жоры – Миля Владимировна Джикирба. Она говорит: "Саша жил до двадцати пяти лет с отцом, с матерью – успел окрепнуть. А я потеряла отца, когда мне было шесть лет. Я отца – как сон помню. Поэтому мне от самого детства без отца не было поддержки внутри моей жизни, внутри моего страха не было поддержки. И страх мной постоянно владел как континентом, потому что сам был как континент – огромный, черный, всевластный, подавляющий все нутро. И сам как клеймо, как желудок кашалота, но только с шипами. Меня уничтожила лихорадка НКВД от тысяча девятьсот тридцать седьмого года..''

ИЗ САШИ МУКБА. ИЗ ПЛЕНА ВОЙНЫ.

Расспрашивать Александра Алексеевича Мукба про события пятидесятилетней давности.

Саша седой, белый приехал зимой в Гагры из Ростова, (где живет постоянно) к племянникам в Гагры.

Приехал на заработки: закупить в Гаграх мандарины подешевле, продать в Ростове, обменять на сало, на мясо. Племянники – Рауф, Вова – в Гаграх помогут погрузить мандарины в вагон. И Саша поедет, полетит к снегам, к морозу.

Саша уезжает завтра, а сегодня вечером можно поговорить про жизнь Саши в плену.

– А ты, Саша, в Париже знакомился с пьяными француженками?

– А там не было в то время пьяных француженок.

– Почему там не было пьяных французских подруг?

– Потому что немцы, когда захватили Париж в сороковом году, порядок наводили не так, как мы. Немцы ходили с дубинками. И если видели пьяных француженок – лупили как хотели.

– А вы в лагере девчат мучали?

– Какие там девушки в мужских лагерях?! Где ты видел, чтобы женщины в 1941 году воевали?!... Ты женись, женись. Пусть тебе жена голову исправит. А так, холостяком, ты, Костакис, пропадешь.

– А почему ты по лагерям брезговал кушать человечину?

Костакиса не собьешь с панталыку. Костакис свое прет и прет.

– Потому что у тебя, Костакис, голова не работает. Мой организм не принимает человечину. Но, если бы не знал, что это человечина, то, конечно бы, покушал.

– А почему вы всю траву вокруг лагеря и внутри лагеря для военнопленных уничтожали? Почему после вас, пленных, оставалась голая, черная земля?

– Был случай, когда приготовили, сварили нутрию.. А ты угадаешь, что это нутрия? Или собака, или человек, или кошка по вкусу?! Только баранину от свинины сможешь определить... А насчет травы – мы ее кушали, потому что она была свежей. Ты знаешь, что это такое, – на двадцать молодых мужчин – буханка хлеба на день, на сутки?!

– А навар был от травы?!

– Дурной ты. А я думал, что ты умный.

– А по полям сражений, когда вы шли, когда вас вели немцы, когда наступал вечер, наступала ночь, – те, кто был живой, подвижный, – вы спиливали золотые зубы у убитых, у мертвых? Срезали с пальцев мертвых кольца?

– Может, кто и таскал. Я не интересовался.

За окном от зимы, от мокрого долго, очень липкого снега вблизи Черного моря, вблизи песка морского, темнеющего на профиль, на умирание среди холодов, среди лунных, еле тлеющих пейзажей, еле тлеющих проливов, заливов; вблизи ущелья из ночи очень продолговатой, вблизи ночи, тонкой, как губы женщины, которые горизонт глотали, прокусывали, а потом уничтожали тесьму; от рта ходили зеленые волны, ходили буруны и проливали углы, стесывали на овал и овал таял во рту. Холодело на смерть, которая шла по экрану, холодел на вечную жизнь послевоенный фильм "Мост Ватерлоо'', холодел на профиль, на белизну; холодела чистота любви, холодела на вечно-юный скелет на берегу реки Темзы, вблизи Лувра, вблизи Атлантики, вблизи офицерского корпуса: "Я буду ее искать всю жизнь – и никогда не найду... Только в юности – думы долгие...'' от того, что на горло накатывает Неаполитанский залив, и проламывает хрящ.

1991 год, Гагры.

ГОРНОСТАЕВ ПРОФИЛЬ

(История шампанских вин в Крыму)

Из начала любви со старинной жительницей Гагр – **Ласкавой Натальей Георгиевной.** От двадцатого ноября тысяча девятьсот девяносто девятого года.

От сильного снега – влажно-синеющего на мрачные тучи, и на густо-рычащий прибой, накат. От промерзающей ночи. От промерзающих мандарин, которые еще не собраны, не одеты в комнатно-подвальный панцирь.

Находиться в доме культурнейшего человека, в чистых струях мира, где все пронизано музыкой, книгами, репродукциями великих художников. Пронизано куинджевским лунным светом, явно нацеленным на русалочий профиль, на русалочью голову, которая застыла матово на звездный свет, на звездное пристанище.

И так удивляться тишине под пласт лежащего на сердце снега. Снег как будто окутывает барельеф. А барельеф из старины, из царского профиля, из профилей родовитых, знатнейших женщин дореволюционной России, продворянской. Тургеневских вешних вод. Тургеневской "Первой любви", тургеневской "Аси''.

Видеть перед собой античный профиль и говорить, наращивая стремление. Сокращая разницу в возрасте, разницу об увядании:

– Свою любовь я начну: "ТВОЙ ГОЛОС ДЛЯ МЕНЯ И ЛАСКОВЫЙ И ТОМНЫЙ''. Тем более фамилия твоя близка к благозвучию, к профилю ласковой волны: "Я ТЕБЯ УТОПЛЮ, УТОПЛЮ, УТОПЛЮ, ПОТОМУ ЧТО БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ''. "И ТИХО ПЕЛА ВИОЛОНЧЕЛЬ. ДУША НЕ ВИДИТ СВОЕЙ ОШИБКИ, КОГДА В НЕЙ ЧУВСТВА ВЗМЕТУТ МЕТЕЛЬ…''

– Это откуда?

– Это из Александра Сергеевича. И из Бальмонта.

– Ты, грек Костакис, можешь мне объяснить, что такое сталкер?

– Я сам не знаю точно, но отвечу. Сталкер – это человек, которого первым запускают в неизвестно-опасную зону. Это как шпион, как контрразведчик, как исследователь, как первооткрыватель. Это как и когда геологи, спелеологи, люди – амфибии опускаются в глухо ошельническую акулу, в какой-то скрытый рот, в пасть устрашающую,

которая называется "Маракотова бездна''. Страшно, и на всхлип, и на взрыд. И как будто полосуют мрамором каррарским нерв сердца. Вот-вот неизвестное чудовище заглотит ногу, заглотит голову на скальп, или заморозит голову во льдах.

"А КТО УШЕЛ, ТОТ ВСЕ ЕЩЕ БРЕДЕТ. ИЛИ ДАВНО УЖЕ ПРОПАЛ В ПУТИ''. Так же неизвестно, как и при путешествии в старую книгу, старинную, как сквозь пещеру из тысяч пальцев, пропускающих, перебирающих лодку, плывущую по подземному морю. А дно страшит, составленное из скользких спин во главе с ящером кровожадным.

– Вот также я плыву во мрак, когда листаю старого, дореволюционного Пушкина. Какой поток звезд и страшных образов меня встречает. Вблизи этих мест хорошо склониться над этнографией местности, которая вплыла в нашу бухту, как в сердце, в залив. Твоя мать и мой отец из одного местечка – Бердянский уезд Таврической губернии. Мать твоя из Инзовки, а мой отец из Орехова. Так близко от мест, которыми ты дышишь. Но в таком случае почему ты в своей этнографии о Тавриде, о Крыме не написал про коллекцию вин князя Голицына в Новом Свете, вблизи Судака?

– Это какой князь Голицын основал виноделие в Новом свете? Тот, который похоронен в некрополе Георгиевского монастыря А.Н. Голицын /1773-1844 г.г./? Или Голицын Василий Васильевич /1643-1714/? Князь, боярин, фаворит российской правительницы Софьи. В 1676-89 возглавлял Посольский и др. приказы. Заключил "Вечный мир'' с Польшей в 1686 г. Участник Чигиринских (1677-78) и глава Крымских /1687, 1689/ походов. В 1689 сослан Петром I в Архангельский край. "Краткий словарь истории Крыма''/.

– Ни тот, ни другой. Послушай. Для изготовления шампанского требуется несколько сортов винограда, апробированных длительными опытами. Виноматериалы этих сортов винограда смешиваются в определенной пропорции. Процесс образования шампанского продолжается в общей сложности три года.

…Интересна предыстория советского шампанского. Родоначальником производства русских шампанских вин является Лев Сергеевич Голицын /1845-1916 гг./ – выдающийся ученый-винодел. Князь по происхождению, ученый по складу ума, Л.С. Голицын глубоко изучил виноделие Франции и других стран. Исследовав возможности и нужды виноградарства и

виноделия в России, он пришел к заключению, что только слепое преклонение перед Западом и неверие в свои силы мешает развитию отечественного виноделия. Всю свою жизнь и свои средства Л.С. Голицын отдал изучению и совершенствованию русского виноделия, особенно шампанского, он по праву возглавил русскую школу виноделия.

В начале 80-х годов XIX в. Голицын купил урочище Парадиз /рай/ площадью в 230 га, переименовал его в Новый Свет, провел туда дорогу, построил винодельню, подвал для выдержки вин, дом для служащих и начал ставить научные опыты по выделке шампанского, которые длились десять лет и требовали больших влажений. Наконец, в 1899 г. Голицын выпустил первый тираж шампанского с маркой "Новый Свет''. Успех превзошел все ожидания. Во время всемирной дегустации шампанских вин во Франции в 1899 году шампанское "Новый Свет'' получило самую высшую награду – Гран-при. А.А. Иванов, главный винодел и соратник Голицына, писал в своих воспоминаниях, что в 1900 г. на Всемирной выставке был дан обед в честь председателя экспертов – графа Шандона, владельца известной фирмы шампанского. На обед подавались лучшие марки шампанского, получившие награды. Шандон принял голицынское шампанское за свое и был очень смущен этим. Это был триумф русского шампанского виноделия.

Правда, выполнив свой патриотический долг, Голицын совершенно разорился. Он вырыл в горе Коба-Кая около четырех километров туннелей в три этажа. Это стоило ему трех наследственных состояний. И все же в 1906 г. судебный пристав опечатал подвалы с готовым шампанским за долги кредиторам.

Голицын собрал огромную, уникальную коллекцию вин всей Европы, начиная от вина, выпущенного во времена французской революции. Эта коллекция сохраняется в подвалах винзавода "Массандра'' /Массандра – местечко вблизи Ялты. В этот комбинат по хранению вин было перевезено вино из Нового Света после Великой Отечественной войны – в целях лучшей сохранности, и в целях концентрации в единственном месте лучших вин. Это, конечно, нарушение заветов и пожеланий Л.С. Голицына, для кого местечко Новый Свет было детищем. От таких составов и перестановок и начинается безнравственность – **К.Г.** / и имеет большое научное значение. Л.С. Голицын умер в Новом Свете в 1916 г. и был похоронен в склепе на винограднике...''. Автор этого путеводителя по Судаку – Полканов Александр Иванович.

– Так это тот самый благородный деятель по спасению всех художественных достижений Крыма, всех могильников, всех пещерных городов, всех Крым населяющих народов, начиная с древности. Во время Великой Отечественной войны к нему, заведующему областным комитетом по делам музеев и охране памятников искусства, архитектуры, природы и народного быта /Крым ОХРИС/, как ученому – немцы, с целью уничтожения караимов и в связи со своей некомпетентностью касательно принадлежности или не принадлежности караимов к евреям, обратились к Полканову, чтобы он дал им, немцам, точные сведения о происхождении караимов. Немцы хотели и были склонны считать караимов принадлежащими к еврейской расе, к еврейскому родству. Полканов же, вопреки желаниям немцев-фашистов, основываясь на научных данных, и конечно же, понимая зачем фашисты требуют от него сведения о караимах, составил научную справку полностью отделяющую караимов от евреев. Он указал точные данные, что караимы имеют только хазарское происхождение. И таким образом не дал немцам основание уничтожать караимов в еврейских гетто. Отсрочил время для расправы. А там подошла и Советская Армия. И Крым был освобожден от фашистов. И вскорости, именно от Советской власти, от Сталина, от Берия Крым испытал полнейший геноцид крымского народа, разноплеменного, прекрасного на розы, на олеандр, на георгины, на шалфей, на орхидеи, высланного крымского интернационала, брошенного умирать в сибирские леса, в среднеазиатские, в казахстанские пустыни. Уж больно хорош был Крым для других народов, кроме русско-украинского. Всех угнали для прочистки легких. И только спустя двадцать лет, после смерти Сталина, Советская же власть стала исправлять свои ошибки идеологического фронта, идеологического фашизма. Всем высланным нациям разрешили возвращаться снова в Крым. Но в какие это вылилось муки, в какие каторги, в какие страдания ни в чем не повинных людей, ни в чем не повинных народов! И возвращаясь к Полканову Александру Ивановичу, когда он умер в Крыму, и был похоронен на Русском кладбище, среди своих родных, – караимы, помня о мужестве Полканова, который рискуя жизнью, зная пожелания немцев-фашистов, вопреки им, составил справки о нееврейском происхождении караимов, выкрали гроб с телом покойного, вытащили из русского кладбища, и перезахоронили на своем – караимском кладбище. Это был знак высшего почета всей жизни Полканова. Караимы посчитали Полканова, чисто русского человека, своим. "Пусть покоится среди своих'',

сказали они.

– Здесь еще есть сведения о Новом Свете: "В 1941 г. фашистские захватчики разграбили завод шампанских вин, зверски убили многих рабочих и служащих вместе с женами и детьми – их подозревали в связях с партизанами. Братская могила погибших, увенчанная обелиском, находится слева от дороги, ведущей от главного здания "Нового Света'' к большой бухте...''. Ты, грек, знаешь почему немцы убили многих служащих и рабочих завода?

– Почему?

– Эти рабочие и служащие замуровали тщательно некоторые винные подвалы с шампанским, и немцы так и не смогли эти подвалы обнаружить, чтобы вывезти их в Германию. И никто из тех, кто замуровывал вход в подвалы, даже под пытками не сознался. И если бы не эти герои-труженики, после войны, конечно, нечего было бы перевозить из "Нового Света'' в "Массандру''. Все бы шампанское пропало. Пропал бы весь цвет. Все усилия, вся жизнь благороднейшего князя, князя Голицына, родоначальника русского шампанского.

Зачитаю тебе тексты этих мест, когда здесь жили немцы, болгары, греки, французы, караимы, крымчаки, татары, еще не высланные из этих мест, высланные для того, чтобы эти местности оставить для русско-украинского населения. Лучшие местности – для правящей нации, а не для нацменьшинств – лозунг фашиста, лозунг нациста. Книжонка уже, конечно, кастрированная, но яйца для воспроизводства потомства еще работали на износ. Книжонка-путеводитель по Феодосии и ее окрестностям, изданная в конце двадцатых годов двадцатого века: "ОТУЗЫ. На 27-й версте от Феодосии по шоссе на Судак, в 7 верстах от Коктебеля и около 5 верст от моря, расположена татарская деревня Отузы /Отузская долина/. Название это происходит от татарского "ЗО'' / в этой деревне осталось 30 дворов после выселения греков/. Население Отуз – татары – занимается исключительно виноградарством. Здесь насчитывается до 150 десятин виноградников, дающих до 45 тыс. пудов винограда. Преобладает здесь виноград столовый "шабаш'', который большею частью отправляется на север. Винных сортов мало.

В Отузах хороший климат, отсутствуют ветры, туман и сырость; температура довольно постоянная. Отузский берег моря открытый, есть пляж /песчаный/ и сравнительно хорошее купание. Вся долина,

покрытая садами, защищена с обеих сторон горами. С юга высится гора Эчкидаг /Козья гора/ высотою в 300 саж., отделяющая Отузскую долину от Козской. Эта гора по преданию имеет бездонный провал и названа татарами "ухом'' земли. С востока высится Карадаг, а вдали видны Коктебельские горы.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. В качестве достопримечательности Отуз служат развалины древней церкви на церковной скале /Кильсе-кая/,и развалины какого-то древнего укрепления в устье долины у моря.

На 3-й версте шоссе к Судаку, вправо, идет проселочная дорога на бывший Кизильташский монастырь, теперь колонию для инвалидов им. Калинина, отстоящую от Отуз в 9 верстах, а от устья реки Отуз влево идет проездная дорога на Карадагскую научную станцию.

В Отузах есть почтово-телеграфное отделение, кофейни.
КОЛОНИЯ ИМЕНИ ТОВ. КАЛИНИНА.

Раньше здесь был Кизильташский монастырь; и только в последние годы Советсткая власть выдворила из этого прелестного уголка паразитов и поселила инвалидов войны. Бывший Кизильташ. Старые сны, изваяния, склепы. И всюду можно встретить разные изображения, надписи и т.д. тех давних времен. Остатки древних водопроводных труб.

НАСЕЛЕНИЕ. Административный центр Судака находится в 2-х верстах от берега по шоссе. Он насчитывает тысячу с лишним жителей. Население: большею частью татары, затем немцы, армяне. Русских мало /слободка/. Судак довольно тихий поселок, нет особенного оживления ни в жизни, ни в торговле. Зимой в Судаке полное затишье, но летом и осенью, когда приезжают курортники и когда начинается сбыт вина, чувствуется оживление.

Судак один из виноградных районов. Виноградарство и виноделие составляют главное занятие населения. Здесь насчитывается до 1500 дес. виноградников. Столовых сортов винограда в Судаке почти нет, а из винных преобладает "Кокур''.

Судакская долина соединена с Ай-Савской и Таракташской и тянется в длину на 10 верст и в ширину на 3. Все эти долины богаты красивыми лугами и полянами, засаженными виноградниками. Много фруктовых садов с вековыми тополями и орешниками. Долина богата водой и орошается небольшой речкой Суук-су /холодная вода/; защищена со

всех сторон горами и открыта только с юга, почему и климат ее ровный, мягкий. Осень в Судаке бывает особенно хороша и тянется почти до ноября.

НОВЫЙ СВЕТ. В 7 верстах от Судака, в живописной местности, закрытый со всех сторон горами, расположен "Новый Свет'', имение бывшего князя Голицина /теперь совхоз/. "Новый Свет'' славится своей выдающейся ролью в истории Крымского виноделия и в создании Крымских вин. Это один из живописных уголков Крыма со своеобразным пейзажем. Новосветские высокие скалы густо поросли можжевельником и несколькими видами сосен с приятным запахом. Уютная бухта "Нового Света'' защищена мысом Куба-Бурун, почему здесь не наблюдается ветров. Хорош пляж. Особенны интересны подвалы, где выдерживались шампанские и ликерные вина. Подвалы построены еще в 1890-ых годах и в общей сложности тянутся на 3-3 S версты. Славится еще единственный в мире коллекционный подвал, в котором имеются коллекции вин всех стран и городов / до 32.000 бутылок/.

Дорога из Судака в "Новый Свет'' довольно красива. Она начинается при повороте от шоссе к пристани и проходит Немецкую колонию по красивой местности. Иногда она вьется под самым морем около Чертовой балки /Шайтан -дере/, затем огибает подножье горы Кушкая. Дорога все время идет высоко над морем, это дает возможность большого кругозора и смены пейзажей.

ОКРЕСТНОСТИ. Колония Судак /Немецкая колония/ расположена в 2-х верстах от берега с западной части Судака по дороге в "Новый свет'' / против крепости/. Это колония заселена выходцами из Баварии и Бюртемберга, основавшимися здесь в начале XIX века. Это чистенький, уютный поселок. Население занимается также виноградарством. Среди поселка имеется прекрасный фонтан с обилием хорошей воды.

Из других окресностей Судака – Большой и Малый Таракташ в 5-ти верстах. Таракташские долины соединены с Судакской. Эти деревни сохранили свой патриархальный восточный вид и характер и привлекают внимание виднеющимися минаретами. Долина Большого и Малого Таракташа богата ручьями. Интересны еще гребневые хребты, высящиеся в виде длинной зубчатой гряды, защищающей долину от ветров. Здесь же высятся две скалы. Одна из них напоминает человека, стоящего на коленях''...

Ты пишешь про Красные камни. Красные камни, что там всю лозу

уничтожили.

– Нет, лоза осталась. Старых дореволюционной закваски виноделов уничтожили. И лоза Красного камня после тысяча девятьсот девяностого года исчезла после работы Горбачева о борьбе с алкоголизмом в СССР. Действительно, Горбачев – дьявол для многих и многих десятков миллионов людей в СССР. Об исчезновении виноградной лозы из местечка "Красный камень'' был материал в журнале "Огонек'', когда повесился лучший знаток и дегустатор крымских вин, когда произвели насилие такое бесцеремонное над его долиной. Просто сотни гектаров, тысячи гектаров виноградной лозы рубили под корень. А теперь, попробуй, восстанови. Как не восстановишь российскую – лосевскую, шпетовскую, бердяевскую, ильинскую, бунинскую, зарудинскую, мандельштамовскую, потебневскую, флоренствующую культуру, которая не менее огромна, чем древнегреческая, чем древнеиндийская, она – держала громоотвод над галактикой нашей, над Вселенной, над шаром земным. Как выдерживали копья, как победоносно был наточен их трезубец. Из какого мощного жили потенциала – неистощимо-обновляющегося.

– Меня сестра угощала этим вином – "'Красный камень''. Это были шестидесятые годы. Я была уже взрослая. Вино это было крепкое, но очень вкусное, изумительное. Еще отец был жив. А папы нет уже почти тридцать лет. Он умер в тысяча девятьсот семьдесят втором году.

– Простучу твой текст, введу тебя в тысячелетие, введу тебя в пишущую машинку, чтобы твой голос вибрировал, когда уже и нас не будет.

– Это вино "Красный камень" я пила в Днепропетровске. Моя сестра была гинекологом. И ездила на конференции в Киев. И там это вино продавалось. Это вино было очень трудно достать.

– А когда ты пила это вино – какая погода стояла, лежала, спала?

– Ну, Костакис, я и так беспамятная, а ты хочешь, чтобы я запомнила солнце или дождь, или снег. Это было лет сорок назад, чуть меньше. Это была зима. Нам летом отпуска не давали. Нам отпуска давали только зимой. Я тогда работала в Гаграх, в санатории "Украина''. Там я проработала тридцать лет: с 1946 по 1973. Я работала клиническим лаборантом. Потом уехала учиться в Харьков – заканчивать фельдшерское училище. В 1955 году вернулась в Гагры и проработала до 1979 года. А с 1962 года, когда нам начали давать отпуска летом – я стала ездить с 1962 года по 1972 год в отпуск в

Феодосию, в местечко, где я родилась.

– А где ты там останавливалась?

– Я там жила у разных знакомых. Я всю жизнь тоскую, тосковала по Феодосии, по своей родине. И в 1996 году я поняла, что умру без Феодосии.

– А как ты отдыхала в эти годы? Романы крутила?

– Какие там к черту романы с мужиками?! Я – больной человек. Я ездила по экскурсиям. Где-то сохранились даже эти автобусные билеты, билеты на катера: Алушта, Ялта, Алупка, Симеиз, Гурзуф.

...Мне безразличны ваши новые литературные ходы, ваши измы, ваши рокн-роллы, абстракционизм, импрессионизм. Я от литературы должна получать прежде всего эстетическое удовольствие. Эстетическое удовольствие – от картины, от письма. Плакать, рыдать, очищаться. При взгляде на искусство со мной должен происходить катарсис. Я должна очищаться от дурного, от низменного. Я воспитана на классике. На классике девятнадцатого века великой русской литературы, выше которой литература не поднимается, как не поднимается поэзия выше и дальше Дантэ.

– Абсолютно согласен на цвет, на имя, на "заколдованное место'' Николая Васильевича Гоголя. Но двадцатому веку земной жизни, жизни на Земле, видимо, надоело жить в рамках скромности, в рамках вздернутых одежд девятнадцатого века – и поэтому двадцатый век взбодрился, взбучился, поднялся на бучу, поднялся на дыбу, на дыбе. И он стал рвать одежды камзолов, одежды трафаретов. Ему стало скучно держать себя в рамках девятнадцатого века. И он стал разглядывать нутро свое, нутро своей скотины, не выгораживая его из комплексов, не облагораживая свою кровь, свои тайные стремления. И вынес на поверхность свои испражнения, свою уринотерапию, свои извращенные вожделения, которые классика прятала, гнала вовнутрь, потому что это было антиэстетически. И литература, и живопись, и скульптура двадцатого века почти поголовно –антиклассика.

– И поэтому полезли всякие там быки, коровы, козы из Пабло Пикассо в его "Гернике''. Пикассо рисует, пишет гибель, смерть, разрушение испанского города. И вместо людской казни, из его крови тащутся наверх, к небесам, тащутся из подземелий, из катакомб – быки, овцы, черти.

– Ну и правильно. Из крови, на крови животных, крови птиц, крови

рыб, крови шакалов, крови китов делается совсем другой вывод, более неожиданный, чем это принято. От освобожденной крови миру становится легче. Ему становится нужнее жить, нужнее и еще трепетнее существовать. В этой гибели людской и состоят парадокс и подлость всей человечьей натуры. Великие люди пытаются опровергнуть человечье бытие. Но общая масса все равно зарастает сором, гноем, изуверством. Деяния великих пророков, сеятелей добра – как Сизифов труд, казалось бы, безнадежный при слиянии, при слитии воды из источника, но без него, без напрасного, казалось бы, усилия мир, шар земной сорвется в тартарары. От высших миров должно заповедано слышать, слушать голос иных миров, земных, слышать как предупреждение о тонко текущей жизни, о тонком петушином предутреннем пении, как намек на тайно начинающийся дождь. **"Слышен крик петуший! Дорогое! Невозвратное, далекое, прости!.. Только б жить, встречать опять родное – это счастье милое, простое, этот стон в предутреннем пути. Вот и нас давно уж нет на свете. Без следа исчезли мы с земли. Все же кто-то вспомнит этот вечер и вздохнет при звездном кротком свете тем же счастьем, что мы пронесли. Пусть вздохнет от сладостного счастья в этот тихий, ранний, серый час. Пусть вздохнет от светлого причастья той улыбки, что жила и в нас''**... Конечно, человек не может перепрыгнуть свое время, свой стиль, свой ритм, не может перепрыгнуть то время, в которое он был погружен при своих днях, из своих дней. Ты живешь в старых пунктирах, хотя все те же ограды, все те же колючки, все тот же рододендрон, тот же шиповник. И я тоже живу в этой новой светло-сиреневой картофельной ботве, в картофельно-древнем цвете и свете. Там и остался со своей бабушкой горбато-спинной, горбато-носовой, горбато-профильной. При той же золе древесной, которой она посыпала расстояния, землю в саду, на огороде. И я до сих пор в этой золе, как в снегу, уже постаревшем на тепло, на тепле при рокоте, на рокот пробегающего рядом моря. Так что все изношено на древесно-шелковистую память, завернуто, как в бабушкину вуаль, в бабушкину бумазею. Ты что, думаешь, что я так просто пошел? Я пришел к тебе в любви объясняться.

– Надо было раньше приходить. Лет тридцать назад. Я же 1923 года, а ты 1941-го. Разница – в одно поколение. Поколение – это двадцать пять лет. Но до поколения мы не дотягиваем. Нам не хватает разницы для отсчета одного поколения – семь лет. Этих семь лет

достаточно, чтобы вытащить из тебя шиповник Крыма, чабрец Крыма, подснежник Крыма, Ялтинскую Яйлу, Долгоруковскую Яйлу, чтобы снова втащить в твое сердце, вбросить очищенным, освеженным лунным и солнечным ножом Чигинитры. И мы эту разнцу в годах протащим к вершине Демерджи.

– Конечно, человек не может перепрыгнуть свое время, свой стиль. Ты живешь в старых пунктирах, а молодежь из новых пунктиров, из новых источников. Но эту якобы несовместимость лет надо ломать, преодолевать.

– Я старый человек.

– Скажи мне, Наташа, про свое первое жизненное восприятие. Что первым запомнилось в твоей жизни? Какой первый пейзаж вошел в тебя?

– Разве я помню?! Но детство раннее я вижу почти отчетливо. Я помню шелковицу. Но это было у бабушки – в городе Орехово. Не в Крыму. В 1928 году мы уехали из Феодосии. Потому что трудно было жить на две семьи. Я и мама жили в Феодосии, а папа учился в Харькове – на врача. Учился в мединституте. А меня отправили в Орехово. В Феодосии я помню нашу квартиру. Этот дом разрушили. На том месте стоит теперь многоэтажный дом. Я там не была уже 27 лет.

– А что собой представлял этот дом – где ты жила в самом начале? Наверно, в ракушечниках, в дельфинах, в ставриде, в камбале?! В яхтах, в корветах, фелюгах, в генуэзских ядрах, в катакомбах, где у пленников отрезали уши... Вот мы с тобой и схлестнулись в годах, сошлись..

Гаграы, ноябрь 1999 год

ЗАГЛАВНЫЙ МРАМОР

Соловьеву Валентину Григорьевичу

Сидеть со свободолюбивым армянином-парикмахером в его доме, в его мазанке, в хижине, невысокой, но теплой, которая топится кизяком, половина соломы, половина сухого овечьего навоза, чуть земли. Попивать сладкое вино; уже наесться плотно, вдоволь.

Распахнется дверь, ввалится дядька, старик лет 75-ти участник русско-немецкой войны. Заросший белый, с длинющей бородой.

Увидит. Закричит племяннику.

– Ты столько шлялся по земле, по свету, а в Нубаре был?

– Да.

– Мечеть там видел?

– Их там тысячи. В каждом квартале.

– Нет, главную. Метров пятьдесят в вышину, – дядька как всегда навеселе. – Туда поднимается ихний поп, кричит что-то очень громко, монеты с населения требует...

– Да нет. Он кричит – на молитву зовет народ. Пять раз в в сутки. А ты говоришь – монеты с населения требует. Совсем ты все перепутал на старости лет. Наверно, всю жизнь их у тебя не было, этих монет. Вот и щупаешь их везде, прощупываешь.

– Я учился в Нубаре, в церковно-приходской школе. Из-за голода бросил. Сюда перебрался. Раньше в Нубаре воров не было. Воров сбрасывали с главной мечети, они разбивались. Это потом воры появились, когда перестали так строго наказывать... Молодость, война застала меня здесь; идем по чужой земле, чужих баб щупаем. Кто нам откажет? При каждом солдате штык, винтовка. Сразу убьем. Кто нам откажет в любви? – Молодую или старую. Они же наших баб тоже щупали, когда гуляли, прогуливались по нашим краям – черноморским, российским. И когда идешь по чужой земле – меняешься ролями... Налейте мне чаек. Можно помешать с холодным киселем. Мы солдаты, нам не привыкать быть неразборчивыми в еде. А вот маслины вы с борщом зря едите. Маслины – это аристократический, деликатнейший продукт. Его нужно с чаем есть. Намажешь хлеб с маслом, положишь в рот маслину и пьешь весь стакан чая, лучше не надо... Когда возвращался на родину из Нубары – засиделся в Ростове на станции. Голодный. За пазухой кусок хлеба. Я его тихо-тихо отщипываю. А напротив меня сидит толстый мужик. В руке перочинный ножик, на бумаге хлеб, сало и чеснок. Я ем хлебушек, а он сало и чесночек. Так и осталось в памяти. А просить я не стал. Что в нашей старости? Покушать чесночок с салом и хлебцем – и спать. На бочок. И женщину не надо. Зачем такую огромную энергию зря расходовать?! Лезть на грязь... Я вон Коту (Кот – кличка племянника) расскажу, как в моей молодости был у нас, здесь, в Гаграх, огромный русский кузнец, так был налит силой; и все к нему ходили то колесо от телеги сварганить, то хомут пошить, по подкову набить коню, то дверные петли сделать. Он, этот кузнец,

жил без женщин, без жены, детей у него не было. Полгода он жил спокойно, работал. Потом его начинал мучить аппарат любовный, будоражил его. Шел тогда кузнец к местному фельдшеру Федору; тот вливал ему большую дозу чего-то успокоительного, и кузнец размякал; полгода работал на кузне как заведенный, пользу людям приносил, понимал, что они без него, как без рук. Молодцом был, свою личную жизнь отдал народу. Для общества жил. Да и брал плату за свой труд совсем мизерную: к нему и бедняк мог обратиться, и богач.

Дядька исчезает. Хорошо про него рассказать армянину. Пусть прослушает про жизнь простых людей, простецких:

– Дядька богатый на опыт человек, рванина. Ходит в чем попало, на улице подберет, тащит домой, я ему отремонтирую одежду, постираю; пенсия же малая досталась дядьке – участнику русско-немецкой войны. Дядька никогда не приходит домой пустой, что-нибудь, принесет – то бутылку пустую, то рыбу соленую, рыбаки ему дают, потому что он часто их лодки охраняет, когда рыбаки загуливают, в загуле; то сковородку принесет ржавую, так мы ее песочком отдраим; то куст сирени притащит с корнем, мы ее закопаем у калитки – пусть красуется, пусть красотой насыщается земля-землица. То пальму принесет, то акацию. Не обязательно же в саду держать то, что приносит доход. Когда человек становится слишком меркантильным – он умирает. Есть люди, у которых в саду растет только доход, только пульсируют доходные места: мандарины, хурма, яблоки, груши. Держать в саду деревья только доходные – говорит о том, что душа у хозяина этого сада не возвышенная, а утилитарная, приниженная, без небес. А держать в саду пальмы, кипарисы, рододендроны – значит обладать душой аристократической, дворянской, быть насыщенным духовностью до краев. Позавчера вижу – дядька тащит тачку, большую арбу сам почти; бычок заупрямился, а дядька сильный, навеселе, поет песню: "Вот идет Валюша – веселый трубочист. Хоть одеждой черен, но душою чист..." А тачка, а арба полностью нагружена старой, пересоленной рыбешкой мелкой. Рыбаки хотели ее выкидывать в море. Хотели в землю закопать. А дядька упросил их отдать ее ему – на фарш, на фантомас: "Сейчас, с Нового года, с Рождества Христова запретили ловить кефаль чуларку". До Первого мая нельзя рыбу ловить", – объяснил мне человек, специалист, который охраняет местные водоемы. "А я только приловчился рыбу брать: только научился правильно фарш делать, научился заполнять

мелкие сосуды, прятать туда крючки, горсть крючков, замазывать все это рыбной размазней, перемолотой на мясорубке, смазанной оливковым маслом. И в день могу вытаскивать хоть двадцать килограммов рыбы. Ну хорошо, тогда я этот фарш законсервирую до весны, залью мелко перемолотый маслом растительным, закрою в плотной коробке..." И вот идет дядька, кричит мне издалека: "Кот, Котэ, Котик, спасай. Участника войны ноги не тащат, отказывают. Конец приходит. "Умер Максим, да и пусть с ним, хрен с ним.. Положили его в гроб. Да и мать его рас-сту-ды". Помоги эту кольмагу с соленой рыбой в дом затащить, законсервируй ее. Видишь, здесь же в телеге и туфли хорошие. Какой-то миллионер обрезал края – и выбросил на свалку. А мне хорошо, сполосну родниковой водой, просушу, и буду носить дома, ночные туфли сделаю себе. Буду по ночам прохаживаться по двору в туфлях миллионера, когда захочется в туалет. В этих туфлях роскошных с ноги Гугули Карура, потому что я видел, что их долго носили его прислуги, а потом и им надоели эти туфли, которым нет сносу; в этих туфлях Гугули принимал самых своих почетных гостей. И мне приятно, что теперь, я буду таскать туфли миллионера – вора, крупнейшего взяточника, занимающего самые ответственные места, посты в нашем уезде, – в самые ночные отхожие места босяцкие. ...Потом в этой тачке коробка почти полная, не начатая, самых отборных, лучших консервов с тропиков, из Африки; какой-то деликатес; специально Гугули привезли моряки, ходящие в загранку. Чем-то Гугули эти консервы не понравились, он их выбросил. Теперь я их подержу под дождем, отмою от миллионерских рук, и буду кушать по утрам деликатес, на сервис мне пойдет после сушеной воблы с картошечкой в мундирах..." Дядька в эту ночь уснул, спал крепко от перепоя.

Утром я встал чуть позже, чем дядька. Спустился к нему на кухню, где он спит в тепле; вижу – дядьки нет, а постель его мокрая. Не мог я позволить, чтобы дядька спал на мокром. Вынес его матрац на солнце, а брюки, трусы, рубахи его перестирал.

Дядька пришел. Ругает меня: "Зачем вещи постирал!? Это самый полезный – вышедший во сне наружу человеческий пот, соленая моча. Кожа становится продубленой, никакая зараза не тронет. А я же блукаю все дни по пляжам, по морю, по свалкам богачей. Нужно же что-то делать, не спать же, если у меня отняли занятие любимое – рыбную ловлю. И вот когда сживаешься с этими свалками, с этими

горами богатств, сам становишься составной частью свалок: никакие болезни и тебя не тронут, никакая зараза не коснется, я становлюсь перемешан всеми ветрами, просолен... Ладно, иди товарищ Кот, племяш. Рыбу, что ты коптишь, я прокопчу, докончу. Нужно дать больше огня, чтобы рыба была горячего копчения. Тогда она мягкая, сама отдирается от кости, мясо отдирается, отходит от кости. Нужно взять старую бочку без дна; без свалки не обойтись, только там все лежит, есть: – "Чем мне нравится Крайний Север, район Чукотки, Колымы, Канадского Севера – там тоже все ищут и находят старые аборигены севера. Там поколения за поколением оставляют на свалках свои следы. А жизнь же не меняется по сути: то, что нужно одному поколению – то же нужно и другому. Это как дом: только тот дом как дом, стоящ, настоящий, где сохранены черты былого, где есть следы, вещи, принадлежащие твоим дедам, прадедам, отцам, бабушкам. Дом, где есть следы только твоего одного поколения – пшик, ветер на песке, на песку, ничего не остается, ибо только памятью поколений, как сменой вех, эпох складывается история, твоя нравственность... Вот чем люблю архитектуру, старые вещи: есть с чем сравнить себя, свою жизнь, чтобы не возноситься, не строить из себя черт знает что. А на самом деле – сквозь прошлое понимать – что ничего из себя не представляешь... Только из уровня прошлого видеть свой быт, свой скарб. И этот скарб, эти свалки проросли уже морошкой, клюквой, морской, океанской волной, промыты..''

Дядька стоит босой на зимней теплой земле, в штанах явно не с его роста, не под его рост, явно в подростковых; галифе солдатское, древнее, расшиты лампасами. Зарос, не брит, белеет бородой.

"...Ты вот рыбу коптишь под небом... А лучше нужно сделать коптильню, сварганить... Всегда можно поддать жару, огня – и рыба будет со всех сторон готова, мягка, не будет один край подгорать, а другой оставаться сырым... И фрукты, что мать сушит на крыше, мучается – если идет дождь – мать ночью встает, убирает эти почти сушеные груши, то солнце – снова нужно тащить на горищу, на железки эти..''

"Мать тебя правильно ругает, дяхос мой любимый. Ты часто спишь, лежишь среди бела дня... Тебе едва минуло семьдесят, а ты уже хандришь... Только фантазируешь... Двигаться надо, двигаться. Мать правильно говорит. Она на год два моложе тебя, а каждый день почти

ездит в Сочи, в Адлер, торгует фруктами сушеными, лавровым листом. Встает чуть свет, накормит курей, петухов, нарубает капусту, буряк, картошку сварит, мандарин вымоет, лист подготовит лавровый на продажу, пучки подготовит, фрукту сушеную свешает по полкило, все свяжет аккуратно, в сумку, и – айда на базар. Я так люблю ее вечерние присказки, разговоры, прибаутки, замечания, сны, которые ей всегда снятся, всегда ее сопровождают. Для меня разговоры матери – лучшее дыхание моей родины, моих Гагр, где я все равно сверну шею этому Гугули Каруру, который с ведома, конечно, сверху или без ведома, сеет на этой солнечной земле раздор, несправедливость о превосходстве одной нации над другой, и желание жить, понукая тех, за чей счет живешь... Встретишь мать вечером с дороги, когда она сойдет с фаэтона, присядешь с ней у родника, принесешь ей из дома груш, чайку, молочка принесешь парного, которое только что нес из-под козы, подоил. И слушаешь мать родную под вечерним небом, небесами. А мать рада распространять свои дни: "Кто-то к нам в гости приедет; я видела во сне, что три птицы в наш двор опустились''... Сколько ношу из Сочи, из Адлера корм для курей – никак не могу яйца увидеть у наших кур. Только скорлупу вижу разбитую в гнездах куриных. Я знаю, отчего это все происходит; петухи лезут на то место, где курица сидит с яйцами, с яйцом. И когда курица уходит – эти яйца разбивают, и выпивают, выклевывают. Только сегодня утром нашла одно. Ты вот уже только сегодня мандарины снял с дерева, а уже январь. И они уже вялые, слабые, тонкая кожура. А те, что ты снял осенью – до сих пор твердые. Твердая кожура.

– Для чего ты, мама, каждый день в Адлер ездишь, в Сочи? Дома, возле калитки лучше продай на несколько копеек дешевле эти фрукты, эти мандарины за килограмм, за фунт. Но зато будешь спокойная. Хотя я знаю, что ты любишь базаровать, привыкла к базару с молодости, базар начался у тебя с войны, с голодух, чтобы прокормить нас, своих детей. Но хватит ездить...

– Меня каждый вечер может фаэтон этот громоздкий, рейсовый задавить. Его в Адлере обычно ставят на третий путь. И все бегут. И я бегу. Но они молодые, многие порожние, а я с грузом всегда. Бегу, телепаюсь на своих больных ногах. И сегодня снова эта история. Люди бегут к фаэтону через шоссе, не дожидаясь, не добегая до перехода. А на третьем пути – есть немного возвышение крутое. Как платформа. И я сумки перебросила, а перелезть не могу. А тут фаэтон другой

идет, катит на четырех рысаках, дальний фаэтон; из Туапсе, тоже рейсовый, и на всем ходу, а уже близко, ясно, что если я не успею перелезть, перекатиться через возвышение, фаэтон на меня наедет. Уже осталось метров тридцать, а я никак не могу подняться. И хорошо, что люди вытащили меня; одни за руки тащили, другие за шиворот.

– А если бы не было людей?

– Я бы не спешила, не бежала. И стала бы думать, как на карачках подняться, влезть на платформу... И идут два полицейских. И один из них говорит мне: "Надо было вас, бабуля, оштрафовать на десять рублей, чтобы больше так не лазили''. "Нате, берите лавровый лист'', – кричу я им.

..И вчера как раз был сон. Тут у нас недавно соседка умерла, гречанка. Полгода не прошло. И вот вижу ее, она меня зовет, вино предлагает. Я подхожу к ней, хочу взять вино. А эта гречанка уже исчезает, меня снова зовет. Но ближе и ближе к темноте, к неосвещению, не освещенному месту. Я все-таки подошла к ней, к гречанке, попробовала вино из ее рук. Вино оказалось плохим, кислым. Потом вино из моих рук исчезло, и гречанка исчезла. Вот если бы я пошла за ней, исчезла бы с ней, значит, я бы сегодня была бы сегодня уже мертвой. А так мне было просто угроза, уничтожение. Видишь, какие бывают вещие сны, действительные. Что-то есть в человеке, что предвосхищает его судьбу, его будущее. Какой сложный человеческий организм.

– Как Вселенная, Галактика – человеческий организм. Все в себя вмещает – все круговороты времен, все океаны, что есть, живут во Вселенной – есть, живут, наличествуют и в человеке. Да и не только в человеке. В любом живущем организме, в любом дереве, в животном, в рыбе, в звезде, в любом цветке – точно такая же тайна, как и Вселенная. В любом цветке, в любом животном такие же точно океаны, моря, реки, пропасти, как и во Вселенной. И малая часть есть подобие любой сложности, и наоборот. Стоит изучить, разобраться в человеке, изучить всю его подноготную, все его порывы, движения, все его почки, сердца, вены – и увидишь, и поймешь всю необъятную Вселенную, рассчитанную на миллионы световых лет. Человек, птица, собака так устроены, что давным-давно, с самого своего начала принимают отклики от других планет, их позывные; человек, собака, кит слышат другие миры. Что живут над нами, под нами. И все эти позывы забредают, воспринимаются, живут внутри сердца, внутри мозга, как богатства, как залежи,

накапливает человек сведения о себе, о Вселенной. Но дело в том, что они лежат, якобы, мертвым грузом. И не может человек разгадать этот смысл, этот шифр, эти мысли из глубин Вселенной. Ибо в природе давно известно, что пока человек не станет настоящим гуманистом, пока не изживет из себя уничтожение младших братьев своих, пока не уничтожит из себя атавизм, не изрыгнет – тайны мира, все его секреты так и останутся за семью замками, печатями. И то, что я прав – тому свидетельство хотя бы твои вечные, вещие, мама, сны. Они налаживают мосты, ограждают от бед, пробуждают в нас раздумье, напоминают о мертвых наших родных, близких, что они без нас скучают, если снятся, если посылают свои позывы, знаки, если кричат...

– Так я и проснулась. Значит, Бог, природа, не хотят меня пока забрать к себе. Ты вот, борщ, Кот, Котик, Костос, варишь; всегда кладешь много бурака. А от него у меня давление поднимается. Вчера вечером много поела твоего борща, а утром подняться не могла; не могу на базар ехать, падаю на кровать и все. Два раза падала, но все же собралась с силами, пошла, поехала. Ведь движение – есть жизнь. Ну что лежать!? – Ожидать смерти. И позавчера был сон про отца нашего, твоего. Будто он жив, не погиб на фронте. И улыбается мне и радуется. И так чувствуется, что у нас будет все хорошо, что ты, Кот, добьешься в губернии, чтобы тебе разрешили открыть лавочку, склад, куда бы могли все местные люди сдавать свои продукты, свои крестьянские изделия. Ведь в городе же на камнях ничего не растет. А людей в городе много, кушать все хотят. Продукты же все от нас. Так чего же мешать нам снабжать городских людей харчем хорошим, добротным...

День солнечный. Первый солнечный день после многих дней дождя.

– Мама, помнишь, здесь рядом, в углу нашего старого дома, времянки, стояла кирпичная печка, мы на ней и жарили, и парили, и грела она нас лет сорок, не меньше. Печка с трубкой, труба выведена высоко над крышей, под небеса. И отапливала всю нашу прежнюю жизнь, все наше детство, твою молодость.

Мама устало улыбается и немного злится:

– Как не помню!? Тебя еще не было, а я все это видела.

– И по этой длинной дорожке, заросшей всевозможными цветами, магнолиями, кипарисами, пальмами, у окончания дорожки стоял глубокий колодец, – и уже ушли по этой тропе за почти пятьдесят лет четверо

из нашей семьи – два Коли, Мина Яновна...

– И Григорий Максимович, твой дед, лучший в округе кровельщик. Ушел твой дед в одна тысяча тридцать седьмом году. Тогда всех брали за какое-нибудь слово, уходили в застенки, объявлялись врагами народа. Вся Колыма – откуда мы пришли, – усеяны этими костями, весь север стоит на костях невинно замученных, почти все пали жертвами клеветы, беззакония. Кто попадал на север не по своей воле – пять процентов выживания. Там под каждой шпалой, под каждым камнем – труп невинно замученного. Если не под каждым, то под каждым вторым – обязательно. Север на человеческих костях стоит, построен.

– А сейчас, видишь, сынок, все есть, и комнаты хорошие, отделанные, оштукатуренные. Все есть, а людей нет... Лучше бы все было бедно, как до войны русско-немецкой, но чтобы все были дома, чтобы все были живы, чтобы время не торопилось на унижение близких нам людей, дорогих. Если бы наш зять – Миронов Николай Павлович, не умер бы от вина, он бы тоже, может быть, решил, что надо снова делать кирпичную печку – как до войны, чтобы можно было топить, обогреваться хворостом, дровами, щепками. Ведь керосин же не всегда привозят, чтобы можно было обогреваться... Завтра, то есть семнадцатого декабря – Варвара, восемнадцатого – Савва, девятнадцатого – праздник Святого Николая. Наш отец, твой отец – родился девятнадцатого декабря, погиб девятнадцатого сентября на фронте, спасая Отечество, и было ему всего тридцать два года, месяц не дотянул до тридцати трех, до времени, когда Христа распяли. Девятнадцатого декабря – самый короткий день в году. В эти дни – празднования святых людей – нельзя прясть, шить, а вязать можно. Вообще в праздник работать нельзя.

– Да, это старый базар. Люди здесь не плохие живут. Веселые, жизнерадостные, хлебосольные. Любят девчат не издалека, а в натуре.

– Перестань ты, сынок, шутишь вблизи матери. Шути с товарищами. Ты вот скажи мне: "Почему ты волосы с моей головы выбросил?!'' Я, когда расчесывала свои волосы длинные, седые, их всегда заворачивала в бумагу, в тряпку, прятала, берегла; у меня уже был тюк этих волос... А ты куда-то задевал, когда прибирал в доме... Теперь мои волосы птички подобрали, теперь они будут гнезда из них вить, а у меня будет голова болеть... Сижу я с тобой, сынок, молодость вижу, так она ко мне выходит на дорожку, является в ситцевом сарафанчике. Мы еще молодые, незамужние... Кстати, недавно получила весточку

от старой своей подруги – Ани Авиловой:

"Привет из Кубани! Здравствуй, Мария Дмитриевна и вся твоя семья!

Получила твою открытку, но ответить не могла, все тянула, а от тебя ждала письма.

Ты удивляешься – где живу. Ты мне писала в Белоруссию. Я там прожила почти тридцать семь лет. Теперь я переехала в Краснодарский край. Мужа я похоронила двадцать восьмого марта тысяча девятьсот восемьдесят первого года. Жила одна. А двадцать пятого июля одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года приехал старик, то есть первый муж – Травкин Георгий Николаевич, и уговорил меня переехать к нему в станицу Темиргоевскую Краснодарского края. И вот так я оказалась здесь, и живу теперь здесь. По климатическим условиям и материально здесь жить легче. Да еще живу в центре, все рядом, а там, в Белоруссии, один магазин, и до него три километра дороги. Пространства там тяжелые, работать было трудно, везде болота. Как вспоминаю свою зрелость, прошедшую там, – страх берет. На Кубани можно жить, да только годы уходят.

Жизнь моя нормальная. Дедушка не пьет, спокойный, но другой раз трудно говорить, плохо привыкаем. Он прожил тридцать восемь лет, а я тридцать шесть лет – с разными людьми. Он после меня сразу женился. А я два года замуж не выходила – пока человек нашелся. Так что в такие годы, нам по семьдесят, очень трудно привыкать к прошедшей вдали друг от друга жизни. Ну что ж, видно нас бог не обошел, свел снова. И так вот, такие мои дела.

Я вижу наших старых студенческих друзей (почитай, прошло почти пятьдесят лет) – Полю Михайленко; переписываюсь с Тосей Мануйловой, Щурой Касаткиной, Марусей Караблиной. Как там живет Люба Мирошникова? Если увидишь – передай привет.

Итак, кончаю писать, привет твоей семье. Пока, целую, жду ответ. Пиши подробней. Аня 9. XII. 85 года''.

Вот мой ответ: "Здравствуй, Аня! Спасибо тебе, что не забываешь своих подруг юности; спасибо еще раз. Часто вспоминаю всех и все. Как мы поживали в хорошем городе Очамчира, как учились в техникуме. Как это дорого, больше не вернется. Как мы бедовали, страдали, особенно мы с тобой. У всех родители, а мы сиротки. Но веселые, молодые, здоровые. А теперь все есть, нужды нет, но здоровья нет, постарели,

нам теперь по семьдесят лет. Считай. Округляю. Прошлый год получила твое письмо и ответила, но не было мне понятно: почему ты там. Думала – ты в гостях на Кубани. Теперь – все ясно. Жаль. Потеряла друга, с которым прожила много лет. Но значит, судьба такая, а теперь живешь неплохо с первым мужем. Дай Бог здоровья и долгие годы. Поздравляю с Новым годом и с Рождеством Христовым, и еще поздравляю со Старым Новым годом. Будьте дружны и друг друга смотрите. Больше ничего не остается у нас: друг друга понимать и сохранить здоровье. Я живу потихоньку, дочь Елена имеет двоих детей, живет со мной; муж ее умер уже год. Два сына, тоже со мной живут; дед Петр – по хозяйству и я тоже по хозяйству, часто езжу в Адлер, Сочи – базаровать. Делов много. Еще летом работаем на море, убираем море, пляжи, работаем среди аристократической публики уборщиками. Они, эти богачи, оставляют много хороших кофт, рубах, пиджаков. Можем, и вам прислать парочку? Аня, а как твой брат живет? Где он? Бахия, если помнишь, рыжий на один курс был старше нас, учился, всегда о тебе спрашивает: где ты и пишешь ли, или приезжаешь ли ко мне? Но теперь спросит, скажу: "Живет Аня Авилова по-соседски''. Очень плохо Бахия видит, зрение почти потерял. Любу Мирошникову вижу редко, всегда друг друга спрашиваем – где все и кто пишит из наших. У нее четверо детей, все уже семейные, муж болеет у нее..''

1986 год, Гагры.

ИЗ КНИГИ: « ВСТРЕЧИ С ЕВГЕНИЕМ ЕВТУШЕНКО».

Июнь, 1994 год. МОСКВА.

Совсем недавно закончилась абхазо-грузинская война. Я только что приехал из Гагр.

Звоню Евтушенко. Прошу его к телефону. Утро. Девять часов.

– Котик, привет, – говорит Евтушенко.

– Евгений Александрович, я по вашей просьбе и по своей собственной ездил к Вам в Гульрипш, в Ваш дом. Перелез через забор. Вошел в дом. Все там выгорело. Никаких дверей, конечно, нет. Главная комната с

деревянным полом прогорела и провалилась на первый этаж. Со второго этажа на первый упали и Ваши такие прекрасно-мягкие диваны. То есть упали не сами диваны, а то, что от них осталось – металлические сетки. Там нужен ремонт и ремонт. И крыша тоже провалилась на первый этаж. Лестницы деревянной на второй этаж – тоже нет. Я прошел в гараж, где когда-то стояла ваша машина. Там все выгорело. И я обнаружил нетронутыми только кусок от телевизионного кабеля и стеклянную маску для подводной охоты, да еще остов пишущей машинки.

– А как ты думаешь, дом подожгли во время боев, во время войны, во время сражения? Или уже потом этот дом подожгли соседи после того как все своровали ?

– Я тут расспрашивал людей, в том числе и писателей абхазских в Сухуме, они говорят, что дом прожгли двумя снарядами от гранатомета. Прожгли его бойцы из армянского батальона. В вашем доме, якобы, был штаб грузинских гвардейцев. И во время штурма Сухума - Второй Абхазский фронт, который шел от Очамчира, и пробил, и сжег Ваш дом, чтобы выкурить врагов... Но то, что я увидел, мое мнение –насчет того, что дом подожгли соседи, когда обворовали Ваш дом – это не так. Потому что, если бы Ваш дом обворовали бы соседи, они бы все вынесли, а потом бы подожгли дом. А тут многие вещи я видел на первом этаже обожженными. Значит, дом действительно был подожжен войсками наступающей армии абхазской. Хотя армия так и называется – абхазская – на самом деле эта армия из людей, из бойцов очень и очень многих национальностей. Была многонациональная, многоинтернациональная. Если бы не русские, если бы не казаки, если бы не народы Северного Кавказа, если бы не русские генералы, если Россия не поддержала бы Абхазию; если бы Грузия, в данном случае нападения на Абхазию во всемирном освещении была бы не представлена как агрессор – о какой победе со стороны Абхазии в этой войне могла идти речь!?

– Ты ничего не слыхал о Джумбере?

(Джумбер Беташвили – близкий друг Евтушенко. Помогал Евтушенко строить дом-дачу в Гульрипше, будучи заместителем Председателя Совмина Абхазии по хозяйственной части. Евтушенко снимал Джумбера в своем фильме «Детский сад», «Похороны Сталина». Хотел увековечить друга. Джумбер и Евтушенко очень любили друг

друга. У них было общее солнечное освещение, общее сердцебиение. Евтушенко крестил одну из трех дочерей Джумбера. Джумбер был от природы наделен многими талантами. Прекрасно пел, прекрасно танцевал, прекрасно играл на фортепиано. Евтушенко написал в стихотворении о ранней смерти Джумбера: "Джумбер был самый красивый из грузин». В тысяча девятьсот девяносто третьем году Евтушенко специально ездил в Сухум, в Абхазию к Президенту Абхазии – Ардзинба, чтобы узнать хоть что-то о судьбе Джумбера. – К.Г.)

– Слыхал. Он был в Доме Правительства Абхазии, в этом огромном шестнадцатиэтажном здании, и где прятались многие сухумские грузины, спасаясь от войны. Этот дом был как убежище от страха. Этот дом обороняли грузинские гвардейцы, грузинская армия. И когда абхазская армия взяла с большими потерями этот дом-крепость, тут уже жалости ни к кому не было. Ведь мирные жители и грузинские гвардейцы были в одном здании, откуда были расстреляны, убиты многие бойцы абхазской армии во время штурма этого здания, этой крепости. Этот дом-крепость и сейчас, спустя два года, весь в руинах, в саже, в пробитых насквозь стенах. И Джумбер был взят в плен в этом здании. Эту группу пленных, где был и Джумбер, вели в сторону Афона. И там где-то расстреляли. Там он пропал.

– Но ведь никто не видел его мертвым.

– Да... Надо увидеться, Евгений Александрович.

– Котик, сегодня не могу... Ты сейчас где находишься?.. По какому телефону? — Евтушенко записывает номер телефона, где я нахожусь. – Через день-два позвоню.

Евтушенко я не видел год. По его просьбе я побывал на его даче в Гульрипше. Посмотрел заросший сад, заросший огород вблизи моря, где не менее десяти лет жила и радовала нас дача-дом Евтушенко. Куда можно было всегда заехать, зайти, выпить чая, даже, если там не было самого поэта. Но где всегда жили его друзья, домработницы, домработники, которые присматривали за садом, за домом, за отоплением.

Дом Евтушенко располагался на берегу моря. Фактически на отшибе, где от зимних, от ранне-весенних времен было всегда мало народу. Многие дома закрывались на зиму, закрывались от холодов. Безлюдели. Вешали. И воров, и грабителей вдоль этой пустующей дорожки вблизи моря всегда накатывалось, набегало, находило очень много. Домработникам Евтушенко часто приходилось отбиваться от грабителей, которые ночами кружили вокруг дома, пытаясь пробиться внутрь помещения,

внутрь дома.

Балкон дома Евтушенко со стороны моря был очень низок, и бандиты легко вползали, впрыгивали на балкон. Тем более он не был прикрыт решетками.

Особенно часты стали набеги на Набережную в Гульрипше в конце восьмидесятых, в начале девяностых годов двадцатого века. По мере того как государство СССР слабело изнутри – бандиты и воры все более наглели.

Особенно много набегов испытал дом Евтушенко в Гульрипше в начале девяностых годов, когда там жила и смотрела за домом семья Руслана. Человека – русского, но лицом очень похожего на грузина. У Руслана была русская жена, много меньше ростом Руслана, слабая на спину. Ей было опасно поднимать тяжести. Но именно ей пришлось несколько раз, закрывшись в доме, пребывая одной во время частых отлучек мужа, зарядив ружье-двустволку картечью, отбиваться от воров. Семья Руслана много лет работала на БАМе, /Байкало-Амурская магистраль, Всесоюзная комсомольско-ударная стройка/ всю жизнь бедствовала, всю жизнь без помощи родителей поднимала своих двух детей. Была очень порядочная и трудолюбивая. Чистый слепок советских пятилеток, людей патриотических. По зову государства, партии готовые на любые испытания ради страны. Такие люди, как Руслан и Альбина были, на мой взгляд, рыцарями времени, самыми достойными гражданами СССР. Такие люди становятся Героями Труда, Героями Советского Союза. Героями пятилеток.

И лично я, человек, любящий Евтушенко, был рад, что в смотрители дома Поэт наконец-то нашел достойнейших и верных людей.

И вот началась и закончилась абхазо-грузинская война, и Руслан с семьей вынужден был бросить все свое небогатое имущество, которое уже жило в доме Евтушенко, потому что своего жилья у Руслана не было, и бежать, и отправляться на пароходе в Россию, в Переделкино, на дачу Евтушенко, чтобы уже и там, в Москве, продолжать охранять, сохранять дом-дачу Евтушенко, чтобы работать у Евтушенко шофером, чтобы сохранять самого себя.

Какой парадокс! В паспорте у Руслана: написано - русский. А он бежит из Абхазии, и нет за ним никакой вины ни перед грузинами, ни перед абхазами, ни перед русскими.

– Почему же ты бежишь?- спрашиваю я. Спросил еще много раньше.

– Потому что внешне похож на грузина.

– И армяне есть, похожие на грузина, и абхазы, и осетины. Однако

живут в Абхазии и не уезжают.

– Каждому же автоматчику не объяснишь. А всю жизнь бояться я не хотел, не хочу, – отвечал Руслан.

Кровавый отблеск гражданской войны, продолжающийся до сих пор.

Звоню несколько раз по тому телефону, который оставил для Евтушенко. И на следующий день слышу сообщение.

– Звонил Евтушенко. Просил передать, что сегодня, в среду, он будет тебя ждать в Первом Неопалимовском переулке номер двенадцать в Департаменте визовой службы – в два часа дня.

В два часа я был на месте свидания с Поэтом. Ждал минут двадцать. Наконец, появился Поэт. Мой друг. Спаситель моей литературной судьбы. Мы обнялись.

– Рад тебя видеть, – сказал Евтушенко.

– Я тоже.

– Котик, скоро сюда подойдут два моих приятеля из Петрозаводска – Марат Тарасов, поэт. И издатель Левинсон. Они скромные, тихие люди. Поэтому не нападай на них сразу. Не будь Ниагарой. Не засыпай их своей энергией... Вот тебе только что вышедшая книжка, роман – «Не умирай раньше смерти». У меня их осталось мало. Поэтому не говори Марату и Левинсону, что я тебе эту книжку подарил.

Я протянул Евтушенко свою последнюю вышедшую книгу «Мангуп. Тайна гложет (на руинах мира)''. Вышла в Сухуме в самом начале девяносто второго года. Как раз вначале войны.

– В такое время еще книги выпускаешь... – ответил Евтушенко на протянутую ему книгу об истории репрессированных народов СССР во время сталинских экзекуций в сороковых годах.

Во мне всегда жила интрига, проверка людей на искренность. Жила она во мне по отношению ко всем с кем я общался. Этой интригой я не обделял и Евтушенко. Мне всегда было интересно проверять людей на «вшивость». Какого бы ранга он не был. Хотя, может быть, самым вшивым был я. Но мне всегда была интересна загадка, разгадка, проверка людей на интригу, на «крючок», на легкую дружескую провокацию, из которой я делал вывод о свойстве и подвижности ума того или иного человека.

И в который раз за нашу многодесятилетнюю дружбу с Евтушенко я проверял его на юмор, на смех. И к чести Евтушенко, легендарно-известной личности, он мне, мне неизвестному никому прозаику из

провинции, все прощал. Прекрасно все понимая. Раскусывая человека с первой же секунды. О, великая проницательность легенды. И я все равно продолжил наши древние с Евтушенко игры на подвох, которые Евтушенко, снова к его чести, никогда не позволял себе по отношению ко мне. Я сказал:

– Евгений Александрович, я приехал из Абхазии, где люди очень бедно живут. Поэтому подари мне тысяч пять. – Это были времена начала перестроечные, и пять тысяч звенело, как примерно сейчас пятьсот рублей.

Евтушенко тут же вытащил из кармана и протянул мне десять тысяч рублей. Спустя восемь лет после этого разговора с Евтушенко, записывая эти слова вполне и вполне запоздало, – мне стыдно, трудно это вспоминать — мою кощунственность, мою беспардонность по отношению к великому человеку. Стыдно вспоминать, трудно жить с моей невоспитанностью.

Евтушенко мог меня тысячи раз прогнать. Но он это никогда не делал. В связи с моей невоспитанностью еще в Гаграх, еще от тысяча девятьсот семидесятого года, когда Евтушенко в очередной раз приезжал в Гагры отдыхать в Дом творчества, и где я его поджидал, каждый день выспрашивая у консьержки, у директора Дома отдыха Багатурия Гитуши: "Евтушенко не приехал?", и встретив Поэта, не отставал от него ни на шаг, давая Поэту и Юрию Казакову свои рассказы, свои повести, и хотя был еще совсем юным для прозы и явно несовершенным, я всегда – кому бы то ни было – высказывал резко и незаискивающе свое мнение обо всех событиях, поступках, которые совершали в Гаграх эти широко известные личности. Часто гагринские застолья продолжались в доме гагринского врача-венеролога Фимы Майстер. Куда я приводил знаменитых писателей, поэтов. Дом Фимы всегда полный явств в отличие от моего, греческого. К тому же врач-венеролог любил стихи. И после выпивки Фима, выслушав мои выпады, конечно, полные любви к Евтушенко и к Юрию Казакову, говорил Евтушенко:

– Женя, почему ты ему, моему школьному другу, все позволяешь?

На что Евтушенко отвечал:

– Человеку, который пишит: «Солнце несмотря ни на что попрежнему плавится на мидиях», я все прощаю, прощу.

– Юра, а ты почему с Костей возишься, не прогоняешь его? Все время читаешь, читаешь его рассказы.

– Как же его прогонишь!? Он же талант, – отвечал Юра Казаков. Спустя годы, если не десятилетия, я думаю и восхищаюсь: «Как красиво и эпатажно встречали и провожали великие мастера литературы подрастающее поколение! Ни капли иронии, ни капли насмешки. Только равное число, только равное и ровное перечисление дней. Какая высота плеч истинных деятелей культуры. Деятелей вечности. Еще раз убедиться: великан никогда не обидит маленького. Это только маленький в силу своей ущербности может обидеть, обижать великана. Тем самым показывая свой низкий рост, свое карликовое состояние».

Сидеть в легковушке с Евтушенко, разговаривая о Гаграх, об Абхазии, о недавно закончившейся войне.

– Вон идут Марат Тарасов и Левинсон. Тарасов –петрозаводский поэт. Председатель правления писателей Карелии. А Левинсон – издатель. Именно Марат Тарасов познакомил меня с Машей, с моей женой. Я читал стихи в Петрозаводске, и мне понравилась девушка, которая сидела в первом ряду, Марат Тарасов помог ее разыскать. До этого я с ней не был знаком. За это знакомство я благодарен Марату... Котик, это скромные люди. Поэтому веди себя с ними культурно, – просит меня Евтушенко.

– Вы же меня знаете. Я всегда веду себя культурно. – Смеемся.

Дальнейшее перечисление только сгусток той давнишней уже встречи. В 1994 году по истечении многих лет не помню всей беседы.

– Поедемте пить черное ирландское пиво, – сказал Евтушенко. Он сам в этот день вел машину. – Где-то я видел это место.

Евтушенко то и дело поднимался с сиденья, выходил из машины, расспрашивал у прохожих как проехать к этому заведению – к пивному ирландскому залу. Долго и помногу раз выходить из машины, но так и не найти ирландский пивной зал. И мне все время было стыдно видеть как Поэт с тяжело движущимися ногами то и дело мучает свое тело.

– Давайте я, Евгений Александрович, буду выходить из машины.

Но Евтушенко сам продолжал поиски, продолжил. Поиски ирландского черного пива не увенчались, к сожалению, успехом. В этот вечер красивая фигура прославленного Поэта много раз освещала, просвещала улицы и переулки старой Москвы, старых московских двориков. И как будто мы сами, спутники Евтушенко, приобщались, прикасались, соприкасались, стали привержены к этой такой пленительной, такой хорошей славе. От славы всегда исходит, проходит ореол ауры, ореол пленительности,

неподражаемый к каждой знаменитости грации.

В это время цвела сирень вблизи и в глубине московских двориков. И этот запах сирени, такой нематериальный, такой трудноуловимый, такой поддающийся уходу даже от ветра, становился материальным, гранитовел. Запах сирени, возле которых проходил Евтушенко начинал, на мой взгляд, на мое око, на мое веко, на мое сердце, – приобретать форму и грацию Евтушенко: высокую, красивую. Пленительно качающуюся от ветра, от плавно начинающегося вечера. Вечер начинал вблизи сирени Москвы приобретать фигуру чемпиона мира по баскетболу. Именно по баскетболу. Потому что было очень красиво и очень грациозно. В движении Евтушенко было то ощущение и то соединение, когда баскетбол обнимается с медленными танцами – танго, блюз, вальс-бостон. Ко мне стала приходить, доходить магия Евтушенко на мир, МАГИЯ ЕВТУШЕНКО НА МИР.

Бывают же такие люди на свете с пленительной аурой. Такой пленительной аурой, по-моему, обладал Гарсиа Лорка. Почему-то именно это имя написалось, прорисовалось, предвиделось, пророчилось, прислонилось к имени, к плечам, к надежде, к запаху сирени в глубине московских двориков. Именно в этот момент. В этот пленительный вечер, рассыпанный на позвонки, на позвоночки, на скелеты из подрастающих от лета деревьев.

– Сейчас поедем на улицу Воровского, в Союз писателей бывшего СССР, и потом ко мне, на Кутузовский проспект. Кое-что закупим из продуктов...

– Зачем Вам напрасно расходоваться, Евгений Александрович, – сказал я. – У меня есть бутылка гагринской чачи. Немного сала, есть хлеб. Тут же в машине закусим, поговорим и разойдемся.

Я думал, что произношу добрые слова, добрые предложения. И вдруг увидел, услышал рассерженный, гневный полуголос, сдавленное раздражение Поэта:

– Не надо давить клопа. Мы сейчас твою чачу выпьем, твой хлеб покушаем. А сэкономленные деньги передадим тебе!...

Это был такой редкий взрыв гнева Евтушенко по отношению ко мне. Этот гнев за почти тридцатилетие нашей дружбы Евтушенко себе позволял не больше одного-двух раз. В то время, как я позволял себе грубости над Евтушенко не меньше десяти раз. И все мне сходило. Сейчас не сошло. Чем я так разозлил, обидел Поэта, старого товарища,

моего Великого Адвоката?

И я понял почему. Я перегнул палку. Я напрасно попросил денег у Евтушенко. Этой просьбой я как бы упрекнул Евтушенко в нечуткости... Я как бы опередил Поэта. Я как бы станцевал над ним лезгинку.

И с тех пор – сколько бы потом ни встречались, – я никогда уже не просил денег у Евтушенко.

Он мне их давал при расставании. Стал давать при расставании. Хотя, если вспомнить, Евтушенко денег мне давал и раньше – как бедному, нуждающемуся собрату по перу. И в шестьдесят девятом году, когда мы с ним только познакомились в Гаграх, и потом, и всегда-всегда.

Писал предисловия к моим произведениям. Написал множество рекомендательных писем и в Союз писателей Абхазии, и в Союз писателей Грузии, и в Союз писателей СССР, и в Союз писателей России касательно меня, моей прозы.

Сколько дал, подарил мне своих рубах очень красивых, красочных со своего плеча, сколько подарил пиджаков, костюмов, свитеров, пальто. Всегда при встрече роскошно, по-царски угощал и в Гаграх, когда жил в шестидесятые, семидесятые годы в Гагринском доме творчества СССР, и в Сухуме, и в Гульрипше в своем доме на берегу моря рядом с дачами Константина Симонова, Ивана Тарба, Нодара Думбадзе, Карло Каладзе, Мартына Мержанова, и в Москве, и в Переделкино.

Я жил в его евтушенковском свете. Как когда-то Пастернак сказал про Маяковского: «Мне хорошо в твоей большой тени».

И нужно сказать про Союзы писателей, что лучше всего ко мне относились, отнеслись еще от начала тысяча девятьсот семьдесят пятого года – в Союзе писателей Абхазии. Тогда, в тысяча девятьсот семьдесят пятом году, Евтушенко отредактировав кусок моей прозы и написав в этому куску прозы наставление, предисловие направил его, это предисловие и мою прозу, на имя поэта, своего друга Ивана Тарба (тогда Председателя правления Союза писателей Абхазии), поэта Кумфа Ломиа (тогда Секретаря правления Союза писателей Абхазии), поэта Георгия Гублия. Спустя короткое время Георгий Гублия отнес эту мою рукопись с предисловием Евтушенко в издательство «Алашара», где тогда директором издательства был Когониа, а главным редактором поэт и литературовед Мушни Ласуриа. И Мушни Ласуриа,

прочитав предисловие Евтушенко, понимая значение Евтушенко и место Евтушенко в литературе, сказал: «Если человек такого масштаба как Евтушенко просит о Гердове, разве можно ему отказать, тем более, если ты любишь литературу...» Спустя короткое время Алеша Гогуа перевел несколько рассказов из моей прозы и сказал: «Это написано так изнутри мира, так изнутри жил земли, что кажется, что я это сам написал..» Потом одну из повестей перевел на абхазский язык – поэт и прозаик Виталий Амаршан. Ночлег в Сухуме мне всегда предоставлял Коля Квициниа, благороднейшей души человек – за что я сохранил к нему и к его семейству извечную благодарность.

Просто сегодня, в июне тысяча девятьсот девяносто четвертого года, я вел себя по отношению к Евтушенко особенно нечутко. Вот это я понял в тот же момент, когда Евтушенко меня упрекнул, намекнул, поставил на место. И с этих пор понял, что Евтушенко фиксирует все на самом высоком уровне. На самом высоком небосклоне. И любую надежду, и любую издевку над другими, фиксирует любой флагман, любой линкор, любой ветерок. И никому не дает вырваться вперед в его присутствии.

Во дворе Союза писателей СССР Евтушенко увидел литературоведа Игоря Золотусского, красивого, строгого, ликом, шестидесятилетнего; отброшенная на гордого римлянина красота, суровость.

Поэт и критик постояли, поговорили, разошлись.

Игоря Золотусского я оценил и увидел, когда он написал и выпустил книгу о Гоголе в серии «Жизнь замечательных людей». Книгу замечательную, провидческую. Золотусский увидел усилия Гоголя по преодолению этого подземелья, этого ада. Золотусский увидел эти ступени, от которых и на которых мучался Гоголь. Они были щербатые, из мягкого камня – мрачно-серого цвета. Они были уже изношены от долгих веков. И мне было лестно смотреть на этого литературоведа, провидца.

Евтушенко ушел в глубину писательского корпуса. Через полчаса вышел. И мы поехали на квартиру Евтушенко на Кутузовский проспект.

Евтушенко, как всегда, на широкую ногу купил вина, закусок, разного рода колбас. И мы поднялись в узкую, но очень длинную квартиру Евтушенко.

Я увидел в квартире Евтушенко множество деревянных, костяных, мраморных, каменных фигур, скульптур, изваяний, поделок, множество

картин. Шкуры медвежьи. Подарки от рабочих, от рыбаков, от полярников, от охотников. Подарки от мест, где Евтушенко бывал, куда ездил на концерты с чтением своих стихов.

И я понял, увидел, что из дома Евтушенко надо выстроить, устроить музей. И литературный, и мемориальный. Но подарков для Евтушенко было так много, причем каждая из вещей, каждый из подарков, был неожиданен, оригинален, отмечен печатью неповторимости. И, конечно, стало видно, что для музея Евтушенко нужно большое здание на множество-множество сотен квадратных метров, чтобы там можно было разместить все то богатство и предметов и книг, которыми была завалена квартира Евтушенко. Даже от самой квартиры Евтушенко чувствовался титан – как много вещей, картин, мыслей обнимало, облегало Евтушенко.

И еще я понял в этот раз, в это посещение великого Поэта, его дома – один пассаж, одну истину, относящуюся к Евтушенко, именно к нему. И вообще увидел *ЗНАЧЕНИЕ ЛЮБОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДЕЯНИЯ, ЯВЛЕНИЯ*. Чтобы его понять, увидеть воочию – нужно снять шоры, снять с себя следы и лицо зависти, завистливости. И тогда «*МИР ПРЕДСТАНЕТ СТРАННЫМ, ЗАКУТАННЫМ В НОЧНОЙ ТУМАН''*.

Оказалось, все очень просто: избавьтесь от зависти своего сердца. И вы войдете, вплывете в реальность. Вы вплывете в счастье.

Мы растащили вино, закуски по столу одному, длинному, большому. Вынесли стол под звезды. Под вечер под открытым небом.

Оказывается, от той квартиры, где жил Евтушенко на Кутузовском проспекте, от этого этажа шел, раздвигался большой балкон, огороженный балюстрадами, тонкими колоннами. И это пространство метров на сто квадратных — замыкалось почти что в пространственную ложу, в царственное ложе для телескопа.

Редкий проспект, проект жилища еще далеких сталинских высоток. Построенных, конечно, в римском стиле – крепко, на века. Корпус, фундамент спустя и сто лет не пошатнется, не вздрогнет.

Летел, струился июнь.

Марат Тарасов читал свои стихи. Евтушенко внимательно слушал. Говорил, что некоторые из стихов Марата он, включит в «Антологию русской поэзии двадцатого века», которую он Евтушенко, составлял.

Мы были выпившие.

Я что-то говорил о стихах Марата Тарасова, но Евтушенко меня

останавливал, выговаривая очень мирно, не задиристо: «Котик, не ниагарствуй». То есть успокаивай, унимай свою энергию.

Марат сказал, что сейчас Некрасова никто не читает, что он ушел, не вернется. И здесь, конечно, я не выдержал. Крикнул громко и очень внятно.

– Да мы все уйдем. Но Некрасов останется на все тысячелетия, пока будет существовать русский, пока будет существовать русский язык, пока будет существовать угнетение.

И на этой правде Евтушенко меня остановить, конечно, не мог. Да он и не пытался. Ибо понимал, что есть такие истины, останавливать которые нельзя.

Было уже поздновато. Надвигался двенадцатый час ночи. Мне нужно было спешить на ночлег, который должен был состояться у старого геолога, куда сегодня звонил Евтушенко, чтобы вызвать меня на встречу.

Я был настолько в энергии, в запале, что забыл попросить Евтушенко о ночлеге у него, в Переделкино.

Когда мы уходили от Евтушенко, Поэт положил мне в целлофановый пакет кусок большой сарвеладной колбасы.

Евтушенко тактично мстил (не мстил, а воспитывал меня на культуру, на этику на воспитаннось) мне за мою несдержанность в поступках, в разговорах. Мстил тактично за то, что я где-то в в подтексте пытался его унизить, пытался дознаться, дознать его искренность, его доброту, выпрашивая деньти, предлагая запросто, скороговоркой разойтись с дорогими его сердцу людьми, – где-то в машине, легковушке распив мою чачу, закусив моим салом и моим хлебом. А Евтушенко сам природный лидер – никому не мог уступить пальму первенства во встречах.

Красивый, огромный человек, титан, и угощать, и принимать, и выпускать под звёзды должен был огромно.

А я ему предлагал скомканную беседу, скомканный вечер. Когда мы подходили к метро – стучало уже двенадцать ночи. Мы все – я, Марат, Левинсон – были уже немолодые, и на вопрос контролёра в метро – «Почему вы проходите бесплатно?», Марат ответил: «Я инвалид физического труда. А этот, - указав на меня, – инвалид умственного труда. А Левинсон нас сопровождает».

Мы потом долго смеялись: « Инвалид умственного труда». Этот смех, смех этой встречи звучал во мне долго, многие года. Звучит и

сейчас. Смех этого счастья.

Записано в 2001 году под Москвой в местечке «Отдых», в гостях у гагринского врача-венеролога Фимы Майстер, в котором временно жил Фима, прежде чем исчезнуть навсегда в Германии, где окна его нового жилища будут выходить на те же самые концлагеря из которых и в которых сжигали иудеев немцы-гестаповцы, чтобы снова всовывать туда свое горло спустя шестьдесят лет.

ИЗ АРКТИКИ, ИЗ МАТЕРИНСКОГО ЛОНА, ИЗ МИРОТВОРНОЙ БЕЗДНЫ.

Роман

Геологам Севера – *Владимиру Бурову, Киму Куликову, Владимиру Неклюдову, Игорю Оржеховскому, Вадиму Карбасову, Александру Уфлянду, Анатолию Артемову, Льву Нотапову, Роману Галабала, Леониду Ламму, Павлу Коротецкому, Борису Аулову.*

I. Солнечное безмолвие. Река Яна. Хребет Черского. Якутия. Письма из чистого времени.

С неба пасмурно – как из клетки. Поэтому заниженно. Как из внутреннего ободка летит спица. Проглянуть из окружения. А так ничего не чувствовать, не знать. Из нового места, из нового пути ни о чем не знать – только разве разворачивать окружение, когда бывает не согрето сердцем. Когда жить только изнутри, а стены плотные-плотные из невыясненных деревьев, рек, торбасов, чувяк, жилищ. Расположилось на углу судно. Растянуто якорем, цепями, веревками. На мачте сидел моряк и вглядывался в фиорд.. Там матово двигались холмы, усеянные ягодой, морошкой, княженикой. Там кто-то на воду разлил круги рыбьего жира. Разлил жир морских зверей и ходил по ним, как по земле. Не проваливался. Это еще раз о том, что нужно держать острие. Проведено, не согрето освещением ливневым, снежным, лунным, а все равно грезит, царствует. Когда только приходить к исчезновению, разыгрывать состав судна, состав формы – на каком корабле отбыть. Появление крутых берегов, и намыты полосы прозрачного песка. Босые ступни. Здесь копье проткнуло раковину, ракушку. Кто-то выел мякоть и бросил. Могло служить местом огня, пристанища, где можно приготовить пищу из свежего мяса. То ли зверь, то ли человек. Но проходили дикие страны, первобытный строй. От зноя ходить только в набедренных повязках, быть темным, коричневым. Совершать ритуальные танцы, обряд, перед тем как исчезнет племя, которое занимает выгодные угодья, густые леса. Напасть на соседнее племя, оставить только кости, побросать в риф, в пролив. Мясо человека проглатывает змей, в горле которого умещается лодка, огромное

банановое дерево. Если спрятаться от погони в горле змея, убийцы. Лечь на дно лодки. заполненное жертвоприношениями, и так остаться для перехода, для исчезновения с этого острова. Так следить с ледяного берега, борта за подвижным песком, за отчетливым ритмом. Уже быть в сложности по отношению к самому себе: из каюты, из холма, из замкнутого помещения невероятно угрюмо раскладывать по долинам, выводить наружу, как наматывать на локоть веревку — мир. Выдвигать, выдвигать заслоны, а они опять наполняют.

Взять пилу, спрятать под навес.

– Ты что делал? — спросил старый бич Бакирий.

– Пилу от дождя спрятал.

– Пила дома осталась. А это кормилица.

– Пила для бича – это жена.

Ответить в лесу ответить в тайге, ответить реке и из реки.

О предстоящем уровне печали, о предстоящем уровне плеч. Идти или не идти, но все время видеть, превозносить океан, праматерь всего живого. Жить в слезах и без слез. Тосковать по стойбищу, по чумам, по зною медленному, застывшему, что только останется продлить зной. Оставить все ночи белые. Тогда растают льды, выделят себя фиорды. И на самом краю мыса женщины в одеждах из шкур морского зверя, изнутри подбиты мехом, будут тянуть пряжу, сучить. Из океана будет тянуть йодом. Будет плотно. И из йода можно будет лепить деревья. Подняться по этому дереву, видеть, что все звезды над йодовыми деревьями рассосались. Смотреть в небо как в провал, откуда начнут нанизываться на пустынные площадки не похожие на людей существа. Всегда находить в себе силы думать так, что все это давно есть и было во внутреннем мире того, кто эти существа заметил, например, меня, например, я. Они существовали подспудно, в подсознании. И воля случая в том, что именно было оказаться на берегу океана среди плотного ощущения йода. И это ощущение вывело к зрительному полотну.

Дало прозрение, дало просвечивание. Что природе, что проведению было открыть новые состояния, предметы. Ладонь следовала за ладонью. Не оставляла ни сантиметра просвета. Ладони перебирали своды пещеры. Значит, камни, пещеры, леса стали плутать, заблудились в огромнейших

долинах, которые располагал к созерцанию человек. Хотя это тоже происходило от него втайне. Механизм появления был скрыт. Так что счастье держалось на сердце, как на вершине холма, – птицей. И держать все эти молодые горы то в снегу, то в зарослях, то в медведях, то в тальнике, то при снежных баранах. Обо всем этом судить из пространства необъятного, когда корвет все плыл и плыл. И все было заполнено, потому что коснулись ключа, вывели роскошную долину, которую не рассмотреть сверху.

С берега за корветом следили чьи-то глаза. Проплывать было мимо селений, мимо холмов. В неизвестность всегда мог кто-то вплыть. Было при вслушивании в ветер, в заросли. Пробежали люди, вооруженные луком и стрелами. Как будто запускать стрелу или бросать копье достаточная мера, достаточная цепь, чтобы навернуть, чтобы набросить на корму, на нос судна, на нос судну и притянуть к себе. К реке, к зверю, к киту. Если кит выброшен на берег и располагается стоянкой, якорем, постройкой. В корпусе которого уместится все стойбище. Нести на языке, потом переводить на руку, на открытую ладонь заклинания, собирать их в горсти и как будто посыпать дорогу, посыпать расстояние между берегом песка, берегом пальм и судном. И тем больше набирать в горсти заклинания, чем непослушнее предмет, который живет и движется на расстоянии, но который нужно обязательно привлечь. И потом впадать в истерику, что все-таки нет послушания. И так бояться за грезу, что выстелена может быть одна равнина, только перемешивать .содержимое. То там прожила река, то здесь, то там было гнездышко, то здесь. Пейзажи, дома, заливы, облака расходились из того, насколько мощно располагалось воображение. Хижины, крытые’ пальмами, ветками широкими. Что во времена ливневых состояний абсолютно не мокро, но влажно от жара испарений. Колыхаться млекопитающими. Ходить волне от огромных подвижных туш. Даже в погружении младенца в воду не было, не ощущалось попытки гибели. Так было плотно от подводных рептилий, рыб, морских животных. Не было хищничества, и можно было ходить по воде как по траве очень влажной, мокрой от обильной росы. В существовании свободном, но в каждом теле, при каждой плазме загадочный мир. Он может быть, длиться, когда подробно освещены мосты, листья, плавники, чешуя. Камень, галька, риф, который начинается следом за рыбой. Далее

снова риф. Каждый шаг исследовать, выведать. Мокро коснулось лба, переносицы, зубов, подбородка, плечей. Закончились ступени. И далее снова возвышенность, валун начнет перебирать, устремит зрение к подробному перечислению лица, тела. Если следом движется медведь, морж, заяц — из якобы неподвижного предмета тоже устраивать просвечивание. Это видимо, было знать о том, что жить под пристальным оком. И вдруг оторвутся двое моряков, взбегут на горку, на хребет. Увидят стадо снежных баранов. Вожак будет перебирать дни и траву на вершине и вести наблюдение. Одному моряку подкрасться и выстрелить по вожаку, по наблюдателю. Но промазать оттого, что оружие было не пристреляно. Любоваться дивными, лихо закрученными, витыми рогами, что можно стоять на этих рогах и перебирать площади каменной гряды. Моряку пробежать вниз. Подумать, что стадо уйдет вниз. Но внизу ему крикнет старый моряк, крикнет о том, что не надо было уходить из засады, из места вымеренного, скрытого. Что как только молодой моряк покинул свою точку отстрела – как раз по ней и прошло, и исчезло остальное количество жителей горных стоянок. И как причуда о том, что можно зарыться недалеко от пристанища и ждать. Что снежные бараны обязательно появятся недели через две, когда их внутренний мир, их глаза, их зрение, их сердце, их легкие, почки, печень, копыта, волосы унесут и навсегда развеют от себя, сплавят по реке, по распадку, по водоразделу воспоминание о выстреле, об острие, о запахе порохового дыма. Который все странствует и никак не может прижиться, потому что чужд, чужой, чужак. А так среди хребтов восхождения к необъятным просторам, к синеве горизонтов. Когда протянуть руку и разорвать полотно.

Одеться судорожно, тепло. Как всегда, стремить грезу и поэтому любить, что она всегда впереди. И в холоде, и в зное, и в айсберге, и когда расположится на ветрах.

Как всегда, спешил океан, спешил корвет. Издалека прибой наносил холмы. Был песок, было полусумеречно. Песок был черный и состоял при дюнах, в дюны же и намывался. Река глушила слух, поэтому ее было легко продолжить. Да и мешать она не могла. Была при зарницах. Светили вершины. Некоторые были в снегу, случались обвалы. Но так глубок был слой солнечной желтизны на отрогах, что не быть погруженным в этот поток было нельзя. Шло весело, раздумчиво. Раскачивало на волнах. Так стоять на палубе и следовать шторму,

впадине, глубине. Так выгаскивать из себя зной и не быть без любви к новому краю, к торосам. Которые потом сменит роскошная нега вдоль коралловых рифов. Проходить близко от водопадов и не тонуть. Идти по тонкой полосе, светящейся, золотистой. И такой плотный слой, любимый, что нельзя и не надо занимать себя на следующие течения. Выстаивать к стеблю. Проскользнуть, проплыть вроде грота шелково, среди любимой волны, наката. И золотисто. И то ощущение, что узко, но тянется шлейф. И есть вроде трубы, вроде колодца. И упасть, и провалиться тоже нельзя. Поэтому придерживаться спиной, уже прощупывать щель, синий, в тонкую трещину, дымок. Очутиться на высоте, долго рассматривать окружение. И самому не узнать, что довелось пробиться сквозь айсберг, сквозь сердцевину. Шло жестко, но было ясновидение и окрасило в теплые, мягкие тона. И вот стоять на плато. Выдвинуто, поднято из чрева почти базальтом. Неколебимо. И само время прорезаться из тела, из сердца, из печени, из ступни. И абсолютно нет удивления. Потому что в каждом человеческом органе, из каждого человеческого органа, и животного, и птичьего, и рыбьего живет и сосредоточена галактика, вселенная. В сердце, предположим, сосредоточены все свойства миров, все системы миров, светил. В каждой ступне, в каждом органе. Поэтому так тяжко сохранять равновесие, когда что-то уничтожается на земле, кануло. Особенно, если катастрофа объяла племя, стадо, когда горят целые стойбища. Так думать из древнего времени и в древнее время. Стоять величаво мореплавателю, высоко, и все так близко, словно из его рук первопроходца, выходят, показываются, выплывают, ворочаются киты и по всей поверхности кисти разбрасывают фонтаны. Когда вскрыть вену, а вена огромна, и в ней, в огромной глубине, на огромной глубине весь растительный и животный мир. Давно распределена, отведена судьба. И нужно всю кровь, что протекала здесь, вобрать в себя, когда было в детстве, в юности, в молодости. Забрать, чтобы не тревожило прошлое. И внезапно застыть, остановиться. Все вырезано в камне, из белого камня. Не прозрачно, не просвечивает основание, существо. Но стоит призадумать из мглы, как появится магма, лава своеобразная, необычная. Она обоймет, перевалит сущее, заполнит, как кашей, как морем. И застынет в инкрустации, чтобы сущее не старело. Схвачено в ледник, схвачено в студень. Жить коварно на льдах, и может вот-вот начать проступать вода, капли. Прислонить пальцы к основанию синего айсберга,

он огромен, вместил в себя, как пещера, все яхты и корветы, что были до него. И абсолютно не раздался. Только по ночам соскрести с себя шероховатости. Какое хорошее построить судно из камня, из мрамора и двух-трех жердин.

«Здравствуй, Котик! Сообщаю, получила твое письмо от тринадцатого сентября. Меня обрадовало то, что ты здоров, даже можешь готовить кушать. Очень рада, что ты научаешься. В жизни все пригодится. Такова многообразная жизнь, но брать надо и выбирать хорошее.

Жду тебя к ноябрьским праздникам. Ты пишешь, что успеешь приехать из своего далекого севера.

Осталась одна. Элю с Танечкой проводила восемнадцатого сентября. Проводила к нему. Она хотела позже немного, но он дал телеграмму выезжать. Итак, их нет, осталась с Артемом. От Эли получила письмо. Пока все хорошо. Он работает на заводе – не знаю кем. Живут в городе Черкесске Ставропольского края.

Артем проучился весь сентябрь в Гаграх. Путевку на лечение дали с первого октября. Санаторий на ремонте, по-прежнему душила, душит бронхиальная астма. Одну ночь только спал хорошо и спокойно. Уроки успевал, но трудно ему было, здоровья нет. Тринадцатого сентября купила билет на пол-одиннадцатого, на поезд Сочи – Тбилиси.

Пришла с билетом, а он в слезы: "Не могу ходить. Ноги и живот сильно болят». В дугу скривило. Что, чего? Да в больницу отвела, еле дошли, думали – аппендицит. Когда обследовали – оказалось отравление. А ел ничего вроде. Да давай прочищать желудок допоздна. Температура высокая. Дали лекарство, а температура по-прежнему высокая. И как только температура стала спадать, поехали в дорогу, и оставила дорогого сыночка в санатории. В санатории хорошо, горный климат, среди сосен, высокогорных снегов. Приняли без всякого.

Но я переживаю. Вот сейчас приехала второго числа. Дома Лиза оставалась, и вообще она с тридцать первого сентября живет.

Дома все спеет. Что останется из фруктов, покушаешь, мандарины, айва, хурма, виноград. А груши и яблоки, инжир, персики – уже не будет дома, но на рынке будет что-либо.

От Лели из хутора Перелаза есть письмо. Все ничего. О бабушке нашей горюет, что не стало ее. А в доме у нас вообще опустело и

тоска заедает без нее, все напоминает – ее труды, вещи, шаги; как будто ходит или идет куда, но нет. Лично я очень тоскую, мне жаль, прожили вместе около тридцати лет. и много хорошего было, но иногда, как старая женщина, говорила лишнего, а я много пережила, нервная, не могла терпеть неправду. А так ежедневно заливаюсь слезами. Но царство небесное, как говорят. Она пожила все же восемьдесят шесть лет. Мне этого не дождаться, очень мнительная, и все на меня действует, делов много, помощников нет. Как охранник сижу, и то ладно, а что делать – делаю по своей силе, и то с трудом, ноги болят сильно.

Погода хорошая, тепло, солнце, отдыхающих много, а у меня две с Украины – мать с дочкой пожилые. Отдыхали из Запорожья – Вера, Валентин и его мать. Привет от них. Привет также от Лизы. Она на море. Иду письмо опустить и куплю что-либо на обед. Да и надо продавать что есть дома из фруктов.

Привет северу. Целую крепко, мама».

«Здравствуйте, дорогие родственники! Недавно послала вам письмо через моих отдыхающих. Отдыхали двадцать пять дней.

Я недавно послала вам рецепт. Теперь прошу еще. С большой просьбой к вам.

Это лекарства для Артема. Он болеет бронхиальной астмой с двух лет. Он живет, пока дома. Здешний климат ему не подходит. Мой младший сын нуждается в климате более сухом. Был у нас врач из Ленинграда. Дал рецепт. Говорит, что это лекарство, которое он предлагает, лучше предыдущего, что обязательно поможет. Врач из Ленинграда – гомеопат. Очень внимательный, любит детей, отдыхает по-соседски.

Посылаю рецепт. Пожалуйста, очень прошу пойти в гомеопатическую аптеку и купить. Все лекарства на спирту и в жидком виде. Никогда не портятся. По-моему, если не ошибаюсь, семь бутылок в одну порцию. А их надо три порции. Очень прошу, купите. Но врачу не говорите – тому, который давал и даст еще. Рецепт сохраняйте. Сделайте для меня и для Артема. Как будете ехать – привезите. А если задержитесь – пришлите. Хочу сама полечить.

Вы мне простите – в первую очередь я должна была спросить про здоровье дорогой племянницы Юли, а потом писать про лекарство для сына. Но в таком виде, в таком положении, в котором я нахожусь, – все забываю. Как чувствует Юленька, и как здоровье, и когда приедете?

Письмо хоть небольшое, но напишите.

От Котика нет писем. Только знаю что вроде двадцать девятого июня должен был выехать в экспедицию, а куда—не знаю. На какое дело? Пишите. Вы всё знаете о нем.

Дома – так себе. Эля, Танюшка, Артем – все ничего. Я работаю, как всегда. Дома, на рынок и в учреждение — ночной няней в детском саду. Привет от Артема. Он сейчас болеет меньше.

Если сможете, привезите очки. Плюс два или плюс три.

Писать не хотела до приезда вашего. Но, может, вам интересно, в чем дело, что делается дома у нас, и Юля узнает примерно. Хотя оно никому не нужно, но опять будете иногда думать, что там такое. Ввела вас в курс дела».

«Здравствуй, дорогой мой сынок!

Сообщаю, все, что пишешь — получаю. Спасибо тебе. Вчера получила письмо, где описываешь свою жизнь в Москве, где ты остановился на короткое время. Спасибо, что узнал про Артема, что ходил по поликлиникам, узнавал и собирал историю болезни своего младшего брата. Собираешь документы отовсюду, где он бывал, где лечился и отдыхал. Везде надо поехать и взять выписки из истории болезни. И наша больница, конечно, даст тоже.

Врачи предлагают советуют возить Артема по разным местностям, по всем городам, пробовать климат. И где ему будет легче дышать – там и обосноваться. Это нелегко – везде ездить, но что даст, не знаю. Взять из Гагры – это проще, но поможет ли? Не знаю, что и делать, и ты уезжаешь, никто не продвинет это дело, кроме тебя. Оставим, наверно, до твоего возвращения из экспедиции.

Артем очень плохо себя чувствует. Мне из Московской области женщина прислала лекарство, травы. Ее девочка когда-то была в санатории в Бакуриани вместе с Артемом. Ее девочка выздоровела. Но трав этих нет в Гаграх. Ты посмотри в аптеках и купи и тете Лизе дай, она привезет: цвет бузины, подорожник, аптечная ромашка по три-четыре пачки и аптечный очищенный скипидар и камфорное масло грамм по сто –двести одно и другое. У нас нет этого ничего. Артема все лечу, пою разными травами. Будем надеяться, что это поможет.

Артем никуда не хочет ехать, хоть убей. А дома он пропадает, умирает, каждую ночь приступы. Но что он хочет – не будем смотреть. Надо его спасать. Успеваемость – плоховата, если переведут — это счастье. Совсем не хочет учиться. Временами нельзя терпеть. Непослушный, упрямый. Не дай господь. Что ни скажи — все напротив. Точно батька Петр. Батька ежедневно пьян. С зятем подрались, не разговаривают. Петр выгонял Элю из кухни моей, чтобы не ходила. А она говорит: «Я к маме хожу и буду ходить». А он начал толкать и ударять. А Илья пришел, да и сцепились. Да в кухне все перевернули. Стол, стулья, все перебилось как следует. Все это один ужас. А я все прячусь. Петр как увидит – и начинает. Он все может сделать. У меня на нервной почве грудь и щитовидная железа стала душить. Пропала я совсем. Не могу жить у себя, в своем доме. Все под страхом и дрожу. Меня спасает детский сад. Работаю. Пенсию отняли за то, что работаю. Ездила на комиссию республиканскую в Сухуми. Посылали из собеса. Пойду двенадцатого мая, не знаю, что скажут, как дела.

Эля тоже двенадцатого мая начинает работать. Андрюшу приняли в ясли.

Уже вечер. Все дома. Надо калитку замыкать. Дом открытым боюсь оставлять.

В саду не вскопано. За целое лето вскопаю. И лавровый лист начала чистить.

В военкомат вызывали двадцать четвертого апреля. Я ходила. Хотят взять на два года. Не знаю, чем дело кончится. Попросили твой адрес. Я сказала, что недавно уехал и адреса нет. Они мне говорят, что вам будет лучше. Ему дадут около двухсот рублей оклад, а я ответила: «Его ноги — больные, как и у меня. Он не может быстро ходить, не может бегать». – «На это есть комиссия, – ответили в военкомате. – Мы пошлем его в Сухуми. Если без него обойдется – то ладно. А нет – надо с вами найти его, только вы должны дать адрес». Мне не понравилось все это. Но со мной разговаривали спокойно, по-хорошему. И еще сказали: «Вас позовем, когда будем решать вопрос». Я им сообщила, что у меня есть сын четырнадцати лет, болен, и что ты ему помогаешь.

Вот такое положение. На мою голову все. Не хватает времени. Много работы. И еще нервничать приходится. Один Петр, Артем и Илья чего стоят и ты еще с военкоматом. Я переживаю. Меня уже

начинает трусить.

Эля и дети хорошо. Дети хорошие, и Эля успокаивает меня. Как здоровье? Хотела посылочку послать, но решила перевести тебе тридцать рублей денег. Пошлю через сестру Фимы. Она в Гаграх, на праздники поехала. Прощу, Котик (на Кавказе Котик – ласкательное, уменьшительное прозвище Кости, Константина. К. Г.), на эти деньги купи себе питание – масло, колбасу, что любишь питательное. Эля говорит, что он ничего не купит; пошли лучше ему один килограмм масла и другие продукты. Но я считаю, что лучше деньги пошлю. Ты купишь, будешь покупать свежие продукты и кушать. А то, если я вышлю посылкой, – тепло, пропадет. Ты меня понял, да, сынок? Кушай, питайся, здоровье потеряешь – трудно восстановить. Не жалей для еды ничего и не отказывайся от того, что полезно.

У нас были дожди, а теперь погода хорошая, отдыхающих много, а у нас нет, и в таких условиях, при которых мы живем, они не нужны. Ни порядку, ни покоя. Я сама не знаю – куда голову деть от Петра. Он и Артема научает всяким глупостям.

Как Лиза, Юля, Анна Константиновна? Когда Лиза приедет? Привет всем москвичам нашим. От Иры Кузнецовой, от Зои получила поздравительные открытки. Спасибо им.

Казашвили Раю сосед «Муха» застрелил... Пьяный был, работал в милиции. Восемь дней девочку держали дома, народу было — мир. Говорят, выстрелил вроде случайно. Брехня все. Он такой вредный, как Петр пьяный, и с целью — себя хотел показать. Вот такие дела. Горе, горе родителям. Муж приезжал, где-то в армии, ребенок остался; а Валджян женился. На Май, была свадьба. Валджян Волод — твой товарищ, сосед. Эльдар уехал недели на две на экзамены. Вызвали неожиданно. Артем в кино сейчас. Пошел на пять часов вечера, а сейчас семь. Наверно, пришел. А я закрылась от Петра в твою комнату и пишу письмо тебе и этой женщине, что травы прислала. Вот интересно. Нет ли у тебя времени, а то бы поехал к этому врачу в Трубино узнать – он там, и поговорить об Артеме. Что были мы в прошлом году, вроде обещал полечить еще.

Еще новости. Местное постановление. В связи с курортом – снять заборы по всему городу и насадить декоративные деревья. И уничтожить птиц, скот, все, что есть из живности.

Поросенок был. Зарезали на Май. Килограмма три-четыре-пять не

весил. Уже поели. А курей жаль, есть одиннадцать штук, и петух есть, свои яички, есть чем кормить сейчас. И что будет? Заставят продать или кушать. Это очень обидно – не иметь курей.

Мушмула будет в этом году. Мандарины начинают цвести. Груша сильно цвела, а что будет и останется после цвета – посмотрим. Лук свой нарос. Обидно. Все дома есть, а тебя нет. Когда я не буду переживать – не знаю.

Не знаю, писала или нет. Под пасху от газа взорвался дом около стадиона, когда заворачиваешь и идешь на стадион, угловой дом налево, около Веры Аштрафян, Элина подруга. Восемь человек обгорели, вроде будут жить. Весь дом рассыпался, а крыша целая, и кое-где от стенок части стоят.

Что еще писать? По-соседски все по-старому. Нету никаких изменений.

Артем ездил отцом в Сочи, купили два попугая. В клетке, в твоей комнате на тумбочке. Сейчас поют. Еще фотоаппарат он купил Артему – в Гудауту ездили. Это Артем все приставал, не было покоя. Я протестовала, уроки не делает и учебу не смотрит – не положено. Кто слушает, положено. Петр – большой самовольник. Испортит сына, будет еще хуже отца.

Пока до свидания. Привет от Артема, Эли, Тани. Целую крепко, мама.

Все время перечитываю письма твоего отца с фронта. Из-за них я и живу, они мне дают бодрость, силу. Когда я читаю эти письма, мне кажется, что я еще молодая и все впереди.

Я тебе их посылаю, буду посылать по одному, по два. Ты их перепиши и обратно вышли обязательно».

Николай — Марии

Январь 1942 г.

«Здравствуйте, дорогая семья! Я пока чувствую хорошо, здоров, только одолевает большая скука о вас всех. Если вы получили мои три письма, то прошу понять мою просьбу. Это жить взаимно дружно, понимать друг друга и ни в коем случае не допускать ссор, исключительно беречь малышей Елечку, Костика, чтобы они выросли и были здоровы до

моего приезда: если Коля взойдет в свою хижину в полном порядке, конечно, когда? Но надеюсь повстречаться и продолжить свободно чувствовать без беспокойств.

Дорогая мама и Маруся, вы остались хозяйка нашего очага, нашей семьи. От вас будет зависеть сохранение порядка дома. И вот на это время будьте исключительно дружны, чтобы понимали друг друга. Конечно, Мина Ивановна – это мать уже двух поколений, пережившая две огромные кровопролитные войны, она провожала мужа, нашего отца, на войну 1914 года, она же проводила сынов на бой уже при седых волосах. Вот я прошу, Маруся, понимать и почитать нашу старушку.

Мать, умножь свою энергию, направь все силы на сохранение и порядок дома и около дома. Если приедет Петр, пусть отдыхает, живите так же дружно, не суперечьте друг другу.

Дорогая Елечка и Костик. Папа вас крепко целует и хочет вас видеть. Не забывайте своего папу, ждите его, и он приедет к вам, а сейчас ваш папа далеко. Адрес скоро пришлю. Коля..

Николай — Марии

Январь 1942 г

«Здравствуйте, дорогие Мина Ивановна, Марочка, Елечка, Костик! Желаю вашего ответа, так как не получил от вас ни одного письма. Как получите это письмо – сразу напишите. Я живу пока ничего, чувствую ничего. Только скучаю за вами. Костик, наверно, уже ходит. Убедительно прошу, чтобы вы сфотографировались и прислали мне карточку. У меня будет большая радость. Немного деньжат, рублей 40, больше не надо. На табак. Смотрите малышей. Если кто обижает – немедленно сообщите.

Целую всех вас, Коля».

Николай — Марии

Январь 1942 г.

«Письмо Марочке лично! Получил от тебя весточку, за которую искренне благодарен и тронут.

Дорогая Марочка, я, читая одно из писем, невольно тронулся, и стало горько на душе. Ты пишешь, что я тебе мало обращаю внимание и ты остаешься обиженной. Дорогая Мара, пойми, что сколько пришлось мне раньше волноваться и ты вроде не понимала. И сейчас, когда имея двух ребят таких интересных — только бы ими любоваться. Ты пишешь, что я больше об ребятах. Ведь ты пойми, я убийственно скучаю, а если это так — разве ты останешься в стороне? Нет, это все равно. Ведь у нас уже семья, и я люблю всех без исключения, всю семью. Дорогая Марочка, ты пишешь, что хочешь приехать. Смотри сама, я очень хочу видеться. Если справишься. Главная трудность — дорога. Загружена. Очень трудно. Потом, Марочка, смотри сама. Если будешь ехать — будь смелой, храброй, дорога трудна. Да, Марочка в такое время я не думал даже, что ты будешь об этом вспоминать. Вопрос решен давно. И теперь у нас семья. Ее нужно любить, уважать. Наоборот, я тебя ставлю главным глазом нашей семьи, хозяйством всего. У меня в жизни больше не будет, кроме тебя. Я думаю, ты понимаешь. Будь здорова.

Целую крепко детишек, Марочку, дорогую мамашу. Жду ответа».

26 июня 1978 г.

Всегда при тяжести дороги показаться заре. Заря показывается над трудной дорогой, чтобы помочь. Заря тогда, как и дорога, ровная, стремительная. Впрочем, заря, луна, полдень, ветер, заход, река, склонные иметь в виду и считаться с каждым, соответствовать каждому темпераменту. К солнцу, к ветру, к волне расположит себя бешенство, покой, тишина. Насколько загадывать внутренние пещеры, возможности, чтобы никто не возмутился, не состарился от быстрого ливня, медленного дождя. Так затянуло окно, каюту, что составился пучок желтой тундры, тайги, водорослей, морских звезд. Протопали и покрутились на открытом пространстве двое, нагружены доверху. Еле передвигая ноги среди желтизны. Как вдоль затяжного прыжка держать болото, ягель, ягоды. Немного изменилось состояние мира оттого, что показались люди. Стали не особенно тяжелее, но выявили себя колодцы, как подземные бинокли, телескопы, при помощи которых можно втягивать в провалы сверхдальние звезды. Проинспектировать доступными средствами. Все же вести желто, разлучено, к разлуке. Когда струит полдень. И так грустно, как будто все остановлено на

берегу моря, на берегу бриза. И без направлений знать – как на берегу ветра, на берегу солнца, на берегу лета. Если предстать при материальности имени, состояния. Хотя в этом приземлении не видеть достоинства особенного, но вынужденно слыть. И прожигать след воображения. Воображение всегда о том, что чем мрачнее и безысходнее действительность, тем больше лета в настоящем саду, в палисаднике, вблизи фиорда. Пройти по мху и наблюдать за движением рыб, морских зверей. На вершинах гор, при долинах, вблизи чумов происходят события. Кто-то убегает от преследования. Прячется за цветы, за коряги, за сети. Прислонить лицо к сетям и просолиться, стать соленым. Как раз пойдет дождь и смоет следы. Гора крутая. Осыпается щебень. Идти от рта, от зубов от горла, от гортани. Расширяться в долину, на множество рукавов. А гора все не кончается, не кончается, пока не заледенеют ветер и сопли тех, кто выглядывает из нор, из пещер. Хотя нападение неверно и растягивается рот. Потом исчезла жизнь, дни конкретного, данного человека, и осталась вмятина, разрез. И если углубить озеро, если озеро заполнит глаза и зрение станет стереоскопическим, то восстановит каждый миг, каждую весну субъекта. И прав или не прав от безысходности. И как бы горы ни шли вдоль судна, какие бы провалы ни случались – грудная клетка стоит непоколебимо, стоит панцирем, стоит кольчугой. Положение вертикальное – стены. И все, что переваливает за плечи, рушится наземь, не в силах удержаться.

Ощущение, что выронена, уронена печаль и никак не найти следы. Поэтому томить, томиться. Как будто пытаться повторить прошлое, заглядывать в него как в трубу, в чистую зеркальную воду, а настоящего еще нет. Хотя в поиске всегда идеала. Утверждение себя в том, что богатое прошлое – это и есть самое лучшее настоящее. И как ценность, и как время ностальгическое. Что лучше, чем было тогда, предположим, у моря, у реки при красноватом свечении, лучше этого не будет. Поэтому и есть самое высокое счастье, когда по дюнам, со стороны дюн приближается к дому, к покатой крыше, к золотистому песку, к стойбищу странник, мореплаватель, которого так долго не было. Как ушел в плавание человек – его комнату заняли тролли, или гномы, или загадочные человечки, безусловно, благожелательного начала.

Ощутить желание, чрево. В одежде, в шкурах морских зверей темно,

не видно, не найти. Шарить потемки, сумерки. Только чуть белее корень. Белым и отличается от ствола, от веток, которые расходятся. Лежать на краю леса, на краю песка, возле водорослей. Оставлять вмятины, оставлять раздвоение двух округлостей. Как будто рядом происходит из шерстяной юбки, при шерстяной юбке и вытянуто в линию, что не заметить разрез, вогнутость, лежать вблизи от запаха полусгнившего морского животного. Выброшен на полосу прибоя. Лежит долго. Тянет смрадом. Вдвоем, напротив любимой женщины. Взять принести посуду, плавник и начать топить рыбий жир. Медленно лопаться черной коже. Под широким тазом из дерева накапливать. И не медлить, прощупывать все ребра, поджилки, развороченные внутренности, желудок. Уплетать содержимое внутренностей, потому что там оказывается много непереваренной рыбы. Лазить по гниющим зданиям, скверам, помойкам. Переползать от сердца к легким, застрять в печени: тонуть в ней, как в смоле. Но вырваться. Ощущать замкнутое небо млекопитающего. Подпирать рукой, ладонью, когда стоять снова на сердце, как на огромной площадке. Доставать небо, как потолок, водить по нему пальцами и все время лизать с ладоней кровь, которая густеет. Из всего, конечно, стоящего. Но составить от морского животного скелет. Пусть кости станут белыми, наслоения, наросты, жилы – унесут ветры, метели. Поэтому так долго упираться, а теперь корабли. Это недостаточно. Отгрузить скарб, бочки с топленым жиром. Выбрать уединение, сумрак. Жирными руками раздевать, оставлять следы, уколы, подергивания, неприличия. Подвигать оголенное ущелье, вытягивать к сладкому ложу. А так если нет подстилки – станет влажно. Недалеко можно увидеть гейзер, чтобы не потеряться. Потому что при чистой, при ясной голове. Каждое мгновение из жизни пещеры исследовать, потрогать, вылизать. Потому что сладко при таинстве, при темноте, при удивительно сладкой влажности, огромной, неисчерпаемой. Там тонули все губы, все мысы потонут, потому что останутся навсегда корабли, яхты, корветы. Распластаются морж, нерпа, тюлень, кит, таймень. Только бы приблизиться через годы, ощутить внятно, прийти через все заблуждения, преграды. Расположить нос корабля рядом, у входа, у грота. И оттуда так тянет сыростью, если грот находится долго в тени, без солнца, окутан зарослями, ежевикой. Может случиться, что и папоротник преградит дорогу. Можно иссякать и желанию. Насытиться перед подъемом, но все равно неизбежно оставлять лицо близко, чтобы

возвращаться было недалеко. Так ослепу, от сна, от водорослей ринуться, и жаждать, и обладать. Погружать все сахарные уста, сладострастные. Выставлять часовых, чтобы никто не мог подсмотреть уединение. Лежать сладко на боку, или на спине, или на животе. Сладко втягивать бальзам, сок, вечное детство. И шептать только о том, как раньше не знать, не понимать. Как уходили годы стремления и не показывался любимый мыс. И так держать во взоре, около взора, в горле, в гортани фиорд вытянутый, окутан теплым течением, иногда заносчивым. Но не знать, не ведать лучшей страсти, молодости, старости, когда даже струя начнет утончаться. Так быть всегда. И самое лучшее образование, когда встречается любимое притяжение. Его глотать, есть при сырой земле, при камышах, а все мало, мало. Какие даны поглощения. Как будто вбирать вселенные одну за одной, пока не остаться при единственности предмета, просто не к чему прислонить пальцы, нечем их укрепить. Только вбирает даже самое заветное тело беспредельность. Расположить ложе, приблизиться и вбирать, вбирать, иногда преодолевать отвращение, переводить дыхание. Потому что дохнёт иногда океаном, в котором или от которого тайны гниения, разложения были подсмотрены. И не стал уединением вывоз мусора. Прогнить могла морская капуста, прогнить могли анемоны. Их тогда окружал рак-отшельник или мраморный краб. Выбирать то, что сохранилось, и жевать. И видеть, как светлеет чрево, светлеет грот. Можно отстранить лицо и заглядеться в пролив, в залив.

«Время, в которое я живу, отождествляется в моем представлении с бесконечной, прямой, как стрела дорогой. Я медленно перемещаюсь по ней и внимательно смотрю на то, что постепенно проходит перед моими глазами. Но эта дорога – длинная, прямая дорога – обладает одним страшным свойством: я не могу вернуться по ней к тому, что никогда не хотелось бы покидать.

Время, к сожалению, не обладает изотропностью, оно необратимо, ибо не существует физической симметрии обоих его направлений. И только в мыслях можем мы совершать длинные путешествия по дороге времени. Воображение рисует перед нами картины будущего, а в памяти снова и снова оживает минувшее, и мы снова беседуем с повстречавшимися когда-то спутниками...»

Мир, деревья, листва, река плохо относиться к человеку не могут.

Если увидеть к себе недостаточно терпимое отношение и почувствовать себя неуютно, то недостаток и неувязка существуют и давят не от мира, не от реки, а от самого себя разворачивает сердце и ищет горя, ущелья, хищников там, где их нет. Поэтому в любом покое грезится только от себя. Не кого-то можно бояться, не кто-то страшит извне, а в себе самом недостатки заявляют о себе. И мучают. Их нужно куда-то деть. Или забросить их в тартарары, чтобы они пропали. Или дать им возможность прожить, чтобы властно и отчетливо их можно было рассмотреть.

Горы в солнечном освещении. Снег лежит на вершине сердца, и поэтому его издалека видать. Струятся холмы и без холода, и без измороси, и без явных, экзотических, экстравагантных полос. Допустить снег выше. Там сдувают ветры, там покачнется упрямая спина, не выпрямится. Обвести глазом гроты. В гротах, в ложбинах хорошо отдохнуть. В молодости гор, в молодости людей какие только вершины не перебрать, какие только не встретить пирамиды, склепы, гробницы образования. Встретить Шайтан-камень, камень поклонения высотой в десять лошадиных крупов. Слева полого протянут спуск, справа обрыв. Это срединные пути в глубине страны, в глубине материка, хотя можно минуть эти камни, достать из глубокой реки, если следовать мореплавателю корвету, кожаным лодкам. И немного отклониться спине, выпрямить о тросы, канаты. Уйти медленно, картинно. В неподвижной воде запомниться навсегда. Пройдут люди, аборигены близ Шайтан-камня оставят приметы, задобрят идола, задобрят поклонение. Оставят у основания деньги, бусы, патроны, трубку, курево, оставят обрывок шали дорогой, иноземной. Как будто внутри камня сосредоточат себя цыганские шатры и закружат монисто, цепочки, игральные карты сербиянок, хиромантов. Закружат вьюгу, тяжелую судьбу, переходы на лошадях, сердца, оставленные и нанизанные на острия кизиловых деревьев. Поэтому любовно протягивать Средиземноморье и смягчить удар о растянутую шкуру белого медведя. Поднять кожаную лодку на острие водопада и смыть наваждение, колдовство, любимую магию, медиум, сновидение. Поправить крышу, мачту и выворачивать на изгиб дни. При краткости, по краткости цветов, кустарников камней грустить, тосковать. Что будет пребывать судьба сущего, а прежних камней, прежнего мха уже нет. Уже другой следующий солнечный припек с тех пор, как все пытается возвратить судьба. Прикрутить к корвету, к

судну, к сердцу все события, которые проходили. Из тысячелетия мира, моря, гор какой краткий срок поглотить, воспринять. И все от местопребывания одного поколения, одной судьбы. Человек любил именно эту мать, именно этих родственников, именно этих товарищей, именно эту женщину. Были раскосые глаза, не раскосые. Лежать на шкуре морского зверя, и ушло за глаза солнце. Глаза размыли закат и сосредоточили ночь, чтобы можно было уснуть. И на одной жизни прерваться миру предметов, состояний. Прислушиваться к поверхностному гулу, камнепаду и, казалось бы, срисовывать. Но жажда опускаться на дно моря, жить внутри пещер, внутри позвоночников, внутри вулканов не дает покоя. Всегда тревожит. А как следит, следит за солнцем медуза-корнерот, медуза-аврелия. Как стучится солнце в сердце кита. Какую прожилку высветит, чтобы передать тайну, предположим миграции. Но чуть уйти в распадок, в сторону от водораздела – испугаться хищника, травли. И представить себя из якобы и во имя дальнего прицела, из неискренности, из обсуждения, которое должно было быть тайным, потому что притянуто к вызову друга, которого нет, –но которым заполнены дни. Не существуют без него ни моря, ни кромки прибоя, ни леса водорослей. И на беду, это любимое свидание стало явным, и поэтому, чтобы остаться при душе, прошептало о согласии, о дороге, о тропе. Что все поколения людей, которые приходили – и есть, и составляют лицо земли, это освещение. И тут же отвернуться, чтобы не видеть, как начинает просыхать родник рядом с сердцем. Согнулись олеандровые рощи и стали чахнуть. Но пульсировал центр. И вокруг него располагались, расположились островки растительного, животного мира, расположились вселенные – настоящие, будущие, прошлые. Вместились при одной человеческой жизни, из одной и были явлены. Вокруг рассадили себя ожерелья гор, бусы огромных женщин, то темных, то светлых при подрагивающих танцах, при босой ноге, возле пальмы. Обернуться – и рядом айсберг. Из-за которого проглядывают пираты, индейцы. Все настроены дружелюбно, и можно убыстрять ритм, наращивать. И тогда как будто оголится остов зубов кита, сомкнутся все частоколы рвов, мощных млекопитающих, фонтаны разорвут наматывающееся на ус зрение соглядатаев. Станет тепло за огромной подвижной белой стеной. И так простоять ночь, пока возле островов Тихого океана не растворят себя в чреве жертвоприношения. Набедренные повязки, лица разукрашены, в

татуировках. Остается только девушкам, вступившим в полосу и в период половой зрелости, схоронить себя в лесу, в джунглях, в одной хижине. И ждать, пока ее не найдет избранник. Пробудет со своей суженой три дня в лесу и явится по дороге в селение, войдет в селение за руку с девушкой. Придет счастье, и прибавится на один дом, на одну хижину, на новую свадебную процессию. Посматривать на высокие холмы. Может выпасть снег. Уже выпал. Холмы, горы в снегу втягивали в себя стариков, детей, молодоженов, все население данного, любимого стойбища, поселка. Горы вбирали, вбирают в себя людей, чтобы самим избавляться от одиночества. Введена в сердце человека скорбь гор, переброшена тропа. И печали поменялись местами. Как будто подвижность чисто внешнего существования может действительно участвовать. Спасено в короткую уверенную в вечности судьбу, колыбель. Введено при камнях, при ягеле, при кочкарнике, при стоячей воде, при багульнике, при снежных баранах, при коротких поспешных перебранках. Но все равно быть на гребне и сторожить и вести стадо. Земле здесь не больно просто щекотать зрение, поверхность, плазму пути. Вести раздражения мягко, с налитыми кровью от предстоящего наслаждения глазами. Вести себя внимательно — цепко, притягивать, пристегивать к стволу, как перед оргазмом.

Николай – Марии

Январь 1942 г.

«С хорошим чувством, семья! Продолжаю прислушиваться, где ваш голосок,— мои дети, Елечка, Костик, мама, дорогая моя молодая Марочка? Шлю уже не считанное число писем, но ответа пока не получаю. И сегодня не слышу вас. Я обнадежен, что вы из множества писем получили какое-нибудь, и узнали, что я жив, здоров. Марочка, как мне печально, что нет возможности читать строчки твоей руки, как это было в прошлом. Часто думаю, что ты положила все усилия для восстановления связи, и вот осталось ждать и ждать твое письмецо. Напишите о Петре. Где он, на каком фронте? Елечка, Костик, это вам пишет ваш папа. Он вас крепко любит, хочет вас видеть здоровых. Любите друг друга, слушайте маму, бабушку. Целую вас всех. Коля.

* * *

Жив, здоров, крепко целую. Отвечайте: Краснодарский край. Белореченская станция, до востребования».

Николай – Марии

25 января 1942 г.

«Добрый день, дорогая семья! Написал вам с Белореченской шесть писем, пять телеграмм, и седьмое письмо пишу у Нюси. И, наверно, это письмо и эта телеграмма будет от меня последней. Девятого марта идем в бой. Марочка, береги деток, дорогая мама, не волнуйся, мириться с судьбой. Если есть от брата адрес или знаете, где он, – сообщите, что я был жив и иду опять в бой. Хотел от вас получить ответ, но не мог дождаться, не знаю, наверно, плохо работала связь. Сильно обижаюсь на судьбу, что я еще раз вас не смог увидеть. Пока до свидания. Марочка, детки – Елечка, Костик, мама. Телеграмма была о выезде, если получила. Меня извини. Оставайся на месте. Крепко вас целую. Коля».

«...Случаи варварского истребления морских животных новыми пришельцами на Чукотку превратились сегодня в систему, имеющую глубокие корни. Пик промысловой охоты на крупного морского зверя в Чукотском и Беринговом морях пришелся на шестидесятые – семидесятые годы. Тогда из Владивостока, Находки и Петропавловска-Камчатского в северные воды хлынули армады хорошо вооруженных судов вплоть до китовой флотилии «Алеут». Местные жители с ужасом наблюдали, как на древних лежбищах уничтожались сотни и тысячи моржей. Причем промысловиков интересовали только бивни и кожа со слоем жира. Изуродованные, ободранные туши моржей и китов оставляли на берегах. Когда-то процветавший местный промысел, охота на крупнейшего морского млекопитающего, определившая культуру и образ жизни, философию и нравственность населения Чукотского полуострова, оказались настолько подорванными, что расплата за это продолжается и по сей день. Престиж профессии мор-зверобоя пал,

равно как и заработок. Только за последние три года зарплата потомственных зверобоев из прибрежного села Сиреники снизилась почти вдвое и колеблется между 70 и 100 рублями... А вот еще «радостные» цифры. На 1 января 1988 года население Чукотского национального округа составляло 158944 человека, из них коренных жителей –15537 человек. Процент же коренного населения в общей массе уменьшился с 103 в 1980 году до 9,6 в 1988-м за счет быстрого роста приезжих. Один только пример из сферы торговли. В десяти торговых коллективах округа занято 10800 человек – примерно по два на три коренных жителя. А на 107 тысяч взрослого населения соотношение один к десяти. И тем не менее постоянно приходится слышать, что работников в торговле не хватает, видеть закрытые под этим предлогом отделы магазинов... Тундра не горит. Сопки не горят. Вечная мерзлота тем более. Сгорает доверие северных людей к своей стране. Сгорает их уважение самих себя. Бездымный пожар – страшнее пламени...» («Чукотка: боль и надежда»).

Ворота поднимутся и освободят клетку. И еще возвысят, пройдут птицами. Мощным проливом устилать дно. Прощание через давление моря с вытянутыми домами холмов. Смыть чуть возвышение песчаной суши, которую уже успели нагрузить камни. И в этом долгие плечи, что останутся с морем равновесие и мир. Пусть море развернет течение сердца и унесет жажду крови. Потеснили течение океана, когда оно стало забывать о прошлых обитателях. Соединить в нем, суммировать мощный зов моря. Образовать из течения то, что можно подобием формы войти в состав Гольфстрима, чтобы оказывать смягчающее влияние на климат мира. Чтобы ему было то скольжение в створе, которое позволит увидеть подробности, скрытые от уровня, на уровне глаз людских. И в тоске по любви из дна океана пусть не длительного слоя. И во всем удивлении упасть навзничь. И в такой безмятежной кручине под плечи не проплывут горы с моря. Только долго видеть, как плечо, освобожденное от стен, медленно разворачивается в страну. И как изменять колебания. Думаться проливом –поднимается тундровый слой, тундровый зной; думаться горами, уже располагать ими, из гор разворачивать получеловеческое изваяние – и сквозь тундру проступать проливу, склянкам, выброшенным рыбешкам. Ложе огромнейшее уступит, растворится.

Распространиться на несбывшуюся грезу Командора.

Несравнимостью право вести череду дней. Никогда и не предчувствовать, что такая всепоглощающая долина ожидает океан. Непостижимо протяжный говор. У невозможных подробностей, например, животного мира, растительного чтобы не унизить эту мыслящую цивилизацию, которая займет все галактики и еще перейдет за переливающийся край, переведет на земное плато, которым выстелен океан. Робость морских звезд, выловленных берегом.

Камбала, акула, морская капуста. И как зарываться, и образовать целые уступы холмов, во вбирающие полые пространства, в которые проваливается воздух. Долго распространять признательность. Желание или роковая оторопь весточки в старо иудейские времена. И сразу начать остывать воспаленным внутри мозгом.

О мифах, о продолжительных странствиях птиц. Отвлечься на очарование реки и снова разбежаться на голубой, зеленый и желтый цвет, разбежаться на долины различного цвета. Гореть, как распространяется куст, – пока не начатым дождем. Так и оставить остов пожара на движение скелета животного; белый в былом корпус оленя – и не шелохнется; отсутствии на свете, но как ранит, как пронзает небо пустая глазница, бестелесная впадина того, где раньше пульсировал глаз и который вытек от сильного жара. Находиться приютом при заповеднике огороженным островом. Горизонтально, и разыскивать пути мореплавателей.

И связать этот край с краснеющим освещением. Как будто подходить от корня к корню – и латать. Поэтому в тундре быть множеству заплат, и венчает каждую заплату крупная темно-синяя или краснеющая ягода. Недалеко от местностей ягод. Недалеко от местностей ягод-княженики, морошки, голубики – быть чумам, быть островерхим людским изваяниям из кожи оленьей, склоненным к рекам прозрачным. Так у множества берегов, пока не насытятся дети. За вторым рядом северной лайки. Что всему стоять, и быть извечным в постоянном сближении возрастов, и трепать молодые и старческие уста. Чуть вынесены волной и приспущены. Так подходить и расходиться с тревогой чего-то оброненного. И начать обдумывать и скучать по человеку, когда его уже больше не встретишь на свете. А совпадали

провалами, замеченными конструкциями каменных лат, изваяний.

О солнечной печали, вообще о печали, с которой выходить мореплавателю на открытие новых земель. Пройтись островами, бугшпритами, корветами. Какой доли вкусить от радости, когда проваливаться цинге, недоеданию, повальным бедствиям? И от долгой разлуки прощупывать фундаменты поселений. Чем ближе чувствовать прозрачные реки, стойбища алеутов. Там, где зрачки протыкали корни деревьев, кустарников, – стало чисто на освобожденное от звезд небо. Если нет ночной или дневной звезды — как? за что зацепится глаз, как за полотно, за ветку, чтобы покачаться на гамаке, прокачаться. Как будто якорь с китобойного судна – в челюсть акуле-людоеду. Прокачиваясь от звезд, можно проводить линии, устраивать световые провалы. Там давно царство на великолепие грез. И не везти на земли родные, где пусть глазам мало просвета.

Приливам, отливам ночным течь в глубь материка. В стороне от морей протискиваться вглубь. Идти долгим полем, где возродиться. Опять занимать, нанимать у глубокого пульсирующего провала пейзажи, быт, моря, чтобы не быть, не слыть пустым, чтобы от легкости не улететь. Отягощать себя свинцом, чтобы не быть поверженным бурями.

Проследить линию дней, линию жизни мальчика вплоть до того, как связать свое время со странствием. Заглядеться среди лугов, рощ, тяжелой крестьянской жизни, пашни. Жита, хлеба, просеянных ягод, сруба с резным наличником. В каких пелось снегах, санках, поводырях? Мельтешили лучины лиц – старого и молодого. Как обронено сиреневым букетом в середине лаковых мест. Потом от одиночеств – собрание, вече. Следование густым темным лесом – пока не выйти к земле, к пустующему пространству – пока не начаться океану. Так образоваться пути. Из противоположных глаз увидеться уровнем плена. Уровнем дней, поднятых над океаном холодным, морозным. И наблюдаться полосой, как вытягивать на жилах из отловленных зверей след. Стоять хижинам возле камней, обдувать ветрам. И в такой близости, бедности просоленного камня от мощных волн. Быть гарпунщиком. И все это познать сразу, все это сразу познал чужой, благожелательный человек и во всем прочитал сходство. И связать сердца при незнакомом наречии. Просто обняться на земле. Дерево узнало свою тоску и выделило из

множества километров кусок дороги, которая была закована в ледяной панцирь. Холодные камни, на которых стояли селения, увидели себя во множестве лесов – и уже не могли больше существовать врозь. Дыхание заняло счастье дороги среди возвышенных мхов, фиордов.

О видах с задумчивостью гор – прислушаться. Прислушался абориген. Не совпадать созерцанием просто глаз, и возможности провести внутренние линии горной реки, горной вершины, когда ей было дано проводить свои давние нити. В холмах, в лощинах, в лиственницах. Когда почти инкрустация подвижна к той стороне лезвия цели, когда чисто внешне держаться не за что, но замкнут так плотно в поводыри.

Всему плавать в течении, все подвержено течению. Не обернуться, когда расположиться в ладони звездой, звездной. Ладонь звезды, голова звезды, сердце звезды – какой огромный корпус!

Пробежать рогом оленя, остаться без стойбища; только у изголовья причуд и холмов следить прежнюю кару, прежнюю встречу высматривания себе будущих детей. Когда выходить из лавы и распространять себя ступеньками.

На песке океана лежать айсбергам, на берегу океана лежат айсберги, опираются, словно хотят отжать от себя землю, а земля от этих усилий пристывает, прикипает, как от горячей любви, не оторвать. Подходить под острова, держать и их многометровый слой. С камнями, пещерами, мхом, многочисленными народами, байдарами, реками, изгородью, деревом.

Предчувствовать судьбу племени, и как будто в поисках незанятых свободных долин. С далекими вершинами для ориентиров.

Заболеть расшатыванием и выпадением зубов. Почти провалы обрывов. Пальцами доставать овраги. Можно прощупать цветы, леса, полосы хвойных утр, но обнаруживаться в круговерти ледяной местности, где расширять рты льдинками улыбок. Так границами хищников перебрать все замки, заборы, двери. Двигаться голубовато морозно, как спускаться в плен, как в прорубь неодолимую. Не рассмотреть. Медленно подняться, обнаружить корабль и уйти. Оставить долгий провал бездны – пока затянет водой. Но не успеть проникнуть, – уже проникли воздушные слои, проникла земля, и глаза аборигенов уже стали запоминать расположение глубин, расположение скатов, окон, иллюминаторов,

запоминают сады океана, чтобы удержаться, когда станет невозможно обороняться, когда станет невозможно жить на земле угнетенным народам; тогда они перевернутся по наитию, по заклятию добрых духов, и перейдут в состояния морских существ и станут проживать дни глубин.

Кораблю, корвету замечать себя по следующим, близлежащим очертаниям бухт, изменяющим имя. Если проходил корабль завоевателей – то изменялась местность, менялась топография, топонимика. И новая топонимика всегда была оправдана и шла как членовредительство.

Выпадал плен. Разжигались костры, приносились жертвы. Настораживаться кладбищем китов, настораживалось кладбище гигантов, и белые люди начинают расписывать узоры врат, и как будто оттягивают прибор любви до отказа, потому что не любят, и просто отпускают легкие удары по голове, по темечку тем, над кем они, эти белые пришельцы, мнимо возвышаются. И в дальнейшей неизвестности – где пребудет процессия. Появился перебор островов, их кружевная пляска, братски положены руки на плечи, и повторят красивейшие уста месяцев, оставшихся до отбытия. Проселочной дорогой отмечать белеющие камни и кружиться кораблю. Переполняться морошкой, голубикой, черникой. Уходить вдоль рифов, и там потрошители моржей распространены на все мили. Но это не влекло, не могло привлечь. Потому что виделись поваленные частоколы зубов, жили беззубые селения в полосах мрачно синеющего безмолвия. Могли промелькнуть туши случайных тюленей. Пригоршнями вбирать, набирать кровь морского зверя, пить, опрокидывать в горло. Даже нельзя прожевать, потому что человеческий род переводился от недоедания. Не было и спасительного раствора, и стало пропадать зрение из уст на ладони. Не виделась даже ладонь, даже шрамы от частых ножей. Аборигены от срывов, от слабеющих нервов уже перестали настраивать себя на ожидание и забыли, что в появлении айсбергов кроется смысл скорого возвращения вестников, отцов селения. Вестники были отправлены в дальнее странствие ровно год назад. Так задрожали руки, пальцы, но, чтобы не показаться слабыми, ожидающие вестей и добычи стали хватать, заполнять ладони растительностью, которая росла рядом, на которой стояла нога. От слабости даже не произнести обозначение, даже имя не произнести. Руки продолжали наполняться устрашающей качкой. На глубине моря прошли, исчезли, снова появились морские львы,

кони.

В движении прослеживаться извечному кругу. Все это наблюдать вокруг с холма, который походил на человеческое лицо. Голова склонялась резцом, и вокруг наклоняться счастью, и собирать узоры звезд. Настраивать себя на полутон, опускаться оврагами, тропинками; волны раскачивали мыс, размывали, и причудливо проявлялись на свет зеленые изломы, течения. Закреплять в пейзажах людей и считать, что пейзаж – это человек, но за какую-то провинность переведенный в совсем другой состав, чаще всего неподвижный, если его к движению чуть-чуть не начнут поправлять ветры, волны. И как часто – человек один, в лесу, в поле, в тундре, а вокруг человека, пока не ушедшего в пейзаж по истечении лет, как много человеческих лиц в виде дерева, в виде холма, в виде ягоды, в виде трех-четырех листьев, но уже соединенных в профиль, в загадочный взгляд вурдалака, который страшит. Но случаются поля, просветы, и можно еще насадить дремучие леса. Внутри пейзажей всегда много места. Поэтому, пока есть сердце, многое живет в белых морях и пока не открыто. Всё дальними очертаниями просветлять взор. Уже чернеть срубами из дальних мест. Узнать про другие пребывания детей своих, мира. Пульсировать из одного начала. Хорошо выделять один стан. Искусно выделанными гарпунами обозначать другие холмы. В гротах этой стороны находить железо и вести наблюдение вокруг. Красоваться мхом родственных следов, когда дети старого отца совсем рядом, чуть изменили приношения ради брачных союзов. Проводятся гости, – стерегутся костры возвышенностей. Душа эскимосского мальчика, отданного на обучение ремеслам, оставалась, жила в горле и в изгибе гарпуна, пока мальчик, не обучился всем искусствам охоты на крупного морского зверя. Вообще можно всегда сказать, что душа, пока она жива, чувствует себя неуверенно, пока тот, в кого душа втиснена, пока не стал мастером, не становится. Оставаться в горле и в изгибе гарпуна означает быть внутри оружия, чувствовать его каждый изгиб, как бы перевоплотиться в гарпун, чтобы работать с ним безошибочно. Ожидались качественные дни, как качественные вещи, изделия мастера.

Если освободить день, – его хватит от перегрузок на быт – его хватит на весь мир со всеми подводными течениями и впадинами, и день там пробудет на песке, на камнях, и разберет все хребты, все сокровища, познает все тайны существования и скрытые веками трагедии.

И даже так пасти дни.

При погасшей розовой туче. Или не знать названия дерева, просто зеленые ветки. В подвижности, тонкости реагировать на все колебания земной коры. Для передачи впечатления, передачи мига – заполнять все местности на территории тела – розово и прощально. Уже в давности негде искать нетронутости, но повторение положений потому, что жизни дано от рождения, и как-то нужно ее вызволить. Помощью деятельности, помочь созерцанию, стать подвижным и подняться на корабль, который проплывет сквозь миллиарды световых лет. И никто не может оставить при нежелании, неугодности. Потому что посторонний не видит, не знает, не предчувствует тайный язык иных, недоступных планет. Оттуда звук очень подтянут, очень собран, там нет в звуке просвета от незнания; и масса информации из других планет, развитых неутомонно и на тысячелетия, выглядит среди людей Земли только точками и маловразумительными запятыми, просто частым сорочьим перечислением, близким, приближенным к наборматыванию монотонному. Поэтому ближе всего к ритму планет – лепет детей. Потому что дети самые беззащитные и неагрессивные существа, и им можно доверить тайну межпланетных встреч. Ибо дети – лишь до тех пор, пока в них существует лепет, пока они не научились произносить явно понятные взрослому слова, – неопасны, еще не наточены на агрессию вообще человеческого рода, существования. И это движение в высшем разуме, от которого зависит судьба мира, схвачено и отмечено. Эта прерывистость тайны. Тайна покидает человека, как только он начинает говорить внятно для других. И никто не может оставить при нежелании, не угодности. Потому что не видеть, не знать. Почти шапкой-невидимкой знать все закрома.

На земле или в земле быть по отрогам синих гор, хребтов, почти солнц при вслушивании. И в давности обид не понять утешение, что будет при свете долгих лет ровным дыханием вечера при синих цветах. И быть чуть в низине – белым стоянкам – стеречь покой, уют. И природой, провидением не замечен, не нужен лик тех, кто старожил, абориген, – не различать лица. Их судьба, доля – быть просто замеченным по движениям. И если земле плотно – то двигаться одетым, вмещать пищу, огонь. Все это лежит, всегда живет, жило внутри тела. Может быть, при участии, но в суете долго. Теперь обратное видение: на другом конце долины – то же самое пропадание. И почему

так опережающа грусть всех сердец, сосредоточенных в мире.

Странно в долине, где всегда тепло. Расположена в горах, в снегах. Дуть ветру из снега. Как это раньше не замечать из прощания вести,— как и прикипеть сердцем, телом. А лес розово перебегает по чертам лица. Как вестника из прошлого. Из коры дерева бронзово, одиноко, с зелеными пятнами лишаев. Так и приглядеться к мху, и занять истоки, откуда начать, начинается зрение. И снова сказать, и промолвиться опушкой леса, когда в любимой долине севера держать и отпускать широко реку.

Рельеф разошелся на разноцветные полосы. Пробежали проливы, водоросли, камни, пробежало давление в океане. Чуть опуститься, нырнуть и начать проходить травы, сущу, горы. Все хорошо согласовано с землей, с песком – песок наиболее уязвим, податлив. Чуть по-иному, чем с поверхности мира. И сразу начали выделяться синие стены, когда вокруг стало далеко. Отходить от канонады и уже выделяться морским портом кораблем. Так жестко на людей. Их зрение из глубоких трюмов так вынуждено уместиться, сдавить себя в линии прямоугольников.

«На Колыме, где тундра и тайга кругом. Среди озябших елей и болот. Тебя я встретил с твоей подругой, сидящих у костра вдвоем.

И я заметил блеск твоих прекрасных глаз. И руку подал, и предложил дружить. Дала ты слово – быть моею. Любовь навеки сохранить. В любви и ласках – время незаметно шло. Пришла весна, и кончился твой срок. Я провожал тебя. На пристани – мелькнул твой беленький платок. С твоим отъездом началась болезнь моя. Я встречи ждал с тобой и все страдал. Я проклинал тот день разлуки, когда на пристани стоял.

А годы шли, себя тоскою мучая. Я встречи ждал с тобой, любовь моя. По актировке, врачей путевке – я покидаю лагеря.

И вот я покидаю свой суровый край; а поезд все быстрее мчит на юг. И всю дорогу – молю я бога: «Приди встречать меня, мой друг».

Огни Ростова поезд захватил во тьме. К перрону тихо поезд подходил.

Тебя, больную, совсем седую, наш сын к вагону подводил.

«Так здравствуй, поседевшая любовь моя. Пусть падает снежок – на берег Дона, на ветки клена, на твой заплаканный платок».

«Чередой – за вагоном вагон с мягким стуком по рельсам из стали. Спецэтапом идет эшелон из Европы в сибирские дали.

Завернувшись в бушлат с головой, проклиная леса и болота, на площадке вагона конвой ощетинил свои пулеметы. Даже «сталинцы» глохли в снегу. Даже дизельных сил не хватало. И тогда под гитары струну эта песня о милой звучала: "Не печалься, родная, не плачь. За разлуку прости ты меня. Я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь. Как бы ни был мой приговор строг. Я вернусь на родимый порог. И, тоскуя по ласкам твоим, – я в окно постучусь''.

За семь лет трудовых лагерей мы в подарок рабочему классу, – там, где были тропинки зверей, – проложили Сибирскую трассу.

Эту песню я выучил там, где судьба нас в этапах связала, положив на знакомый мотив, – эта песня в беде помогала».

Умирать дням, умирать ночам, умирать смыслу. Ничем себя не нагрузить, кроме как повторением истории о каком-нибудь фиорде. Так колдовать, колдовать, чтобы открылись вежды. Была буря, сбила компас, и теперь идти по звездам. Днем спускаться в глубокие трюмы, где из затемнения следить за светилами. Отзываться на зов ночной птицы, растирать на ладони плеск рыбы. Расширяться на этот плеск, растекаться и чувствовать озноб. Почти покидали силы. Шли провалы, пучины. Лаково скользили, нельзя было удержаться на внутренней стороне. Не было крыла, чтобы состоять в триединстве — при земле, при небе, при воде. И всеми тремя качествами обладать. Очутиться в подводном мире. При кашалотах, при рептилиях, при ящерах. Как огромное эхо тащить. Неимоверный кладезь. И скелеты одного и того же ископаемого растянуть на несколько дней ходьбы. Когда ползти, подниматься, приваливать собой торф, ил, белый песок.

Обозначить привал, обозначить долю, когда судно, когда корвет долго длится мимо светлых долин, обернутых в желтый мех, по краям, отороченный цветами. Как всегда, приподняться на цыпочках, немного увеличить потолок. Кусок кормы, прикрыто. Показаться мордочкой зверька, скрыть нищу. Закраплено листьями большими, величиной с голову. Продвигаться при помощи локтей, ползком, при плотном пространстве, где не обозначена даже горстка, чтобы можно было рассмотреть, что впереди. Как наваждение от сна, как будто вместе с

тем предметом, с тем существованием, с тем духом, заключенным в форму тела, лица, глаз, дыхания, с тем ароматом, без которого не жить, не длить свои дни. Когда рядом с любимым ртом вертикально пристегнута, пропитана веточка сирени, левкоев, глицинии, багульника. Все время водить ароматной южной флейтой вдоль гор, вдоль заливов безмятежных. Вести горизонтально, и к флейте прилипают, никнут бабочки, сверчки, божьи коровки, цикады. Так проходить, натыкаться на сталактиты. Быть при плотной материи, как будто ничего не отвоевал свет, чтобы можно было без сопротивления положить руку на плечо. Долго разбивать склепы, пока выйти на огромную залу. Залу, не возникшую внезапно, а каждый сантиметр вольного пространства выбить резцом.

Кому-то пробормотать из мрака доверчивого, плотного. Можно лежать, приходить в себя.

Говорит человек с темным лицом, повар:

– Иди, помоги женщине. Это же слабый пол. Поэтому с топором, лопатой ей обращаться нельзя... Так наколи же ей орешков.

– А почему женщины – это слабый пол?

– Потому что слабые на передок.

– Гениальный ты человек, повар Равиль. Внесу тебя в вечный текст моей книги, моей рукописи, моего фолианта. Так свободно, небрежно, изящно раскрыл тайну.

Слышать мысли, превращать в предметы, в ветки, в кусты, в звезды. Перебирать, подбрасывать на острия. Но чуть острия, чуть обточенные, чтобы не прокалывать руки.

К сожалению или к счастью, все произошло и происходит только внутренним миром, только из внутреннего мира. Внешних предметов нет. Все внутри сердца, внутри мозга, внутри грудной клетки, внутри горла. И тогда при понятности или понятности и загадочности света пути: почему были выделены, были выдвинуты именно эти события, эти люди? Почему именно эта мать, эта сестра, этот брат, эти любимые товарищи? Почему именно это местопребывание. Так различен внутренний мир, богат, щедр. Выделил конкретного человека на свет, на жизнь именно на земле. Или наше существование так говорит, так

бормочет из места событий. А на другой галактике тысячная доля нашего существования тоже бы так открывала себя. Уже не в образе человекоподобного и не в ощущении деревьев, воды, моря, рептилий. Так издалека или вблизи смотреть на каплю дождя, медленно или быстро стекающего. Может, это и есть одна из тысячных форм нашего пути Действительно, как быть, внутри матери-природы. И самому быть этой матерью-природой и все вмещать о себя, содержать. И какая милость природы – растительному, животному миру, человеческому – быть наделенным всяческой проекцией, любой возможностью, любой точкой возврата или начала.

Почему были, почему исчезают ощущения прежних лет? Ощущение того, что с тобой случилось, случилось несколько лет назад, – уже не вернуть в шепот дождя, в устойчивость солнечного полумрака. При севере, при прохладе, при мощных болотах, от трясин, при головной боли, как будто из чащи деревьев, может быть, само близлежащее дерево рвет зубы, рвет корни людей, недавно поселившихся здесь. Уберечь от насилия стада оленей, стада сохатых, стада снежных баранов, стада китов. Или от ощущения доли, от ощущения мужественности и от этого – скорби, чтобы исчезал, исчезает страх. И уже не из чего появляться. Потому что страх – лучшая кладовая, лучший и мощный источник, неисчерпаемый для всех событий, которые насыпает сердце на чисто внешнюю волю. Но поначалу держит их в ограде страха, некой темноты от детства. Потому что не оформившиеся лучшие ощущения, если радость, если печаль, если пришедшее видение любимой бабушки, любимой мамы не подержать некоторое время в полудреме заповедного сада. Если эти младенческие поначалу ощущения не лелеять, не пестовать, не выхаживать как из колыбели, пусть и бессознательной, подсознательной — они умрут, засохнут, заледенеют, если не будут выращены при темноте, при страхе оградительном. Быть всегда в чреве, чтобы окрепнуть для жизни, вынесенной для внешних впечатлений, во внешние впечатления.

Так начать из тишины об ушедших состояниях. И почему раньше первое видение новой земли, нового куска хвои, можжевельника, если отделено от обжитых мест на расстоянии в тысячи километров, — несло в себе боль и испытание, словно прощаться с жизнью, с днями. Эта местность разорвет ли в тебе, в человеке, все преграды, опоры и

достигнет ли беспредельности, чтобы со всех сторон накинулись люпые звери. Потому что если страх не держать на ладони — он душит. Обволакивает грудную клетку, сжимает ее до состояния, до состава горла – и явится, является удавом. Опять держать под уздой, на узде, на уздечке – об исчезновении растерянности, смятения, очарования. Что, мол, не останусь здесь, не сгину, не пропадут во мне неизвестные горы, снега, бивни древних ящеров. Не состоится старины, первопроходчика, оледенения в ущелье. И долго нести голову козленка. При котором нет мяса, выедены глаза, а есть только глазницы. Положить, свесить с острия, оставить на мглу. Утром прийти, а черепа уже нет. Только бегает и щиплет траву самый что ни на есть живой козленок. Потому что избегнуть простыней, избегнуть свечей внутри черепа. Когда при ощущении прожектора высвечивать острия пиратских кораблей, фрегатов. Им-то было выплыть из-за мыса и подстеречь старекющего мореплавателя. Когда огибать коралловый риф перед островами, затерянными в пальмовых рощах, в финиках. Мелькнуть смуглому телу в набедренных повязках. Готовиться костру. Есть пленники из соседнего племени, и можно наесться вдоволь. Так при развитии каннибальства. И в жертвенной роли. И никто не начал приручать диких животных. И не начал еще земледелия. И все-таки уйти от пиратов, от джентльменов удачи, и оказаться, и пробыть среди диких племен. И быть мореплавателю короткое время миссионером. Держать при себе несколько ружей и возвещать гром, когда нужно вынуждать к преклонению, к повиновению. Тем более язычество. Из мглы, из тьмы, из воспоминаний существовать.

Еще раз понять из древности, что скрытая гармония лучше явной. Быть прерывистым, намерение загородить. Почему обязательно перевести в область жестов, насобирать цветы и рассыпать на площади, у стойбища. Проследить полдневный зной. Он нигде не изменен, постоянен. Только немного ограничено зданиями, сквером. Так даются подробности, чтобы не сказать конкретно, чтобы не указать номер дома, именно лицо, где может, где могло бы произойти и уже произошло свидание. Свидание могло бы опорочить влиятельного человека, тем более его жена находится в прелюбодеянии. При мерзости нравов говорить о позоре другого с чувством и удовлетворением. Понимать через века о совершенствовании – поэтому тесать из мрамора

лепесточек. Посадить перед чревом цветы, рассадник, ухаживать за цветами спиной к чреву. Повернуть лицом к улице. Посмотреть на достоинство его, ее. Мол, я не претендую, я просто выхаживаю. Дымовую завесу. И между завесами нырнуть, отвлечься в чрево и пробыть там долго. Вечером выйти из комнаты, из лоджии и издалека, из цветника окликать прохожих девиц, окликать слабый пол. Или слабый пол окликает моряка, чтобы скрыть свое истинное занятие. Просматривание уст, разговора, фейерверк, как завязаны узлы встреч. Как идея о предмете воплощается, ее намоет волна. И конечно, на берегах Средиземноморья, в Сорренто. Так выражена линия и мечется между севером и югом. Когда тревожат местности, которые помнят еще младенчество того, кто стареет, кто выдержан. Но тетива вынесла южную волну, на ней сидел мальчик. Волна вылетела, увлечена стрелой, и пала возле далекого северного фиорда.

В волне, в море тесно, узко. Почему в себе самом одновременно одну стихию не менять с другой. Был морем, стал цветом, стал горой. Почему не дано такое превращение. А если и был штормом – штормом и остался. И для перехода в другое состояние нужно время из превращений. И вообще в великой магии природы, в самом высоком превращении, легендах, иносказаниях. Был волк и исчез. Вместо него время. Время исчезло – вместо него растет кипарис. Кипарис канул – стал медведем. Облаком. Что только не таить в себе. Достаточно сбросить трясину. Как все неожиданно. Только бы не нарастить стереотипа, стереотип. Так держать северные реки, прозрачные, словно неподвижные. В них промоют себя облака, в них промоют себя сетки, олени, ягоды.

Промоют себя девичьи руки, ноги, икры, чрево, груди, лицо, волосы. Загрустить вдоль стойбища, лежать долго, весь в собачьих норах от комаров, куда прятать морды. Уложено красной рыбой, красной икрой. Подходят собаки. Каюры бросят им юколу. Истекает прелестным жиром. Прозрачна на солнце.

Быть в горах. Быть рядом со снегом, рядом с вершинами. Ходить на охоту. Кормиться мясом снежных баранов. Смотреть вниз, в ущелье. Быть выше облаков.

И еще карабкаться, карабкаться. Чтобы почти под небом зашумела река. Река тоже была подневольная, потому что не могла разливаться,

не могла выходить на равнины. Шла долго конусом и острым дном. Приближать себя к разливу. Показалась женщина. Вышла из чума. Окунулась в реке, прикрылась одеждой из меха, побежала к оленям. Отстающего оленя прирезала, побежала дальше. Мох собирал ее следы в горсти. Редко показывался белый человек, поэтому высоко был поднят. К нему было расположено гостеприимство. К аборигенам не приставать с интригами, с коварством. Не выпроваживать хозяина соболевать. Белому мужчине, притворившись больным, не приставлять ладони к девичьим грудям, не соблазнять дочерей того, кто вынес из воды обмороженных, полуживых. Мореплавателю по стойбищам, по селениям собирать свой корвет. Не стыдиться своей команды, потому что она команда; моряки обучали, когда потерпели кораблекрушение, земледелию, животноводству аборигенов. Не надо было искать диких животных по горам. Не доверять себя случаю. Разводить скот. Все иметь вволю. И одеваться тепло, даже если все дикие, не прирученные животные покинут былые пастбища. Так вести события, что невозможно возникнуть интриге, назиданию. Видеть селения вдоль рек. Любить воду, любить перебирать заросли, водоросли, рыбу, которую привозили рыбаки. Били рыбу острогой, забрасывали крючки, делали запруды. Люди в этих редких стойбищах старались не держать зло. Не обращали зло на других. В самих себе искали недостатки, несправедливые поля, ущелья. Выбрасывали камни, очищали для пашни. Только так могла выжить гармония. И любое чрево, и любую глубину нужно было открыть, быть первооткрывателем, а не принимать на слух, на веру, заранее согласиться.

Задуматься о любимой женщине. Увидеть ее далеко-далеко, за мысом, в доме, во дворе. Там ей мять, выделывать шкуру. Издалека любоваться ею, и относить, и оставлять у ее ног, у ее торбазов следующий текст:

«Мне всегда хорошо говорить с тобой о любви к тебе. Это признание тебе как крепость, как строительный материал, из которого ты построишь себе замок. Замок, прекрасный на высокой горе. Чтобы настало время, день, когда я смогу поселить в этом здании маму, сестру, брата, лучших товарищей. И только после них тебе останется комната, твои апартаменты. Это мне нужно для того чтобы ты шла для меня на одном уровне с моей мамой. Чтобы ты всегда стояла во мне рядом с сестрой, с братом, рядом с вечером несколько лет назад. Рядом с морем, когда оно смотрит в нас, запоминает меня и брата так страшно,

так вечно. Мы выделены из гор, из камня белыми пятнами. И море поглощает из нас, поглощает в нас прожекторы, чтобы мы не выделялись, чтобы ему было ровно идти, ровно длиться. Чуть в стороне от моря увидеть сестру. Знать ее всю жизнь, сызмальства. А младшего брата всего-то видеть несколько раз в жизни. Он сильно болел, все время уезжал, детство в нем сбылось только в интернатах, в краях, наполненных снегами и запахом сосны, ели. Брату не суждено было в детстве иметь свой угол, свой единственный дым отечества над трубой, свой единственный угол сада, где прячутся только его игры, его фантики, его карамели. В вынужденных содружествах брата самое его заветное было затаскано множеством рук, взглядов. Тем более при общественном саде заветного места всем не хватит. Или сбиться с курса о том, что во внутреннем мире, из внутреннего присутствия не может быть и возникнуть вражде. Подойти воспоминанию о том, как в горах, возле интерната играть с младшим братом в снежки. Долго бежать за ним и бросить сверху на голову комок рыхлого снега. Так намеренно подбежать и опустить за шиворот. Брат повернется медленно и скажет: «За что ты меня бьешь?» Из этого мгновения длиной в пятнадцать лет до сих пор хочется лишить себя жизни. Но что-то вело, что-то бежало через овраги, какое-то зло, какой-то недостаток, который я, старший брат, не изжил в себе, и, вместо того, чтобы вывести его из себя и выбросить на свалку, оттого что недостаток, что зло преодолело, нужно было ввести во внешний мир и отомстить абсолютно ни в чем не повинному человеку, тем более родному, что он беззащитный, что он не отомстит. Появляется из тех лет око, мутное, кровавое, вопрошает из темноты, скроется из сада и сопровождает, может оказаться за спиной и кинуть издалека какой-то предмет. Покатится и вытянет к себе, за собой сердце человека, который идет следом кто совершил подлый поступок. Предположим, и может всплыть месть младшему брату за то, что он носит старое пальто, перешитую шинель, которая осталась в доме с войны, брошена родственником. Мелко очищать в себе гадость, считать наросты для чистого поля, без сорняков. И ходить, и не проследить вражды. Но снова камень, который снова может лишить жизни внука, потому что его рука, его ладонь до сих пор покоится в мягком, шамкающем, открытом рте бабушки. Ходить за плугом, ходить, вырывать из себя черные дыры. Вздремнуть на солнечном припеке, недалеко от оврага, где в начале жизни было найти сразу после

наводнения обнажившееся тело золотистого теленка-утопленника. Теленок утонул недавно, потому что еще теплый. Вместе с бабушкой потрошить теленка, куски в мешок, таскать домой. Совершить несколько переходов. Пойти за травой для коровы, наткнуться на теленка. Со всех сторон голод, война, холод. Поэтому это мясо есть, варить, жарить, жить три месяца счастливо. Постоять над этим холмом, надвинуть на себя горы. Именно те горы, именно ту гору, на которой стоять с младшим братом в обнимочку и напевать, искать в себе грустную радость о том, что многое еще впереди и будет узнано. Другие моря, другие океаны намоют водоросли, намоют морских звезд, намоют льдинки. И весь этот сплав образует людей. Они плачут, когда вспоминают дом, заветные местности, камни, олеандры, гроты, которые составят в конце концов их будущее, тоскующее, нищенское по составу и наличию материальных предметов в круге семьи, в круге дома, в окружении сада. И вот прорубить окно в океане, через толщу пути, мглы, прорубить окно через тысячу лет, и напеть, и сказать любимой маме, любимой бабушке, любимой сестре: **«В далекий край товарищ улетает. Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд».** Так и простоять в обнимочку с младшим братом тысячелетия. И так смотреть на него и любить его как самую заповедную радость, как лучшую тоску, как лучшую ностальгию, как лучшую грезу. Потом наступит овраг, прорвется трещина. Проступит море и начнет намывать жемчуг. Смотреть плотно. Рядом с водорослями пребывать жемчугу. И от невозможности и от бессилия отобрать – будут граблями собирать водоросли и варить йод. Намоется снег, закоченеют ноги. Сидеть на верху айсберга. Есть желание мощи. Накат. Надвигается чрево.

О великом исследователе, о великом мореплавателе. И не в том дело, что он открыл, вывел на обозрение реки, озера, племена, проливы. Потому и самый выдающийся, что был гуманистом. О человеколюбии. Нет рас, нет цвета кожи – есть только человеколюбие, доброе отношение к миру животному, растительному, к светилам. Быть не завоевателем, а чтобы сердце обращалось к милосердию. Ходить без капюшонов, без соглядатаев, вести мирные переговоры с племенами, обнимать их сердца. Не уничтожать плантации, не быть работорговцем.

Любить цвет индиго, любить заросли. Проходить саваннами, прерией. Наблюдать крокодилов, выстраивать ритм. Спать под открытым небом. Под открытой землей, когда земля прозрачная, и хорошо перебирать корни на цвет, на любовь. Глубоко от поверхности земли нести на себе реки и быть день ото дня нагруженным. Полным сил для следующих впечатлений, состояний. Ночь была для того, чтобы укладывать в пласты виденное, выводить к виденному резервуары, заполнять, заполнять на тысячи лет. Когда тело будет уже неподвижно, а богатой, щедрой, многоскорбной душе будет чем дышать. Будут предстоять огромные россыпи путешествий. Через сто, предположим, лет заполнить себя национальным парком со всеми озерами, ущельями, индейцами. Перебрать их судьбу, заметить провалы, из-за которых были срыты, уничтожены белые пятна, невиданные плато, где можно было навсегда остаться независимым чисто извне. Потому что убить можно только тело. Прошел бурый медведь, пронюхал след сохатого и заспешил к голубике, княженике. Невдалеке от него показался мореплаватель. Начинались, начались водопады. Возле них остановиться сердцу. Прохладно. Ровно лежит роса. И изгиб водопада, там, где он спадает вниз, образует сиденье. Можно сидеть на поверхности водопада Ниагара и заполнять дневник. На стремительную воду положить дрова, поджечь их. Костер не скользит вниз по течению. Расположен ровно. Как будто воздушен, невесом. Тут же сиденье мореплавателя. И сам мореплаватель греет руки. Быть приподнятым над водой, но не видно полоски, которая бы отделяла водопад от предметов, которые дают тепло. И сами есть тепло согревающее, ощущение как сгусток пути сильных натур, страждущих. Провисать тропическим ливнями, а огню при самой воде даже не пошелохнуться. Как будто изнутри идет обозрение, некий стержень белого цвета. Глубокого колодца дышащего, который нужно заполнять. Могут провиснуть на лестницах проводники. Одной рукой держаться за веревочную лестницу, другой освещать глубокую щель, белый полый стержень, пролет, уходящий во мглу. Приносить запах серы, изредка рык. А так при безмолвии. Началось время, когда стали проступать видения прошлого. Тогда запало, ушло на глубину непостижимую, загадочную, непонятную. Теперь поднималось, просачивалось сквозь пески, корни, сквозь ископаемых древних ящериц. Просачивалось как идея, как неостановимый источник сквозь скелет. Но при встрече со скелетом фосфориться. Тем более на поверхность

иногда вынесены снега. Спать в креслах, в седловинах испаряться. Вытапливать травы, как жир. Обирать подножие. Заседать мощно, широко расставив ноги. Обуть в кожу убитых зверей. Потрясать кулаками над миром, когда гневаться, и тогда наступает гром. Наступает сага. Проступит трижды возлюбленный фиорд, дюны. Прорвется сквозь чрево кит и забросит в руки Вседержителя фонтан. Вседержитель этого не заметит, поднимет руки чтобы вызвать гром или молнию, а прольется дождь. Чтобы залить костер исследователя, а он не гаснет. Образовывать воронки след. Грести по подземелью. Так бывает всегда – от глубокого пессимизма, от транса, – наращивать в себе свет. Что-то таится от хребтов, от вершин, раз так тянет, влечет. И вот подкрадывается, подкрадываться к тому, что за горой, чтобы не спугнуть, не потревожить. И видимо, загадочность состоит из того и настаивается только на том и из того, что во внешнем мире ничего не лежит, ничего там нет. Может только случайно совпасть. И по земле пройдет давно вымерший динозавр, высоко поглядывая шеей. Съест дома, деревья, и все начнут разбегаться. Пока не подведут укрепления и не спрячутся внутри заповедника. Потом зрение начнет тускнеть, и все исчезнет. Так случается всегда, когда действительность долго не выпускать на свет. Как под крышкой держать, сдерживать содержимое. И если дать волю – никому не будет страшно, и вещи, состояния, обретут реальность, выходя постепенно. Начиная от низшего к высшему. Но сдерживают очертания дышащего стержня с сильной оболочкой, состоят из колец. И когда долго сдерживать, никто не привыкнет, не будет ждать, будет любить только сирень, домашнее растение. А покажется гном – и распухнет до джинна. И обратно в горлышко уже не войдет. Поэтому исследователю, мореплавателю сидеть над водопадом, бросать коренья в чугунок и выводить заклятия, наваждения.

«Котик, здравствуй. Получила твое письмо, спасибо. Узнала, как твои дела в основном твоем деле.

Когда ты был дома, одиннадцатого апреля, из-за твоего провожания Артем сказал: «В Сухум не поеду. Я должен Котика проводить». Проводили. На другой день, во вторник, стала говорить: «Ну, езжай». Он отвечает: «Я не поеду. Не нужна мне эта учеба. Не приставай». Я чуть не рухнулась умом. Тут и начался скандал, оскорбление, и все с

его стороны. Потом сказал: «Отстань. Поеду, если ты настаиваешь». Целый день исправлял мотороллер. Среда, четверг, не едет. Я двери била, стучала, сколько слез пролила, не помогло. И не могла и не могу с этим смириться, места не находила. Ушла от него, иду в дом, к себе. Все это было в четверг четырнадцатого апреля. Я уже дома, пришла с работы. Хотела отдохнуть, плохо чувствовала. Тут Петр-кровопиец, скорпион. Но я еще не отдыхала, только думала. Он: «Чисти лавровый лист». Начал придираться, набрасывается бить меня. Я не была подготовлена к этому. Не могла бежать. Он так издевался. Еще не было такого. И не видела, как стала жить с ним с сорок пятого года, когда он пришел с войны. Такого страха, такого избиения еще не было со мной. Левый бок, нога, рука, голова чернотой покрылись. Ногами, кулаками, прутьями от лаврового листа. На снопы лаврового листа повалил меня и стал душить. Никогда не думала, живая буду, такие боли были, не терпимо. Кричала не своим голосом, откусила язык от ужаса – не заметила. Никого дома не было. Видно подлец, остервенел, испугался, стал удирать в сторону улицы. Я на весь двор кричала и побежала в сторону улицы, как с ума сошла. Люди около калитки собрались, меня спрашивают: «Что случилось?» Я ответила: «Ничего». После сразу вернулась, взяла плащи ушла из дома. Хотела к Нине Амплеевне идти, но он смотрел. Не хотела расстраивать, что он придет. Пошла в сторону города, хотела в милицию, но была растрепанная, заявления нет, волосы выдернул, трепал. Это страшно, как вспомню! Пошла еле-еле к Тамаре, твоей крестной. Лежала два дня и ночь. Очень болит все. Решила позвать Веру, девушку, с которой Артем встречается. Спросила: «Почему он бросает курсы?» А она ответила: «Не волнуйтесь, он будет учиться. Не бросит он, закончит». Я ей поверила, что она повлияет на него. Эля тоже пришла. Тамара по телефону ее позвала. Все думали, говорили много. Решили: он ее, Веру, послушает. Это было вечером, а утром Артем пришел к Тамаре и говорит: «Бедный отец, собирается в милицию». Тамара говорит на него: «А мать не бедная, еле пришла, приползла, не бедная!» Выругала его, и ушел он. Вечером пошла на работу. Это в пятницу, еле добралась. А в субботу к Нине Амплеевне. Восьмой день болею, а она меня лечит и не пускает домой. Я потихоньку хожу на работу. Бок болит, еле-еле хожу, стыдно пойти на бюллетень. Эля ходит редко, некогда; сволочей не вижу. Один раз Артема видела, встретила на дороге, на шоссе, на

мотороллере. А я не смотрела на него. Итак, он бросил учебу, мерзавец. Никогда не успокоюсь, не смирюсь. Такое преступление допустил — оставил учебу. Видеть не могу. Я пока жива. Еще повторить, и конец будет мне. Спасибо Нине Амплеевне. Что делать? Я домой не могу идти. Видеть никого не могу, мерзавцев. Сколько за него (Артема. – К. Г.) старалась и страдала, и не понял мое хорошее. Что делала Артему, не отблагодарил. За все мое страдание для него не оценил, что он стоит мне. Дома что делается, не знаю. Эля их редко видит. Был бы ты – так бы не было. Я бы с рук его вырвалась, ты бы прибежал на защиту, прибежал бы на мой крик. Корм полно приношу, некому домой принести от Нины Амплеевны. Корм курам и собакам. Дело очень плохое, что хотят, то и делают, – залезут в окно, в двери, им замки нипочем. На все способны, никакие замки не удержат. Не знаю, что дальше будет. Они не интересуются, где я и как я. Эля сказала Артему, что у мамы в ребре трещина и что-то еще повреждено, а Артем ответил: «Неправда. Не может быть». Эля взяла твое письмо, я ей сказала, чтобы она прочитала для Артема, где пишешь про учебу, про то, что нельзя ее бросать. Но все равно никого не слушает, не признает никого, никаких советов. Я все Нине Амплеевне говорю: «Был бы Котик, мое положение было бы лучше. Котик по хозяйству, по дому, по всему глаз имеет, будет все в порядке мало-мало». А то Петр кролика убил и курей, боюсь, пожрут. Вообще, что делать дальше, не соображаю. Это невозможно. Зайти во двор страшно и противно. Попросила у Нины Амплеевны бумагу, вот написала письмо карандашом, ничего не видать, и решила по следам чернилом писать. Вчера чернил не было. Нина Амплеевна ушла по делу к соседям, придет, покушаем, и я пойду на работу. Мне сейчас ни до чего. Снаружи и внутри все болит. До чего дойду и что будет, не знаю. Не волнуйся, может, все пройдет. Артем совсем обнаглел, его не могу видеть. Артема еще видела один раз, говорит: «Отец тебя ищет». – «А меня нечего искать, я ушла из дому». Надсмеивается и хохочет, как дурачок, не спросит, как здоровье и что произошло. Дурак, как и Петр. Петр сегодня пришел на работу убедиться, наверно, в каком я виде и говорит: «Надо денег пшеницу купить и деньги на харчи». Я не смотрела его морду тоже, как и младшего сына, и ответила: «Иди заработай, а пенсия получаю за тебя, мне пойдет на лечение. Я инвалидом стала». И он ушел. Вот последние мои новости пишу. И бок болит, и от этого печень разболелась на правой стороне,

не могу подниматься, если нагнусь. Еле пишу. Целую, мама. Смотрела картину, как Ленин смотрел свою маму, как все его сестры к ней относились. А я что вижу? Ничего подобного не заслужила от вас, что получаю такое отношение. Не волнуйся. Дай бог, все пройдет. Не волнуйся. Ознакомила тебя с домашней обстановкой. У Толика Броева свадьба двадцать третьего апреля. Взял девушку из Афона. Девушка очень хорошая. Меня очень волнует поступок Артема, что бросил учебу. Может, построже еще напишешь. Может, дойдет, хотя сомневаюсь».

«Здравствуйте, Василий Степанович! (Василий Степанович – двоюродный брат Марии Дмитриевны, матери Кости и Артема. Василий Степанович – в прошлом учитель математики, сейчас пенсионер, сторож одного из санаториев города Гагры – К.Г).

Очень рад был получить письмо из "зеленой будки возле ворот». Я ее хорошо помню и еще долго буду помнить, а сейчас уже доживаю последние часы отпуска и скоро за работу. Работа в цехе, на производстве – это сложная и малоинтересная, но нужная работа. Поэтому не всегда бывает так, как хотелось бы, но в то же время никуда не денешься.

Я сейчас представляю, что Вы ходите вокруг д/о по вечерам, а то и по ночам, читаете Гиляровского или кого другого, стараясь докопаться до истины: найти подтверждение своим собственным убеждениям. Да, на подобные поиски уходит вся жизнь, и, видно, многие так ничего и не находят, ибо с возрастом меняются наши убеждения и жизнь ставит в другие обстоятельства, но это и есть вечное движение.

А теперь о цели наших писем.

Во-первых, от меня, абсолютно незнакомого, передайте привет Вашему племяннику Константину.

Его рассказ «Таласа пареме» («Возьми меня, море») мне очень понравился, хотя, конечно, есть существенные пробелы, но их можно устранить, если еще над ним подумать и вчитаться. Я его перечитал три раза. Самое сильное впечатление — это от первого прочтения. Перлов у него очень много. Первый из них, что он все-таки сумел через двух действующих лиц, даже через два имени — Соня и Яни – передать романтическую и в то же время трагическую повесть.

Напрасно Вам кажется слишком уж непонятным выражение: «На дне ночи лежало море». Это даже очень удачное образное выражение.

Смысл его не улавливается прямо, но немного фантазии, и все понятно. Представьте себе, ночь темная и у нее есть дно символичное. Так вот, на этом дне лежит море, «пусть даже Черное море», которое ночью таинственнее и загадочнее, чем сама ночь. «Звезды давно вырезали на груди моря узоры, и теперь, к рассвету, теряли блеск...» Тоже очень хорошее, образное выражение. У вас в доме отдыха много летчиков. Вы можете спросить их, какое это неописуемое зрелище, когда на море штиль и летишь над морем. Оно действительно изрезано узорами звезд, а еще вернее отображает в себе все небо, и оно получается двойным. Много в рассказе вот таких тонкостей. А главное, что в этом рассказе есть уже свой какой-то стиль. Я уже упоминал, что вот так, через двух действующих лиц передать такую романтическую повесть. Безусловно, есть и огрехи. Например, конкретизировать каким-то штрихом время, хотя в конце сказано: «...незадолго до окончания войны в огромном шторме...» Нужно было как-то конкретизировать и противоположные берега, тоже как-то символично, но это, может быть, и сгладило бы общую фабулу. Ведь действительно не важно, где это было и когда, важно, что это гимн верности и повторения всего земного.

Одним словом, если уж строго подходить со всеми придирками к выражениям и грамматике, а тем более к некоторым выражениям, касающимся психологической стороны, то можно найти неточности, софизмы и т. д.

А в целом замечательный рассказ, и тем более для начинающего. Чувствуется, что человек владеет словом и стилем. Правда, только эта тема могла быть изложена подобным стилем. Все остальное будет неправдоподобно.

Если у Вас есть еще один экземпляр, то вчитайтесь в этот рассказ и постарайтесь мысленно проникнуть в образность.

Всего Вам доброго. Привет и Вам и морю от меня. А Константину необходимо писать, пробуя себя в разных стилях и жанрах. Но все это подсказывается выбранной темой.

Пишите, буду ждать. Виктор»

«Здравствуй, папа! Получил посылку – мандарины, очень хорошо дошли, абсолютно не примерзли; получил с посылкой письма, твое и мамино. Мама пишет, что ты ей помогаешь по хозяйству, мне это было приятно узнать. Молодец.

Спасибо тебе за письмо. Ты, оказывается, можешь хорошо писать. Я теперь знаю твой теперешний почерк. Ты, наверное, после окончания войны никому не писал писем. И теперь написал мне. Ты, отец, прав, что говоришь, что Гагры нельзя променять ни на какой другой город.

Ты спрашиваешь, что представляет лес и что растет? Но я ведь сейчас живу не в лесу, а в городе. И в лесах Бурятии я пока не был, и потому я не знаю, что представлет местный лес. Вот после курсов, когда нас распределят по авиаотделениям-точкам, вот тогда я узнаю, что представляет лес Бурятской АССР. Сейчас я мог бы много писать о Приморье, об Уссурийской тайге. Там поистине дремучий, богатый просто сказочный лес – тайна, в прямом смысле этого слова.

Послушай, папа! Мама пишет, что ты хочешь поехать в Москву – ведь это очень хорошо. Ты ведь сейчас свободен от работы, и ты теперь можешь поехать, куда захочешь и быть там, сколько тебе захочется. Ты ведь так давно никуда не ездил. Поезжай, отдохни. А от Москвы рукой подать до города Улан-Удэ. Приезжай ко мне в гости.

Когда сидишь дома и никуда не ездишь, кажется очень далеко. А если сядешь на поезд в Москве, то через три или четыре дня тебя поезд доставит в Улан-Удэ. Ведь все так просто. Я даже на Новый год на четыре дня хотел самолетом слетать домой, но не позволили финансы.

За десять часов я был бы дома. Но поездом ехать наполовину дешевле в и первый раз поездом интересней. Вообще путешествовать очень интересно, а у тебя для этого все условия.

Здесь прекрасная погода зимой, почти нет ветра, свежий морозный воздух. Но не пугайся, здесь не очень холодно – не замерзнешь. Я одеваюсь так же, как одевался в Гаграх, абсолютно не мерзну. А в Гаграх в такой же одежке холодновато. Вот что значит сырой климат. Решись, папа, приезжай. Так как домой я приеду не скоро.

Я живу в общежитии, старом, деревянном. Топим дровами печку. В моей комнате семь человек курсантов. Живем тихо, мирно, дружно. Все они отличные ребята.

Приезжай, отец, я буду рад тебе.

До свидания, твой сын Артем».

«Здравствуйте, Танечка, Андрюша! Мои племянники! Двадцать первого января я получил твое, Таня, письмо, чем был приятно удивлен.

Сегодня же получил письмо от моей мамы.

Молодец, что сообщаешь мне кое-какие новости, мне об них интересно узнать.

В Улан-Удэ – столице» Бурятской АССР – лежит небольшой снег. Ветра почти нет. Снег идет редко, непродолжительно. Снежок мелкий. За окошком холодно. Ночью температура падает до 30 градусов, а днем около 20 градусов мороза. Но мороз, оказывается совсем не страшен, если тепло одеваться и жить в теплом доме.

Я хожу в валенках. Мороз чувствуется только лицом. Но этот холод не тот холод, который ощущается в Гаграх. От крепкого мороза то место, которое мерзнет, начинает сильно болеть. Но я не мерзну, я тепло одеваюсь, и поэтому мороз меня не беспокоит.

Я учусь. Изучаю парашюты. Учусь, как можно тушить лес, если он загорится в тех местах, где нельзя подъехать на машине, вдали от людского жилья.

В нашей стране очень, очень много леса, и он, оказывается, очень часто горит, возникают пожары по многим причинам. А лес – это богатство нашей родины. Поэтому лес надо охранять от огня, от вредных насекомых. Это и делают парашютисты-пожарные.

Если ты интересуешься, когда я приеду в Гагры – то это будет месяцев через семь.

То, что ты просишь, я постараюсь купить и выслать, если, конечно, встречу в продаже. Потом мне непонятно – какие именно джинсы тебе нужны.

Я, Таня, тоже по вас очень скучаю. По тебе, по Андрюше. Мне очень хотелось бы вас сейчас видеть. Но я должен пока находиться здесь.

Послушайте, Танюша и Андрюша! Моя мама пишет, что вы оба, и особенно Андрюша, не хорошо учитесь в школе. Андрюша и Танюша, мой вам совет: изо всех сил старайтесь хорошо учиться, учить все, что вам задают, чему вас учат в школе. Потому что в школе учат тому, без чего вы не сможете обойтись в будущей самостоятельной жизни.

Школьные годы пройдут, и вам нужно будет выбирать ту работу, которая вам наиболее понравится. А без школьных знаний, вас могут не принять именно туда, куда вы захотите, да и работать вы там не сможете. Без хороших школьных знаний вы не сможете поступить ни в среднее специальное заведение, ни в высшее. А при хороших знаниях

школьных предметов и при хорошем здоровье перед вами откроются все профессии земли, воздуха и океана. И вы сможете выбрать любую работу из всех существующих работ. А в работе любимой человеком, заключается очень многое – смысл жизни, его счастье. Живя на земле, надо быть полезным людям.

Ты, Андрюша, если будешь хорошо учиться, сможешь стать летчиком и водить большие самолеты, большие океанские корабли. Сможешь даже стать космонавтом, если захочешь. Но для этого тебе нужно хорошо учиться в школе и заниматься спортом.

Прошли зимние каникулы. В дни школьных каникул я постоянно вспоминал вас. Как вы провели каникулы, чем занимались, как отдыхали, как встретили Новый, семьдесят шестой год?

Ну все, Таня. Я тоже жду ответа, как соловей лета!

Артем».

Артем – Косте

Январь 1976 г.

(Артем – сын Марии и Петра Григорьевича, брат Кости. Двадцати одного года. – К. Г.)

«Здравствуй, Котик, брат! Четвертого января в двенадцать часов, во время занятий, мне принесли письмо, твое и мамино. И вот после занятий я сижу в пустом классе, возле печки, и думаю, что же вам писать? Мне просто не надо было сообщать вам, чем я сейчас занимаюсь. Мне надо было вас обмануть и сказать неправду. Например, что я поступил в пищевой институт. Так было бы лучше для вас и для меня.

Ты – пишешь: «По-моему, мама права, что если пойдешь в парашютисты, значит, у тебя отнимут пенсию, так как посчитают здоровым, и просто заберут в армию».

Да, Кот, это может случиться, но может и не случиться.

Послушай, Котик, ты занимаешься писательской деятельностью, и это для тебя важнее всего на свете. Ты, Кот, сильный. Ты упорно, несмотря ни на что, идешь к своей цели. И ни за что от нее не отступишься. Вот и сейчас ты сидишь в своей комнате и печатаешь свои рукописи. Ты человек большой воли, ты зимой обливаешься ледяной

водой и идешь в холодную комнату. Ты – морж. Представь себе – ты еще не служил в армии, ты получаешь пенсию, но ты практически здоров, ты пишешь роман века или делаешь другое дело, которое ты считаешь нужнее, интересное всего. И вдруг тебе говорит мама: «Котик! Ты бросай эту писанину и сиди дома, никуда не езди и потихоньку работай, доживай свой век в покое». Я представляю, что бы ты подумал. Но, брат мой, пойми меня правильно, не подумай, что я столь глуп и невежествен и ценю наравне твое дело с моим теперешним. Но я не писатель, не художник, не ученый – мне не даны те таланты, которые даны тебе. Ты мудр и умен, ты писатель. Но у меня с тобой сходство в том, что если нам запретят заниматься тем, чем мы хотим, то жизнь для нас потеряет всякий смысл.

И сейчас я делаю то, что мне доступно и давно хотелось. Так что я выбрал это дело не с бухты-барахты.

Прибыв из г. Партизанска в Хабаровск, я по объявлению хотел там поступить на курсы парашютистов-пожарников, но там мне отказали из-за отсутствия общежития. Затем я был в г. Чите и во многих местах Читинской области. И чуть было не устроился на работу в лесоучасток леспромхоза в погоне за длинным рублем. Но ввиду ряда обстоятельств я уехал в Улан-Удэ.

Четвертого декабря по объявлению был зачислен на курсы. Пятого декабря я с мамой и Андрюшкой разговаривал по телефону, Андрюша сказал: «Не надо летать на парашюте, приезжай домой, Артем». Если бы, Кот, знал, как мне после этих слов стало грустно и противно находиться в чужом городе, где у меня никого нет. Я вышел из здания телеграфа и чуть не заплакал, – я вдруг страшно захотел домой. Я серьезно захотел бросить все и поехать домой, но это было вызвано временной слабостью и было несерьезно. Ведь я не служил в армии, и поэтому меня не хотели принимать на курсы: если бы ты знал, сколько я упрашивал. И если бы я уехал, то меня, может быть, нигде бы в другом месте не приняли бы на курсы парашютистов. И я бы проклинал бы себя за то, что когда-то уехал домой, бросил курсы только потому, что давно не был дома и соскучился по маме и по остальным. И тогда навсегда прощай парашютизм, я бы прожил жизнь, ушел бы в небытие и не узнал бы, что такое парашютные прыжки. Страшно подумать!

Может быть, я вообще не смогу совершать прыжки — испугаюсь, но сейчас я этого не знаю. Но я думаю, что все будет хорошо.

И зря ты думаешь, что парашютизм очень опасен. Если бы это было очень опасно, то не было бы и профессии парашютист-пожарный. Возьми специальную литературу и почитай. Наше правительство заботится о жизни и здоровье советских людей, и если бы были несчастные случаи – давно закрыли парашютно-пожарную службу. Многие ребята в этой базе имеют стаж работы более десяти лет и не считают эту работу очень опасной. И зря ты думаешь, что парашютистов-пожарников приземляют на горящий лес. Приземление производят на значительном расстоянии от пожара и на специально подготовленное место. Во всех видах работ есть своя техника безопасности.

И вообще не стоит об этом много говорить. Лучше напиши, как твои дела – рассказы, роман века, как ты его называешь. Как дела насчет женитьбы? Тебе надо срочно жениться и не быть столь разборчивым. Как твое здоровье? Береги маму, старайся не психовать и по-хорошему обходиться с моим отцом. Хотя ты так и делаешь – молодец. До свидания. Целую. Твой брат.

На снимке – я и Миша, с которым я уехал из Гагры. Фотографировались в г. Партизанске перед моим отъездом. Он хороший парень – Миша Лунев. Неутомимый исследователь Алтая, Дальнего Востока, Камчатки, Чукотки. Поклонник Николая Рериха, Гималаев. Человек мужества: в одиночку проехал на велосипеде от Владивостока до родины, до Абхазии. «Как же ты не пропал, не погиб? Ведь ты же спал в лесах, в болотах, в пустынях один, без прикрытия...» – «А меня спасало чувство, инстинкт самосохранения: когда наступала опасность – я просыпался...»

На снимке – Артем Соловьев пятьдесят четвертого года рождения. У Артема – длинные волосы, длинный нос, усы, усталая улыбка. Артем в куртке брезентовой, довольно свободной. Строгий южанин – с такой странной и удивительной сместью крови: мать – болгарка, отец – наполовину русский, наполовину латыш.

Рука Артема на плече Миши. За спиной палатки. Наверное, недавно вернулись из маршрута по тайге.

Отсюда хорошо просматривается Тихий океан, от этого острова – недалеко Владивосток.

Сорок три года тому назад здесь жил и работал отец Кости.

Работал на Дальстрое. Уезжал из Гагры, спасался от малярии, от разрушения кровеносных сосудов. Из шести братьей и сестер в живых остались только двое – Николай и Петр. Николая уже нет в живых – тридцать три года, когда он скончался на полях сражений от тяжелых ран.

В какой записанной судьбе племянник живет рядом с молодостью дядьки и повторяет его молодость, а сына нет и в помине. Рядом с молодостью отца – он был только проездом в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году, когда возвращался из геологической экспедиции – на Камчатке. Да и то путем иным, которым возвращалась экспедиция. Экспедиция самолетом – на Большую Землю, а Костя – на пароходе «Русь» из Петропавловска на Камчатке до Владивостока. Память об отце тянула, звала. Пройтись по тем местам, где ходил отец с разницей в тридцать лет. Отец ходил по Владивостоку в тридцать втором году.

Артем – Марии, матери

Январь 1976 г.

«Любимая мамочка, здравствуй! Мамочка, прошу тебя, не беспокойся за меня так. Уверяю тебя – все будет хорошо, и я приеду домой и буду все время с тобой. Мама, ты пишешь, что я не жалею тебя и не думаю о тебе, – поверь, мама, это не так. Я все время мысленно дома с тобой, отцом. Сегодня получил второе твое письмо, и теперь я знаю подробности, которые происходят дома. Ты пишешь, что вызывают в собес и хотели направить меня на учебу с больными людьми-пенсионерами в Сухуми. Мама! Зачем мне это направление? Я без их направления могу поступить, куда захочу. Ты пойди и откажись от пенсии. Ты ведь так нервничаешь из-за этой проклятой пенсии – она этого не стоит. Если я когда-нибудь действительно буду нуждаться в ней, то мне пенсию дадут.

Мама, прошу тебя, хватит уговаривать бросить курсы парашютистов-пожарных.

Предоставь мне сейчас самому решать, что делать. Я ведь уже не школьник. Мама, привыкай к мысли, что я не болен бронхиальной астмой. Ах, мама, как ты не можешь понять, что мне сейчас не все равно, чем

заниматься. Выбор для себя занятия я сам должен сделать, это для меня очень важно в данное время. И в вопросе, кем мне быть, я не могу подчиняться даже тебе, мама. Ты хочешь, чтобы я работал тихо спокойно по ремонту холодильников и телевизоров и получал пенсию. Но, мама, я не могу сидеть на одном месте. Я молод, мне хочется как можно больше сделать, больше увидеть – ведь это дело моей короткой жизни, в которой я должен заниматься тем, чем я сам хочу, – без принуждения.

Пока я молод и здоров я должен заниматься тем, что под силу только здоровому человеку. А покой и пенсия ко мне придут в свое время, но я бы хотел «прожить всю жизнь молодым, чтобы не хотелось покоя». И если бы меня насильно заставили работать по специальности, не любимой мной, то я бы никогда не был счастлив и спился бы и умер где-нибудь под забором в пьяном виде. Мама, я молод, но не ребенок и довольно ясно представляю, что за работу выбрал, может быть, временно, а может быть, и нет – не знаю пока. Во всяком случае, когда у меня появится свободное время, я приеду домой. А беспокоишься ты и папа потому, что не имеете представления, вы просто не знаете, что прыжок с парашютом, при правильном обращении с ним, абсолютно не опасен в наших условиях работы. Мы ведь, мама парашютисты-пожарные, а не спортсмены, – мы просто рабочие. За все существование парашютно-пожарной службы в нашей авиабазе не было ни одного несчастного случая при прыжке. Если бы ты знала принцип действия и устройство современного парашюта, то не была бы такого плохого мнения о нем. Парашют имеет очень простое и надежное устройство и поэтому не опасен. Ах, мама, если бы ты знала, насколько опаснее езда на мотоцикле по городу. Ты, мама, пишешь, что могут забрать в армию и отнимут пенсию, так как посчитают здоровым, но, мама, я не собираюсь выбирать такую профессию, при которой бы меня не забрали в армию. Будь я шофером или специалистом другой здоровой профессии, меня бы также могли забрать в армию. И, работая парашютистом-пожарным, я могу быть непригодным к строевой службе. Ты, мама, еще пишешь, что эта специальность не пригодится в Гаграх, но я не старик и, когда понадобится, всегда смогу получить специальность для работы в Гаграх. А пока я остаюсь здесь и проработаю столько, сколько захочу, хотя бы один сезон. Если я, конечно, смогу делать прыжки; ведь для этого нужно подготовить себя, не только зная свои дела, но и психологически. А

Котик и ты пишете мне такие грустные, страшные письма. Кот пишет: «Грохнешься в место своих костей и крови, сгоришь, жизни не вкусив: мама похудела из-за тебя, мама плачет». Зачем ты, Кот, пишешь такие слова, зачем делаешь мне больно, зачем пугаешь? После ваших писем таких я уже несколько дней хожу как полоумный. Хочу выбросить ваши письма из головы и не могу, не могу нормально заниматься, ни о чем другом думать. Что-нибудь начну делать, и в голове крутится мысль, что случилось что-то очень нехорошее.

Ты и отец для меня самые близкие люди на всем земном шарике и самые любимые и преданные друзья. И если я знаю, что вы за меня очень болеете душой, думая об этом, мне хочется приехать домой в недалеком будущем.

Ах, мама, ты меня совсем не понимаешь. Я ведь не хочу спокойной, никчемной жизни. Я презираю в себе пенсионера и больного. Я хочу жить интересно, бурно – так, как хочется мне. И если меня заберут в армию, и если я смогу быть полезным, то я с удовольствием выполню свой долг.

На фотографии ребята, с которыми я живу в одной комнате. Все они прошли службу в рядах Советской Армии. Живут в различных районах Бурятской АССР. В центре чистокровный бурят Эрден — так его зовут. Всего на курсах тридцать четыре человека, и среди них есть люди, приехавшие с Украины.

Береги себя, мама,— я прошу тебя, не переживай из-за каждого пустяка.

Пиши, как встретили Новый год? Целую, всегда помню, всегда рядом с тобой».

«Захватывающее зрелище – прыжки с парашютом! Вот, наклоня голову, человек делает шаг к открытой двери самолета, еще шаг – и он камнем летит вниз, а потом – стремительное падение сменяется плавным движением под куполом раскрывающегося парашюта, и вот мы уже наблюдаем приземление: медленно оседая на землю, гаснет, увядает огромный цветок парашюта».

Стоять, жить, состоять при течении реки. С множеством ила, бахчи, тальника. Только сойти с огромных плато и долго следить птицу. Дать волю, уснуть поперек овина и сниться дорогой, пойлом, хлевом. Вот подбежали дикие свиньи, стали разрывать тело и есть. Образовали

лунки, и сразу же нахлюпала вода. Начался реденький лес, но его тут же перехватило пекло прерии, перемежали мустанги, призли; начало быстро уменьшаться к земле, уходить глубокой вращающей впадиной, воронкой; и все это у поверхности завершает головка змеи. И была радость выводить свои пороки наружу, а выше ритмично выводит правосудие голый меч. Если поднялась гора слишком длинно, у нее тоже просыпается щебень, гранит, куски глаз, мозгов, если на вершине были, предположим, снежные бараны.

Мореплавателю всегда было страшно потерять страх. Страх темноты, робость, нерешительность всегда были движением. Были и состояли при той пульсации, из того сгустка энергии, которые вели к одиночеству пути, к мнительности. При исчезновении чувства страха перед пространством, перед временем исчезнет на горе, за горизонтом загадочность, тоска пути. Тоска как будто посыпает следы вожделением. А вожделение водит за собой мальчика, которого нельзя взять. При загадочности линий, при нервном соблазне. Тогда было страшно идти и можно было вернуться в долину. Эта опасность и порождала долгие размышления, долгие покинутые страны, которые расположены в сердце. В сердце живет мама, в маме живет заветная местность, которая принадлежит, принадлежала мореплавателю, исследователю. Мама ничего не попросит. Поэтому разъедает и грызет и уничтожает в детях подлость, эгоизм. Мама в своих детях делает эти состояния негодными, дырявыми, как сундуки, как амбары, так как в природе пространство, время долго пустовать не может, ранее гибельные места, где прятались болота, лихорадка, промозглость, начинают прорастать полем, хлебом, лесом, избой вместительной, где протянуты руки помощи всем страждущим. Сбоку обнаружена мышка-норушка. Она бросается на внутренние стены амбара. Вокруг подметено. Бело, бело, мука. Так узнать о стенах, бежать от них по картофельной цветущей ботве синего пряного цвета. Долго пробираться, падать, пока снова не выйти на лес, на фиорд, на айсберг. Ему покачиваться в заливе, мощно озирать стойбище при ветре, при шторме. Сгибаться под грузом, собирать водоросли, морскую капусту и сушить на жердях. Жерди лежат на траве, сбиты. Пропускают дождь. Подняты от песка, чтобы пропущенные водоросли падали мягко в мешки и не хрустели в спинах, к хлевах, в мисках. Проглянули глаза в темноте, захрустела выжженная трава под ногами, подняться на плато, приставить к глазам подзорную

трубу.

Выдающимся людям родиться и жить только у моря, только у фиорда, только у животворящего чрева, то есть у океана в горсти, в пасти, в беспредельном лоне, где нет преград, где все открыто. Где единственность доли, что площадка, что куст, что дворик не заигран другими детьми. Можно сходиться у общих и при общих сборищах, но место, где каждый проводит уединение, должно быть у каждого свое. Хотя из внутреннего мира ничего не отнять, но от недостатка одиночества, оттого, что объективная мера вещей, то есть жемчуг, может не найти, не пристать к сердцу, чтобы высветить его, чтобы наращивать любимое иго. Чтобы в сердце, в легких, в печени, в реках вен рук ли, ног ли — найти корвет, яхту, судно. При таких мощных, неисчислимых возможностях человека. Только нужен внутренний телескоп, погруженный в мозг, погруженный в чрево, и разглядеть все галактики, все вселенные, узнать пути к ним. Как к ним летят космические корабли. Человек — огромная вселенная. И в нем же миллиарды жизней, рек, морей, ракушек, столько превращений. Мореплавателю это лучше всего и легче и любимее обнаружить на широких берегах, на шкурах убитых медведей, на водорослях. И при царстве, при облегчении скатился камень с груди. И нужно гнать, гнать влажно мох, склизко, а не скользко. И там пригнулся маленький мальчик, схватился за кизил, за ветку перед самой пропастью и выбежал на дорогу, на камень, тропа выщерблена. И потом идти так страшно, необъятно. Проглядывают первобытные племена, листья, дышат судорожно. А потом раскапывают волну всем скопом, оттягивают, цепляют руки за окончания волны, за кромку прибоя и не пускают обратно. Чтобы море, чтобы океан стал, замедлил ход, чтобы устал перебирать вечность, чтобы исчез отлив, прилив. Чтобы телескопы сердца приставить к океану, к чреву, и день за днем прочитывать тот смысл, то письмо, те тайны, что были уже намыты. Из мозга чистой воды, чистых бывших волн выделить судьбу, историю, пращуров животного, растительного мира. Где и откуда прислонены к морю, к камню, к глубине государства дельфиньи, китовые, государства тайменей, моржей, котиков, карасей, пескарей, любого и всякого тростника. При перевоплощении в любое состояние, в любую птицу, зверя, в кизил, в орешник, в фиорд. Как можно насытить познание абсолютно всем. Где столица государства дельфиньего? Какие там стены? Где обитание, жилище? Это только

обман и иллюзия зрения человеческого, что дельфины, что киты, что деревья являют ему; чисто речным песком по глазам, чтобы он ничего не узнал, потому что не дорос, потому что пошл, знание обратит в свою безмерную выгоду, выбросит в тартарары. Хотя этого никогда не будет. Чуть дальше познает человек, чем ему положено – он будет выброшен на свалку объединенными силами природы, кастрирован и будет брошен на съедение, на мразь. Хотя при несогласии кругов: как мы можем хаять то, что мы есть сами? Ведь это только при самой высокой цивилизации, или первозданности ничего из себя не представлять. Только прислонить щеку к поверхности смысла и гладить водоросли. А внутренние пути растений, линий прибоя, мощные государственные системы абсолютно иного существования, непостижимого. Абсолютно другого измерения. Поэтому только и ходить Ванечкой с дудочкой, образовывать с палубы бассейн и кричать: «А если будете и вести себя хорошо, то и воду пущу. А пока пребывайте при сухом бассейне и представляйте себе, что вы летом на море, по горло».

Погружение гор в задумчивость. Прикрыть себя желтой короткой чертой. Извилистой. Лежать на седловине. Если было бы скользко, скользило – линия все равно бы не ушла. Прикрыть фатой себя на ночь. Хотя звезды не проступают, поэтому нельзя отдохнуть, когда однообразно желто, однообразно бело. По крайней мере, долго лежать, пока не пройдет караванный путь, не будет подбит древесиной и весь этот сверток разойдется, когда снизу пройдут гвозди, чтобы поставить светильники, а сверху проведут ножом; чтобы меховой сруб распался, накрыл землю достаточно высоко, чтобы было знать желоб, сток.

Расположиться рядами на горе. Якобы при молитвенном доме. В кенасах, в жилище древних людей. Что-то слыхать про караимов. Соответственно этой привязанности взять море и повернуть к себе. Одной рукой держать волны, другой – горизонт. Когда надо перехватывать рукой горизонт, сдавить корабли, – но при мощи, при стати; когда – ворочать делами и движением светил; это замечено не было. Как руки в черной куртке, в карманы набились корабли, яхты, лодки. Всплыли и осели мертвые туши млекопитающих. Друг друга не достать, уже приближено к берегу. Выйти розово, в заросли кизила, олеандров, диких груш. С вершины отозвались невнятно, и было, и стало

погружено во мглу. Из молитвенного островерхого домика. Чтобы подпереть звезду, деревья с белыми, молочными листьями. Башни разворочены, остался страх, остался плющ. При воспоминании и для воспоминания о счастье, что суждено, преподнесено было увидеть, прикоснуть иго, прикоснуть любимый плен очей, глаз дочери правителя, тысячника, ремесленника. Так, конечно, балкон, глициния, башня. И о движении пути, как о темной лошади, куда цель захочет, туда и поведет. Обрушит на период дождей, в дремучем лесу, под старым дубом. Пройти из сакли, разбросать пригоршни проса, зерна в замкнутом селении, чтобы не увидеть, не услышать, не навлечь поработителей, хозяев. Чтобы свершать уединение, объятие при свидетеле. Который может подойти, одернуть из глубокого подземелья, из пещеры, из грота, когда начался заколдованный лес, чаща и всюду серебряные пояса, уздечки. В этом лесу все зависит от того, кто до какого предмета дотронулся, дотронется. Да и потом в зависимости от того, как распущен, распущен внутренний мир. Какую волю дать предмету в середине двора, сада, в середине черешни – из какой местности протекла живительная влага, которая способствует омоложению. Поэтому любить этот сок, ходить по саду, прикладывать губы к шелковому дереву. Срывать языком, зубами слой за слоем надтреснутые обручи. От плеча обнаружит себя гора дремучая. Недалеко пройдет вал великой стены. Куски мрамора еще падают, еще летят в реку, если ходить круто и собирать цветы, шлемы, кольчуги, остатки мечей, ятаганов. Долго виться вдоль ущелий, вдоль скал, рисковать, ходить по лезвию. Здесь черта, здесь оборона от соседнего государства, племени, царства. Им претендовать на чужие земли и через тысячи лет. Годы этого завоевания были придуманы и выдуманы за свои. Приставлять лестницы, поваленные деревья, подкладываться. Прекрасному племени, отстаивающему свои интересы, распрямляться, жить напряженно, скованно. Ремонтировать деревянные плуги, соху на поле брани, среди зелени, засады, засек. В справедливости племен удивительно ровно держать спины, плечи. Быть красивым, изящным, при точечных профилях. Женщинам собирать урожаи, ходить на мельницы, носить кувшины на плечах. Побывать тридцать лет спустя, удивиться старости, зрелости, разнице расположений, схем. При каком богатстве обнаружено следующее занятие. Те же амбары, сараи, кладбища, хижины. Тот же гон козлят, коров, то же блеянье в вечер, во мглу, и неизвестность. Здесь жить знакомым, там, на взгорье. Кого-то нет. При невозможности

иметь детей из-за перебитого позвоночника – поэтому усыновить детей родственников. А самому быть красивым. И внутри, в сердце, чуть за перегородкой ливни, дожди, осень возле грушевого дерева и кто-то стучит в окно. И внутри яблок, груш, персиков плетеные корзины, а в корзинах вино. Немного за ним кукурузное поле и молодые початки, молочные. Собраться с братом в дождь, долго идти вдоль гор, при крутизне. Расстелить у водопада брезент, поднять, зажечь костер. Лежать навзничь при глубоком ущелье, холодном. Реке протекать вплотную к внутренностям, к почкам, к печени, к легким, к сердцу. Промывать даже черту, сор, щебень. Подняться почти покойником, настолько все чисто и холодно. Нужно возвращать тепло. Долго не есть. Только пить. Поэтому оставлять и молочные початки и сыр. Запустить вдоль сердца, вдоль легких, вдоль вен орехи, заводи орешников. Пусть плывут, намоют почву в абсолютно очищенном организме, холодном. Пролетит птица, подхватит внутренности и скроется с криком. Подойди к краю, заглянуть в белый дым, в прорву. Разогнаться и упасть на камни. Поэтому долго собирать крылья из щебня, лепить. Брат укажет на гору, в облаке, где живут зажиточно, за перевалом, где нет стражника. Можно подойти и сколько угодно наесться свежего сыра. Кусать сыр и как будто прокусывать горное облако, тучи, которые стелются, пугающи. И сквозь облако прорвется во впадинах новая местность, страна, треза, поначалу с отвратительным лицом, птичьим. Потому что ново и страшно. Переходить вброд реки, ступать вдоль брошенных усадьб, плетней, под высоким и от высокого зеленого неба. Стерегущего. Почему-то нашло это определение. И возле очага вознесение и поднятие, откинутые далеко руки, отброшенные. К ним мгновенно обращено пламя, и желто. Когда высвечена грудная клетка, нет одежды и прикрыто лицо. И не намеренно прикрыто, в тени. Просто грудная клетка, ребра выпячены и взяли на себя жар. А возможно, при той же судьбе, древней. Как бы не случилось коварства. Поэтому держать забрало и быть при удивительном гостеприимстве. И все-таки закончить рекой холодной, на дне глубокого ущелья. Река промыла все внутренности. И так прозрачно-прозрачно. Что живут внутри сердца, внутри легких, внутри вен леса, водятся звери, птицы, много ягод, цветов. Есть дворики, хижины. Копаются куры. Появляется коршун. Все начинают кричать, бить почти в барабаны. Потом вечер, зарезан цыпленок, обернут в банановые листья. Банановые листья огромные, влажные. Как будто идут слоны, если встретить неожиданно, грянуться

с неба.

Самые плодотворные и любимые годы. Вдоль трасс, вдоль течений, вдоль пещер, впадин. Следовало бы намыть и чрево. Из глубины промоин, из щелей. Протяжно глянул лепесток и прикрыл себя, задвинул нектар всепоглощающий. Там было сладко, уютно, прислонить уста, долго дышать. Идти мокро, влажно. Но предвкушать плоды, сок. Сад долго будет занимать чрево. Лист, веточка, скамейка, виноградина. Входить, входить куском земли, рядом фиалок, колокольчиков. Путешествия мореплавателя принимали характер воспоминаний о всех землях, где он успел побывать. Хотя по-настоящему вселенная, внутренний мир вселенной составлял и продолжал их составлять. И не хватало на вытянутую грудную клетку человека, мореплавателя. Просто рифы, острова, очертания, пальмы, первобытные люди, волны стремительно занимали площади, местности, которые уступали шаг за шагом добровольные вторжения. Местности не сопротивлялись, они ждали. Была только идея о предметах, было состояние. Идее было и стало трудно удерживать плазму, она могла растекаться. Поэтому пришли предметы, чтобы потешить идею. Потешить корабль и пространство. Пространство вобрало судно и продолжало засасывать на вспышки.

Потому что при краткости жизни нашего тела надо, нужно успеть застолбить, глубоко зафрахтовать дух, движение. В окружении леса, белой рощи. Дальше поле, разводит руки млечность. Стоит на заре. Наращивается клюква, морошка, голубика. Лежать навзничь и в открытую местность призывать белые рощи. В них лежать, среди них чисто, возвышенно. В мире чувств наблюдать много больше, чем и что приближено к белому листу. К тому же, что и папирус.

Было холодно, неуютно, дул ветер, но назначена линия. Ее надо было протянуть вдоль белых пятен, неясных. Вообще ничего не видно. Не выстроить наобум, не предстать смертным ложем. Долго продолжать морской северный путь. Отсчитывать каноэ, пироги, индейцев, эскимосов. В национальных одеждах, при перьях отличительных птиц, огромных. До этого, конечно, туман, слякоть, нагромождение доказательств. Что нужно искать проход, свободный от льдов, айсбергов. Пока свежесть восприятия, пока нет изнеможения, нарывов, простуд от постоянного пребывания на сквозняке. И конечно, добраться до мягкой высокой травы, лечь. Примизят грудную клетку облака, теплые, экзотические. Облака начнут как будто

плотнеть и выведут из своей плотности стада оленей. Оленям остановиться на пригорке, потом в распадке золотистом, под осень. Перекрыть площадку выстрелами, стрелами, копьем. При участии, конечно, местного населения. Все время приходила весна в виде открытого пролива. Иногда набредал айсберг на стада тюленей, моржей, нерп. Выглядывать мордочками умильными. Вывести равнину, заболоченность. Рядом и среди точек, среди открытых пространств, среди дыр, откуда можно привязать зрение, поклажу, предупреждение,— много вигвамов, татуировок, костров. Желтое тепло извивается, ходит, подрагивает, живет за приметами. Может стать родиной, заветом, скрижалью. Так мягко, вкрадчиво располагаться. Вдоль огромного озера с множеством рыбы. Бороздить залив холодный, как будто отчужденный. Поеживаться. Хотя и плыть в байдарке, со всех сторон закрыто отверстие. И если суждено перевернуться в воду, тут же выпрямиться, не набрать влаги из зеркального пролива. Только замочить лицо, высохнет на ветру. Сверху пронзать острогой рыб и тащить за собой, набивать корзину. Все при деле, предугадано, ничего лишнего. Только немного провизии. А так климат сухо пологий, тихий. Потом рука переметнется, ход руки вытянет направление. Опять как будто собирается небо к собранию, к беседе. Сомкнуть ряды, чуть ссутулиться багрово, ступени, заросли низких цветов, жгучих. По ним проходить ноге. Ноге быть грубой, подошве быть грубой. Иногда без мокасин, на голу ногу преодолевать кручи, скалы, быстрые реки. Сотрясать копьем перед вторжением. А так, конечно, о жалости расставания с днями, которым было дано предстоять. Потому что в несправедливости о неестественной смерти, кончине при сухом воздухе, родном, с очагом, с крышей, с любимым ожиданием. Но видимо, в мире чувств это гораздо реже, чем в подчинении задачам племени. Тем более воин, опора, оплот. Но более близко, вечерекще. Проглянуть зеленому дыму. Дым пропитан деревьями. Деревья лечебные. Поэтому дыму далеко не уходить, собираться в сосуды и приближаться к больным, к старикам, к раненым. Перемешано со снегом, с весной. Да и перечислять нечего плен, состояние. Только появление белых людей отвлекло от быта, выделилось в складки, за складки. Так бесконечно урочище. Какие только ни бывают заботы по распределению солнца по углам. Да и никто не может отвлечь. Тем более снова выбраться на ветры, на холмы. Появились олени, прошли. Мускусные быки. Их подстрелить, подбить. Выстелить себе ложе. Как интересно, необычно,

загадочно проходило, являло себя такое разнообразное чрево. Гладко, скользит, пленительно пахнет за обратной стороной шкуры. Распластать на пещеру, на грот. Камни, лишайники, гуано. В тепло просквозили сердце, летучие мыши. Далее влажно, воздух чуть сперт, сухой. Хорошо растопить залу, высокий потолок, согреть рот, уши, руки, просохнуть. При прекрасном и из прекрасного изваяния. Оставить близко плато, оглянуться на вигвамы. Лишь бы снова не отвлек сигнальный огонь. Тенью прошли исследователи, мореплаватель. Вынужден выбрать сухие земли, черты приливов. Вообще где только прозрачно краснеет лед. Конечно, мучиться от недоедания, голода. Ползти. Тащить легкие лодки для переправ, хоть на немного оттягивать разлуку, потерю, отчуждение от привычек. Немного отдохнут ноги, поэтому можно плыть вдоль осоки, вдоль ягод. Пристать к берегу, подползти. И лизать ягоды, и мять в горсти. Где же конец злоключениям. Когда от нехватки пищи.

«Уважаемые Маша, Петр, Константин и Лена!

Прошу меня извинить, что не зашел перед выездом к вам. Этому была причина. Во-первых, весьма плохая погода. Моя обувь окончательно и настолько размокла, что просто ходить было нельзя. Во-вторых, честно говоря, на меня весьма неприятно подействовало отсутствие в вашей семье тепла, дружеских и уважительных, человеческих взаимоотношений...

Желаю вам всего доброго и особенно всем хорошего здоровья, и тепла, и уважения друг к другу.

До свидания – приятель и друг молодости вашего не вернувшегося с войны мужа, брата, отца.

Семен Кудлай»

«Костя, Константин Николаевич!

Прости меня, но, руководствуясь мудрой народной поговоркой: «Лесть гнусна, вредна, а справедливая критика выше всего», мне хочется тебя как-то покритиковать.

Прошли годы и десятилетия! Приятеля моей юности – твоего отца Николая на свете не стало... но плоды тех добрых наших

взаимоотношений с твоим отцом в моем сердце до сих пор сохранились.

Через годы нашей разлуки, в суровую пору для нашей родины, я дважды – в 1942 и 1946 годах – навещал очаг семьи моего приятеля Коли. Даже в те суровые годы в очаге семьи моего приятеля Коли в вашей семье существовал должный порядок. И это меня радовало!..

И вот через десятилетия я снова навестил этот очаг. И что же? С чем я встретился? Что я увидел и услышал? Буду откровенен. Как мне показалось, это не семья, а какой-то комок взаимной непривязанности и неуважения друг к другу.

Что у вас за родственные отношения? В чем корень зла? Где и какие пути выхода из этого положения?

На мой взгляд (во всяком случае, мне так кажется), прежде всего тебе, Костя, следует трезво взглянуть и вдуматься в ту действительность, какая тебя окружает. И делать и поступать так, чтобы в семье твоей и твоих родных были бы добрые и теплые взаимоотношения друг к другу. А для этого, на мой взгляд, надо прежде всего хорошенько подумать об источниках своего настоящего и недалекого будущего существования. А существование у тебя, как мне кажется, не блестящее! Мамины сбережения и доходы! Увы! Этот источник для существования не почетный! Жить за счет маминых доходов и тем более здоровому молодому человеку не почетно! И имя такому существованию — тунеядство. И если ты скажешь, что это не верно, то скажи, как назвать иначе? Здоровый и не глупый человек должен и обязан знать, что такой образ жизни к хорошему не приведет...

Я ничего не могу сказать о твоем таланте как писателя и тем более о твоей будущности. Правда, ты сказал: «Я писатель, я мыслю по-другому, и вам меня не понять». Может быть, не спорю! Но надо же не забывать и тебе истину, что для того, чтобы писать, – надо жить, а чтобы жить, надо: «пищу, тепло и влагу». Допустим, будущее у тебя блестящее, но это же будущее, и где оно? А вот настоящее, если оно и не богатое, то во всяком случае оно должно быть искренним и теплым, и особенно с близкими тебе людьми, а у тебя, как я заметил, этого нет.

Близкие – семья. Семья – очаг жизни, а чтобы жить семьей, надо – жилище, пища, одежда и тепло. И чтобы это обеспечить, надо работать. Работа – источник нашего существования и благополучия.

О твоей женитьбе. Да! Это важный вопрос, но как ты его практически решаешь? По-моему, тоже, как говорят, с кондачка, тяп-

ляп.

Поймите истину, что без материальной обеспеченности семья существовать не может. И всякие там красивые мысли и прочее – это не что иное как МИФ! И чтобы семья твоя существовала – надо уже сегодня, чтобы хотя бы один глава этой семьи работал и имел источник для существования. А у тебя, Костя, и в этом деле не похвастаешься. Так почему же ты так делаешь? Чувства? Природа? И прочее, прочее. Да, да!.. Но?..

Костя! Советую тебе и прошу тебя! Постарайся как-то совместить твою творческую деятельность с работой в учреждении или предприятии, и это тебе поможет во многом... Не забывай, что ты когда-то и состаришься и тебе нужна будет пенсия. А ты же знаешь, что для пенсии надо стаж работы двадцать пять лет. В возрасте пятидесяти лет об этом думать поздновато.

До свидания, друг мой Костя, жалей маму — верного друга твоего отца.

Еще раз прошу, извини меня, Костя!

Написал я тебе это письмо и потому, что счел своим долгом перед твоим отцом сказать его сыну так, как я умею и от всего сердца, не КРИВЯ ДУШОЙ.

До свидания. Если пожелаешь, напиши мне от себя письмишко.

Адрес мой знаешь. Жданов, ул. Казарева, 21.

Приятель юности твоего папы –

Кудлай».

«Потом быть в кругу семьи и кому-то сказать; «Здесь такая боль, какой давно нет в нашей семье. Ровно настолько, насколько ушла наша юность от этой боли, от той незамутненности и чистоты зрения».

Об огромной паузе. Она может наступить только через десятилетия, когда почти никого из старшего поколения не останется в живых. Остаться детям – протянуть рукопожатия. А берег, а море – тает, скрывается из виду, из глаз, из света, стоит оглянуться и почувствовать вечер и холодную струю дождя за воротник. Так трудно, что и оглянуться на приятеля и друга отца уже трудно. А так бы бежать, догонять и прожить вместе – бок о бок с любимым человеком, который заменит отца, старшего. И в этом совете – будучи рядом с опытом, возможно, и не случилось бы нежелательных последствий, которые случаются, когда долго-долго нет света. Мать – в трудах и заботах,

а у детей нет отцовского глаза.

И потом идти, возможно, в последний раз, тропами города и проронить: «Здесь я был в юности, в молодости, теперь приехал на закате лет. Рядом море, рядом горы, а бежать некуда. Это все давит меня, вероятнее всего потому, что в этом городе я оставил без приюта семью друга, не вернувшегося с войны, и сейчас несколько запоздало протягиваю руку, протягиваю, когда все уже свершилось...»

«Начало ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ГОДА.

Семен Кудлай в городе, где он не был тридцать лет. В этом городе он последний раз посетил семью своего товарища Николая в тысяча девятьсот сорок шестом году, когда возвращался с фронта. Вспоминать здесь и сорок второй год, когда он ездил и Сухуми за рацией, как достал ее, как их машину бомбило под Туапсе — уже на обратной дороге, как громыхала канонада и как горизонты были усеяны дымами пароходов. Тяжело было смотреть с горы на море, с которым приходилось расставаться, потому что нужно было идти в лес и так пробираться к своим. Берегом идти было нельзя. Пляжи хорошо просматривались, и солдат, которых снарядили с Семеном Кудлаем. можно было легко обнаружить. Тогда было лето. Густ был настой трав, деревьев, горных речек. Медленно, с одной-единственной рацией прошли по подножию гор, пока не вышли к Анапе, а там было рукой подать до Малой земли, где стоял полк. Здесь же Семен Кудлай узнал, что Аня, которую он считал своей женой, эвакуировалась в Баку. Тут же ему вручили письмо. Аня писала, что в Баку она встретила человека, инвалида войны, и, несмотря на то, что ждет от Семена ребенка, остается с инвалидом. Потому что неизвестно, останется ли он жив, потому что война только разгорелась, а здесь – инвалид, демобилизован по «чистой». Семен погоревал, но тут же снял ее с пособия, которые выдавали женам фронтовиков. Через много лет Аня снова нашла Семена, но он отказался от нее. У него еще не было семьи, но была, как он говорил, мужская гордость, самолюбие. Потом встретил женщину, и вот уже тридцать лет живет с ней, у него две дочери, обе замужем, и он без всякого

сомнения знает, что эти дети от него. Семен Кудлай все это вспоминает неровно, отступает в память, ворошит детали, рвется в грядущее. Недавно к нему приезжала его дочь, но он не принял ее. Сказал, что не уверен, что она именно от него, что он может назвать ей еще двух-трех мужчин, с которыми в то время жила ее мать.

Костя все это слушал у себя дома, когда сидел рядом с матерью, с дядькой Петром Григорьевичем, с сестрой Еленой Николаевной, уже не той девчуркой Елечкой, как ласково называл ее отец, а тридцатишестилетней женщиной, матерью двоих детей.

Костя еще тогда хотел высказать товарищу своего отца, возражение о жестокости его собственного опыта – не принять в дом девчонку, которая так хотела назвать Семена Павловича своим отцом и, вероятнее всего, имела на это право. Костя промолчал, но уже не в кругу семьи высказал сожаление. **Хотя тут же оговорился: «Но пусть она, юность родная, не думает там вознестись – оценку отцам выставляя».**

И как бы то ни было, Костя все равно знал, что с товарищем отца у него гораздо больше точек соприкосновения, чем размолвок, и что у них есть все основания дружить.

Световым лучом прошла память и этот предыдущий день и вечер, когда Семен Кудлай искал возле автобусной остановки дом той интеллигентной женщины, которую он знал как жену своего товарища Николая, которую он не видел тридцать лет.

Спустя полчаса стоять вечером у калитки как раз в канун Нового года и не узнавать Марии Семена:

– А я тебя, Мария, сразу признал. А помнишь Очамчиру?

– Помню, – Мария вытирает платком лицо. Память спокойна. Перебирает лица и опять стоит у реки. – «Кварацхелия? Нет, он погиб в тридцать седьмом по доносу необоснованному. Партен Эсартия? Нет. Михайленко? Тоже вроде бы нет. Он погиб на войне.

– Я Семен.

– От брата моего, что живет возле вокзала?

– Я – Сеня Кудлай.

Очки, белая голова, чуть выше среднего роста. Стоит опереться о ворота, чтобы не упасть. Вдруг выровнялась земля, пропали все деревья, что были насажены после Николая. Осталась хижина, и все позаросло теми колокольчиками, спущенными с гор. Колокольчики приносил Николай

домой и высаживал перед окнами.

– Сеня?! – И перехвачено дыхание.

И пробежало лихорадочное время.

– Идем бродить до зари по городу, где жил твой Николай.

– Не могу. Я замужем за Петром Григорьевичем.

– Ну с ним. Он же родной брат Николая.

– Не могу.

– Неужели ты не пройдешь со мной местами молодости?! Они так памятны и остались жить потому, что мы там когда-то проходили. Эта набережная, эти вечные кипарисы – остались с Николаем. А он уже не принадлежит времени. Он выше всех суеверий.

Так и остаться за столом, при солнечном дне, при прощании.

– Я, Сеня, был здесь на заре своей жизни. Теперь – на закате своих дней, своей жизни... Когда еще увидимся? Тебе вон скоро стукнет шестьдесят. Эх, «позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки...».

Семен Кудлай больше не пришел к Марии. Встретился несколько раз с Костей. Костя приходил к нему в дом отдыха. Там они много разговаривали. Там же и попрощались. Потом долго смотрели друг другу вслед».

Николай – Марии

15 февраля 1942 г.

«...Третье письмо пишу после долгого молчания. Много вы, наверно, передумали, может, и похоронили меня. Я пока жив-здоров. На душе печаль большая о вас. Ради кого я должен жить и любить? Только вас – дорогая Марочка, мои дети, мама. Не знаю, как вы, что с вами, где вы? Но я думаю, вы также не знаете. Пришлось очень много пережить, и переживаю, но креплюсь. И все минуты мечта о вас. Адреса не могу дать еще, не знаю, но сейчас в Белореченской. Близко около вас. Если бы дороги были исправны, то езды на несколько часов. Это близко, около Майкопа. Хотелось хотя бы час побывать с вами, но нельзя. Наверно, скоро опять воевать, на фронт, он недалеко, но если была бы возможность, я бы немедля, как птица, прилетел бы к вам и крепко вас обнял. Мои дети, Марочка, которая на всю жизнь остаешься мной любимая, – и,

умирая если умру, то пусть травка зеленая зарастет, и поклонится вам, и ветерок вам передаст привет. Я о себе не пишу, что было со мной, – огорчать вас не хочу. Узнав свой адрес, я немедленно сообщу. Но тебе, Марочка, уже, должно быть, известно, где я.

Крепко целую. Коля».

Николай – Марии

Февраль 1942 г.

«Сегодня я имел большое удовольствие. Это получил ваше письмо первое. Во-первых, шестнадцатое число, когда Костику исполнится один год. Я пожелаю ему много здоровья, крепко стать на землю и быть хорошим ходуном, пусть смелее протаптывает дедушкины, папины дорожки. Он уже третье поколение. Только нужно лучше присматривать нашего шалуна. Вы пишете, что есть детские болезни. Поэтому прошу исключительно присмотреть, а весна – она обманчива. Лучше одевайте, побольше штанишек. Насчет света не беспокойтесь сильно, а Севастьяна я знаю, и будьте осторожны с ним.

Вы, наверно, уже получите все мои письма, когда увидите это письмо. Я у вас просил фотокарточку всех вас, просил немного деньжат, и в последнем письме просил маленькую посылочку, если сумеете послать, если нет ящика – то в плотный мешочек.

Пришлите смальцу или сала, чесноку, пастилы.. и сушеных фруктов. Насчет посылки, если не будет возможность – то не горюйте, но постарайтесь.

Моя жизнь для вас уже известна. чувствую себя ничего, только очень скучаю о всех вас, особенно о Елечке, Костике. Надеюсь, может, встретимся. Я уже в сегодняшнем письме утреннем сообщил. Если будете писать Петру – дайте ему мой адрес... Здравствуй, дорогая Елечка, наш шалун Костик. Это вам пишет ваш папа. Он сейчас от вас далеко, скучает об вас. Ждите. Он скоро приедет к вам. Будем вместе малину собирать, огурчики, цветочки собирать, вместе будем ходить в кино, на море купаться. Целую крепко. Ваш папа Ник. Григ. Итак, пока, всего хорошего, привет всем знакомым, пишите чаще».

Николай – Марии

Февраль1942г.

«Здравствуете, дорогие родные!

Сегодня я получил вами посланные деньги, за которые чувствительно благодарен, они мне нужны для табаку и кое-что еще подкупить по мелочи. Вы спрашиваете о городе? Он представляет собой – не так уж уютный. Это все еще ничего, но вот что плоховато. Здесь свирепые ветры, и ни на час не перестают. Просто обижают, и к ним привыкнуть очень трудно. Наверно, невозможно.

Наверно, вы от меня уже все письма получили, в которых я к вам обращался с просьбой. Насчет посылки, если будет возможно, то вышлите, а если нельзя, то не беспокойтесь.

Насчет приезда, дорогая Марочка, я уже писал, – это очень трудно. А если ты на себя надеешься – то смотри сама. С другой стороны – расход.

Я очень скучаю за вами, нашими малышами, и часто вспоминаю о доме, и если б имел возможность глазом заглянуть – это для меня было бы большое счастье.

Но ничего. Что поделаешь? Такое время. Насчет жизни вашей – смотрите. Живите экономно, растягивайте так, чтобы было достаточно везде понемножку.

Вы пишете, что у вас много свежей рыбы и вам уже надоело. А я когда читал, то потекли слюнки. С удовольствием, вместе с вами, за нашим столом удовольствовался бы жареной рыбешкой; и вы все были в беседе со мной. А Елечка наверно, больше всего интересовалась разными вопросами, Костик пел бы, наверно, «Катюшу».

Насчет семян не могу ответить, так как в городе не бываю.

Пишите чаще я хотя этим буду рад, буду чувствовать, как будто вместе с вами.

Хотя бы дождаться того дня, чтобы я открыл дверь в наш домик и увидеться со всеми вами.

Целую вас всех крепко, ваш папа, сын дорогой Мины Ивановны – моей мамы. Привет всем знакомым.

г. Махач-Кала, п/я 103/26».

Николай – Марии

Март 1942 г.

(Нет начала. Письма, треугольники старые, сорокалетней давности.)

«... сын Костик... Я пишу в настроении таком стремительном. В воспоминании и желании быть хоть на минуту с вами, в нашем доме и хотя бы вас всех обнять с радостным чувством. Дорогая мама, Марочка, хотя мы и в разлуке, но я хочу чувствовать и думать, как будто мы вместе. Письма я читаю с радостью души, как будто на минуту с вами. Часто я вспоминаю наш семейник. Заостряю еще ваше внимание и прошу вас, чтобы ваш глаз был особо внимателен к хозяйству, дому, имуществу, ввиду того, что время такое, что каждый завидует и хочет взять, а и украсть. Кража курей это факт... окружают еще разные люди...»

(Письмо оборвано, нет конца, нет продолжения. Кто-то миловал или бумагу, или дни... Опять эти мыши. Точат и точат свои зубы, зубчики. И ползают по полу, перебегают...

23 февраля 1976 г.

«Здравствуйте все, кто дома. Мама. Получил твое и Танино письмо.

Твою просьбу, Таня, я сейчас не могу выполнить, потому что таких брюк, каких хочешь ты, в магазинах пока нет. А жвачки тем более здесь не достанешь, так жвачку продают цыгане. А цыгане сейчас все в южных краях, потому что они боятся холода.

Мама! За меня не беспокойся. У меня все хорошо. В воскресенье всей нашей комнатой ездили за город на турбазу, брали напрокат лыжи, катались. В Улан-Удэ не холодно, может быть, потому что привык.

Как себя чувствуют наши мандарины? По телевизору передавали, что в наших краях, в Абхазии, было холодно.

Видишь ли, мама, кого-нибудь из наших, моих одноклассников? Или, может быть, все разъехались?

Получил ли отец мое письмо? Скоро весна!!! До свидания, мама. Целую. Артем».

23 марта 1976 г.

«Здравствуйте, дорогие родные! Мама! Сегодня получил твое письмо.

У меня все хорошо. Кончилась теория — началась долгожданная практика. Двенадцатого марта все курсанты, в том числе и я, совершили первый ознакомительный прыжок с парашютом с самолета АН-2. Самолет поднял нас на высоту 800 метров, и мы выполнили прыжки. Я думал раньше, что прыгать будет страшнее. Оказывается, не так уж и страшно. Беспокоишься в период подготовки к прыжку, а когда подходит твоя очередь прыгать и ты подходишь к открытой двери летящего самолета, волнение спадает. На моем счету пять прыжков, уже пять прыжков, еще осталось девять тренировочных. Потом, примерно дней через четырнадцать, нас распределят по отделениям авиационной охраны лесов. По всей Бурятии таких отделений восемь. В какое отделение попаду я, пока не знаю.

Время идет своим чередом.

Мы встаем утром в семь часов, завтракаем, потом в восемь часов идем на сбор в большой класс. Старший инструктор Виктор Филиппович и главный парашютист базы Иннокентий Федосеевич Шепин – мастер парашютного спорта – разъясняют нам предстоящие упражнения во время прыжка. Затем мы загружаем грузовик парашютами. Сами садимся в два автобуса и едем на озеро за шестьдесят километров. Там и тренируемся. Вместе с нами на этом же озере тренируются и спортсмены с ДОСААФ.

Инструкторы наши очень внимательно, заботливо относятся к нам – придирчиво осматривают подготовленные к прыжку парашюты, дают напутственные советы. Так что, мама, не беспокойся – исключено всякое ЧП.

Я чувствую себя хорошо, здоровье хорошее. Хожу часто в кино, по вечерам читаю книгу.

Конечно, скучаю по дому, по тебе, мама, по отцу, по остальным. Берегите себя, прошу вас. А ты, мама, не обращай внимания на сны; мало ли какие сны могут присниться, не стоит из-за них переживать.

Погода здесь стоит солнечная, днем на улице не холодно, и над головой почти все дневное время безоблачное небо. Целую крепко. Артем».

Николай – Марии

Март 1942 г.

«Со спокойной минутой, милое гнездышко! Дорогая Марочка, с великим восторгом уже два письма получил, и во время читки писем курю твой табачок, вложенный твоими руками в письма. Вчера я от вас получил сотню, за которую душевно благодарен. Вы пишете, что купили поросенка (хотя и дорогого). Это хорошо — поросенок, и я только благодарю за ваши заботы. Беспокойство о нашем соловьином гнездышке. И вот, дорогая Марочка, в такое тяжелое время, в такие дни, невзгоды приходится переутомляться, удесятерять заботы обо всем, и только честные люди, которые любят труд и считают выше всего труд, – они могут сберечь семью, удержать порядок семьи, дома. Конечно, дорогие мама, Марочка, – не надо через силу, через меру себя переутомлять, – и беречь себя. Как я писал: сохранив свое здоровье, этим вы сохраняете здоровье всей семьи. Я живу пока что ничего, чувствую в здоровье сравнительно хорошо, и прошу вас: обо мне пока не нужно сильно волноваться, хотя и нахожусь в Действующей – это не значит, что Колина душа оставила тело, и если немного трудновато, то я уже большие эти трудности видел, так что мне к ним не привыкать. Вот действительно тяжело то, что вы дорогие мои, там переживаете и что я скучаю за вами, моими малышами – дорогой Елечкой, моей дочуркой, моим сыночком-шалуном Костиком, который не знает еще своего папу, он его не видит. Привет всем. Целую крепко. Коля».

Николай – Марии

Март 1942 г.

(Письмо разорвано наполовину. Только желтый, старинный клочок.)

«Добрый день, дорогие Мина Ивановна, Мара, Елечка, Костяша. Получив твое последнее письмо, где ты упоминаешь о выезде, я тебе почти, что в каждом письме упоминал мое мнение. Должна понять: весна, дорога, время военное. Так что очень трудно. Посылку, наверное, выслать нельзя. Ты об этом не упоминала, но я догадывался. Лучше

вышлите деньги телеграфом для докупки кое-чего...

Я с питания немного скучаю насчет жиров – здесь не достать. Очень все дорого. Яйца – 30 руб. Молоко — 15 р. литр. Табаку совсем нет. А если есть на базаре – труха – очень дорогая. Вот вам и подзапоешь. Купи литр молока и 5 штук блинчиков по рублю, которых во рту не ощущаешь, – и двадцатка. У вас, наверно, тоже так.

Елечка, живи и пой, как канареечка, учись песням у бабушки, мамы, а они пусть хорошо тебя лелеют, и обижать Елечку и Костика нельзя, а то папа приедет, он вам задаст... Берегите малышей – им много надо. Вас это ставит в вашу обязанность — забота о них. Я спешу. Время сжато. Будем живы — встретимся. Весна несет с собой в данный год большие перемены, так что вам придется еще сильней поработать над всем. Смотрите за хозяйством. Яблока, груши, айва. Как покажет...»

Николай – Марии

1апреля 1942 г.

«Мара, я прошу, когда шлешь письма, – в этом же конверте шлите конверт и бумагу на ответ. Пишите по новому адресу, это все равно, что и первый.

Я очень рад, что у меня есть такие ребятишки, они у нас подросли. Елечка уже стала большая, а Костик – это особый какой-то паренек. Вы его смотрите, берегите, а главное – по мере возможности давайте питание, старайтесь. Я сочувствую, понимаю трудности насчет круп и пищи для ребят. Когда Елечке исполнится три года и пойдет четвертый, то и мои пожелания: пусть будет счастлива, росла как розочка, чтобы солнышко обогрело, а мамаша с бабусей лелеяли (девятнадцатого апреля у Елечки день рождения – *К.Г.*), и пусть же не забудут никогда своего папу, который так крепко-прекрепко любит Елечку. Елечка, пишет родной папочка».

Николай – Марии

Апрель 1942 г.

«Здравствуйте, мои дорогие! Так и хочется с вами быть вместе.

Порыв моего сердца, мыслей, чувств с тобой, моя дорогая Марочка, милая мама с моими птенчиками – дорогой дочуркой Елечкой, которая уже умная, с нашим Костиком. Часто приходится брать фотокарточки, и мысленно все пережить, и всех вас обнять, крепко поцеловать; но вот подумалось. Дорогая Марочка, у меня в жизни не было и вот у меня и не будет, кроме милой Марочки с нашими ребятишками, которые у нас сейчас щебечут и хотят только уюта, спокойствия, ласки папаши, мамы и нашей драгоценной бабушки. Пусть войдут в нашу кровь с тобой чувства вечные знать друг друга и быть только с нашими детишками. Куда занесет меня судьба, еще не знаю, но убежден, пусть хоть немного с маленьким порывом в груди у меня будет биться мое сердце, пусть будут все хребты и горы, бури, – я буду пробираться, искать, а если что — то моя жизнь все равно до малого сознания будет искать вас, дорогие мои детки, Марочка, мамаша, и если брат Петр приедет – также. Никто меня не остановит. Пусть пройдут долгие годы, но не умрет мое сознание возвратиться в наш домик. Не волнуйтесь. Меня здесь уже не будет. Наш паровоз хочет везти нас; конечно, я не знаю куда.

Вам счастье, а мне пусть будет счастливого пути. Целую вас крепко, Коля. Не забудьте, моя детки, своего папу – дорогая Елечка, Костик. Моя супруга, мамаша».

От голода, от мертвых, от брошенных стали тайно отрезать куски икр, рук, груди, сосать мертвые головы. Теперь разбиться на группы старых, преданных товарищей и следить за приготовлением тех, кто попробовал мертвечину. Начались следы. И топили плавником рядом с океаном холодным, прозрачным, спокойным. Дзенькают льдинки далекого лета, когда пересыпают труп, переваливает волна. То щепку, то кость, то волос. Сплести из волос каноэ. И они станут легкими и непромокаемыми. И потом так благостно видеть корвет в тучах, во льдах, среди необъятной сини, срывающей глотки, глаза, плечи. Так бы и плыть, плыть прозрачно, тихо, не шелохнуться. Но леденеет сердце вслед подводным глыбам. И страх не оттого, что кто-то сожмет икру насквозь из-под воды, из-под айсберга. А что при горизонте так зовут глаза любимое чадо. И устремиться, и долго-долго мчать свой корвет. Среди Гренландии наиболее уязвима тоска, феерия. Тем более если только была в виде грезы. И навек потерять покой, пока не утонуть.

При ощущении, что – это приблизились девичьи косы, девичьи заветные груди, соски девушки-индианки. Прильнуть к ним, растворить себя в тепле, пропасть. Синие льды, течения, проплыл морж, согрел спину. Очнуться, поднять голову и устремить память, подставить ладонь, траву. Границы оторочены проливами, проливы. Лежать при царстве пути и проплывет, остановит эхо возле древесной золы. Синей, пахучей. Напомнила о картофельной ботве.

Немного обойти ощущение, царство, кораль, форт. Просто замориться. Согреться горячей водой, в гейзерах. Выходить разгоряченным под свод. Хотя и не признать. О нем не догадаться. Просто подобие вогнутой чаши. Зацепить с обеих сторон веревки, пеньковые канаты и образовать раскачивающийся наблюдательный пункт. Ни с какой стороны нельзя подкрасться, подойти. Все древнее. И не проникнуть через подземелье и ни к чему заранее, заведомо вносить разлад, неверие. Достаточно подсохнуть, просушиться из древнего бора. А наличие перебежчиков, которые заранее, провалятся, может рощи дичи пересыпать отравой. Хотя из этого ничего не получилось, но попытка была. Нельзя было при всем желании вести себя распущенно, раз был взят высокий тон. Даже не было старухи колдуньи с клюкой. В бубен мог забить шаман и кануть. Успеть собрать жертвоприношения, окурить благовониями священное дерево. Успеть пройтись в ритуальном, при ритуальном танце, совершить изящнейшие телодвижения. Пройти шеренгами вдоль леса, потрясать томагавками. Дружелюбно относиться к мореплавателю, поэтому приносить дичь, шкуры, муку, соль.

«Сегодня было собрание. После ужина шел снег с дождем. Выступал Боцман. Как будто сразу прошло много лет. Была лиственница, река. Река несла холод. Поэтому собраться – за холмом. При грусти, при бичах, при алкоголиках, спасающихся в тайге от вина. Хоть на несколько месяцев забыться. Дождь шел медленно. Было грустно. Но Боцман не давал застаиваться тишине.

– Дальше. Кто за баней справляет нужду? Сейчас все видно. Сейчас лето. А осенью? Когда ночью будем возвращаться из маршрутов – мы же весь лагерь превратим в помойку. Превратим в помойку наш дом. Поэтому за палатками не ходить. Для этого есть и существует туалет. За этим холмом мужской, за тем холмом женский. Пусть те

кто вызвал на свет не спрятавшиеся экскременты, возьмут лопату и зароют, чтобы мы не кинули всех на прорыв. Второе. Кто без спросу растащил абсолютно новые рюкзаки? Вернуть. Кто украл неприкосновенный запас в количестве одного экземпляра? Вернуть. Почему не все выходят на работу? Сегодня колол дрова один человек. Последний из могикан. Что, он самый здоровый? Или ему это больше всего надо, амбалу бацильному?!

Совещание истекло. Время после ужина, время личное, было лимитировано. Поэтому Боцман не особенно распространялся. Он скоро исчез. Рабочие собрались вокруг костра. Стали ругаться напевно, тешили слух. Пошел в ход фольклор чисто народный. Тенью прошел Боцман. Он хотел подслушать, но его заметили, и он стал набирать охапку дров из большой кучи. Костер расширил владения. Рабочих прибыло. Сварщик, молодой белобрысый мужчина, вышел на круг и, заломив шапку, пропел:

– А у нас к таким совещаниям отношение следующее: «Нас дерут, а мы крепчаем». Дальше. При моей блатной жизни на моих ногах до сих пор живет и здравствует татуировка.

Сварщик снял сапоги, носки. Выставил вперед сначала одну ступню, потом другую. Все успели прочитать текст, касающийся ног. На одной было: «Они устали». На другой ступне: «Но их не догонишь». Следом заторопился еще круг с участием того же сварщика. Сейчас он декламировал стихотворение. Места, которые он точно не помнил, передавал ритмичной прозой:

– Это стихи сельского поэта. Стихи о том, как сельский поэт воспринимает приход весны на Северном Ледовитом океане. «....Раз растаяли помойки – значит, все – пришла весна. Я домой тащусь с попойки в лужах талого дерьма... И собака у собаки что-то ищет под хвостом... Значит, все – пришла весна... Жарко, жарко. Хоть сымай рубаху, хоть подштанники сымай. Хорошо бы дуру Машку заманить сейчас в сарай...»

Сварщик Коля, по кличке Сварной, закончил круг почета вокруг костра. Его сменил повар. Он с места закричал:

– «Ты не пой, ты не пой. Ты не запевала. Подотри лучше нос и закрой рыгало..»

Повара перебил заместитель клуба болтунов, кидалов, человек с отбитыми почками по кличке Пингвин. Он через каждые полчаса мочился невдалеке от костра. Пингвин поправил ширинку, встал в центр

обозрения. Открыл рот, В котором недоставало нескольких передних зубов. От Пингвина шел сильный запах немытого тела, мочи. Но парень он был добрый. Когда чего-нибудь ему удавалось надыбать в поселке, например, рыбы красной, омуля, он нес всем ребятам. «Добытчику» доставалось меньше всего. Пингвин был парень начитанный и ругаться не любил.

– Раз нам не разрешают собираться легально – вынесем свои беседы за пределы нашего корабля. И раз мне выпала честь провести митинг, я скажу от себя лично и этим выражу протест. Меня заранее поддерживает «морж» Витя по кличке Шмон. Он же Сипливый. Вот наш ответ на постановление собрания о том, чтобы провести шмон в палатках ребят. Поэтому отдадим начальству свои личные рюкзаки, пусть подавятся. Я заканчиваю текстом, приговором, заветом. Но меня вынудили на грубые слова, на матерщину: «Работаем – торопимся, дерем торопимся, жрем – давимся. Когда же мы поправимся?!»

Дождь усилился. Мокнуть не хотелось. Слушатели клуба разошлись. Но их всех догнал зычный голос казанского татарина Равиля, в прошлом фрезеровщика шестого разряда. В данный момент – посудомойщика, заместителя повара:

– «Это не музыка, это не джаз. Это два негра скребут унитаз...»

Сбоку, из-за реки, донесся «перл». Это подплывали на лодке подгулявшие товарищи. Они провели вечер у аборигенов.

– «Я иду по росе. В росе ноги мочу. Я простой человек. Я девчат хочу...»

Быть при общении, быть при ухаживании итальянского, молодого. При ухаживании итальянском, молодом. При внутренних покоях богатых синьоров, при гротах, при Падуе. В завистливой любви к Италии, что не жил внутри гигантов, светозарных. Что дружили бы с неким молодым человеком, потому светозарные стремились к величию.

Начаться весенним лугом, портиком, колонной. Долго простоять от собора святого Петра. Начать и начаться медленно, внятно. Может просыпаться дождь, лаково. Так и остаться от воспоминания о зеленой траве, росе. Едва внятные шаги лучшей из женщин, из мадонн. Откуда при такой изящности, нежности. Просто не притронуться. Но равно стремиться, жаждать. Никому не запрещено, да и невозможно узнать о воображении. Мало ли о чем представить. Само стремление должно

– быть опущено, приближено, стать плоским, если стать слепым, не познать от соприкосновения с папирусом, с донесением, развернуть свиток. А так голубое – голубое. Соблюдено тело, изящнейшие формы, черты. От бессилия постичь, передать. Потому что запечатление уже не может быть выпуклым, как живая душа. Ровность, выпуклость, поднято, куда уместится любимая грудь, наполнит ладони. Не подходить, вбирать. Пока не проходить, вожделению существовать. В зале, в покоях, при далеком пейзаже синем, окаймляющем гору, постройки. Прозрачность, белизна; откинута, отброшена грудь, голова. Чуть раздвинуть. Руке ощутить ворс, мягкость соприкосновения. Проводить влажно, вызывать желание. Плыть, плыть на корабле, на гондоле. Нести на себе гондолу по каналу. Зеленовато-прохладно. Хотеть так воли, экспрессии, чтобы не замыкать. Поэтому плющ, глицинии. Обернуться вокруг колонн, забраться в залу. Лежать, оказаться под кроватью синьоры. Любить ее, приближать тайное покрывало. Все-таки то зависимое преодоление, галантное. Там с холма на холм живут и царствуют и контролируют дороги карбонарии при заветах, при скрижалях, при попустительстве иезуитского ордена. Влажно, ежевика, колючки. Нести девичье тело в лес. Ничего не слышать. Передать веревки, и проводить, и извиниться Дожу, предводителю – изящнейшему кавалеру. С тех пор и затосковать дочери богатых родителей. Выглядывать в окно. Промчаться лошади. Быть в пене. Прорваться и прильнуть плащу, долго, волнующе. И так любить, быть настолько изящным в области чувств, что всегда, беспредельно пленительно нести тот мир на весеннем лугу в тени деревьев, акаций, слив, фонтанов. Создается впечатление, создаться впечатлению, что из страха поддаться подсознанию, страшному видению, что ожидает. Подвешены за руки, за ноги, томятся на огне. Только поднять ногу выше чтобы отодвинуть огонь. Но привязан, пристегнут к столбу, и только видимость. При описании заблуждения, реальности, с увеличением числа передаваемых черт, штрихов все более и более теряется предмет, который был начат, просто жил предмет, когда его не замечали – был в самом совершенстве, самым цельным. Протаскивать белое платье, шлейф, распластаться, за кольцом венчальным. Снова холм, холмы, ограды, и так жаль, не передать, огромные собрания, виллы, герцогов. Кликушествуют ножи, шпаги. Показаться из зарослей. Плотно дома, одеяния, белые саркофаги. Все нужно передать, враждебный, корыстный, завистливый глаз. Когда склониться над столом, к столу, перед

влиятельным дожем и уже поражена справедливость того, чтоб оставаться у власти наследственной, за исключением людей, страдающих слабоумием. Им быть только прорицателями, ясновидящими. Любить сладости зеленоватого цвета, высоко поднятые оттого, что много теста, поэтому радоваться. Из другого освещения, не тайного – даже хлопать в ладоши от радости, что можно плотно поесть. Но это отринуть с силой, смахнуть широким жестом. И задремать в саду у фонтанов, и будет тут же вырвано сердце тем, кто прокрался из тени, из-за мощных деревьев, густой стены цветов. Круто вверх. По ступеням быть соблазнителем. Среди зарослей балконов, когда и лицо мадонне высунуть опасно. Жить при боязни, за решетками, за условными предохранительными знаками. Вывешивать в условленном месте носовые платки, куски знамен. Раздаться выстрелу и не зацепиться за камни. Все равно – сползти. А так при бахроме, при весне, при плюще. При брусчатке. Да и кому сравняться, когда все века работали на вынос, на работорговлю, на завоевания, на возвеличение, на грацию, на изнеженность, на стремительность. Не случайно же обнаруживать по берегам других морей мраморные колонны. При одном ухаживании, при другом. Можно написать, вывести — «продажна». Уходить от сумерек, от густой стены кустарников. Как будто все время доставать, резать тело, горло, хотя нечего отобрать, отбирать. Войти во вкус – вырезывать из воздуха фигуры, пируэты. Сыро, поеживаться, гаснуть. Вот пройти одинокий безлюдный навес, чуть миновать углубление, с которого прыгнуть на шею и заломить. Оставаться рядом и галантно. В то время как вываливается река из горла. Так опасно и напряженно жить. Как еще осталось, не вырезано поголовно. Чтобы ходить по домам безлюдно и брать что угодно душе. Но душа развращена. Поэтому даже утро в руках гниет. Взять одно, взять другое, и нависает каррарский мрамор.

«На Рождество 1521 года Тициан навестил родителей в Пьеве-ди-Кадоре. В Венецию он вернулся со служанкой, красивой девушкой из Пераролo. Чечилии 25, лет Тициану 44. Она простая крестьянка, он знаменитый художник. Может быть, поэтому их любовь так прочна.

В 1532 году император Карл V посетил Мантую, где увидел портрет Федерико Гонзага работы Тициана. Уже две недели как художника привезли к императору Священной Римской империи. Предание гласит,

что во время сеанса Тициан выронил кисть. Император наклонился и подал ее художнику, сказав ошеломленным придворным: «Тициан достоин того, чтобы ему служил Цезарь».

«Павел III с Оттавио и кардиналом Фарнезе». 1546 год. С удивительной проникновенностью художник изобразил самые различные стороны характера ватиканской знати: уверенность в себе, тщеславие, подозрительность, лживость, глубоко вскрыл тайное соперничество за власть».

Джузеппе Грацини

Неявление вестей о продовольствии. Сразу стало сумрачно. Сухо. Явились бухта, мыс. Возникла белая торопь зубов. В каждом по впадине. Размерами в бойницу. Явился айсберг и приналег па форт. Стены стали трещать. Как раз расположение было на воде от вторжения, от гнева. Так рассыпать полозья по заливу, рассыпать каноэ и производить жуткое впечатление. Опущено далеко вниз. Жить и покоиться на слоях, на превращениях. Окна, гробницы, двери. Выворочена бойница, портик. И так хорошо метаться и мощно все соединять, воплощать. Коснулся крылом далеко и собрал вблизи. Перед вольницей, перед вече склонить головы. Пройти тени, лежать мощно. Склад за складом, за складкой уходить в сердце. Проступать по местам соприкосновения с живым телом крови, влаги. Всплыть на этой по этой лаве-ладье и кануть, умчаться. Слой за слоем, при гладиаторах, тайных убийствах, кровосмешении, стадионах, театрах, куда водят для охраны диких зверей. Входить в зрительный ряд, ряды и каждому патрицию, дожу, кардиналу, вести льва, тигра, пантеру. Рычать, но не трогать друг друга вблизи хозяина. Потом подкрасться сзади к врагу, к противнику, отмеченному человеком, кидаться на затылок, заворачивать шею и перегрызать горло. Так было долго, пока вход в общественные места не стали, не начали держать перед завистливым оком привратники. Мести случиться и ночью, снова перегрызана глотка, горло и выпита кровь. Высушена. Поэтому тот, кто убил или кто убил по наущению, скрывается, живет долго в другой, следующей, чаще всего провинциальной местности. Потому что чаще всего недоразумению, похоти встречаться там, где изнежены и развращены нравы.

Николай – Марии

Январь 1942 г.

«С приветом, Марочка, мама, милые Елечка, Костик! Я всегда в ожидании вашего письма. Сегодня получил ваше письмо от 19. IV. 42 г. Да, дорогая Марочка. искренне сочувствую, понимаю вашу повседневную жизнь. Я еще раз хочу благодарить вас за ваше старание насчет нашего садика и на участке, где вы уже что-то посадили и посеяли. Есть что ждать. Авось что и выйдет и явится большой поддержкой в данное время. Я понимаю по письму, что погода у вас очень скверная и не дает ничего делать, но все же нужно стараться спешить, больше посеять фасоли разных сортов. Картофель вы уже посадили, кукурузу и фасоль. Ведь может быть то, что с этого придется питаться в основном. Я очень рад, что вы так крепко смотрите за материалом для нашего будущего большого дома, где всем будет жить вольно, просторно.

Нет минуты, чтобы я мысленно был без вас, дорогие мои. Я всегда с вами – с моей дочуркой Елечкой, Костиком в особенности; какой он у меня медвежоночек и как он там с вами начинает становиться Большим человеком, как говорила часто Елечка. Надеюсь на вас, что наши детки будут вполне с заботами матери, бабушки. Вся обстановка, которая слаживается – прошу не волноваться, не суетиться, смотреть на все то, что наблюдается, и в панику не входите, будьте тверды. **Еще раз прошу – никуда с обжитого уголка при любых условиях. Я уже насмотрелся, кто лишился гнезда, и вижу много сирот, бедняжечки. Берегите детишек, сами будете осторожные, на налеты не обращайте внимания, работайте, устраивайте повседневную жизнь.**

Я живу, уже писал, так, ничего. Так, как живут вообще бойцы в данное время. Думаю о вас, моих малышах, что Костик поправился сам, потому что врачи все на фронте – кто окажет помощь?! Смотрите сами».

Кипарисы, магнолии, аллеи, спуски с гор, внизу море ластится. Война. Все полутемно. Где-то горят керосиновые лампы. Их почти нет. Все лучины, лучины. Разные жиры, рыбий жир с давнишних дельфинов, подобранных на берегу моря, вытоплен жир с уже мертвого млекопитающего, жарят на нем, пьют, кипятят, подливают в лампы.

Чадит и чадит свет. Наверху ни облачка, ни огня. Затих город. Дышат лампады. Далекие башни, узкие, кирпичные. Может, обжигают кирпичи или другое, что там делают. Потому что крики детей раздаются там. Дети сами по себе, или пугают их родители, чтобы дети не бродили по дневным и ночным дорогам войны. Мало что может случиться. Женщины полулежат у окон. Сквозь сирень и жасмин разглядывают улицы. Пошла волна ветра, бури, снесла стену сарая, крышу подняла. Взвихрил ее ветер и опустил. Кто теперь укрепит крышу к дому, чтобы он не тек?! Белеют сорочки в ночи. И наши матери, и старики, и старухи, и Мария тоже лежат на холодных подушках, а за спинами надежда. И шепчут губы мира, желтеющего поля просят, людного базара, чтобы послала природа крупы, синьки, кусочек мыла. И прибывает волна синего плена вечера. Душистая. Несет, несет, как шлейф как синий шелк. И человек прикрывается сном. И молитвой на оборотной стороне победы, оборотной стороне медали: **«Отче наш, иже еси на небесех: да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь. И оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царствие сила и слава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа отныне и присно и во веки веков. Аминь»**. Рукой матери начертано. Чтобы жили малыши, она сама, родители, муж. И был наплыв шелка, он провалился, образовалась дыра, и туда кинулся дождь, в провал. И наши матери оказались там, и им проговорили: «Два мальчика пасли овец. Господь сказал им: «Кто будет молиться Богу – тот не будет оскорблен. Кто получит письмо, напишите три раза – тот услышит радость». В Харькове одна женщина получила письмо, и она ни разу не прочла, и она получила большое горе и оскорбление. Нужно молиться, ибо Господом Богом сказано: «10 июля помрет половина людей, 12 июля наполнится море кровью, 13 июля будет сильно светить солнце, а 20 июля будет спасен от всяких духов». Петя встретил мальчиков и сказал: «Человек один говорил, что будет суд над живыми и мертвыми. Мир разойдется в разные стороны, и человек через одного получит радость». Один человек выбросил письмо, он получил большое горе. Хотя в сутки раз читайте: «Отче наш». Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Плывет ночь, матери наши через века прочитывают все звезды, что были, будут им посланы. Чем живет их ночь в перерыве между печалью. И трудом, где с детей заветных не

сводится глаз».

ЭПОС СМЕРТИ И ФИАЛКИ

Опереться об огромное дерево, чинару. Придет, нахлынет память из времен войны, о матери, о маме, о бабушке, когда они из этих мест, из предгорий много выше, приносили домой картошку, свеклу, фасоль. Выискивали в горах чистое поле, сооружали шалаши, стерегли урожай, когда он поспевал, зрел, ночевали здесь, страшились темноты, шорохов, страшились медведей, воя чекалок, боялись этих маленьких стремительных когтей, почти крысиных, много увеличенных. Страшились любителей легкой наживы; страшились женщины за свою красоту; руки от постоянной работы в земле трескались до крови; идти вниз, возвращаться в долину с мешком картошки за плечами, возвращаться и плакать. А внизу, у калитки, у ворот ждут своих матерей дети, ребятишки; рядом плещется море тихое, спокойное. Не слышно даже плеска волны. Лежать, уснуть, а рядом, вдоль ног ложится на гальку ряд выброшенной морем хамсы. И видеть письмо, которое мать писала отцу на фронт, три только письма и сохранилось на фронт от матери, или четыре. Остальные остались с отцом, на его груди.

Мария – Николаю

Сентябрь 1942 г.

/начинается прямо с середины. – К.Г./... Туман сильный помешал. Не могла вырастить сколько полагается. Чаландарям за пять лошадей отдала тысячу пятьсот рублей. Сначала они хотели пуд картофеля за один конец, а после отказались, захотели денег. А мне и лучше. Продать пуд картошки – больше возьму, чем триста рублей. И главное, хлеб заменит она. Картошка. Ну, Количка, намучилась очень много, и трудимся с мамой еще. Маме трудно дома одной. А я на эти горы, в эти горы загнала свою силу, в этих горах оставила. Слава богу, он еще дает здоровье. Как гречанки тащу на спине, так и мы теперь носим. Завтра должна пойти на кукурузу, за кукурузой, поле расположено прямо под альпийской дорогой. Урожай плохой, да еще воруют. Наверно, ничего не возьмем. Что соберем, то напишу. И еще на далекой горе кукуруза есть, есть фасоль и пуда два картофеля, есть буряк, морковка. Все придется на спине носить вниз. Жизнь безынтересная, в труде,

через силу. А иначе ничего не выходит.

Уходя на гору, бросила письмо, ты теперь долго его не получишь. Только сегодня в обед спустилась; пока в порядок произвела себя, производила – надо скорей карточный хлеб получить, сегодня последний день.

Хлеб получила и не смогла днем написать. Теперь настал вечер, все спят; я поломала кукурузу, положила варить в кастрюлю на электрическую печку. А сама пишу своему дорогому Коленьке. Как соскучилась про детей, за детей за эти дни. Они меня тоже встретили. Кричат, рады, целуют: "Мамочка, миленькая наша пришла''. Что значит родные родители для детей. Дети играют, живем ничего...

ГАГРЫ, ПОРТОВАЯ, 3, СОЛОВЬЕВОЙ М.Д. АДРЕСАТ ВЫБЫЛ.

Х Х Х

До войны и после войны теперешняя улица ЦЕРЕТЕЛИ – называлась ПОРТОВАЯ. Сегодняшняя улица НИНОШВИЛИ, граничащая с ул. ЦЕРЕТЕЛИ, – до войны и после войны называлась ВАЗИСУБАНСКАЯ; а до этого – КОЛХОЗНАЯ. Теперь – улица АБАЗГОВ.

Меняющейся, облезшие рукоятки лет – в зависимости от тех, кто пришел к власти. В то время как места, местности должны работать только на прононс, только на изначальную вечность, как предположим сирень, глициния.

Николай – Марии

Здравствуйте, дорогая мама, Марочка, дети Елечка и Костик! Ваше письмо за двадцать восьмое июня получил, за что искренне благодарен за внимание, за ваше пожелание, за то, что не забываете и мои чувства поддерживаете весточками о вас, Марочка, о вас, дорогая мама, о вас, мои дорогие деточки – Елечка и арбузик Костик!

Я доволен, что вы все здоровы; расстраиваюсь, что вы так трудно

стараетесь что-то заиметь. Я уверен, что труд ваш честный оправдается тем, что вы что-то получите. Деньги останутся деньгами. Сейчас время не в деньгах, а в обеспечении продуктами. За ваши труды, заботу обо всем и о детках, я вас, дорогая Марочка, дорогая мама, крепко целую и желаю вам здоровья и красивых трюков наших малышей. Пусть те ваши пожелания осуществятся и в самую трудную минуту, где будет решаться жизнь станут какой-то волшебной силой, и ту пулю или кровавый меч отклонят в пропасть, и мы все будем счастливы. Мое сердце всегда с вами, и когда читаю ваши письма, то я бываю с вами и в ту минуту, и думаю, что если бы я кого-либо из вас встретил, это было бы моим счастьем. Марочка, ты как-то спросила: "Кто еще из Гагр со мной?'' Их много, но ты их, наверно, не знаешь. Сегодня мы время проводим у речки: кто стирает, кто купается, а кто закурил и ведем разговор о доме, о родных, об этом городе / Ростов на Дону, – **К.Г**/, который так близко сегодня. А я говорю, что это можно сказать, мой город и даже родной. Здесь я пробыл три года; работал, учился.

Да это было вчера, а что сегодня? Вы, может быть, будете усиленно волноваться в связи с оживлением военных операций. Это напрасно, этого делать не надо. Я себя пока чувствую ничего. Только сильно оскорблен тем, что какая же сволочь препятствует тому, чтобы брат мой Петр имел связь с родными, с вами. А сейчас я оскорблен особенно. Когда я нахожусь здесь, когда я защищаю родину и думаю, что за вопросы, которые могут так огорчать людей, которые вооружены. Но пусть это будет так. Пусть наши сердца переживут. Пока до свидания, крепко целует вас Коля; а вас, Елечка и Костик, ваш папа очень крепко любит и крепко целует в щечки.

Насчет табачка – уже получаем, харчей хватает пока.

Ты пишешь о некоторых распутных женщинах. Марочка, это несчастье, а называется это несчастье – отброс. Счастье в труде, счастье в соблюдении детишек. Вот такую я, Марочка, и искал себе голубку, которая была бы достойной единственной супругой. Вот она читает это письмо от Коли, который сейчас где-то далеко. Лежит под кустиком и обсушивается после дождя, который нас обмочил; а сегодня теплая погода. Дорогая Марочка, мама, я сердечно благодарен за ваши пожелания и пусть они свершатся. Я пожелаю вам легких успехов, легкого труда во всем. А ты, Марочка, смотри себя, и так тяжело трудиться не надо; делай все под силу. Под твое здоровье.

Оно нужно тебе, нашим деткам и всем нам. Не волнуйтесь, я жив, здоров, нахожусь еще не в таком опасном месте. Будем все счастливо надеяться о встрече, на встречу, пусть будет так как желают наши честные души. Деньги получу, которые вы высылали. Целую крепко. Коля.

Мария –Николаю

1942 г.

Тридцатого ночью, поздно.

Со счастливой минутой, милый мой супруг, Коленька. Эх, как тяжело, письма от тебя нет с третьего сентября, вот месяц почти. Сильно волнуемся. Конечно, ты нас предупредил о перебоях в письмах, с письмами но, однако, этим не успокоишь. Душа болит, что-то есть, а, возможно, времени нет написать. Но ничего. Лишь бы жив-здоров был. Вот, Количка, пришла домой с горы. Была там девять дней. Жила там, конечно, не одна, а с соседями по огороду; выкопали картофель. А почему там столько была? Некому было привезти. Обещал один турок и подвел. И потом пока другого нашли – я сторожила выкопанную картошку. Привезли десять мешков и один сама, может, и больше, притащила. Вообще пудов сорок с лишним. Урожай средний; туман был. Так ждала письма от любимого супруга: «Вот приду, подойду к воротам, а в воротах бабушка, наша мама, встречает, несет письма». Но нет. Есть от Семена жены; всегда пишит, что бывает у Семена, а где он, не пишет. /Семен Кудлай – товарищ Николая Соловьева по техникуму сельскохозяйственному, очамчирскому – **К.Г./** Как, милый Количка, ждем конца! Так интересуемся какие пункты наши войска берут ежедневно. Новостей от Петра, твоего брата, нет никаких. Пока до свидания, пожелаем и пожелаю, Количка, счастья и чтобы вернулся домой в скором времени. Ах, как мы с нетерпением ждем нашего папу и Петра. Целую крепко. Мара. Жду маленькую весточку.

В ГАГРЫ. АДРЕСАТ ВЫБЫЛ. АДРЕС НЕИЗВЕСТЕН.

Николай – Марии

1943 г.

С добрым часом, мои дорогие. Сообщаю вам, что я с Белореченской

станции послал четыре письма, две телеграммы. С получением этого письма, вы, я надеюсь, уже знаете, что я жив. За восемь месяцев, что не было от меня вестей, я приходил в ужас при воспоминании о вас, а этим воспоминанием была наполнена каждая минута моей жизни. Я и сейчас сильно волнуюсь. И сегодня еще не могу знать, что с вами со всеми в нашем уголке. Где мой единственный брат Петр? Может быть, вы уже потеряли надежду получить от меня весточку, не раз, наверно, похоронили. Но я откликаюсь, я еще жив, здоров, хотя и пережил огромные испытания. Алло, алло, это твой супруг, моя дорогая, единственная супруга, Марочка; мои деточки Елечка, Костик; пишет вам папа, который вас крепко любил и любит. Дорогая мама, это пишет тебе твой сын; еще есть в жилах хоть немного сил, пока будет хоть капля сознания – он никогда не забудет тебя.

Подробности не могу писать, не могу писать подробно огромные бои, где лилась русская кровь и поле становилось алым, и проходя по полю боя через несколько дней находил бойцов в ранах тяжелых, в которых кишели черви, а человек еще жив. Сколько было возможности, давал помощь, но всем не мог дать. Меня оглушила бомба и я пришел в сознание на другой день; был весь в грязи, лежал в воде. Это значит был большой дождь, который обмыл меня. Месяц я получал помощь от добрых людей. А после пришлось скрываться от плена, так как в плену все равно ждала голодная смерть. Сейчас я нахожусь на станции Белореченская на формировке. Конечно, не знаю, пробудем ли мы здесь долго или нет. Это очень близко от вас и если бы дороги были исправны, то, наверно, кто-нибудь приехал бы ко мне. Езды всего на десяток часов. Ну пока, до свидания. Всем привет. Не волнуйтесь. Я здоров. Пишите ответ: Белореченская станция, почта, до востребования. Крепко вас целую, Коля. Если есть что от Петра – сообщите его адрес немедленно. И сообщите обо мне.

"Зной, зной, тишина. Желтая трава. И почему в начале весны так жарко. Руки лежат на сплетениях кустарников, жасмина, сирени. Они выше фиалок. Фиалки на земле, в листьях. Женщина садится на корточки, гладит руками цветы. В это время гора – где-то ниже ее глаз протягивает женщине цветы. Мешает ладони с колокольчиками. Женщина поднимается. А ладони на заборе. Забор хрупкий – из стеблей табака. Перетянут проволокой, которая валяется рядом или внутри

госпитальных ям. Там можно увидеть бинты, противогазы. Жара вместе с землей, с деревьями просачивается в грудную клетку. Там лежит прикрытая днями''.

"Розовая открытка тридцатилетней давности, сорокалетней. На обратной стороне текст: "Строчит пулеметчик за синий платочек. Что был на плечах дорогих... Письма твои получая, слышу я голос живой, а между строчек синий платочек снова встает предо мной. За них, родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Кончится время лихое. Я радостной вестью приду. Снова дорогу к милой порогу я без ошибки найду...''.

Продолжено зарево огня. Ручные пулеметчики, рядом гранаты. На спинах бойцов сумки полевые, свернутые шинели. Солдаты на камнях ведут бои, не успели окопаться. Тем более почва каменистая. Где застал бой, там и застыли. От камней зной. И со всех сторон открытки надписи: "Бронебойщики жгут фашистские танки... Смерть немецким оккупантам!''

"Как я к отцу добиралась? Или хочешь знать, как отца твоего, Николая Григорьевича, в армию взяли. Откуда? В тысяча девятьсот сорок втором году десятого января повестка пришла из военкомата. Это было рано утром, отца уже не было дома. Он пошел на работу пешком в Старые Гагры. Когда собака залаяла, это было пять часов утра. Война во всю разгоралась; принесли повестку – Самохвалов с военкомата. Призывают его на фронт. Я пошла пешком в Старые Гагры, где он работал в санатории "ЦК Украины''. Далеко было идти – километров семь. Спросила кое-кого. Мне показали, где он работает, в каком помещении. Я открыла дверь, вижу его. Он сразу побледнел. Спросил: "Что случилось, Марчонок?'' "Вот повестка, Коля, тебе''. А он держал в руке проволоку согнутую, изготовлял духовки, заготовлял материал для духовки, как раз строился жилой дом "ЦК Украины'' для рабочих. Сразу все оставил и пошел на расчет. А я пошла домой. Ровно в три часа он пришел пешком со своим инструментом – тяжелый, тяжелый ящик. Такая коробка удлиненная, специальная, металлическая, где инструменты лежали. Эта коробка вон там в саду, около кроликов, все время валялась. Я ему говорю: "Зачем пешком пришел? Тяжелое это. Поезд в три часа идет, товарняк''. Он ответил: "Я забыл. Мне не трудно было''. В повестке было написано просто явиться. А другим

было написано – "К отправке''. В тридцатом седьмом году отец Николая Григорьевича был репрессирован, как потом оказалось незаконно. Но незаконно оказалось спустя почти двадцать лет. А в то время таких – детей, сыновей репрессированных – на фронт не брали. Могли взять на тыловые работы. Но отец тогда не знал, что в сорок втором году, когда стало очень туго – уже всех брали на фронт. Сын за отца уже не отвечал. А мне перед тем, как твоему отцу пойти в военкомат, было такое явление, на самом деле было. Я шла к калитке, проходила по длинной дорожке. Вижу в воротах, на земле валяется катушка. Катушка с тонкими нитками, коричневая. Я подобрала эту катушку, положила на забор. Катушка была использована наполовину, половины катушки не было. Я смотрю через дорогу – вижу подводу. Тогда машин было мало. Подвода полностью гружена бинтами, медикаментами. И человек там лежит. Это привезли из больницы тетю Ашхен. Ей вырезали одну почку. Больница тогда была в ущелье, возле "Дома Служащих''. Там всегда сильно дуло. Тетя Ашхен уже сорок с лишним лет живет с одной почкой. Потом люди мне объяснили: "Это плохо, что ты, Мара, положила половину катушки на забор как раз перед тем, как твоему мужу идти в военкомат. Не нужно было тебе этого делать. Не нужно было катушку подбирать. Не нужно было подбирать свою судьбу, половинную судьбу перед важным событием. Надо было пройти мимо, не обратить внимания''. И в эту же ночь был мне сон. Якобы возле "Дома пионеров'' на тротуаре большой ящик с грушами. Груши есть, лежат большие, красивые. И я ищу в ящике свою грушу, нахожу. Моя груша выделяется. Это твой отец. Он вообще выделялся среди товарищей. Настойчивый, душа компании, все его зовут. Там, где отец – там всегда веселье, радость. У отца всегда при себе гармонь. Отец всегда на собраниях выступал, критиковал недостатки, никому не уступал, если видел несправедливость. А я была в молодости тихая, смирная, рано потеряла своих родителей, всегда думала, что кто-то меня собирается обидеть. Ведь защиты не было, нет, если потеряны, умерли родители, все братья и сестры. Я эту грушу подержала в руке, повертела и положила обратно в общий ящик. А этот ящик с грушами – это бойцы, это фронтовики, те, которые на фронте из наших, местных, кто уже пропал, кто еще жив, сражается. А если бы я эту грушу не положила в общий ящик – Коля бы остался. Он меня всегда слушался, и пропал, может быть, из-за меня. Я ему всегда говорила: "Не

возвращайся. Не будет удачи''. Пошел, например, на работу, чуть отошел, что-то забыл, например, носовой платок, хочет вернуться – "Не надо''. И так во всем. И вот отец всегда был подчинен этому правилу. Наутро пошел в военкомат с этой повесткой, ему сказали: "Завтра отправка, в двенадцать''. Пришло это двенадцатое число. Мы его проводили, отца. Я пошла с ним дальше, до военкомата. Там людей скопилось очень много. Должны были прислать много машин. Отец сидит в стороне: кушает, на травку положил узелок. Пришла всего одна машина, приходит. Все становятся в очередь. Мест уже нет в машине, а отец без очереди рвется. Ему кричат: "Соловьев, стань в очередь''. Это эстонцы такие красивые, белые лицом ребята из селений Сальме, Сулево кричат. Мы с ними учились в сельскохозяйственном техникуме в Очамчира. Они кончали на бригадиров, мы с Колей на ветеринаров, на зоотехников. Они говорят так ласково отцу: "Ты куда, Коля, идешь, спешишь? Ты почему Марочку, Марусю оставляешь?!'' Отец всех растолкал, спешил куда-то, спешит, кто-то звал его, зовет, какая то сила. И кричит мне из машины: "Я не сегодня – так завтра вернусь''...Те, кто остался – тех потом не забрали на фронт. Это последняя машина была. Прошел месяц или сколько. Присылает письмо из Махачкалы. Находится на формировочном пункте. Сформировали чи полк, чи дивизию, чи батальон саперов. И уже в апреле отправили в сторону фронта. Когда его взяли, погода была солнечная, теплая. Да, я забыла. В пятницу вечером пришел человек, который от "Метростроя''. Где он работал до этого, отец работал. Он временно перешел в санаторий "ЦК Украина'' работать. И человек говорит: "Материала не было до этого. Сейчас материал поступил, приходите на работу''. А утром в субботу в эту же ночь повестка была. И когда утром я пошла в "ЦК Украина'' и сказала ему: "Ты ходил туда, в Метрострой?'' Он ответил: "Ходил. Сказали утром приступить – в понедельник''. Так. А когда пошел рассчитываться в субботу после обеда – это был короткий день, не было начальства, чтобы начислять. "Все равно сразу не возьмут, приходи в понедельник, и мы сразу бронь наложим''. А ему сказали, чтоб в воскресенье явился в военкомат. И он уехал, исчез... И в августе месяце уже потерялся. И не было месяцев восемь, переживали все. Почему я говорю, говорила подробно про Метрострой? Да потому что мне кажется, что разговорами о том, что отец мог остаться, не попасть на фронт, – я как-то удерживаю его возле себя. Что если буду много

об этом говорить – он явится, слова материализуются, намоют материю, полотно. И обнаружится передо мной сердце, легкие, мозг, лицо, плечи отца, весь он с ног до головы. И снова я с ним не расстанусь. Сколько наговорено за сорок лет, а слова не стали материальными, не приблизился ко мне облик любимый. А в марте месяце отец воскрес, в Белореченске. Сообщил, что жив, здоров. Ну, я тут собралась и поехала со случайной женщиной. Она тоже ехала к мужу. Вас оставила с мамой отца. Добиралась до Белореченска от Гагр – пять дней, пять ночей.

Когда мы поехали, встретили ее мужа, этой женщины. Он спросил: "Кто эта женщина?'', на меня. " – Приехала к мужу''. "Здесь уже никого нет. Вчера, позавчера отправили всех на фронт''. Я расстроилась, пошла в штаб узнать, уточнить. Они сказали: "Да. Правда. Отправили''. Я вернулась с огорчением, со слезами к себе на квартиру. Где я остановилась, хозяйская девочка говорит: " Я его знаю. Хороший очень человек был. Они справляли пути железнодорожные, шоссейные, всякие после разгрома немцев. Он был старший там над бойцами. И после перекура или тихого часа, любил кричать: "Продолжать перекур, продолжать отбой!' Все с радостью бросают лопаты, кирки, садятся, отдыхают, разговаривают; веселятся, песни спевали. А как время пройдет затянувшегося тихого часа, ваш муж подаст голос: "Подъем!''. Все с хорошим настроением вскакивают, приступают к своим делам, обязанностям. И все с шутками, с весельем продолжалась работа под руководством вашего мужа''. Ну и убедилась, что это, действительно, был он. И после того я хотела поехать, но мне не разрешили, потому что там, в том направлении куда отправили отца, – была сильная бомбежка. И хозяева говорили: "Не надо туда ехать, погибнете и дети останутся. А его все равно вы не увидите, не найдете''. Я успокоилась и вернулась домой. Утром села, солнце было на другой день, на машине доехала до Туапсе. Рейсовая машина была. Мы там переночевали на вокзале, а наутро был товарняк в сторону Гагры, и я приехала. Это было примерно часов в двенадцать дня.

Было солнце, снег был, март месяц. Не знаю, горы как светились, не приставай, сынок. Разве я на это внимание тогда обращала?! Ну все дети со слезами, вы со слезами, бабушка тоже:! "Ну видала?''. "Не видала. Уехали на фронт''. Что скажешь?! Был снег, было солнце, помню. Потом, когда приехала, сказали у Нюси Хромых есть какая-то женщина,

гадает. Я пошла. Погадали – на картах. Вышло: "Короля скоро не увидишь или не услышишь''. Пришла я ко двору, к калитке, к воротам, а почтальон дал, подает мне телеграмму, что он, отец, находится возле Белореченской – семнадцать километров. Я очень сожалела, что была рядом там и не видала его, даже письмо написала, он тоже очень жалел. На этом все дело кончилось. И потекла жизнь, жизнь потекла работать, я потекла работать и ждать конца войны. Как ветер дует, холодно. Ты все письма разбросал, поднимусь и читать нечего. Книга твоя мне не нужна, мне – то что руками написано, нужно все...''

– Что ты плачешь? Сколько лет прошло!

– Я не плачу. Я спать хочу. Хочу крепко спать. Уснуть''.

Николай – Марии

1943 г.

С радостной минутой! Представляете, с каким чувством я был вечером тринадцатого июня тысяча девятьсот сорок третьего года, когда получил от вас сразу шесть писем по старому адресу. Шесть писем, дорогая Марочка, голубка. Это я как будто начал снова жить. Это рождение второе. Узнал, что вы все живы, брат тоже здоров и узнал его адрес, Семена Кудлай тоже. Меня огорчило одно: эта милая моя сирень душистая, цветочек моей жизни. Как это мы не могли повстречаться в Белореченской. Когда ты приезжала, я в это время двигался в грозный бой. Но по-прежнему нестерпимо больно: почему судьба нас не повстречала в это ужасное время. Марочка, милая моя голубушка, это я никогда не забуду. И как же это забыть: разошлись днями на одной и той же дороге. Я на почте сколько раз бывал, и вдруг Марочка ходит по моим свежим следам.

Письмо от Кожановых; это старички под девяносто лет, которые много для меня сделали, а в особенности бабушка, которая так чутко ко мне относилась: рано утром кружка парного молока; после – завтрак из нескольких блюд; потом обед /дальше пропущено, изъедено, вырван круг – **К.Г.** /... и ужин. И все хлопочет, спрашивает: "Что еще?'' Особенно, когда я чувствовал себя слабым. Правда, я их крепко уважал. И когда я тронулся в путь, путь опасный на каждом шагу, можно было встретить погибель, то бабушка так сильно плакала, а дедушка далеко

проводил и залились мы вместе слезами и так разошлись, он все вслед махал шапкой, пока я не скрылся в далеких степях.

Вы получили письмо от Лиды? Это скромная девушка из такого места, где я был и переживал. Это когда меня контузило, они меня подобрали, прятали от немцев. Эта девушка обещала писать вам, когда я ее просил об этом.

Мама, ты знаешь сына Гурского? Я недавно с ним встретился. Вы спрашиваете насчет Бондаренко Бори? Официально передайте родным, я узнал на четвертый день: после неравной жестокой схватки с врагом – он остался жив. Милая мама; Марочка, моя первая и последняя супруга, вы спрашиваете подробности? Я их не могу описывать. Но считайте большим счастьем, что по этим невзгодам я иду и шел смело, гордо, грудь вперед. Таков я, – создание моих героев – родителей. Героями мои родители были и будут, и остаются. Я в такое тяжелое время после жестоких боев, неравных за переправу через Дон с группой героев дважды прорвал окружение и был сражен только бомбой из самолета. Двое суток лежал без памяти и помощи. Сегодня себя чувствую прекрасно, давно вылечился поддержкой хороших людей Ростовской области. А сейчас еще продолжаю быть воином в саперном подразделении.

Моя ягодка, дочь Елена, сынок Костик, папа вас услышал. Он вас крепко любил и любит.

А судьба, может быть, и вас в счастливую минуту обрадует, когда папа высоко поднимет вас и крепко поцелует в своих руках, которые так много пережили. Вышлите фотографию всех вас.

Мария Николаю

1943 г.

Добрый день, милый мой папочка. Я, папа, уже большая. Пишу тебе письмо и посылаю карточку. И пойду завтра на почту вместе с мамой, брошу эту весточку, скорей приезжай, я скучаю и привези мне печенье, шоколад и туфельки. А то я босая. До свиданья. Целую крепко твоя доченька – Елена. Жду тебя.

С приветом, Коляша. Вот и Елечка письмо написала, ручкой ее я водила. И она радовалось. И все тебя вспоминает. Костик тоже написал

вот эти кривые линии. И пусть папа привезет сапоги. Чисто не скажет, а половина. Но можно понять. Скандал. Оба лезут и хотят писать. И поэтому письма часто грязные. Особенно Костик. Целый день грызет и слава богу, с желудком хорошо. Чернослив, персики спеют. Все едят без перестану.

Количка, посылаю фотокарточку. Смотри на нас. Этот снимок у нас в саду, эти листья наши, а за ними домик. Его не видать от зелени. А с боку Елички колодец. Еличка обычно часто так стоит, а Костик хотел спать и сердится. И посмотри, какой серьезный, когда рассердится. Всегда так надувается. А, возможно, Количка, такая и есть правда, да? Вроде весело живется на вид, а сердце всегда сжато. Может скажешь, что фотография большая. Я договорилась с фотографом, чтоб был наполовину уменьшен объем. Но он видно, забыл. В карман гимнастерки не поместится. Но немного можно срезать. А теперь хватит о карточке, пора самим прийти. К чему не знаю, но ежевечерне во сне вижу тебя по-разному и вроде не к плохому. Целый день искала подводу, чтобы привезти сено. Все просят триста – пятьсот рублей за подводу сена; обещали двести рублей брать, а когда коснулось, то никто не соглашается. Очень в большой заботе, как привезти домой... /Дальше, обрыв, нет ничего, выжжено. Письма без времени, без опознавательных знаков – К.Г.

Мария – Николаю

1943 г.

Сердечным приветом, дорогой Николай Григорьевич. Каждую минуту желаю писать, но если часто писать, то не о чем будет рассказывать. Но пишу, лишь бы получил от нас весточку, чтобы радостно стало на душе. Мама с детишками лежат на кровати и разговаривают. Еля не пускает Костю; он около бабушки; а Котя Елю не пускает. И вот шум, гам. А я пишу письмо из твоей комнаты, где ты всегда сидел за столом. Что-то прохладно и все дождливая погода. Жена Захара приходила сейчас за молоком и радуется, что получила от мужа письмо; он жив-здоров; в боях освободили Харьков и он был участником. Сообщи примерно, где находишься. Котя перешел на мою кровать и зовет меня. Пока уснет, все рассказывает обо всем на свете. И своего папочку вспомнит, и долго улюлюкает, как его папа скоро приедет. Сегодня

купила арбуз на тридцать три рубля – три с половиной килограмма. Привезли с Белореченской. Дети обиделись, что купила мало. А мне главное, чтобы они имели представление, чтобы посмотрели. Особенно Костик. Эта станция – Белореченская. Как услышу это слово, как родное становится. Ведь ты там жил. Завтра собираюсь идти на гору выкапывать картофель. Пожелаю тебе счастья, здоровья и вернуться домой.

Мария – Николаю

1943 г.

"Письмо без начала, вырванный лист. – **К.Г.**''

..Нельзя терпеть; и решили – пусть сажают, и добились, что детям дали по двести грамм, и получили четыреста грамм на двоих и все. А завтра также будет без хлеба, будут без хлеба. Говорят, что муки нет. Мы предложили: пусть пшеницу дают. Мы что-либо сделаем. Вообще дело спето насчет хлеба. Его нет. Что будет делать народ? Хоть бы поскорей конец этой бестолковой войне. Наше дело без хлеба пропащее. Количка узнала, что из Старых Гагр Семенов Шура приехал из фронта, я была, расспрашивала насчет тебя. Это было вчера. Он ответил, что видел Колю месяц назад, что чувствует себя хорошо, ждите письма. Но я не думаю дождаться что-либо. Так обидно. Но все же, дорогой Количка, как всегда писала, пишу и просила как-либо спасай жизнь. Моли господа, он только поможет. Получили письмо от Петра, твоего брата. Он ничего. Огород хорошо. Уже кукурузу варили и Еля вспоминала, что когда папа был, он тоже кушал. Дети все подрастают. Еля все твердит, что папочка придет мой, когда война кончится. Все ничего в доме. Мама переживает, но все же у нее еще крепкое сердце, а я не знаю, что делать, места не нахожу, соскучилась и жалко сильно тебя. Некоторые говорят: "Ну что будет?!''. А я не могу этого сказать, а говорю: "Нет! Дождаться своего Колю, больше ничего не надо на свете''. Когда врозь, тогда узнаешь, как жаль друг друга. Дай бог здоровье и счастье. Пусть сохранит Бог нашу жизнь с тобой и с детками. Пусть помилует Бог. Целую крепко, твоя Мара.

Дата написания письма – четырнадцатого июня. Дата почтового штемпеля, куда он посылал письмо – двадцать пятого сентября тысяча

девятьсот сорок третьего года. Какие длинные дни боев. Длиною в век. Не пережить, жизни не хватит на один только зной во время артподготовки. Тяжелый зной наполняет сначала кончики пальцев, только кожу на пальцах; потом пальцы, кости, вены – жарит в себе, собой; потом становятся этим белым зноем кости, локти, плечи, сердца, легкие, мозг. Человек сгорает под огнем, в огне. Превращается в землю и прикрывает гимнастеркой истлевший золотой хлеб. А пшеница в свою очередь возносит тело к небесам.

Письмо оборвано. Без краев. На желтой бумаге. Льет свой свет. Сквозь письмо лица. Спины, гимнастерки. В пятнах крови, в солнце, в преодолении зноя. Редкая зелень, частая засуха, ракушечник, пот, лежат солдаты. Внутри жизни сбылись, давно закончились бои. Далеко протянута канонада, тяжелые залпы. Протянуты далеко вперед обрывы, моря. Моря подняты к высокой полосе. А грудная человеческая клетка под стать полосе горизонта. Там дремучие леса. Там красные ягоды боярышника и цыганские шатры времен; дымятся костры. Им легко. Они не прожигают нервы. Почему так много костров?

Высокая трава, серьги и звонкая речь. Это состояние моего детства, детства вдоль берега моря. Моря возле Одессы, возле Крыма, возле Молдавии, возле Румынии. Там из широких долин просмотрены сердца, застывшие от ожидания. Там дальше окопы, вершины, скрежет танков. И так много зноя, что плавится броня.

Из всей войны, из зелени трав, из орешников – мне кажут лица деревья. И где-то в войну вкраплены цыганы, в тыл войны. На всех материнских руках лежат, прислонены цыганские ладони: "Гражданочка, гражданочка: Вас ожидают хорошие вести..''

НКО
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
04429
28 СЕНТЯБРЯ 1943 Г.
№ 39-10-11

КОПИЯ
АБХАЗИЯ НОВЫЕ ГАГРЫ
УЛ. ПОРТОВАЯ № 3,
СОЛОВЬЕВОЙ
МАРИИ ДМИТРИЕВНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ваш муж красноармеец 814 С/П Соловьев Николай Григорьевич, уроженец г. Гагры, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран. Умер 18 сентября 43 года. Похоронен в Харьковской области, Алексеевский район, с. Ефремовка. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии /приказ НКО / Начальник госпиталя /подпись/ Зав. медицинским производством / подпись/.

"Будет время – покажут нам о фронте кино. А пока же, пока же это нам все равно. Сколько мертвых воскреснет на экране тогда! Воскресенья воскресник оживай без труда! Удивленно и странно из ночей фронтовых мы посмотрим – с экрана – с полотна – на живых.

Будто пули не взяли нас, под корень рубя, – и печальную в зале я увижу тебя. Нам уже не обняться, – мы из разных миров,
Нам уже не прорваться сквозь незримый покров.
Для тебя – как виденье, на экране, в огне –
Я мелькну на мгновенье, как в вагонном окне.
И со мной побратимы, все – в закат. На закат.

Это необратимо, нет дороги назад.
Опечалясь красиво, боль сожмешь у виска.

И на этом спасибо. И прощай! На века!

Михаил Львов.
Из книги "Эти годы''. "Знамя'' 12, 1962

Как последняя строчка рвет горло! На выстрел, на атомную бомбу, на термоядерную бомбу. Чтобы преодолеть оболочку и обняться с близкими людьми и через миллионы лет. А для этого нужно, чтобы воспоминания, чтобы прошлое перерабатывало, преодолевало настоящее, чтобы прошлое заглатывало настоящее, живущий сегодня день, как цунами, как аллигатор. А для этого нужно сильнейшее напряжение. Этим напряжением, этими сверхмускулами по преодолению течения

времени, по переработке времени как ткани владел только Марсель Пруст. Перевернутым напряжением. К этому напряжению, к этой длительности времени приближался и Анри Бергсон. Полностью его осваивал. Но при жизни земной, при жизни земной тела, при его скоротечности – это почти невозможно, недоступно. Поэтому и живут повсеместно такие трагедии, как смерти близких людей, близких деревьев, близких птиц, близких животных. От этой попытки продления времени работает и Библия. Но цвет Библии не такой от зноя. От Библии очень жарко. От Библии везде зной. А для перевоплощения, для преодоления сгустка времени, как закупоренной вены, одного зноя мало. Одна закупоренная вена, один закупоренный сосуд прорвет все тело, всю Вселенную, весь сгусток морей. Весь сгусток звезды. Потому что звезда, тоже единое целое с метущимся сердцем. Поэтому для перевоплощения нужны льды, нужны айсберги, нужен больше всего Северный Ледовитый океан. Но ему тоже нужен зной, чтобы длить и преображать время как **неразлуку**, чтобы от зноя в Северном Ледовитом океане прорастали новые титаны наподобие китов, наподобие кашалотов, которые и поведут в новом будущем новое летоисчисление, чтобы не расставаться с любимым составом, с любимым телом как судорогой.

Значит, мать, отец, родители матери, отца, братья, сестры ушедшие – встретятся только через века, через тысячилетия! Какой долгий путь! Который не может сжать, сократить даже время, как земельный, проземельный, материально-небесный состав. Тяжелейшая ноша. Этот путь, эту ношу может выдержать только мистика, только Николай Васильевич Гоголь (потому что только мистика владеет непрерывно углубленным жерлом, вулканом, кратером, непрерывно углубленным игом, мысом, руслом, непрерывно углубленным, углубляющим линкором; только мистика владеет непрерывно-сосредоточенным ожиданием). Даже Дантэ этот путь может осилить только урывками, только отрезками, только краткими импульсами, всплесками, только заграждениями, только погразаставами, пограничными полосами, где Дантэ мог бы отсидеться, отдохнуть, прийти в себя после изнуряющего для Дантэ бега; потому что не все проходы, не все хребты, не все ущелья Дантэ были доступны. Это видно по Вергилию. Этот путь целиком, без обрывов может выдержать только Гоголь, только волхвы, только пифии. Его может выдержать только всечасное, неотрывное погружение в сок весны, в сок осени, в сок реки, в сок океана. А у человека для этого только неприспособленные легкие. Даже нет перехода в промежуточное

состояние для жизни вне земли.

«Им нельзя приземлиться над равниной морской. Темнокрылые птицы воздух рвут над бедой».

"АНГЕЛ. По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел; и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов; о боге великом он пел, и хвала его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез, и звук его песни в душе молодой остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она, желанием чудным полна; и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли".

М. Лермонтов.

"СОН. В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я; глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилася моя;

Лежал один я на песке долины; уступы скал теснилися кругом, и солнце жгло их желтые вершины и жгло меня – но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне. Меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне.

Но в разговоре веселый не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее младая бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана; знакомый труп лежал в долине той; в его груди, дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей".

М. Лермонтов.

В Лермонтове жил перекрестное владение миром как вольтовой другой. Лермонтов мог настоять на встрече с умершими людьми, душами. Но нам это недоступно. Мы об этом не узнаем.

О непрожитой жизни матери, отца. И матери тех долин времен, о которых я ничего не знаю, не помню. Только есть в памяти зарево желтого непросеянного света. Поля, поля, табак, плантации красного

перца, чуть завеса утреннего тумана, дальше – небо в синеве, и где-то – с краю земли, ближе к морю идут шеренгами солдаты. Винтовки за плечами. Сапоги вдавлены в песок. Полоска песка нетронута, ровно лежит зной. За рекой окопы и стрельбища. За морем Турция. И пока нет тишины, идут пограничники к движущимся мишеням. Это так далеко видно в профиль. И там снова марево дней. И ослепительно движутся мимо ладони земли, взбираются. И отнесенные назад сады, вишни, красные ягоды, заборы, фигуры женщин и ребятишек. И полощется фундамент дома. Дом на курьих ножках. На столбах из дерева, наверно, каштан. Потому что, коричнев уют и благостен. Посередине двора костер. Дрова – щепки, найденные на море, у кромки прибоя. Тени и занавеси на лицах. Их двое – этих женщин, возможно, мать или просто пожилая женщина. Смотрят все на костер, в костер. Глаза покойно-усталы. И как реки текут сквозь огонь. Пронзают свет костра и на дне костра видят землю, ту, что под огнем. Она очищена от примесей. Не успела наслоиться зола. Земля та приспущена на глаза, опущена на зрение, и вязкая. Под бывшим огнем вся судьба того двора, где есть огонь. Там подвижны дни, переходят от веток к веткам, от зарослей вишни до шелковицы, вплоть до забора, а забор из стеблей табака. Того, что остается после листьев. И фиолетово вокруг и тихо. Спустился вечер, грустит прибой уснувшего и недремлющего моря. Мы ничего не знаем о жизни матерей времен войны, потому что нам не приходили письма тех, кто потом был убит. И только видим мозолистые руки, чашки с детской кашицей, рыбу поджаренную просто на горящей сковороде, без жира. И рядом записка, бумага в клеточку и стерто все, смыто. И мать накладывает на глаза эту записку и думает о судьбе, жизни. И по ней прочитывает след. Тот след, от которого и после которого ничего не остается, чтобы мечтать: "Во имя отца и сына, и святого духа – Аминь. Иисуса Христа был слышен голос: "Кто эту записку найдет и раздаст, то на девятый день будет счастливый, а если не передаст, то будет богом наказан''. О непрожитых жизнях, о непрожитых возможностях, о круге света вечернего, ночного. Стоят кровати, бодрствуют матери с детьми. Локти на подушке, слушают канонаду. Она как корабли – плывет, тянет себя к берегу, к гальке. И появляется богатая старуха в бордовом платье, на руках бриллианты, запястья в жемчугах. Старуха широкая в плечах, ровная спина. Знакома с матерью, с бабушкой. Они ее всегда приветливо встречают, особенно

под вечер, когда стемнеет, когда начинается дождь. Внутри этой старухи живет некая тайна, страх нападает на ребятишек, когда они видят ее. Какое-то уничтоженное сословие представляет эта старуха, почти помещица. Нам страшно наблюдать из угла, что мама, бабушка и эта старуха каждый вечер заваривают в кастрюле. Старуха была одинока. Она умирает однажды. Милиция целый вечер обыскивает дом. Особенно старается местный начальник милиции, абориген. Все считают, что в доме старухи жило золото. И вот мне ходить по двору в сумерках, копаться в стекляшках, в горе выброшенных склянок и обнаружить небольшую бутылочку, внутри вложена черной непроницаемой для света бумагой. Где-то екнуть сердцу, о чем-то догадаться, спрятать бутылочку в карман и медленно пойти к дому; отдать эту бутылочку матери и больше о ней никогда не слышать. Только однажды пройти слуху, что в этой бутылочке были три или четыре николаевских золотых рублей. Мрачно жило богатство вдовы фабриканта, мрачно жила легенда, могла обрасти какими угодно слухами, каким угодно дьяволом. Были широкие кровати и в коричнево крашенные шкафчики, была насечка из серебра. Было мрачно жить, потому что все окружение считало, все соседи считали, что под спудом таить богатство и дожидаться наследника. А наследник – красивый белый офицер, жил в эмиграции. Обрастать плотным слоем пальм, чтобы никто не заглядывал во двор. Жить при решетках, при страхе, при подслушивании. Вот какое-то свиное рыло приникло к окну. Подрезаются замки, распилены и кто-то заносит нож на дорогое покрывало.

Под одеялом притаилась скрытая живая жизнь, живое тело. Узнать, что моя бабушка, честная труженица, всю жизнь работала у господ горничной, что ни в чем плохом не была замешана, замечена поэтому и расположиться к бабушке, к Мине Яновне. По воле судьбы вышла замуж за жестянщика-кровельщика, всю жизнь пробыла с мужем-гулякой, который все заработанные деньги оставлял в единственный день зарплаты у извозчиков. Бабушке моей было всю жизнь пасти коров и возить молоко на бричке в сторону Красного Креста, для госпиталей, которые располагались там и при войне Первой, империалистической. Мать же моя закончила зооветеринарный Очамчирский техникум, была послана на работу в Райзо, должна была ездить по колхозам, ходить. Но из-за начавшейся войны, из-за того, что на руках было двое маленьких ребятишек, из-за болезни ног вынуждена была мучить себя выращиванием

картофеля в горах, вынуждена была оставить работу зоотехника, и поступить сторожем на Лесосбыт, совсем рядом с домом. Богатым людям, как принято говорить – "бывшим'', бывшим господам, бывшим князьям, бывшим графам, бывшим генералам, бывшим адмиралом, – было хорошо рядом с таким простыми людьми, как моя бабушка и мать. Хотя бабушка тоже была не из простых. Четырнадцать лет работала горничной в Сочи у генерала. И за это время наработала такой этикет общения с высокообразованными людьми, что сама стала глубоко интеллигентной дамой, женщиной с высокосветскими манерами, глубокой интеллигентным разговором, высокоинтеллигентной душой.

И здесь еще была сверхзадача простых, так называемых людей; дружить с "бывшими'' очень плотно, очень близко, чтобы сбить след работников НКВД, тех – довоенных и послевоенных лет, когда еще активно продолжалась слежка за людьми самыми достойными на земле – то есть "бывшими''. Поэтому что одна из задач государства тех лет была в том, чтобы уничтожить высокую культуру из населения. Чтобы оставалась на прокорм только одна быдла.

Простые люди – добрые сердцем – освобождали богатство духовное "прошлых'' – от подозрения. "Бывшие'' рядом с простыми людьми сами становились на поверхности, чтобы их не замечали органы дознания – пролетариями. Рядились в чужие одежды, чтобы избежать палаческих щупальцев властного новоиспеченного рыла.

И "бывшие дворяне'' еще долго жили на земле. За то, что моих родителей всегда окружали люди интеллигентные, люд благородной крови, знаменитой, с богатой родословной – великое спасибо миру и провидению.

Так из войны очень дождливой напролет вынести эту огромную стройную старуху Антонину Максимовну, в бордовом платье. Появлялась в сумерках у нас дома, и несла в себе так и не разгаданную тайну о жизни запредельной: некоего представительства, где могли жить только господа. Это как из острия войны, на острие войны вынесено завершение, как некий свод мрачный, куда были спрятаны все дожди, как некий источник, откуда все распространялось. Свод богатый, инкрустированный, покрыт инкрустацией, геммами, запрятанными в пещеры потайные. Рук все время касается коралл, вынесенный из рифов.

А не сказать о благодарности – значит увеличивать в себе количество грехов, увеличивать в себе грехи.

Куда-то распространялось серебро, серебряные насечки, полотна знаменитых живописцев. А у нас долго лежали, валялись шкафчики простые, деревянные, покрыты черным лаком. И так было выделено из нашей крестьянской, первобытно-примитивной обстановки. Когда прорастает, зарастает камыш, репа, и вдруг все это перебивает роскошный сундучок, ларчик. Как примерно сказано об одной замечательной ноте, транскрипте, транскриптум: "НА КОРТИКЕ СВОЕМ «МАРИНА», – ТЫ НАЧЕРТАЛ, ВСТАВ ЗА ОТЧИЗНУ. БЫЛА Я ПЕРВОЙ И ЕДИНОЙ В ТВОЕЙ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ЖИЗНИ. Я ПОМНЮ НОЧЬ И ЛИК ПРЕСВЕТЛЫЙ В АДУ СОЛДАТСКОГО ВАГОНА. Я ВОЛОСЫ ГОНЮ ПО ВЕТРУ, Я В ЛАРЧИКЕ ХРАНЮ ПОГОНЫ».

Еще ходила к нам в те годы – высокая, худая, стареющая женщина – Бандалетова / прелестная фамилия, потом мной нигде и никогда не встреченная, фамилия неповторимая внахлест/. Жила на горе. В доме при множестве свечей, при канделябрах из серебряных подсвечников. Любила ходить при непогоде, при дожде с великолепным, старинным зонтом. Бандалетова жила на возвышенности, жила от воздуха горно-равниного, приподнятого на вздернутые легкие, чтобы можно было легко придыхать на жасмин, на сирень, на магнолиевый запах.

Эта женщина – Бандалетова – заканчивала в далекие времена Институт благородных девиц. А сейчас – во времена неизящные – Бандалетова – ходила в изгоях. Крадучись, чтобы органы дознания не почувствовали в ней такт воспитанной на высоких идеалах женщины. А если так, то можно везти в подвалы НКВД для поломки костей.

У Бандалетовой были изящнейшего рисунка веера. С заморскими странами на кратком рисунке – с необыкновенного тонко прописанными веерами, сфинксами.

Бандалетова была из господ, из того аристократизма, который составлял, должен был составлять честь любого нормального государства. Но только не в СССР двадцатых, тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов.

Но Бандалетова спасалась в Абхазии от смерти, от уничтожения, когда к власти в России после революции пришли хамы в свинском обличье, и стали быстро нажираться в свинском хлеву.

И поэтому господа должны были исчезнуть, чтобы потом не стать свидетелями узаконенного бандитизма на мраморе, на мрамор истории.

"НО ЕСТЬ, ЕСТЬ БОЖИЙ СУД, НАПЕРСТНИКИ РАЗВРАТА.

И нынешние дельцы тоже: "ИЗВЕСТНОЙ ПОДЛОСТЬЮ

ПРОСЛАВЛЕННЫХ ОТЦОВ».

Николай – Марии

Апрель 1942 г.

"Дорогое, незабываемое гнездышко соловьят! Помните меня, дорогие птенчики! Не забудьте своего папу, который вас крепко любит, хочет быть с вами всегда. Дорогая Марочка и мама, никогда не забудьте меня. Я всегда с вами. Чтобы со мной ни случилось, мое сердце будет рваться к вам. Пусть это будет чудно, но ничего не могу поделать, ничто не сможет меня удержать.

Сынурка Костик, может быть, ты когда-нибудь этот клочок бумажки возьмешь в руки. Это пишет твой папа, который крепко тебя любит и хочет быть с тобой всегда.

Елечка, твой папочка тебя хочет видеть, он сильно скучает, ты его не забывай. Он тебя целует и обнимает.

Пишите чаще, будьте здоровы, не болейте, берегите здоровье сейчас как никогда''.

ПИСЬМА ИЗ ЧИСТОГО ВРЕМЕНИ

"Фронтовые треугольники. Письма моих родителей. Они сами и их лик. Лик великого и благородного времени. Великого потому, что родители любили друг друга.

Всего около двухсот писем получила мама от отца с фронта. Я их помню с самого раннего детства. Огромная кипа писем перевязана голубой тесемкой. Эти письма всегда со мной, во мне. Время, как подножие холма, подбирается к реке, а там мои пальцы , мои руки, мои плечи. Возле реки сижу я и перебираю пожелтевшие письма. Слог за слогом прочитываю. Я буду читать эти письма всю жизнь. Эти письма пропитаны нравственностью, из писем пульсирует человек с благородной душой. Этими письмами отца с фронта я окружил свои дни, они для меня как защита, как рубеж. Отца давно нет в живых, более чем сорок лет назад он убит. Но как бы то ни было, какой бы я ни был взрослый – я все равно ощущаю свое сиротство без отца, которого мне так и не довелось увидеть на земле. И когда мне бывает особенно горько жить, я вызываю видение, от меня начинает расходиться поле боя, осень

одна тысяча девятьсот сорок третьего года, та осень, в которой погиб мой отец, распластался, как на поле желтеющем. Погиб или остался жить на осени или на реке, которая его поглотила. И река или поле вывели, высветили себя до дна, до края света предвестиями, подняли мощные воды, предначертали первую азбуку: "... СКОНЧАЛСЯ ОТ ТЯЖЕЛЫХ РАН...'' Склониться над нескончаемой раной. Подождать. И тело отца, и поле, и река уже поросли пшеницей. Она такая скорбная, строгая. Потом уходит, растворяется хлеб, пшеница: и на груди отца, на груди поля появляются письма. И эти письма сначала слетают. Потом замерли, замирают на груди отца, как некие холмы. Я подхожу к ним, присаживаюсь, начинаю разбирать. Незаметно для меня вырастают деревья, кустарники, травы. Проходят годы, а я не знаю об этом. Я на берегу реки среди желтых кувшинок. И письма, уже пожелтевшие, легко читать в запахе хлебов, и зноя, и весенних ветров. В окружении незабудок».

«Письма написаны на картоне, на оберточной бумаге. То химический карандаш, то простой, то чернила. И ничего не видать, не прочитать, если не прислонить письма к свету, на свет, например, окна. А ждать уже нельзя, невозможно. Тяжелит совесть. Есть письма отца, а о них никто не знает. Был и есть великий в своей простоте человек. И нельзя, чтобы он исчез. Мне до отца никогда не дотянуться. Поэтому хоть каплю для мира должен же я оставить о своем отце. Отец дал мне жизнь – поэтому он не может быть уже в тени. Отцы всегда должны быть больше своих детей. Я читаю письма отца и вижу в них опыт нравственный и бескорыстный.

Письма изъедены временем. Возможно, мышами. Их много развелось в домах во время войны. Так и отсекали буквы драгоценнейших писем. Но я все равно вижу отца. Отец умница был – о потерях и ранах не писал. Жалел родных, жалел и щадил. Он не хотел, не мог просачивать в письма боль. Он хотел остаться на земле до последнего мгновенья веселым и радостным человеком. Из всех писем – их сто девяносто семь – только в двух описание горя. Да и то не о себе. Он так и жил, и воевал, как будто знал. что любовь к моей матери, к нам, к своей матери, к земле – делает его неуязвимым.

«Отец хороший был, – говорит мать. – И хотя мы с ним прожили довольно долго, он, как и в начале нашей любви, каждый выходной поднимался в горы и приносил домой колокольчики. Все сажал под моим окном, под нашим окном. Когда его взяли на фронт, я совсем было умом

рехнулась. Но были вы, мои дети, была молодость, и нужно было жить. Хозяйство с бабушкой вашей стали вести. Землю в горах нам выделили. Много тогда работали. Спускаюсь тогда с гор, за спиной мешок с картошкой, руки потрескались, черные, кровоточат, ноги кровоточат. Раньше что было из обуви? Калоши «Сухум – Сочи», длинные такие, лодочкой. Сейчас удивляюсь, как все это выдержали?! Как картошку сажали, как скотину смотрели. И виноградник на нас, и сад, и огород. И все это надо было собрать, реализовать, произвести в дело. Обменять на хлеб, на мыло, на синьку. Фрукты сушеные выручали, хорошо. Пастила из инжира. Так раскатывали ее по столу – получались тонкие, прозрачные сладкие полоски. Отец всегда просил с фронта, чтобы я присылала. Я тогда часто стала на базар ходить. Вы маленькие были. Вас надо было кормить. Вся молодость моя с вами. Без вас я бы не выдержала, не выросла бы до матери. Я вам всем обязана. Бедно тогда жили, но чисто, здраво. Ничего не было, а были счастливы. Спускаюсь тогда с гор и плачу, плачу. Бабушку нашу вижу издалека. Она ведет вас за руки встречает меня. У подножия гор стоит, на открытом месте чтобы я вас издалека видела, чтобы легче было идти, чтобы крылья вырастали. Был свет, было много сил. Сейчас думаю – откуда? Ведь недоедали, недосыпали всю войну. Сейчас все есть, а сладости нет. Или это оттого, что прошел тот возраст, когда все было впереди?»

Я могу записать все слова матери, все ее дни, все ее ночи. Но я все равно ничего не узнаю, не знаю о них. Не пойму то огромное внутреннее напряжение, что перенесла мама во время войны. Я понимаю только, что там все шло на самоотречении. Я только вижу мозолистые руки, чашки с детской кашицей, загорелые руки мамы, рыбу, поджаренную просто на горящей сковороде, без жира. И рядом записка, бумага в клеточку, и все стерто, стерто.

Я представляю тот зной, то поле, где остался лежать мой отец. Там обрывы и высокая трава. Там небольшая деревенька со стенами из ракушечника. Деревенька эта в Харьковской области, Алексеевском районе, и зовется она Ефремовкой. Там окопы и выцинявшие гимнастерки солдат. Там все солдаты в длинных гимнастерках прикрыли землю, чтобы ее не пробили снаряды. Так и остались. Там нет деревьев. Там нет тени. Поэтому там невыносимо скорбно. Там обожжены все лица.

Все письма отца, письма. Он присылал их, и мать их сохранила. А писем матери — нет. Она их присылала отцу на фронт, и они не

вернулись. Остались на его груди. Замерли или давно превратились в птиц. Но, так или иначе, письма матери, за исключением двух-трех, до меня не дошли.

Ощущение горя, света и той разницы, далекой и горестной, что так и не видел отца. Но подсознание помнит, но я помню. Идет по дорожке высокий русый человек. Светлый, улыбчивый. Вечер. У отца в руках железный ящик из-под инструментов. Отец – жестянщик».

МАРИЯ

Марии уже под шестьдесят. Она на пенсии, но по-прежнему работает ночной няней в круглосуточном детском саду. По-прежнему неугомонна. Помогает детям и материально, и готовит, и внукам все тащит. Пропадает на базаре. Ее весь город знает. Если идти ее детям по городу и говорить, чьи они дети, сын или дочь, все заикают головой: «Знаем, Марию знаем. Такая красивая женщина». У Марии всегда есть чем торговать: аджика, пакетики лаврового листа, эвкалипт, мандарины, облепиха. Ее доставляет Петр Григорьевич. Берет корзину, едет на автобусе к реке Бзыбь, там облепиха растет на каменистой почве. Такое гибкое дерево, как осина. Петр Григорьевич, брат Николая Григорьевича, набрасывает на ее верхушку-петлю, надевает на ноги когти из железа и влезает. Однажды очень расстроился, когда увидел, что какой-то охотник спилил под корень три дерева облепихи, снял ягоды и бросил на произвол судьбы деревья. Один раз попользовался, а так дерево плодоносило бы много лет. Пришлось уйти от этого места, чтобы не подумал, что деревья мог срубить Петр Григорьевич, пролетарий.

Петр Григорьевич любит бывать на базаре у Марии. То одно поднесет, то другое. Идет по дождю, по снегу, по солнцу – тащит товар. Ни Мария, ни Петр Григорьевич книжек не читают, живут натуральным хозяйством. Однажды было сказано ими: «Это такой край – наши места, что без книг человек научается всему». Мария любит скучать на базаре с такими же, как и она, пожилыми женщинами. Собирают в себе весь короб сведений о городе. Где кто женился, кто развелся, кто без мужа прижил ребенка...

– Вон идет красивая девчонка. С нею живет мой родственник. Прижил с нею сына. Стопроцентная девушка. А родственник не может ввести ее в дом к себе, потому что мать его не хочет. Ее абхазы

воровали, хотел один на ней жениться, она убежала.

Как-то вечером Мария сидит на кухне, печь жарко топится. Мария зашивает пакетики полиэтиленовые – закладывает лавровый лист. Завтра понесет продавать. Казалось бы, легко засомневаться в образе жизни этих людей. Не читают, не пишут, в кино не ходят. Целиком сосредоточены на своем хозяйстве, доме, саде. Так сидят со стариком разговаривают, а руки всегда что-то делают. Старик сегодня занят мышеловкой – очень своеобразной. Какой-то ящик, к нему подвешивается кукуруза, чан с водой – куда крысы и мыши будут падать. Потом бросает это занятие – белит, красит, вешалку прибивает – потому что надоело ему видеть свое барахло вечно разбросанным по кухне. Никогда не найдешь к сроку. Вечная работа по дому, а дом все равно чахнет. Или проклятие какое? Сделал одно-два, видишь, сгнило.

Руки у стариков до всего не доходят. Трое детей взрослых – ни один по-настоящему рук не может приложить к дому. У дочери своя семья, двое детей. Младший – прижитый с Петром Григорьевичем – где-то в Улан-Удэ, на каких-то курсах учится на парашютиста, специальность – охрана лесов. И всему этому делу нет применения дома, на родине. Старики все делают для детей своих, а у детей уже свои дети. Старикам уже на век с лишним хватит всего, а они не бросают забот о жизни — и детям надо помочь, и если бросить все – держаться не за что. Ради чего будет жить только отдыхающий?! Только делом жив человек.

Мария сидит на кухне, ожидает снегопада и наводнения. Ей это сегодня напророчествовали на базаре. Помнит Мария наводнения тридцать восьмого года, сорок четвертого, сорок девятого. Когда весь город плавал, все дома были по колено в воде – перемешана вода морская и пресная. Плавали вещи по комнатам, по улицам, люди отсиживались по деревьям. Мария с детьми сидела на шелковице – высокое было дерево. Жалко, пришлось спилить, потому что оно и постарело, начало гнить.

Но не особенно горевали – рядом было другое дерево, поменьше, но с годами оно вошло в силу, и внуки теперь собирают под ним ягоды.

Хорошо и вздремнуть под шум вечера, под подходившую воду в чайнике. А руки все делают, делают пакетики. Очнуться, вздрогнуть, припомнить сегодняшнее гадание.

...Мне неизвестная женщина гадала. Меня она не видела. Ей про меня рассказали, про мою тяжелую жизнь. И вот что мне выпало: ошибается, наверно, но все равно. Как будто я буду жить, век доживать со старшим сыном, с Костей; Петр Григорьевич еще пять лет будет куролесить, пить, буянить и сойдет с ума, или его парализует; дочь через два года здесь жить не будет – они уедут. У старшего сына будет сын, а младший сын вообще не будет жить дома, завеется на чужбину, и там ему понравится, на севере, там и останется...

Старшему сыну уйти спать. И еще долго горел огонек в кухне у Марин. Казалось, сквозь ночь все просветит и победит этот очаг материнского доброго хлеба.

Утром проснуться, увидеть длительный слой пушистого снега. Лежит высокое покрывало на земле и греет. Греет деревья, кустарники, горы. Побежать на море, увидеть покрывало из снега и там; но услышать прибой, рокот волны – мягкий, вкрадчивый, непобедимый. Этому полотну снега остановиться перед морем, оробеть и теперь весь день, пока не проглянет солнце, ждать, как полотно обильного снега медленно жует море, неприхотливая вода жизни. Чуть посмотреть на город в снегу, на дымки, на приют. И в стенах домов, в садах люди что-то делают, чтобы не умереть, не разложиться от праздности. А дел всегда непочатый край. Делать одно – пусть и разваливаются два. Потом поймут неукротимость человека-труженика и начнут уступать прозрению – тому, что скоро рухнет дом. Наоборот, восторжествует забота о себе, о детях своих, и о продолжении земли.

И нет ни снегопадов, ни наводнений, ни ужасов – пока матери ворочаются, поддерживают очаг – очаг дома, очаг судьбы.

А Мария выйдет на крыльцо, утрется снегом и пойдет на базар – она знала тяжелую жизнь: голодовку, тридцать третий год, малярию – в Абхазии, когда у нее за год умерло девять душ семьи, знала Мария войну и потерю любимого мужа; остаться ей с двумя детьми малыми. Знала только труд, труд, труд; знала, что такое продавать синьку на базаре во время войны.

И сейчас идти на базар, чтобы детям своим облегчить дни. Пусть им не знать лишений и воздыханий. Поэтому и мучается Мария. Стоять уже по щиколотку в беспредельно чистом море.

О ПЕТРЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ, ПРОЛЕТАРИИ

Льет всю ночь, все утро дождь. Городишко на берегу Черного моря. Здесь зимой всегда так: когда в горах идет снег, в долине – дождь. И снег длится с горах ровно столько времени, сколько идет в долине дождь. Ровно, ровно стучится-стремится век, год, год. Весь в памяти о жизни, о предстоящих днях.

Сидеть Петру Григорьевичу в жарко натопленной кухне, пинцетом отрывать ягоды облепихи от колючих веток. Облепиха чуть сморщилась от долгого лежания. Или от зимы. Петру Григорьевичу облепиха достается недешево. Ходить ему целыми днями вдоль реки, по лесу, высматривать это высокое тонкое дерево. Приспособлениями пригибать облепиху к земле, надрезать мелкие ветки, наполнять корзину и нести домой. Там складывать в верхней комнате – ждать покупателей. Мария, жена Петра Григорьевича и мать Кости, в это время на базаре. Всегда находит чем торговать. В пакетиках лавровый лист, сушеная хурма, мандарины, потихоньку – чтобы не видела дирекция базара – чачу крепкую – аж слезу вышибает. Однако главный доход – облепиха. Вчера отдыхающие из пансионата заказали семь килограммов.

Дядька Кости радуется, энергично обрывает пинцетом желтую ягоду.

– На экспорт работаем.

Входит Костя, весь мокрый. Только что купался под краном. Можно было пойти на море – но сегодня ливень на улице. Пока дойдешь до моря – промокнешь.

Дядька снимает очки, подвязанные за дужки веревкой.

– Вот ты показывал письма отца, брата моего, в редакции. Не понимаешь ты ничего, когда и что нужно. Это же письма с войны – значит, лучше всего подойдут ко Дню Победы...

– Или к революции?

– Да. Ты там привел, что, когда отец твой шел по полю, в ранах людей кишели черви, а человек еще жив. Ты еще жизни не вкусил. Когда идет эшелон – тринадцать-четырнадцать вагонов, – вонь страшная оттуда. Кричат: «Помогите!», плачут, стонут. Эшелон с ранеными идет в тыл. А в ранах у солдат уже черви кишат. Белые такие черви. Солдат кричит, а черви – это прежде всего дезинфекция. Черви не дают ране гнить. На фронте всем известно: если на ранах черви – значит, рана неопасная, значит, не затронуты центры, центральные нервы, центральные артерии. Значит, вернее всего, будет жить. Идет состав – кишит, гноится смрадом. Немец может вот-вот догнать, санитары, врачи половина убиты.. Когда долго стоят на позициях, эти перестрелки пока перейдут в руки врага или мы возьмем их. И тогда раненых много, они спешат к дороге, чтоб их подобрали. А что их подобрали? А что их подбирать? Когда? Если войска пошли на прорыв. Сутки, бывало, ждет солдат – голодный, умирающий. И немцы тоже стоят раненые или лежат – ждут санитаров. Столько пережито... Стоят через дорогу и никого не трогают – не до этого. Пять метров расстояния, ждут спасения...

Костя идет, ставит чайник. Петр Григорьевич подходит сзади, трогает племянника за рукав:

– Бабушка твоя, моя мать – неграмотная была, а какие песни сочиняла. Мать моя как Пушкин была. – Стоит дядька под дождем с улыбкой и напевает: – «Вот идет Петруша – веселый трубочист. Хоть собою черен, но душою чист...» Я тут недавно у Ашхен печку чистил – четыре ведра сажи вытащил. Три года печка и трубы не чистились.

Войти в кухню, держать в руке пинцет и до вечера чистить облепиху – на завтра заказано семь килограммов. Надо спешить. А люди те, что живут и просят облепиху, отсюда далеко – в Курской области. Может быть, в тех краях, где шел во время войны тот эшелон тяжелораненных, – куда сейчас пойдет эта ягода, облепиха. Полезный продукт – останавливающий опухолевые заболевания.

На столе – початый стакан чачи для поддержания духа.

– Ты, писака, все шпаргалками пользуешься, а Пушкин, что такое списывать, – не знал.

– А Лебронтов? — Дядька Кости, вместо Лермонтов, говорит Лебронтов, и Костя ему подражает.

– Лебронтов не стоит Пушкина.

– А Некрасов?

– Не стоит.

Других писателей Костя больше не перечисляет, потому что дядька больше никого не знает. Лет сорок уже не читал книг. «Что делать? Читает тот, кто ничего не знает. У кого пусто в голове. А я и без прочитанного, – все знаю наизусть».

Костя перебирает в голове, кого бы дядька мог еще знать из выдающихся людей. Вспоминает, произносит: – А Иисус Христос? Лучше Пушкина?

– Это совсем другое. Другое качество. – Долго обрывает ягоды облепихи. Думает. Отрывает глаза от ягоды, смотрит на племянника. – Христос – коммунист. А Пушкин не был коммунистом. Если напишешь это – убью.

Петр Григорьевич шутит. Отпивает глоток чачи и продолжает свое занятие.

– У меня где-то есть термометр, внизу кругляшки ртути, или не знаю, как там это серебро называется, что внизу. Если опустить в чачу – сразу покажет, сколько градусов. Но меня сейчас не это тревожит. Вот видишь на окне двухлитровый баллон с перемолотой облепихой. Видишь, жир всплыл, вода осталась на дне. Масло облепиховое совсем не в косточке, как ты говоришь, а в мякоти. Я потом клизмой воду высосу. Дальше – я только знаю, какие буду добавлять специи, чтобы масло получилось первоклассное. И я буду последний гражданин Советского Союза, если не добьюсь своего.

Декабрь 1975 г.

Таня — Артему

Таня – дочь Елены. Тане одиннадцать лет. Пробежит, промчится, осядет память, настигнет. Памяти – тридцать лет. Память коснется, приблизится к отцу Елены и Кости. В 1942–1943 годах он писал, написал очень много писем своим детям с фронта. Потом отец погиб. Дети осиротели и без писем и без отца.

И это письмо своему дяде – Артему: «Здравствуй, Артем! У нас погода хорошая, еще есть дроздики. Наверно, с гор спустились, ведь на горах снег.

Котик купается под краном, а иногда на море.

Закончилась вторая четверть, началась третья. Я учусь в первой смене. Меня мама перевела в 5 «А», а я была в 5 «В».

Мы без тебя скучаем. Ты напиши, какого числа ты приедешь.

Дед сначала не пил, а теперь сегодня опять выпил.

Артем купи, если сможешь, джинсы клеш. Клеш – 25 см. Купи джинсы, если будут башли, то есть деньги. Мой рост – 3-4, размер 36.

Артем, прочитай, что меня научил Котик:

Маленький лапчонка
Имеет Карапет.
Целый день торгует –
Три копейки нет.

Понедельник, вторник,
Среда, четверг.
Пятница торгует –
А субботу нет.

Жду ответа, как кукушка лета.
Бабуля скучает за тебя, переживает».

Эту песенку Котику поет – бабушка Ашхен Казанджян, беженка из Артвина, из Западной Армении.

«Тогда, в 1915 году турки убили полтора миллиона армян. Геноцид меньше чем через тридцать лет устроил Сталин всему населению СССР, а Гитлер евреям и цыганам. Но немцы перед евреями хоть как-то оправдались: лицемерно предоставляя евреем немецкое гражданство, чтобы потом растерзать и скокожились, а перед цыганами не оправдались, хотя цыганы достоины гораздо больше привелегии. Цыганы народ более магический, чем евреи, а владение магией лучшее оправдание нации. Цыганы владеют магией как никто на земле и поэтому цыганы должны всегда должны быть впереди, цыганы всегда должны иметь предпочтение и преимущество. Потому что как никто прислушаны к далеким космическим протуберцам, к далеким космическим символам, которые недоступны другим современным народам и расам.

Цыгане – из тех народов древней Индии, которые создавали, создали основу философской, поэтической, магической мысли мира, когда античная Греция еще и не начиналась. От фундамента индийской философии учились и Анаксагор, и Гераклит, и Протагор. И в этих учениях древней Греции – столь прославленной, – есть капля и процыганской крови. Только цыганская кровь более натружено-сморщенная-багровая, более сосредоточенная в темнеющую фиолетовость. И вот именно эту процыганско-философскую струю почему-то замалчивают. Видимо, какая-то сверхзадача, сверхцель преследует цыган, цыганский народ.

Всячески прячат его только под темные зарницы, под темные сполохи.

Цыганы и сербы (славянские древнейшие племена, народы) – наиболее подвержены, приближены к тонкой мантии мира, поэтому преследуемые особенно. Наиболее абсолютное большинство людей не любит тех, кто умнее их. В этом абсолютная ущербность человечества вообще, и поэтому такая аморфное, уничижительная среда, такое аморфное человечеству предназначение. Из древней истории было всегда известного и произносимо при определении судьбы, будущего или угадываемого прошлого: « – Вы кто? Цыганка или сербиянка?»

– Сербиянка...»

И это было как высший знак. Как высший ореол предназначения и истины.

Вот поэтому дикари и убивали просвещенные расы, просвещенные народы. Вот почему турки и убивали армянов в особенно рьяно в 1915 году. Вот почему церковники убивали просветителей. Вот почему сожгли Джордано Бруно. Вот почему энкэвэдэшники во главе со Сталиным убили Бабеля, Мейерхольда. Мандельштама. Зарудина, Артема Веселого, Вавилова, Горького, Флоренского, Пильняка, Шаламова. И еще десятки миллионов ни в чем не повинных людей. Убили для того, чтобы на свете жило как можно больше зараз, заразы, чахотки, сифилиса, приспособленности, чумы.

Вот почему многим неудобны цыганы и сербы. Вот почему их преследуют, изгоняют со своей родины, где они жили тысячелетиями. Вот почему в Косово живут уже только захватчики-албанцы, которые появились в Косово всего сто лет назад.

Не любят цыганов и сербов потому, что они пророки и провозвестники. «Нет мира в своем отечестве». И еще касательно сербов. Во время Великой Отечественной войны немец обрушил на СССР, на Россию сто семьдесят дивизий в 1941 году. В это время уже шла война немца в Югославии, где началось народно-освободительное движение против немца, против фашистских дивизий. Основу сопротивления Гитлеру в Югославии составляли сербы-славяне. Против Иосипа Броза Тито воевало тридцать немецких дивизий.

СССР едва выдерживал напор ста семидесяти немецких дивизий. Судьба СССР, судьба России висела на волоске. «Было все на кону». И сражение под Москвой и в Сталинграде.

И если бы не Югославия, если бы не сербы, если бы не их героизм и самопожертвование, если бы сербы не приковывали к себе отборную мощь тридцати немецких дивизий – с Россией было бы покончено. Если бы – не сербы эти тридцать немецких дивизий пришли бы на помощь ста семидесяти дивизиям, которые фактически уже прорвали горло России, горло СССР.

Но об этих спасителях сербах, спасителей из Югославии в России стараются не вспоминать, стараются замалчивать всячески.

Сербы во главе с Иосипом Брозом Тито спасли Россию. Но когда спустя пятьдесят лет Запад и США утюжили Сербию, утюжили Югославию, когда Болгария утюжила своих братушек, предоставляя свои аэродромы для преступников-вурдалаков из США, из Запада – Россия и пальцем не повешельнула, ни одной своей дивизии не бросила на защиту тех, кто когда-то спас ее от уничтожения, от изнасилования. Вот и вся короткая историческая память современных вурдалаков из России. Вот и вся история для всего мира, когда президентами великих государств избираются те, кому не под силу, не по плечу быть начальниками и туалетной сельской команды, . Это, когда во главе Росии стоял вурдалак Ельцын. Который десять лет уничтожал свою праматерь, уничтожал государство СССР, которое его и вспоило и вскормило. И к позору русских людей, не разглядевших этого нетопыря при голосовании его на пост президента.

Вот и вся благодарность проходящих поколений. «Известной подлостью прославленных отцов».

Когда из Косово изгоняли албанцев, которые прожили в этом краю сто лет – весь мир возмущался.

А когда албанцы вместе с американцами выгоняли из Косово сербов, которые прожили в этом крае пять тысяч лет – весь мир молчал.

– А сколько албанцев было изгнано?

– Тридцать тысяч.

– А сербов?

– Двести тысяч.

Из встречи Президента России и Президента Сербии.

16. XI. 2005 года.

"...Венгря официально воевала против СССР на стороне Гитлера, участвовала в окупации Югославии, при этом на землях, населенных сербами, венгерские солдаты отличались редким зверством..."

"... Значительная часть сербского общества с восторгом восприняло известие о появлении российских кораблей в Средиземном море...", чтобы защитить Сербию. Это когда во главе России стоял президент Путин.

Остались же в России люди, спасающие честь славян, хотя многие славяне Восточной Евррропы уже впали в спячку под американским трамбон.

«В БЕЛГРАДЕ УЧАСТИЛИСЬ ВЫСТРЕЛЫ В ПАТРИОТОВ»

Югославия еще не пришла в себя после убийства 15 января легендарного Желько Разнатовича по прозвищу Аркан, командующего подразделением «Аркан» («Тигры»), которое отличилось защищая от геноцида сербов и в Боснии и в Косово. Чтобы ни говорили враги Югославии, в народной памяти Желько – Аркан останется истинным юнаком, героем без страха и упрека.

А 7 февраля в самом центре Белграда в результате дерзкого террористического акта убит министр обороны Югославии Павле Булатович, один из ближайших соратников Югославского президента Слободана Милошевича.

Убийством Павле Булатовича брошен самый серьезный политический вызов Слободану Милошевичу со времени его прихода к власти в 1987 г. Павле Булатович был одной из ключевых фигур нынешнего белградского руководства. Он черногорец и занимал в развернувшихся в Черногории дискуссиях такую же принципиальную позицию, как и бывший президент Момир Булатович, отстаивавший, вопреки прозападному курсу нынешнего черногорского лидера Мило Джукановича, братство и не разделение Сербии и Черногории..»

«..Что ж. если президенту США угодно, пусть попробует чиркнуть и этой спичкой по балканской пороховой бочке! Но пусть он знает: не перевелись в сербском народе герои, подобные легендарному Хайдуку Велько, сказавшему великие слова:» **главу дајем, Крајину не дајем».**

(Крајина – родина)

Никола Живкович. В Сербии вышла книга о генерале Младиче – « Юнак Ратко».

«Советская Россия» 18.2.1997 года.

А когда-то славяне Восточной Европы жили одним крылом, шли единым сдвоенным центром, шли из единого славянского царства. В частности, когда боролись против Гитлера, против немца. Даже есть югославский фильм о войне «Велосипедисты», где от склона солнечного холма плещется обелиск»: «Пал за Чехию, пал за Сербию».

Но потом всех восточных славян, кроме сербов, поманил сладкий каравай только утробного насыщения.

Как настойчиво и гордо вот уже на протяжении тысячелетий живет в сербах непроницаемое лезвие кинжала, непроницаемое лезвие чести и мрамора.

Сербия (Косово) – это последняя амбразура, последняя цитадель концентрированного древно-славянского мира.

Поэтому так плотно сосредоточились над этой твердыней враги.

Даже ночи не спят над этим смыслом.

А когда-то в двадцатых годах двадцатого века, когда босяк с просроченным горлом уничтожил лучшую интеллигенцию России, Российской империи в лице «Белой гвардии», – именно Сербия приютила на своей земле лучшие полки России.

Это еще раз о том, что России нужна монархия, это еще раз о том что наследников престола нужно готовить, научать их культуре, знанию, просвещению, научать будущих монархов, будущих царей – порядочности. А не брать со стороны. Не выдергивать из общей массы вурдалаков-олигархов, наворовавшей миллиарды при общей, на общей смуте. Ведь все, что царская династия Романовых завоевала при огромной жертве российских солдатушек – правительство России конца двадцатого века распустило, пустило по ветру, на ветер. Все завоевания, все территории, всю Азию, всю Европу. Вот следы наследования когда-то великой России – оброненное на сейчас.

Вернуться снова к цыганам – провозвестникам. Кому-то очень удобно представлять, подставлять цыганов только бродячим, только шатающимся, только кочевым народом, только лудильщиками, только конокрадами, только шатровым, только таборным народом, рядящегося под разноцветные башлыки.

В то время как в цыганах живет величавая, величественная раса. Тяжелая загруженность расы с просвечивающимся кристаллом, с просвечивающимся бриллиантом.

Вот мурло поэтому и не просвещаемо

В растительном мире – рост, в животном мире – рост. Уединение. Шумит, шум рек. Беспредельно во взгляде, беспредельно в роскоши, в природе. Но попасть к заветному холму – к ровному состоянию, но не сбить перепадов сердца, перепадов снега, перепадов лет. Мягко звучать, вкрадчиво, при долине цветов. Много их и в горах. Как попасть на скелет козленка и долго нести его череп. Может быть, оживет на руках, запульсирует кровь, прорастет шерсть. И случится из того подобия, что начнет преобладать тело, грудь, ноги, копыта. Услышать блеяние. Поиск матери. Ей и отозваться. Это из тех случаев ясновидения, когда рядом с милосердным сердцем, из милосердного сердца начнут приближаться части тела, ранее разлученные. Холодно, дует ветер. Укутаться в плащ, долго идти к вершине, чтобы обозначить ее. Чтобы был знак, откуда покажутся спутники из тех, кто не замерз, выжил. Кто жил при душе и плавно огибал фиорды. Начаться мощной реке, чуть не сбивать с ног, когда вынужденно переходить ее. Привязаться веревкой к дереву. Последний уже на том берегу отвяжет веревку, обвяжет ее вокруг пояса, войдет в реку. Его подхватит течение, но кто-то держит стремя, потянет. Подробно передать мох, густоту поймы, трясину. Лист лежит на листе, хвоя к хвое. Желтеть стволу. На свете золотисто, прозрачно знобко. Промыты стволы, шаги. Дерево к дереву. Вот и промелькнул олень. Постоял в глубине чаши. Соединить, вызвать к реальности дух, душу предмета. И по движению духа составить очертание вещи, состояния. Достаточно вызвать движение что застыло здесь когда-то, чтобы ожил медведь, волк, косуля. Чтобы ожила девушка с золотистыми волосами. При мокасинах, в пироге. На сиденье кожаный мешок. В нем вяленое мясо, мука. Проплыть вдоль порогов, мимо. И впитать ее зеленоватой мгле. Принял ее ледник, наледь. А дальше нет пути для непосвященных. Для тех. кого не помнит, не знает лес, чащу, деревья, водопады пещеры, норы зверей, гнезда птиц. Можно просто пройти и ничего не обозначить, потому что только пришелец. Только невнятно привнес насильственные следы. Конечно, чужой для всех. Поэтому из лица природы, в лоне матери-природы пуще всего ценить и дорожить аборигенами. Они не выжгут, не уничтожат заливы. Потому что залив, айсберг, стойбища, рыба, льдинки, моржи, тюлени составлены из пребывания в них людей, старых знакомых, любимых. Здесь фиорд осознал себя впервые с посещением босой ноги мальчика. Здесь услышал голос о себе. Внятно ожил себя. Именно

ожить.

А мимо берлоги,
Что сердцем на горе назвали –
Олень златорогий
Уносится в горы и дали...

Здесь о судьбе всех племен, всех времен, всех народов.

О расставании. О самом сладком, сладостном ощущении, когда не остается жизни. При вступлении сумерек, когда задрожать, затрепетать. Северных рек свечение. Когда сухо, когда не шелохнуть прохладе, листве. Стоять твердо, неколебимо. Видеть удивительно изящные ступни, ноги. Пройти в прошлое, возле дождя. Конечно, не догнать. Проститься холодно мореплавателю с любимой и сейчас женщиной. И не повернуть голову вслед. Не было и нет. Нужно еще успеть к следующему продолжению, к началу. А то если растянуть – можно прособачить след. Наступить на сердце, замять его в сторону наслаждения. По крайней мере по отношению к этой женщине. Так, конечно, вести среди различных странствований. Уезжать, оставлять метами, меты. В глубине фиордов, при стойбище стоит – и стоять дому. Там судьба, опора. Там женщина устала зарабатывать на хлеб иголкой. Сшивать шкуру зверей, выделывать. Шить одежду для рыбаков, для охотников. В воде если перевернуться в такой одежде – не замокнуть. Уйти струе от поверхности к глубине моря, океана. Не особенно горевать, потому что быть привычным к ненадежности, неопределенности женщин, склонных к канительству. Перебирать кусочки земли и просовывать в игольное ушко. Неизвестно зачем. Но не достать. Поэтому протянуть чернозем через игольное ушко, предварительно настояв в дожде.

В порывы, в набеги солнечных ветров медленно терять инициативу. Но в свирель сосен, надежд. Так далеко зашло, зайти, так вольно распространиться, что все равно вытянуть волю. А потом так уже нужно связать, провести линию к желтеющему мху, ко двору, к стойбищу, к покоям, к фиорду, где не видно; не видать постороннему, ненужному глазу. И в такой жажде повторить любимую историю, любимую притчу об усыновлении мальчика из индейского племени тлинкитов, чтобы передать ему все будущие секреты и способы, которыми более цивилизованное в подлости общество начнет сживать со света

чистейшие души аборигенов, предварительно загнав их в резервации. А так прозрачно, утренне на альпийских лугах, когда далеко внизу курится долина, синеет река как греза. Разбить хижину из леса, выбрать жерди. Поставить навес. Коптить сыр, мясо оленей. Жить возле ручья пробегающего. В спокойных местах брать рыбу руками, нанизывать на упругие травы, молочные. Хорошо перемешать молоко козы и этих лечебных трав. Жить тихо, загадочно у ранчо. Никому о себе не подавать вестей. Насладиться уединением, покоем, при беседе с небом. И услыхать про музыку небесных сфер. Что ее звук слишком высок для нашего, человеческого слуха. Абсолютно разный тон, иная конструкция. При заключении о том, что так же для нас естествен шум листьев, пение птиц, поверхностный гул прибоя, пение кузнечиков, как и для существ неизмеримо более высоких, чем мы, для почти богов естественна и внятна музыка небесных сфер. И удивиться своему незнанию. А рыба, которую человек берет руками или уничтожает насильственно, а олень, а деревья, а ручьи слышат и живут в соответствии с небесной музыкой. В любом случае там гораздо больше не утраченной связи, прямой и непосредственной, чем между людьми и небом. И все, что на земле внешне подвластное, – только средство для приобщения. К тому, о чем грезить так же далеко, как не грезить. Как в сказках о том, кто понимает язык птиц, язык рек, язык огня – «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что.'' И как раз завьюжили снега, снега, и кто-то родной, близкий показался из долин. И еще о том, что достаточно посмотреть на мир несколько минут, чтобы выбить на камне, из мрамора тысячи страниц своего мнения о жизни. И не нужно будет разбивать, раздвигать чрево природы, чтобы выйти наружу, на чисто поверхностное существование.

Опять в тоске по любимой и поэтому каторжной местности. И плещется море пути. Медленно настраивать тон, покажется мыс от абсолютно чистого состава. Когда ломать в руках жидкую соль. Не завестись гниению. Всему пробыть, как было вначале. Когда еще не было познания об уничтожении. Так сворачивать исподволь, и кое-что может уйти. Хотя и не так ленится тело, волна. Каменный пол, здание, корпус при зное, в зной. При виноградной лозе, при глицинии. Когда вдеть колодец в середину двора. Вокруг окружение, дом правителя. винодела, привратника надстройки. Вблизи моря, волн, долины всегда

свежий, без накапливающегося пота после земледельческих работ зной. Подсобные помещения. Вывихнутый позвоночник древнего ящера никак не может поднять двор, проломить его, чтобы выпрямить спину в наши дни. Перегородить все дороги, все свалки и быть непроницаемым, непробиваемым. Только концы хряща шелестят. Старая шкура слезает, ждет. Далее провести исследование при судорожном дыхании. Потому что прорвалось солнце и залило, как магма, которая застыла в лощине между предгорий. По лаве прошли волны, стражникам осмотреть владения. Да и нельзя было протягивать познание, чтобы видеть как летят кони восточных народов, варваров. Когда все глотать и в гортань, и в чрево, и в болота, – лишь бы не жило произрастание и нечего было есть. А то, что они сами умрут, варварам и в голову не приходило. От веры в высокие состояния, что небо хоть что-нибудь да отпустит. Тем более хорошо видеть воинов, переправляющихся через реки на бурдюках. Воинов-завоевателей подстерегают хищные рыбы, полосуют рыбы, полосуют ноги, обутые в кожу, и в волнах, у победы качается только корпус тела. И можно прекрасно ползти или ходить на руках. Меч и щит держать на уровне экскрементов, на уровне испражнения. На уровне дикого логова. Которое жаждет отдать весь смысл об истории всего прошлого мира, в том числе и галактик. Но относительно надменно и даже брезгливо. Как это сделать орудием познания и направить па него телескопы. Ушли в древность восточную, азиатскую, ацтекскую, в цивилизацию майя, а грезили о другом тоне – средиземноморском, крымском. Так же ровно, отвесно выбить скалы о море, как ковер в руках киммерийцев, дэвов, циклопов. Потрепать моря, чтобы оставить один базальт. Но яйлу, но чаиры, но позвоночник самого мощного ископаемого не взрыхлить, не тронуть. И подробно – тоскующе при фиолетовом зное, когда собирать абрикосы. Опять о наращивающемся смысле, что возле домов тесно, не продохнуть. Поэтому выбирать водоросли, выбирать гул моря, выбирать волны, как рыбу из сети. Только движутся пальцы, – какую рыбу, какую волну хочу, такую и отберу. Да и при каком удивлении, что волна протяженностью в тысячи километров удержится в ячейке самой мелкой сети. И не выпадет. И потом быть так подробно, что в любой сети, в любом окне, в листве дерева удержится и будет плотно стоять, и еще останется места для вселенной. Уходить в космологию, когда наращивать конкретное полотно. Помещать возле горла дорогу, домики

амфитеатром. Один другой, третий. Насаждать поводок, горнило. Держать палку в руке или держать виноградную лозу, а на ней, а с нее множество кистей винограда. Так и лучшие селения, лучшие города в заветной, любимой местности. Наращены, впаяны в лозу, в любимое иго. Домишко дворец, сын известного полководца-аборигена. Сын пьяный, не лучший из сыновей героя. Герой из тех малых народов, кто был объявлен врагом и противопоставлением великой державы. Хотя все было надумано из истории о древности. Потому что причина была, причина была той, причина была о том, чтобы во что бы то ни стало убрать кусок лакомой местности из рук народа, который не мог быть надежным, потому что желал иметь свою волю, желал вязать свой букет края. Потому что край, местность, которая перестает передавать подробный быт аборигенов из складок одежды, – умирает. Хотя при той же роли других народов таких же подробно-божественных и более древних. Поставлены были в начале в условия вражды, хотя бы из-за разного вероисповедания. Как в ловушку в пользу захватнической державы. Это осознать рано и начать вести дружбу. А в летнее время, конечно, обслуживать приезжих дам, патрицианок. Приехать, например, из Рима: в далекую виллу своего мужа-полководца, приехать в свои владения, нанять кучера-проводника из местных рыбаков или горцев. Абориген за соответствующую мзду покажет патрицианке, пусть даже и старейшей, – лучшее моего в стороне от Чертова ущелья, в стороне, например, от тропы, где из сакли, из темного грота открывается лучший вид на Неаполь. В темноте обнажаться, облизать пересохшие губы. И в это время кто-то прольет освещение, погаснет светильник и гриффон обнажит свою пасть, свои когти. Но не устрашиться. Взять со сладкого ложа, вырвать от сладкого чрева, от заграждений клок загадочно-обольстительной шерсти и бросать в лапы чудовища. Оно будет разбирать, отделять шерсть по ниточке, и, когда закончит занятие, минет его час, и гриффон пропадет. Объявится сакля, кофейня. Увидеть сверху развалины враждебных деревень, враждебных только потому, что они пожелали заниматься земледелием, землепашеством, садоводством и скотоводством и отрицали вражду. Итак, грек-проводник или турок спускают на рондо свою повелительницу. Внизу море. Темно. И внятно и мощно, даже хрустят деревья, скалы, сакли – через все подробности сердце вбирает море. Но сердцу, как хищнику, мало и моря. Ведь столько осталось незанятого пространства. Жалко гробницы, жалко

амфитеатры, жалко покинутые корабли. Жалко, что не в его составе живут фарфоровые чашки магнолии, что не от его берега начал проводить заградительный свет мыс Ай-Тодор. Тому греку-проводнику, скрывающемуся мореплавателю, прийти вскоре в амфитеатр и попросить взять его в гладиаторы. Ему нужно погибнуть, потому что больше нет жизни без жены полководца-патриция, с которой ему было суждено провести несколько ночей – лежать на бараньей шкуре в самых темных уголках края. Когда ей так приспичило из своей виллы, затерянной в гористой местности, узнать поблизости, поближе все скрытые от повелителей гроты. Которые хранить в народе и не выдать под страхом смерти.

И еще было желание мрака, мраморных плит, скрыться. Так выводить существо немужественное. Только подступить к виноградной лозе, прощупать кисти и тут же ощутить провалы черные, мрачные. Взять веревку и исследовать с потайным фонарем. А в это время в сердце падает снег. Кружит-кружит, что не видно море.

Ощущение саг, ощущение чумов было все время, весь день. Собраны жерди у вершин, и вьется дымок. Топить по черному. Но так вытягиваются руки к колдовству, к магии. И так солнечно свято, например, об эвенах, эвенках, что легенды, сказки, быт выпали и заняли первые впечатления, когда долины еще не были никем тронуты, не были заселены, кроме как медвежьим народом, и можно было очень долго, все времена года – раскатывать солнце по краю, пасти его. Почти впрячь в плуг. Долго идти массиву – один за одним. Глубоко и долго спрессованный снег. Зеленые рассыпчатые прожилки зимой, когда нужно уходить за пушниной, соболевать. Все же всегда приближаться к безмолвию фиордов, наледей, к островкам одиноко тоскующего леса среди торосов, мощной гряды. Оттуда взглянуть на окрестности; прикрыть глаза рукой от ослепительного северного сияния. Но понравиться. Поэтому занимать все территории этим состоянием постоянного перемещения красок, цветов и быть, конечно, радостным оттого, что не скучно передвигать ноги, когда постоянно, ежечасно меняется картина пейзажа, картина робкого вначале освещения. Как внутри жилище займет сначала порог. Кусок доски, щель, мышь, сор. Так же, как занять кусок оленьей шкуры, шерсть, разбросанную вокруг очага, внутри чума. К внешней стороне жилища прислонятся лайки, чтобы вбирать тепло краешком шерсти белой, черной, золотистой. Хотя собаке внутри своего сердца

всегда тепло. Только у окончаний, где выходят углы границ, можно заиндеветь. Зеленовато искристо пересыпать, пересыпать тот северный свод. Где так близко прикрепить к нартам, где так близко подходит, и стоит и светится горизонт, поэтому ездить туда на праздничные пиршества, основать там жертвенные тотемы. А когда соскучится жизнь в сердце – ездить туда, на черты горизонта, завтракать. Да и дальше всегда о том, что где-то есть лежбища котиков, тюленей, моржей. И пристально, и жирно, и руки в крови, когда разделывать туши. Когда сантиметр за сантиметром свежевать. Полосы, чрево, жилы, разветвления. Как в ценности любого животного, любого растения, состояния – потому и ценные, что через них можно узнать всю историю прошлого и будущего всей земли. Здесь случились туманности, здесь произошли катастрофы, произошло извержение вулкана, здесь исчез неожиданно айсберг, а столько лет сторожил вход в пролив. Не пускал множество плывущего льда забить пролив, закрыть перешеек чтобы не было связи с океаном. Чтобы превратиться в озеро и не собирать даже нерп. Поэтому в убийстве животных для пропитания уже есть и заложен конец пути, итога, что матерь-природа растворит в себе человека за его прегрешения, и он канет. Ведь для того и было все и обо всем заявлено, чтобы выявить тайны мироздания, скрытое сделать явным, а этого все нет и нет. Только еще больше ширина, трещина, куда можно исчезать до тех пор пока не появится существование во всех, во всех случаях более благоразумное, в котором инстинкты атавизма будут сведены на нет. Как будто и словно записать собственное скончание века. Закончить грести, бросить весла, чтобы унесло на айсберг. И там прислонить к спине вечность. Ушел с лица земли. Но с лица мира, свечения. Когда в хрустально-мраморном зале колышется. Погружено в чрево огромного животного, из которого не выйти. А всегда думать, что переходил из измерения в измерение. О тайных пружинах жить внутри вещей. Когда при видении яранги, полога, за которым лежать, находиться, чтобы не впивались в тело насекомые при виде обильного снега, долгих снегов даже может не проступить ольха, тальник, деревья, даже олени могут не показаться из-за серебряной косы. Как будто в глубине материала происходит жизнь, происходят дни. Все огорожено хребтами, долинами. Иногда пройдет зеленая полоса долин, и все стада оленей пробегут пастись. Дуть холодному ветру. Крутиться вокруг яранги, внутри частокола. Птице замерзать на лету. И все внутри,

внутри. И девушки целуют парней внутри грудных клеток, внутри и под грудной клеткой неба. Все наращивается, наращивается смысл, предположим, простой охоты на куропаток. Подкрадывается к ней и вот-вот ударить палкой. Но раздастся человеческий голос из уст. А раньше, до приближения, виделся клювом. Заплакать над тем что нечего есть, а из яранги все равно кто-то принесет мясо. Все внутри холмов, внутри долин. Так оно и есть. Но как ощущается беспредельность моря, необъятное, возможно, и холодное. Но волны есть, волны существуют извне, бьют в стены, в перегородки холмов, яранг. И может быть, принесут рыбу. Многое, конечно, не передать, не выдать. Но как неистребимо конкретно по отношению к данному краю пахнет кровь птицы, пахнет птица, клюющая ольху. По запаху птиц, рыб можно узнать местности, где люди, где какой народ живет. Какими неисчислимыми предметами почти географические широты вписаны, вкраплены в тела и глаза птиц, животных, ветров. Жить на необитаемом острове. Ловить птиц, заглядывать в пространства, которые сосредоточены в птицах. И уже чувствовать себя жарко, холодно, сыто, голодно.

В природе все так же божественно прекрасно, а во мне все утрачено навеки. Так узнать из тяжелых минут разочарования. Так приближать к себе из очарования ущелье, холмы, реки, а им стоять по-прежнему в составе грудной клетки, но уж не бежать на зов, как щенята, как лисы, как волки, как птицы. Просто отделить состав животного и растительного мира от себя, внутри, А теперь бегать различными тропами, состояниями пребывать. Все это было оттого, надрыв был оттого, что была раздавлена грудная клетка, ее внутреннее произрастание, процежена через сито, выброшена. И потом, как при возвращении или из возвращения, счастье пребывает или убывает хмель.

Быть в глубине печали, быть у глубины печали мореплавателю. Что никому не дано вернуть дней, что никому не дано вернуться из прошлого. Из прошлого опыта. Хотя опыту назваться, когда уже свершилось, и из недосягаемого прошлого жалеть в будущее. Как быть при письме, при грезе. Спускаться с гор, с вершин, видеть вокруг вигвамы. Дым над селениями. Стариков, молодежь при полном вооружении, даже если кушать, питаться. Потому что выйдут на тропу войны. И всегда могут

окружить поработители, обложить. Но медленно собирать силы в чужой стране, местности. Тем более падать в бездны пропадать, теряться, блуждать, блудить. Концентрировать силы, солнечный день на горе. Прятаться от снежных баранов, чтобы они не выдали появление здесь поработителей тем, что исчезли. В любом' случае жить аборигенам было хорошо, счастливо без цивилизаторов, без кровосмешения, коварства и сифилиса. И вот начаться стрельбе. Аборигены же давно отправили по тайным тропам своих близких. Теперь же, дождавшись темноты, поубивали из отравленных стрел тех, кто вздумал лишать воли. Просто потому право убивать из отравленных стрел, что бледнолицые братья сделали ненужными все приличия и были просто завоевателями, чтобы надругаться над чужой свободой, чтобы надругаться над невинностью. Просто потому право, что уничтожены, разграблены все приличия среди своих же соплеменников. Коварства осталось мало, а уничтожать некого. Много мглы, и поэтому ее потихоньку, медленно разводить в молодой, младенческой крови иноплеменников. Опускать желчь в чистую кровь аборигенов. Пусть аборигены рассосут ненависть. Потому быть при счастье, что в прежних вигвамах живут прежние люди. И усовершенствование нравов в сторону подлости не произошло. Собирать сою, злаки. Уничтожать то, что обречено на вымирание. Подстерегать оленей, но не поднимается рука. Заняться животноводством. Легче кормиться от того, что создано и воспроизведено было своими руками. А то выбраться из чащи, из прекрасных деревьев.

Можно только совершенствовать зрение удивительным способом, правилом. А при собственном доме, при собственном дворе прирученное животное утрачивает выдающиеся черты своих вольных просторов.

Мореплавателю, как из повелений юности, ничего не утратить, не укоротить. Все в той же тоске по уходящему времени, что ничего не вернуть, не бросить. Когда любимого прошлого, без которого нельзя жить, становится так много, что только и остается, что пустить пулю в лоб. Когда прошлое поглотило настоящее, что случается чаще всего в старости. Хотя в этом и сохраняется, сохранена греза — при неподвижности тела – так беспредельно распространяет себя дух красочный, желанный, весь на холмах, при цветении деревьев, цветов. Так вот идти, и забавляться жизнью, и понимать, что идеал любимой женщины воплощен в бабушке. Бабушка – доступные края, местности,

овраги, очарования – потому что принадлежит нам, у нее нет личной жизни, кроме нашей. Мать же – другое, недоступные долины, мы мать еще не покорили своего внутренней жизнью. Потому что на это у нее распространены свои дни, распространены как на любимый берег, на волну, на олеандровую рощу. И потому так еще ничто не спасает от забвения. Но ты оказался занятым, и время самой мрачной депрессии, время самого сильного качества жемчуга ушло. Теперь можно пробавляться, и никто не смеет угрожать. Только небольшая речушка перебежит долину.

О ПЕТРЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ, ПРОЛЕТАРИИ

Дядька Кости, высокий, седой, крепкий мужчина шестидесяти лет, топит печку. Сидит на парусиновой скамейке. Трет руки. Только что на дворе делал рукоятку для топора и тут же шкурил длинную палку, чтобы сбивать снег с мандариновых деревьев. Ему сейчас, так же как и Марии, радостно – снег. Такой редкий на берегу Черного моря, в Закавказье.

Мария принимается варить мамалыгу – кашу из кукурузной муки.

– Люблю снег, чтобы он шел, шел не переставая. А то в солнечные дни шум, гам, соседи бранятся. И жить бы мне где-нибудь в лесу, чтобы никого вокруг. Варила бы фасоль, мамалыгу, курей бы кормила, кроликов.

Входит в кухню, там тепло, жарко топится печь.

Дядька Кости, Петр Григорьевич, в кепчонке, в школьной ученической серой форме. Куртка эта осталась от сына. Он давно вырос из нее. К тому же сейчас не живет дома, где-то в Улан-Удэ, на курсах парашютистов по охране природы. На конвертах так и пишет: «Забайкальская авиабаза охраны лесов».

Дядька дает наказ племяннику:

– Ты сегодня пойдешь а город?

– Сейчас нет, вечером.

– Принесешь тройники-крючки. Если нет – то в спортивном. А так в магазине «Охотник». Сейчас кефаль идет.

– Сколько бы штук принес, если бы забрасывал с берега?

– Пятьдесят – шестьдесят.

– Это же умная рыба. Ее еле-еле мужики вытаскивают по три-четыре в день.

– Это кто умеет.

За окном ясно слышны выстрелы. Все горы и побережье завалены снегом. И местные жители ходят по отрогам гор — бьют голубей. Па-аф, па-аф – гремят выстрелы.

В кухне уютно, топится печка, трещат дрова, освещает этот огонь жизнь, молодость, зрелость.

– Дядя Петя, сто процентов ты сейчас бы убил медведя в лесу?

– Не убил бы, но лет двадцать тому назад на восьмом километре по реке Бзыбь видел сразу восемь медведей. Пошел за валежником – вижу огромную медведицу и двух медвежат, прошлогодних видимо, бегают по стволу, борются. Увидела меня самка, стала на четыре лапы, зарычала и ушла в лес.

– А валежник – что это? Кустарник? папоротник?

– Нет. Валежник — это то дерево, которое само упало. Чаще всего с корнем выворочено. Берут специальный документ, чтобы увезти такое дерево на дрова, например. Каштан бывает сухой – на мебель пойдет. Иду я дальше, еще вижу трех медведей. Потом двух. Наверно, все с перевала пришли. Дальше я пошел обратно. Подумал: «Три раза бог миловал, как бы четвертый раз не встретить». А потом я сколько раз слыхал, что медведи в горах рядом- с коровами ходят и не трогают. Это если медведь очень голодный – тогда может задрать.

Падает снег. Скрывает под покровом тишину воспоминаний. Костя выходит во двор, под открытое небо. Прислушивается — шумит прибой. Еще вчера начался. Видимо, в Керчи прошли сильные шквалы и бури и сейчас только докатываются до Закавказья. Волны вчера шли сильно, и барашками. Туда даже в летнее время, когда теплая вода, опасно сунуть нос – поднырнешь под волну; кажется, что вышел к началу второй а тут сверху барашек пенистый захватил, подмял под себя и бросил на гальку, на камень с проломленной головой. С местными ребятишками это, правда, редко когда случалось, но приезжие же не знают повадки моря. Когда вчера шел снег над морем – шло сильное испарение. Дохнет ветер, и с моря идут теплые воздушные волны. Этой энергией можно обогреть весь город, на всю зиму хватит. Только как ее организовать – эту тепловую энергию. Море вон какое старое, опыт накопило колоссальный, а человек – молодой, к тому же – неуч. Не хочет внимательным быть к морю.

Слушает только собственные выстрелы. Вот опять, опять. Бедные

голуби – зачем они летят в теплые края?! Думают, к миру летят, а тут как раз к огню немилосердному. Когда же наконец птицы и животные достанут мира, когда им уже не нужно будет бояться за свою жизнь, за свои дни?!

Чуть слышно открывается дверь. Петр Григорьевич в сапогах, в рабочих рукавицах, с длинным шестом в руке. Шест еще пахнет орешником. Надвигает на лоб шапку-ушанку, идет в сад, оббивает мандариновые, деревья. Если не сбить с них снег – они ломаются от тяжелого, мокрого снега.

Снег в Закавказье всегда тяжелый, как будто идет вместе с дождем, вперемешку.

Помочь Марии, своей матери, поднести, баллон с уксусом. Он почему-то сладкий. Из него потом сварить чачу, добавить в перебродившую битую хурму. Угостить потом дядьку этой чачей. Он крякнет, улыбнется, скажет: «Водка – это главное в проходящей зрелости, чтобы ее было не так видать». Засмеется и уйдет в море, когда кончится снег, чтобы поискать место, где удобнее забрасывать в море переметы с тройниками. Потому что скоро пойдет кефаль.

Идти вдоль моря, напевать песню своей матери, песню столетней давности, но уже переложенную, отнесенную к следующему поколению.

Вот идет Петруша –
Веселый трубочист.
Хоть собою черен.
Но душою чист.

Мария, в прошлом очень красивая, болгарочка, черненькая, с ямочками на щеках, смотрит вслед Петру Григорьевичу:

– От такого человека я скоро с ума сойду. Заходит что-то в мою голову и обратно не возвращается.

– Успокойся, – говорит ей сын ее, Костя, – со мной то же самое... Заходит и обратно не возвращается.

Костя верит приметам из-за любви к своей матери: когда на себя наговариваешь то, что мучает другого, – на тебя переходят все болезни и все горести тех, кого они любили, до тех пор пока кто-то не взял на себя их тяжесть.

МАРИЯ. СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

(Письмо в Улан-Удэ, парашютные курсы. Забайкальская авиашкола.)

«Здравствуй, дорогой мой сынок! Послала письмо, и на другой день Костя мне дает открытку из собеса, – тебе явиться, то есть вызывают к ним. Я так расстроилась: когда буду жить спокойно? Издергали со всех сторон, то одно, то другое, все через мои нервы проходит, ничего меня не минует. Ну ладно, передрожала, сразу пошла. Оказывается – неплохо. Хотят тебя послать на курсы в Сухуми – десятимесячные или на год. Не только тебя, еще некоторых таких больных детей. Курсы такие: бесплатное общежитие, стипендия 25 руб. и еще что-то. Профессии: по холодильному, радио, телевизор и др. Но я сказала, что уехал климат поменять, и они отметили на открытке, что ты на лечении, и когда приедешь – тогда еще неизвестно, когда начнутся. Вот такие дела. Пишу на работе, поздравила некоторых с днем праздника Новый год. Тебя тоже еще поздравляю с Новым годом, пожелаю здоровье крепкое и добиться хорошую легкую специальность, а которую ты начал (парашютные курсы по тушению лесных пожаров) – это не нужно, это не для тебя. На Новый год, наверное, с Чилоу приедут в гости. Таню и Андрюшу 30. XII распускают, ходят и на музыку оба, в учебе не очень охотно делают уроки, Эля нервничает. Отец, как погода, ходит в лес за облепихой, натаскал целую комнату, где ремонтировали в моем доме, а я хожу на рынок продаю – стакан-50 к., кг – 5 руб. Цыплята выросли, вышло 2 петуха здоровых, как индюки, начали петь,— надо резать или продать. Думала, ты приедешь, но не видно этого. Эля видела мать мальчика, с которым ты поехал, и она сказала, что летом опять где-то будешь, или весной ехать. Миша ей написал. Брось эту привычку. Это плохое дело – летать. Езжай домой, а летом в Москву или Сухуми – будешь учиться на то, что тебе нравится, все же ближе к дому и к нам, но не на край света. Кроликов есть 7 шт., надо перевести, но не могу, жаль их: Пушка и Такси живы-здоровы. 11 кур есть и 2 петуха – все наше хозяйство. По соседски все по-старому. Тамара (крестная) редко ходит. Лиза сказала, что Сергей женится, скоро будет свадьба. Ну ладно, будем ждать хорошего. Пока до свидания, привет от отца, Эли, Кости, Тани и Андрюши. Отец все ругается, что там где-то поступил, «пропал, – говорит, – дурак''. Я такого мнения.

Ты одумайся – чего надо и где ты его применишь в жизни. Надеюсь, ты поймешь сам, осознаешь. Целую крепко. Мама».

Когда исчезать страху – человек умирает, мучается. Потому что приходит притупление восприятия. Показать следы, камни, расположение гор мрачное, как всегда, таинственно. То тут ляжет жилище из коры, то там. Проснуться листвой. Возле голубых водопадов показаться девушке-индианке. Племена могикан, апачей. Далеко-далеко остались тлинкиты. Много они помогли мореплавателю. Приносили на борт оленину, мясо медведей. Приносили географические устные открытия, описание побережий. Где искать, где расположены всякие озера, великие, великие реки. Где обитать птицам, берлогам. Как людям первобытным – поэтому быть искренними, открытыми, не иметь за душой тайн по отношению к пришельцам, к гостям. В отличие от белых, где многое спрятано, оставлено на уровне сплетни, склоки. Где есть тайники, спрятано оружие, и никому об этом не ведомо. Потому что могут прийти плохие времена, и надо иметь за собой неведомые земли, где не поздно провести другую жизнь, остаток. Там будут прерии, высокие леса, предгорья, будет много рыбы, мяса. Найти залежи соли. Меняться с индейцами. Жить с ними в дружбе. Но это при одиночестве, при незанятых территориях. Когда водить руками по кореньям, по хвое и не набрести, не нащупать населенных пунктов. Кроме многочисленных нор бурундуков, берлог, гнезд. Вздохнуть счастливо, поэтому некому обманывать. Не к кому присобачивать опыт. Одному угодить, другому нет. И привыкать к молчанию во избежание зла, мести за те или иные преимущества. И никак не свалить корысть. Видимо, пропитано из прародителей, этим начато вперемежку: когда следуют жизненные силы, сгусток. Так стоять среди желтых лесов плотно. Наступать холодам, хотя не успеть было прогреться теплом. Сердце жаждало солнца. Оно показывалось редко, и ожидался сквозь крону дождь. Ожидание дождя следовало как состояние, когда все работы проделаны, бочки полны солонины, заготовлено светильников, дров и можно встречать зиму. Но рассчитывать промежутки, еще теплить их в то время, как давно пора встать, стать. Не ставить себя в зависимость от промежутков от уклонившегося ручья, когда нужно и хотелось именно здесь поставить мельницу. Привести русло ручья в нужное положение. Тем более мельница уже готова. Не ставить себя в зависимость от условий, от людей,

которые могут в лучшую или худшую сторону изменить жизнь. Стать камнем, деревом, железом. Или это тоже в слабости, в неуверенности, глупости, не проницательности, что у дерева, что в дереве, что в дыхании, нет прошлого, нет ожидания, нет любимых вестей, трапез, нет любимых предыдущих долин, где они ранее пребывали. И потом снова при ожидании, при появлении дождя, как при случае, при колдовстве, при той именно грезе, которая приторапливает прошлое, останавливает его; отнимает у прошлого забвение, восстанавливает прошлому перспективу. В то время как из собственной памяти прошлое уронено. Как подносить к глазам окно, океан. Сначала к разглядыванию приступят волны мутные. Еще нет и прародины, чтобы пришло просветление, чистота. Но она намоется. как жемчуг, – наша прародина. И по мере неотступленния от собственной пристальности, от собственного расположения предметов начнет проступать скрытый доселе мир. поверив в мореплавателя, в первопроходца, в аборигена – главным образом. Сначала проступить кускам здания, жилищам, фундаменту. Казалось бы, остановиться на открытии. Но стоять непроницаемо, строго. Покажут себя водоросли, лилии, куски известки, камни. На них будет что-то написано. И шрифт и письмо не поняты. Кускам отделяться, отделяться. Потом кусок не отойдет от куска, от глыбы. Покажется страшно – от которого захочется бежать – просвечивающий мрамор. Внутри будет происходить борьба. Эпохи будут сталкиваться, протечет кровь, извергнутся жерлы вулканов, звери пойдут на зверей и империи на империи. Взвоют напоследок упыри, но мореплаватель, но первопроходец, но абориген – выстоит, выдержит. Темнота и борение начнут пропадать, гаснуть. Экран посветлеет. И все станет огромной площадью из цельного куска мрамора, центральная площадь которого и составит прошлое всех рас, всех времен с сегодняшнего дня, с конкретного человека, с мореплавателя. Начато с простейших картин, с ольхи с орешника, с ручья. Он пророс ежевикой. Бывает темно, и могут появиться дэвы, чудовища. Проблеск, сгинуть. А вот и цыганка-сербиянка, хиромантка, хироманты. Ушло, покинуло джунгли, заросли, вернулось к Средиземноморью – как будто протек по реке и тосковал зримо. И зримое ожило. В зримом ожить. Часто показываться гадалкам на улицах, возле крепостей, и как-то неудобно и трудно приводить ностальгию внутри себя в равновесие. Словно из разных кусков состоять. Но так носиться судну, корвету. Находить коралловые рифы, острова.

Искать свою душу, где бы ей стало совсем хорошо. Где метания, где поиск забудет про душу, оставит ее в покое. Но с душой мореплавателя покой не случится никогда. При удивительной живучести приходить в себя, хотя долго и лежать выброшенным на берег кораблекрушением. Как это раньше не замечать. Застыть, а потом идти. Застыть в форме идущего человека. Так и жить... Одни помогали, другие мешали. Но мореплаватель был упрямый, стремительный. Уступать свои исследования он не мог никому. Местности только ему доверяли свой внутренний мир. Поднимается от земли цветок и перо птицы. Их понесет мореплаватель. Найдет их в горах, в тумане, когда оставит индейцам свою мельницу, свои постройки, оставит долину, где он провел долгую зиму. Горы были дремучие. И если бы кто-то из белых людей был преступник, он мог бы остаться здесь навсегда. В горах никакие власти не потревожат. Медленно растворять себя среди чащ, среди чумов. Жениться на индианке, соблюдать тотем, жертвоприношения, хотя и держать себя особняком. Чуть нахохлившись, чтобы казаться недоступным. За дверью, за окном, в мире идти дождю, ливню. Откуда-то явилась мама, мать. Кинуться к ней с объятиями, а это ожившее воспоминание. Дух матери явился, когда по нему, по матери особенно скучаешь. Скучаешь по тому и ищешь тех, кто назовет уже старекющего человека деточкой, сыночком. К тому же лучше матери и бескорыстнее нет никого на свете. Это и есть, и случилась, и назвала себя самой главной па свете ностальгией. Что нельзя удержать. Нет, что можно удержать и держит непоколебимо. Быть высоко в горах, долго. Держать на себе звезды, лианы, млечности. Держать на себе горных туров, снежных баранов, диких коз. Держать так долго, что когда спуститься в долину – несколько лет вычесывать туман, звезды и млечности. А они все остаются и остаются на счастье, как с хребтов потекут ручьи.

Так и не рассчитаться с выстрелом. Поэтому мореплаватель вызвал к себе в каюту моряка, который нечаянно продырявил парус. И сказал первопроходец:

– Впредь никогда на суше, на лагере, на судне не держать оружие заряженным. Ни одного патрона. Только при появлении зверя, насильников, работорговцев. А жилье свое, а парус, а парусину, которую ты пробил выстрелом, починить. Залезть на мачту и там же шить. Предварительно привязать себя, чтобы тебя не сожрала акула, если

ты сорвешься, не удержав иглу и суровую нитку.

Быть в любимом, ласковом, сладком плену. Как будто душу залили волны. Волны прозрачные, дышат. Не мешают жить. Наоборот, расширяют возможности, увеличивают меру, которая была отведена на дне удивительно спокойном, безмятежном. Когда не притронуть пальцы. Как будто прожить дни в домах, в жилищах сотканных, возведенных из запаха самых душистых и лучших цветов. При обрамлении собственном – это жасмин, сирень, олеандры. При образовании круга и при времени, когда не надо было стесняться своих возможностей: вырвалось слово – простуда – его и оставить. Как жилище кашля, горла, просто младенчества. В кругу трез, в кругу моря. Много детей вместе. Радостно и непонимающе светят глаза. Сейчас их будут кормить из высокого окошка. А на груди слюнявчики. Внутри и на берегу детских, только состоявшихся государств, галактик, морей так сладко жить, спать, запускать корабли. И чтобы ни у кого не осталось сомнения, внятно произнести в уста: «На берегу бесчисленных миров собираются дети». И конечно, в удивительно нежной привязанности к матери, к сестре, к брату, к старым товарищам. Оставить их далеко-далеко, но так полощется прекрасный рисунок. Караван судов. И на всех детские игрушки. Раздать детям всех времен и народов. Показаться коралловым рифом. Показаться детям со смуглой кожей. Бесштанная команда. Окружат огромную черепаху и ползут за ней к морю. Немного взрыхлен песок, как серебристый след.

Опять прийти настроению. Отстать от круга, выделить из себя, в себе площадь. Быть в середине площади, которая зовется одиночеством. Одиночество огромное, величиной в галактику. Там растут леса. Выделилось озеро, река привстало море, виден фонтан. Значит, плывет кит на свете, по свету. Хорошо сделать коляску. привязать к киту и долго-долго ездить за ним. Куда он — туда и ты, ребенок, взрослый, старик. Оказаться на песке теплом, прогретом. Видеть маму. Она молодая, красивая, смуглая. Она в саду, копается в грядках. Заходит солнце. Оно красное. И мир лежит, опрокинут в этот цвет. Но стоит трава, стоят деревья, ягода. Все привстало в мире перед закатом, привстало в закат, прежде чем уйти, прежде чем лечь спать. И вот еще совсем нет младенчества, лет. Сижу рядом с матерью. Папа должен показаться. Выделятся его шаги. Вмятины в траве, в листья. Папа в

гимнастерке, запылен. Гимнастерка выгорела. Какие только земли перед ним не расступались. Доведено только до надежды, доведено только до надежды, доведено только до счастья. Мир внутри мамы выделен, строг, печален, величествен. Только бы не поддаться горю, пока носит тело, носить. Папа вот рядом.

Мореплавателю не становиться менее значительным. По-прежнему быть стремительным, рослым. По-прежнему прикрывать белые пятна жизни, краев, где ему еще не пришлось бывать. А так как время было раннее, то многие местности были не открыты. То там выделился танец то там приподнялась гряда, холм. Показался разукрашенный воин, устрашающий; выстрелил отравленной стрелой. Отраву, яд набрать из жала змеи. От этой стрелы умер один моряк. Мореплаватель в это время находился рядом на палубе. Все это видеть жене аулетке сквозь далекие расстояния. Ей по-прежнему быть одиноко. Ей по-прежнему чувствовать, ждать нерасторжимость с суженым. Взрослеть. Тот фиорд, при котором ей было жить — все более населяться минутами, днями, сроком. Многие преимущества в ней были заняты. Но необжитые пространства все впускали и впускали глаза. Мох, кость, облако, выброшенную рыбу, сети, крючки. Самой и расставлять в глубине моря. Плечом теснить встречный ветер. Покажется лоб кита который стал хатой, чумом, избой, вместилищем. Это как подарок, когда мореплаватель со своей командой каким-то образом поставил вдоль двора, вдоль места, отведенного ему в стойбище, голову кита. Дом по-прежнему был опорой, и задувать в него было нельзя. Холод стыл в ногах, у порога. А чтобы подняться во внутренность головы кита, возможно сначала в рот, чтобы минуть непромокаемый частокол зубов, нужно приставить снаружи лестницу. А до этого, до тепла, быть, проставиться тропе. Обращена к морю, к океану. Пособирать дрова. Вот на одну щепку освободить берег, на другую. Освободить берег на водоросли. Которые пахнут йодом и, когда просыхают, хорошо горят. Когда наполнить комнату, помещение сладким ощущением приближения мужа и молодости так блаженно. Освободить землю, берег от морской звезды. Звезда большая. Сначала немного влажная. Но просушить ее на камнях. И можно повесить на стену, на стенку, на берегу уже пустынно. Прийти, лечь, приставить окно к потайному от всех месту и наблюдать, куда движет путь ее избранник. Пространство

далекое, что кажется, никто и никогда не был разлучен.

"Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая, но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая.

Припев. Смотрите не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода, какое б ни случилось время года, чтоб этот час нам вместе пережить. Смотрите ж, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтоб эта мысль явилась нам обоим – друг друга ненароком повстречать.

В наш век всему простому мало места, – из старого лишь моден перстень старый. Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару. И верю, что разлука есть потеря, что честь должна быть -спасена мгновенно. Я вас люблю, я в это тоже верю, хоть это, говорят, несовременно.

Припев.

Что было, то забудется едва ли, сорокалетье взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое, там в счет идет, что раньше считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.

Припев.

Юрий Визбор

Май – 6 июня 1977

Памир

«Здравствуй, дорогой сынок!

Сообщаю, получила от тебя письмо. Спасибо, всегда узнаю, как твое настроение, чем занимаешься и здоровье. Береги себя. Для меня больше ничего не надо дороже всего это.

Здоровье у меня не ахти, а вообще трудно мне очень жить. Болею, старею, а дела много. Смотреть не могу на все равнодушно. На меня все действует, если непорядок дома в саду. Расстраиваюсь. Все запущено, некому делать. Хозяину море но колено, до лампочки. Такого безмозглого, бессовестного нет, наверно. Обнаглел, пьет спит, ругается, и все. Иногда читает газету. При таком дворе обширном. Тысячи делов. Все это на мне отражается, на здоровье. Не могу переваривать это. Уйти из

дому совсем. Беспризорным останется весь двор. А это невозможно. А сохранить все, что дома есть, – значит укорачивать мою жизнь, моя жизнь укорачивается. Это пишу не просто, мне доходит до горла, до конца жизни. Абсолютно палец об палец не ударяет. Как можно так жить.

Илья уже месяц как уехал к матери. Эля на ванны. Поехала с детьми в Нефтяное, где вообще ездит. Где была не один раз.

Спасибо, что вспоминаешь отца, меня, Элю, детей. Спасибо, еще за Артема беспокоишься. Он шлет письма. Мы тебе послали письмо и его письмо тоже вложили. Наверное, получил уже. Еще было письмо от Артема числа пятнадцатого июля. Работает водителем машины вездеходной. Адрес еще пишу: Тюменская область, Нижневартовский район. Новоангарск, СУ-17 на Вынгапур, СУ-4 вагончик 34, Соловьеву Артему. Ты ему пиши.

Танечке, внучке, уже четырнадцать лет будет. Спасибо за пожелание. Андрюша внук, тоже растет. Неплохой парень. Эля до шестнадцатого августа в отпуске. Я хожу на рынок и мучаюсь. До магазина пеши, а потом две остановки на машине. Да и трудно сесть. Людей очень много. Погода – дожди. А теперь вроде наладилась. Спеют груши и яблоки. Некому собирать. Все разбиваются. Хозяин, как враг, дома живет.

Привет от крестной. Она часто бывает. От Зои Бобровой отдыхают три девочки, живут у Эли. И еще две девочки из Воронежа. И сестра Ильи с мальчиком Сережей девяти лет из Димитровграда. Через неделю уезжает. Привет от Эльдара. Все ребята бегают по морю.

Я пока никого из отдыхающих не пускала. Нет сил. Из Москвы писем нет. Наверное, на даче.

Пришла в горсовет. А там закрыто. Перерыв. Чтобы не терять времени, зашла в сберкассу, пишу письма – тебе, Артему, Эле, сразу троим.

В сберкассе хочу получить деньги за три пальмы, которые у нас в саду выкопали в марте месяце. Или в апреле выкопали, или мае. Не помню.

Целую крепко. Мама. Никто о тебе столько не волнуется, не думает. Ни у кого так душа не болит за вас, детей моих, как у меня. Пусть это вас хранит».

Забота матери – крылья многомощной птицы, распростерты над

головой детей и прикрывают от огромных камней убивающих.

ЭТНОГРАФИЯ БОЛГАРСКИХ СЕЛ НА УКРАИНЕ. ЭТНОГРАФИЯ ПАРАЛИЗОВАННОЙ ЗЕМЛИ.

Декабря 1996 года. Гагры.

Из материнских детских воспоминаний из села Инзовка Ногайского /ныне Приморского/ района Запорожской области.

Матери за восемьдесят, матери за старость, матери за молодость, за юность, за отрочество. Матери за бескрайние украинские поля, за холмы, за редко пробегающих зайцев, лис, волков, кур, гусей, коров, быков, бричек, ветров. Матери за болезнь, за давнейший инсульт. Но за абсолютную беспредельную память.

– Мне не больше пяти лет. Я выбегаю за двор, за ограду. Стремлюсь к общему крестьянскому выгону, к местечку луговому, куда сгоняют весь сельский скот. Коровы, лошади, быки, индюшки, гуси пасутся от общего стада, от общего скопления движущейся то влево, то вправо – массы. И я начинаю дразнить веточкой, хворостинкой лежащих сторожевых собак – волкодавов; начинаю дразнить хворостинкой гусей. И так много во мне энергии, что я не замечаю границы, когда нужно перестать дразнить гусей, дразнить собак. И вот собаки начинают рычать, гуси начинают идти на меня, нападать. И я уже пугаюсь, начинаю убегать к ограде, к забору, к перекрытию из саманника, из крупного хвороста, из плетня.

А я маленькая, шаги короткие, бегу, бегу к изгороди, перевешиваюсь через ограду, хочу открыть крючок-задвижку, чтобы скрыться от погони; перевешиваюсь, шарю задвижку, и юбка моя оголяется, и собаки начинают кусать меня сзади, и гуси начинают щипать задницу, и кровь течет.

Задвижка не открывается.

Взрослые бегут, спасают мое баловство, мое вероломство по отношению к животным: дразню их, дразню, вызываю на гнев.

Еще не понимаю равновесия в природе, в закате, в восходе, в любви, в детстве. Думаю, что можно нажимать на один и тот же клавиш, и все вывалится, перекроет скарб, сведется к равновесию все равно.

Вокруг хлеб, жито, чернозем. Болгарская родная речь. И я уже едва-едва вспоминаю свое младенчество, свою реку, свою стезю. Ведь мы говорили только по-болгарски, потому что село было исключительно составлено из болгар. Индюшка – по-болгарски – мисира. Индюшка –

мисирка. Утка – урдечка. Ишак – магари. Гусь – патэр, гусыня – патка. В селениях по вечерам – в те годы десятые годы двадцатого века, начало двадцатых годов двадцатого века, да, видимо, как и всегда, во все времена, но я говорю за свою память, за свое бытие – по вечерам собирались у кого-нибудь в доме люди, молодежь, старые. Пели песни, вязали, пряли, сучили шерсть. Я совсем малая, не больше пяти лет, сижу среди взрослых. И когда пропоют взрослые, меня тоже просят спеть. Я стесняюсь. Раскраснеюсь. Но все равно преодолеваю стыд, начинаю петь. И как пою – взрослым нравится. Они все хлопают в ладоши. Говорят: "Какая ты, Маша, будешь счастливая. И красивая, и поешь хорошо, и вяжешь, а тебе нет еще и пяти лет..." Если бы все мои родичи из болгарского селения Инзовка, поднялись с того света, и посмотрели какую я прожила "счастливую" жизнь – они бы ужаснулись. И с измальства потеряла родителей, и братьев, и сестер, и всех близких родичей, когда начался на Украине голод в тридцатых годах, когда началась коллективизация. И как была удочерена в Очамчирах полутурками – полуабхазами, как одна с двумя малолетним братьями, как мыкалась по миру. И как в зрелости мучалась. И как мужа потеряла во время Великой Отечественной войны. Как с ума почти сошла от горя. И как потом таскала доски, бревна, абапалы, чтобы как-то строиться, строить себе хижину, хибару. Но пробегать волнам, волне, и опять чувствовать свое лукоморье, чувствовать просвет, чувствовать солнечный луч, чувствовать луч на закат, луч на пролет. И с утра, едва виднеется по протяжению больше чем семьдесят лет, я вижу себя на родине, и все пока живы, пока пребываем в счастье, в вечном труде. И брат Женя уже в сарае, уже запрягает бричку, чтобы ехать с отцом в поле. В степь – работать, косить, сеять. А Жене едва шесть лет. А брат Андрей, – он чуть постарше Жени, – уже копается в саду, уже картошку выкапывает, уже тыквы катит в сарай. Какая-то с измальства любовь к труду тяжелому, крестьянскому. Какая-то с детства тяга к собственно заработанному куску хлеба, жита. Какое-то не иждивенчество от роду, от перебегающих дней, от ветров, от перекати – поля. Смотреть так на движущиеся предметы мира и в мире, – и наслаждаться совершенством. А спина к земле, к земле, к пахоте. И уже гнется спина от солнца, на солнце, как обруч от крестьянкой брички, от крестьянского колеса. Нас приучали вязать, приучали к рукоделию. Дома всегда были овцы, козы. Мы жили рядом с

ними, перемещались в этот круговорот, в этом круговороте. Знали как обходиться со скотом, как доить, как кормить едва научившись ходить по миру, по земле. Было правило в наших болгарских селениях – Инзовка, Райновка, Коларовка, Преслав, Бановка: девочка до семи лет должна научиться вязать себе носки, а до восьми лет – научиться вязать себе чулки. Достаточно научиться было до этих лет связать себе хотя бы одну пару. У меня было, когда едва мне исполнилось восемь лет – семнадцать пар таких длинных, высоких с красными полосками чулков. Не знаю, куда они делись, куда исчезли? "КУДА ИСЧЕЗЛА СВАДЬБА ЭТА? ПЕСЕНКА ЭТА?''. Может, во время переезда. Бегства из Инзовки в Абхазию в начале тридцатых годов! Такие чулки с ярко-красными полосами с коричневыми полосам на черном фоне. По старости лет, я эту единственную пару чулков своих болгарских штопаю, латаю, прилаживаю заплаты. Чтобы хоть как-то сохранить свое разрушение. В старости лет так легко уходить из жизни, – перевернулся, и нет тебя. А в молодости – такая сильная река жизни, что при всем желании не перейдешь, не пропадешь.

От вечера довольно позднего появится во дворе двоюродный брат матери – Валентин Журков, семидесяти трех лет, подвижный, не лысый, не крупный на рост, но голова как уздечка, как маленький семилитровый бочонок из под вина, череп обтекаемый на ветер, на дождь, череп без углов, череп как склеп, как обруч, как овал. Да и понятно из обтекаемости, из подвижности – дядька родился на свет семимесячным.

Дядька начнет рубать ветки от деревьев, начнет готовить мелкие веточки на печку-буржуйку для сестры – Марии.

Мужик пятидесяти лет, подойдет к деду, начнет спрашивать про болгарскую речь. Подойдет, подкрадется к своему родству, к своему племени от которого отлучен, с которым разобщен, потому что прожил жизнь на чужбине. И так радостно слушать издревле родную речь:

– А как будет по болгарски – селезень? А то мать совсем забыла.

– Урдек.

– А петух?

– Петел.

– А курица?

– Кукошка.

– А собака?

– Кучи. Кошка – котка. Кот – кутарак.

– Слушай, это же гениальная речь, гениальное произношение, поэтому как важно жить среди своей общины, своего двора, среди круговерти своих решеток, среди петелов, среди кукошек, среди кутарака. Кот – как хорошо звучит – кутарак.

– Хватит про скот, про животных, про тех, кто умнее нас. А Артем твой родной племянник – как должен тебя называть?

– Чичо.

– А как меня должен называть мой младший родной брат?

– Бате. А его жена должна тебя называть – драгинко.

– А кого я должен называть вуйчо?

– Если бы у твоей матери был живой брат – ты должен был назвать его вуйчо. А его жену ты должен был называть – учинаа.

– А как я должен был называть твоего отца, то есть моего дедушку по материнской линии?

– Дядо. А бабушку ты должен был называть – бабо. Если бы у твоего отца была бы сестра – ты должен был называть ее – леля. А мужа ее – калеко. Если у тебя есть жена – она должна называть твоего брата – драгинко. А его жену – кэшта. Погреб – бурдей. Море-муре. Арбуз – диня. Дыня – пипон. Лошадь – конь. Корова – крава. Барашка – увца. Рыба – рыба. Медведь – медведь. Волк – влэк.

– А в каком году ваша семья болгаров переехала из Болгарии в Запорожскую область?, – детина Костос спрашивает у матери.

– Я не знаю. Дедушке было четыре года. А я года рождения тысяча девятьсот шестнадцатого. Можно высчитать. Я не знаю как они приехали. На подводе наверно. Потому мы переехали из Болгарии, что земли было много в России, а в людей в России было немного. А в Болгарии земли было мало, а народу много. А в Запорожской области земли давали много – по пятьдесят гектаров на семью. У моего деда было четыре брата и сестра… В Инзовке жили из наших родичей – Игнат, Илья, Степан, Григорий. Сестру деда звали – Оксана. Дед мой умер в двадцать восьмом году на Украйне, в Запорожье. Дедушка был мужчина хороший. Математик хороший. Крестьяствовал. Пахал, сажал, сеял, молотил, роста выше среднего. Был он чернявый. Бабушка была хорошая ростом. Но не высокая. Мария Петровна. А дедушка – Игнат Петрович Гердов. Бабушка занималась домашними делами – пряла. Вязала, огородничала. Дедушка умер в Инзовке. Там и похоронили. А

бабушка умерла в Очамчира в тысяча девятьсот тридцать третьем году. Упала на землю возле сарая, где мы жили у менгрела, и умерла. Наверно, инфаркт был. А может и малярия была. Но малярией постепенно болели. А тут сразу упала – и все. Было ей лет примерно – восемьдесят четыре.

– А что ты скажешь про деда Степана Васильевича Журкова, мужа твоей тети. Я помню росточком он был небольшого. У него были на руке отрублены два пальца – мизинец и безымянный. Ты не знаешь, где он потерял пальцы?

– С кем – то поспорили. И Степан Васильевич положил, держал во время спора ладони на заборе, а тот с кем Степан спорил, не нарочно, конечно, в темноте, не видел где лежит деда рука – рубанул по верху забора, чтобы не держать топор на весу. И отсек пальцы. Остаться как на рукоятке крови долго висящей, незаживающей..

– А почему Степан Журков женился на твоей тете?

– Глупости спрашиваешь. Любил, наверно. Тетя была похожа на свою маму. Деду Степану было лет двадцать, когда он женился. Вася, его первенец, родился в тысяча девятьсот десятом. Значит дед был с тысяча восемьсот девяностого года.

– А чем дед Степан занимался?

– Чем раньше люди занимались? Хозяйством. Степан держал овец. Скот. И коровы были у него тоже. Овец было не меньше шестьсот. Степан нанимал пастбища по селам степным. С одним селом договор заключит. Поест овца траву от одного села – дед Степан заключит договор с другим селом. Раньше было – занимались большим трудом всякого вида. Без тебя это знает весь мир и все власти. И всех их уничтожили. Тебе это надо? Не пиши про наше богатство. Посадят. Лучше всего быть бедным. Потому что никто нищих не будет трогать. А история пройдет, и то, что ты пишишь пойдет под суд. Значит, и ты тоже был насыщен скотоводством. Замолчи, если ты не можешь жить на свете. До тебя доберутся – с какой семьи ты был рожден. Не волнуйся.

– А когда начнут добираться?

– Может завтра начнется. Переменится время. Сколько веков прошло – и все меняется. Ничего не знаю больше..

– И дед уезжал на бричке в степи на сколько километров от Инзовки?

– Не знаю.

– А сколько пастухов было у дедовских овец?

– Один.

– Что!? Один пастух на шестьсот овец?!. А бахчу вы где делали?

– На земле. В нескольких километрах от Инзовки. Все культуры сажали. Тыква, арбуз, дыня, фасоль, огурцы, помидоры, лук, чеснок. Тростник для меда. Как веник растет – он сладкий. Потом тростник выжимают и варют. Как бекмез, как мед. Сахарный тростник. Он лучше, чем свекла. Высаживали свеклу – и кормовую и сахарная свекла.

– А сколько было бахчи у каждой семьи?

– Гектар, наверно.

– А сколько километров была бахча от села Инзовка?

– И близко было и далеко было.

– А вы туда ездили бричках?

– Да.

– А воровства не было с бахчей?

– Нет. У всех было все. Все были труженики. И просо сажали. Все сажали. И лен сажали. И коноплю сажали. Господи, сколько мы работали.

– Для чего вы так много работали? Для чего?

– Не на кого было надеяться. Кто тебя даст? Лодыри рассчитаны на тружеников. Значит, тоже наверно, были. Паразиты – комсомольцы тридцатых годов, – такой мир уничтожили. Что им было надо?.. Хватит, давай мясо и булочку. Чай тоже налей.

– А вино вы делали?

– Делали. Из винограда. Виноград мы прикапывали на зиму. Вино было вкусное и сладкое как чай. Густое. Виноград держали в бочках. Да может тысячу литров и пятьсот. Большие и маленькие. Сахар в вино не добавляли. Тогда и сахара не было. Не помню, чтобы я в детства видела сахар глазами.

– А чем поливали бахчу? Если была засуха...

– Ничем. Божий дождь. Возили воду на бахчу. Когда пололи, сажали. Возили из села воду для людей, для лошадей.

– А вода в колодцах, которые вы копали была солоноватая?

– Такие были ручьи подземные.

– А как же пить такую воду?

– Пили. Когда были дожди, – собирали дождевую воду для питья.

– А снега были большие?

– Да. Заваливали двери. Были баррикады снега. Разгребали снег, разбрасывали по сторонам. Дети катались с горок. В последние годы таких больших снегов не бывало. Это раньше было.

– Ну все. Закончим наши игры веков.

– Ты вот пишишь, чтобы какой-нибудь негодяй заимел выгоду. Когда-нибудь тебя вызовут. Спросят: "Откуда ты это взял?''. Ты скажешь:'' Мама рассказала?'' Они скажут: "Приведи сюда маму''. А ты скажешь: "Пойдем...''. И приведешь их на мое кладбище, на мою могилку. И скажешь: "Копайте...''. Сколько раз в день я поднимаюсь то погасить лампу, то сковородку снять с печки, то сяду на горшок, то валерианку выпью.

– А колодцы зачем вы обкладывали кирпичом? Внутренний свод.

– Чтобы земля не сыпалась.

– А зачем вы так много работали в селении своем?

– Тогда так было: лодырей ненавидели люто. Люди знали, что нужно приобретать и жить по-человечески.

– А ты помнишь хоть одного лодыря в твоем детстве?

– Помню. Но как звать не помню. По всей земле живут лодыри.

– А почему в вашем селении девушки старались выходить замуж девственницами, честными?

– Чтобы ценили их в семье, чтобы муж им доверял. Надо было рассчитывать на жизнь, на семью, чтобы детей воспитывать правильно.

– А в вашем селе были девушки, которые вышли замуж не честными?

– Не знаю. Может и были, но они расходились с мужьями. Мужья их выгоняли.

– А чем отличается село от селения?

– Селение – более маленькое. А село – там больше жителей... Непорядочных людей тогда не считали за людями.

– А что ты считаешь за порядочных людей?

– Серьезные, труженики, не болтушки, не блядушки, труженики.

– А тебя кто-нибудь пытался в юности обмануть, соблазнить?

– Да ты что?! Такую девчонку!! Со мной парни даже не заговаривали. Если бы ты знал, как жили наши люди порядочно, честно, ты бы сейчас не согласился жить такой жизнью.

– А в вашем селе встречались грабежи, убийства в в начале двадцатых годов?

– Такого я не помню, не знаю.

– А изнасилования были?

– Нет. Вспоминается не в нашем селе, не в болгарском, а в русских селах – коров по ночам выводили, лошадей. Но это было редко.

– А русские селения как назывались?

– Орловка была. Алексеевка. Больше не помню.

– А сколько километров была Инзовка от Азовского моря?

– Километров десять.

– А говорят, что четыре.

– Нет. Это, может от Преслава. Там были места – озера, где мы соль собирали. Между Инзовкой и Преславом. Соленые озера были. Мы соль собирали. Ехали на подводах, и полные подводы набирали соли. Соль была застывшая сверху. А снизу была вода. И лопатали собирали, и руками; такие черпаки были как дуршлаки. Соль была чистая-пречистая. Ее можно было сразу употреблять в пищу. Складывали в ящики. Соль высыхала. И соль никогда не таяла. Потому в наших краях был климат сухой. С утра поедем и к вечеру приезжаем. Весь народ запасался. Осенью это было. Никому – ничего мы за эту соль не платили. Летом нет времени ехать за солью. Нужно собирать урожай, работать по скотоводству, по бахче. А у кого с прошлого года соль оставалась, – не ездили... Кинь мне блинчик с печки. – Мать пробует блинчик. – Не пойдет. Не пушистый блинчик.

– А ты, мама, с юности любила охотиться на медведей, на волков, на собак, на крыс, на мышей, на зайцев? На перепелок?

– Откуда? У нас никаких зверей не было. Про перепелок тоже не знаю. Крыс, наверно, ловили люди. В полях – какие звери?! Крыс ловили для того, что крысы вредили людям, хлеба кушали.

– А сусликов зачем ловили?

– Потому что вредили, – зерно поедали.

– А когда вы собирали соль на озерах, во время работы вы там кушали, если становилось голодно? Брали с собой харч?

– Наверно брали харчи. Хлеб, печенье, сыр, масло, молоко, хлеб.

– А выпивку брали с собой?

– Нет. Такие годы такого не было.

– А в вашей семье было сколько детей?

– Десять. Аня – самая старшая. Потом – Степа. Потом – я, Мария. Потом – Вася. Потом – Зоя. Женя. Андрей. Валентин. Володя. Люба. Все умерли.

– А какие были развлечения в вашем детстве? Чем занимались?

– Крестьянством. А дети, как только исполняется два года ребенку – ему уже давали работу, распределяли: кто курей кормил, кто – детей нянчил, кто двор подметал, кто водичку приносил в кувшинчиках. Кто в огороде помогал старшим. Женя ездил с папой на поле, лошадей впрягал. До возраста доходили до школьного – в школу ходили. Девочки пряли, вязали, шили, детей нянчили. Все дела домашние – все дети помогали делать родителям. В огороде с грядок травку рвали. Поросят кормили, носили.

– А когда начинался сильный ветер – боялись, особенно ночью?

– А это не помню, что ветер был.

– А снега боялись?

– Радовались, наоборот. Кататься можно будет на санках.

– А когда же кататься, когда все время работа?

– Зимой, – какая работа! Полный двор снегом насыпано. Наша семья была очень порядочная, аккуратисты. Все во время: убирался урожай, во время сеялось. По сезону все делали, – ничего не запускали. По наследству в нашей семье – дети были очень умные и красивые. Потому что так: какая семья – такие будут и дети. Пример берут от родителей. Дети были очень послушные. Как только начинает немножко сереть, как только солнце заходит – дети все бегут домой. Родители кричат на имя, дети отвечают. Не то что сейчас.

– А почему дети по темноте бежали домой?

– Не полагалось, чтобы дети по темноте ходили по улицам.

– А улицы были заасфальтированы в вашем селе?

– Откуда!? Как только начинались дожди – начиналась непролазная грязь. Больше всего дождей было осенью. А летом засуха была большинство. А полям, по нашим улицам носилась пыль.

– А ты больше всего любила какое время года?

– Не помню. Наверно, осень. Фрукты были, все было. А летом, когда была засуха на Девятое Мая – был Праздник Святого Николая: и батюшка ходил по полям, брызгал водой святой. И все люди ходили. Молились, чтобы Бог дождь дал. Откуда-то брались тучи, гром, и начинался дождь. Но не всегда это было. Я говорю про Девятое Мая, – это весна, но все равно уже жарко.

– А от засухи у людей случался солнечный удар?

– Не помню. Нет… Когда ходили по полям – люди пели божественные песни. И все люди радовались, что теперь урожай у нас будет хороший. …Очень старших уважали. Когда старший идет откуда-нибудь – более молодой останавливается, старший должен пройти, и только потом более молодой шел. Когда ходили по улицам – хоть старый, хоть молодой – семечки не щелкали. Это было стыдно – плеваться по улицам.

– А если человек клал разгрызенную семечку в карман, чтобы не мусорить!?

– Нет. Иди домой и там кушай. Дети играют днем в мячики. И такая палочка – конца заостренные; делали в землю дырочку и палочку клали горизонтально, и кто-то бил по этой палочке. И эта палочка заостренная летит далеко – и тот, кто находится на расстоянии ловит эту палочку. По нашему называется – чилик... Однажды была в поле с родителями – и вижу далеко-далеко что-то шевелится. А там оказывается дорога была. А я говорю: "Вот какой-то нечистый дух летит''. А мне сказали: "Это машина идет…''

– А священник был в вашем селе? Или вы его вызывали?

– Был. Была церковь и даже большая. Очень большая. Несколько сел собиралось, потому что во всех селах не было церквей. И ходили по полям и молились Богу, чтобы Бог послал дождь… А в Великую Отечественную войну эту церковь разбили. Церковь была нашем селении построена давно. И была в нашем селении, потому что село Инзовка была большое и богатое. И называлось – "Золотая Инзовка''. Потому что заслужило наше село. Потому что люди наши были богатыри работы по земле, на земле.

– Рыбу в Инзовке кушали часто?

– Нет. Она у нас не ловилась. Иногда покупали в селе Преслав. Преслав от нас километров двенадцать. От Преслава было близко Азовское море. Совсем рядом. И везде на пляжах были сетки, сетки рыбацкие. Не пройти. Ловили в основном бычков. Рыбаки сушили бычков. И продавали.

– А когда я был в Преславе в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году, – и там видел у своих родичей, – огромные подвалы вырытые во дворах, глубокие очень сухие. И настолько обширны, что там могли поместиться роты, батальоны. Там лежало много бочек винных. Что это за подвалы? Может это были государственные подвалы.

– Склады были. Не у всех же были такие большие подвалы.

– А в те года у вас был в селе электрический свет? Или лампы?

– Только лампы керосиновые. Керосин покупали.

– А зачем мой дед, твой отец ездил иногда в Мелитополь?

– Да не только мой папа. Все ездили в Мелитополь. Сдавали овечью шерсть. С каждой овечки шерсть называлась **руно**. Шерсть – по-болгарски – **волна**. Ударение на первый слог. И зерно возили, что было лишнее – возили в город, сдавать. Я была тоже в Мелитополе. Я там даже однажды потерялась. Я с папой и соседи тоже поехали сдавать зерно. Все заняты делом в городе. Сдают и шерсть. А я себе потихоньку пошла себе. Пошла по дорожке. И заблудилась. Попала в такой двор, который имеет форму буквы "Т''. Я плакала или не плакала. Но папа меня нашел. И сказал: "Больше от нас не отходи''. Мне было лет пять или семь.

– А в Инзовке жили только одни болгары?

– Жил один русский. И грек безрукий. Грек торговал всякой всячиной – ложки, кружки, носки, чайники. Русский занимался, как и все крестьянством.

– А в Инзовке была школа?

– Да. Или семилетка или десятилетка. Все предметы шли на болгарском языке в начале двадцатых годов. Школа называлась – ШКМ – Школа крестьянской молодежи.

– А семья Журковых жила от Вас близко?

– Да.

– И там дед Степан и сосватал твою тетю Ирину?

– Да.

– А от какого места, от какого заката, от какого восхода, от какого пролива закончилось твое детство, от какого события?

– Пока все не помирали мои родные.

– А в селе вашем были кладбища?

– А как же! Большое кладбище было. Где церковь была и дальше севернее, около села. Никаких памятников. Могилки, кресты. И все.

– А на похоронах у вас, у болгаров, плакали?

– Еще как плакали. Как не плакать! Ты что!?

– А почему плакали?

– А что смеялись? Теряли близкого человека. Ты дурак или умный. Такую глупость спрашиваешь.

– А угощения были на похоронах?

– Поминали, конечно. А как же?! На столы клали пирожки и с картошкой, и сладкие – с повидлом: с фасолью, с капустой. Еще делали фасоль, не как по-абхазски или по-грузински. Мяли, варили, ложили в тарелки, и сверху обливали жиром с луком, жареный лук на постном масле. В зимнее время клали на стол компоты и с сухой фруктой и летом со свежей фруктой – называли узвар. Насчет мяса жареного не помню. Может быть и клали. И вареники клали. Все клали. Ни вино, ни водки я что-то не помню. Откуда у нас было вино? А водку не варили. А такой моды не было, чтобы покупать. Что было свое то и делали. Каждого покойника батюшка приходил и отпевал с певчими. Ничего не платили батюшке. Тогда моды не было такой.

– А кто у вас были священники?

– Люди. Кто были?!

– Высокие они были или низкие?

– Откуда я помню! Еще напиши – красивые или некрасивые. Сажали их за столы, чтобы они поминали. Сажали их вместе со всеми, и среди священников воров не было. Меня что удивляет. Вот кладбище как стол было – ровное. И на той стороне где ты сидишь – это южная сторона. Наши могилки были на той стороне. С краю. Что кладбища, что поля были ровные. Когда я была на Украине, когда брат Саша умер /в семьдесят втором году/ тогда пошли на кладбище, – вот так высоко, примерно метр, выше. Кладбище внизу почему-то очутилось. Или когда война была. Может там рыли. Окопы, не знаю. А кладбище внизу осталось. Не знаю почему это бывает... В тюрьме из-за тебя буду умирать. Ты меня загонишь в могилу. Это все прошлое. Советской власти не нравится правда. Напоминай об этом. Ни один писатель подох в тюрьме и еще расстреляли. Давай врагам, напоминай, чтобы они вспоминали. Я эти бумаги разорву, чтобы была спокойная.

– Дальше?

– Дальше ничего не знаю.

– А что это за брат Саша? Ты же говорила, что все у тебя умерли родные в тридцатых годах?

– Двоюродный брат был у меня. У моего папы была сестра Ирина. Так это Журковы. А еще у моего папы была сестра Марина. Была за Дойновым замужем. Его было звать Дмитрий. У них было пять детей. Стефана, Иона, Вера, Саша; Аня, что есть сейчас. Саше было лет сорок, сорок пять, когда он умер в Инзовке. У него была на спине шишка какая-то. И умер молодым.

– А почему не спасли?

– Сейчас не спасают. А тогда спасли, что ли?

– А Стефана когда умерла?

– Барышня была. Да такая красивая. Очень. Чрезмерно красивая. И рост хороший. А умерла не знаю от чего. То ли туберкулез. Давным-давно. Наверно, в двадцатых годах.

– А Иона когда умер?

– Позже умер. Было ему лет пятьдесят или сорок. Иона умер, когда я была совсем маленькой. Мне было лет восемь-десять. Я жила еще в Инзовке.

– А как проходили свадьбы в Инзовке в двадцатых годах двадцатого века?

– Хорошо. Я тебе сказала Алекса взял Аню Дойнову. Она там воспитывалась. У Васиной мамы. Она ей теткой доводилось. Журкова стала. А раньше была Гердова.

– Как делали предложения? Как ухаживали? Что несли на свадьбу?

– Приданое всякое. Платья, кофты, материал. Всякие продукты. Коров, свиней, овец. Жених и невеста стояли у сундука. А на сундуке – одеяло, кофты, целая гора. Там столы были, там кушали, пели, танцевали. Во всех комнатах дома невесты. Где свадьба была. Потом к вечеру выводили на прощание невесту и жениха. Сзади стояли кумовья. И этим кумовьям дарили на шею, вешали материал шерстяной. А впереди стояли родственники, прощались, плакали, и дарили на шею жениху и невесте тоже какие-то материалы. А сзади, кто стоял, – кумовья, снимали с шеи жениха и невесты материалы, подарок, и клали в сумку. И выводили со двора. И по улице танцевали, пели.

– А на улице были снега или дожди, или ветра?

– Какая погода, время. Все было. Все плакали, прощались с родными. И туда заводили в дом жениха, и там тоже была свадьба, пели. Танцевали.

– А какие пели песни?

– Не помню. Болгарские.

– А "Грузданку'' пели?

– Не помню.

– А "Чужбину'' пели Пейо Славейкова?: "У весело и пролето. Приятное времето. И ти на мен замен цвете. И ти на ми сердцето..?''

– Не знаю. Царь ясно сопровикно няма ли нейди някогу? На мирчи

глава до земи. "Взять'' значит. Грузданка ясну сапровикно стала рано утром. Мылась, причесалась. Заплелася. Сделала баклица желто. Свину червену. Таситрегналоси Грузданка путей гури камани и путей гури зелени. Там коси; видела мирчо... А мирчо – бандит. Тяй поклонила и саламу дади. Мирчо /бандит/ спрашивает ее: "Ты почему пришла сюда?.. Мити за что доли тука?'' А Грузданка отвечает:'' Менями ми ората ми испрашта додола глава до ти отрежа. И учити до ти извадя''. И сразу это совершилось. И музыка, и танцы, и песни сразу пошли. Грузданка из бандита глаза вытащила и на палку надела их. И все начали танцевать, кто там был. Где это совершилось.

– Почему такой жестокий этнос?

– Потому что он был бандит. Убивал людей, воровал.

– А еще какие были песни на свадьбах?

– **"Запяла птичка игримка. Хубова равна градинка. Удея за чу млад Стоян.'' Его так звать было молодого воеводу. Ты поешь, потому что тебе весело. На птичку он отвечает. Ти пеешь на тебе весело. А на мене не весело. Булка умерла уже девять гудиня. Оставила мать сирот, пять детей. Булка – это жена по-болгарски. Няма койдеге упире догорани и до дэглэдэ. А птичка поет: "Возьми себе новую жену. Иона будет тебя смотреть и твоих детей''. На этом конец песне. И други песни болгарские. Именно "други песни'' по болгарски. Без буквы "е'' в окончании.**

– И на свадьбах случались в Инзовке драки?

– Нет. Не помню такого случая.

– А ты больше любила на свадьбах снег или красное лето?

– А на красное лето не бывало свадьбы. Осенью, когда убирают урожай – тогда. Потому что люди уже управились: все есть. Свадьба идет тогда, когда нет поста. На пост мясо нельзя кушать. Также весной. После Пасхи. Когда люди уже разговеют – тогда свадьба делают.

– А почему обязательно на свадьбах нужно кушать мясо?

– Причем здесь мясо? Надо же чем-то кормить людей. Котлеты. Голубцы. Жареное мясо. Колбасу самодельную.

– Мясо из свиньи?

– А из чего? Откуда такой попался на мою голову?! "'Мясо из свиньи''. По-моему у тебя, между нами, говоря не хватает.

– А как свинью у вас резали?

– Как вообще режут. В сердце нож. Не знаю. Спроси у Валентина Журкова, который единственный остался из братьев тутошних, кто вырос в Инзовке, и у кого можно спросить.

– А свиней вообще обычно, когда резали?

– Когда холодно.

– Почему?

– А кто в жаре режут скотину? Чтобы мясо пропало?! Какой ты бестолковый, ужас.

– А свиней резали в доме или в хлеву?

– Не знаю. И там и там.

– Или по голове резали топором.

– Из свиней окорока делали, кавурму делали, холодцы, колбасы, сало солили. Смальцы делали. Сельдисоны делали. В кишечник набивали мясо. В желудок. Наполняли кусками мяса и шкурочки чистые от свиней. Кожа. Душистый перец. Соль. Всякие приправы. И потом все это полностью варили. Зашивали его. И варили. Когда сварится, – тогда под пресс. Пресс – доска, и нажать. Сверху камень клали. И остывало. И резали дольками. И потом кушали.

– А что из головы свинской делали?

– Холодцы. Обрезали мясо, сало и бросали в сельдесон. И ноги тоже в холодец.

– А ты что больше всего любила в свинье убитой, зарезанной?

– Все любила. Печень и легкие – делали пирожки. Делали колбасы. Из крови тоже делали колбасы. От овец делали только кавурму. Плов тоже варили из баранины. Все приготовление какое есть.

– А кто был главный в селе Инзовка, кто резал скот?

– Не помню. Любой хозяин мог это делать.

– Но как же? Есть спец по ремонту, строительству печей. Есть спец по рытью колодцев. Есть спец по выхолащиванию свиней. Так же в каждом селе, в каждом государстве есть главный спец по убийству свиней, по убийству людей, по убийству собак, кошек. Кашалотов, лисиц.

– Какой ты нудный, человек. С тобой невозможно жить. Тебя никто не может терпеть. Нет покоя на этом свете.

– А как в Инзовке проходили крестины?

– Кому надо шли в церковь. Крестили ребенка – уходили обедать. Ребенку подарки давали. Родственники. И кто крестил тоже. Поздравляли родителей с сыном или дочкой. В крестные брали тех, кто

нравился родителям. И кто хотел стать крестным. На стол во время крестин подавали все, что бывает, какие блюда были у людей, у родителей ребенка. Совсем старых в крестные не брали. Немножко пожилые и молодые. Моего родного брата Женю крестила сестра Вера – дочь которой умерла от туберкулеза. Женю крестили, когда он был маленький. Какая Вера была веселая! Улыбалась, смеялась, говорила. У Веры было столько вина – большие бочки. И когда вино кончалось – они опять в бочку дрожжи клали, сахар клали – и снова было вино. Второе вино.

– А кто так много пил вино?

– Они продавали. Мать мужа Веры была вторым браком замужем за соседа, который жил напротив. И дочка была у матери Кости / мужа Веры/. Дочка жила с матерью. Дальше не знаю, что получилось. Вся семья продавала вино. Или они вино сдавали государству.

– А в Инзовке сорта винограда как назывались?

– Не помню. Вина очень вкусные. Вино получалось сладкое и густое. Хлеб белый крошили в тарелку с вином. И считался, как обед. Я любила к бабушке ходить после школы – маминой мамы. А бабушка всегда сажала возле печки и давала целое сито кукурузы, которая лопается. И булочки белые сдобные. Плетеные, всякие. Они хорошо жили. Мамины родители. Их фамилия была Божковы. Они крестьянствовали. Одна лошадка. Подвода. Куры, муры. Все было. Гуси были. Овцы мало, но было. Свиньи были.

– А где держали свиней?

– Где держут? В комнате что ли? Закутки есть.

– А где пасли свиней?

– Свиней кормили с рук. Там не было пастбище для свиней.. На подводах дедушка возил виноград. Черный, синий виноград. И белый виноград – длинный "дамский пальчик''. И розовый виноград. Много вино было у них. Полные бочки вина в подвалах. По-болгарски – погреб – **бурдей**. Орех много было. Вишни, черешни. Не при доме. Вне села. У всех так было. Сады были специально.

– А эти сады никто не обносил, не своровывал?

– Такого не было тогда. У всех все было свое. Может продавали вино, может угощали, может сдавали.. У дедушки был во двор больший амбар, где зерно хранилося. И там внутри были загородки – отдельно пшеница, отдельно – рожь, отдельно – ячмень, отдельно – овес, отдельно – просо. Все там было. И этот амбар был примерно на метровые столбики от земли. Наверно, от сырости.

– Может, от крыс?

– Крыс тогда не помню.. Были такие ступеньки как лестничка пять-шесть ступеньков. И мы так поднимались. А внизу была собака черная. Маленькая, как у нас была. Которая сдохла, умерла. А я туда пошла. Не знала. И собака выскочила. Меня за ногу схватила. И я упала. Она мне левую ногу – около паха разорвала. И сейчас тоже – через семьдесят семь лет – рана осталась, шрам остался. Пять-шесть лет было. Были у них около дома – росли всякие ягоды. И красная, и черная смородина. Только смородина та была длинная. Деревья были: дзардзали было. Дзардзали – абрикосы. Тюльпаны были. Пионы были. Цветы выращивались не для продажи – для красоты. Кто покупать будет? Кому продавать? У всех полно было. Главное – детство в жизни человека неиссякаемое. У них было очень много сухофруктов, мешками набито. Полная кладовка. И выращивалось в садах вне дворов, вне домов. При дворе была малина. А орехи, дзардзали – абрикосы, и груши, и яблоки. Что только не было.

– А сейчас там Божковы живут?

– Всех коллективизация разогнала. А вот это писать не надо. Опять может коллективизация восстановиться, и опять будут людей сажать. Умных людей в то время посадили, вызывали, убили.. А дураки остались. ...У Божковых было много чего – и картошки, фасоль, лук, чеснок, морковка. Свекла столовая, сахарная и кормовая.

– А всего сколько на этом участке земли работало в двадцатые годы Божковых? Сколько человек была семья?

– Дядя Андрей был /отец Коли/, дедушка Николай /отец Андрея/, бабушка была София, и дедушка был парализован – брат дедушки Николая. И было много родственников ихних. И папа мой – Гердов им помогал. Потом на поле было много семечков, кукурузы. Все было. Был еще хлопок, лен, конопля, просо.

– Там был гектар?

– Какой там гектар? Много земли у людей было. Вуйчо Андрей – отец Коли Божкова – был в армии. Потом, когда вернулся, женился. Взял у Главчевых. Красавица была. Они долго не жили. Она дочку родила. И сама умерла и дочка умерла. Не помню – сын или дочка... Что там у окна мерцает? Потом он женился на другой Буюклинская. Фамилия такая – болгарская. Мария, а по-болгарски Мика. На свадьбе было столько народу. Так танцевали. На окнах было цветы много.

Такие живые цветы – герань называлась. И папин товарищ с женой танцевали. И папа говорит товарищу: "Ты не ошибся, что эту женщину взял. Как вы танцуете по умному''. А я была дружок, дружок на этой свадьбе. Мне подарили на шею повесили серый с белыми полосам материал – на платье. Потом время прошло, Коля родился, и вторая жена дяди Андрея /вуйчо/ тоже умерла. Не знаю отчего умерла. Туберкулез, что ли?

– А почему такая дружба у тебя с семьей Божковых? Ты же Гердова?

– А мой отец женился на Божковой – Анна Николаевна... Еще пропустили. В двадцать четвертом году Ленин умер, а я глухая была. И в школу не ходила тогда. И мне говорят: "Ленин умер''. А я так очень много плакала. А с меня смеялися. Семья моя смеялась:'' Ты его не знаешь, почему ты плачешь?'' А у меня тетя Ирина /Валентина Журкова-мама, сочинского/, мы ее называли по-болгарски, папина сестра: "леля'': я думала, что это моя тетя умерла. Когда я поняла, что это не тетя умерла – успокоилась. Коля Божков родился в двадцать восьмом году... В двадцать четвертом году допустили НЭП, и все полки магазинов были заняты материалами, тюки материалов. После голода – в двадцать первом, двадцать втором году – допустили НЭП, для людей очень хорошо сделали. Люди разбогатели. И в тридцатом, тридцать первом году началась коллективизация – колхоз, колхозы. Начали сдавать лошадей, коров в колхозы. Начали людей раскулачивать, выселять. А другие люди уходили из села в города. Мне вспоминается – какие огороды раньше были! Перцы, баклажаны были огромные – как ладони. Все овощи – очень богатые, крупные. Нас, учеников, посылали на уборку. И хлопок, который распустился – он лопался, и мы вату собирали. Некому собирать было. Люди начали убегать. И детей посылали в колхозы. Мы в Абхазию приехали, кто – куда. Кого расстреляли, кого выслали. Ты не понимаешь когда говоришь – мимо ушей проходит. А когда напечатаешь – это для власти позор. "Кто напечатал? Кто этот человек?'' – спросят из НКВД. Меня не будет. А ты помрешь где-то в Сибири, как твой дед – Григорий Максимович Соловьев. Пропал за то, что в дед тридцать седьмом году, когда Председатель ЦИК Абхазии – Нестор Лакоба был объявлен врагом народа, твой дед засомневался в правоте этой клеветы на честнейшего из людей. И сказал об этом своим, товарищам – Севастьянову и Мельникову. Сказал у себя дома.

И они в тот же миг донесли в НКВД. И в эту же ночь дед исчез.

Когда бабушка ваша умерла в июне тысяча девятьсот шестьдесят пятого года, – я не знала, что делать, за что браться. Не стало защиты со стороны. От бабушки были и совет и подсказывание, подсказка. Старые люди вообще должны жить в доме. Обязательно. Без старых людей, которые имеют опыт в жизни – это уже не семья. Молодежь не приспособлена, не приготовлена к правильной жизни. Лодыри. И не слушаются, не хотят понять. Сто лет будешь жить, и все надо спрашивать, учиться у старых людей. Надо дать в школе урок. Ввести, чтобы почитали старших. Чтобы и боялись и стеснялись с детства. Дите привыкнет уважать, стесняться старших – и будет хороший человек. Старый человек до гроба жизни в семье – бесплатный человек. Мало того, что дает бесплатно материальную поддержку молодежи, но и совет. Бесплатно не ценят… Где-то здесь яблоко было. Надо почистить. Изжога у меня. Там яблоко есть белое в подпорченной посуде.

Мать восьмидесятилетняя ругает сыновей; которым под шестьдесят:

– С такими как вы участок, сады иметь нельзя. Промотаете все. Срубают, что уродит. Что уродит – не сохранят. Лентяи, лодыри, бездельники... Дай сахар на варенье.

– Сахар пойдет на чачу.

– Кому нужна твоя чача. Бездельников угощать?! Приучил всех, чтобы тут лазили, чтобы им давали. Мы с бабушкой участок собирали, собирали, а вы расхищаете.

– Чем расхищаем?

– Жалко, что дураки не поймут. А дальше будете как волки выть. Растеряетесь, и некому будет толкать вас. Тоже писать надо. Вот действительно бездельник. Дальше ничего не знаю, отвяжись от меня. Сахар стакан не даст, а сам пожрал варенье. Деньги на хлеб не даст. Один за целый год хлеб купил. Не стыдно писать такое дурное дело за себя. У меня, действительно, ничего нет. И ключи отняли от моего дома. И ножницы, и рейтузы, и рубашки, и штаны. Как будто они что-нибудь приобрели. Посмотри мандарины все пропали. Бессовестные дураки. Я уже чокнулась с вами. Пойду на дворе с твоей болтовней. Какой у нас сад?! Половина пропадает.

– Ладно дам тебе стакан сахару.

– Не видит, паразит, в каком я состоянии. А еще паразит

издевается: допрашивает как в НКВД за мою жизнь.

– Если, я твой сын, не запишу твою жизнь – кто ее запишит. Напишит?! …Как проходили ваши свадьбы в вашем селе, как проходили похороны? Какие пролегали, проходили снега?

– Петуха меньше, чем за тридцать тысяч не отдавай. Мясо коровье стоит пятнадцать тысяч. А что? Петух не стоит два кило мяса коровьего. Тебе столько костей напхают.

– Мама, а как ты помнишь школу в селении Инзовка?

– Я пошла в школу в шесть лет. Учились на болгарском языке. Школа от нас была близко. Приблизительно я тебе сейчас скажу. От Сурена как до нашего рыбколхоза. Может еще ближе. Не больше сто пятьдесят метров. Как от Эльдара до Солкозяна Петьки.

– Школа была одноэтажная?

– Кажется. Забыла. Покрыта черепицей. Тогда черепицей люди покрывали крыши. Где был черепичный завод я не знаю.

– Ну и как ты пошла в школу в первый раз?

– Платье одела да босиком пошла. Так мы ходили тогда. Не бетон была, а земля. Пыль была, грязь была.

– Но ведь ноге же холодно босиком в сентябре.

– Средне.

– Но и как вы терпели?

– Если было холодно – одевали, наверно, польта.

– Как польта одевали на ноги?

– Когда холодно – ботинки и чулки. Ботинки шил мой брат двоюродный – Саша, который умер в сорок лет. Родной брат Ани и Веры. Он сапожником был. Он сначала жил в Инзовке, а потом в Ногайске. Ты уже писал. Или он продал там. Или не знаю какие причины. А еще кроме ботинки одевали – **постолы**. Постолы были из кожи. Из кожи свинячьей и коровьей. Впереди, и по всей середине, и от задников более широких, объемных – проходила строчка как под трусы, как на сборку материи, настроченных для резинки, для веревочки, для шпагата, чтобы собирать эти края постол к ноге, к ступне, к голени. И когда начинался снег глубокий – эти постолы не пропускали снег, не давали снегу пробиваться к ноге, к простуде, к охлаждению. Вот такая шуба, которой ты ноги укрывал. Овечья кожа, покрывалась материей самотканной. Серый цвет, надевался на этот тулуп. Тогда были специально портные. А на голову – кубанки такие с ушами, тоже от

овечьей кожи, от маленьких ягнят. Когда они такие кучерявые-кучерявые. Годовые или даже более моложе. Кучерявость такая мелкая-мелкая. Настоящий каракуль. На ноги – постолы, на тело тулуп. На голову – кубанки.

– А в школе вы в снежки играли?

– Да.

– Почему играли в снежки?

– Спрашиваешь глупости. Зачем дети играют.

– Почему дети играют: потому что много энергии или потому что жизнь впереди?

– Делать им нечего... Еще нужно написать. Один раз дождь пошел, а я была босая в школе, в начальных класах. А мне кто-то из родителей или из родственников купил калоши – маленькие, блестящие, а внутри бурдовые, теплые. Ну принесли мне в школу. Мне было жалко их обуть, потому что испачкаю, и пришла домой босой, держа калоши в руке. А со мной, надо мной посмеялись, и заставили ноги помыть, обуть калоши, и послали к Валентиновой маме, к тете /леле/ Ирине. Бабушка пошла, и я с ней пошла. А когда вернулись, я мыла калоши дождевой водой, потому что именно от дождевой воды сохраняется блеск, и чтобы калоши были всегда новые. Ну и все. Ходила во втором классе, кажется. Потом заболели уши у меня. Год или два болели. Глухая совсем была. Когда Ленин умер в 1924 году, – я из-за глухоты подумала, прозвучали слова "Ленин умер''. А Ленин и слово тетя по-болгарски - леля звучат почти одинаково. Как раз Андрюша братик родился в 1924. Потом, когда поправилась пошла в третий класс – совсем глухая была,. Ничего не слышу. Но в скором времени болезнь разошлась. Степан старший брат, старше меня на два года – был в четвертом классе, а я в третьем. И был такой указ. Министерство было тогда – не было. Но Просвещение какое? Как сейчас называют? Педагогическое што ли? Ну ладно. И сдавали экзамены третьеклассники и четвероклассники, чтобы попасть в пятый класс. Набирали для пятого класса.

– Почему набирали через класс, через перепрыжку?

– Детей было мало, не хватало. Школа называлась –ШКМ / Школа крестьянской молодежи/ Идет урок. Педагог меня вызывает. Говорит: "Девочка – Машенька Гердова – реши на доске эту задачу''. А я маленькая, не могу доставать. Скамейку мне поставили. Старшеклассники не могли решить эту задачу. Шестой или седьмой

класс. А я в пятом. Из-за хорошей учебы я в четвертом классе не училась. Меня через класс перевели, когда я решила эту задачу. Учитель говорит: "Вот видите, какая маленькая девочка, и класс меньше, чем вы, и она как быстро решила!.. Умница, иди садись. Какая умница девочка. А вам не стыдно – тем, кто старше ее!'' В это время какое-то кино привезли. А кино мы не видели и не слышали никогда. Но не в этот день, а в эти годы, когда мы там учились. Так было интересно: "Что такое кино?'' И все так удивлялись: что такое – живое ходит? Видно уже жизнь продвигались вперед. Культура развивались. Потом еще я и шестой класс перешагнула. Не училась. А из пятого – сразу в седьмой. Мы, конечно, сдавали экзамены. Зимой печка топилась. В двух классах одна печка. Печка топилась кизяком, соломой. Я больше всего любила математику. Я любила все предметы, но для математики у меня была особая башка. Я любила также язык немецкий и географию. А историю не так. Удавались мне эти предметы. Удавались хорошо. Ботаника и зоология так средне. Сдавали экзамены в седьмом классе. Сдали, и нам дали аттестаты. И вот эти документы папа понес в селение главное наше – село Преслав, чтобы поступить в педагогический техникум. Но начались трудные годы, начались коллективизация, началась голодовка в тридцать первом году, и мы уехали в Очамчиры. А документы остались в Преславе. Папа сказал; "Когда вернемся – тогда будешь учиться...'' От голода видела одного хорошего парня – валялся. Первые следствия от начинания коллективизации, искусственного мора людей... В Преслав я больше не попала. И через несколько лет после настоятельных просьб – на местность Донбасс, – где жили мои двоюродные братья, где жил мой дядя – он прислал мне документ об окончании семи классов. Ездил дядя в Преслав и взял из Преславского педагогического техникума мои документы.

– А почему тогда вы сами после смерти родителей в Абхазии от малярии вы не поехали в Инзовку?

– К тому времени жизнь поменялась. Меня как сироту взяли Бюк-оглы. Братьев взяли абхазы... Касательно Инзовки зимней. Зимой мужчинам делать было нечего, кроме кормить скот и чистить сараи. Еще топить печи. И собирались вечерами иногда у нас, иногда у других, и играли в карты при лампах керосиновых. Во время игры то тыкву печеную кушали, то вареную. Очень сладкую, плотную. Кора тыквы была белая. Плоская тыква была. Сорт хороший. Или семечки грызли,

щелкали. А потом компот пили с чем-нибудь. Пирожки или белый хлеб. Или булочки. И в одно время бабушка /по отцу/ пошла в сарай, а там была корова черная, большая. И там отелилась эта корова. Отелилась двумя близнецами, двойней. И пришла бабушка, и говорит: "Там отелилась наша корова''. Все удивились. Ну и хорошо.

– А когда тебя петь заставляли?

– Когда были большие кампании, праздники. Лет мне было семь. Разные песни болгарские. Стеснялась. Не хотела. Они меня уговаривали. И всем было по душе, как я пела. И говорили: "Молодец, Машенька. Какая ты будешь счастливая''. Обрекли меня тогда, обрекли на последующие страдания. Вся жизнь моя прошла в страданиях. Сирота. Ты поступи лучше машинисткой, – раз ты можешь печатать. А самое лучше поступи на хлебзавод – булочки печь. И сам будешь кушать. И домой приносить. Самое выгодное дело. Яичко в карман своруешь из пекарни. Ложку сахара – песку насыпишь в карман. И выброс свою писанину. И в туалет надо выбросить. Все равно ничего не получишь. Не пиши то, что люди понемножку воруют из пекарни. Это предательство. Ты не попробовал булочку. Я тебе не дала. Очень вкусная. Булочка – это яичко и сахар. Я ничего тебе больше не буду говорить, если ты дурак – я не хочу быть дурой. Это разговор, это печатать нельзя. Совсем это не смешно – быть предателям. Тебе шею намылить, если ты не способен существовать. Напоминай, напоминай какому-нибудь вредителю. Тебе лучше ничего не рассказывать.

– А что ты можешь сказать про семью Журковых? Почему деда Степан однажды сильно избил твою тетю – лелю Ирину?

– Сильный дождь был. Она послала Аню и еще кого-то из родичей – или одеться, или что принести из сада. Нельзя было это делать. И они сильно намочились. Пришли домой. А дед был злой за то, что она его жена, послала родичей под дождем делать какую-то работу... У деда Степана было от лели Ирины четыре дочки и четыре сына. Одна девочка задушилась. Маленький ребенок был год или полтора. Тетя пошла на огород, а этого ребенка принесли к нам, к ее матери. И положили спать. На окно была занавеска, чтобы было темно чтобы ребенок спал. И кровать так была: в углу столб. И от этого столба опорного были стенки. А кровать стояла между столбом и стенкой, а ребенок когда проснулся – поворачивался, и упал в эту дыру, в этот проем от

опорного столба. Бабушка посылает меня: "Пойди, послушай, ребенок не плачет?'' Или сама идет посмотреть. "Не плачет''. А когда тетя пришла. Целый день ребенок спит. Кинулась, а ребенок висит вниз головой – он мертвый. Крик был, слезы были. Была Рая, две Маши /одна умерла, другую назвали снова Машей/ и Нина, которая задушилась. ..А сыновья были помоложе своих сестер. Старшего сына деда Степана – Васю пацаном не помню, а парнишкой лет пятнадцать помню. Красивый мальчик был. Учился, да папе помогал. На поле ездил. Его папа занимался овцеводством, а мой папа – земледелием. Моему папе так много в жизни досталось горя впоследствии.

– А почему однажды Ваня и Степа подожгли кошку в Инзовке.

– Игрались. Они же не понимали, что это нельзя делать. Кошка горящая побежала в скирду сена, и сено тоже сгорело.

– А кошка сгорела?

– Это я не знаю. Не можешь мне молоко заквасить!

– Но я же тебе заквасил.

– Такое молоко сам пей.

– Ничего себе. Я мыслитель пью, а ты – простая женщина – не пьешь. – Бесконечен в иронии сын ее, Костос.

– Я больная женщина.

– А может у тебя воспаление хитрости?

– Это у вас – такое есть. А у болгаров такого нет.

– Ты, мама, всегда все заканчиваешь юмором. За это ты молодец.

"Когда состаришься, и станешь слышать хуже, когда одну лишь тень руками будешь прясть, когда озябнешь ты от неприметной стужи, когда твой блудный сын утратит пыл и страсть.

Когда под гнетом туч твои согнутся плечи, когда и я прощусь с раскрашенным жезлом. Тогда, как инвалид, вернусь я издалече к тебе, в наш старый дом – и сядем за столом.

Тогда, клонясь к земле свинцовой головою, услышим звон ручья откуда не постичь! Тогда – когда-нибудь расстанусь с немотою, забуду, может быть, свой стыд, свой стыд, свой бич.

И прошепчу слова, какие шепчут внуки, – я не дал из тебе по собственной вине. Как скроешь ты тоску, куда упрячешь муки, куда упрячешь стыд, который страшен мне!

Что ж, разве не тебя искал я жадным взглядом, когда любил других, надеясь, что найду! Я звал тебя с отцом, и ты сидела рядом, когда

метался я в горячечном бреду.

Губительны слова, губительней, чем чувства, и звуки их страшны, как эхо в тишине; и я закован в них, как будто в панцирь узкий, а реки вен моих безумствуют во мне.

Когда состаришься и станешь слышать хуже, когда одну лишь тень руками будешь прясть, когда озябнешь ты от неприметной стужи – в твоей крови моя заледенеет страсть.

Витезслав НЕЗВАЛ, из книги – "Мать – надежда'', с чешского ,перевод Д. Самойлова, 1938 год.

"НАРОДНЫЙ НАПЕВ. Мне так сродни чешских напевов звуки – смутную боль разлуки будят они.

Слышишь? ...Поет робко ребенок в поле, чувство щемящей боли в сердце встает.

Минут года, будешь бродить по свету – грустную песню эту вспомнишь тогда..''

Райнер Мария РИЛЬКЕ, перевод с немецкого Т. Сильман, 1895 г., из книги "Жертвы ларам''.

"Играй, мальчуган с котенком, ставь в комнате все вверх дном. Играй мальчуган с котенком, ставь в комнате все вверх дном. Навеки ли будешь ребенком ты с матерью в доме родном?

Чего бы тебе не играть, смеясь или слезы роняя? Чего бы тебе не играть, смеясь или слезы роняя? В могиле мы все будем спать, укроет земля нас сырая.

Играй же хотя бы в мечты – дни быстры, и коротки ночи. Играй же хотя бы в мечты – дни быстры, и коротки ночи. Не чувствуй за шалости стыд – с тобой твоя мама, сыночек''.

Витезлав НЕЗВАЛ, из книги "Мать-надежда'', 1938 год, с чешского, перевод Н. Асеева.

"Я тоже ведь деревенский, хоть за плугом и не шагал. Я тоже ведь деревенский. Над зыбкой моей жаворонок распевал.

Мои предки так же трудились, над землей склоняясь родной, и так же на лавках дубовых хлебали из миски одной.

И где-то еще в деревне, где жить мне уже не судьба, и где-то еще в деревне стоит и моя изба.

Висит суковатая палка – мой посох в лесу теней. Висит суковатая палка, что блудных бьет сыновей. Я тоже ведь деревенский, хоть город меня и сманил. Я тоже ведь деревенский – и ничего не забыл''.

Витезслав Незвал, из книги "Мать-надежда'', 1938 г. с чешского, перевод Н. Асеева.

Я счастлив тем, что я оттуда, из той избы, из той избы. И счастлив тем, что я не чудо особой, избранной судьбы.

Мы все – почти что поголовно – оттуда люди, от земли, и дальше деда родословной не знаем: предки не вели. Не беспокоились о древе, рождались, жили в свой черед, хоть род и мой – он так же древен, как, скажем, твой, читатель, род..''

Александр Твардовский, из поэмы "За далью-даль''. 1950-1960 год.

– Не плачь мама, не плачь. Завтра будем печку чистить.

– Ты мне яблоко дай.

– Сейчас.

– Я у тебя уже полчаса прошу это яблоко. Что ты мне такое маленькое яблоко принес?! Я у тебя просила большое.

Костос чистит на балконе яблоко для матери. Слышен плач матери:

– У одних людей смерти было одна-две за жизнь. А мои дни пересыщены смертями.

– А Иона был красивый?

– Наша порода вообще была красивая. Все круглолицые, краснощекие... Иона был женатый. Когда я вышла замуж в Абхазии, – жена Ионы передала мне из Инзовки шарф шерстяной, такая тонкая-тонкая нитка с узорами, такая красивая. Она где-то есть здесь дома, в Абхазии, у дочери. У Ионы были дети. Саша. Он где-то пропал. Или в армии. Он дома не умер. Еще была Шура – дочка. И Нина – они и сейчас есть. Живут в Инзовке. Фамилия – девичьи Дойновы. А как сейчас не знаю. Нина по-моему вышла замуж за азербайджанца. Жену Ионы звали Елена и братья Ионы и сестры – называли ее – буле Ионовица. Это были очень уважительные слова. Не переводятся – **буле Ионовица**. Брат Саша. У него первая жена была Мария. Она умерла очень рано от рака. Рак груди. Он потом женился на второй. У Саши от первой жены была девочка. Вот эта вторая жена очень

любила этого ребенка. Они жили в Приморск /бывший Ногайск/, где сейчас живет Степа Журков. У моей тети – Марины – был большой дом в Инзовке. А потом Саша остался в старом, материнском доме, а Ионе построили новый дом. Был такой закон: младший сын остается с родителями в старом доме, а старших братьев отделяли. А сейчас вся жизнь перепуталась. Эту, девочку Саши от первой жены звали Рая. Я их видела в последний раз, когда ездила на похороны проведать брата Сащу. Меня вызвали, чтобы он меня повидал. Он был уже больной. Он давно меня не видел: мы уехали из Инзовки, когда я была еще маленькой. Я не помню, что сделалось с домом материнским, где жить остался брат Саша. Или он его продал в Инзовке. Но прощаться к нему я ездила в Приморск.

– А что стало с Аней, – самой младшей сестрой?

– Вера была потом. А Вера вышла замуж из старого своего дома, родительского. Я была на свадьбе и плела венки для головы всем сватам, всем гостям со стороны жениха. Был такой обычай. Венки были из цветов. Васильки? Не помню.

– И сколько ты сплела тогда венков Десять?

– Какой там десять?! Больше, больше. Это было до коллективизации. Вера не так давно умерла. Она была тут – раза два. И в горы, до брата Жени ездили, с дедом Степаном. Она, кажется крестила Женю – моего единственно оставшегося в живых родного брата. Которого в тридцатых годах усыновили а Очамчирский район абхазы из рода Ахуба. Ты разве тетю Веру не помнишь?

– Как же не помню! Она мне рубашку сшила лет так тридцать назад.

– Она была у Эли на свадьбе в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году. И Петр напился пьяный. И кажется, она и еще кто-то спал в этой комнате, угловой, а Петр влез в комнату, где спали гости. И на веранде кто-то спал. Они сюда забежали на веранду. И Петр стал ее матюкать: "Блядь, курва..''

Туда-сюда. Она хлопает руками об руку, приговаривает: "Меня муж никогда так не называл. Я не заработала таких слов''... Все начали его ругать. И потом взяли его связали, на землю спустили во дворе. Куда-то его спустили. Он стал бить голову об цемент. Был весь в крови. Тогда его развязали. Он был какой-то невменяемый от пьянки. Потом его снова уговаривали. Положили спать. Какой мой второй муж /

родной брат моего первого мужа/ был несчастный. Она была замужем /Вера/ в Райновке за Костей Попилешко. По болгарски – Коста.

– А кто он был по нации?

– Болгар.

– А почему фамилия украинская?

– Может, Попилешков. Но сокращенно его звали Попилешко. Коста был крестьянин. Когда в колхозах созревал урожай – он всего да был на весах. Пшеница. И овес, и рожь. Все там.. У них долго детей не было. Потом родилась дочка – Лида. Потом ей было лет двадцать – она умерла от туберкулеза.

– Почему он возник?

– Потому что Лида закончила десять классов, и не хотела дальше сидеть на отцовских харчах. Ей было стыдно. Настолько она была скромной девочкой. Что попросилась, чтобы ее устроили кондукторшей на автобусе в Райновке. Ну и там же зима. Сквозняк. Двери все время открываются. И заболела – воспалением легких. И настолько серьезно заболела, что получилась чахотка. И в больнице она умерла. Вера куда-то ушла до Ани, до сестры. Вернулась. А дочь умерла. Такая трагедия была. Вера после смерти дочери жила еще лет десять-восемь, все время ходила в трауре. И все время плакала. И тоже с Верой приключился рак желудка. И быстро умерла. Лет пятнадцать назад.

– Больше. Я был в Райновке в тысяча девятьсот семьдесят четвертом, был в ее доме. Таком высоком, красивом, очень обширным на постройки чисто болгарские, – а тети Веры уже не было в живых. Не было в живых года три. Я был в ее доме с родственником болгарским. Ходили по заброшенным комнатам. Были высокие потолки этого дома. Было за окном уже прохладно. Уже была осень. Падали яблок наливные, крупные. Везде от дома и в доме было запустение. Я как раз расстался со своей любовью таганрогской. И от тяжести душевной, чтобы спасти свое сердце от нагрузки – приехал на места, в места родины своей матери, то есть тебя, мама. И все мне казалось во время брожения по запустению, что этот дом возродится, восстанет, что вот-вот покажется тетя Вера – живая, красивая, любившая тебя, мама. И сгоревшая в трауре, от траура по совсем молодой душе своей дочери... А Коста Попилешко умер раньше Веры. А кто взял дом тети Веры?

– Его, Косты, родственники. Племянница или мать его, которая

жила напротив. Аня, сестра Веры, хотела взять хоть какие-то вещи сестры, но родственники мужа не дали. А Аню, младшую сестру Веры, взяли на воспитание дед Журков Степан и моя родная тетя Ирина. У деда Журкова было четверо сыновей, но не было дочерей. И из семьи Журковых Аня вышла замуж за Гердова Алексея. И у Ани родились два сына и две дочки. Первый ребенок, ее кажется умер, когда был еще маленьким. И сейчас еще живые – Толик Гердов и Виктор Гердов. И дочки – Вера и Катя. У Веры недавно муж умер Валентин Петрович Зеленский. Человек был очень умный, порядочный, авторитетный. Жалко так человек потерялся. Веселый, общительный такой был. Господи, таких людей потерять. Вера, наверно, переживала когда ты там был в Запорожье.

– А если я поеду в Райновку, найду дом, где раньше жила тетя Вера Попилешко /Дойнова/ новые хозяева меня примут? Я же их родич.

– Наверно примут. Не знаю.

– И вот получается – ошиблись ли вы, когда спасались от голода, от коллективизации в начале тридцатых годов, что уехали от дома?

– Есть малярия медленная, медленно человек умирает. А есть малярия – быстрая, мгновенная. И вот отца подстерегла мгновенная малярия. И их было отцу – тридцать восемь лет, когда он умер.

– А что, отец был младше матери на два года? Ведь полагается наоборот, чтобы муж старше.

– В жизни все случается. Может, наоборот, мама была младше. Ты забежал вперед. Раньше мы жили на спуске, когда в Члоу спускаешься. Далеко надо идти вперед. Бабушка и Коля Божков приехали к нам, в Очамчира. Потому что когда мы ехали на пароходе из Бердянска. Это было до приезда в Очамчиру. Папа с самого начала завербовался на работу в Батум. И когда уже куда-то выслали бабушку, дедушку и их сына – Колю, который сейчас есть. Когда мы на пароходе ехали – попался вербовщик, и уговорил всю нашу семью сойти в Очамчира, якобы, там будет лучше с работой. Пароход так жутко гудел, ужас. Когда мы ехали из Бердянска, там тоже спуск есть. Пароход стоял там. И гудел. Пароход назывался "Дельфин''. Так рано было это. А тут ресторан стоит – и в море прямо. Столбы там стоят. Открывается ресторан. И так девочки запели, сотрудники: "ДОГОРАЙ МОЯ ЛУЧИНУШКА. ДОГОРЮ И Я С ТОБОЙ' И я вспоминаю, как мы уже тогда шли на пропасть. А тут пароход гудит постоянно, и

посадка идет. И мы сели все: дядя и папа мой с семьей. Этот дядя был из села, которое сейчас, по-моему, называется Ботево. А раньше по-болгарски назывался – Колынчак. Когда мы выезжали из Инзовки рано утром – край села охрана была. Не пускали, чтобы люди выезжали. Рано утром – часа в три-четыре, когда охрана уснула, мы проехали этот пост. Папа, я, и четыре братика.

– А бричка была чья?

– У кого-то брали. И заехали в Преслав. Там были родственники. Моя бабушка, отца мать оттуда была. И у нас куска хлеба не было; и они дали нас шесть буханок хлеба. Хлеба очень высокие, – сантиметров двадцать, тридцать в высоту. И так по окружности – большие-большие. Белые, румяные. На дорогу нам дали. И папа дает родичам за хлеб пальто мамино с воротником меховым, цвет темно-зеленый, старинный драп шерстяной, сейчас такого нет. Они не хотели брать ни за что. Но папа оставил, потому что мы с голода помрем. Без куска хлеба едем. Потом еще едем по дороге в Бердянск – заехали в Ногайск /Приморск/. Там тоже были какие-то родственники. Там нам тоже дали хлеб много.

– А почему вы уезжали, а другие не уезжали?...

– Может наши родичи тоже, потом уехали. Но наше село было богатое. И комсомольцы особо ширяли по Инзовке. Мы уезжали потому, что семья большая. И не было ни одного зерна. В тридцать первом году мы жили на одной картошке. Была свинья. Мы ее зарезали. И картошку мешали с салом. Толкли картошку и сало туда клали. Мы полгода прожили так. До весны дожили с этой картошкой. Своя картошка была. А весной снег начал таять. Мы все по полям ходили дети и бабушка. Собирали колосики зернышки. Кукуруза полугнилая. И кучки были засыпаны. Там суслики хранили зерно. Мы раскапывали норки. Мы собирали все. А лошади из комсомольских бригад гоняли людей, и арестовывали. Всех мам, всех старших людей сажали по тюрьмам, а все дети бегали по полям, бежали домой со слезами, испуганные. И этим временем ходили комсомольцы по домам, запечатывали сундуки. У бабушки был сундук большой. У мамы поменьше. Чтобы никто не брал из сундуков ничего. А у меня платье было единственное, голубенькое, новое, ситцевое. Я пришла. На сундуке вист сургуч. Я пришла, сорвала с сундука сургуч /мне было лет четырнадцать/. Мне взрослые сказали: "Зачем ты так сделала?''. Но никто не пришел из комсомольцев.

Маму пустили к вечеру. Всех старших. И больше не пришли. Мы это зерно почистили, перемыли. Поставили сушить на печку. Папа собрал это зерно, когда высохло. В сумочку школьную с разноцветной каемкой болгарской, шерстяной. И у нас в край села была мельница ветреная /в Инзовке была не одна ветряная мельница, много /. Ночью хотел понести молоть. И вдруг стучат. Комсомольцы пришли, не знаю сколько человек. Отняли эту сумочку. Мы все плакали, и мама, и дети. Но все равно отняли эту сумочку. Было там кило три, четыре, пять. Так комсомольцы это зерно унесли. А папа до этого – за год или за два спрятал пшеницу на чердак / пуд или два/. Потому что предвидел, какое несчастье будет, когда еще было свободнее. А тут уже осень кончается. Начинается зима. Нечем жить. Начинается тридцать второй год. Совсем пропали. Нас десять человек: семь детей, папа, мама и бабушка, папина мама. А бабушку и дедушку уже раскулачили, выгнали. И мы не знаем, где они. Их, Божковых выгнали из дому. Они хотели придти к нам. Но их не пустили к дочке своей. Близко жили. Куда их выслали мы не узнали и потом. Мы приехали в Абхазию. А четверо – мама и бабушка / с отцовой стороны / и двое детей остались в Инзовке, чтобы продать дом, имущество. Икон было у нас очень много. И много было материала уже готового – двери, окна. Хотели новый дом строить. Детей много. А дом старый. Его еще дедушки строили – лет сто, назад, когда только приехали из Болгарии. Потом родственники со стороны мамы оставшиеся узнали, где мы в Абхазии. Дядя приехал – Андрей.

Колю, моего двоюродного брата, вместе с отцом, бабушкой, дедушкой, выгнали из дома в Инзовке в 1932 году. Был, снег, мороз. Коле всего год или полтора. Они хотят по снегу перейти в наш дом, а комсомольцы проклятые не пускают. Мы жили от Коли близко два-три двора, в одном ряду. А комсомольцы кричат "Сдыхайте...''. Всех выгнали на мороз в нижнем белье. Не знаю куда они делись мои родичи. Наверно, их выслали в Сибирь. А дядя Андрей, наверно сбежал из ссылки. Прятался по лесам. И так скитаясь, добрался до Кавказа, до Очамчира. Где, он знал, находятся его родственники. Потом я не помню, как Коля и бабушка, добрались к нам, когда мы еще жили на первой квартире у хозяина которого-мингрела, – были трое взрослых сыновей с большими, вздутыми от малярии животами. Потом появился дядя Андрей, когда его сын – Коля – жил у нас, забрал Колю, и они пошли по лесам, по папоротникам

в сторону Ткуарчала, там они стали жить в селении Поквеш у болгар – беженцев, таких же как мы. Фамилия их была – Малевы. Тоже болгары. Они были или из Преслава или Калынчак. У болгар, где остановились дядя Андрей и Коля – были дети – Коля и Зина. Эти болгары хотели, чтобы их сын женился на мне. Но потом началась война – и Коля Малев пропал. А Зина, дочь Малевых, вышла замуж за военного Грищу Пономарев. Он работал впоследствии на Очамчирском аэродроме... Остановись. Сейчас напишем, как умер папа. И перейдем к 1934 году.

– Подожди. Я не могу так быстро писать. Я опаздываю за тобой.

– Я прожила восемьдесят лет. А ты хочешь записать за один вечер то, что я пережила, что перенесла за восемьдесят лет. Такого не бывает. Чтобы записать все, что я пережила тебе понадобится тоже восемьдесят лет. А это нереально. – Мама перебирает старинные фотографии семейства, рода, клана многослойного, столетнего. И три, и четыре, и пять поколений. Фотографий много. Есть еще фотографии дореволюционные, – Протягивает одну из фотографий на которой, из которой оживает, прорезывается лицо полнеющей молодой женщины бурятского типа. – Хочешь фотографию своей жены, которая убежала от тебя лет так двадцать назад?

– Нет. Я разочарован своим прошлым.

– Ты отвечаешь как Лермонтов. С каких пор стало в тебе жить обобщение холодное как блеск далекого неиссякаемого космоса?

– Да. "НО НЕ СОГРЕТЬСЯ СЕРДЦУ ЛУННЫМ ХОЛОДНЫМ СВЕТОМ''. Но зубрить, но ворошить свое прошлое нужно, чтобы не закапывать свой стержень. Мама, а какое на тебя произвели впечатление местные люди, люди в Очамчира, когда вы туда сошли с парохода в начале тридцатых годов, спасаясь из Украины от голода?

– Все в черном. По-русски не знают. На нас смотрят свысока. Называют: "Кучуевцы''. Это – то, что "беженцы'', называют сейчас.

– Какое это точное слово из тех лет – "кучуевцы''. То есть мы пришельцы – кочевой народ.

– Когда приехали в Очамчиры, – на пристани пароход остановился. Наш вербовщик – не русский, подогнал машину грузовую и нашу семью и семью знакомого из Калынчака отвезли в совхоз / в Мокву/ моквинский. Какая-то комнатушка была одна. Кухня какая-то. А там переночевали – столько клопов было. Наутро все наше имущество выбросили во

двор, чтобы тетенька /жена и дяденьки из Калынчака/ побелила эту кухню. А детям всем дали работу – травку щипали с грядок. И давали нам по двести грамм хлеба. А папе и дяденьке по четыреста грамм хлеба. А что они делали папа и дяденька? Они шили упряжь для лошадей. И плотничали еще. И когда мы пристроились, папа говорит Степе: "Езжай за мамой, за бабушкой и за детей''. Посадил Степу на пароход и он поехал. Не знаю сколько дней прошло. Степа вернулся быстро и всех привез. И тут получается много людей на одну кухню. Начались дожди. Работать негде. Всех сократили. Дяде дали по двести грамм хлеба в день, а детям ничего. И папа рассчитался. Пошел искать работу. И как раз нашли дом, когда с Члоу поднимаешься в Очамчиру. Сразу первый дом деревянный. Там жили старик, две дочки и сын. Им нужно было делать новый дом. И папа и дядька взялись. Дом должен был быть большим. А у него, у старика – мингрела, дети были все с большим животами, взрослые дети, а уже больные. Это была такая малярия. Эти дети постепенно умирали. И когда старик это понял, он сказал папе и дяденьке из Калынчака: "У меня дети умирают. Мне больше дом не нужен''. А куда делся этот старик – мы не знаем. Или тоже умер. Мы остались в этом доме. И пока мужчины искали работу – мы жили в этом доме. Сделали нары двухъярусные. И спали все. Кто внизу, кто наверху. Мама ходила по дворам – стирала, копала. Я ходила вместе с мамой. Нам давали мамалыгу. Бабушка оставалась, детей смотрела. Этим временем мамины родители попали в Батуме. Мы об этом узнали. В Батуме было много болгар из наших мест. И кто-то сообщил маминым родителям, что их дочь в Очамчирах. Валентин был с 1926 года. Лежал с краю лежанки, рядом с папой, сходил по "большому'', вытянул ножки и умер. Я закричала: " Папа, Валя умер''. А когда Вовочка умирал, он был с двадцать восьмого года рождения, просил: "Дайте мне конфетки момпасье, дайте мне конфетки''. Степа был с 1914 года рождения. По-болгарски Степу звали – Пане. Пане илатука: "Степа, иди сюда''. А бабушка умерла, когда шла на огород; хотела посмотреть помидоры. Шла, держалась за папоротник. Споткнулась и умерла. Только бабушке и сестренке Любочке (ей было два с половиной года, когда она умерла; она была с тридцатого года рождения;) сделали пробики. Всех остальных похоронили, завернув в одеяло. Степа умер, когда ему было девятнадцать лет. Ногу наколол на ржавый гвоздь, ступню пробил насквозь. Возникло

заражение. Нога раскраснелась. В ноге, в дырке – возникли, появились черви. Так Степа и умер. Лежит мертвый, босый, ноги в грязи. Обуви нет, не было. В 1932 году второго октября приехали в Очамчира, потом переходили с квартиры на квартиру. Папа приехал с нами в Абхазию второго октября 1932 года и умер в октябре в 1933 года. Валя раньше умер. Володя умер двадцать третьего августа 1933 года. Мама умерла двадцать пятого августа 1933 года – через день, после смерти Володи. Брат Степа умер девятого сентября. Потом папа уехал в Инзовку – узнавать – можно ли вернуться снова на родину, на Украину. Племянник приезжал – Вася, сказал: " Жизнь вроде бы налаживается''. Папа уехал в июне. Побыл на Украине месяц, приехал: "Будем уезжать'' и тут же заболел. Сколько жил в Абхазии – почти год, не болел. А тут поменял климат – и заболел. Когда Люба болела, – в наш дом пришла цыганка: говорит мне, увидела на моей шее белые бусы: "Дай мне эти бусы. Я их закопаю в землю. Буду молиться. И твоя сестра выздоровеет.'' Я сняла с шеи бусы, отдала цыганке. После того, как я отдала бусы – Любочка пожила еще не больше полмесяца. Я не знаю, где они были – бабушка, дедушка и Коля Божковы. Но они появилась в Батуме. А отец Коли Божкова – где-то скрывался в лесах, прятался от раскулачивания. И когда бабушка и дедушка со стороны матери выгрузилась с вещами в Батуме, и дедушку в Батуме убили ломом прямо на пристани. Там была какая-то цистерна с постным маслом. И постное масло стекало прямо на землю из завинченного крана. И дедушка поставил коробочку, и стал выгребать масло из промасленной земли. Сейчас посуды раздрызганные, а тогда были еще хуже. Или дедушка стал просить кусок хлеба у какой-то компании, которая выпивала на пристани. И дедушку прямо сбросили в море. Потом какие-то болгары вытащили дедушку из моря, и где-то похоронили. Потом Коля и его бабушка каким-то образом узнали, что мы в Очамчирах и приехали к нам. И бабушка мамы вскорости умерла. И похоронили напротив, где мы жили. Там были кустарники и трава. Потом там и дома понастроили. Не потом, а сейчас. Завернули бабушку в тряпку и так похоронили. Как и всех моих здесь похоронили. Наверно, завернули в одеяло.

– Заканчиваем. Уже поздно. Уже светает.

– Подожди. Вот здесь уголочек закончим. Как поднялись в Члов, как подниматься от главного шоссе на Члов, зашли во двор направо, где

эти люди умирали у которых были большие животы. Слева, с левой стороны были доски, нары, где спала наша семья, а с правой тоже были нары. Посередине костер был. Когда бабушку похоронили – дядя заявился – дядя Андрей Божков. А его сын Коля – у нас оставался. Как папе было трудно жить, не дай Господь. Всех жалко. Как всех сохранить. И сколько дядя Андрей жил у нас – не помню. Сразу стучали в дверях: "Откройте!''. Папа открыл. "Из НКВД''. На плечах – кубики, погоны. "Кто здесь кто проживает ?' Папа сказал. " – А вы кто? – спросили у дяди Андрея. Он сказал. "Собирайтесь'', – сказали энкэвэдэшники. Все расплакались. А папу, того дяденьку из – Колынчака, дядю Андрея и брата Степу забрали. Утром мы встали. И пошли узнавать, – куда делись мужчины наши. Мы пошли в сторону Очамчира.

Мы нашли их возле зернового склада. Внутри зернового склада. Склад освободили от зерна, чтобы туда посадить людей. Когда мы искали своих мужчин, мы везде слышали гул. Мы спрашивали: "Где здесь людей собирали?''. И пошли на этот гул. Спросили дежурного, который был около ворот. Он спросил: "Что вам надо?''. Мы сказали; "Вчера увели папу, брата, дядю, и еще одного дядю. Они здесь или нет?''. – "Я сейчас посмотрю'', – ответил часовой. Вскоре он вернулся: "– Да, такие здесь есть''. Мы каждый день своим родичам носили обед. На обед была мамалыга. Что больше? Мамалыга густая с жидкой мамалыгой, чтобы густую мамалыгу макать в жидкую мамалыгу как в подливу из жареного петуха''. Сколько там они были – не помню. Неделю или две. Когда мы пошли с мамой в последний раз, нам сказали: "Их высылают всех''. Мы начали с мамой плакать. Спросили: "Таких-то, таких-то, папу, брата Степу тоже высылают?''. Они пошли проверили, дежурные пошли проверили:'' Нет. Таких не высылают. Они домой придут''. А потом мы пошли домой. А эта семья, где мы жили у мингрельцев, где были больные дети, где мы нанимались делать дом, уже отказывалась, от нас, потому что эти мингрельцы отказались строить себе новый дом, потому что дети в этих местах умирали. А дядю Андрея и дядю Дмитрия из Калынчака, которых высылали, мы не видели. Они исчезли в Сибири. Исчез дядя Андрей – родной брат моей матери. Исчез в Сибирь и дядя Дмитрий вместе с семьей .

– Здесь вы спасались от голода, но все умерли от малярии – через год после побега из мест голодовки. Но живя в Инзовке – ты бы, мама, осталась бы среди своих многочисленных родичей, а здесь проживаешь

одна – одинешенька. Что лучше?

– Конечно, там лучше. Наверно кто-то бы остался в живых. А может быть и все бы остались. Вася Журков, когда приехал в Очамчира, он адрес не знал. И шел по дороге. И думает: "Где искать семью Гердовых, где искать своего дядю, своего вуйчо Дмитрия?''. И вдруг видит, что где-то у забора Женя стоит Гердов и папа мой. Ну и тогда радость была. А тут недалеко они жили. Где железная дорога проходит и шоссе – и крест – накрест получается. Мы там и жили. И встретились. И сказал Вася: "Дядя Дмитрий, там уже в Инзовке лучше''. Ну и решились уехать. Папа посмотрит как там на родине. Папа уехал. Вскоре приехал и говорит:'' Поедем, вернемся. Там уже лучше''. К тому времени, когда папа уехал на разведку почти все умерли от малярии: мама, бабушка, братик Степа /было ему лет семнадцать/ , Валентин /было ему лет пять-шесть/, Володя /ему было лет пять, он был с двадцать восьмого/, Люба умерла /два года, третий; она была с тридцатого года/. Мы тогда жили не у этого мингрела, а у другого, там где начинается подъем. Маме было лет сорок, когда она умерла. Бабушке было – семьдесят девять, около восемьдесят. И все они похоронены там, где кончается город Очамчира – слева, в сторону моря. А на подъеме влево, если выезжать от Очамчира. А не доезжая Члоуского поворота похоронена отдельно от всех моей мамы мама. Она умерла позже всех. В Очамчирах умерла и мать моего отца и мать моей мамы. И вот отец вернулся из Инзовки. И тут же заболел малярией. До этого все болели из его семейства малярией, а отец не болел. И он в течение трех-пяти дней умер...

Шел тысяча девятьсот тридцать третий год. Это здание – зернового склада было очень длинное как сарай одноэтажное. Поместили этих людей, которые с Украины, с Кубани и других местностей. Склад помещался возле моря, возле техникума сельскохозяйственного. Техникум там после сделали, потому что я там через год-два стала учиться. Через короткое время дядя Андрей опять появился у нас, где мы жили у мингрельца. Видимо, дядя Андрей сбежал из каких-то камер заключения пока еще находящихся в Абхазии. Пришел снова к нам. Дядя Андрей взял Колю, и где-то стал прятаться в очамчирских лесах, стали жить в папоротниках. А в этом районе жила семья Малевых – и она приютила дядю Андрея и Колю Божковых. Потом мы переехали на другую квартиру, где у нас все поумирали. В таком месте. Где перекресток – железная

дорога и шоссе.

– Где сейчас находится чайная фабрика?

– Чайная фабрика выше немножко. А мы жили ниже. Ближе к переезду в селение Члоу. Папа выхлопотал участочек, чтобы из хвороста связать себе домик, и папоротником огородить. Но там было болото. И это болото нужно было осушить. Дали такое плохое место – до ужаса. Участок дал горсовет.

– Вы что? Там уже успели прописаться?

– Какое там прописаться? Нас всех называли – кучуи, бродяги, нищие, беспризорные. Надсмеивались над нами.

– Кто надсмеливался?

– Народ. Жители местные. Никакую хижину из хвороста мы сложить не успели. Приехал мой двоюродный брат Вася, сказал отцу: "В Инзовке жизнь налаживается. Поедем, посмотрим. Здесь вы все желтые, можете умереть от малярии''. Отец поехал в Инзовку. Вернулся вскоре. Сказал: "Будем уезжать на родину''. К этому времени в живых из нашего семейства из десятерых остались в живых четверо – папа, я, Женя, Андрей. И к этому времени отец заболел. Он в Очамчирах не болел. Но поменял климат, съездив на Украину, и свалился от малярии. И дядя Андрей приехал из Ткуарчала, узнав, что его сестра /моя мама/ умерла. И сидели у костра, где мы жили. Папа мамалыгу варил. И папа сказал: "Я последний остался – буду здесь умирать''. И на другой день хозяин, где мы жили, взял подводу, взял лошадку, была пятница, и отвез больного папу в больницу. Ну и повезли. А там полный двор больных и мертвых. Выгрузили с парохода. А больница была в конце города Очамчир, возле моря. Больница была двухэтажная. Да большие этажи были. Лестница железная, высокая.

– А кто ее строил эту больницу?

– Откуда я знаю? Отца положили в больницу. А брат – Женя и Андрей – торговали на базаре. Папа был шорником – уздечки шил, вожжи, упряжь для лошадей. Все, что было необходимо для лошадей. И еще папа был столяр хороший. Папа был примерный крестьянин. А дети – продавали то, что у нас было. Папа велел. Что оставалось. Уздечки мои братики продавали, пальто черное /помню/ было с барашковой подкладкой, обувь всякую, старье, что было у нас. Жене было в тридцать третьем году – одиннадцать лет. А Андрею девять. Ну вот. Я к папе каждый день ходила. С одного конца города в другой.

Не меньше три-четыре часа идти в один конец. И папа у меня попросил, была суббота, чтобы я ему принесла пустую бутылку для воды. Там не было бутылок.

– Больница была под небом открытым или в палатах?

– Какая больница под небом открытым!? Ты что болтаешь! Конечно в палатах. Много было людей в палатах. У каждого должна была быть своя бутылка для воды. А у нас была единственная литровая бутылка белая, как баклажка – плоская с одной стороны. Это в субботу было. А привезли папу в больницу – в пятницу. И папа мне говорит: "Завтра принеси мне табак – махорку''. Такой сорт табака махорка. Это воскресенье. А папа, наверно, уже знал, что будет умирать. И взял меня возле себя. Папа лежал на левой стороне, вблизи выхода. Голова в сторону Сухума. И меня так обнял за талию, и говорит: "Машенька, бери детей и уезжайте. Меня в Сухум возьмут. Выздоровею и приеду в Инзовку, домой. – Папа видимо, чувствовал, что умирает. – Тут чужие люди, чужой край. Не оставайтесь...''. Ну и все. Уже наступал вечер. Детей надо было взять с базара, братишек. А я плачу, говорю папе: "Не поеду без тебя''. Ну и вот. Я пошла. А папа попросил: "Завтра понедельник. Принеси мне грушу – кефир''. Был месяц октябрь. И бедный не дождался грушу. Принесла грушу. Кто-то мне дал на базаре. Я рассказала продавцу груш, и он мне дал эту грушу очень большую и желтую. Я понесла папе. Прихожу в понедельник. Врач встречает меня в дверях больницы. Красивый мужик, лет пятьдесят, грузин – Какубава. Я врываюсь в дверь, вхожу коридор. А врач выходит на площадку. А тут высокая – высокая лестница, и мне лет шестнадцать-семнадцать. "Девочка, куда ты идешь?'', – говорит врач. А папа лежал у дверях прямо. Комната была большая, забитая людьми больными малярией. " – А папа умер. Его нету''. Я начала плакать. Я не помню, как попала вниз, как попала во двор больничный. А там стояли по бокам две тетеньки – две женщины: "Девочка, чего ты плачешь?''. – "Папа умер''. А я помню сказала Какубава: "Как умер?! Папа же сказал, чтобы я брала братиков и ехала на родину. А папа выздоровеет и приедет к нам''. А эти тетеньки мне говорят: "Девочка, не надо плакать. Сейчас дяденька приедет и покажет папу''. Это было утром. А дяденька из морга должен был придти в три часа. Я все время плакала. Еле дождалась его. Потом эти женщины говорят начальнику морга: "Вот девочка ожидает тебя, чтобы ты показал ей,

где лежит ее отец. И открыл дверь морга''. Я сама увидела папу. Он лежал с краю. Был последний из умерших. А весь морг полон мертвыми. " – А откуда знаешь, что это твой отец? – спросил начальник морга – небольшого роста, черный мужчина. "У папы шрамчик на правой стороне лица. Я помню этот шрамчик с детства''. Не знаю откуда этот шрамчик. Или болела щека или от войны гражданской. И еще у отца были небольшие усики черные. И сам по себе папа был красивый мужчина. Красивый был папа. А я и этому начальнику морга говорю: "Как же папа умер? Он же обещал отвезти нас на родину, на Украину... Я возьму папу с собой...''. Начальник морга:'' Как же ты возьмешь хоронить? Ты маленькая. Мы сами его похороним.'' Раньше часовня называли место, где лежат мертвые. Когда мы папу привезли на больничный двор – там было полно мертвых и живых – от малярии... Мы приехали от Украины – спасаться от голода, а все умерли от малярии. А те, кто из Украины, из Инзовки переехал в это опасное время на Донбасс – остался жив, как мой дядя Степан и четверо его сыновей.. Ну все?

– Сейчас. Надо дописать. А то ты исчезнешь в другой мир лет через пятнадцать, и никто мне уже ничего не скажет о тебе, о жизни моей мамы. У кого я потом спрошу?

– А кто эта тебе подсказал записать жизнь своей матери?

– Сам дошел, хорошо, что не совсем запоздало. А то, – думаю про всех написал, про всех книги издал, про рыбаков, про летчиков, про морфинистов, про ненормальных, а про самого главного человека на свете, самого преданного тебе не написал. И скажут, потом про меня: "Дурак был дураком''. А так – описание жизни своей матери – есть лучшее оправдание.

– Когда начальник морга сказал мне: "Мы папу твоего похороним..''. Я ушла со слезами к своим братикам, которые торговали на базаре. Братики спрашивают по-болгарски. Кто тогда знал русский язык? "Как у тати здравиту?'' Как у папы здоровье? "Той умря''. Он умер. Сички /все/ начали плакать. По-болгарски все – сички. Собрались. И пошли на квартиру, где мы жили на том краю. Это далеко. И стояла около калитки женщина-абхазка – Маня Ахуба, а по мужу – Бюк-оглы. Когда папа и мама были живые, мы ходили к ним – стирать, копать огород. Тетя Маня Ахуба была инвалидкой – хромала она. Когда она второго ребенка родила, – повредила ногу. При родах нога ее

искалечилась. Это когда она рожала Туту. Был у нее старший сын – Цим. А третий сын – Ниязби. Цим умер в тысяча девятьсот семьдесят пятом или семьдесят втором году еще. А младший сын живой еще, живет в Сухуме. А старший сын Цима – Стасик – живет в Сухуме. Пусть останется память. И тетя Маня Ахуба видит нас плачущими, и говорит, спрашивает: "Что случилось? Что вы плачете?''. "– Папа умер. Осталось нам в море идти''. " – "Зачем? – отвечает тетя Маня Ахуба. – У меня дочерей нет. Три сына. Ты будешь моя дочка. А ребяток – братиков твоих отдадим в селение. Мои родственники не имеют детей, возьмут их – Ахуба и Инапшба''. И мы пошли дальше в свой балаган. Домик – балаган, где мы жили был из папоротника, дверей не было.

– И что вас не обворовали? Без окон, без дверей?

– Кому это нужно было, господи. Рваные, босые.

– Но у вас же была мануфактура?!

– Какая мануфактура?! Коврики, один сундучок... Кто это возьмет? Пришли во двор со слезами. Через все Очамчиры прошли со слезами. И зашли в этот балаган. Легли спать, когда было уже темно. И братишки положили свои головы мне на спину. И так уснули до утра. А утром сказали хозяину – мингрелу: "Отвези нас в город''. Что было повалили на подводу маленькую. Хозяин запряг лошадь. И за эту перевозку, за этот перевоз я обещала хозяину – большой котел для мамалыги, который был у нас.

– А вы этот котел привезли из Инзовки?

– Не помню. Или папа здесь покупал.

– А почему этот мингрел взял с вас таких несчастных – плату? Что? Не мог бесплатно отвезти?

– Я ему сама предложила. Выгрузили вещи у тети Мани Ахуба. Летняя кухня. Она с крыши текла. Это была осень очень дождливая, – октябрь и ноябрь. Все постели клали на головы себе, потому что течет.

– А почему вас тетя Маня Ахуба не пустила в домик, где она жила сама?

– Она с семьей уже уехала в Сухум, а в домике жила семья их родичей из Члоу... Все мокрые, мокрые. А когда бывало солнышко мы вывешивали свои постели на заборы. А забор был не из штакетов, а из колотых кольев. Какие делают в селениях.

– А что представлял собой город Очамчира в те года? Когда вы

сошли с пароход. Дома, строения Очамчира?

– Одноэтажные домишки. Двухэтажных мало было. И кирпичные были, и мазанки, и плетенки были. Больше деревянных я видела. Как такового асфальта не было, но грязи тоже не было.

– А дожди там шли?

– Очень. Эта осень – нашей смерти, смерти нашей семьи – была очень дождливой. Малярийное место. Поэтому люди и поумирали. Даже не знаю почему на таком малярийном месте возникли строения. После тридцатых годов начали сажать эвкалипт. И меньше стало смерти.

– А местные люди что собой представляли? Высокие, красивые, страшные, голубоглазые? Образованные или дикие нравы?

– Траурные одежды люди одевали. В черном ходило большинство. Были и в черкесках, но мало. В основном одевались – платья и рубашки.

– А табак выращивали?

– В городе не было. Это в деревнях выращивали… Надо писать более сокращенно... В штанах или без штанов? Конечно, в штанах. Голые же не ходили.

– А электричество было в Очамчирах в тридцатых годах?

– Нет. Керосиновые лампы. Свечки. Лучины.

– А там жили только абхазы?

– Мингрелы были тоже. Греков немножко было. И армянов было. А потом и русские понаехали, спасаясь от голода, от коллективизации. Турки там были. Персияне были. Кто торговал, кто рыбачил, кто в абхазские горные селения ездил работать на огороды. Ездил за мамалыгой. Шоферы были персияне тоже.

ЧУЖБИНА. Далеч от мила баштина, от драго първо либо, на тазу чуждати земя разтуха ми не иде.

Ах, весело е пролетто, приятно е времето, но тъмен е за мен света и тъжно ми сердцето.

В гората славей като пей – на жалост отгуваря и тихи ветрец ако вей сълзите ми събаря.

Шумливи, росни ветрове тъги не распиляват градински, полски цветове не ме развеселяват.

От тукашните красоли една не ме привлича, към тях сердце ми не лети, не мож да ги обича.

Пейо Словейков.
(болгарский)

– Расскажи про жизнь в доме Мани Ахуба? Сколько там всего ты лет прожила?

– Тридцать третий /конец /, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой и половина тридцать восьмого.

– Много ты там прожила. Действительно, ты была у них дочерью у Мани и Али. А братья твои сколько там прожили, пока их не взяли родичи Мани Ахуба в горы?

– Нисколько. Месяца два пробыли, и их увезли в деревню, в Члоу, выше Члоу. Поехали братья в Члоу – в чужие края – с охотой. Знали, что там они будут жить нормально. Что их там и малярия отпустит. И не будем на костре мамалыгу греть.

– Но абхазы же. как и все горцы – варят же мамалыгу на костре.

– Варят. Но не на железе, на кирпичах.

– А почему так, мама, – на железе, на кирпичах.?

– Я тебе уже говорила. Младший братик – Андрей – ходил по городу – просил мамалыгу, чурек. А старший – Женя – ходил по морю, собирал палочки для костра. Мы на кирпичах, на железках подогревали остывшую давно мамалыгу.

– А почему Вас не кормила семья Буюк-оглы, если они тебя приютили, взяли на воспитание?

– Потому что Маня уехала в Сухум. Али там положили в больницу.

– А чем он болел? Малярией?

– Вряд ли.

– А почему все твои родичи и мама, и папа, и братья, и бабушка, и дедушка поумирали от малярии в Очамчирах, а ты и братья остались жить?

– Наверно, были покрепче.

– А что собой представлял дом Али в тридцатые годы?

– Одноэтажный домишко в три комнаты. За домиком инжировый сад и небольшой огород. Это потом, после смерти Али, после того как эта семья вернулась из ссылки, Цим начал, строить большой дом. Сначала лестница от калитки напрямую. Поднимешься наверх – сразу напрямую дверь. Тут большая комната – зала. А налево поворачиваешь – идет балкон вокруг зала. А налево сразу как поднялся – идет одна комната,

потом вторая. Дай мне карандаш – я тебе напишу. Дальше идет третья комната. Потом этот балкон выводит на коридор с другой стороны. Там у них есть еще маленький домик. В этом домике – варили, жарили, пекли. Ну и все. А внизу был большой подвал – там для столов, когда что-нибудь случается.

– А от моря этот дом был близко?

– Как примерно наш от моря –метров двести. Через дорогу кладбище было. А потом – море. Бензинная колонка там была еще.

– А в море в те года рыбу ловили?

– Не помню. Пиши, что ловили.

– А дельфинов ты там видела?

– Нет.

– А как познакомились Маня Ахуба и турок Али?

– Я откуда знаю?! Мне это было нужно тогда, да?! Турок Али был высокий, крупный, как и младший сын его – Ниязби. У Цима лицо было круглое, а это длинноватое. Али работал в магазинах. Заведовал. Товарами заведовал. Наверно, продовольственными. Потому что сахар всегда был у нас. Это потом, когда Маня и Али приехали – Али стал работаль в "Торгсине''. Вчерашнее тут не помнишь. А ты спрашиваешь семидесятилетней давности.

– А когда вы переехали на подводе в дом, во двор Али когда вы просушивались на солнце от дождей, ливней – сколько вы так страдали, пока Маня Ахуба и Али не приехали из Сухума? Сколько времени вы жили в летней активно протекающей кухне?

– Месяца два. В Сухум с матерью и отцом ездил из сыновей Али – только Ниязби. Тута раньше еще умер, когда ему было лет четырнадцать. Цим жил в Очамчирах. В пятнадцать лет он уже работал. Взять нас – в домик побольше не было возможности – кроме Цима там жили еще родственники Мани из Члоу... Маня приехала. И в этот же день моих братьев увезли в деревню абхазскую. А меня взяла с собой Маня в Сухум. Пробыла в Сухуме я месяца – три-четыре. Когда настала весна – приехали с хозяйкой в Очамчиры – делать огород. А Али там остался. С хозяйкой мы ходили и в Сухуме и Очамчирах на базар, и я была как носильщик. Покупала на базаре – фасоль, мука. Продукты всякие.

– А курей покупали?

– Не помню. Пиши, что покупали.. В Сухуме мы жили на квартире.

Туда – к Красному мосту. Не в центре. Была одна комнатушка. Я спала в коридоре – на полу, хозяева – в комнате. Что мы так кушали – неизвестно, не помню. Не помню, что было вчера, а ты тянешь древность. Жили мы на втором этаже. На этом же этаже жили греки. Грек починял примуса. Жену грека звали Кристина, а его как не знаю. Клопы там меня сильно кусали. Никого не кусали, а меня всегда кусали.

– А ты спала прямо на полу. Или на матраце?

– На полу, но на матраце... Я вот о чем сейчас подумала: "Если бы Вася Журков – приехал бы чуть пораньше из Инзовки, и сказал бы нам, что там стало лучше, – мы бы раньше уехали из жути этой малярийной, и может быть многие из нас остались бы живы... Что потом стало с греком – я не знаю. Когда Маня Ахуба стала давать лекарства от малярии и от наращивающего на ноге дикого мяса от покуса собаки еще в Очамчирах – этого грека уже не было. Куда он исчез – не знаю. Лекарство – ихтиоловая мазь от ноги, от дикого мяса, а от малярии – какая-то бордовая жидкость. Я эту жидкость пила. И Маня говорила, сказала: "Пей, пока не кончит тебя трясти малярия''. Я и пила. Жидкости было пол-литра. Пила я эту жидкость три раза в день. Вообще не помню.

– А как же нога прошла?

– Нога была распухшая. Красная от укуса собаки в Очамчирах. Мы зашли к хозяйке той, где мама и я раньше копали и цапали, я там тоже жила месяц. И там меня хотели взять как дочку. Сказали: "Мы тебе дадим двадцать рублей и чувяки''. И так ничего не дали. Зашли во двор. Собака меня знала. Пошла с нами. Мы зашли еще в другой двор, где нас тоже знали. А это собаки напала на нашу большую черную собаку. А эта большая собака черная стала прятаться от этой маленькой собачонки. Большая стала прятаться между моими коленями. И собака маленькая схватила меня зубами, прокусила ногу насквозь. Левую ногу. Ниже колена. И сколько не лечили, не проходило. Повязки из марганца все время меняла. Не проходило. Стало нарастать "дикое мясо''. Красное мясо, нарост. Дикое мясо прямо торчало. Хотели мне ногу резать. Я не дала. Хотели резать ногу, до колена ампутировать – не поддается лечению. Где меня собака укусила – перепугались. Сразу фасоль разломили и приложили к укусу. И такой уход. Сразу курятину порезали. Курицу зарезали, положили на огонь. Кормили меня

хорошо. Кормили меня неделю. Перепугались, что я могу заявить в органах, что такую дикую собаку держат.

– А эта собака была – Мани?

– Что ты меня мучаешь? Манина собака пошла со мной. Меня покусала другая собака. Кто-то дал папе подводу – меня в больницу возили. И когда это случилось, мама пошла домой. У нее спросил папа: "Где Маша?.'' Мама ответила. И папа приехал на лошадке и увез меня домой. Я все говорила: "Пойду жить к Мане''. А папа отвечал: "Когда меня не будет – тогда пойдешь там жить''. Так и получилось. Почему я там хотела? Там, у Мани – мамалыга была, сахар был, все было, что кушать, а здесь в папоротниках – мы голодовали.

– А почему тебя Маня взяла? Потому что ты была симпатичная?

– Симпатичная одно. А второе – у нее не было дочки... Ногу свою я вылечила ихтиоловой мазью. Мазала до сих пор – пока на ноге не образовался "струб''. И нога опала, воспаления нет.

– А старший сын Мани – Цим к тебе хорошо относился?

– Цим был ко мне исключительно честен. Всегда меня защищал. Когда приходил с работы своей шоферской говорил: "Машенька, вот штаны – постирай их. Все деньги, которые ты найдешь в кармане – твои". И когда я уже училась в Очамчирском сельхозтехникуме, когда я шла из техникума. – Цим меня всегда замечал из толпы, из ватаги своих друзей: "Это идет моя сестричка''. – А тогда у молодежи была привычка – свистеть вслед девушкам. И Цим запретил свистеть, когда шла я. Или даже, если я шла в составе подруг из техникума кампания ребят не свистела вслед. Какие-то мысли лезут в голову:'' Ты не знаешь куда делся наш давнишний начальник милиции Джопуа?''. Я хотела бы к нему пойти, спросить:'' Вы не знаете куда делся Джопуа Джавдет?'' Он спросил: "А откуда вы его знаете – моего дядю Джавдета?'' Я отвечу: "Учились вместе в техникуме Очамчирском сельскохозяйственном в начале тридцатых годов. Вместе ели пили, из одной тарелки кушали. Жили в одном общежитии... Наверно, погиб в Великой Отечественной войне. Почти все погибли с кем я училась в техникуме в те довоенные года''. И еще – сейчас в Гаграх работает нотариусом – Какалия. Когда-то я училась с Верой Какалия. Хочу узнать у нотариуса – кем ему приходится Вера? Жива – не жива. Я такая мнительная, неравнодушная к прошлому. Хочу знать – кто куда делся исчез?

4. ОТ ТЯЖЕЛЕЙШЕГО ПЛУГА. ОТ ВЫВОРОЧЕННЫХ ЛЕГКИХ.

От начала жизни в Гаграх, от начала Второго Собачьего хутора в Гаграх, потому что Первый Собачий хутор был, располагался в Старых Гаграх – вблизи Жоэкварского ущелья, как раз на створе ветров – черноморских и дующих с перевала, – поэтому от створа этих ветров отсутствовал комар, который сгубил жизни многим жителям Новых Гагр. Губил жизни все века, все тысячелетия существования здесь человека вплоть до конца сороковых годов двадцатого века, когда стали все болота, все низменные местности высаживаться эвкалиптами, когда стала планомерно вестись ирригационная работа по спасению климата, по спасению курорта. Потому что в малярийные места никто бы не ездил. Не ездил бы на собственную погибель.

И вот в эти местности и прибыла в конце тридцатых годов Мария Дмитриевна Гердова, вышедшая замуж за Соловьева Николая Григорьевича, прибыла в эту влажность, в комариный туман как будто весенний дымок от сирени, от летних гроз как вбирание в собственную жизнь хищника. Потому что жизнь и есть медленное разжижение крови пока бытие не превратится в беспредельное море, где нет границ, а значит и воздыхания.

И от времени тридцатых годов, от тяжелейшего плуга, от вывороченных легких. От наката тяжбы и сохраненного непокоя, упреждающего удара;разлитого болота, – перешедшего в дождь, а голова непокрыта о том, что темечко скоро поплывет по прямому навету; только пять лет прожить после сопротивления.'' Власть отвратительна, как руки брадобрея: а он вельможится все лучше, все хитрее, и улыбается в открытое окно...

"В Исполком Гагринского района от жителя Новых Гагр поселка Шапшаловка Григория Максимовича Соловьева:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мне вручен докладной лист по сельхоз-налогу. Вручен Новогагринским сельсоветом. Доход мой учли на сумму 2400рублей. Побочный заработок за реализацию молока – 1 200 рублей.

Этот докладной лист я не признаю верным. Мне повторно просчитали доход за тысяча девятьсот тридцатый год. Все налоги за тридцатый год – я заплатил полностью. На что прилагаю справку.

Я имею заработка в сумме 450 рублей.

Доходность от частного рынка я имел, но не такой суммы, какой меня обложили. Меня обложили налогом как будто корова дает молоко весь год, не переставая. Но в подаче молока населению в корове тоже есть перерывы.

Торговля молоком производилось всем поселком Шапшаловка на частном рынке. Но почему-то учли доход только меня одного.

Доход остальных граждан комиссия скрыла.

Свое молоко я контрактовал. Контрактацию полностью выполнил, и по разрешению комиссии часть молока продал.

Все те обязанности на меня по молоку, мясу, и другим сельхоз-продуктам я выполнил, – на что прилагаю новую справку.

По реализации на частном рынке мои соседи никаких налогов не платят. Не выполнили они и контрактацию.

Обращаюсь со вторым заявлением. Прошу выяснить и разобрать мою долю. Прошу не давать ходу неправильностям. Первое заявление я подал уже как два месяца. Но никаких результатов нет.

Проситель – Соловьев Григорий М.
7/ VII – 31 года.

Спустя семьдесят лет:

…'' Здесь явно идет, шел накат от имени Гагринского Исполкома. Семья была трудовая, тягловая от рук в кровавых мозолях с утра до темна. И уже явно проходила коллективизация. И уже была начата работа по раскрестьянствованию, по уничтожению самой производительной, самой мощной части народа. И на первый план стали выходить дармоеды. Дармоеды приветствовались, притворяясь комсомольцами, чтобы прожраться на чужих мозолях, на чужой крови. Таким образом прошедшие власти от самого верха развращали народ.

Били под самый дух, чтобы уничтожить Россию. Чтобы Запад и Восток могли пожрать несметные богатства Урала и Сибири, которые тоже были отняты Российской империей у других народов и рас. Жестокое кровосмешение, жестокое смешение скульптур, культур. Абсолютная каторга и пожирание гидры, гидрой.

СПРАВКА

Выдана настоящая гражданину СОЛОВЬЕВУ Григорию МАКСИМОВИЧУ Новогагринским сельсоветом в том, что он по социальному положению крестьянин-середняк, что удостоверяется.

Председатель сельсовета. /Подпись/
Секретарь /Подпись/

Х Х Х

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОЧИХ МТС и БАТРАЧЕСТВА СССР
ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ № 832571
СОЛОВЬЕВ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ.
Год рождения – 1873
Профессия – Кровельщик – маляр.
Производственный стаж – СОРОК ТРИ ГОДА.
Год вступления в Союз – 15 / VI – 1930
Год вступления в данный Союз – 1932.

Х Х Х

ЦИК СОЮЗА СССР Хозяйственное управление дом отдыха "Холодная речка''. 19 августа 1932 г. № 14

СПРАВКА

Выдана настоящая тов. СОЛОВЬЕВУ ГРИГОРИЮ МАКСИМОВИЧУ в том, что он работал на ударном СТРОИТЕЛЬСТВЕ с 22 июня 1931 г. по 12-го августа 1932 года. К работе относился добросовестно. За это получил премию. Работал бригадиром кровельщиков, что и удостоверяется.

Зам. д /отд/ Соболев/
Делопроизводитель – /Василевская/
Тысяча девятьсот тридцать второго года сентябрь 22 дня.

После сна, после наваждения о наших близких, родственниках – москвичах. – О тете Тоне, тете Лизе, дяде Боре.

О тете Тоне – высокой, крупной женщине на высоких каблуках в вечно коричневой кожаной куртке, в берете темнеющем наискосок – сплошное подражание моде конца тридцатых годов, подражание испанцам – интернационалистам, которые сражались против фашистского режима Франко в Испании, и где было так много бессмертных людей из СССР. Была мода на все испанское, на песни испанские, на танцы испанские, на гитару испанскую, на Долорес Ибаррури – руководителе Коммунистической партии Испании, журналистке, печатающейся под псевдонимом очень знаменательным "Пасионария'' / "Пламенная''/, живущей в СССР во времена Франко, потому что Коммунистическая партия в Испании под страхом расстрела была запрещена. О сыне Долорес Ибаррури – Рубене Ибаррури, погибшего в звании капитана Советской Армии в Сталинградской битве в 1942 году.

Тогда многие советские люди брали в свои дома сирот-испанцев, родители которых были убиты в борьбе с фашистским режимом в Испании.

"Детство милое, розовость щек! Корабли запуская в проталинах, мы задолго до срока еще о взволнованном море мечтали... Мы приходим.. Романтика прочь! Даже час будет нами рассчитан, чтоб пронзая прожектором ночь, изучать идеальность защиты''. Володя Апошанский.

Как чувствуется тревожный довоенный Крым, времен до Великой Отечественной войны. Крым подернут серебристой слюдой, серебристой вуалью. Подернут садовой улиткой, если говорить о конусе.

"Нам шел двадцатый. Рябой заплатой ложилась осень на горизонт. А мы шагали к военкоматам, с озябших улиц сметая сон... Шуршало утро под каблуками. Гармонь буянила сердцу в лад..»

Юрий Хронов "День поэзии в Крыму", Симферополь, 1964 г.

Тетя Тоня всегда с папиросой в зубах полузолотых-полусеребряных, всю жизнь проработавшая шофером у высокопоставленного начальства – в тридцатых, сороковых, пятидесятых, шестидесятых годах двадцатого века. Всегда в чаде. в грохоте огромного города, всегда в ритме всегда в составе советских пятилеток.

О тете Лизе – швее –модистке, очень доброжелательной, небольшого росточка, тоже всегда в берете, всегда попивающая вкусный, крепкий чаек в Гаграх, на отдыхе возле моря, у нас, в нашем новогагринском одноэтажном домике с длинной дорожкой выложенной белым камнем.

Тетя Лиза особенно любимая. От тети Лизы на мир распространялось солнце, распространялась луна, распространялись звезды, распространялся бархат, распростронялся шелк улыбки.

О дяде Боре – крупном мужчине, широкоплечем, всегда в темнеющей одежде, шоферской; тоже всегда в берете; водитель автобусов на городском транспорте; всегда добрый на угощение, на приют, на красную икру, на красную рыбу в моем нищенском московском студенчестве.

И следом, за чередой памяти всплыла, выплыла песня:

Петербург золотой,
Где ни бомб и ни войн.

Почему-то Петербург /Ленинград/, а не Москва. Хотя все мои дяди и тети и я вместе с ними проживал у них в Москве: когда я был в детстве, когда я был в юности, когда я был в молодости, когда я был в зрелости, когда я постарел, когда я еще не умер.

Дяди наши по отцовской линии, прадеды – из давних времен из Пензы, из Пензенской губернии, из Тамбова, из тамбовской губернии.

Соловьевская ветка, мой дед Григорий Максимович Соловьев, ушла, уехала от голода, от вечной бедноты, – в Черноморские края лет так сто пятьдесят назад. Исчезла сначала в Сочи, в строящиеся великосветский курорт – после изгнания оттуда древнейших насельников этих мест – убыхов. Из Сочи дед вместе с бабушкой – Цирулис Миной Яновной, до замужества служившей горничной у генеральской семьи, – переехала на житие в Гагры, к Принцу Ольденбургскому на устроительство Гагринской Климатической станции в конце девятнадцатого века... Родной мой дед-кровельщик крыл крыши железом

дворцам и пансионатам Принца: работяга, простецкой души человек, впоследствии, в тысяча девятьсот тридцать седьмом году погибнет в застенках Гагринского НКВД, в застенках Гагринского гестапо в возрасте шестидесяти четырех лет. Погибнет ни за что с ярлыком – "троцкист", "покушение словесное на вождя".

А ветка бобровская /хотя прадеды тоже были Соловьевы; но от того, что носили в провинции пензенской шапки бобровые, шапки из бобра/ – и стали Бобровы/ – спасались, спаслись от голода, от нищеты – в Москве, в Москву. Дед мой двоюродный – Бобров Иван Константинович – человек очень начитанный, знал несколько иностранных языков, всю жизнь, в зрелости проработал бухгалтером в доме – музее Чехова в Мелихове под Москвой, приближенный к мигу, к ощущению, к бытию великого русского писателя. Умер своей смертью дома, в постели, в возрасте почти девяносто лет в почете и уважении.

В отличие от его брата – Соловьева Григория Максимовича, умершего, убитого в блевотине гагринского НКВД, гагринского гестапо.

Вот и вся разница от переезда из родных краев на чужбину в Москву, в столицу или в Гагры, в подвалы курортно-малярийной провинции. И еще, конечно, от усердия мозгового.

Отец уезжал из Абхазии, из Гагр в самом начале тридцатых годов, чтобы в России, на Дальнем Востоке спастись от смерти, от малярии, уезжал чтобы поменять климат. А мать в самом начале тридцатых годов приехала в Абхазию, чтобы спастись от голода, который свирепствовал на Украине от коллективизации. Приехать в Абхазию, в Очамчиры, но умереть от малярии всему ее многочисленному роду.

Но все равно сойтись на этой земле и гибельной, и пленительной, и неравномерной.

Отец вернулся в Гагры, на родину, окрепнув в России без абхазской малярии в начале, в середине тридцатых годов.

Поступил на учебу в Очамчирский сельскохозяйственный техникум, где познакомился с моей матерью, тоже студенткой этого же техникума. Женился на Марии Дмитриевне Гердовой и привез ее в Гагры в тысяча девятьсот тридцать седьмом году.

Тогда не было железнодорожной линии в Абхазии, по Абхазии. И мать с отцом добирались до Гагр – то на пароходе, то машине, то на арбе.

Когда мама приехала в Гагры – то деда моего, Григория Максимовича Соловьева, она не застала.

За месяц до прибытия моей матери в Гагры, в соловьевский домик одноэтажный, сбитый из тонких досок, дощечек, – деда моего уничтожило гагринское НКВД, когда деду было шестьдесят четыре года. Убило за то, что дед сказал теплые слова о Несторе Лакоба, когда Нестор Лакоба был уже объявлен Сталиным – врагом народа. То есть есть дед прошел линкором сопротивления в корпус Сталина, в корпус Людоеда и всех его убийц.

Поэтому всегда, и на том свете тоже буду жаждать убийц моего деда. Буду жаждать их растерзать.

"Из хроники жизни родителей, моих родителей. В обрывающемся начале, в обрывающемся море, в обрывающемся береге надежд и встреч. Сбылся в жизни старого поколения труд тяжелый и нравственный. Труд вообще нравственный, чтобы дать возможность познания, и эти письма и исповеди.."

Добрый день папа, мама, брат Петр. Сегодня я от вас получил письмо, за что благодарен. Письмо говорит, что вы пока живы, здоровы.. Петр стал большой – тоже здоров, что и является основным.

Дорогие родители, вот что я хочу черкнуть. Все же никак не могу приплыть к дорогому родному берегу, то есть к дому нашему. Наверно, я сам виноват. Это насчет того, что пока не могу окончить учебу. Во-вторых, малярия меня никак не оставляет – поэтому я должен жить пока вдали от дома – пока не окрепнет организм.

И еще такое положение. Там, где я сейчас учусь там срок обучения три года. Это и школа вечерняя и техникум. А после окончания техникума должен отработать на Дальнем Востоке пять лет.

Учиться, где я учусь – это для меня очень трудно. Вы можете подумать, что трудно экономически. Нет. Трудно физически. А поехать в Москву или еще куда-нибудь, – ближе к дому, – устроиться в дневное учебное заведение – так это как вы посмотрите. Насчет приезда домой – буду хлопотать, чтобы уехать отсюда поскорей.

Насчет мануфактуры – здесь все есть, сколько угодно. Без всякой очереди.. Но цен пока указать не могу. Напишу в следующем письме.

Погода здесь стоит сырая. Все туманы, изморось. Морозов сильных не было. Правда, ветра были.

Интересно все же как вы волнуетесь о своем Кольке. Но это напрасно.

Насчет свиньи, смотрите сами. Не голодуйте. Если нужно резать – все побоку и крышка.

А я приеду, и жизнь покажет, что делать.

Пока до свиданья. Остаюсь жив и здоров. Коля

Владивосток 1932.

Добрый день папа, мама, Петр! Во-первых, хочу вам сообщить о том, что получил вашу посланную посылку, тридцать рублей денег за что премного признателен. Действительно, у меня был день рождения при получении вашей посылки. К этому дню я имел счастье – преподносимый вами букет роз, когда здесь, в Москве, стоят сильные морозы.

Часто я вспоминаю прошедшие дни в нашем дворе. Мне очень хотелось побывать хотя бы один день дома – посмотреть на своих родителей и на брата. Но сегодня это сделать невозможно.

Я надеюсь, что пролетит скоро время моей службы, и Колька приедет в Гагры в этот ваш маленький уютный домик, где вы живете. Конечно, на время – ввиду того, что я думаю после армии опять продолжить свою учебу.

Хочу вам сообщить, что я от Митюшиных получил уже второе письмо в котором они передают вам – старикам поклон. Пишут, что живут хорошо, только одолевают сильные морозы.

Дорогие родители, я чувствую, что вам сейчас приходится трудновато. Но я надеюсь, что Петр будет хорошим помощником.

Вот одно плохо, что, наверно, никто дома не нарушит тишину, приходится вам много скучать.

Насчет лошади. Я еще раз хочу спросить – нашли лошадь и не можете ее взять? Видимо, лошадь зашла в колхозные поля, на колхозные пашни и ее загнали на колхозный двор. Надеюсь, что папа постарается ее вернуть. Об этом деле сообщите подробно.

Насчет налога – то вы должны в этом году платить немного.

Справку, которую вы просите, скоро пришлю.

Моя житуха пока идет своим чередом. Трудностей никаких нет. Живу на большой палец. Дела на все четыре. Начался новый учебный год. По всем видам боевой и политической подготовки – отметка – отлично.

Двенадцатого января 1934 года буду на городской конференции КСМ /Комсомольского Союза Молодежи /.

Пока до свидание

С приветом Коля

Москва, 51, Садовокаретная 24, кв. 15, Митюшину

/Митюшины – родственники Соловьевых./

ШТАБ отдельного горно-стрелкового батальона

...14 июня 1934 г. № Б/ 1407

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Представитель сего красноармеец части 2312 /2 СОЛОВЬЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ действительно состоит на действительной в службе при выше указанной части.

Настоящее выдано на предмет предъявления для поступления в учебное заведение.

Изложенное печатями и подписями удостоверяется.

НАЧАЛЬНИК ЧАСТИ /подпись не разборчива

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ /подпись не разборчива/

Х Х Х

С.С. Р. Абхазии.

Ново-Гагринский Сел. СОВЕТ Гагринский уезд 19 июля 1934 года.

СПРАВКА

Выдана Соловьеву Николаю в том, что родители его из имущества по Н. Гагринскому с/совету имеют 0, 63 га пахотной земли, деревянный домик и одну корову.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ С/С Меладзе

СЕКЕТАРЬ _____ /подпись не разборчива /

С.С.Р.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ водных путей сообщения
1 сентября 1934 г. № 1416 г. Благовещенск н/ Амуре, Торговая, 1, тел. 186

Тов. СОЛОВЬЕВ.
На ваше письмо от 2/ VIII сообщаю что документы ваши не получены.
Прием окончен и учение началось с 1/IX с. г.
Директор _____

Х Х Х

Место для карточки. И печать. На знаке надпись: ДАЛЬНЕВОСТ. ГОС. СУДОСТР. и МЕХАН. Завод им. ВОРОШИЛОВА
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПРИ ДАЛЬЗАВОДЕ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА

№
Фамилия СОЛОВЬЕВ
Имя и отчество НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Факультет
Специальность….
Год вступления на курсы 1934 г.
Выдана 13 декабря 1934

ДИРЕКТОР ФЗДК
СЕКРЕТАРЬ

"Под предметами – графа и перечисление предметов: математика, физика, химия, черчение.."

От пластинок тридцатых годов, которые любил прослушивать мой дед – Соловьев Григорий Максимович. Любил прослушивать с чердака, с

горища, как говорила моя бабушка – Цирулис Мина Яновна / в замужестве – Соловьева /. Не совсем верно произносившая русские слова – потому что до самой юности прожившая, проживающая в Латвии, в Лифляндии. И тем ценнее ее прослушивание смысла не родной ее речи – в частности слово – горище. Значит – чердак. Сильно светит, сильно греет солнце. И крыша железная, сильно прогретая светом и жарой от лета, от весны, от ранней осени. И дед сидит почти на крыше от дымящейся от жаровни, от копоти рыбы.

"И на черном ободке надпись – откуда произошла пластинка, откуда была растиражирована. И очень интересно запоминать скальпель времен, скальпель зажатых зубов, скальпель будущих расправ, будущих репрессий, которым подвергся мой дед и десятки миллионов ни в чем не повинных людей:

"Грампласттрест. Наркомтяжпром. СССР + Ногинский завод. В. 519 и 3701. Цыганская песня. муз. Дабожака Клейслера. Борис Фишман /скрипка/; фортепиано А. Беленький.

На обороте. В 519 и 3700. ХОРА-ЯККАТО. Муз. Диннику-Хейфец, Борис Фишман /скрипка/, ф-но А. Беленький.

Наркомаш ССР. Ногинский завод Г 9654 ГРК 3072 вту Калинушка. Арт. Л.А. Русланова. Ансамбль рожечников МВО п. у А. В. Сулимова /на обороте/ Г 9655 ГРК 3071

Во кузнице. Арт. Л.А. Русланова, Ансамбль рожечников МВО п. У. А. В. Сулимова.

Грампласт трест. Наркомтяжпром+СССР+Ногинский завод. Г 352 А 878 Г. Хороша жизнь /танго/ Оркестр под управлением Геши. /на обороте/ Г 352 Д 3002 Г. Кукарача /румба/ Оркестр под управлением ГЕРРИ РОЙ

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ПЛАСТИНКОЙ. I. Перед упатреблением пластинка должна быть протерта мягкой фланелевой тряпочкой для удаления сора и пыли. Мельчайшие частички сора и пыли, забиваясь в бороздки, звукозаписи, искажают звук, создают посторонний шип значительно ускоряют износ пластинки.

2. Недопустимо класть пластинку на пластинку без конверта или

бумажной прокладки. Размеры записи / звуковые бороздки / исчисляются микронами, т.е. десятитысячными долями сантиметра, и легко могут быть попорчены. 3. Пластинка должна храниться в сухом помещении обязательно в конверте и в вертикальном положении т.е на борту.

В 347 ПД 3749 В

Признание. Стих. А.Пушкина Заслуж. арт. СССР А.О. Степанова /на обороте/ а /Калмычке., б/ Зимняя дорога.

Стих.. А.Пушкина. Заслуж. Арт. ССР. А.О. Степанова

В 5424 В

Эх, хорошо. Пионер. песня из фильма''Концерт Бетховена''.

Муз. И. Дунаевского, сл. В. Шмидтофа, Орк. ГАБТ СССР в исп. Метрополитена им. Л.М. Кагановича под управл. Заслуж. деят. иск. И.О. Дунаевского

/на обороте / В 5422 В

Песенка Роберта, "Спой нам, ветер'', из фильма "Дети капитана Гранта'', Муз И. Дунаевского, сл. В. Лебедева – Кумача. Детский хор и орк. Метрополитена им. Л.М. Кагановича под упр. И.О. Дунаевского.

В 30 ВТ 3777 В

Песенка ОЛЕ, из оп. "Оле из Нордланда'', муз. Ипполитова-Иванова, Арт. ГАБТ-а СССР С.М. Хромченко. Орк. ГАБТ-а под упр. Заслуж. артиста Р-ки В.Л. КУБАЦКОГО.

/на обороте/ Песня Алеши Поповича, из оп. "Добрыня Никитич'', муз. Гречанинова. Арт. ГАБТ-а СССР под упр. Заслуженного арт. Р-ки В.Л. КУБАЦКОГО.

И под эту прекрасную классическую музыку вечности, под эту поэзию вечности – советские Фашисты тридцатых годов – работники НКВД уводили моего деда в смерть, в уничтожение, в прорванную печень.

Какая подлая подкорка , подкормка, подсознание этих негодяев, этой пропоганды.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 33

Заседание тройки при НКВД Грузинской ССР

Слушали: След. Дело Гагринского Отдела НКВД Абхазской АССР за № 26462 по обвинению КАВТАРАДЗЕ Владимира Георгивича 1897 г. рождения, уроженца с. Хорга Зугдидского р-на, проживающего в собственном доме г. Гагры, грузина, заведующего Гагринской тропической станицей по профессии врача, из дворян, служащего, с высшим образованием, ныне беспартийного. В прошлом, в 1917 г. и 1919 г. состоял в партии соц. федералистов, под судом и следствием не состоял.

Отец обвиняемого бывший дворянин, до Советизации Грузии и при царизме являлся управляющим имения князя Мингрельского Дадиани, который после августовской авантюры 1924 ш, как активный участник в борьбе против Советской власти, был расстрелян.

Дядя обвиняемого Александр, активный участник августовской авантюры, контрразведчик Особого отряда при меньшевиках, убийца Зугдидского Председателя Р. И.К. т. Рогава, в 1929 г. был расстрелян.

Кавтарадзе В.Г. обвиняется в том, что в силу изложенного, будучи враждебно настроен против Советской власти, и вращаясь в кругу бывших дворян, князей Гагринского района Лолуа и других, критиковал и дискредитировал мероприятия партии и правительства, восхвалял западно-европейские государства и говорил, что в Советском Союзе поголовное рабство, неуважение к собственности и личности. Про Советскую власть говорил: "Советская власть является временной, которая при первом объявлении войны – пропадет, после которой вполне наладится жизнь. "Сталинскую конституцию назвал "мертво – рожденным дитем, бумажным документом''.

По заключению врача здоров. Содержится в изоляторе при Гагринском Отделе НКВД.

ПОСТАНОВИЛИ:

Кавтарадзе Владимира Георгиевича в И.Т. Л, на десять лет. Считать срок – с 31 августа 1937 г.

Верно: секретарь тройки НКВД Грузинской ССР.

Капитан Г.Б. _____ Морозов

От **Левки Михайлова**, от холодного зимнего вечера, почти от семидесяти лет. От высокого на пространство бугра, холма. От тяжести при повторе зрения. Близко от земли без кафельных плит, без цементного абажура, клейма, когда не хватает кислорода. От беднейшего

на всю округу дома. Прикрыто на дрань, на рубероид. Но не поздно на позвоночники, на становой хребет. На арматуру, чтобы отдаляться от скальпа, от черепа далеко не лысеющего.

Всю ночь подготавливать территорию. Чтобы не забыть, подготавливать пространство, подготавливать уют, приют, метаморфозу.

– Отец мой, Женя Михайлов, еще при деде моем, при отце, поехали на подводах, на перекладных из мест вблизи Волги, вблизи Саратова или Самары /Куйбышев/, прибыли в Тифлис далеко до начала двадцатого века. Работали в ремонтных мастерских, делали колеса для арбы, для подвод. Медленно прохаживались по всему Кавказу, шли по дорогам, по селам с инструментом на плечах – опять же ремонтировали колеса. Делали бочки. И таким образом дошли до Гагр, здесь и остановились навсегда. Как раз подошло время работ для Принца Ольденбургского, для обустройства курорта только начинавшегося. И хутора Собачьего едва начинавшегося. Опираться о плетни, о низкие тростниковые заборы. Опираться на знакомство Женьки Михайлова с Кузнецовой Нюрой (Анной) статной, красивой девицей. Свел Женьку и Нюру сосед Аким, уже давно женатый на Дермановской. Продвигаться до большой реки до Бзыби, до светлого и сиреневого течения, до светлого разлива захлебывающегося горла, до сплошных простуд. И там ходить на сквозняки, на чахоточные легкие, на амплитуду голов, когда хлещет, не переставая, ливень, а укрыться нечем. Вылавливать от ведер, от постоянного пребывания в воде снеговой – форель. Но вечно простуживать ноги. Вечно насаждать на себя малярию – медленно желтую смерть. И Вовка Михайлов и его брат Левка уже дышали на ладан, тонкую занавеску, на нежитие. И принесли детей на спасение фельдшеру Денину Федору. Фельдшер ютился вблизи камина, вблизи еле дышащей печки, вблизи едва живой от сквозняков каморки для приема больных. Фельдшер сам еле живой от недосыпания. Много больных, много лежачих больных. И нужно еще бегать по горным местным армянским селениям вблизи села Альпийское, вблизи сел Сихарули, Адзапш, Калинина, Пиленково, Ермоловка.

Примочками, хиной спас фельдшер детей Женьки Михайлова.

Постройки деревянные, частые пожары на весь хутор, особенно, если дует ветер от Турции, батумский. Дома, хижины тех времен бедняцкие, одноэтажные, на высоких столбах. Под полом, под жилищем лежат

дрова, лежат доски, сушится одежда на кострах, на жаровне. Под полом деревянным готовится еда. Сушатся вещи, сушится обувь. Рубашонки, штаны. И чуть приподняться о покалеченный от многих работ позвоночник. Дышать от дыма. От мелко спешащего дождика, от мелко спешащей измороси. И засыпать от долгих работ по ухаживанию за коровами, за быками, за буйволами, за ружьем, за продолжительной охотой по болотам, по зарослям, по джунглям вдоль моря, вдоль и вовнутрь камыша обильно длящегося на десятки километров. Вблизи от домишка Мюрата Кепи-оглы, женатого на Каламберидзе Нино. Жена Мюрата из мест Асечко, вблизи от Пицундского поворота. От этого брака пятеро детей. Мюрат – кустарь, разводил маслины. К концу жизни ослеп. Вся семья в конце сороковых годов была сослана в Томскую область, сослана потому что турки. Сосланы в изгнание, в Казахстан, в Среднюю Азию, в Сибирь, за Урал, – потому что греки, потому что турки, потому что персы. Нужно же было Сталину, Берия заселять места причерноморские своей нацией – мингрело-сванской. Вот и творили произвол, изуитство над тысячами и тысячами жизней, над миллионами, над десятками миллионов. Такого бешенства матки над собственным народом, не знала ни одна страна мира за все века, за все тысячелетия существования. И даже, когда Мюрат вернулся из ссылки в середине пятидесятых годов, когда Сталин умер – Мюрат и тогда не согласился изменить свою фамилию на более выгодную, более выигрышную на сей день, на сегодняшний день – нацию, чтобы получать денежные должности. За что ему вечная благодарность, благодарность за его совесть, за его мужество, за неприспосабливаемость к нужному моменту, за его неотказ от давнего рода племени. Благодарность за то, что не прервал генеалогическое свое древо.

И от частых костров среди этой малярийной влажности, от камыша на жилищах Собачьего хутора, вдоль села Шапшаловка – часто случались пожары. Горел весь хутор, – стоит загореться одному дому, одному жилищу. Оставил тлеть головешки испревшей кукурузы, испревшего стебля, не дотушил угольки, ушел спать хозяин, поднялся ветерок. Раздул угольки – и пожар на всю округу.

От следующих лет на крышах уже шифер. Ветер из мелких угольков, из огненной пыли уже не дымит на пожары, не воспламеняет крыши из соломы, из камыша, из дранки. Уже отстроено на бетон. И нет уже такой теплоты от первозданности бытия, от соединенности, нет

уже прямой так близко сращиваемости с природой так плотно подбегающей, подходящей, прокрадывающейся к человечьему жилью. От прокрадывающихся чекалок, диких кабанов, уток, медведей, селезней, зайцев, барсуков Гагр, про эпос из старинных мальчишеских драк со сверстниками, – откуда Вовка Хагуш всегда выходил победителем. Но это уже ближе не к Второму Собачьему хутору, а к Старому базару вблизи моря, вблизи Лесопилки, вблизи лучшего рыбака Гагр – грека Яни Кисиди, где так узко на плоскую долину и на массу малярийных комаров. И где чуть выше, поднимаясь на холм, рядом с Родником для всего Второго Собачьего хутора – жил знаменитый силач Гагр тридцатых, сороковых, пятидесятых годов – Виктор Инапха по кличке Бикос, всегда поджидавший под мостом очередную жертву, с целью подраться, если она вела себя вызывающе. Бикос вышел из трудных лет, из трудного полуголодного бытия и был всегда рыцарем, без причины мощность энергии не распускал, не кичился своей олимпийской силой. Удивительной кошачье-пантерной прыгучестью. И спустя многие годы, уже из времен Великой Отечественной войны, он, будучи в немецком плену, в свинцово-колючей переправе, в свинцово-колючей изгороди высотой не менее двух метров, разогнался не более десяти метров длина разбега, и перелетел через колючий забор сквозь который был проведен ток от высоковольтной линии. И исчез из концентрационного немецкого лагеря. И из отброшенных снова в довоенные годы, в довоенные времена хотел однажды забрать Толик Колобов у Бикоса абрикосы, которые Бикос добыл в чужом саду, в воровском тайном саду. И сошлись соседи мальчишки у родника у которого в те года и полоскалось белье, и чистились свинские шкуры, и кожи, и внутренности и требуха, и ножки, и окорока, и свинские головы, и коровьи крупы, и буйволиные, и петушьи тела, и курицыны тела иногда дохлые от недокормежки, а иногда огромные телом и ростом от желтой обильной кукурузы. Толик Колобов хотел, чтобы Бикос отдал часть абрикосов ему только за то, что Колобов много старше Бикоса. Колобов был с десятого года рождения, а Бикос с двадцатого. Огромная разница лет. И Бикос в мальчишеской драке не отдал соседу фрукты. Поколотил Колобова. Но потом, отдышавшись от драки все же часть абрикосов отдал соседу за честную драку, за честный бой. Потому что в те года двадцатые, тридцатые, сороковые среди мальчишек не было, не существовало запретных, нечестных ударов по противнику. Дрались только на кулаках,

кулаками, особенно, если соседские дети, сверстники.

Мать Бикоса – высокая чуть сутулая женщина, всегда в черном, с палкой неизменной в руках, воспитывала сына и дочь свою Деспину одна в вечной бедности, в вечных поисках куска хлеба, куска мамалыги, куска мяса. Муж ее – Кухалашвили оставил жену, бросил, и жил где-то в районе Фонтана. И с тех пор как исчез из жизни жены не показывался на Втором Собачьем хуторе.

У матери Бикоса было много родни в Тифлисе и на Черной Речке, вблизи Гудаут. В Тифлисе родичи Бикоса жили тоже бедно. Но у тех родичей тифлисских было много детей. И мать Бикоса взяла на воспитание одного из племянников тифлисских. Звали его Асатиан.

Домишко Бикоса было очень узкое, рядом с родником, на краю Собачьего хутора сутулилось, продуваемо ветрами, сквозняками, дождями, снегами. В те годы снегов выпадало на Гагринском побережье особо много.

Мать Бикоса трудится на пашне, на колхозной земле. И все, что может несет в дом. Но все равно мало, не хватает детям, чтобы их кормить, чтобы их учить.

А тогда в местах от Гагринских болот, от речушки по имени – Гнилушка водилось во множестве водоплавающей птицы, много слеталось воробьев, голубей, уток, селезней, перепелок, зимников, красногрудок, долгоносиков.

И Левка Михайлов с Асатианом всегда вместе с рогатками в руках целый день и целые светлые вечера носятся по полям и стреляют из рогаток птиц. Обвешаны добычей маленьких пернатых, спешат в дом Бикоса, в захолустный сарайчик, и отдают всю добычу матери Бикоса. И она этих птиц быстро крошит, быстро раздевает от перьев, быстро жарит на сковородке прямо во дворе, под навесом. И такое сладкое жаркое до сих пор урчит в желудке у Левки, в желудке у Асатиана, в желудке Бикоса. В желудке у матери Бикоса. В желудке у сестры Бикоса, хотя многих из перечисленных уже нет на земле. В том числе и Бикоса, и матери Бикоса.

Матери Бикоса часть привозить из Черной Речки во множестве аджики, во множестве крупного ореха грецкого. И всю эту пережаренную птичью массу топила в этих орехах, в этой аджике, в этом наплыве солнечных и прокопченных от вечных костров днях.

От дома Бикоса – продуваемого сарая из досок, из плетня, замазанного глиной наполам с кизяком, с пересохшим навозом для тепла со всеми щелями для волков, для шакалов, для медведей, для лисиц, для сказок и

легенд под вечно текущими облаками среди зим, лет и весен.

И пацанам несмышленышам отбивать почки, печень, сердца от черных певчих особо красиво дроздов, дроздиков, чтобы эту певчую птицу пожрать, покушать для насыщения, для собственного примитива, для поджелудочной железы, – потому что без музыки, без музыкального сопровождения вечно движущейся природы – погибает, умирает человечий ли, шакалий ли, зайцев ли слух.

А этих черных дроздиков все равно пробивать из-за кустов, в кустах, в колючках, и сбоку и спереди и сзади лишь бы вытащить певчее сердце. От этого в человеке и жестокость и немилосердие, иизуитство и раннее исчезновение.

От вечных работяг, от приплюснутых корпусов, приплюснутых хижин вдоль болот, разворачивающих профиль, разворачивающих изнанку лет, изнанку вяло текущего дыма очень липкого на привязь, на длинномордых, длинноликих лошадей, долгоиграющих на изморось грив как подтянутых суженых ртов кашалотов, пасти открытой на корабли, на шхуны, на баркасы, терпящих бедствие, катастрофу. Когда от мрака слепнуть на глаза, на улыбку, на отслаивающиеся кости, на отслаивающийся позвоночник вдоль куска черной смолы.

Но ослепнуть на глаза, почернеть на протянутое гнездо, на потрескавшиеся ноги, на потрескавшиеся ступни, на борозды вдоль сетей и рыболовецких и на череду годов, череду лет. И посоветовать на псарне, среди будущей охоты:

– Потрескавшиеся ступни ног хорошо смазать солидолом, тавотом древних времен. Густым, жирным, темно коричневым, почти черным от переработанного машинного масла. От тех времен густых и очень плотных на дым от костров, от огромных чанов с кипящим китовым или дельфиньим жиром. Но китовый жир варился для смазки колес, для смазки движущихся подвод, карет, фаэтонов. И этим жиром можно было смазывать и человечье тело, человечий корпус от простуд, от переохлаждении, от трескавшейся кожи, трескавшегося скелета, если случался перелом. И все это было целительно, – Этому меня учил отец – Женька Михайлов. – Но потом китов бить, убивать запретили. Потому что слишком уж настало, наступило варварство, переступила все границы жестокость, постоянно, все наращивающееся вурдалачество. Ведь раньше целые города китофлотилий уходили на добычу великанов-красавцев; на убиение в середине сердца, в середине заливов, в середине проливов. И с тех пор как перестали убивать китов солидол, машинная смазка стала делаться, производиться из химии дурно пахнувшей, из искусственного сцепления волокон, из нефти, из керосина. Исчез из солидола жир, исчезла из солидола влага, которая лечит многие болезни человечьего или бычьего сердца. И стало жить в раскоряку, потому что стал высушиваться хребет, ствол груши, грушевого или яблоневого дерева размытого на белые черепашьи кости, с длинными соцветиями сетей тел, повешенных за шею. Чтобы удлинять, удлинить плод.

"О жизни моего отца – Николая Григорьевича. О жизни моего деда – Григория Максимовича. О жизни деда почти мне неизвестной, кроме того, что он был золотых дел мастер, был кровельщик, был балагуром; любил пластинки. Когда они ему надоедали – под пьяную руку сбрасывать с чердака. На чердаке дома он отходил душой. Любил мой дед – "Песню Алеши Поповича''. Там слова были трогательные: **"Расцветали в поле цветики... И придет пора холодная, пора жестокая.. Унесет дружка родимого, друга милого, любимого; унесет навеки..''** Потом опять об отце, о его болезни, о желтой лихорадке, когда мочой плыла кровь. Когда бабушка моя, мать отца, бросалась с окна третьего этажа больницы, когда теряла уже пятого из своих детей. И все от лихорадки. Когда брала лихорадка – не отпускала. Уже четверо ее ребятушек лежало на кладбище. А дети один другого меньше. Сейчас на этом месте универсам построили, банк. Как провозвестие о том и для того, чтобы на людской убиенный крови и на гробах произрастало кровосмесительство; если поверх кладбищ строить жилища, поверх голов, поверх человечьего черепа, поверх обглоданного человечьего сердца. Забыть, не помнить былое, что эти места, эти болота когда-то морили душу, живое мерцание. Прожигать, прожечь ощущение. И пробитыми, извергнутыми червями сживать от мира, растворять, разъедать фундаменты домов, гостиниц, растворять на рак, на злокачественную опухоль. В этой безнравственности веселиться на гробах.

Бояться прожекторов, бояться на кость, на прожигание, на прогорклость. На огромные ветровые столба. Когда человечье, звериное тело, рыбье превращается в иглу, в иголочку, чтобы протиснуться для внутреннего жилища. Перейти в другую форму существования.

Это об отце, о деде. Тогда отец еще сидел вечерами на старых

кладбищенских плитах возле своего дома. Там и хутор был. Оттуда и бабушка моя, Мина Ивановна, уже возила на своем "Ваське'' молоко на Красный Крест раненым, еще в Первую мировую войну. Обратно ехала с борщами, хлебами – плата за труд. Тогда везде были леса и далеко просматривались дали. А кустарник колючий – ежевика и мамула, зерна которой были так сладки на голодный желудок детей и взрослых. Там вечерами на кладбище сидел отец, Ленька Малахов, старший из братьев, сын Кулиненко, бегал мальцом Женька Михайлов, дополнял кампанию Митька Хромых, подручный кузнеца. Много кого было. Там тогда возле моста родник был – весь почему-то в сладком перце, болгарском. Тогда участок Малаховых шел да самого моря, там табак здорово рос. И как раз тогда на базар прямо сел "Юнкерс''. Прибежали люди. Летчик посадил шестерых, но так и не смог подняться. Тогда уже Митька Хромых здоровый был, уже плиты старинные выковыривал со своего двора. Не знал же он откуда они. Тогда он еще не разделил свой участок с отцом Данилы. Тогда здорово ребята летали с кипарисов на кипарисы в поисках птиц, воробьев. Тогда бабушка моя, Мина Ивановна, правильнее Яновна – потому что она была латышкой, отец ее Яном был. Это здесь так, ближе к России прозвали, повеличали – Ивановной. Сколько тогда бабушка ночей провела без сна дожидаясь сына домой. Вышла однажды в двенадцать часов ночи на кладбище, а там все ее дети, все соседские ребята. Вышла в белом саване, накинула на белую сорочку – белую простыню и к ребятам. А тогда как раз луна вышла, ребятам в лицо свет привидения. Но отец сразу сообразил. И Ленька Малахов тогда не долго думая сзади подкрался и сорвал с бабушки моей простыню. Тогда Митя Хромых еще молодым был, здоровел со дня на день, сок набирал И нравилась ему Шура Малахова, старшая сестра Жорки, будущего коменданта стадиона. А к ней тогда подбивал еще клинья какой-то приезжий Макар. Он грузчиком работал. И никакая зараза его не брала. Все ребята как шпык перебаливали малярией, а ему хоть бы хны. Грузит свой табак и грузит. А тогда малярии много было, люди мерли. Тогда и была малярийная станция. Чуть ночь и миллион комаров –гу-гу-жу-дзинь. Тогда начальником на малярийной станции был Кавтарадзе. Потом, правда, малярию прижали. Болота нефтью заливали, керосином. Потом гамбузия здорово помогала, всех комаров пожрала. Стояла над деревьями высокими влажность и дым. Люди окружали дома кострами и дымили, дымили. Митька Хромых

потом только и спас свою жену, что отвез ее в горы и там поселил. Долго там они прожили. Пока здесь на низине дом не купили. Море далеко плескалось, сквозь кукурузные початки синее-синее с белыми полосами. И так жутко становилось – солнце греет, печет, а над землей дым испарений. Трудно было и изнурительно. Так вот в ту самую пору Макар, этот приезжий грузчик стал спаивать Леньку Малахова. Видимо, понравилась ему Шура. А Митька тогда не женатый был. И как-то вечером подходят к Митьке Хромых в кузню. Впереди Макар: "Жить тебе уже не осталось, Митя!'' И наган наставил, и вот выстрелит. А за спиной Ленька с ружьем наготове. Не знаю, что они хотели от сподручного кузнеца. Тогда Митька чуть отклонился, сзади схватил молоток и по голове Макара. Тот увернулся, Митька догнал и достал. Макар упал. Митька кинулся на Леньку, Ленька бежать и со страху выстрелил по хутору и попал как раз в сарай, где жил Митька. Сарай гореть. Митька к дому своему и пристанищу. В то время как раз ветер дул с Турции. И ну взялись все дома хутора. Домишки деревянные, из дранки. И погорел хутор-хуторок. Многое спасли. Дом Малахова остался целым. И только вечером, когда улеглась буря, пришла Шура на сеновал, и разглядела в темноте побитого парня и побитого брата Леньку. Они ей и сказали, что упали с велосипеда. Спустя короткий срок Макар исчез из города, исчез после коротких слов Митьки Хромых: "Не уедешь – убью. Срок – двадцать четыре часа''. Тогда птиц множество собиралось на хуторе и распевали все ночи и дни. И так складно вторила им, певчим птицам – моя бабушка. Утром будила хутор песнями, когда вела своих коров на пастбище. Напьется возле родника, напоит коров рядом и айда на волю божью, к травам сладким, росным. К чистому воздуху своей зрелости. И жила и печалилась, и плакала, но не вешала носа. По прежнему возила на каламажке молоко. Но уже не на Красный крест, а в сторону школы, там теперь размещался госпиталь с царского позволения светлейшего Принца Ольденбургского. Говорят, прекрасный был мужик, аристократ. Кто не здоровался с ним – того плеткой хлестал, протягивал. Это из уст моей бабушки вся слава и правда, и легенда. Тогда Принц только строил Отрадное. Потом прошло десятилетие, еще. Приходили и уходили люди. Пришел и ушел из этих краев и мой отец. Потому что не мог он жить в этом болоте. Чтобы не умереть, уехал сначала в Ростов-Дон. Там армия. Дальше – Дальний Восток, Владивосток. Так и жил на чужбине, там

выращивал свой организм, там креп, чтобы вернуться на родину – без памяти о своих разрушенных из-за малярии – кровеносных сосудах. Лечился днями времен и следом влетел в родину – молодцом. А там по-прежнему гуляло детство и пацаны по-прежнему в поисках воробьев прыгали с дерева на дерево, все в хвое, все запыленные и счастливые. Тогда в нашем городе только начали появляться цыгане. Тогда только входило в моду песня: "Мы – цыгане – молодцы. Ни о чем не тужим. Хоть по сутки не едим... Но не жнем, не косим. Мы живем среди полей и лесов дремучих, мы счастливее царей и вельмож могучих...". "Гей, цыганка,, гей, цыган..."

Из "Московского вестника", песня, 1830 год.

Это было время великолепия, когда злые люди еще не научились пугать детей – прекрасными свободными цыганами.

"... Я – цыганский барон. Я в цыганку влюблен..."

Сколько раз грек Костакис хотел уйти для жития в цыганском таборе. Но так и не решился. И в итоге исчез для черного – высшей пробы – жемчуга, исчез для своего счастья, исчез для ослепительных лунных ночей. исчез для волшебных чар, исчез для ясновидения, исчез для предтечи.

И потом, чтобы хоть отчасти испытать счастье, достать – ушел, уплыл, уехал в кругосветные экспедиции – на Арктику в течение тридцати лет, чтобы не совсем успеть состариться во льдах. Потому что к началу Арктики был еще очень молодым.

ПАСТУХ АЛХАН. ЖИЗНЬ НА БОЛОТАХ.

Гагры из конца тридцатых годов.

Пастух Алхан из низкой избы, крытой дранкой, просматривал ночные пастбища. От холма, от взгорья уходили в рассветную мглу поля, болота колхидские, фонтанские; располагалась местность – Гнилушка.

К ночи, к шторму, эта вода холодная, как мертвец почему-то подвижный. И холодом уже тянет из глубины и страхом. Страх от отступления, страх от наступления. Как кусок красного древа, как древко ведет из темноты, из прожженного угля, из непроницаемости – в свет тянет на выход из этого состава золы, состава угля, который

испепелен, но составляет ядро, составляет корпус, составляет резерв.

Надеть на себя синий шелк неживого, – так страшит. Так страшит на чужбине, от чужбины. От погружающихся грифонов в самую середину сердца. От погружающейся луны с припадочной пастью.

От солнца идет уничтожение этого страха. Солнце уничтожает этот страх моря. От солнца, от морского штиля словно не бывает, нет смерти. При солнце – все можно разведать, предугадать, предвосхитить. От появления чудовища, от появления подводной лодки можно ей закрутить корпус на хвост, когда видеть солнце.

За спиной неподвижных и подвижных двуногих существ чувствовать здание белое, большое, сильно вытянутое. Здание почти подвижный хвост, имеющий форму забрала.

На подвижные двуногие существа спроецированы кинофильмы. Это дом отдыха КГБ СССР.

От этого места, от этого корпуса, – раньше (Страннику нет еще трех-четырех лет), – жили, располагались, в основном, греческие домики, дворики, окаймлены кипарисами, олеандрами, – дурманящий весенний запах; располагались дворики турецкие, персидские (персианские). От этих высоких мест вдоль высоких обрывов песчаных, соединенных с глиной, от огромных корней шелковицы, которые подмывали все большие штормы, ураганы – жил в низкой сакле лучший пастух из детства Странника – Алхан персиянин, перс, иранец. Согнут в ногах, в руках, ноги, ступни скрюченные под бочку, под обручи, под кавалериста шаги, ноги перекати-поле, вечно, штурмующие крепости на коне. От Алхана жила жена пастуха – Майромка, черная лицом в оспе в крупных лицевых точечках – нарывах, которые не заживали; бабка Майром всегда звенела ведрами. Всегда косила серпом траву, и вечно матюкалась; собирала рыбешку – хамсу от постоянно зеленеющих прибоев, накатов; иногда засиживалась на мысах, и всматривалась в проходящие военные корабли, в пассажирские корабли, в тральщики в подводные лодки, в корветы, в рыбацкие баркасы, в шаланды.

От пастуха жило плохое знание русского языка, исковерканное, на уровне пальцев рук, на уровне полумычания. Из долгих лет, из многолетних пастьбы скота, коров, овец, коз, – пастух Алхан иногда, примерно раз в году, останавливался возле ворот латышки Мины Яновны Соловьевой; кричал ей: "Соловьиха, твоя корова весь день гуляла, гуляла, а вечером домой пришла!'' Пастух давал знать, что корова Соловьихи погуляла с

быком – производителем, что корова, возможно, стельна с этого дня. С пастухом Алханом всегда, особенно летом, когда начинались летние каникулы, ходили пацаны с Собачьего хутора, с Шапшаловки, пасти своих коров. Пацаны забирали с собой на день кусок чурека из кукурузной муки и бутылку молока; надо сказать, что все эти пацаны, гоняющие коров на пастбища, на траву, на болота, – были дети тех русских поселенцев, которых привез в Гагры Принц Ольденбургский – основатель Гагринской Климатической станции для обустройства курорта. В самом начале века, от 1903 года. Как правило, это были мастеровые высокой квалификации – механики, кровельщики, столяры. Григорий Максимович Соловьев, кровельщик, живший на Собачьем хуторе, крыл крыши, Дворца Принцевского (санаторий "Скала''), Принцевской школы. Раньше, во время Первой мировой войны там был лазарет. Этот кровельщик Соловьев проматывал заработанные деньги, разъезжая на фаэтонах, прикатывал домой голый, без рубля. За что был бит женой – Миной Яновны Цирулис, латышкой. И Григорий Максимович бежал со двора к соседу, тоже мастеровому Акиму Ивановичу Павличеву, и кричал: "Аким, Аким, коммуниста бьют''. Хотя кровельщик Соловьев никогда не был коммунистом. К этому времени Принца уже не было, пробегала уже советская власть.

Аким был отцом в будущем знаменитых футболистов гагринского футбола – Шурика и Виктора Павличевых. Их так и звали всегда – "Король'' и "Брат Короля'', Короли футбола. Короли юности Гагр тридцатых, сороковых, пятидесятых годов, шестидесятых.

Проживал от Собачьего хутора и Евгений Васильевич Михайлов краснодеревщик, будущий мастер лесопильного дела. Мастер по изготовлению колес для фаэтонов, подвод.

Пробегал активный на драку, всегда с кузнечным молотком в руке Митька Хромых. Оружейник, отливатель охотничьей дроби, картечи.

Пробегал от этих мест наделенный феноменальной силой – "подросток былых времен''. Виктор Дементьевич (Бикос) Инапха.

Скрываться на болотах, на Гнилушке, среди цветущего кизила, среди перелетных птиц, среди лягушек и змей, среди бакланов, среди богато цветущего камыша – резчику дранок пихтовых Акопу Петровичу Казанджян. Скрываться от разгневанных родителей невесты Варданик, которую он похитил, своровал от озера Ван, от Артвина, многие лета назад, еще до начала армяно-турецкой резни. Скрывался от родичей

невесты (уже давно жены), потому что был бедный. В то время как родители Варданик хотели зятем – купца – чувячника. Акоп голодовал, скрывался в кустах, и все время читал классика армянской литературы Аветика Исаакяна, ища в нем ответы на все вопросы. И Акоп, возможно бы, и пропал от голода и печали. Но его выручал всегда брат – Митик Казанджян. Митик работал с лучшим рыбаком Гагр – Яни Кисиди, и кормил Акопа и Варданик рыбой – то хамсой, то камбалой то султанкой. Потом Акоп построит лавочку и будет торговать копченой ставридой, которой Акопа снова же снабжал брат. Старший должен был помогать младшему. Таков был завет их родителей, которых к тому времени давно не было на свете.

От дома крупнейшего устроителя Гагр – Игумнова, – жил Николай Александрович Чачба. Арестованный в 1937 году энкэвэдэшниками, как враг народа, бежал из-под стражи в Сухуме. Во время скитаний, скрываний от властей встретился с отдыхающим в Абхазии, – великим исследователем Арктики, – Отто Юльевичем Шмидтом, был принят в состав экспедиции полярной; прожил два года от земли Франца – Иосифа, от островов Новой Земли, от островов Рудольфа; получил орден Красного Знамени, вернулся в Абхазию Героем. И власти уже не осмелились арестовать Николая Александровича Чачба. Чачба умер в 1956 году, когда ему было чуть больше сорока лет. Выносили его из дома ближайшего родича – Гурама Лолуа – одного из последних дворян не убитых энкэвэдэшниками.

Жили эти мастеровые в низких болотистых местах среди сплошного гула и гуда заразного малярийного комара, среди больных лихорадкой, то и дело умирающих, и покоящихся тут же рядом, на кладбище, в Шапшаловке, от того самого места, где ныне располагается, развалился корпус Госбанка. Множество лет назад, когда кладбище стали сносить уничтожать – там даже звери из зоопарка не могли ночевать, ревели, кричали, чувствовали энергию умерших давно людей почивших, похороненных, усопших. И этих зверей, зверинец перевезли для ночевки на место Нового базара.

С пастухом Алханом ходили грузинские пацаны, абхазские пацаны, турецкие пацаны, армянские пацаны, эстонские пацаны. Пастух Алхан и пацаны со своими коровами собирались утром рано от речушки очень мелкой маленькой, где через много лет расположится лагерь для советских заключенных и немецких военнопленных. Пробегал от этих

мест пацаненком и пастушонком отец будущего знаменитого на весь СССР футболиста – Владимира Баркая – Шурка Баркая – к старости прозванный "малолитражка" за то, что после пятидесятиграммов чачи – пьянел и падал с ног. К зрелости его женой станет прекрасная лицом дворянка Калашникова. Многие дворяне, простолюдины бежали в Абхазию в тридцатые годы, спасаясь от голода во времена коллективизации, и многие находили здесь судьбу. Многие спаслись от голода, но умерли от малярии в благодатном краю. Ущербность и подлость всех коллективизации и социальных бурь состоит в том, что дворянки вынуждены выходить замуж за босяков, чтобы спастись от гнева рабоче – крестьянского класс только за то, что любят Шопена. Дебюсси, "Рондо каппричиозо", Пабло Сарасатэ, за то что любят "Испанские танцы", "Цыганские напевы" переложенные на скрипку.

А пока нет голода, и юные пастухи матюкаются и курят очень рано на болотах. Ловят рыбешку и гоняются за лягушками.

Проживет Шурка Баркая с женой в избе, крытой дранкой. Рядом с пастухом Алханом – вблизи будущего стадиона. Места окружены зарослями, ночными страхами, лопухами, колючками. От мест зарослих всегда во тьму пробегают колдуны с красными крысиными кровавыми глазами. Всегда из страха прорезают горло и пью человечью кровь.

Пастух Алхан направлял своих коров через болота, через ручейки в сторону – Гнилушки – местности богатой на прилетающих диких уток, гусей, перепелов. Переправлялись, переплывали болота, чуть выходили на сущу, на солнце, а на теле, а на ногах, а на брюхе – масса пиявок, крепко прилепленных, вцепившихся в корпус человечий подростковый, детский корпус. И отдирать эти пиявки; чуть проходить, снова входить, вбегать в болота, плюхаться, и снова на суше сдирать с себя пиявок, пока не пригонять коров на место, где много травы, где еды коровам, быкам вдоволь. От солнца вбирать исцеление как бальзам. Рядом шумит море, штормит, войти в море нельзя: крупный накат. А гнать коров надо. И поэтому так часто покрываться пиявками. И корову через волну через накат не перегнать.

Лежать на солнце, на заре, на жаре, простреливать из рогаток птиц. Иногда из рогатки простреливать, прострелить утку дикую; ховать ее в тень чтоб не испортилась за день. От голода сводит живот, но хочется утку тут же прожарить. Но дома братишки. Им тоже надо помогать.

Еду, обед – из чурека и бутылка молока, – прятать в укромном месте возле речки чтобы не таскать с собой за километры. Если гнать коров на Гнилушку – то обедать приходить к своему чуреку – к реке Колхидке. Если пасти коров поблизости, то обед оставлять на реке Фонтанке. Однажды придти в местечко, где обычно оставляли обед, где оставляли свой чурек, а чурека нет, и молока нет. Кто-то, значит, подстерег, выкрал еду. Но кушать же надо. Домой далеко идти. Да рано гнать коров домой. Поэтому целый день рвать зелень, пробовать траву разную на вкус и жевать, чтобы хоть как-то утолить голод.

Пастух же Алхан никогда не оставлял еду в укромном месте, никогда с обедом не расставался. Всегда за спиной носил противогазную сумку, наполненную едой. Потом так и не узнать, не запомнить – выслали ли старика Алхана в тысяча девятьсот сорок девятом году, или он умер своей смертью в Гаграх, до того как персидское, турецкое, греческое население было подвергнуто депортации, высылке. Принял ли смертные муки дома? Или на чужбине, в дороге в скотском вагоне, куда выбрасывали высланных в Казахстан, в Среднюю Азию от станции Бзыбь?!

От пацанов всегда запоминать, что – то рыскать в округе; находить места, откуда проживает форель, ютится, где откладывает яйца, молодь, икру. И всегда говорить: "Пойдем на речку. Форель яйца снесла'' И всегда стесняться взрослых, родителей, чтобы они не услыхали пацановские признания о раннем взрослении. От детства, от отрочества среди провинции тех лет существовал, существует запрет, табу на слово: яйца. Пусть родители думают, что дети не взрослеют и ничего не понимают.

От этих мест часто ходил старик Былинов. У него не было ступней. Ступни были отрезаны, ампутированы. Или от ранения, или от обморожения. Старик ходил на колотушках, на протезах.

Все эти болота, все эти пиявки были до тех пор, до начала пятидесятых годов. Потом стали прорывать канавы, вести ирригационные работы, вода из болота стала протекать, стекать, в море. Возникли плантации из помидоров, из сладкого перца, из баклажанов, из арбузов, из огурцов для начинающихся санаториев, домов отдыха. Из предместий стала, начала поступать совсем иная жизнь.

Спустя много лет встретиться от эпитафии, от могилы Героя

Советского Союза Бостанджяна (1913-1958 г.г.), тоже жителя Шапшаловки, Собачьего хутора, мест гнилых, но прекрасных от древности. Встретиться на мраморе: "Когда погас огонь твоих очей, для нас настала мгла''. Жена, дочь''.

Встретиться с подземным огнем Дантэ Алигъери: "Дух говорил, томимый страшным гнетом, другой рыдал, и мука их сердец мое чело покрыла смертным потом, и я упал, как падает мертвец''.

Именно из этого окончания. Потому что, если оставить: "Из предместий стала, начала проступать совсем иная жизнь'', – значит согласиться, что все умерли, что началась иная жизнь, что согласен на уход, на исчезновение легендарных людей, легендарных времен. Ну умерли, прошли, мы умерли, и так извечно. И согласиться. И нет сопротивления. И нет борьбы за вечность, на вечность, на тысячелетия, на извечный накат волны, накат звезд.

А если оставить: "И я упал, как падает мертвец'', – значит есть великие площадки, великие пристани, великие ристалища откуда огромным, неостановимым рывком, – по истечении многих времен, – поднимутся, восстанут из могилы, из звезд, из морей, из течений, кашалоточных или китовых кровей, неисчислимых пространств все мертвые, все былые, все наши близкие. И мы их примем и не будем думать о том, что они, там – видели в другой, недосягаемой нам жизни.

И, значит, мы исполины. И нет смерти. Есть только накат, закат, архипелаг. И ощущение в тысячелетней дали, в объятиях друг друга.

Без Дантэ Алигъери согласиться на рабов, на винтики, на плебеев.

ОТ БЕЛЕЮЩЕГО СФИНКСА. ГРЕК КОЧА.

От старинного посещения, от старинного жилища.

От двухэтажного здания, крытого древней черепицей. Здание высоко над горами, высоко над поселком старогагринских времен, высоко над Шапшаловкой, высоко над речкой Гнилушкой. Откуда всегда жили, произрастали дикие утки, дикие гуси, лебеди, кабаны-вепри, шакалы, вакшие на прононс, под прононс, вокшие под неувядаемость памяти, под

неувядаемость горла-стручка фасоли, стручка кизилового.

От этого дома с множеством пристроек отдыхал в конце тридцатых годов – Председатель ЦИК СССР – Калинин. Потому и по истечению столетия – "Дача Калинина'' до сих пор.

Дымиться на кончике кадыка уже умирающего на истекшие, истекшие, прорванные легкие.

Спустя семьдесят лет, спустя восемьдесят лет от этих мест, от этого пристанища тянет, пахнет сырыми, давно неиспользованными дровами, пахнет сгустком пепла, пахнет давно заброшенным стойлом, давно заброшенными кроватями, давно потрескавшими стульями, прогнившими коврами, пахнет давно ушедшей или пришедшей сюда вечностью. И вот-вот от этой вечности, от этой влажности, от этого былого очень активно-богатого когда-то на жилье – прорастут глаза, прорастет, прорастает череп, прорастет мозг, прорастет дыхание, которое здесь таилось тогда.

Оставить себе на память склеп из потомственного рода.

И дальше, и выше на сердце, на плечи, на грудь человечью ли, собачью ли, лошадиную ли, бычью ли, овечью ли – только по разным ступням, по разным жилищам, по разным составам проживут деревянные столетние, жилистые от желтизны, жилистые от прорицания, жилистые от износа рук, от износа натруженных крестьянских пальцев, – жилища, постройки, сараи, подвалы, вырытые, врытые глубоко в землю – глину – землянки абсолютно сухие на стены, на подвалы, на стены, на вбитые в толстые доски крючья. Вбитые в греческие тела, в греческие корпуса, потому что здесь живут греки, живут больше, чем сто пятьдесят лет, живут больше, чем тысячелетия, потому что жили от этих мест их предки. Прорезали язычество, прорезали тотем. Прорезали языческие – в глубине лесов – священные деревья. Вбивали нарост на сердце. На тотемный знак, осваивали на подземные звуки, настаивали на каштан – ристалища.

От желтизны помещений, от полированности стволов, от продолговатости пальцев, продолговатости ручьев, от подземного горла, поступающего к стволам, к решетчатым ульям. От зеленоватости пчел, от подземного грома. И все проявлено на пристройки, на сарайчики, на навесы.

И такие полированные руки, полированные стропила, такие изношенные дни от долготерпения, от многоступенчатых жил. От долгих площадок,

склонов, амфитеатров, от коричневого журавля для наконечника стрел.

Водить по жилым помещениям, по гнездам, выбоинам в скалах – куда прислонен грот, где можно прятать вино.

– А почему коров нет? Здесь так много воли...

– Я здесь один живу с женой. Один остался грек Хаджи-Мустафа и Триандафилиди. Я отделен от села – сейчас армянского, а раньше чисто греческого. Часто подвержен нападению. Мы же старики. Недавно корова пропала стельная. К вечеру я привязал ее под навесом, а утром нашел в двухстах шагах, возле бассейна, где раньше жили Палановы, на площадке, рядом с ущельем, с глинистыми оврагами, с синими гроздями глициний. Корову распотрошили. Остались лишь рожки да ножки. Кур держу в взаперти. Пускать по двору тоже не могу. Куры огород уничтожают. А металлическими сетками все огороды не загородишь.

– А что это такой ровный сухой ствол под навесом? Белеет все равно от времени, от солнца, от гроз, от ветров... Акация?

– Нет. Тунг. Раньше до Великой Отечественной войны в наших краях много разводили тунга. Говорят, шло на изготовление авиационного масла...

– А почему не акация для опоры, для навеса?

– Акация – тяжела. А тунг – легкий.

Глаза живут, оживают на старинных предметах, на старинных орудиях труда, на почти двухсотлетней давности рода. Племени, фамилии.

– А отец твой, Коча, упал с этого виноградника лет так пятьдесят назад? Так и не поднялся?

– Отцу было далеко за восемьдесят, когда он упал с дерева, метров семь летел. И как раз упал спиной на камень. Поломал позвоночник. Если бы упал на траву. На землю – ничего бы не было.

– Говорят, интересная история любовная твоего отца Юсупа... Жил в Турции, был турком. Влюбился в гречанку. Пошел свататься. А родители невесты: "Не отдадим дочку, если не переменишь религию..''. И мой отец из-за любви к прекрасной гречанке – стал христианином. Поэтому житья в Турции отцу не стало, и он переехал, переплыл на фелюге – сюда, в эти края, в Абхазию, на эти высоко торчащие пространственные холмы, на эти причуды то и дело появляющихся на горизонте кораблей – отвечает восьмидесятилетний грек Коча шестидесятилетнему греку Костосу.

– Деревья, Коча, у тебя все низкие. Фруктовые деревья. Идут не вверх, а в стороны, идут к земле, распространяются вширь. Инжир, груши, яблоки, фейхоа. Почему? Не пускаешь ввысь?

– Я отрезаю вершины фруктовых деревьев, оставшиеся ветви притягиваю к земле, чтобы легче было собирать урожай. Да и память о причине смерти отца учит старость, мою старость. Да и с земли не упадешь...

Везде старые кирки, старинного образца лопаты, цапки. Ванна для сбора дождя какая-то необычная, высокая. Такие сейчас не делают, не изготовляют, не изготовляют.

– А это из Принцевских, из Ольдебургских времен, когда Гагры только отстраивались, из кустарников превращались в курорт фешенебельный.. Не знаю как отцу достался этот предмет. Ванна высокая, длинная. Можно растягиваться во всю длину тела и париться, отмокать от пряди.

– Здесь, от этой горы так чувствуется греческий дух, греческая античность... Жалко, что всех греков, всех персов, всех турок изгнали из Гагр, из Черноморского побережья Кавказа... Начали изгонять еще от начала тридцатых годов. Все эти негодяи Берия, Сталин. Высылали вашу нацию, чтобы наполнять ваши дома мегрелами, сванами, рачинцами.. Такой климат после высылки греков ушел отсюда! Ушел Платон, ушел Аристотель, ушел Анаксагор, ушел Овидий, ушел оттянутый на фиолетовость солнечный ток, ушло солнечное фиолетовое освещение. После греков пришло невежество, задиристость, накачивание преимущества одной нации над другой. Преимущество одной нации над другой создается для того, чтобы накачивать недобросовестные деньги, недобросовестные капиталы на должностях, на постах... А как Вас, греков, отсюда с этой горы высылали?

– В сорок девятом году к нашему дому, к нашей горе подъехали две полуторки. Вошли во двор семеро автоматчиков... Говорят: "Вы высылаетесь. Два часа на сборы..''. У нас и овцы, и козы, и коровы. И домашний скарб. И девять детей у отца и матери. И один младше другого... Куда собираться? Куда девать добро? А здесь и фасоль, и кукуруза уже спелая на корню, на стволах, на стручках уже готовые. Сердце наше там и остановилось... Здесь и мой старший брат, участник Великой Отечественной войны. Его тоже выслали. Брат, кто воевал, был сослан в Сибирь, в местечко вблизи города Братск. А мы все

остальные – десять человек сосланы в Узбекистан, в Чимкент... Посередине поля, посередине пустыни выброшены, жили в землянках... Сколько погибло. Когда вернулись в Гагры после смерти Сталина – свой домик купили у грузина, который жил в нашем же доме. В списке для высылки наша фамилия была последней. Да и то написана простым карандашом... Все фамилии для высылки писались в НКВД чернилами... А наша карандашом. Эту нашу фамилию вписал наш кум Ражден Меладзе. Он тогда был председатель Колхидского сельсовета. И сельсовет тогда имел большую силу... Нас даже наши хорошие знакомые, работающие в милиции, в НКВД – Луков, Хухуа не могли защитить. Да и опасно было заступничество за нас, за греков, за турков, за персов, когда шла, идет такая политика сверху... Вот что значит жить не на своей коренной родине... Хотя тоже сложно и не соответствует, не соотносится с логикой... А куда делись коренные жители Америки – индейцы?! Уничтожены переселенцами, бандитами из Европы. А куда делись сербы из Косова в самом конце двадцатого века? Там, где жили сербы все десять тысяч лет, где и в помине не было албанцев – теперь сербов на коренных землях нет. Пришли чужие, чуждые народы, работающие, паразитирующие из чужих домов. Из чужих садов, из чужих скальпелей, из чужих пристанищ.

– Обидно что из этих мест исчез ишак, который возвещал людям время: "Иа-иа", "Иа-а..." Без ишаков исчезло биение времени. Когда жили добросовестные крестьянские руки, когда все, казалось, пульсировало так, что не будет конца счастью, конца времен; от ишаков пульсировал ток древней Греции, пульсировал Фермопилов проход; от ишаков пульсировали маслины в древней Греции. Ведь в те времена не было иного передвижения, кроме как на лошадях, на мулах, на ишаках. Мулы запряжены в подводы, в арбу, в повозку, чтобы возить по полям холодную воду...

– Этот мул, этот ишак, эта коза кушают все подряд. Даже, если в тунге, в тунговом дереве плоды для выработки авиационного масла с каким-то вредным для человека ядом, с вредной для человека отравой – козы, овцы едят их без всякого, без всякой опасности для жизни, для их дней. Какой сильнейший у скотины желудок.

– Коча, а отчего получается мул? От каких кровей, соединений?

– Когда ишак гуляет с лошадью – получается мул. Мул больше ишака... Сколько по нашим краям было овец, коз! От Гудаутов в наши

края гнали стада, полчища овец, коз... Все исчезло, после того как выслали греков... При греках все горы были в козах, в овцах, были безтравные; без зелени горы. Все в коричневой глине, в оврагах, в белых камнях, как в отрубях из человечьих, из звериных, из волчьих пород. Какие-то скальпы нависали из бегемотов, из старинных млекопитающих... Тогда пастухи были – Андроникиди; жили, где сейчас дача Берия, бывшая дача Берия, на пригорке, на солнечном отроге полированном, чтобы оттуда бились бараньи, козьи, свиные, коровьи лбы, чтобы бился человеческий потрох... Коз, овец, коров водили пастись на перевалы, на гору Мамзышка. На всех ущельях, на всех диких виноградниках, висели на скалах козы. Долбили камни мул, ишаки, коровы. Камни поддавались под многочисленными десятилетиями, столетиями копыт. Мул. – бесплодный. Он гулять, чтоб было потомство – не может. Мул яйцы не имеет, чтобы были дети. Мул детей делать не может. Мул в полтора раза сильнее, чем лошадь... Это все равно, что лавровишня. Вроде бы садовый плод. А если падает плод с лавровишни, с дерева – плод дикий, надо калировать, чтобы из того, что упало на землю – стало садовым. Вот такая метаморфоза об устройстве природы.

– А мул живет сколько лет?

– Тридцать.

– А ишак?

– Пятнадцать-двадцать. Не больше.

– А почему мул живет дольше?

– Не знаю.

От костра, от огня варится в котелке петух огромный. Жирный, светло-янтарный. Протискивается запах бульона до лавровишни, до далекой морской волны, до каскада холмов, до каскада белеющего паруса, до каскада белеющей резеды.

– А вот ты, Коча, исчезнешь. Тебе уже за восемьдесят. Исчезнешь через сто лет... А кто будет жить здесь? Сын?

– Сын продаст... Исчезнет куда-нибудь ближе к России, к Псоу, за Псоу... Здесь нас столько обижали, столько раз грабили... При таком хозяйстве надо жить только при большой семье, при большом количестве крупных, полированных от вечной работы рук. Работать на виноградник, на шелковицу, работать на пчел, на персики, которые не удержать в руках. Такие они большие, ароматные. По концентрации тепла напоминают Грецию, Среднюю Азию – откуда и где прошла моя высланная молодость, порабощенная.

От отсутствия воды поблизости, отсутствия родников. Быть и надеяться на далекую впадину, на далекий источник влаги. Находиться в глубине ущелья, в глубине мрака скользкого, обрывистого.

Строиться на холмах, на камнях огромных. Разжигать под камнями костры. Чтобы камни-великаны развалились, рассыпались. Белеющее на глаза, на роздымь – оттягиваться на волдыри как шрам , как огромное бельмо, как нарост не уходящий, не проходящий. Как вкрапление золота в твердую породу очень редко и узко, чтобы не разглядеть, не вызнать.

За водой ходить пешком. Носить воду на коромыслах, в ведрах деревянных, выбитых, вырезанных из огромных стволов. Тогда еще не приобрести металл. Быть на посошках, на побегушках у ветров, у зим, у ливней, у скопления змей, у скопления ужей длинных, желтоватых, безобидных.

Только потом, спустя лет двадцать, появились в горном селении ишаки, мулы лошади, коровы. На ишаках стали возить воду, на мулах, на лошадях. Перекинуты бочки дубовые через ишачий позвоночник, через позвоночник мула, через позвоночник лошади. Тенькать позвонкам, тенькать колокольчикам при встречах на узкой горной тропе. Уступать дорогу встречному лошадиному, ишачьему составу. И вечный окрик ишачий; снова и снова: "Иа, иа!, – холодная вода..'' Позвякивание по вечности, по неиссякаемому стремени.

От камней белеющих от мрака, от лунных скитаний, от шорохов в лесу, в чащах, на полянах – разрабатывать куски земли для плантаций под табак, под курево, под дымок сиреневый, коричневый, плотный, душистый. И табак в тех горах был узорчатый, листья табака были в цветах, в изображении, в рисунках. Лучший в мире был табак. Табак у местных греков покупали за границу. – Особенно крупнейшая фирма тех времен "Филлип – морисс'' Табак высокогорный никогда не полыхал пламенем, вспышками огня при раскуривании, при раскрутке папиросы. Полыхал пламенем табак, который разводили при долине, при близости моря, при близости реки на равнине болотистой, злой на комара, на малярию, на постоянно присутствующую смерть от инфекционной заразной болезни комарийной. Поэтому у Черноморского побережья так много кладбищ людских, кладбищ малярийных. Когда надуваться на тело и лопаться в трясучке. Поэтому кому-то работать днем при долинах, при болотах, а ночью, а вечерами подниматься для сна на горы,

на вершины, как закрываться от смерти в саван при наступлении сумерек, при наступлении перепончатого горла, перепончатого ножа на красные заразные очи, блукающие на плазму, раскручивающие на спазмах птичку-жалейку, птичку-злодейку с выклеванным оком.

От всех гор, где сейчас, от мая, цветет акация – были плантации табака. Между камней искали пространства земли очень крутой на спуск, чтобы дождь, чтобы ливни, чтобы снега не сносили землю в долины.

– Тогда было много земли на каждую греческую семью. Бежали греки, турки, персы из своих стран, из своих коренных угодий на Кавказ, в Абхазию, где была постоянная нужда в рабочей силе, нужда в крестьянстве, в табаководстве, нужда в животноводстве, в земледелии. Так же, как и сейчас, в Абхазии была нужда в огромных восстановительных работах, и люди прибывали сюда из всех уголков континента. Сейчас по Абхазии уже и корейцы, и китайцы копают могилы в составе бригад из ритуальной помощи. Идет перемешивание людской крови, людских составов желтых, черных, белых. Перемешивание солнечных и лунных бликов, перемешивание звездной пыли на фугас, на замороженную водоросль, на кизил, на джонджоли... Дома греки в горах сто лет назад строили, возводили на Альпике – первый этаж из камня. Потому из камня, что камень вечный. Первый этаж идет как подвал, как складское помещение для скотины, для солений, для вина, для сбора урожая, чтобы не мочил дождь, не свивал снег, не свивала пурга, не разносил ветер. Второй этаж делался из кирпича.

– А кирпич откуда брали?

– А внизу, от ущелья, где потом посадили сосну. Еще сразу после революции семнадцатого года – жил, работал маленький кирпичный завод греческий. Недалеко от будущей железной дороги, близко от центра в городе Гагры, напротив семьи сапожников Бандурян, где во главе рода стоял очень долго Погос, беженец из Артвина. Мы, греки пацанами смотрели как он работает над выделкой кожи. Короткое время держит ее в извести – эту невыделанную грубую, даже медвежью шкуру, кожу. Но медведь очень толстый на кожу, на обувь. Фактически из шкуры медвежей обуви нет износа... Песок для постройки домов в горах возили, носили с берега моря по узким горным тропам. Тогда еще греки не завели ишаков, лошадей, мулов, и весь песок для домов носили на плечах в мешках, в корзинах. Километры и километры тяжелейшего груза. По узкой тропе подводу, арбу не протянешь. Какие жилы

вытянули эти пути. Тяжелейшая нагрузка на горбатость лет... И долго бы жили от этих мест греки, если бы не коллективизация, если бы не революция. Революция, коллективизация отняла у греков, у персов, у турков землю. Дала только по пятнадцать соток земли высоко в горах. А что для большой семьи пятнадцать соток?! Не прокормишь. И греки и персы, и турки, предчувствуя тяжелейшие, гибельные для людей времена, стали исчезать на свою коренную родину. И как они правильно делали. И как мы, греки оставшиеся здесь, в Абхазии. просчитались, что не уехали в самом начале революции, в самом начале коллективизации. И что такое два часа на сборы, чтобы загрузить два тюка барахла на машину НКВД от всего огромного так трудно нажитого хозяйства, в числе которых и козы и овцы и коровы, мы узнали очень скоро. Спустя даже одно десятилетие, не больше. Поэтому и осталось греков, от пятидесяти тысяч в тридцатых годах, в двадцатых годах – на сегодняшний день, начала третьего тысячелетия – всего полторы тысячи на всю Абхазию. И пропала античность, и пропала из Абхазии сирень, пропал олеандр, считай, что пропала магнолия. Из исчезновения греков из Абхазии – **выцвела антика.** Выцвела из Абхазии, из Черного моря античность, – лучшее на свете провозвестие.

"ЗА ГОРОДОМ. Тот запах вымытых волос, благоуханье свежей кожи. И поцелуй в глаза, от слез соленые, и в губы тоже.

И кучевые облака, курчавящиеся над чащей. И спящая твоя рука, и спящий лоб, и локоть спящий.

Повремени, певец разлук! Мы скоро разойдемся сами. Не разнимай сплетенных рук. Не разлучай уста с устами.

Ведь кучевые облака весь день курчавятся над чащей. И слышится издалека дневной кукушки свист горчащий.

Не лги, не лги, считая дни. Кукушка – мы живем часами. Певец разлук, повремени! Мы скоро разойдемся сами.

/Давид САМОЙЛОВ, "Знамя", 1989, июнь/

Мая, 2006 г. Гагры.

От грека Коча – высокогорно – худощавого на обнажения, на скелет, на поводыри, на крутые холмы, засаженные грецким орехом. Прорасти по краям алычей, папоротником, кладбищем, вывороченным в форме, в форму реки с каменистым ложем, гладко призрачно скользящим как вниз по течению, чтобы могли успеть лодки. Сработанные из костей

древних ископаемых. Когда от тысячелетий, от миллионов лет млекопитающие станут легкими как воск, если скользить по глазам теплому ветру. И конечно, на кадык. На согнутый скальпель, на чернявую брошь, на изящество, на эзотерию.

Происходить от моря, от снежных берегов, от снежных барсов по рисунку расставленных глаз и местностей вблизи пещер, вблизи ущелья:

– В середине тридцатых годов двадцатого века в Абхазии, в Сухуме выходила газета на греческом языке. И распространялось вдоль всего Черноморского побережья среди греков. Распространялась в глубину гор, потому что греки жили и в горах, в лощинах –подальше от больших городов. От этих греков шли всегда коричневые по цвету руки от долгих работ на земле, по земле, по виноградной лозе, по маслинам, по персикам, по кастаньетам.

– Газета называлась – "Красный табак", по-гречески – "Кокиноз капназ".

От наших мест, от селения Альпийское бытовала школа на греческом языке. Школа помещалась в здании церкви каменной, очень вместительной. Церковь жила как барс с высокой горы, заготовлена как бы для прыжка с горы – в глубину моря, внутрь далеких горизонтов. И была как телескоп для просматривания противоположного берега, чтобы разглядеть далекую свою прародину – свою Элладу, своего Зевса, свою Афродиту. С этой высокой горы хорошо было запускать аэростаты, планеры, планеты. От этой горы хорошо было начинать школу Аэрофлота для гагринцев, хорошо было начинать школу Воздухоплавания.

С одной стороны церкви приходили прихожане.

В другую сторону церкви приходили ученики. От тех времен так часто бывали снега зимой. Снега были высокие. И приходилось брать с собой лопаты, чтобы пробить вход и в школу и в церковь. Со всех близлежащих селений шли сюда в школу. А этих греческих селений вдоль моря и в глубину гор гагринских было пять. Два селения были в Старых Гаграх. Школу греческую открыли еще до революции семнадцатого года. Там было несколько классов: нолевой, первый и второй. С третьего класса мы учились в долине вблизи моря, почти напротив короткой речки Цивицхаро – значит холодная – в здании будущей прокуратуры. Здание в один этаж, покрыто здание дранкой пихтовой, из пихты. Эту дрань местные чаландари спускали с гор, с перевалов на

лошадях по злой, очень узкой тропе. Которую начинал принц Ольденбургский – основатель Гагринской Климатической станции, Гагры Курортной – еще от тысяча восемьсот девяносто шестого года – для просмотра, для обьустраивания альпийских лугов для горных трансатлантических трасс – для тех, кто любил всегда глаза возвышать над морем, над вечным рокочущим пространством, над вечно протекающей невозвратной энергией, которая вечно ткала себя в волны, для волн. Протекала как расстилала страницы непрочитанной тайны Бытия.

Здание церкви и школы было с высоким шпилем, с высоким рассекающим звезды крестом. Крест почти что резал глаза и уничтожал катаракту. От этих мест хорошо было строчить детские корабли и горизонты.

В школу я ходить не любил. Не понимал предметы. И в школу меня носил на плечах наш учитель от нулевого класса Попандопуло, который в нашем домике квартировал.

В нашу школу приезжали учителя из Батума, из Сухума, из Пиленково, из Ермоловки. Раньше – семьдесят лет назад – не было Гантиади. Было Пиленково – от имени русского генерала, который завоевывал эти края для Российской империи. Раньше – семьдесят лет назад не было – Леселидзе. Была Ермоловка – от имени русского генерала, покорявшего Кавказ. Название Гантиади, Леселидзе дали при Берия – в конце сороковых годов. Грузинские названия. Сейчас называется Цандрипш, Гечрипш – абхазские названия, какие они и были сотни лет назад. Кто приходил к власти – тот и даст название. Хотя по мне название сел, поселков, городов должно оставаться самое – самое древнее, самое первоначальное – как бы не менялся ориентир лет, ориентир веков, ориентир наций... В начале тридцатых годов, в конце тридцатых годов всех греческих учителей пересажали, Сталин пересажал. Следом все греческие, все абхазские школы закрыли. Но еще до этой ненависти Сталина к греческому говору по берегам Черного моря – греческий алфавит, состоявший из тридцати шести букв был сокращен мастерами ущербной лингвистики до двадцати букв. С той целью, чтобы греческим языком вообще нельзя было распространяться, чтобы нельзя было на греческом языке наигрывать даже перестук маслин, маслиновых косточек, перестук оливок, перестук сиртаки, перестук греческого прощания с осенью ли, с весной ли, с промежуточной волной от ночи к утру. Нарастал изощренный способ издевательств над греками, над персами, над турками,

над абхазами, над армянами, над русскими, которые должны были по мнению Сталина, Берия уступить места мингрело-сванам-рачинцам, тоже несчастным народам, когда во главе части мира стоит, стоял людоед.

Тоже гонимым народам, тоже спецпереселенцам. Через короткое время эти гонимые нации стали в Абхазии – господствующими. Эта нация стала в Абхазии кастовой, привилегированной. И от этих привилегий начался апломб некоторой части этого населения – началось высокомерие по отношению к людям других национальностей, живущих в Абхазии. Началось гниение этих людей. И потом нация исчезла из Абхазии. Как мысль о том, что нет, не должно быть наций привилегированных в государстве, где живет много рас, много разных народов. Ибо господство одной нации над другими – опасно и чревато новым нарастанием вулкана.

От этих мест жить голым скалам, конвульсиям, красным вершинам. Была хромота. Было выдающееся на нос, на анфас лицо с прорванным горлом, крылом. Как будто от горла как от пещеры заходить шхунам, кораблям, фелюгам. Там было неустойчиво на грот. Там было на темную воду, страшную от непрозрачности, страшную от туловища, горба, подернуто хрящами, мелкими бутрами тины, трясины, как втягивающее щели. Щель булькает, когда по внутреннему горлу проходит, прокатывается отсеченная голова, отсеченный локоть, – с просроченной клюквой.

Доводить до конца горло и дырявый рот, засеянный валунами для просеивания штормов.

Быть все время от нервотрепки, от скальпов, от сладострастных проходов. Проталкивание дупла щербатого на коричневую улыбку с замерзающим колодцем. Проводить горло по каналу, по проливу. И лежащим в лихорадке. От лихорадки спускать кровь и капать на горячие камни.

От гор, от всего Гагринского района – существовало в начале тридцатых годов тридцать три колхоза, совхоза. Все они разводили мелкий рогатый скот – овец, коз.

От овец, от коз было мясо, шерсть. Но козы все леса, всю растительность уничтожали, поедали, обгладывали. И все горы, все холмы Гагр были в свежей земле, коричневой, черноземной, краснеющей. Козы поднимались высоко по согнутым деревьям, полупавшим, и насыщали

свой желудок.

В те годы по Гаграм не было болезней желудка, потому что все пили козье молоко.

Потом пришел к власти Берия – и запретил разведение и поощрение мелкого рогатого скота в Гаграх:'' – Гагры – это всесоюзный курорт, и горы должны быть в зелени, в укрощении.'' – говорил, командовал он.

И при Берии и до сих пор горы наши заросли, проросли эвкалиптами, бузиной, кустарниками, соснами, рододендронами, колючками, кипарисами, магнолиями.

А при козах, при овцах, от наших гор в начале тридцатых годов двадцатого века было так сухо, так открыто на пустыни, на сплошные солнечные поляны очень долгие, почти без пространств; не пространственные – так были бесконечны, что напоминали Италию, Крым по сухости, по плазме климата, по очарованию, что от наших мест стали исчезать туберкулезные больные от того, что климат стал сухой.

И еще от тех лет были очень строгие лесники, лесничие. Тогда закон был суров. Ни в коем случае нельзя было вырубать вблизи домов, в наших горах деревья даже маленькие, даже полукустарники. Ходили по домам, по дворам – смотрели есть ли свежо нарубленная древесина, есть ли на эту древесину документы. И если не было документов на порубку – сразу составлялся АКТ. А это значит тюрьма. А из тюрем в те года никто как правило живым не возвращался.

Тогда лесничим был Джеджеладзе.

А правление сельсовета Гагр находилось, располагалось в здании нынешнего вендиспансера.

Председателем сельсовета был Ражден Меладзе – небольшой очкастый мужичок. Его жена Устинька – кубанская казачка была выше его ростом на две головы. Работящая женщина. У нее огород был наилучший в округе. Чего там только не было даже в зимнее время И огурцы и помидоры, и петрушка, и сельдерей, и кинза, и укроп, и картошка, и морковь.

У этого председателя сельсовета было трое детей. Двое ребят и одна девочка. Один из ребят был очень – хороший – Володя. Во время Великой Отечественной войны приезжал к отцу – в отпуск. Война уже заканчивалась. Шел тысяча девятьсот сорок четвертый год.

Володя при воинском звании – капитан. Ражден Меладзе, Председатель Гагринского сельсовета, мог бы оставить сына дома, мог составить нужные документы – почему его сын не может выехать снова на фронт. Но Володя не согласился остаться дома пока идет война. Да и Ражден не особенно нажимал. И сын побыл чуток дома, ушел на фронт к своим однополчанам. И вскоре погиб смертью храбрых. Так и было написано в извещении. Как потом всю оставшуюся жизнь Председатель Гагринского сельсовета кусал себе локти: "Ведь мог бы оставить сына в живых''.

А от высокой насыпи для предполагающегося полотна железной дороги как от соколиных гор – от семей, от участков Михайловых, Соловьевых Павличевых, Гринюк, Кухалашвили, Инапха – шли далеко к морю, к его накатам, желтовато-болотным плантациям из баклажан, из красного перца, из арбуза, из дико свинячих корпусов, из корпусов воловых, коровых, ишачьих, собачьих, пастушеских, пастушьих. И все это виднелось как из полотна и в росте. Из красных фигур острющих – как будто красный и горький перец сосредоточил в себе время. И нанизал время на прут. На стержень, на шашлык, на кадык из обезьяны и замерзшей овчарки.

ВЕЧНОЕ МАТЕРИНСКОЕ БЫТИЕ

Января 1997 года. Гагры.

Матери восемьдесят один год. Сидит у ворот, сидит у ворот зимы довольно теплой. Вблизи плещется штурмующее море.

– Сегодня видела воспитательницу. Вместе работали в детском круглосуточном саду примерно лет тридцать назад.

– Такая высокая женщина. Красивая. Знаю.

– Да. Говорили о нашей заведующей Тине Ясоновне.

– Но ведь она же умерла еще до войны абхазо-грузинской.

– Нет. Она живая. Живет в Чакве где-то. Со своим мужем.

– Да. И квартиры оставили и дома. Всех судьба разбросала.

– И скажи спасибо, мама, ЦРУ, Америке, которая развалила СССР. Не могла Америка взять силой великую страну – взяла хитростью

Россию.

– Что же Россия оказалось такой простофилей?! – говорит мать. – Американцы подошли дипломатически, вроде красиво-фальшиво и подло.

От всхлипывающей старости, от матери, от зимы, от почти что столетия со дня прошедших годов, прошедших течений. В основном и будущих течений, потому что ничего не меняется в потоке времен, зимы, весен.

Ночью проснуться от слез, потому что мать плачет.

Подойти к матери, укутать ее:

– Ты чего плачешь?

– А когда мы уезжали из Инзовки в тридцать втором году, мы пошли прощаться с родичами в Райновку. Был дядя Степан, брат Степа и я. И вот идем ночью обратно, и очень грустно. Ведь мы уезжаем, а вся наша родня остается: "Авось выживем от голода, не помрем на чужбине''. И вот открытые бескрайние степи Украины. Ярко светит луна, просто уничтожает наши глаза на серебро, на роздымь, на пригоршни золота. И дядя Степан поет, поет на все степи. И все занято луной, и как будто луна дробит эти болгарские песни на волны, мелко сочит, рубит их под топор, под раннюю смерть, под уничтожение. Сколько болгар рассыпалось, разошлось, исчезло вдоль Черноморского побережья Кубани, Абхазии, Мингрелии, Аджарии. Пришлых болгар в итоге время рассосало среди чужих краев, чужих обычаев, других, неприспособленных натур. И все-таки лучше было бы по истечении лет – держаться древней прародины, а не распасться на непросвещенных женщин, непросвещенных мужчин. К старости стало понятно – нельзя рассыпать по углам свое веретено, свое изваяние.

Февраля девятого тысяча девятьсот девяносто седьмого года.

Из матери зимней, болезненной, сухощавой; снежной, потому что в горах лежит активный на мороз снег. Снег сухощавит деревья, стволы, кусты, снег сухощавит берег и волны моря, лежащего очень сутуло и плоско.

– Надо сшить подушку детям, чтобы я могла спокойно уйти на тот свет. Какие-то светлые зрачки. Вокруг белого зрачка зеленые блестки, зеленые лучи. Зеленые лучи окружены синим пламенем.. Сынок, возьми листья капусты, которые лежат на подоконнике. Положи их в рассол. Пусть они посолятся к твоему дню рождения – шестнадцатого

февраля. Дашь фасоль, принесешь картошку – сделаем винегрет.

От зимы черноморской, от сильных ветров, от снегов, выпадающих сейчас – в конце девяностых годов – только в горах. Все дни и ночи зимние – сорить и сорить снегом в горах, на снег.

– Я так раньше, в детстве, так любил сидеть у окна. Наблюдать как спускается от моря, от наката, от волны, от горизонта вечер, как меняет ощущение ветер – то теплый – батумский, то холодный – новороссийский. И когда еще жива была наша бабушка – сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы – мне казалось, что зимы от детства очень суровые, холодные, скользкие, утраченные на бедность, на уют вблизи Черного моря. И рыбешка самая сладкая – барабулька с застывшим жиром светло-желтым под кожурой, под чешуей – в руках, в пальцах у нашего родича – Гаситина, человека без каких-то пальцев на руках, сьеженных на хватку, на усилие. И так морозит-морозит от печки дровяной в самом углу избы-хаты. И все никак не может согреться сердце. Или от того так было холодно в детстве, что я был маленький, щуплый всего боялся. И снега боялся и дождя.

– В те года и снег выпадал в долинах нашего города Гагры. И снег продолжался долго, что можно было хоть чуть, но ходить на лыжах. А сейчас и снегов не бывает. В Инзовке – лет почти сто назад, – говорит мать Костоса, – снега были очень высокие. Доставали до сугробов, которые были часто выше крыши наших одноэтажных домов, крытых черепицей... Раз печка горит – поставь кастрюлю с теплой водой сделаем молоко, будем кушать мамалыгу с молоком и сливочным маслом в центре горки мамалыжной в глубокой тарелке. Как это было очень-очень давно, когда еще бабушка наша была жива. После смерти бабушки – и песни ушли из сада, и коровы ушли, и куры ушли, и земляная груша ушла, и цветы ушли из наших садов, исчезла куда-то и радость. После смерти бабушки как будто снег рассыпался по сердцу, растаял.

– Мама, и не поверишь – были весь вечер звезды, а к утру погасли. Отчего эта такая перемена в погоде, в звездах?

– Потому что погода меняется.

– В какую сторону?

– В дождливую.

– А почему ты больше любишь дожди, чем солнце?

– Когда идет дождь – никакие враги не подойдут близко.

– Могут прокрасться во время дождя и слышно не будет.

– Но не всегда можно идти в дождь. Смотря какие дела. А в солнце все ходят. Если срочные и в дождь пойдут. А если можно отложить – не пойдут.

– Мама, а почему ты полюбила в старости старинные песни?

– Потому что они очень интересные, справедливые и приятные. Они радость придают. Это зависит от людей. Какие были люди – такие и песни. Добавь – и времена хорошие.

– Вот ты рассказывала про тетю Маню Ахуба. Видишь какая жила на свете добрая женщина. Вас – сирот не оставила, взяла в дом, тебя удочерила, твоих братьев тоже послала на житие к бездетным родственникам своим. А если бы не она, чтобы бы с вами стало, было в начале тридцатых годов. Вот вы идете по дороге, по слякоти, никого нет из родных. Вы бы пропали в папоротниках, когда умер твой отец.

– Не пропали бы. Тогда все брали сирот. Была такая мода.Тогда было общее горе на несчастных детей разбросанных по свету от этой подлой коллективизации. сколько она душ сгубила – десятки миллионов.

– А почему сейчас не берут?

– Берут, берут... Но сейчас нет таких эпидемий. Сколько родителей тогда поумирало. Такого кошмара не увидишь как было тогда... А сейчас вы, мои дети, тоже распустились – орете на меня: "Молчи. Сиди. Не мешай''. Скоро исчезну с этой земли, из этого дома. Придете в эту комнату, где я лежала а меня нет. И вы взвоете. Захотите услышать мои слова, а их не будет.

– Расскажи про детей тети Мани Ахуба? Про ее мужа – турка Али Бюк-оглы. Про ее братьев?

– Старший из детей Мани Ахуба – был Цим. Он был водителем автомашины. Он был с 1914 года рождения. Он был богатырь. Он очень много пил, кушал. Мог сразу кило, два мяса покушать. Поджелудочная железа была у него больная к старости. В те года, когда я его увидела в доме у Мани Ахуба, он был мальчишка. Одет как и все подростки.

– Штаны, рубашка?

– А в чем? В платье?! Тупой разговор. Еще был сын Тута – средний. Он был подросток. Года на два младше Цима. В школу ходил. Он болел. Потом простудился. Туберкулез. Когда он заболел – его возили в Грузию, в Бакуриани, в Цагвери, в Сурам, в Боржом. Там были санатории. И просто климат меняли. Я не знаю почему не была на

похоронах. Похоронили его на кладбище в Очамчирах. Это, наверно, было в тридцать третьем году или в тридцать четвертом. Туту похоронили напротив ихнего двора. Или в селении похоронили. Меня там не было. Наверно, в селении Члоу, потому что Цима тоже в селении похоронили.

– А самый маленький – был Ниязби?

– Помню как пацана. В Сухуме живет. Все из детей турка Али и Мани Ахуба были на лицо разные.

– А кто был самый красивый?

– По-моему Цим.

– А кто там был – Расим?

– Это двоюродный брат Цима. Отцы Цима и Расима были братья... Если, Котик, попадешь в Крымгиреевку в Ставропольский край – попроси у нашего родича Федора черной муки на хлеб. Белая мука мне вредная... Расим жил временно у своего дяди Али. Нигде не работал. Я не помню, чтобы он где-то работал. По городу и все... Потом стал охотником на медведей. Охотится вблизи села Отап... У нас, в Очамчирах, был маленький домик – вроде нашего, гагринского, только из досок. Две комнаты были. И балкон. А потом наши его продали – бабушка там жила. И девочка Шура там жила. Еще жил сын бабушки – бухгалтер. Абхазы. А рядом с маленьким домом – отец Цима построил дом. Потом Расим женился на этой Шуре. По-моему, Этери – дочь Расима – от этой Шуры.

– Этери очень рослая. Великан. Легендарная личность. Это именно она в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году на мосту города Очамчир остановила колонну оголтелых хулиганов, которая двигалась из района Зугдиди на Абхазию.

– Этот мост назывался – Галидзга. Там у нас техниковский огород был. Мы туда ходили работать в тридцатых годах.

– Она крупная?

– Очень.

– А лицо мужское или женское?

– Красивое лицо.

– Она замужем?

– Была замужем. Разошлась. Остался сын. Сейчас ему лет двадцать пять. Воевал в абхазо-грузинской войне.

– А где она живет?

– В Очамчирах. Ее дом спалили во время войны враги. А она заняла

дом возле чайфабрики. В тех же местах живет и жена Цима –Нуца. Нуца – вторая жена Цима.

– А кто она по нации?

– Мингрелка.

– А почему так хорошо знает по-абхазски?

– Потому что выросла среди абхазов. У многих мингрельцев, выросших среди абхазов, – мировосприятие – абхазское, мироощущение у них – абхазское.

– Она из Очамчиров?

– Не знаю . Очамчирская или селенская. Но все, кто живет в тех краях – знают и по-мингрельски и по-абхазски... Первую жену Цима я не знаю. Она умерла... Когда она и умерла – не знаю. Я даже ее не видела. Стасик – первый сын Цима родился от первой жены. По-моему ее фамилия была Дараселия. А двое других сыновей Цима родились от Нуцы. Славик и Гурам... Стасику сейчас – лет пятьдесят семь. Он инженер-строитель. Сейчас живет где-то под Батумом. Из Сухума он исчез во время абхазо-грузинской войны. Детей нет. Не женат.

– А Ниязби детей имеет?. Хотя я знаю. Сына зовут – Джонни. Сколько раз приходил к Ниязби – он, видимо, так бедно живет – что и угостить нечем... А братья Мани Ахуба – то кто они были?

– Один был председатель колхоза в Члоу – Мильтон. Другой был – Джотто. Он был в каком-то Министерстве большой человек. С положением. И еще был один – Костя. Только они его Костей не называли. А еще как-то. Он тоже был с положением. По партийной линии. Видный человек. Тоже их загнали. Они при Лакоба работали.

– Ты их видела когда-нибудь?

– Как же не видела?! Здоровые все были. Двое братьев Мани точно не вернулись. А насчет Мильтона не знаю. А теперь не у кого спросить. Все поумирали. Их посадили – братьев Мани, – когда отравили Лакоба. Вскоре и их взяли на растерзание в НКВД.

20.03.1997 г. Гагры.

От Гагр Старых, от Первого Собачьего хутора, от тех мест, где в старинные года продавали дельфинье сало и мясо вблизи речки Репруа. Вблизи Принцевских конюшен, которые потом были превращены в место массовой гибели гагринских жителей тридцатых, сороковых годов

двадцатого века – в тюрьму НКВД, место кровавых расправ людей абсолютно невинных, убитых в застенках гагринского НКВД только по доносу, только по клевете, только из зависти, только из-за того, что кто-то красивее, кто-то зажиточнее, богаче, просвещнее, когда только беспризорный босяк был у власти в чести, когда всем умным людям клеился сталинский ярлык: троцкист, агитация против советской власти, покушение на вождя..». И убитых в стенах НКВД, растерзанных, с переломанными костями, головами, тут же вблизи рядом с морем, где всегда влажный песок, в ямах, в ямы складывали трупы, сверху заливали, засыпали негашеной известью, сверху сырая земля, немножко дождика, и через несколько дней трупы, кости убитых в НКВД замирали, растворялись, рассасывались в мир, в землю, превращались в чернозем, стоками которых так хорошо насыщаются рыбы, от столь плодородной почвы-песка, от столь утепленного человеческими страданиями песка.

Спустя годы от мест массовых убийств – разводить, разносить, располагать Комсомольский парк в Старых Гаграх рядом с речкой Жоэквара. Вблизи вечно рокочущего моря. И родители, и сестры, и братья и дети – убитых невинно рабочие Зеленостроя, не зная, что в этих местах убиты их близкие, родные, – расчищали территорию, убирали землю, камни, натыкались на уже истревшие, истлевшие, загашенные кости, скелеты своих отцов, братьев, детей, сгребали их в ящики, в мешки, и забрасывали как ненужный материал в пропасти.

И энкэвэдэшников, конечно, никто не наказал, не растерзал. Они же были на сталинской работе. Работники НКВД сами превращенные в вурдалаков, в упырей работали в больших котлах дымящихся над человеческими скелетами, над человеческими волосами, над человеческими головами.

20.03.1997 г. Гагры.

– Мама, скажи, а что ты делала, когда жила у турка Али, у абхазки тети Мани? Какие работы выполняла?

– Цапала в огороде, сажала. Убирала урожай из фасоли. Кроме фасоли у них ничего не было. Для фасоли шили сумочки. Семь штук. Семь сортов была фасоль: белая, желтая, красная, рябая, коричневая, с пятнышками.. Разве сейчас вспомню? На семена собирала горсть, две. А плохую фасоль – мелкая, недозревшая – отдельно собирала для готовки. Еще на этом участке у турка Али рос инжир. Инжир рос в конце участка – сзади. Пять-шесть деревьев. Они были ростом

маленькие. И можно было спокойно лазить. Сорт инжира – турецкий, сладкий. Помидоры, огурцы росли тоже. Когда заходишь в калитку – тут с правой стороны – примерно метр от забора – соседского – такой барьерчик был с цемента – и там цветочки я сажала.

– Какие цветы? Кипарис?

– Кипарис, что?! Цветы!? Однолетние.

– Левкои высаживала?

– Не знаю. Не помню.

– А георгины?

– Не помню. Но пиши.

– Что ты там еще делала?

– Двор подметала . Курей кормила, собак. На базар ходила с хозяйкой. Я ее мама называла. Ее Маня звали. Маня была красивая. Она хромала. После вторых родов у нее нога потянулась.

– А какая одежда была?

– Какая одежда?! Абы как-нибудь. Просто, бедно. Они меня как дочкой считали. Потому что у них было трое сыновей. Тута был средний. Он умер рано. Ему было лет двенадцать-пятнадцать. Потом Нязби родился.

– А где Туту похоронили?

– На кладбище.

– А где было кладбище?

– В Члоу. Сама Маня была из Члоу. И там хоронили. Цим тоже там похоронен.

– Ты на море ходила?

– Не плавала.

– Почему не ходила на море? Это же близко от вашего дома.

– Ну и что же? Я ходила с хозяйкой на базар. Маня хромала и таскать продукты было ей тяжело.

– Или не принято было у абхазов, турков чтобы мужчины таскали питание с базара?

– Нет. Просто Ниязби еще не было. Тута уже умер. А Цим уже работал. Али тоже работал. Ему некогда было.

– А где ты спала?

– В комнате. Домик был одноэтажный. Маленький. Потом большой дом построили. Когда я там была в 1974 году на похоронах Цима. Это был тот же дом, который они – Цим и его отец –

строили в конце тридцатых годов.

– А часто шли в Очамчира дожди в середине тридцатых годов?

– Часто. Наводнения не помню.

– А ты что больше любила в те года – солнце, луну или дожди?

– Не помню. Когда солнце.

– А почему к старости полюбила дожди?

– Не знаю. Когда дожди – спокойнее.

– А почему в молодости больше солнце любила?

– Нравилось мне.

– А когда ты жила у Али – ты там кушала куриц, индюков, коз, коров?

– Нет. У них не было. Если с селения привозили я тоже кушала.

– А часто что-нибудь привозили из селения?

– Не очень... Прошло шестьдесят с лишним лет. Я помогала по хозяйству. Хозяйка мамалыгу варила. Мамалыгу кушали с фасолью, с ореховой подливой.

– А медведи вы там кушали?

– Не помню.

– А у вас там был ахул?

– Много было. Бочками солили. Перец, соль, приправы. Ну и все .

– А что вкуснее было – ахул в Очамчира или жареный барашек в Инзовке, в этом болгарском селении, откуда ты была родом?

– Ты что, ненормальный? Каждый дурак скажет, что вкуснее.

– Значит ты говоришь что барашек вкуснее?

– Нет. Такую глупость спрашиваешь... Хозяин работал по торговле... Он заведовал складом. Золото тогда продавали. И организация называлась – "Торгсин''. Дальше по какой-то причине Али стал в Сухуме работать. Подожди. Но почему-то я была с ихними детьми у них во дворе в Очамчира. Потом Али заболел в Сухуме, и Маня поехала туда. А до этого братиков взяли в селение абхазское . Были такие семьи бездетные. Старые люди. И усыновляли. Женя, старший братик попал у Ахуба. А младший Андрюша попал у Инапшба. Они – абхазы – приютившие Женю и Андрея – жили в Члоу. Тех, кто Женю приютил – их было двое сестра – Ада и Фада. И брат их Кирантух. Инапшба жили выше Киарантуха.

– Где Джопуа?

– Нет. Джопуа жили внизу, по речке Дуап. А кто были Инапшба? Они были высокие. Ее, кажется, звали Минуша. А его не помню. Домик

был средненький. Чем покрыт не знаю. Покрыт дранкой. Жене было двенадцать лет. А Андрюше – десять. И Ахуба и Инапшба любили детей. Дети были хорошие помощники. Коров дети пасли, копали, цапали. За козами смотрели.

– А у Ады, Фади и Кирантуха был же брат Манух. Его убили грузины – меньшевики в двадцатых годах. Он был женат?

– Нет. Если ты знаешь – пиши.

– А кого было больше хозяйство – у Ады, Фады, Инапшба или у Киарантуха?

– У Киарантуха. Козы, коровы. Кур было много.

– А чем они кормили курей?

– Что дурное спрашиваешь? Кукурузой.

– А коров чем кормили?

– Чалой..Когда меня хозяйка пускала в Члоу – меня видели братишки и всегда плакали. Вспоминали родителей. Как бы не любили моих братиков – люди, приютившие их, но родители всегда лучше.

– А как ты шла в Члоу? Пешком?

– Почему пешком? На арбе. Буйволы. Из Члоу приезжали по делам и на базар, заезжали к родичам, к тете Мане. Брали меня. Приезжал или Киарантуха или Ада, Фада. Сам Киарантух воспитывал тоже русского мальчика – Вову. Мать Вывы была крупная, красивая женщина из Очамчира – отдала Вову ребенка Киарантуху.

– А почему у Киарантух не было своих детей?

– Не был женатый.

– А почему?

– И Ада и Фада, и Киарантух очень сильно переживали смерть брата в начале двадцатых годов. И поэтому держали траур. К старости Киарантух женился на Зине. Она была из абхазской деревни. И тогда они взяли Вову. Вова был красивый. Он умер уже взрослым от туберкулеза.

– Почему ?

– Говорят, он пил.. И я приезжала в деревню. Меня вся деревня хорошо – встречала. Не знала, чем угостить. Семья Инапшба варила мамальгу и опускали туда сыр. И когда семья Инапшба – опускала сыр в мамальгу – эта называлось айлеч. Если у Инапшба или с чего-нибудь не хватало из угощений – все соседи бежали что-то несли. Когда я приезжала – курицу резали, подливу – ореховую делали, соления

всякие, яички. Что люди кушают. Козу резал Киарантух. В середине тридцатых годов ему было лет семьдесят, шестьдесят пять. А может моложе. Помню Киарантух в конце сороковых годов. Такой высокий . Ходил в темно-желтом свитере. Или куртке темно-желтой. Голова не совсем седая. Грудь чуть открыта. И рубаха всегда светлее, чем пиджак. Даже такое ощущение, что вроде галстука носил Киарантух на груди. Тебе лет семь. Я привезла вас из Гагр в селении к брату своему Жене. Он был с 1922 года рождения. Ему уже двадцать семь лет в конце сороковых годов. Еще не женат. И ноги, ноги больные – больно наступать. Болезнь – гиперкаритоз. Из-за этой болезни и в армию его не взяли. На фронт. Все жители приходили из селения – Гач, Кинтрия, Нарт, Соничка, Киршал. Ирод Сангулия приходил. Мы потом с ним вместе учились в сельско-хозяйственном техникуме.... В селении я обычно жила две недели, месяц. До тех пор жила пока кто-нибудь из соседей из жителей Члоу – не уезжал на арбе в Очамчиру по делам. Тогда я ехала в Очамчиру к тете Мане. Когда братья уехали на жизнь в деревню абхазскую – тогда Маня стала меня брать в Сухум. И часто приезжали в Сухум родичи Мани и докладывали мне: "Ваши братики – хорошо. Все живы, здоровы, не болеют. Не волнуйтесь..."

– И часто ты ездила в Члоу? Кажый год?

– Какой там?! Месяцами дело исчислялось. Месяца два в Очамчира или в Сухуме – и снова меня везут в Члоу. И так хорошо меня встречали! Тетя Минуша подарила мне материала на рубашку и кружева.

– А ты что подарила?

– Ничего. Что я могла подарить!? Сирота.

– Видишь какие хорошие люди тебе попались! Редкой, душевной красоты.

– Умерли мои братишки, сестренки. Восьмилетний Володенька, Любушке был третий годок. Валя – ровесник Валентину Журкову. Вместе родились Первое Мая. Все умерли в Очамчира в тридцатые годы – от малярии.Когда Али заболел в Сухуме, Маня поехала к нему. Это было в 1934 году. А потом Али стало лучше и они приехали в Очамчира. И там в Очамчира у меня была подруга – соседка – Катя. Персиянка. Тоже ее удочерили.

– Но ты же говорила Катя Кутелия. И я думал, что она по нации вообще мегрелка. А оказывается персиянка. Откуда она приехала в Очамчира и когда?

– Откуда я знаю? Ее взяли, как и меня взяли, в 1933 году. Ее взяли – Кутелия. Георгий его звать было: отец. А мать – звали Харихан. И он абхаз был и она абхазка. Им было, чтобы не сбрехать, – лет по шестьдесят, по семьдесят. Очамчирские. Харихан была маленькая, толстенькая. Он был – высокий.

– И чем они занимались?

– Он был какой-то руководящий. Она – хозяйкой по дому. Жили они вблизи от Буюк-оглы. Два двора от Буюк-оглы. Самый близко от Буюк-оглы жил Джанфер. Он был турок. Семья – два сына и жена. Один – Тимур – старший. А один – забыла. Пацаны – школьники. Школа от них была далеко. Они жили на окраине города, а школа была в центре.

– Школа была русская или грузинская? Или абхазская?

– Русская. Джанфер был крестьянином. Крестьянствовал он в деревне в Очамчирском районе. Жена его была домохозяйка. Ее звали Щяшко. Перевести на русский язык – Сашко, Александра. Она была средняя – не толстая, не тонкая.

– А для чего тогда он дом построил в Очамчира, если дом и все хозяйство в деревне ?

– Наверно, хотел жить в городе. … Да и что я помню теперь – спустя шестьдесят почти лет со дня моей молодости?

– А сколько лет тогда было Джанферу тогда в тридцать третьем году?

– Ну кто тебе может сказать такие подробности ? Лет пятьдесят.

– А он как ты считаешь, еще живой или уже умер?

– Откуда живой? Шестьдесят, семьдесят лет как я там не живу.

– Мама, а те люди, твои соседи взрослые, ходили купаться на море?

– Нет. Не была такая мода тогда, не было такой моды – купаться.

– А дальше кто жил?

– Дальше улица проходила. Как Эльдар – дальше. Потом на углу, как от армянов – жила семья мингрельская. Средняя семья была. Не помню. Она была высокая. Его не помню.. А дальше вот жил Георгий, Харихан Кутелия.

– А как ее фамилия была – Харихан, когда она еще замужем не была?

– По-моему – Ахуба. Харихан была тетей моей хозяйки. У них было двое детей. Дочка старшая была – лет двадцать ей было. Вроде ее имя было – Цацка. А сын младший был – Чичико. Еще учились пока. У Кутелия был участок. Дом был около тротуара. Двухэтажный, кирпичный. Еще они имели одного мужчину – звали его – Махмуд. Он был как работник. И еще была у них женщина тоже была как работница – Ольга. Русская. Средний рост, полная. Дочка была замужем в Сухуми – Цацка. Зять работал в Министерстве. Их в тридцать седьмом году посадили и выслали. Зятя посадили как "'врага народа'', выслали.

– А тогда, если были дети у Кутелия, зачем они взяли себе в дочери Катю.. Как была ее фамилия девичества?

– Вообще не знала. И откуда Катя приехала я тоже не знала. Не знаю почему они взяли Катю.... Наверно, Катя была беспризорная, как я

– Дальше?

– Что дальше хочешь?! – Восьмидесятилетняя женщина засыпает.

– А что ты делала у Буюк-оглы? Какие работы выполняли?

– Подметала, готовили, огород, цапала. А когда гости приезжали к дяде Али – туфли с гостей снимала, раздевала костюмы, брюки стаскивала, рубахи. Такой был обычай.

– А гости к тебе не приставали?

– Нет.

– Потом ты им ноги мыла?

– Да,

– Какой водой? Теплой, холодной?

– В зависимости от погоды.

– А откуда были родственники? Из Турции, из Министерств?

– Откуда из Турции!? Из селения Члоу, выше Члоу. Из Сухума.

– И по скольку времени они там жили?

– Какой жили? Придут, уйдут, на базар пойдут. Приезжали на арбах, на телегах. Запряжены буйволами, быками, лошадьми. А бывало вообще приезжали верхом на коне. Больше приезжали в бурках.

– Бурки были темного цвета или белого?

– Больше черного.

– А они, гости, приезжали в дождь, в солнце или в снег?

– Когда им надо – было приезжали.

– А они приезжали с кинжалами или без?

– И так было, и так. Ножи были с боку.

– А с саблями приезжали, с копьями, с пиками?!

– Не помню.

– А что кушали у Буюк-оглы?

– Мамальгу, лобио. Иногда была козлятина, коровье мясо было.

– А свинятина была?

– Нет. Мусульмане же.

– А турков было много в Очамчира в тридцатые годы?

– Не знаю. Всякие были. Русских тоже было. Понаехало, спасались от голода.

– А ты на море так не ходила?

– Нет.

– Плавать так и не научилась?

– Нет.

– А рыбу любила кушать?

– Не знаю. Была ли там рыба.

– А кто там был рыбаком. Турки, русские?

– Наверно, турки. Откуда там были русские?

– А чем бык отличается от буйвола? И кого ты больше любила быка, или буйвола, или корову, или овцу, или козу?

– Одинаково на кого было смотреть.

– А кого ты больше любила – собак или кошек?

– Такого понятия у меня не было совсем.

– А тогда – тридцатые годы – часто в Очамчира шли дожди, снега?

– Дожди было очень много.

– Почему?

– Спроси природу.

– А как ты познакомилась с Катей Кутелия?

– Обыкновенно. Встретились или на улице или во дворе. Разговорились.

– О чем вы говорили при первой встрече?

– Не помню.

– О любви или о помидорах?

– Ты меня с ума сведешь! О зурна говорили.

– Катя тоже была в прислугах?

– Нет. Катя была как дочка у Кутелия. И я тоже была как дочка... Может не стоит писать про братьев Мани Ахуба. Про

Мильтона, про Джотто, про Костю. А то их обвинили вместе с Лакоба. В то же время как был уничтожен Лакоба пропали и они. А то могут времена перемениться. И братьям Мани Ахуба снова станет плохо.

– Так их же и так нет давно на свете! Где им может стать плохо?

– Может стать плохо их родственникам. Что ты все печатаешь? Это все вредительство. Годы проходят и все поворачивается. Скажут из Берия Лаврентия: "Мать была враг. А значит и ты тоже враг''.

– Мама, как возник разговор с Катей Кутелия о техникуме сельскохозяйственном? Для чего возник разговор о техникуме?

– Потому что я хотела учиться.

– На кого попало?

– А почему на кого пропало?!

– А как же же? Тут с голоду люди умирали. А я буду еще выбирать. Мама, вот мы с тобой беседуем, а часы остановились! ... А где располагался очамчирский техникум?

– На берег моря. В центре. Близко от нас. Метров двести.

– Твои действия? Как ты туда проскочила? Как восприняли твои новые родители твои слова о желании учиться?

– Я пришла. После разговора с Катей, дома, сказала: "Хочу учиться''! Маня Ахуба ответила: "Профессором хочешь быть?!''. Маня была недовольна. Маня хотела, чтобы я в доме работала, чтобы прислугой была. А хозяин ответил:'' Надо. Молодая''. Ну и все. А в это время солнце светило. Никаких сумок не собирала. Так пошла и все. Мне дядя Степан когда-то прислал документы об окончании мной семи классов.

Мама рассматривает фотографии восмидесятилетней давности. Сейчас идет 1997 год. Те года – тысяча девятьсот шестнадцатого:

– Это моя мама. У нее на руках – я. Мне там шесть месяцев. Внизу братик – Степа: он с четырнадцатого года. На фотографии ему два года. Дальше мамина мама – София. А последний толстый – маминого отца брат – Борис Божков.

Другая фотография: Отец Ани Дойновой /Гердовой/, когда он был в Армии. А с двух сторон его товарищи. Года? Тысяча девятьсот шестнадцатый.

А это родственники, которые в армии были когда-то.

А это. Аня запорожская. А это – Вера, которая в Райновке жила.

А вот – Стефана –Веры и Ани сестра. Она умерла. Такая красивая была. Простудилась. Кажется, туберкулез был. Это в Инзовке. Дальше ихняя мама, моя тетя – Марина. Где и как она умерла – не знаю. А тут ее сыновья, тетины – три дочки и два сына… А это папина мама и тетина мама.

ИЗ МАТЕРИ. Ноября 1997 года. Гагры.

Вечер, горит электрический свет.

Я сижу у маминого изголовья. Все время целую глаза мамы.

– Мама, ты помнишь песню болгарскую "Грузданка''?.

– Конечно.

– А о чем она? – Спрашиваю, хотя прекрасно знаю эту песню от самого детства. А мне уже пятьдесят шесть лет.

– О девушке Грузданке. Грузданка ее звали так. Она выколола глаза бандиту и голову отрезала. Грузданка была за царя..Когда мы уезжали из Инзовки в 1932 году (чтобы не умереть с голоду) мы пошли к тете Вере и дяде Косте Попелешко. У них была дочь Лида. Она сразу после войны /Великой Отечественной/ умерла. И мать ненадолго ее пережила. И вот когда ма шли из Райновки в 1932 году, когда долго шли по Столбовой дороге, дядя Костя так прекрасно пел песню какую-то болгарскую. Ночью хочу ее вспомнить и не могу.

Сестра сидит в удалении. Ночует и днеют вместе с мамой. Мама ночью то поет, то плачет, то просится пойти во двор сама, но я ей не позволяю это делать, чтобы мама не упала, не разбилась. Хотя падения ей иногда нужны. Целый месяц после болезни, после новой парализации – мама не могла вспомнить, где она находится. Чаще всего говорила: "Сегодня я нахожусь в больнице в Мацесте''. Хотя все время находилась только в Гаграх. Но после того как упала, ударилась головой – маме стало легче, и она сразу сказала, сразу опомнилась: "А вот теперь я дома, в Гаграх''.

– Мама, а кто самая лучшая из наций?

– Болгары. – Мама сама болгарка.

– А чем?

– Честностью.

– А латыши? – Свекровь мамы была латышка, очень любезная, очень добрая, всю округу со своего сада кормила фруктами, всю пенсию раздавала нищим. Бабушка всегда говорила: "А зачем мне деньги? У нас все есть в хозяйстве. И яйца, и молоко, и сыр, и фрукты, и петрушка.. А фрукты я поменяю на рыбу или на фрукты поменяю мясо, которое

найду на базаре''

– Латыши ехидные. Как и немцы. Очень жестокие.

– Но бабушка же наша не была же жестокой.

– Мы с ней жили не всегда мирно. Бабушка все людям раздавала, и все рассказывала людям, что делается в семье. А мне это не нравилось.

– Но бабушка была кругом на пять. И утром вставала в пять утра. И завтрак готов, и в школу нас проводит, и встретит, и корову успевает попасти, и на деревья слазит в свои семьдесят пять, в семьдесят пять. А ты мама, была только на базаре и сторожем на Лесосбыте. Да и то деньги не получала. А вместо денег брала с "Пилорамы'' доски, абапалы.. А кто лучше собака или кошка?

– Я больше люблю собаку. Она дом стережет.

– А кошка?

– А кошка убивает живые души – мышей, крыс.

– Но если бы не кошки – крысы, мыши нас бы зажрали. Все бы припасы пожрали.

– Да, все нужно в природе, – говорит мама.

– Мама, а можно сказать, что болгары – это собаки, а латыши это кошки?

Мама смеется.

Я долго смотрю на маму.

– Смотри на меня долго, запоминай. Когда я умру, вы больше меня не увидите. Будете приходить на могилу, звать меня. А я откликнусь. Буду гнить в земле.

– Но этого не будет никогда. Ты будешь жить вечно. Вон Соня гречанка живет уже 94 года. А тебе только 82. Так что тебе еще жить и жить.

Слезы душат меня и сестру. Но мы не подаем виду.

Из снов – о жизни, о маме.

Мама умерла в сентябре /19 сентября/ тысяча девятьсот девяносто девятого года.

Сейчас ноябрь /двадцать первого/ две тысячи третьего года.

Гагры. Идет сильный дождь. Море шумит. В горах падает снег. От дома, от теплой комнаты сестра говорит:

– Соседка Рая, у которой умерла года два назад дочь, рассказывает мне, что дочь ее живая:'' Мне был сон, что дочь уже умершая – так легко перемещается по пространству, по воздуху. Утешает меня:

“”Мама, ты не думай, что я умерла. Я живая. Ты же видишь меня все время..’’

Следом, после этого разговора мне тоже в этот же день – двадцать первого ноября был сон о маме:’’ Мама плохо себя чувствует. “Вряд ли выживет’’, – говорят соседи. Маму на машине закрытой, на машине “Скорой помощи’’ – отвозят на берег моря. Мама лежит в машине, в открытом гробу. Я остаюсь возле мамы сидеть. Все время глажу руку мамы. Глажу маму поверх одеяла. Говорю:’’ – Мама, ты живая? Ты же теплая..’’. Мама чуть вздрагивает, отвечает мне утвердительно:’’ Да, я живая..’’ ” – Мама, я буду сидеть возле тебя до тех пор, пока ты не встанешь...’’ Нахожусь долгое время возле мамы, лежащей. Часто окликаю. Мама отвечает кивком головы.

Я выхожу из машины.

Просматриваю берег моря. Просматриваю горизонты, гагринские проливы, заливы, синеву гор.

Снова подхожу к маме. Мама теплая. Надежда о жизни мамы рядом со мной во мне не умирает.

Люди подходят к машине. Траурная процессия. Хотят вынести из машины, чтобы хоронить.

Я возражаю. Трогаю маму за руку, за кисть. Кисть чуть теплая. Но уже не такой теплоты как была прежде, полчаса назад.

Жду. Надеюсь, что мама поднимается. Но этого не происходит.

Снова трогаю маму . Трогаю материнский лоб. Он уже холодный. И только после этого соглашаюсь на погребение мамы. Соглашаюсь на вынос из машины.

За окном моей сегодняшней жизни, во время сна – была буря. Все пороги, все пути заливал ливень со шквальным ветром.

Я все боялся, что оставшийся неубранный виноград пропадет, упадет с деревьев.

Утром. Чуть светает, – и я вижу ясно бегущие по небу светлые облака. Голубое небо.

На море штормит. И если из слов. Из назидания, из мудрости классика русской литературы двадцатого века Ивана Бунина:

“”Еще один день на земле..’’

Еще одно движение от мамы. **Мама, декабря первого, 1997 года. Гагры.** Мама лежит, в постели после тяжелой болезни. Ходить мама уже не может.

И спрашивать у мамы про ее жизнь – шестьдесят лет назад. Когда ей было двадцать два года.

– Мама, как ты познакомилась с моим отцом? С Николаем Григорьевичем? Как он появился в Очамчирах.

– Где-то прочитали в Гаграх что открываются подготовительные курсы в Очамчирский сельскохозяйственный техникум. И приехали. Еще кто-то. Вот не помню, Мартыненко. Я сижу в столовой, кушаю. А Мартыненко /он был с Украины/ подсаживается, что-то говорит. Я ухожу. Где я сяду, там и он садится.

– Он был хоть симпатичный!

– Не так. Низкий парень, средний рост такой. Лицо не очень красивое... А Васька Матвеенко /Очамчирский/ он тоже подговаривал меня. Хотел меня взять.

– Куда?

– Замужем. Он был высокий, худощавый. Похожий на Артема товарища – Васю Мантаева. Ну и все. Учился с твоим отцом ниже на один курс, чем я. Они учились на хозяйственном факультете, а я училась на зоотехника.

– Так, так...

– Зурна тебе так. Надоело.

– Дальше рассказывай. А как ты отца увидела?

– Приехали, поступили учиться... Перемена же есть...Так, так лохмачок. Мы заходим в столовую, а тетя Даша – повариха, которая дает обед, раздает, кричит:, “Девочки, один парень, хочет жениться..’’. А мы хохочем, кричим: “Кто, кто?’’. Она смеется: “Не скажу сейчас. Потом узнаете’’. А мы смеемся все. Покушали и разошлися. Может борщ, а может суп.

– А кто платил?

– Мы были на казенном счету. Мы только за хлеб платили. А у Коли, твоего будущего отца, не хватает денег. Я слышу, и дала тридцать копеек за него. Но пока с ним я знакома не была. Мне было стыдно, что я заплатила за него. И шли уже в общежитие на отдых. А отец твой будущий – вперед шел, чем мы. А твой отец – уже мне деньги вернул. Я эти деньги стала ему возвращать, сунула в карман ему, с правой стороны был карман, в жакете. Или пальто, не помню. И пошли, спорили. Он обижался все время на меня. А я говорю: “Мне чужое не надо’’.

– А когда ты была красивее – теперь или тогда шестьдесят лет назад?

– Ну как ты считаешь?

– Я считаю, что сейчас

– А я считаю, что нет. Смотри мою фотографию. У меня косы длинные были. И толстые. И разного цвета ленты были в косах. Шелковые. Не то, что сейчас девушки волосы режут. Каждый день я меняла цвет лент. Сегодня – красные ленты в косах. Завтра – синие цвета ленты в косах. Лицо круглое, полное. Румяная была. Не гулящая. Глаза карие. Щеки были полные, пышные. Что еще хочешь от меня?

– А как впервые отец появился?

– После Ростова отец уехал на Дальний Восток, не знаю почему. Служить там или спасался от малярии. Или работали там. Отец после службы в армии работал на строительстве Комсомольска – на – Амуре... В техникуме учились разные нации. И Кудлая Сеня, и Хеаниди, Триандафилиди, Апачиди. Сухумские греки. С района. А может очамчирские из селений. И еще абхазы были Датико Ласурия. Джавдет Джопуа из селения, где живет мой брат. И Эсартия был – мингрел. Гулая Баграт – мингрел. И еще два брата абхаза – Табагуа. Один Джина, а другой Алеша. Джина был низкий, а Алеша – высокий, худощавый. Джина чего-то быстро умер еще в те года, когда мы учились. Я увидела сон, еще тогда сон, е в тридцатые годы. Не помню от чего он умер. А вскорости разбились на машине легковой Апачиди и Гулуа. Апачиди был не так симпатичный. Он с папкой ходил как в организации секретарь. Гулуа был чернявый, круглолицый, напоминает с кем сравнить – не знаю. Ну зачем такие подробности – красивый, не красивый. Их похоронили в своем селении. Откуда были – там и похоронили. Датико Ласуриа – красивый был.. Средний рост, не рыжий, нормальный.

– А что ты имеешь ввиду – нормальный?

– И рост, и полнота и все. Где-то мы сидели в столовой или где – не помню. Он подошел ко мне и на правую руку часы цепляет, дарит. А я против была: "Зачем, зачем? Не надо''. А потом он как бы заручает меня заранее. Мы все были знакомые как товарищи. А Коля меня натихаря любил. Я не знала.

– Слово приятное – натихаря. Полуворовское, полубандитское.

– Ну в душе напиши, что он меня любил. Но ничего не говорил никогда. Это потом тетя Даша сказала. А мы все приставали: "А

кто хочет жениться?''. Вот тетя Даша призналась: "Тебя он хочет, Маруся.'' А мы опять смеялись. А мне было как-то неудобно, стыдно.

– А в те года было больше солнца или луны?

– Все было и то другое.

Мама ноября 1997 года. Гагры.

– Мама, а кто больше верткий был по хозяйству – ты или наша бабушка, мама отца моего?

– Она была больше однорабочей, а я больше многообразной.

– Ничего себе, сама себя хвалишь. Бабушка и коров пасла, и нас, своих внуков, поила, кормила, в смысле готовила и утром, и в обед. И на ужин. Бабушка по деревьям лазила даже когда ей было уже семьдесят лет. А ты обманывала нас, с молодости своей говорила всегда: "Я не могу лазить по деревьям. Я выросла в степи. Могу упасть''. И не лазила никогда. Бабушка из-за того, что ты не лазила по деревьям однажды упала с инжира и ногу сломала. Ты, мама, знала только два дела: базаровать и сторожить на "Лесосбыте'' в послевоенные годы. Ты кормила нас тем, что торговала на базаре. А на "Лесосбытие'' сказала: "Мне деньги не нужны. Я буду на свою зарплату покупать на строительство дома доски, строиматериал." ...Мама, а кто был более верткий по хозяйству ты или твоя мама?

– Сравнил. У мамы в Инзовке /Запорожская область, болгарские селения. – К.Г,) было десять детей И еще она успевала и по степи работать, и арбузы выращивать, и в поле жито собирать, бороновать.

– Мама, а кто из наций самая работающая?

– Болгары – вечные труженики.

– Но и среди же болгар есть аферисты.

– Очень мало таких...

Я вспоминаю почти пятидесятилетнюю давность.

Осень. Гагры. В саду много фруктов. Я уже давно хожу в школу. Это год 1949 примерно. Дядька, брат отца, недавно пришел с фронта. В доме уже начались скандалы. Дядька хочет жениться на матери / так ему завещал мой отец, чтобы не оставил нас/, а мама не хочет. И с другой стороны – не против, чтобы сохранить для нас дом, большой участок, чтобы дядька не женился, чтобы не привел в дом женщину. Чтобы не разделить участок.

Дядька начинает, когда напьется, издеваться на мамой. Мы дети, естественно, вступаемся за маму. И нам тоже достается, и побитое

тело, и на издерганные от детства нервы. Мне восемь лет, сестре девять. Когда в один из дней дядька уходит на дежурство в пожарную команду /он дежурил так: трое суток дома, одни сутки на дежурство /мама перетаскивает две кровати в сарай. На стены вешает болгарские цветные ковры. Мы ложимся спать в этом высоком сарае, где нет света. Мама вымыла полы. Постелила половицы. И мы спим в сарае, как присутствуем на новоселье. Засыпаем спокойно, светло.

Так проходит ночь. Утром дядька является с работы. Начинается очередной скандал. И мама снова затаскивает вещи в бабушкин дом. И снова продолжаются скандалы вечерние. Дядька хочет спать с матерью. А она не хочет. Дядька всего 34 года. Кровь только играет.

И все эти нервотрепки от того, что отец погиб на фронте, защищая нас, защищая родину от немцев.

Если бы не немцы, не нападение на СССР – все было бы хорошо. Мы были бы с отцом. И не страдали бы.

От немца-фашиста наше ранее сиротство. Поэтому немца ненавижу. И не надо меня воспитывать на гуманизм по отношению к немцам, к Сталину за то, что и те и этот столько десятков миллионов выпили нашей людской крови.

МАМА. Июля 1997 года.

Ночью.

– Отец очень любил песню: "Дорогая моя столица. Золотая моя Москва..''. Играет, играет ее на гармошке. И голос отца красивый, протяжный... И нет отца твоего уже пятьдесят три года. Какие люди ушли. Осталось барахло...

МАМА. Из последних дней. Ноября первого 1997 года.

Маме 31 января будет восемьдесят два года. Недавно мама сильно приболела. Частично потеряла речь. Потом речь восстановилась, но остался явно выраженный склероз, процентов на пять. Девяносто пять процентов мама говорит верно. Теряется только среди своего сегодняшнего местонахождения. Ей все кажется, что она лежит в Леселидзевской больнице. Хотя лежит она у себя дома, в Гаграх, в доме бабушкином.

Каждое утро и каждый вечер собирает сумку. Складывает свои

тряпки.

– Мама, ты куда собираешься? – и сердце начинает сразу падать, когда вижу, что мать не в себе. Сразу уходит энергия и хочется умереть самому.

– Домой.

– Куда?

– В Гагры.

– Так ты и так в Гаграх.

– Нет. Я в Леселидзевской больнице. И вы, мои дети, со мной.. Ты сегодня где ночуешь?

– В Гаграх. У себя дома.

– Где?

– На втором этаже.

– А хозяева где?

– Какие хозяева? Мы сами и есть хозяева.

– Мы тоже хозяева. Но и он тоже хозяева.

– Кто?

– Они.

– Правильно говоришь. У тебя всегда было чувство юмора.

– Сынок, дай мне спичку. В зубах поковыряться.

– Но у тебя же всего три зуба осталось.

– Все равно пища застревает в зубах.

Подаю ей спичку отточенную.

– Только не заостряй там, где сера, – говорит мама.

Ковыряется в зубах оставшихся.

Мама лежит на боку. Подниматься ей ноги нельзя. Можно только иногда посидеть. Ноги маму пока не держат.

– Мама, надо подниматься. Семечками торговать.

– А где семечки?

– У меня есть. Ты поднимаешься и пойдем к воротам, – продавать. А ты сможешь деньги считать?

Мама оживляется.

– Еще как!

– И почем будешь брать за стакан?

– Пятьсот рублей.

– Правильно...

– И груши надо продавать. И яблоки. И хурму. Разве я могу

умирать. Как вас оставишь одних?! Вы же помрете без меня. Вы же не способны жить.

– Правильно, мама, говоришь. Бабушка наша тоже говорила, когда постарела: "Как же я умру!? Вы же без меня погибнете''. Это очень умно, умный твой разговор.

А вчера мама "вернулась'' "в Гагры. Говорила: "Наконец-то я дома.'' У мамы очень часто бывает просветление.

МАМА. Ноября 24, 1997 года.

Мама восемьдесят один год. Через два месяца будет 82.

С мамой хорошо думать о былом, особенно о временах после Второй Мировой войны.

– Когда к нам приходил обкладывать налогом Кация, который потом стал директором средней школы, он говорил мне, нашей бабушке: "Семья Соловьевых, Силаевых, Мушкудиани самые старые в Гаграх. Еще Лена была. На углу жила, где сейчас живет Вовка Кетия... Лена потом вышла замуж за Дишкариани. Он был директор Лесхоза".

А Мушкудиани сюда приехали из Лечхуми еще до Принца Ольденбургского. Земля Мушкудиани простиралась от их дома до самого моря метров в пятьсот в длину. Отец их был чаландарь, а мать торговала на базаре аджикой еще от тридцатых годов двадцатого века. Старший сын – Хута – был рыбак. Ловил рыбу вместе с Яни Кисиди – лучшим рыбаком Гагринского побережья.

... Еще греки жили в Жоэкварском ущелье, турки – самые старые жители Гагр. После того, как абхазы исчезли – махаджиры.

Я массажирую ноги матери, целую пальцы ее ног. Натираю чачей. Руки массажирую, натираю гипориновой мазью, прикладываю листья лахана...

– Ты, сынок, мни, мни листья лахана, чтобы они пустили сок.

Каждое слово матери мне дорого бесконечно. Все стараюсь запомнить...

– Ты завтра вынесешь меня на улицу, постелишь раскладушку. Принесешь товар, семечки, груши, яблоки, мексиканский огурец.. Когда я буду тебя звать, сынок, чтобы ты сразу прибегал... Если я не буду торговать – все пропадет... Или на Псоу поедем на границу. Сядем в электричку. Ты отнесешь, посадишь меня – я буду торговать...

– А горшок тут же... Скоро Россия Абхазию возьмет... Не будет же она терять двести тридцать километров побережья Черного моря... Триста километров.

– Когда это исполнится, когда будет такая всем радость, ты мне пришлешь телеграмму...

– Куда?

– На кладбище... Я там буду лежать...

– Адрес я знаю.. Гагры. Восьмой километр. Кладбище. Соловьевой /Гердовой/ Марии Дмитриевне... Тебе принесет почтальон. Там же вы все будете знать друга друга. Почти всех ты уже знаешь. Все там. И бабушка наша, и Петр Григорьевич, и зять твой. Жалко умер молодым от пьянки, от разрыва сердца. Было ему всего сорок пять лет.

Приподнимаю маму с постели, беру на руки, ношу по комнате. Иногда у мамы прилив сил. И она начинает сама ступать по жилищу.

И тогда я радуюсь. И лицо мое покрывают слезы.

Я не знаю как я перенесу утрату, если что с мамой случится.

8.12.99 года. Гагры.

Второй кусок после смерти мамы. Мама умерла 19 сентября 1999 года. Из книги: "ВЕЧНОЕ МАТЕРИНСКОЕ БЫТИЕ''

И снова, и снова: я виноват в раннем материнском исчезновении. Я не всегда был внимателен, не всегда входил в положение уже давно больной мамы. От мамы кусками отваливалось сознание. И дано было мне в отношении к ней исходить именно от этого, из этого. Но я этого не делал. Когда она что-то говорила, на чем то настаивала – я пытался ее переубедить, если ее мнение с моим, со мной не совпадало.

Это лишнее доказательство моей неправоты, неверного представления о мире, о человеческом бытии.

Это исходит, вываливается из моего позднего развития, вернее сказать – недоразвития, убожства, непросветления, непросвещенности.

И я последую из доказательства, из факта.

В июне двадцать второго тысяча девятьсот девяносто восьмого года, к нам, возле наших ворот, стала подходить, стала приближаться во время лежки и долгого сидения чернеющего цвета больная кошка.

Кошка была еще ребенком малым , была уже слепая от частых побоев, от всякого рода шлепков, от грязи, которая лежала на ней. На лице этой кошки жили болезни, инфекции, экземы, стригущие лишаи.

Кошка лежала скорчившись под гаражом соседки – грузинки, и еле поднимала голову.

Прохожие иногда бросали кошке кое-какое питание, кое-какие крошки хлебные. И не было совсем влаги.

Я, Костос, движимый милосердием, принес этой кошке воды в консервной банке. И принеся кошке помощь впервые – стал впоследствии ежедневно притаскивать ей еду.

Кошка стала оживать, и стала одновременно прятаться в глубину гаража от прохожих.

Когда стала уже показываться у наших ворот, у нашего забора.

Стала переходить черту, отделяющую улицу от нашего двора.

Стала почасту лежать, греться на солнце уже в нашем дворе, у бордюра. Вокруг были цветы фиалки и было очень душисто и празднично на лето, если, конечно, начать обострять зрение, начать обострять обоняние, если отвлекаться от жизненных дрязг, забот. И полностью переключиться на лето, на рано поднимающееся солнце, на рано пульсирующий из лета жизненный поклон и привет.

Мама наша тихо и медленно выходила к воротам, к забору, и садилась на скамейку, садилась в кресло, черное. Кожаное, вернее дерматиновое, которое нам доставалось от абхазо-грузинской войны. Это кресло дерматиновое никто не брал в округе, потому что оно было уж очень покоцанное. Но нам, бедным русско-болгарско-латышским людям, это кресло вполне подходило. В особенности для мамы, в особенности маме, потому что кресло было очень удобное, и что главное, из него нельзя было выпасть, если конечно, не подниматься, не вставать.

Надо еще упомянуть, что мама уже самостоятельно не ходила. Ее обязательно должен был кто-то сопровождать, вести, держа плотно под локти. Но мама еще сама могла подниматься, двигаться. Могла самостоятельно подниматься с дивана. Самостоятельное за собой ухаживание очень важно для больного, очень важно для тех, кто смотрит за слабеющим организмом слабеющего человека. Родного или не родного. Потому что эти вечные подъемы больного человека по несколько раз в день, если тем более больного брать на себя, весь груз тела больного – большое испытание даже для детей, которые всегда эгоистичны в той

или иной степени, то есть родители должны смотреть своих детей всегда, а дети – родителей – в редких случаях. Хотя, конечно, есть дети, которые кладут себя на алтарь ради больных родителей.

И вот как-то сидя в кресле – мама заметила больную черную кошку, и стала гнать ее. Ругать. Но кошка не уходила. Мама стала пытаться вставать самостоятельно, чтобы нагнать, выгнать кошку из нашего двора. И все время говорила нам: "Уберите кошку, уберите кошку. Она меня раздражает…''. Мы маму не слушались.В шутку кошку прогоняли, но она через минуту снова перелазила через забор, или проползала сквозь дырку в заборе.

Мама снова и снова укоряла нас.

Но лично я думал: "Кошку посылает нам Господь. Испытывает нас на вшивость, испытывает нас на милосердие, испытывает нас на доброту, испытывает нас на пристрастие. И спрашивает Господь: "''Неужели и Вы приносите в дом только то, что вам нужно, что вам принесет пользу?! А, может, я в лице кошки посылаю вам в дом нищего, нищенку, которой нужно все время отдавать. Выдержите ли вы это, если вы действительно христиане милосердные. Или вы как и многие – эгоисты бессердечные..''

И вот стоять мне было перед дилеммой: "Или мама, которая положила на вас, детей, свою жизнь, чтобы вы дети, успели стать достойными гражданами своей страны, достойными гражданами своего сердца. Или нищенка, которая просит у вас приют снова же сердца…?''.

И я, и сестра в данном случае отдали предпочтение нищенке в виде больной кошки, которая стучалась к нам в дом.

И хотя мама умерла так быстро, может быть из-за того, что мы впустили во двор кошку. Я не знаю верно, ли я поступил или нет предпочтя, может быть, божью нищенку стоящую у порога, моей так горячо любимой маме.

Именно из-за кошки мама так быстро умерла, потому что пытаясь в один из вечеров очень теплых и летних прогнать кошку от наших ворот, мама пользуясь тем, что рядом не было нас, ее детей, пыталась подняться самостоятельно с кресла, поскользнулась о бетон, и прямо всем ростом, правда небольшим, брякнулась о цемент – и сломала шейку бедра. Маме было к тому времени, к моменту перелома шейки бедра, восемьдесят два года. И прожила она после перелома шейки бедра всего год и три месяца.

Но до смерти мамы было еще очень далеко. Нам, ее детям, и маме предстояло еще прожить это время почти полной неподвижности мамы. И присутствовать при этой муке, при этом материнском страдании, которое было безмерно. После перелома шейки бедра – мама не могла самостоятельно теперь уже садиться, не могла самостоятельно лечь. Маму нужно было все время держать, укладывать, поднимать. И на еду, и на питье, на подушки, и на прогулку ежедневную.

26 января 2000 года. Гагры.

Из книги "ВЕЧНОЕ МАТЕРИНСКОЕ БЫТИЕ''

Сегодня двадцать шестое января двухтысячного года.

Пять дней осталось до дня рождения моей мамы. И было бы ей восьмьдесят четыре года. Мама не дожила до восьмидесяти четырех лет – четыре месяца и одиннадцать дней. После перелома шейки бедра двадцать второго июня тысяча девятьсот девяносто восьмого года, мама прожила на этом свете – один год и три месяца.

В последние месяцы и последние дни своей жизни на земле – мама сильно мучалась. И не столько от боли где-то, а от своей немощи. От того, что не могла передвигаться абсолютно. Чтобы сесть на постели – ее, маму, нужно было поднимать на себя, то есть брать ее на свою грудь, высвобождая от положения лежа. Приподнимать из ее тяжелейшего лежачего положения, одновременно сломанную ногу в верхней части бедра выварочивая мягко, чтобы мама могла сесть.

– Давайте мне мяса, давайте мне кушать, – говорила она в последние дни. У мамы всегда был хороший аппетит даже за несколько часов по смерти. Но все равно сердце слабело, желудок почти не работал.

Мне приходилось почти каждый день выгаскивать из мамы небытие. Разрушенный состав дней.

И делать эту операцию мне было абсолютно не брезгливо.

Я бы ел это небытие – лишь бы жила. Настолько моя любовь к маме беспредельна.

Хотя мама в последние дни и последние месяцы, уже теряя рассудок часто говорила именно мне, своему сыну:

– Дай я твои дни вырву. Они тебе все равно ни к чему. У тебя нет семьи. Ты остаешься один. У тебя нет детей... – Через какое-то

время, когда кто-то из нас, из ее детей, я и сестра, долго не подходили, мама начинала звать соседей: – Соня, Сурен, Оличка, Люба... Донара...

Когда я садился рядом с мамой. Начинал кормить ее с ложки, мама после того как покушает, начинала говорить мне:

– Где твои глаза? Твой глаз?

– Мамочка, но ты же не "Грузданка''.

"Грузданка'' – это имя народной героини из болгарского народного эпоса, которая каленым острым железом выжгла глаза разбойнику древней Болгарии, который всех убивал.

Я склонял свое лицо к маминым рукам. Закрывал глаза. И мама слабыми уже ручками, ладонями, ползала, ройлась, гладила мое лицо.

И я понимал маму. Теряя сознание, теряя силу, мама хотела, чтобы и мы, ее дети, тоже бы разделили ее участь уничтожения, участь ухода с земли, из нашего родового имения.

– Как не хочется уходить из нашего двора – часто говорила мама. И еще она говорила в последние дни, слабея все больше и больше: – Я умираю. Поэтому сидите рядом со мной, не оставляйте меня одну. ВСЕ БУДЕТ. А МАМЫ БОЛЬШЕ У ВАС НЕ БУДЕТ

И эти слова до сих пор рвут мое сердце до тех горизонтов, до тех звезд, что мне самому уже не хочется жить. Так тяжело нести эту скорбную чашу без мамы.

И обиднее всего то, что я не был последние часы с мамой. Она умерла без нас.

И последнее, что я сказал маме еще девятнадцатого сентября тысяча девятьсот девяносто девятого года, – было грубо и невнимательно . И это будет преследовать меня всю жизнь, которую я еще, может быть проживу, просуществую, проскорблю, проплачу от утраты мамы

В этот день были похороны соседа, молодого парня, товарища полутрека – полуармянина, который умер от инфаркта в свои тридцать девять лет.

На два часа были назначены похороны. Был назначен вынос гроба из двора, который располагался возле моря, возле множества маслин, маслиновых деревьев.

И было уже без пятнадцати два. И я подошел к маме, к ее постели. Спросил, как всегда:

– Мама, ты будешь подниматься?

– Да.

Я поднял маму из ее лежачего положения. Подложил под голову

подушку.

– Так, мама.

– Я неудобно села.

– Мама, я спешу – И крикнул громко, сам того не ожидая; крикнул зло: – Сиди. Я опаздываю на похороны Зебеляна Андрюши.

Мама не стала подниматься

– Мама, тогда ты снова полежи. Я не могу находиться с тобой. Если тебе холодно, я надену на тебя безрукавку, которую я привез с Севера, с Колымы, с тысяча девятьсот семьдесят пятого года.

– Одень... Хорошо накрой, чтобы я вас никого не видела. Не хочу никого Вас видеть.

И я ушел.

И это было два без десяти дня.

Когда я пришел домой – около восьми вечера, когда стал входить в комнату, где мама лежала, меня поразила страшная тишина. И видение глаз: мамы не было на постели, к которой она была привязана, приговождена уже безотрывно почти полтора года.

Я посмотрел на пол, рядом с кроватью, с диваном. И увидел маму лежащую почти под диваном, на половину тела откатившегося под диван:

– Мамочка, мамочка, – закричал я. Стал поднимать с пола, чуть отодвигая от доски, которую мы прокладывали, чтобы мама не падала, не скатывалась с дивана, чтобы не скатывалась со своей почти безпамятной маминой лежки.

Сразу заметил вблизи виска небольшой кровоподтек. Значит, мама упала на пол вниз грудью, вниз животом, и все время пыталась подняться на своих ослабевающих секунда за секундой руках.

И так затихла, и скончалась. Потому что у мамы уже истощилось сердце, истощилась жизненная энергия.

Я с удивительной легкостью поднял маму на себя:

– Мама, мама... Мамочка.

Из маминых легких по мере того как я ее укладывал на постель все время выходил с присвистом воздух.

Мама не была уже даже теплой.

Потом, через полчаса, пришла, прибежала сестра:

– Я подходила к маме уже после похорон. Примерно в полпятого. Мама свешивалось с дивана, еле держалась на руках и звала меня:

"Эля,Эля''... Я подняла маму, уложила ее. Сказала: "Мама, я сейчас приду... не двигайся никуда...'' И мама за эти три часа пока нас не было – умерла. Как жаль, что скитаясь по какой-то гуманитарной помощи соседям, служа "Красному Кресту'' где я работаю, задерживаясь у старух, я не посмотрела, не увидела последние часы своей мамы.''

И вот в январе двадцать шестого, зимой, во время редких для Гагр, для Черноморского побережья снегов очень обильных во время непоздего вечера, во время уже своей лежки почти шестидесятилетней, я проспал, прочувствовал, неясно откуда последующий, преследующий меня внезапный образ, внезапный свет, внезапный снег:

"Сиящий рояль
Маленький рояль
Усыпан вечным снегом
На голой вершине
Вершина открыта для ветров
Вершина, водораздел, перевал
Очень желто-зелено
И черный маленький рояль
Усыпан вечным снегом"

И я понял, что я ставлю, поставил памятник своей маме высоко на горе моего вечного горя, и чтобы было все открыто на желтеющие пастбища, желтеющие пространства моей мамы.

И уже через три года, в мае двух тысяча третьего года, на излете стойбищ и равнин, на излете чередующего солнца через ставни, через окно, через рашпиль глаз движущаяся картина из отмирания или нарождающегося склепа для вечно пробегающего сокола, для вечно пробегающего ихтиозавра.

Полусветло, полусумрачно. От прикрытия, от навеса большого – люди, кампания, застолье в нашем, соловьевском дворе от которого отсвечивает стена и высокие деревья лаврового листа.

И мама с краю двора, с краю застолья весьма траурного, явно не веселого – совсем маленькая, повернута ко мне спиной, в темно-желтеющем халате, птицей крупного глухаря или павлина или лебедя подметает анфиладу столов, местечко, где нет явств, подметает огороженное пространство.

Я беру на руки эту птицу из моей мамы. Мама смотрит на меня. И лицо не птичье, а лицо моей мамы. Глаза коричневые и лицо сияющее. Из каких далеких краев она подлетает ко мне, из каких мироздaний!? И из какой печали она снова явлена мне? Из какой любви, из какого отрицания? Из какого пролета?

Из дневника, из тысяча девятьсот семьдесят восьмого года.

"Мама сидит во дворе, перебирает лавровый лист:

Маме шестьдесят два года. Мама – вечная труженица, вечно руки в земле, в зное, в холоде, в воде, в солнце, в прополке огорода. В солнечном вечном освещении; приговаривает в присутствии своих детей:

– Сколько еще работы осталось. Сколько еще продать нужно и лавра, и мандарин, и сухих фруктов. В том числе и тех фруктов, которые будут и после моей жизни. Ведь вы же, мои дети, неприспособленные. Все время были прикрыты мной, бабушкой, своим дядькой, которые за Вас все делали, все пахали, все пололи, все продавали, все зарабатывали, чтобы вы могли идти к своей жизненной цели. И от этого нашего прикрытия стали интеллигентами, вернее сказать служащими: один журналист, писатель, а вторая – методист дошкольного воспитания. Это в счет того, что вы отдалились от земли, от своей кормилицы. И после нас вы ничего не продадите, ничего умно не распределите из той земли, что нам дал Бог. Все, что ваши родители нажили – пронесете прахом.. Сколько еще работы, а мне скоро умирать. Каждый день жду.

"Как невыносимо скорбно все это слушать, все это ждать. Что когда-нибудь чем я защищу этот провал на присутствие, этот провал на неприсутствие мамы. Как перенесу эту потерю!?''

Мама, бабушка, все взрослые наши родичи – есть чернозем, почва удобрения, гумус от которого мы – их дети – произрастаем, растем, множимся на знание или незнание окружающего нас мира. От родичей, от родителей, от бабушек, прабабушек, прадедов – наши ростки, наши деревья, наши кустарники, наши цветы, наши моря и реки. Родичи подставили свои плечи, свои позвоночники, чтобы мы могли быть не задавленными ветрами, морозами, ураганами. Снегами, чтобы мы могли пробиться.

А ведь у наших родителей была своя юность, были свои юношеские, свои взрослые, свои детские ощущения, свои детские планы, мечты. У них был интерес к театру, к искусству, к литературе. Мама в

студенческие свои годы в городе Очамчира играла в спектакле по поэме Пушкина – "Цыгане''. И что интересно: еще будучи не в замужестве за моим отцом, мама была в том спектакле – Земфирой, отец – Алеко, который в конце спектакля режет, убивает Земфиру.

А в старости, а в зрелости сбылось ли это предвосхищение в спектакле; сбылось ли это в судьбе моей мамы и моего отца, который в тысяча девятьсот сорок третьем году погиб под Харьковом, спасая Родину от немца-фашиста.

В конце концов сбылось предостережение Пушкина насчет маминой судьбы. Отец мой действительно зарезал мою мать, свою жену, когда погиб на фронте в 1943 году. И обрек мою мать, свою жену, когда погиб на фронте в 1943 году. И обрек мою мать на несудьбу, на вечные мытарства. Зарезал своим невозвращением.

Мама прожила после отцовской смерти – пятьдесят шесть лет. Почти шестьдесят, фактически три поколения пережила моя мама после отца.

Мама могла бы стать прекрасным ветеринаром, прекрасным математиком, пркрасным астрономом. Но оставшись в сиротстве, выйдя замуж за отца, войдя в семью из которой жил огромный сад, огромное хозяйство, куры, утки, коровы, мандарины, инжир, весны, осени сельскохозяйственные вблизи моря, – мама превозмогла процесс чтения, процесс узнавания в мире и о мире, превозмогла процесс небесных сфер, и ушла на вечную каторгу по переработке домашней сельскохозяйственной продукции, в числе которой были и мы, ее дети. Конечно, наравне и в составе растительного, животного, птичьего, рыбьего мира, в составе рододендрона, полевых цветов, незабудок, шиповника, орешника, чеснока, лука, полевого хвоща. И ничуть не выше и не больше этих составов, перемещаясь в лоне и из лоны природы, в этом же круговороте, где человек, где ребенок из человечьего сообщества ничуть не выше и не мудрее змееныша, олененка, собачки, котенка, китеныша, дельфиненка. Где и откуда подло и кощунственно обьявлять о человеке – как о царе всех птиц, всех животных, всех растительных существ. Отсюда и выходит, исходит вся деградация и будущая и сегодняшняя дисгармония в Земле, о Земле, о нашей околоземной галактике.

Только равный состав – змея и человек, ставрида и человек, роза и человечья, ребячья голова. И срезать, рвать цветок такое же преступление, как срезать и убивать человечью голову. Только при этом

условии мировое сообщество не будет растерзано катаклизмами. Перестраивать всю мораль и состав нити, – из чего и плетется человечий нрав.

Из состояния: если перестать убивать животных, птиц, рыб на человечью потребу – придется изменить все человеческое мироздание. Это значит переменить весь человеческий космос.

Кому хватит сил решиться на это!? Кто будет первым предшественником будущего благополучия и единственного способа пути выживания, расцвета.

И оттуда опять – в клубочке мамы, материнского чрева.

И только после ухода из жизни мамы – особо явственно увидеть как все в мире временно из плоти, из вещества, даже если оно называется любимым телом, любимым ликом, любимым светилом.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ МОЕЙ МАТЕРИ, ИЗ СТАРОСТИ МОЕЙ МАТЕРИ, ИЗ ОКТЯБРЯ МОЕЙ МАТЕРИ.

Из Гагр, из осени, из мягко слетающей листвы, из рокота Черного моря.

Пять месяцев назад мама сильно поранила ногу. То ли перелом, то ли сильный ушиб, то ли сильный ушиб, то ли трещина кости. В итоге мама ходить перестала, перестала двигаться. Может только сидеть или лежать. Да и то без нашей, ее детей, помощи – не может даже взять ложку, чтобы покушать кашу.

Пять, шесть раз за ночь подниматься, чтобы помочь маме – или сесть, или поправить подушки, которые мама часто разбрасывает.

Склоняться над мамой, говорить:

– Мама, мамочка…

С бесконечной любовью гладить ее жиденькие волосы.

На мои слова мама возражает:

– Какая я тебе мамочка!

– А кто, кто ты мне!? – возражать стремительно. – Ты же мама!

– Нет. Я просто тетка.

– Но ты ж меня родила. Значит, ты мама.

– Нет, тетка.

Проходит время. День. Три. Никак не понимать мысль матери; обращенная к сыну: "Какая я тебе мама!?''. И все пытаться втолковать матери, обратить ее к разуму, к логике.

И вдруг исчезнуть в сторону Сухума, исчезнуть на отъезд, исчезнуть к движению электрички, исчезнуть к стуку колес. И вдруг только при перестуке дороги вечно меняющейся на пейзаж понять маму, понять мать: "Вот оказывается почему мама к старости, к своей немощи говорит, возражает: "Какая я тебе мама?!'' Это из того благородства высшего на мой взгляд: мама до того привыкла давать своим детям, что когда она уже не может давать, не может таскать хлеб, колбасу, мясо, птицу, фрукты, рыбу, раз мама не может уже кормить своих детей – значит по понятию моей мамы – она уже не мама, перестает быть мамой. Становится просто чужой теткой. Которую можно выбросить на свалку, на море.

И теперь уже понимать, что даже в старости мама умнее, благороднее, тактичнее всех нас, ее детей. И мозги ее, конечно, не плывут, как я раньше считал, приспосабливаясь к материнской немощи, а снова и снова опережают нас – довольно молодую людскую массу, плывущую по инертности в инертность, в небытие под небесами.

Мама уже выравнивается со своими мертвыми бабушками, дедушками, отцами, матерями:

– Куда пошел, Игнат? – Мама поднимает голову с подушки.

Дед Игнат – дедушка матери, который умер от малярии в Абхазии, в Очамчирах в тысяча девятьсот тридцать третьем году, когда семья моей матери убежала от голода, творящегося на Украине, в Запорожской области. Из украинской смерти наткнулась на абхазскую малярийную смерть.

Понимать маму, отвечать:

– А он поехал в Бердянск.

– Зачем?

– Жито продать… Мама, Игнат был высокий?

– Нет, среднего роста.

– А кто он был?

– Крестьянин.

– А что он делал?

– Упряжь ремонтировал.

– А его жена, Мария, что делала?

– По хозяйству. И на поле ходила. Пшеница, бахча.

Из книги: "ВЕЧНОЕ МАТЕРИНСКОЕ БЫТИЕ''

От двадцать четвертого ноября 1999 года. Гагры.

Сегодня поздно ночью было состояние дисгармонии. Давило от низа живота как от центра земли, от тяжести. Были частые позывы к освобождению. Но боли не было, как если бы это был цистит. И к началу раннего утра было видение как сон. И все тяжело, тяжело. И женщина вся в черном, очень некрасивая, в шелковом платье. Лицо черного тоже цвета, почти квадратное. Квадратны челюсти, квадратны глаза, квадратен нос. Квадратен лоб. И все тянется из ниши, из глаза, из забора в дырке – и протягивает светло-серые камни, обкатанные морским прибоем. Три камня протянула мне. А один камень взял в свои руки кто-то посторонний.

Сейчас и не припомню кто именно из знакомых.

Время рассредоточило лицо, рассредоточило черты.

За несколько часов – от раннего утра до раннего вечера этого же дня – время смыло черты. Разьело. А ведь прошло всего тринадцать часов.

Везде, на каждом шагу, на земле, на небесах вижу, подстерегаю свою маму. Вижу ее постоянно. Она все молодеет и молодеет во мне. Вижу ее труженицу, каторжанку своей семьи, своих детей. И все – на базар, на рынок тащит то груши, то яблоки, то сливы, то мандарины, то апельсины, то ветки еще зеленого лаврового листа. То сторожит Лесосбыт: это начало пятидесятых годов, начало шестидесятых. И все физическая, физическая работа. Хотя сама по образованию – зоотехник. Заканчивала Очамчирский сельскохозяйственный техникум в тысяча девятьсот тридцать седьмом году.

Мама уже после болезни очень слабая. Через несколько дней ее не будет. И мама, сидя на диване, когда под нее подложены подушки, говорит:

– Всю жизнь я работала. Всю жизнь сирота. Всю жизнь, начиная от малолетства – среди чужих людей. А это очень тяжело с детства не чувствовать родного человека, кровного. Кто-то норовит обидеть. Далеко не каждый. Но всегда в стаде найется негодяй. Поэтому так

часто жить в напряжении.

И что интересно и очень почтительно, очень трогательно, что мама, теряя сознание, впадая в старческую немощь, беспамятство, впадая в склероз, старается не говорить ничего дурного о тех, кто ей сызмальства пытался творить зло. Какая интеллигентность! Не омрачить, не предать злословию имена тех, кто ее обижал в сиротстве.

У мамы уже полтора года как случился перелом шейки бедра. Маме уже восемьдесят три года. Через четыре месяца будет – восемьдесят четыре. Идет сентябрь месяц 1999 года.

Мама измучалась. Каждые два дня нужно давать слабительное, чтобы маме стало легче. Но "'сенадэ'' уже не помогает. Приходится раз в две недели давать магнезию. Или, если достанем, английскую соль. Чтобы маму пронесло. Но английскую соль нужно давать редко, чтобы организм не истощался от такого разноса, проноса.

Все время в доме, в саду, в подвалах, в комнатах – нахожу мамино пристутствие. Нахожу мамино время, мамино бытие.

Только что нашел на кухне алюминевый бидон. Еле отодрал крышку. А там плотно набито – пухом куриным. Этот пух мама нам готовила для подушек, на которых , как мама думала, мы будем спать, будем ночевать вечно. И после маминого ухода – явственно ощутил, что никакого вечного материального бытия не будет. Но человек постигший только материальную жизнь – не может думать иначе как о состоянии материи. И об преумножении этой материи, этого материального мира.

И мы, дети своих родителей, должны как можно дольше и дальше хранить и нести это материальное присутствие родителей – в доме. Должны хранить мамины, отцовские, бабушкины, дедовские, прадедовские вещи. Сумки, комоды, чемоданы, пропирать их, сушить беречь. Мы должны превращать свой дом – в музей такой-то семьи, в родословную такой-то семьи, такого-то рода.

И, конечно все, это будет вешать, сырель, уничтожаться от времени. Временем. Но мы все равны будем до конца своих дней – сберегать в своей памяти, на своем хуторе, на своем дворе, в своем саду – родительское присутствие, родительское благословение.

И только обогащенные своим родом – племенем, своими дедами, бабушками – мы имеем право называться человечеством, низший состав которого так себя опозорил насилием, беспамятством, что теперь

очень трудно удержать знамя присутствия человеческого в этом мире.

Октября 1999 г.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ, ВЕЧНОЕ МАТЕРИНСКОЕ БЫТИЕ

Материнскую смерть начал именно я, ее сын.

Мама, когда ей было уже семьдесят восемь лет, кормила нас, кормила всю свою семью. Кормила меня, когда мне уже было пятьдесят два года.

Я говорю о времени – тысяча девятьсот девяносто втором.

А сейчас срок идет на тысяча девятьсот девяносто девятый.

Как-то осенью довольно дряблой, дождливой листопадной, вечером, уходя из дома к соседям, я увидел, что к воротам нашего двора, нашего дома, приставлена куча мусора в целофане. Приставлено; привалено несколько куч кирпича битого.

Я сказал об этом младшему брату. И не подумал, что брат тут же скажет об этой истории матери.

Я сказал брату о мусоре, и ушел.

Через несколько часов вернулся.

И увидел маму лежащей на диване, болезненно улыбающейся.

В то время, когда я уходил несколько часов назад, мама была абсолютно здоровой. Ходила по комнате, по двору, взяла чулки, варила компот.

Сестра тут же рассказала:

– Когда ты ушел, брат наш младший сообщил, что к воротам нашего дома, привален соседский скарб. Брат тогда не подумал, что наша мама всегда прикрывающая нас, снова ринется в атаку, пойдет, побежит относить хлам от нашего дома, от наших ворот. Мама без нашего ведома стала наполнять ведра с соседскими кирпичами, и относить их от дома, – в сторону моря, в сторону свалки... Мы сидим дома, в комнате, поздний вечер, а мамы нет. Я вышла из дома, пошла в сторону моря, слышу стон. Подхожу. А это наша мама лежит, в струйке дождя, в дожде, подняться не может. Я еле ее подняла, приволокла домой, уложила на кровать. Вызвали врача – соседа. Врач определил инсульт.

То есть, мама уже слабеющая, постаревшая, жила, была из неуемной энергии, и думала и считала, что молодость с ней, что слабость не подступит, и что она вечно и долго будет таскать к морю ведра, наполненные кирпичами, мусором, вечно будет носить фрукты на море продавать, раздавать отдыхающим, копить для нас, ее детей, деньги, скарб, имущество на черный день, на наше безбедное бытие.

Мама в семьдесят восемь лет ездила почти каждый день в Адлер в Сочи – продавать мандарины, инжир, зеленые пучки благородного лавра. Ходила по вокзалам, по электричкам, громко предлагала лавровый лист: "Кому лавр? Кто забыл лавр для борща, для солений!?"

Мама не могла жить, если не двигаться, не пополнять добром вверенное еще бабушкой хозяйство. И всегда привозила нам, ее взрослым детям, самим почти пенсионером, то колбасу, то сыр, то пирожки, то хлеб, то конфеты, то мясо.

Как прикрывала нас мама до самой своей смерти! Как считала нас детьми малыми. Неразумными, не умеющими добывать свой кусок хлеба. И эти, конечно, делало нас вялыми, не энергичными. В итоге развращала нас. Но и в большей степени прикрывала нас. Без ее плотной опеки мы бы не стали образованными людьми, с высшим образованием. Без ее, мамы нашей, мы бы пополнили ряды фасолевозделывателей, помидоровозделывателей, огурцов выращивателей, просто пастухов, просто фасольщиков, просто коз и коров пастухов. Без матери, без ее плотной опеки мы бы, ее дети, никогда не проследили – куда движется Шекспир, Дантэ, Франческо Петрарка.

Мама нас продвигала в личности, подставив самое себя в дымчатое, под дымчато-уничтожительное бытие, чисто материальной чугунки.

Мама была куда значительнее нас, как личность. И понимая в высшем значении свое материнское право и предназначение, – из нас, вполне и вполне аморфных людишек, выковывала духовные горизонты, превратив себя вполне осознанно в подводную лодку, в подводный профиль, исчезнув под лоно океана, всем корпусом плодоносящим, – она подняла нас под персикоп, чтобы мы ее дети, увидели все прошлое и будущее мира. То есть превратив себя в несущее начало, абсолютно скрытое, подсознательное. Наглухо закрыв в себе, для себя створки небесных сфер, небесных миров, Галактик.

Таких матерей, видимо, на свете немного.

Недаром Борис Исаакович Балтер, мой в высшей степени Учитель,

сказал незадолго до своей смерти в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году, когда я, грек Костакис, рассказывал ему о маме. (Борис Балтер был знаменитым писателем, автором прогремевшей на весь мир (повести "До свидания, мальчики!'' о юношах тридцатых годов двадцатого века евпаторийского побережья Крыма – накануне Великой Отечественной войны):

– **Костакис, у вас золотая мама. Она вам все прощает...''**

Прощала незавершенность судьбы, неустроенность быта, неблагополучие в материальном мире, не способность зарабатывать хорошие деньги, даже просто более менее достаточные для прозябания средства. Мама говорила: "Сынок. Ты пытаешься стать мыслителем. За это деньги ты получать не будешь. За это стремление. Но это стремление высокое. Поэтому я, работая в пищеблоке, где всегда остается вечерний кусок сладкой рисовой каши, буду тебя кормить всегда. Пока ходят мои ноги''.

В последние месяцы, дни, последние недели жизни моей мамы на земле, жизни в составе физического тела, я, Костакис, убирая за мамой, кормя маму с ложки, поднимая ее, вытаскивая ее на балкон под солнцем, под луну, под теплые звезды, думал и жадно надеялся,, что облегчая старость, немощь мамы – я с каждым днем делаю ее более молодой, более юной, более сильной, возвращаю ей жизнь, но не в старость, а в юность, в ее молодость.

Я так и хотел и надеялся, что я, ухаживая за мамой, буду стареть в заботах о маме, а мама будет молодеть, к ней начнут возвращаться силы. Примерно так я рассуждал о мечте, о дальнем Альбатросе: "ЗАСТИГНУТЫЙ ВОДОЮ ЗОЛОТОЮ, ТЕБЯ УВИДЕТЬ, МАМА, МОЛОДОЮ...'' . В заботах о матери я буду стареть, а мама принимая мои заботы – молодеть. И будет смотреть на меня издалека: из своей молодости в мою старость.

Но, однако, этого не случилось.

Я не смог переместить время, изменить состав времени, состав времен.

Я хотел переломать позвоночник времени, чтобы оно начало работать вспять.

Однако, время переломило меня, сломало мой позвоночник.

И я согнулся. Считай, что умер. Потому что понял, что ничего не могу. Могу только жить под шелест листьев, подчиняясь составу и

ритму времен уже заведенных без меня. Без меня и не мной заведенных времен и ритмов. И составов исчезающих морей.

Апрель, 2000 г. Гагры.

Скучать по умершей матери необычайно.

Мать умерла полгода назад. Умерла девятнадцатого сентября тысяча девятьсот девяносто девятого года. И было ей без четырех месяцев – восемьдесят четыре года. Год и с четыре месяца мучалась с переломанной шейкой бедра. Могла только лежать. Чтобы перевести маму в положение сидя – маму нужно было поднимать всю. У мамы давно уже началась старческая немощь и старческий склероз.

И видеть маму такой больной, беспомощной, проговаривающей какие угодно невразумительное слова было очень больно.

И видеть маму было все время молодой и красивой – даже когда она уже была старой и немощной.

Сказать как-то знакомому. Которому было шестьдесят пять лет:

– Прошло пять месяцев со дня смерти мамы, а по ней тоскую всегда.

– Моя мама умерла пять лет назад – , а я до сих пор плачу по маме каждый день. И что твои пять месяцев по сравнению с моими пятью годами? У одного летчика, в прошлом, у полярного летчика я спросил: "Ты вот мать потерял. Ты по ней скучаешь? Ты ее вспоминаешь?!''. Он мне ответил со слезами на глазах: "Зачем вспоминать папу и маму?! Они всегда со мной..''

Лежать материнскому трупу, лежать материнскому телу в сиротской долине в сиротском предгорье, повернутому к Черному морю. **Пребывать в любимой песне матери: "Позабыт, позаброшен с молодых, юных лет. Сам остался сиротиной, счастья доли мне нет''. В этой песне вся судьба моей матери!** С шестнадцати лет скитаться по свету без отца и матери. Бежать от голода, от голодной смерти на Украине в тысяча девятьсот тридцать втором году в Абхазию. И в тридцать третьем году умереть в Абхазии от малярии почти всем ее родным, десяти душам. И года не прожили на чужбине мать, отец, бабушка, дедушка моей матери, братья мамы, сестры.

Насколько я, Костос, счастливее моей мамы. Потерял маму, когда мне было пятьдесят восемь лет. Всю жизнь она меня согревала, прикрывала от ветров и пустынь. Согревала и прикрывала, чтобы я

состоялся. Жертвовала собой, своими интересами, своими увлечениями, своей любовью к книгам ради своих детей.

На такую самоотдачу я, ее сын, уже не способен. Поэтому меня мои дети, мои потомки и помнить будут недолго. И скучать не будут, когда я исчезну с земли.

Через несколько дней после этого разговора с шестидесятипятилетним моим товарищем мне приснился сон, мне было видение о маме.

Желтеющая комната. Большая. В этой комнате люди. Наши старые знакомые, мамины старые знакомые. Это знакомство чувствуется в обращении друг к другу.

Отдельно, в свете, почти посередине комнаты этой большой – находится моя мама. Она в красной кофте полустертой, знакомая мне кофта по жизни. Когда мама еще пребывала на земле уже будучи больной, немощной.

Мама находится, как бы сидит в глубине перевернутой зеленой нашей большой, сделанной из дуба, табуретке. И почти вся умещена в этот провал, в эту перевернутую прорву. Как будто карлик – без ног, без рук. Просто одно тело, один корпус помещен в этот узкий прямоугольник. И лицо мамы какое-то то какое-то аморфное, белеющее, не мыслящее, просто в старческой немощи, утробное, абсолютно в немыслящем существовании. Каким лицо мамы было очень часто в последние ее дни на земле. Примерно из того промежутка времени, когда мама кричала: "Володя, Володя!''.

Подойти ночью к маме, во время ее крика, сказать:

– Мама, кого ты зовешь?

– Володю.

– А кто я?

– Не знаю. Чужой человек.

– Так это я. Твой сын – Костос... А ты зовешь Володю, которого у тебя никогда не было... А кто это – Володя?

– Мой старший сын.

– Опять начинай все сначала... У тебя есть старшая дочь – Елена. У тебя Володи и не было.

Потом понимать и говорить себе: "Но ведь это же мои познания о матери. А у нее свои. И не все же нам, ее детям, дано знать о родителе...''. Потом вспомнить, что у мамы был старший брат – Володя, который умер в Очамчира – семьдесят лет назад.

Материнская, родительская правда. К ней и не подберешься. Не докопаешься. Не подползешь. Закрыться как в тамбуре, в скелет.

Прислонять свое лицо к такому родному, к такому незабываемому, к такому уже полузабытому лицу матери, мамы. Чувствовать до боли родные черты: "Мама, мамочка, как тебя поднять, вызволить из этих мест? Из этого такого ущербного, неподвижного бытия в составе замкнутой клетки-телеги – стула...!?'' И когда ты снова придешь к нам жить? И чтобы ты была снова молодой и красивой, чтобы тебе было как и нам твоим детям, не больше шестидесяти лет. Чтобы мы могли вместе радоваться миру, звездам. Пусть ты будешь даже моложе нас своих детей. Ведь ты же прошла такую муку, такую боль что тебе полне подойдет омоложение. Что ты от минувшей боли будешь все более молодеть, а не стареть. Кто-то же должен первый нарушить обретенный, так плотно усвоенный временем строй. Порядок. Закон. Кто-то же должен первый разрезать время наискосок. И почему это не должна быть моя мама!? .

6. СПРУТ СНЕГОВ И ЛАМПАД
(на берегах Северного Ледовитого океана)

"Мы должны иначе относиться к животным – с большим пониманием, а может быть, и с благоговением.

Человек потерял контакт с природой, построил свою жизнь на хитроумии и изобретательности – и потому рассматривает животных сквозь лупу человеческих знаний. А она увеличивает перышко или шерстинку, но образ в целом искажает. Мы относимся к животным свысока, полагая что судьба их достойна сожаления: ведь по сравнению с нами они весьма несовершенны. Но мы заблуждаемся, жестоко заблуждаемся. Ибо нельзя к животным подходить с человеческой меркой. Их мир старше нашего и совершеннее, и сами они – существа более законченные и совершенные, чем мы с вами. Они сохранили многие из чувств, которые человек растерял: они живут, прислушиваясь к голосам, которые недоступны нашему слуху.

Животные – не меньшие братья наши и не бедные родственники,

они – иные народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени; такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий''.

Генри Бостон "Дом на горе''.

"Лунное регги''. Далеко от земли вспоминаю забытые лица друзей. Время, стой, не спеши, дай запомнить грехи прошлой жизни моей. Только звезды горят, за хрустальным стеклом снова вижу забытый свой дом. Припев: Moonlight Reggie. Одинокой луной тесно связаны мы с тобой. Moonlight Reggie. Для тебя я пою в черном космосе одинокую песню мою. Помню ночь, свет луны, и с тобой мы в объятьях ночной тишины. Пусть пройдет много лет – я вернусь в теплый свет нашей полной луны. Только звезды горят, за хрустальным стеклом снова вижу забытый свой дом. Припев.

ТИКСИ 1982.

Появляется из глубины сердца солнце. Приближается Северный Ледовитый океан как щит. Светоносный щит. Прикрыт, как прикрыто состояние звериными шкурами. Растянуты на медь, как на ложе.

От щита можно становиться подробным на огромные заливы, бухты, промыты из льда. Во льдах. Редкое тепло сделает подвижным воду, поверхность. Обнаружатся потопленные оленьи рога. Рога сохатого. Они будут белеть. Погружены в ледяное безмолвие, торчат. Достаточно светло, но холодит зрение.. Медленное врастание, нет привкуса ила. Появятся, будут разнообразить протекающее поле многочисленные свалки из брошенных оленьих шкур, вылезших копыт, консервных банок, сапог, брошенного якоря.

Будет стыть черная собака, от нее будет отслаиваться, сползать шерсть.

Будет продолжаться лето, пробегут солдаты пограничных войск, одеты в гимнастерки – пробежка перед принятием пищи.

Станет легко от того, что движется великая северная навигация. Стремились пароходы к возникшему поселку.

Совсем не было, не жила зелень. Стыли неподвижными холмами вымершие и одетые в земляной, ледяной покров исчезнувшие доисторические животные.

Кто-то скажет. Произнесет из полумглы:

– Грустно на севере.

– Почему?

– Здесь много людей погибало.

– И на юге тоже погибало.

– Здесь другое. Я недавно перед отъездом книжку прочла. Там обо всем рассказано. Я вам потом обьясню – почему так грустно. На юге люди после смерти превращались, превращаются в червей, а на севере, после смерти, люди одеваются в вечность, застывают во льды, как корабли, которые никогда не растают.

Прибыть в следующий населенный пункт.

– Здесь хоть какая-то растительность есть. Там совсем не было.

Появляется пограничный наряд.

– Проверка документов. Погранзона.

– Хорошо жить. Там – откуда мы уехали, – нас охраняет милиция, здесь – пограничники. Там – от хулиганов, здесь – от шпионов.

И сразу понять, увидеть – границу, предел, стенку из льда.

И быть при ветрах, при настоенных ожиданиях. Сквозь сердце проходит Великий Северный морской путь. Флагман выровнен, выровнено и сердце. Равняется на путеводную звезду, которая преобладает, а живет вне пределов зрения. Зрение не фиксируется по путеводной звезде, на путеводную звезду. Живет в других измерениях, чем просто человеческий , звериный, птичий глаз.

И женщина вспомнит, почему север вызывает грусть. К ней придут любимые люди, полярные исследователи, которые погибли здесь: Русанов, Рузвельт Франклин, Роберт Скотт, Джордж де-Лонг.

Происходить от печали. Нарастут холмы и синие плесы.

Быть простым человеком, великодушным и величавым – и поэтому понимать душу необъятного, бесконечного на пространства Севера, Великого Северного пути. Полярные исследователи были простыми, великодушными, величавыми людьми – и поэтому понимали душу Севера, которая их и погубила. Завлекла, чтобы полярные исследователи расстаяли во льдах. **Кого любят – не отпускают. "Я тебя утоплю, утоплю, утоплю. Утоплю, потому что безумно люблю'', – говорит волна. Погружая свой череп в бездонные очи.**

"Пролив Дмитрия Лаптева, мыс Челюскина, кряж Прончищева, берег Марии Прончищевой...

В плавание с Прончищевым отправилась его жена Мария, первая в

мире полярная исследовательница. Неизвестно даже ее отчество, знаем мы только дату ее смерти. Она пережила мужа своего на две недели. Не сохранилось ни одного их портрета. Нет даже описания внешности этих мужественных людей. Никаких мемуаров или писем. Подлинные материалы экспедиции, по предположению, исследователей, погибли при пожаре в Тобольске в 1788 году.

..Могила Прончищевых сохранилась в Устье-Оленьке до сих пор. В 1875 году ее нашел геолог А.Л. Чекановский. В 1893 году Э. Толль восстановил крест на могиле. В 1921 году экспедиция гидрографа Н.И. Евгенова восстановила разрушившуюся могилу Прончищевых''.

М. Артамонов, ст. инженер-метеоролог. Районная газета, выходящая в Тикси – "Маяк Арктики'', июнь 1982 года.

Просидеть в тиксинской библиотеке на ветру, вблизи дробящего глаза солнца. Просидеть в библиотеке пока нет вертолета. Который отправит, отлетит, отвезет геологическую партию Романа Осиповича Галабалы поближе к Оленекскому заливу, ближе к островам Дуная, к Сагастыру, к Тит- Ары, к Таймылыру. Поближе к Юрюнг-Хая.

"Бухта Горелая – ныне бухта Тикси. Тикси – значит встреча /с якутского/. Д. Лаптев – первый, кто нанес на карту район бухты Тикси.

... Подполковник гидрографической партии А.Неелов... Работал в дельте Лены в 1912 году и выполнил съемку полуострова Быковский''.

Жить севером и от севера при прослушивании талых рек. От великих пространств, от солнечного света, но насквозь продувает от океана. А океан во льдах, в торосах, в снегах на сопках, на бухтах, на свалках, на крышах воинских частей. Продувает от темноты маленьких окон в древних бараках, чтобы сохранить хоть часть тепла. Идет от сырости, от утробы, от матери сырой земли. От огромных показушных окнах в гостиницах и малых окошках в домах истинных аборигенов, роящихся по помойкам. От Тикси, от воинской части протянута огромная свалка из пищевых нагромождений и мануфактуры.

Сколько потом не скитаться по Арктике – греку Костакису – свалки равной Тикси – не видеть нигде и никогда. За десятки лет ничего не вывозилось, все складывалось, свозилось. И протаивало вниз, в мерзлоту, в небеса.

И вот еще о чем вспомнить, помнить всегда: умирают товарищи – геологи, пастухи – оленеводы, рыбаки. Этих людей нет. А Север, а

солнечный припек на талых ручьях, а бухты попрежнему живут как будто до них ничего, никого не было.

От этого какое-то глухое замедленное рождение – то ли ропота, то ли смирения. Но все равно оставаться от надежды, быть от надежды; все реки, все горы, все снега, все дожди помнят о всех людях, о всех зверушках, о всех птицах, о всех облаках, веснах , которые пролетали. Пробегали, застаивались здесь. Каждый предмет, который кажется постоянным, неподвижным – помнит о текучем состоянии вещей, предметов, дорог. Кто-то должен стоять, а кто-то приближаться, чтобы запомнить, чтобы знать. Текучее не живет от текучего; закон противоположностей, чтобы жило, существовало действие на земле.

Из тех трех только геологов с которыми грек Костакис начинал геологию от тысяча девятьсот шестьдесят пятого года на Камчатке в живых остался спустя почти тридцать лет только рыжеусый техник Берендеев, который мог удивительно кучно расстреливать белых куропаток на снегу раннего камчатского лета.

Погиб Рофеев Кирилл. В тысяча девятьсот шестьдесят пятом году ему было двадцать восемь лет. Погиб на реке Оке, затонул, когда ему было тридцать два года. Рыжий, почти блондин, викинг. Прямоспин. Высокомерен. Презрителен. Нес в себе будущих вундеркиндов.

Познакомились в Москве, в подвале геологическом. Жена Кирилла-цыганка умопомрачительной красоты. Циркачка. Огромные косы до пят. Всегда в узле. Огромные глаза могли растворить мужской алмаз, если он был в его сердце: пленить.

В поле, на Камчатке, Кирилл жил в одной палатке с греком.

И все ночи напролет читал "Махабхарату''. Древнеиндийский эпос за несколько тысячелетий до нашей эры. Мифическая энциклопедия подземных, надземных миров. Фраза, поле назидания грядущему и прошлому.

Книгу доселе неизвестную греку.

От свечи мешало спать.

Грек разозлился и хотя был рабочим в геологии, а Кирилл начальник отряда – грек бросил вундеркинда на лопатки.

Из уст Кирилла постоянно шел рассказ о том, что он – перед экспедицией – отнял невинность у семи девушек. И гордился этим: "Я взял на себя труд ввести этих несовершеннолетних в жизнь''.

Кирилл долго работал на Кубе. Привез оттуда машину легковушку.

И все сидение легковушки было подернуто шкурами леопарда, или под леопарда был цвет материи.

Обещался познакомить грека Костакиса с писателем Иваном Ефремовым: " Я живу на одной лесничной площадке с ним. Он и я палеонтологи. Ходим друг другу в гости. Я покажу ему твои тексты. Посмотрим, что он скажет про твою нумизматику письма, про твои пророчества в поэзию, прозу, в дебри лесных духов".

Когда грек узнал, что Кирилл погиб, пропал, что его тело нашли только весной, когда вскрылись реки, грек очень затосковал по Кириллу. Потому что понял, что Кирилл был дан греку заранее на пути пока не понятном, рассчитанным на перспективу. И грек двигался к этой перспективе, рос в познании к "Махабхарате'', но не успел достичь того, кто мог бы стать лоцманом. Хотя при огромном внутреннем раздражении и сопротивлении друг другу. Особенно невыносимо было для грека – отношение Кирилла к непорочной девической юности.

Второй геолог – друг – Владимиров Александр Иванович – умер в Москве от обширного инфаркта, когда ему было пятьдесят девять лет. Усатый на маленьком птичье узком лице, усатый длинно и рыже, чисто по славянски. Абсолютно не высокомерен. Первый вступился за грека, когда техники начали наседать за то, что грек оставляет на мисках рыжие жирные пятна при помывке посуды после еды в горных ручьях. Объяснил греку, что посуду нужно мыть теплой, а не холодной водой. Научил удлинять шаг при ходьбе на болотах. Научил спрямлять геологические маршруты по карте. Научил не брать шлихи там, где они слишком завалены буреломом. Сломал сердце в Афганистане, куда поехал на заработки. В последний раз работал с греком в тысяча девятьсот семьдесят пятом году на Колыме, на реке Ганюхе откуда и случился первый инфаркт. Река поднялась за два часа внезапно на два метра, залила затопила лагерь. В лагере не было никого. И пришлось таскать, переносить все имущество партии на возвышенности всю ночь. Все продукты, рацию, спальные принадлежности, мешки с сахаром, с крупой, с консервами. И климат заносчивый, в низине, гнилостный, при сплошном комаре и гнусе.

Ушли два друга. И теперь спустя десятилетия – от смерти до смерти – грек Костакис – последний из них, последняя существующая связь между ушедшими и Севером, откуда они начинали, когда их счастье, счастье этих людей присутствовало только при обширных

пространствах, когда из глубины темнеющей долины может пробежать, пробежал олень.

И чувствовать невероятную от вновь открытого пространства свободу. Когда никто не преследует, не давит из прошлого, из сволочных начальников партии, которые считали рабочих не за людей, а за мразь, которую вечно нужно грузить породой жидко плывущей из пробников за спину. А от холма до ручья, где нужно мыть шлихи три километра. И таких пробежек не менее двадцати в день. Набиралось шестьдесят километров в день по болотам, по кочке, с тридцатью килограммами на плечах от каждого прохода. И еще руки в ледяной воде весь день, потому что при промывке шлихов резиновые перчатки не выдавались. И после этого руки болят, краснеют, ревматизируют на всю жизнь.

Явился бич Вова, казанский татарин. Бритый, приглаженный. Ухожен. Разлегся на спальном своем мешке в бараке, в балке, в вагончике из угла которго проскрипывает печь – буржуйка.

Еще не вывезли в поле. В тундру. И поэтому – балок, вагончик. Еще на базе партии, на базе экспедиции. Еще вблизи аэропорта Тикси, откуда и куда все время проходят, пролетают, взвинчивают ввысь самолеты, вертолеты. Еще грузить скарб партии, скарб экспедиции, прибывающий из Красноярска.

– О-о, –закричать на бича, рабочего геологической партии, – теперь к тебе подойдет любая офицерская жена из этого воинского городка, из поселка Тикси.

– И я ей скажу: "Кто тебя обнимает – такую дуру''! И она мне ответит:'' Такой же как ты дурак, но не с таким карманом.''

– Это мне очень нравится – такой ответ умудренного жизнью бича. А что ты мне скажешь на то, что мне сказали в отделе кадров, что у нас, у рабочих, у бдл – будет сдельщина?

– Какой там оклад!? Выводиловка. Четыре ямы в плывуне выкопали – пишем шесть. И никто не проверит никогда. Не успеет. Покапали щурф в мерзлоте – через три часа все заплыло.

– **Приятно иметь дело со знающим человеком. Это все равно что: "Солнце спряталось за тучи – собрались бичи у кучу. Солнце спряталось за ели – а бичи еще не ели. Сытый бич смирней овцы. Голодный бич – опасней тигры..''**

И, конечно, приятнее всего и долгожданнее всего – освободиться от работы на базе партии, от погрузки скарба на самолеты – и смыться

в тундру, в хлябь, в праваливающиеся сапоги – болотники, чтобы потом ходить весь вечер, всю белую полярную ночь мокрым, – потому что негде присесть хотя бы для того, чтобы выжать шерстяные портянки. И еще интересно: сверху, с небес смотреть легко. Как красиво, как все гладко, как все синеюще безоблачно. А когда идти по тундре – от первых метров от дороги – уже обвалы, провалы, дохлые кошки, коты, гниющие собаки, гниющие корпуса телегреек, штанов, бочек, барахла. И каждую вещь подбирать, просматривать, обивать ногу о сапог болотный. Идти по тундре – обогащаться. Потому что каждый кто приезжает в тундру, в геологию рабочим – есть нищий. И рабочий партии, и инженер, и техник, и вездеходчик.

Идти по тундре, по желтеющей прошлогодней траве. Было мокро. Природа, ручьи текли – протекали. Было солнечно, но без теплушки идти было нельзя.

Случались резко-континентальные перепады температуры, и можно было из одной минуты то париться в маечке, то замерзать в теплушке, в телегрейке.

Идти к острову, где покоится памятник, пристанище мореплавателя. До пристанища было несколько километров, но плыл лед. Океан вблизи полуострова Быковский, вблизи Неелова залива жил под слоем льда, ждал волн и темнел снизу от весны. Пролив как будто представлял собой мощное человеческое горло, – вывернутое наизнанку.

Было жить от поющих пространств, и неизвестно где они соединились. Пространства какими бы великими они не представлялись – все равно двигались к единому целому. Пространства были загадочными. Потому что не знали, где они встретятся.

Жило от чудесных свершений. Пролив как и человеческое горло мог углубляться на весну, на лето, на осень. Неизвестно какие провалы, пещеры могла намыть в середину пространства, как в середину залива, предположим, осень. Так следить, следить. И глаз, и пролив приподнимется к Пупку Ляльки, к Грудям Вероники.

Так обозначат народные приметы непостижимые таинства.

Человека – странника пропитает тундра. И он увидит трех морских чаек. Они будут сидеть на траве и что-то клевать, рвать, долбать. К ним будет резко снижаться птица. Тоже чайка. Будет горестный вздох и чайки будут взлетать. Улетят.

Единственная птица будет их, чаек, атаковать.

Человек подойдет поближе и увидит мелкие маленькие перья. Увидит растерзанное тельце маленькой чайки, чайчонка. Тело будет еще теплым. Особенно будет теплеть головка.

И уже идти, идти, оборачиваться и снова видеть чайку-мать над грудой, над останками убиенного детеныша.

И представить себе сколько крови детенышей пролилось в этой тундре за год, за десятилетия, за тысячелетия. Застать случайно исчезновение, и содрогнуться от безжалостной череды времен.

Выйти на берег Северного ледовитого океана, на берег Неелова залива.

На берегу проживут очищенные от коры белые бревна. Проживут сгустки травы, сгустки обнаженной земли, прикрытые бензинной пленкой. Проживет чад, смешанный с талыми ручьями. Проживет чистое синее небо, в воде, и теплый пар.

Впереди – от запрокинутого горла – проживет, протянется маяк. Небо будет разделено на полосы, но к горизонту будет светлеть. И узкие лезвия начнут как будто отгораживать себя от протяженной волны. Выстроенной , выстеленной за годы, столетия, и каждая прожитая минута прибавляла длины, смысла, величия, сосредоточенности.

Обнаружит себя шалаш на берегу океана. Обнаружат себя и корпусы океанских кораблей, стиснутые льдами в глубине бухты.

Медленно вплывут в зрение холмы. Разглаженные к ветрам.

Высокой грудной клеткой, просвечивающей, поднимался состав земли, где жил памятник исследователю Дежневу. Жила молитва. Приближенная к святым мощам, когда руки – из других времен – сложены к мольбе и образуют купол. Когда к человеку приближена благодать, но ему не дано видеть себя со стороны.

Перед светлеющим оком – перед океаном, –которое есть пастбище жизни, как говорили древние греки – при окончании земной поверхности, сухой – скопились брошенные ржавые железные бочки, брошенные лодки, катера, бревна, дорога из щебенки, расползающие противогазы и мусорные свалки.

Шум машин, наполненных бензиновым чадом, океан не впитывает. Океан впитывает в данную минуту – щебет птиц, гул раннего лета, моржей и проплывающих в невидимой дали – китов. Вообще на берегу океана так близко жить и состоять мечте.

Вообще на дорогах океана, на берегах морей излишни большие и малые города. Излишни поселки, излишня урбанизация. Океан – белое безмолвие и вечное молчание времен – все равно изживут оголтелое нашествие цивилизации.

На берегах океанов, на берегах морей, на берегу и в глубине жизни может существовать и просуществовать только патриархальная жизнь. Проживет только тот быт, которым жили все предыдущие тысячелетия. Проживет быт оленеводов – пастухов, охотников. Проживет быт рыбаков, но только из утлых суденышек. Хотя в этом тоже нет правды – убивать младшие и слабые существа. И как было замечено американским ученым, – защитником китов, что звери и птицы наши не младшие братья и сестры, наши не бедные родственники, а другие народы, которые пришли из времени и во время, и стали такими же жертвами, "пленниками земных великолепий и земных страданий''.

Всю суть отношений дает нам, проявляет только океан – морской или небесный. Небесный нам еще более недоступен. И чем более входить в глубины океана – тем более непонятна роль человека в этой среде обитания. Какую помощь человек окажет океану – морскому или небесному? Или человек думает, что Вселенная создана для того, чтобы удовлетворять потребностям человеческим?! Вселенная проплывает, но для каких глубин? Каких сущностей? И птица поет для каких гармоний? Ведь задача не только в продолжении рода. Задача в том, чтобы от некого огромного холма, гряды, плато скапливалось все сущее. Что есть в прошлом, в настоящем и будущем. И это сущее как некий гиганский мозг и держит все в мире в равновесии и в единственности проблем и задач. Та суть живет за пределом вещей, как некая тайна, которая проявляет интерес, поддерживает. И одна из попыток этого сущего – приблизить к человеческому, птичьему, животному глазу, чтобы почувствовать тайное течение времен. Для чего они? А сущее продолжает намываться, намывать холм.

Присутствовать при городских, при поселковых, при сельских свалках. Без них не обходится, не обходиться ни одной геологической экспедиции. На свалках собирать куски железа, мешки, сапоги, лопаты, молотки, запчасти для вездеходов, портянки совершенно не изношенные, а выброшенные из воинских складов по происшествии лет.

Потом все это сортировать, мыть, отмывать, приводить к глянцу.

Тащить со свалок ведра, миски, ложки. Развозить по отрядам. Отряды, составленные из геологов, рабочих, техников, поваров – живут в глубине гор, в глубине тундры, в глубине тайги, вблизи побережий, вблизи рек, проток. Оттуда всегда дымятся костры. Люди там греют руки, лица. Тела их всегда пропитнаны дымом, буреломом, травой. Иногда в глубине лесов, в глубину лесов погружена палатка; внутри горячо, до красна пульсирует железная печь, завалена камнями. Камни от печки раскалены, на камни люди льют воду. Становится жарко. Люди обнажены, с них стекает пот. Тело дышит, открываются поры, и дым таежных костров, дым тундровых костров улетучивается, тает. Но люди не могут жить без костров, без огня. Опять жить от тепла. Который не может быть, состоять только из белого цвета, состава. Жить от ветров, как от застав. От начал, от пограничной черты.

В глубине оврагов будет тепло. От глыб льда будет стекать вода, и глыбы льда будут утончаться. Проживет счастливая тишина, и в далеких горах кругами горизонтальными растает, потает снег. От глубины засветятся зрачки как факелы. Все-таки зрение проседать не будет, и подножия холмов не просядут. Подножия холмов будут держаться, стоять на острие зрения. От него и будут составлены.

Долина, насыщенная свалками, и чистая долина будет спешить, влажнеть.

Будет весело у начала весны, у таяния снегов.

От середины грудной клетки протечет река – мутная, прозрачная, в цветах. Пробегут зайцы, и начнутся отроги, протоки. Там будет жить стланник, мох, спрячутся зверушки. Будет легко дышать, быстрее пробежит кровь, жилы пропульсируют, насыщены весной. От снега их будет спокойно, неподвижно, и как будто копить силы.

Испытывать счастье только на берегу грез, на берегу северных рек, речек. Среди тающих снегов, брошенных железных бочек, которые чаще всего говорят о запустении и покое. Жить в окружении тайны, когда внутри холодит река, а по краям – вытянутой линией греет сердце. Начнет проходить, протекать мох, трава, залив. Будет холодно, по берегам обнаружит себя лед. Взлетят утки и прорежутся бессчисленные пространства, составленные из будущих одиночеств на берегу моря Лаптевых, на берегах Северного Ледовитого океана. Обнаружит себя множество плавника, выбеленного прибоем, рядом с брошенным чумом. Обнаружит себя плавник рядом с брошенным шумом. А у шума –

форма дыма и форма жердей, составленных из лиственницы.

Кто-то подстрельнет уток, вытащит рыбу, а руки заледенеют, приблизятся к черной кружке алюминиевой, в которой будет греться чай. Все будет выстелено белыми покатыми досками как костями вымерших животных, вымерших огромных птиц.

Убитая чайка проплывет по речке вверх животом, который будет белеть.

Обнаружатся песчаные дюны, и рядом скелет кита. Он будет наполовину занесен песком. Будет иметь вид перевернутой огромной шхуны. На кита можно будет натянуть сверху брезент и жить внутри.

Ветер будут сереть, становиться серым, пасмурным и зловещим.

Появится рыбак – чукча и положит на ладонь красную рыбу. Руки эту рыбу будут с трудом выдерживать, удерживать.

Начать от суши, и все более и более погружаться в море. И по мере погружения в море нарастать страху. И даже в неясности, до какого уровня может нарастать страх? Где этот предел и что он собой представляет? Какое имеет подобие страх, если придать ему материальную форму? И как будет считаться, что особенно страшно среди безмолвных глубин, холодных мрачных пещер, гротов, сверху проплывут, проплывают айсберги. И рядом голубой кит, кит-касатка. Хотя китам от холода не существовать. Им существовать от теплых течений. И как две лодчонки – из яви и грезы. Балансировать между ними головой кролика. С приплясывающим торсом кентавра.

Холмы в снегу окружены водой как факелы.

По форме расстаявшего снега, от примет снега в горах, в долинах, от холмов – судить и соотносить с формой и подобием существ, населяющих инопланетную цивилизацию, от форм расстаявшего снега судить о внеземных цивилизациях. Об этом удобно думать и видеть с высоты. Из набегающих туч смотреть на землю и видеть – на снегу, из снега сотканы черты гигантской ящерицы, гигантской лисицы, гигантского волка. С высоты видеть линии гипертрофированные. Ибо, возможно, в сущности, в составе земли было преуменьшать, преуменьшение.

Жить при и от кардинальской мантии.

Появится к зрению бревенчатый дом, занесен снегом, в снегу. Будет,

явится дом с плоской крышей. Крыша прикрыта, утрамбована землей, торфом, проросшим мхом.

Из огромного дома, из комнат отапливается только одна. Там живет старик темный, худой, с продолговатыми чертами лица.

Старик поднимает со снега, который лежит в комнате – тушу оленя, соберет в мешок. Отвезет на лодке, по реке Оленек – сестре. Сестра работает далеко – в поселке – медсестрой.

Старик живет в доме один месяцами, сторожит избу. В избе соль, сахар. Это колхозный дом. Сюда в сентябре – октябре прилетает бригада охотников – бить диких оленей. Бригада приезжает осенью, когда уже начинаются, начались заморозки. Тогда мясо долго не портится: замерзает.

Тем более от Северного Ледовитого океана, от бухты Нордвика, от Анабарского залива, от Земли Франца Иосифа дуют сильнейшие, обжигающие на мороз ветра.

Старик уезжает на несколько дней. Оставляет дома, при дворе полуслепую старую собаку-лайку. Собака будет ласковой, рыжей, при черной спине. Чернота будет протянута от позвоночника и вдоль позвоночника. Собака будет гладкой; и ребер, и ребра прощупываться не будут.

Старик – эвэн оставит большой дом открытым настежь для новых людей, приезжих-геологов.

Приезжие поселяться в доме. И будут здесь жить очень долго.

Старик оставит приезжим ружье. И они будут иногда убивать оленей. Олени будут непуганые, будут все белого цвета. И будут переходить из лощины в лощину.

Внизу будет огромная речка. И будет одиноко как на остывший космос в котором каждый сантиметр – это как миллион световых лет – так непостижимо, недоступно, загадочно, и все пересыпано на желтый без перерыва свет, цвет. Составлено как из былинок, а протянуто как единое полотно, как желтеющий мрамор, застывший в накат, в волну.

На свете будет уютно от редкого солнца. Протянут себя огромные льды и далекие острова. Будет загадочно от пространств по которым проскользнут как пролетят белые травоядные звери, животные. Будет легко продышать от холмов.

Встретятся очертания снегов, но и они пропадут. Их рассечет время

и зрение. Снега, очертания проскользнут в глаза, за глаза, как в некий загадочный материк, в некую загадочную Вселенную, и уйдут в нее. В эту Вселенную уйдут необъятные равнины, склоны земли. Жизнь пропитается, дни будут пропитаны травами, небом, деревьями, вмерзшими в лед.

Пронестись, возникнуть видениями о детстве, о юности, о черешневых садах, о весне, о Гаграх.

Покажется возле травы, в глубине долины скелет огромной рыбы. Голова много – массивная будет преобладать, владеть над остальным туловищем, корпусом. Будет владеть остальным корпусом.

28.06.82 года.

ОЛЕНЕКСКИЙ ЗАЛИВ

Открываться каким морям, жить каким рекам! Мощно будет затянута вся грудная клетка синими айсбергами. Даже дно будет задевать мохнато-жестко как щупальцами. Будут пропахивать, проплывать как хрящем, как бивнем, как плугом. Можно будет лежать или ходить еще долго пока прощупываются, дадут себя прощупать подводные города.Заброшены, затянуты песком, льдом подводным по истечению множества лет. Чуть приподнимается голова и обнаружит себя у красного цвета; красный цвет будет сосредоточен в глубине залива, пролива. Уже засмеркается и будет видно пристально то, что ищет зрение уже бесконечное количество времен. Красному цвету будет узко, красный цвет будет сгущаться пока не превратится в точку, из которой живет магический импульс на прошлое, на будущее, на настоящее.

Вперед протечет солнечная долина. Она будет тоже узкая, но шире, чем магическая точка от которой начинает сбываться мечта. Солнечная долина перельет себя в конус, – и канет.

Из этого окончания, из этого заостренного пространства возникнет олень. Он простоит на опушке леса желтовато-краснеющего. Будет чуть зябко. И женщина вложит свою ладонь в ладонь мужчины чуть жестковатую от постоянного плавания среди льдов на байдаре, на какке.

Лежать и стонать на земле от сладостного пения птиц. От того, что в запоздалое лето, в запоздавшем лете оживали ручьи, сходили льды и уплывали в океан. На свете желтело и внезапно искрилось серебром. С Севера всегда сквозило и тепло не успевало сосредотачиваться в равнине, если равнина не была скрыта за грядкой холмов непродуваемых, как в склеп, как в шлем, замкнуто как в противогаз, в скафадр.

Опять шли и приближались олени. Они возникали, возникли как всегда, внезапно, и были ровны и строги; и на одинаковом расстояни друг от друга.

Впереди была избушка геологов и охотников, – откуда этих оленей убивали из карабинов. Геологи били оленей, чтобы прокормить себя, охотники стреляли, чтобы сдать определенное количество мяса государству. Олени все были здесь небольшого росточка и белые.

Из охотников самым ушлым был молодой мужчина. У него не было передних зубов. Они догнивали, и виднелись только десны. Молодой охотник попадал оленям только в ухо. От этого удара, выстрела выпадал противоположный от выстрела глаз, и дробился череп. После выстрела, когда к оленю подходили – голова оленя оказывались мягкой-мягкой как вата, как студень.

Далеко от избы проделывать, возводить из плавника туалет для геологов. Земля, мерзлота плывет, плывут из-под травы. Туалет высится над тундрой. Экскременты расплываются по влажнеющей траве от плывущего снега. Чтобы пройти в туалет – нужно одевать болотные сапоги. Гуляют экскрементные паруса из газет. От холодов экскременты врастают в конус. За зиму конус вырастает до двух метров. И его по весне приходится раскалывать ломиком, как гранит, как мрамор.

От поселков, от селений для этих целей используются бензиновые бочки, которых здесь множество от доставленных самолетных рейсов. Самолетных, вертолетных рейсов – тысячи. И все скапливаются, скапливаются ржавеющие архипелаги, заплодившие Север на товарняки, на движущееся, на скользящее, на уносимое ветрами железное пространство. И от Таймыра, и от поселков, и от Певека – наполняющиеся бочки экскрементами цеплять тракторами, и увозить, отволакивать, отбуксировать дальше в тундру, на километры, и там

бросать на обогащение, на удобрение, на переработку. И становиться прибежищем чаек. Россомах, песцов, волков, полярных сов.

Каких только убийц, пропойц, преступников не вербует на полевые работы геологическая экспедиция! Из-под каких только магазинов рабочих не подбирают, когда начинает гореть план, и людей не хватает на копанье шурфов, канав.

И весь этот сброд убийц заполняет север, заполняет тундру, тайгу заполняет летние степи, чтобы спастись, спасаться, чтобы нажиться, чтобы убить, убивать, кромсать. И все тащат, тащат, из Севера, из охотничьих избушек, где спасаются от холодов охотники, рыбаки. Местные жители. Приезжие убийцы раздевают Север догола. И бивень, и мамонт, и шкуры, и золото, и песца, и соболя, и драгоценные металлы, и хрусталь горный грузят в рюкзаки, в ящики, в спецотправления, которые не должны осматриваться милицией в аэропортах. Насыщаются добычей как пираты, как Чекатилы. И все подстраиваются к венам Севера, к венам сердца, и все сосут, сосут в рот свои же испражнения, экскременты, пропивают свою мочу как падаль, как исцеление. Прокапывают трупы, и прожирают этих червей, насыщаясь гноем.

Прожрали как вурдалаки города – небоскребы, и теперь прожирают Северные сияния. Насытили дырами Вселенную, чтобы она просвистела, продудела, чтобы стала как сифонная яма, сифилисная с прожженными ноздрями.

Отстрел оленей можно! А отстрел вурдалаков нельзя! Организация Объединенных животных. Объединенных на вампиризм. Прожевывать гной и выплевывать дорогу на белизну. И снова лапать, и принимать камни за сиськи.

"...Скоро кончится срок приговора. Распрощаюсь с проклятой тайгой. И на поезде в мягком вагоне я приеду, Светлана, домой. Воровать я забуду на время, чтоб с тобою, Светлана, пожить. Насладиться твоей красотою и Колымскую жизнь позабыть..''

Отойти от утр, от общаги, от общей избы, бревенчатой избы. Выпросить "собачник'', "мухтарку'' – одноместную палатку дырявую, и устроиться на тишину, в тишине на холме, продуваемого зверскими ветрами. Ветра продувают палатку насквозь. Поэтому загородить

палатку от ветров стеной из камня.

Знать расписание завтрака, обеда, ужина. И ходить к сроку. Становиться самому дежурным по кухне и тарабанить день. Собирать дрова, плавник, топить. Дрова собирать вдоль реки мощной – Оленек. Не видно с того берега. И этот берег не виден.

В избе, пока не начались работы по территории, – огромный прямоугольник – откуда плящут и кухня, и столовая, и раскладушки с рабочими, инженерами, дамами, техниками, и игра в шашки, в шахматы, в карты. И сутки напролет – разговор, разговор, разговор. Поэтому только и спасаться на территорию, на траву, на лощины, на птиц, на ветра, на облака, на слежение вод, протекающих сквозь льды.

Начаться от приплода комара, но сильный ветер сдувает.

Уже начат выход в место работ – поблизости. Начато шлихование, начата работа на штекере. Когда таскать с собой лотки. Таскать с собой пробники – брезентовые десятикилограммовые мешки. Набирать в них породу. И таскать к руслу реки. Погружать камни, глину, песок в рамки деревянные, многослойные, стиснутые в квадрат. Трясти эти драги ногами. Ноги в сапогах. И на этот гравер, на эту глину, на этот песок лить и лить воду. Воду таскать ведрами из ручья. И так промывать несколько слоев металлической сетки, утончающиеся на ячейку. Потом расходиться на самую нижнюю сетку – ячейку, и мыть этот песок в лотках – на золото, на алмаз, на кемберлитовую трубку. На возможное месторождение. И все эти шлихи потом уйдут в химлаборатории на анализ.

Сбиваться в группы, в стаи, в пары, но как правило, в отрядах, в партии одной – друг у друга ничего не воровать, – сколько бы рабочий, техник, инженер не отсидел на нарах. Да и каждому жителю данной территории стараться не особенно выставлять напоказ свой состав скарба. Конечно, майку стиранную, рубашку, штаны геологические выставишь напоказ, чтобы просохнуть до утра от работы в глине. В песке, среди дохлых оленьих кишок. Дохлых голов, дохлых облезающих шкур, умерших.

С крутого берега опять оборвался и рухнул в реку кусок голубоватого льда. Жили фиорды. Ручьи. И когда не бывало ветра летали крупные

темно-коричневые шмели.

Сидеть в комнате, в доме матери зимой много лет назад. В соседнем доме, в нескольких метрах от дома матери – живет бабушка, мать отца, убитого на фронте в 1943 году под Харьковом. Отец – убит немцами – фашистами.

Я все время нахожусь у матери в доме. Мне двадцать четыре года. Идет тысяча девятьсот шестьдесят пятый год.

Бабушке – восемьдесят пятый год. К бабушке я хожу редко.

Однажды мне было сидеть зимой в доме матери, и греться у огня, от огня кирпичной печки.

Появится внезапно бабушка – высокая, горбоносая, в чепчике черном. В прошлом горничная у господ дореволюционных в городе Сочи. Латышка. Спасающаяся от туберкулеза в детстве, и увезенная тетей в теплые края.

Бабушке будет войти в дверь очень трудно. Ей будет вообще трудно ходить. В руке у бабушки будет посох, высокая палка. Этот выход во двор будет первым за последние полгода. До этого бабушка – лежачая больная.

Бабушка сядет на стул. Будет смотреть на меня, на маму, на сестру – долго-долго синими широко открытыми глазами. И даже страшно от этого немигающего глаза, взгляда. Бабушка словно вбирает нас, а мы не знаем зачем. Вбирает в океан, растворяет.

И вдруг до меня, до грека Костакиса, доходит, что бабушка с нами прощается. Словно корит: “”Зачем вы построили еще один дом? Зачем ушли от меня? Зачем не присутствуете при моей болезни, при последнем течении моей жизни, моего убегающего ручейка? Ведь в годы Великой Отечественной войны, когда мужчин взрослых не было дома, – я, моя невестка, вы – мои внуки жили вместе в одном домишке завалюхе, всегда побеленном синей известкой, – и были необыкновенно счастливы. Без нашего сообщества мы бы не выжили. Зачем, зачем на старость лет вы ушли от меня!?’’

Через полгода бабушки не станет. И так трудно, и так совестно вспомнить: “Почему, почему в самые последние годы ее жизни я не был с нею рядом? Почему моя душа уже отдалялась от нее, от ее немощного тела, немощного дыхания? Почему во мне так срабатывал, жил эгоизм во имя только собственной жизни и набегающих дней к собственному позвоночнику. Почему такое в природе немилосердие: родители нас не

бросают, а мы бросаем родителей ради собственных детей, как когда-то наши родители оставляли своих предков, оставили. Может лучше было бы вообще никуда не уезжать из большого семейства. Жить одним домом, одним уходом, и сопровождать бег поколений. Не допуская перерыва времени. Когда-то нас беспомощных внуков, невестку бабушка выкормила, вынесла из смерти. Теперь же с ней, беспомощной, мы не проводим свои дни! Может быть, так часто глядя на нас – бабушка и прожила бы дольше? Мы же обязаны жить из вампиризма: дети пьют кровь своих родителей, а потом – для равновесия родители должны для долгих лет пить кровь, черпать у своих детей. Тогда является общий круг. Тогда приходит круг Итальянского Возрождения: **“Простая, тесная иль гордая красой; цветного полога с расшитой полосой; из тополя, сосны иль дуба редкой стали, – блажен, кто может спать от всех сует вдали, в почтенной, вековой, прадедовской кровати, где предки родились и мирно отошли**..’’

Написать ощущение, а легче все равно не стало, не станет. Тайна все равно гложет, требует.

Бабушку я так и не похоронил. Приехал по телеграмме материнской: “Костакис, бабушка в тяжелом состоянии’’. Посмотрел грек на своего ангела-спасителя уже не узнающего внука. Бабушка еще была жива. И было такое редкое совпадание и лукавство мечты: четырнадцатого июня экспедиция первая в жизни грека исчезает на Камчатку, а сегодня двенадцатое июня. И грек в Гаграх. А экспедиция улетает из Москвы. Одна из первых сбывшихся целей – поездка на Север в неизведанные края, в глухие, медвежьи. И грек уже зачислен в состав экспедиции.

И мать грека, понимая всю важность пути говорит:

“Езжай, сынок в экспедицию. Бабушку ты не вернешь. Не остановишь в ее пути долгом-долгом. С тобой остается – главное память об общем пути со своим Ангелом – хранителем, твоей бабушкой – Миной Яновной Цирулис’’. Бабушка – латышка, тонко-изящная для очень духовно-трепещущего мира, который ей так и не выпал в жизни земной, на земле.

День ото дня становилось теплее в протоке, в реке. Река была широкой, синела. С берегов обрушивались льды, уплывали. Некоторые льдины были узорчаты, расцвечены солнцем. Шли тонкой прозрачной стеной и внезапно опрокидывались. Сердцу было здесь глубоко и не одиноко. Иногда поверхность реки бороздили красные лапки чаек. Сквозь

воду было не совсем прозрачно – поэтому цвет крыльев нельзя было разглядеть. Но жило от великого пространства, от единения – поэтому было соединено с облаками, дальше облаков, выше. Конкретного пространства, освещенного, от той впадины до другой – не было потому что в летние ночи конкретные пространства рассеивают, рассеивали звезды, которых не видать в полярные дни. И если было обращать внимание на землю – то берега рек в этих местах были усеяны головами чернеющих оленей.

Туловища были отрезаны, а копыта гнили очень долго в ямах, заполненных тундровой водой.

На свете было очень ровно, и покато уходили ручьи. Они прерывались остатками снегов, фигурами, подобиями непонятных существ. Могли вытянуть лапы, начать снимать когти и растаять, так и не подобравшись до горла. Горло было как водораздел.

От водораздела возник олений волос. Ожил олений волос.

От водораздела возник олений вожак, рогач.

И тот молодой охотник, который метко убивал животных и у которого были гнилые зубы – мазал всегда, когда при оленьем стаде жил, оживал вожак. Который уводил племя, свой народ прерывисто, петляющим бегом. И хотя выстрел был как хлыст – животных при вожаке уже покидало постороннее любопытство: остановиться и разглядывать как падают рядом собратья – олени, скошенные врагом – человеком.

Жить из замкнутого и в замкнутом пространстве. И поэтому располагать себя к осознанию, к прочтению чистой мысли.

Когда нет ни времени, ни жизни для развлечения и все вынужденно на необходимость.

От узкого замкнутого пространства с присутствием множества синей воды отвлекают и сосредотачивают птицы, зверушки, цветы и отроги далеких красноватых гор.

Падающая льдина охладит пальцы и рухнет в воду, в волну.

Из ледяного безмолвия должны были ожить сказки, гарпунщики на моржей, на тюленей, на китов, на лахтаков – морских зайцев. Из ледяного безмолвия должны были возникнуть легенды, события о том, что когда-то в эту бухту вплыл кит и остался.

Было жаркое лето, и обмелела вода. Изобиловать множеству острых

скал, подводных рифов. На них, как будто, лежало сердце, лежали, мучались легкие, жилы, печень. Были вечно надрезаны, – и жало уходило все глубже. Только огромная челюсть была склонена к ущелью, провисала. Но череп держал, и не давал рухнуть корпус, корпусу.

Снег давно обнажил берега на обрывах, и очень часто было остро. Жгло как от боли – воздух – как живое полотно, жгло ночь, жгло день. Ночи было больно, дню было больно. Их жгли острия скал, вонзаясь в тела.

Материальные предметы жгли текучее состояние.

Из холодного света могли ожить острые зубы ненависти.

И тогда показывалась баржа, лодки с пришлым народом. Привезенным. Брошено среди зимы в открытое пространство. Было на свете у этого брошенного народа – без топоров, без пил, без теплой одежды. Все быстро вымерзли, вымерзали. Взрослые отдавали все теплое детям. Дети могли жить от теплой одежды чуть дольше. Приходили местные люди – якуты, эскимосы, чукчи, алеуты, юкагиры, нганасаны – и забирали белых детей к себе на воспитание, забирали в свои семьи, в свои яранги. Белые дети со времен тоже становились местными; перенимали, усваивали от малых лет обычаи северных народов, способ ведения хозяйства, учились строить каяки, шить лодки из шкур, охотиться в океане, распознавать в тундре следы зверей, есть сырое мясо, теплое тюленье, мясо лахтака, мясо моржа, учились обогреваться в очень низких домах – иглу /из снежных плит/ при помощи жировых светильников.

Белые люди росли, были отдалены от белых племен, знали теперь только свой северный народ. И с тех пор стали встречаться среди местных людей европейские лица. С выпрямленными греческими, римскими, готскими носами. Встречались, жили, учились. Но в повадках, но в характере, но во взглядах уже жил, наличествовал эскимосский, чукотский, алеутский, якутский говор свет, цвет.

Вдалеке от этих стойбищ жил остров и хранил деревья в тундре, хранил деревья среди холодеющих пространств. От этого острова шло какое-то тайное согревание, согрев. Этот остров был священным. Деревья на нем не трогали, словно соотносили с молитвой.

Местные люди жили вдоль океана. Вдоль больших рек и им всегда было вдоволь топлива. И жила от этой местности заповедная зона, зона счастья. Но стало прибывать, прибыло от мощного течения,

прибыло от льдов. Сквозь глубину показались пришлые, насильственно пригнанные люди. Этот народ заставили сюда прибыть. Пристать к острову. Выдали пришлым людям топоры, пилы. И чтобы выжить, – из этой реликтовой рощи были сбиты, стесаны сараи, бараки, деревянные теплушки.

Так исчезла гармония в пространстве, исчезли оазисы, из которых пульсировал этот край. Были, исчезли заповедные звенья, исчезли площади цельные, от которых и которыми двигались и содержалась цепочки.

Обращаться к старинному другу Роману Цурцумия: "...На Севере хорошо. Только сейчас начинают таять льды, в июне. По ночам слышно как льды ползут с обрывов, падают в реку и плывут в океан. И фигуры, и ход льдин, и поднятые по линии, уродливые – искореженные, поднятые корпуса исчезающих кораблей, исчезающих ребер – напоминают доисторических огромных млекопитающих, которых уничтожило время. Может быть, как пришлый народ топорами уничтожил реликтовую рощу, чтобы выжить. Так же как подталкивающие слитки времен уничтожили ихтиозавров, чтобы выпить, чтобы выдать, чтобы выдавить из себя для дальнейшего продвижения скопившийся в венах гной. Жить так безжалостно как на гильотину, как продвижение смерти от гниющего мяса любимой женщины когда-то, любимого существа. Но для продвижения весны выдвигать, прорывать безжалостно любимое тело. Разрывать гной, чтобы туда всадить, посадить фиалку.

Рядом с рекой так плотно живут дикие олени. Переплывают широкую в льдинах реку. Продолжают старинные пути своих миграций старинных троп. На этом пути оленей бьют, бьют, а они все равно давят свою инкрустацию, пробивают все равно свой тысячелетний перламутр. И остановить эту тропу нельзя. Этим и пользуются охотники, устраиваются вдоль перешейка и стреляют часто в упор по белому подвижному пушистому телу, внутри которого живет стремительное и жаждущее счастье сердце. А все равно бить, бить, чтобы скапливать в человеке гнилостность бактерий, чтобы накапливать гной за разбитые сердца других народов четвероногих и абсолютно ничем не низших, чем человечья раса. Уебищная раса, аморфная, натренированная в концлагерях на прожирании вен своей мамы с зубами черта в остроконечных венчиках.

Я знаю очень хорошего внимательного читателя. Твое прочтение

философских старинных книг воспитало из тебя идеалиста, и у тебя хватило ума, оставаясь книжным человеком, сибаритом, – все-таки воспринять текучую философскую мысль, как свою. Поэтому ты не только поглощатель книжных знаний, но и Творец. Ты влился в подводное течение подземных рек, слился с потоком, но там есть и твоя блестка, там есть и твоя блесна – завлекаловка. И еще я люблю тебя за наше общее детство: нас видела и долго наблюдала одна и та же волна послевоенного черноморского детства.

На севере, на одиночестве как на ветру особенно явно чувствую как уходят дни моей мамы без меня, как уходят дни моих близких – без меня. Как физически больно чувствовать это уничтожение времени, и значит нашей жизни. И поэтому тысячу раз прав тот, тысячу раз право было такое время, когда люди, когда племена, когда многочисленный род – жил одним домом. Одним скарбом, одной большой семейной ложкой, как плугом. Когда всем умирать в прадедовской кровати. А не на берегах и в трюмах утлых суденышек. Однако, все равно вырываться как на стремя. Как разрывать свое собственное полотно. И идти на комара, на кита, на простреленное горло. Идти на Крузенштерна..."

На берегах проток, на берегу Северного Ледовитого океана брошенные оленьи шкуры, протянуты на километры выброшенные останки, выброшенные охотниками оленьи головы, легкие, ноги. Некоторые из глаз оленьих прикрыты, затянуты белой плеврой. Почти у всех оленей глаза закрыты: и ведомо или неведомо этим головам как годы, месяцы раскачивает их океан: то вялые, то быстрые волны.

Вдалеке просквозят белые чайки, и сядут рядом с берегом. Сядут рядом с оленьими глазами, чтобы поймать тот зрачок, который еще не проколот, не прорешетен, не прожран.

Чайки склонятся к останкам на некоторое время, продолбят еще одно темечко – и улетят. Часть местности, часть глаз, часть мировозрения, если это вытянуть в долину будет, станет подвижна; будут все время прибывать волны из глубин. Подвижная часть жизни, долины будет составляться, наставляться, питаться из и от неподвижной части местности, океана. Будет жить внутренний подводный ритм, и по истечению этой работы на поверхности океана ли, реки ли будет появляться знак, вздох, предтеча или начало нового ритма. Будут далеко разбросаны холмы. И не проплывет даже нерпа.

Расположится одинокий чум. От него пройдут шаги, ступни детей в поисках ягоды и выброшенных волнами волн. Когда остатки предыдущей волны приблизит к детям новая волна, выброшенная как на аркан, чтобы оставить серебристую рыбешку или красный песок, который расскажет о наличии вблизи этих мест алмазов. Ради чего и затеяна экспедиция, чтобы ознакомиться с неведомыми странами. Неведомые страны залягут в глаза циферблатно, как вставлены в глаза неведомые иные миры. Никогда и не представить, что так желто может быть сердцу.

Прорежет глубину залива шхуна и канет за мыс.

Из берега песчанного льдистого выявят, проявят себя доски, кости, оленьи бронхи и легкие еще красноватые. Рука, пальцы проведут по солнечному припеку, почувствуют ветер. Ветер будет холодный, резкий, порывистый. Рука, зрение, кожа почувствуют барашки от воды, на воде. Почувствуют мелкие волны – то сероватые на оттенок, то голубые – голубые. Проживут, протянут себя просторы, и видно будет, станет далеко-далеко. Приблизятся олени, но их оттонит черная птица. Видимо, коршун. Где-то поблизости окажется гнездо этой птицы, и самка или самец станут подлетать, припадать к оленям, которые смогли приблизиться к птичьему гнезду.

И такие крупные олени рядом с коршуном стремительно бежали, скрылись.

4.7.1982 г.

Протянет себя ровный ряд островов. Острова будут чуть выпуклыми, вокруг будет жить вода и сердцу будет легко продышать к небу. Живой состав организма, живая почва, рельф свободно себя почувствуют среди вечных приливов и отливов.

Отделятся от края люди в звериных шкурах, будут собирать плавник уже побелевший, сухой; будут встречаться бревна, жердочки; рыба – довольно свежая, с красными жабрами выброшена океаном, попавшая на мель.

Рыбы будут попадаться огромные. Одной рыбиной можно накормить весь поселок, стойбище.

Встретятся морские животные; ни одна часть животного не

пропадет: ни шкура, ни кости, ни лопатки, ни жир, ни жилы, ни зубы.

Старик, старухи будут разделывать добычу, а молодые на каяках уйдут в океан бить тюленей.

Будет солнечно, но холодно и ветрено. Будет желтовато среди тундры, прожелтеет трава низкая, чуть пробьется синий глазок цветка, розовый.

Придет на помощь старинное зрение о судьбе. Оно всегда выручит, когда разбросает строй белых костей по ровному столу. Сквозь узкое горло будет втекать, проходить территория; она будет разливаться, расходиться беспредельно. Превратится в форму шара, в земной шар, начнется круговорот времен. Зрение, глаза это усвоят, пропитается эта земля энергией зрения, словно внушением, что земля, что территория живет, ей не можется без воли, которая как ветер, как свет неподвластна прикосновению рук, но подвластна чарам, некоей магии, которая дает, придает любому клочку земли смысл, оттенок, цвет, интерес. Поэтому каждый клочок земли, каждый клочок неба, каждое дерево – живет из своей собственной неповторимой интонации.

Поднимается гряда холмов, поднимутся почти рифы, оживут лагуны и снова будет очутиться среди островов, желтеющих от земли и синеющих от океана. Будет сильный ветер, промозглый, а старик и старуха будут продолжать разделывать морских животных, как будто не прошло время, не кануло множество лет и все попрежнему. Быть у извечного. И как будто от недавней покинутости, недавно коснулись, а уже другое десятилетие, и лица стариков не те, и имена уже другие.

И вот это самое присутствие вечности при бесконечной смене поколений людских, птичьих, рыбьих, звериных. Изменяться даже сопкам, холмам принижаться, но быть из того же материала, состава. Вроде бы и неподвижный состав – земля, данный кусок, остров. И вроде бы подвижно человеческое ли, птичье ли тело, движется, пульсирует кровь, вены то напряжены, то расслаблены. И думать о том, что земля тоже имеет сердце, легкие, вены, ощущение то влюбленности, то ненависти. Но кто ее избранник – не узнать. Чтобы разгадать – нужно хотя бы пожить составом земли.

А пока сосредоточиться на островах, на людях из сурового климата, сосредоточиться на людях одетых в звериные – шкуры. Бредут по берегу, исчезают на байдарах; в руках-гарпун. И уже приближены к воде спина, изогнута; следом распрямлена, следует удар, и вода окрашивается

красноватой жидкостью, окрашена.

Записать, начертать местности, которые могли преобладать в округе на протяжении, от протяжения тысячи километров, верст;

Лед. холм Мойор – Бул гунныага;

Буур – Куоппуг Арыыта;

Залив Куба /лебедь – якутский/;

Пески Сис – кумах;

Улахан- крест;

Рыб. пром. Туус – Балык;

о. Дринг – Айаан-Белкейе;

Амбар Морто;

Пов. /повария/ Яков Холомоого;

Пос. Станнаах – хочо;

Протока Ангардам – Юесэ;

о. Кыска;

о. Сугуам;

о. Умнак;

о. Унлашка;

о-ва Прибылова;

ов-ва Шумагина;

1.7. 1982 г.

Промелькнуть вдалеке горам красноватым. От них будет жить, проживет синий отблеск. До гор будет загадочно через многие ледяные реки. Местным людям проплывать на байдарах. Местные люди плавать не могли, – поэтому, чтобы не затонуть привязывали себя к лодкам, к каякам, к байдарам. Погружены по пояс в байдару, сидят. В руках одно весло. Погрузить весло то в правую, то в левую от байдары сторону. Охотники одеты в водонепроницаемую одежду, сшита из кишков крупных рыб, морских животных. Вода стального цвета и спокойна у айсбергов. И весь океан держать в чаше зрения как в сосуде. Дно зрения, дно глаз во мраке, в песке, в иле, в моллюсках. Но если дно чаши приподнимает себя к берегу – то пологие края светлеют.

Может произрастать, произрасти морская капуста, водоросли; жидкими ожерельями проскользнут медузы. Можно будет пальцами прощупывать останки древних ящеров, млекопитающих. Можно будет

вплыть в состав, во внутрь, в остов белющего млекопитающего, прятать там сундук с драгоценностями. И всплыть.

Долго охотиться на оленей, превратить свое племя в Оленное племя, ходить вслед и рядом с оленями, соблюдать с ними миграции, точно соответствовать течению, ходу стад. Питаться этим жиром, эти мясом. Медленно приручать стада. И снимать свои чумы, свои яранги по мере исчезновения корма, ягеля, мха.

Через множество рек проживет старик. Ему будет девяносто лет. Старик будет крупного роста, коричневый, всегда при трубке. Будет одет в оленью шкуру.

Первая жена старика умрет. И от нее у старика детей не будет, не было. От второй жены у старика будет двое детей – мальчик и девочка. Через много лет – мужчина и женщина, проросшие из детства, из детских снегов, – в зрелость, в зрелые уже желтеющие на износ снега.

Мужчина станет охотником, будет бить оленей, сторожить их, будет ловить песцов, расставлять капканы, силки. Мужчина будет помогать отцу. Обзаведется семьей, будет жить вместе с отцом, в одной яранге.

Яранга будет состоять из двух перегородок.

Дочь же старика уедет жить в поселок, выйдет замуж, выучится на медсестру. И это будет как огромный остров, прорыв. От стада оленей – возвыситься на врача, как на шамана, предводителя. Ведуна, следующий слой крепости.

Будет преобладать тундра. Желтеть. Изредка проголубеют, пророзовеют цветы небольшого росточка. Прикрыта сама материя пухом, чтобы защитить цветок от порывистых, не прекращающихся ветров.

Берега вдоль этих рек будут крутыми, обрывистыми.

Подходить к краю судорожно, страшит бездна. Особенно, если не перестает, не перестанет ветер вот уже несколько дней, ночей. И хорошо, что не бродить в это время берегом реки. Глыбы льда длиной в несколько метров подмыты водой у основания. Человек исчезнет под этими глыбами и не успеет крикнуть. Потом кто-то скажет, что человек выдерживает ледяную воду полярной Арктики, может находиться

в воде пять минут. Через пять минут останавливается сердце. Поэтому промысловый охотник вшит, ввязан, втянут в байдару, в каяк. Туго привязан к бортам. Байдара и человек составляют в этой упряжке одно целое. Байдара переворачивается и человек оказывается вниз головой, байдара вверху – человек внизу. Но тут же профессионал охотник вывернется – и опять наверху.

Рубаха из кишков рыбы распространена по отверстию байдары. Что вода попасть в эту лодку не может. Охотник может перевернуться вместе с лодкой, но не утонуть, даже не успеет испугаться как лодка опять примет нормальное положение.

Узнать, что много тысяч лет назад жил не пролив, а сухопутный перешеек, мост. Ширина его была, составляла около полторы тысячи километров. Как единый материк жили окраины и переходили друг в друга. Вокруг жила вода, океан. Океан распространился. Уровень воды стал выше, и мост, и перешеек пропал, был затоплен. Это было из времени интенсивного таяния ледников, огромных ледовых щитов, платформ.

С тех пор разъединенным сородичам тосковать, и всегда быть обращенными зрением друг к другу. Оставаться при общности интересов, при общности судеб.

От части света будет возвышение обрывистое, крутое.

Проживет странник, мох, ягоды, беспредельная синь морей. Там будут нагружать океан, медлить его ход, ход его волн – киты. Они как будто расположат себя на подводных вулканах, на задыхающихся огромных легких, потому что людям станет трудно дышать, пока они не увидят кита убитым. Этим убитым опять можно пополнить запасы, припасы в чумах, в поселке, в племени. Натопить жир от кита, спрятать кожу, бивни; скелет употребить как строительный материал, как каркас для строительства изгородей, жилищ. Жить от снегов, от тундры, от желтеющей травы. Вечно сопровождать море в округе.

Жил один высокий мыс, который стоял над всеми наводнениями; при любых ливнях – океан, реки не могли его затопить. Шло заполнение синевой.

Началось с чума, с вигвама.

Медленно оказаться у края и кануть. Канет и поляна, и лесок, и

овраг. Вблизи не будет оленей, медленно скроются люди. И останется при себе. При своих, при вселенских интересах мыс.

8.7.1982 г. Местечко – Делкинг. От моря Лаптевых.

От сопок, от холодов, от ветров, при небольших деревьях, кустарниках желтоватых в промоинах, скрыты кустарники в ямы, в затишья, ущелья, овраги.

Появятся люди, бригада золотоискателей. Будут и молодые и пожилые.

Проживут в срубах.

Почва будет выровнена при дворе, при воротах. И строительный лес приносить от океана; собирать плавник белый, светлеющий от соленой воды, перемешан с головами выброшенных оленьих составов, оленьей требухи, бронхов, голов, рыб, скелета рыб. У всех рыб будут огромные головы, гниющие, – и корпус их будет медленно сходить на нет у хвоста.

Плавного перехода, сьужения от головы к хвосту не было – был резкий обрыв. Как будто все сопротивление, все преодоление и вся масса пути приближала к себе только голову и дробила о дни, которые предстояли, предстоят, и составляют прошлое, жизнь.

Песок на берегу океана вначале ожидания добычи-ровен; потом, когда добыча золотоносного песка, красноватого песка прошла, просела, когда выброшенные океаном туши прибило – песок почва, в этих местах проседают. От этого груза живут выбоины, ямы, там всегда влажно, и заводятся черви, букашки, роящиеся личинки.

Мужчина старательно перебирает, перебирал доски, палки. Бревна среди и вблизи океанского прибоя, прилива. Вдаль был оттянут поселок заброшенный, рассеян ветрами, от ветров, еще с остатками и запахом рыбьего жира. Еще пороги домов, хижин, чумов, окружение было пропитано этим устойчивым запахом.

И еще было, слыло напоминание о том, что если запах жилья, вкус рыб настоенный за долгие годы еще жил, – значит, поселок в недавнем прошлом – активно пульсировал.

Стоял в воде мужчина в сапогах высоких, болотных; перебирал сети. Мимо его рук проплывали льдинки, они задевали рыжие волосы. Мужчине было под пятьдесят.

До того, как попасть сюда, – он долго бродяжил, скитался, сидел.

Прожитые дни сделали его жестким, жестоким, сквозил недобрый, изподлобья взгляд.

Перед ним то и дело возникала местная женщина – небольшого росточка, вполне изящная.

Этот рыжий мужчина привел женщину в деревянный сруб, в дом, посадил на нары; нары прикрыты шкурой оленьей.

Рядом еще нары. На нарах, на кроватях сидят мужчины, товарищи. Угрюмые, заросшие, – бригада старателей.

Прибыли на Север из южных областей, из разных штатов, республик, областей; есть выходцы из Западной Украины.

Теплые ветры здесь приспущены, изжиты. Дует всегдашний сильный, постоянный ветер.

Рыжий мужчина исчезает в соседний дом. Когда он возвращается, эта женщина, которую он встретил в одной из изб, из чумов брошенного поселка, – уже лежит на других нарах, на другом ложе, обнажена. Ее обнимает другой мужчина. Тоже обнажен.

Ложе чуть прикрыто, отгорожено перегородкой из ситца. Ложе дышит жаром, вот-вот подоспеющим, поспевающим извержением.

Чувствовать, видеть извивы тел; уже удалены от земли. И между телами и землей прорастает, нарастает травка.

Начаться было из наплыва дней. Проходили как быстрые цветы под гусеницами и пропадали. Могли проникнуть в каждую ветку, если был лес. Но леса не было и сквозило дисциплированной водой сквозь прозрачную стенку. Которая могла быть утонченной, но не пропустила ни одного момента, мгновения жизненного. Проходило заполнение смыслом, лишь бы только не пустовать.

Рыжий мужчина показался прозрачно, отделился от стены бревенчатой избы, подлетел, подскочил к местной женщине распущенной, которая даже короткое время не могла подождать, и стал ее бить. Стащил с нар, оторвал от мужчины. Концы сапог рыжего мужчины стали припадать, быстро притрагиваться к телу женщины, оставлять коротко вспыхивающие вмятины, ссадины. Удары по телу накапливали синие лодочкой полюсы, конусы.

Женщина кричала. Мужчина рыжий разорвал на ней комбинацию, рейтузы, которые еще до ударов рыжего еле держались на одной ноге, были приспущены, чтобы не мешать наступлению короткого счастья,

наслаждения, короткого удара, который только что длился и которого женщина оказалась лишена.

Мужчины-старатели, которые были в избе и которые готовились к продолжению счастья, которые готовили женщину к продолжению счастья, – за женщину не вступились. Они боялись рыжего бригадира. Который десять лет просидел в тюрьме, и вынес из тюрьмы только жестокость за то, что его там, как он считал, незаслуженно унижали, предположим, за то лишали сна рано утром, когда все, лишенные свободного передвижения, шли на лесоповал. Было холодно, знобко, но согревались от быстрого шага, от работы, от недоедания, от попытки не замерзнуть. Так прошли годы и в рыжем мужчине скопился запас, сверток, узел желчи, который он должен был изжить, распространить. А это можно было изжить, излить, распространить только при выходе на волю, где можно было найти слабого, выявить в себе причины того, – почему не нравится, не импонирует слабый физически; и забивать его вечным унижением о том, чтобы слабый физически товарищ таскал, приносил ему, рыжему мужчине, – завтраки, обеды и ужины из столовой домой, к избе, где обитал рыжий.

Сейчас этот рыжий добивал женщину, которая столько раз до этого была к нему благосклонна. Благосклонна ко всей бригаде старателей. И ей, женщине, ничего не нужно было, кроме очередной кружки браги. И вот принимать как обычно десяток мужчин, кричать от содрогания, иногда от усталости, но не прервать любимого занятия.

Рыжий обычно не бунтовал, и соблюдал срок, очередность, но сегодня внутри не сработал узел обуздания неутоленной страсти.

И сегодня же случился необычный день, перечеркивающий установленные правила, потому что тот – самый слабый физически в бригаде, который всегда шестерил бригадиру, – поднялся с нар, прикрыл женщину, отодвинул рыжую громадину, и вынес жещину за порог дома. Положил вздрагивающей женщине на плечи старую телегрейку, и она ушла в свой поселок за восемнадцать километров от жилья старателей.

Прошло, пробежало стремительное время, золотистое среди желтеющих стволов. Кого-то уже не было на свете, кто-то уехал, исчез из глухомани.

Появился из какого-то поселка парень, который не был дома уже двадцать лет.

Появился в бригаде старателей.

Работал, охотился на соболя, на песца. Водил строй охотничьих

собак. Был добр и мог скармливать собакам – спутникам по долгой охоте лучшее мясо.

И прошли еще годы, и кто-то рассказал, донесла молва, что этого парня, который любил соболевать нашли в тайге убитым. Нашли того парня, который всегда защищал женщин.

Можно было подумать, что его убили в тайге, чтобы ограбить. Но соболи оказались при нем. И прекрасного образца ружье тоже оказалось при нем. Убитый парень сидел на пне.

Его обнаружили прислоненным к дереву, к лиственнице. Парень был без шапки. И затылок его был прострелен.

Поговаривали что парень – охотник был всегда на ножах с Рыжим. Никогда Рыжему не уступал. А Рыжий уже не мог, свой узел накопленной злобы, держать приспущенным. Рыжий не мог закупорить свой узел, который был как шар, и мог взорвать самого Рыжего, если не удержать клапаны, узел открытым.

Но в мире все-таки скопилась энергия, которая уничтожила этот узел.

Следственные органы смогли доказать, что убивал, убил издалека парня – охотника – именно Рыжий.

Идти от углублений, от кустарников, от трав. Будет тихо и мирно. Человека, птицу, рыбу, зверя будут просматривать бесконечные дали. Все будет заполнять ключ, родник. Уйдут льдины, останется кустарник; и убегающие олени останутся.

Старик – алеут уедет за рыбой на лодке. Старик будет знать заветные места, и никого из посторонних туда не пустит, просто не раскроет тайну, где может жить огромное количество рыбы. Старик понимал, что если он укажет постороннему, белому человеку лучшее место рыбы – через короткое время и сам очутится на голодном пайке. Белые колонизаторы, белые геологи, белые бульдозеристы, белые летчики приведут за собой шайки таких же хищников, и не оставят ни камня, ни живого места от некогда настороженного, скрытого места, скрытого материка.

Так же получилось и с избой.

Старик черный, с коричневым лицом, при маленьких глазках, при носе уточкой, при телогрейке и зеленой военной летческой рубахе оставил дом белым. Белые, пока старика не было дома, обосновались в нем прочно,

заняли спальные комнаты старика, разобрали топоры, печи, расходовали весь полуторагодовой запас патронов старика, расходовали на оленей, набили мясом холодильники старика /пустующие сараи, набитые за зиму, за осень, за весну льдом/, ели мясо дотвала. Медленно уничтожили. Поели большое стадо оленей, которое всегда кружилось вокруг дома старика. И считалось домашним. Чтобы набить себе мясо старику не нужно было уходить далеко от дома. Тем более вблизи дома старика – алеута олени чувствовали себя хоть немного, но защищенными от полярного волка, который мог наседать в отдельные годы особенно рьяно, активно. Старик иногда постреливал зимой для порядку. Постреливал на сытые белые снега. **"На Двине на Северной догорел закат. Белые, немятые там снега лежат''.** Прослушаться на перину, на шелк, на атлас. Можно лежать царем на просторах, если бы не замерзать.

Белые нарушили ритм устоявшейся жизни старика. Однажды, когда все белые спали, алеут завел лодку, и уплыл в сторону Северного Ледовитого океана. Там у него был летний дом, там жили сородичи. Там им можно рассказать о быте белых. Алеут плыл и не знал вернется ли он к белым, к тем, кто занял его дом на высоком холме так бесцеремонно. Это было от расизма белых: знать немножко про географию, знать немножко про эскадренные миноносцы, и уже по этому одному считать себе возможным презирать простого старика, заросшего, всю жизнь кутающегося в телогрейку и в шкуру, аборигена, – днями, годами которого были пропитаны эти края.

Высмеивать аборигена также подло как рассказывать анекдот про чукчу, который бьет головой о железный состав, о железный вагон – пробует мягкий вагон или плацкартный.

Холм старика был так высок, что белые чайки высматривают добычу с неба, рассматривая рыбу в реке сверху; плывут, парят наравне, на одном уровне с избой старика. Так что можно стать невидимкой, стоять на обрыве, и гладить белые крылья.

Видеть деревянные сооружения в виде частокола светло – коричневого, заграждения; видеть капкан, притянут проволокой к дереву.

Лежат крылья белой, большой птицы; прошлогодние. Корпус птицы выеден, выело время, выел хищник. Вблизи шкура оленя перебитая. Далеко разбросана белая шерсть, белый волос.

От огромного количества зубов, от хищнической походки. От хищного глаза всегда нацеленного на жертву.

От спокойного состояния воды, и от извергающегося вулкана было тяжело продышать, потому что налило горло огнем. Горло зияло, встречались корни деревьев, от них было густо, землисто, проходило сквозь них; пока горло, пока глаза не натыкались на пещеру, откуда пульсировал грот, и настаивалась голубая вода.

Начался овраг; и из узких щелей в хижинах начали заглядывать, заглядываться, запоминать изменения глаза, настороженные от внезапного выстрела, внезапного вторжения.

Прослеживать пространства занятые песцом, соболем-пушным зверем.

Плавно, как от перекатывания ветров прошли волны холодные, ледяные. Продолжали сидеть на воде птицы и продолжали дрейфовать льды. Было прозрачно от синего света. Было тихо, старинно, не было новых, пришлых, промышленных людей.

К берегам были прислонены лодки, байдары, рыболовецкие принадлежности, и никто их тайно, насильственно не увозил.

Были серого цвета дни, необыкновенно длинные, потому и запомнились. Хотя никакого действия не было. Было грустное время, было грустное времяпрепровождение на берегу бушующего океана. Происходило от раннего рассеивания, способа проживания, существования. В самой ранней среде обитания, как только очутились здесь, – кормили себя тем, что искали и находили на берегах морей, на берегах океана, что было выброшено прибоем.

Слои приходили беловатые, пенились, полоса утолщалась, росли цветы из солнечных кругов. Глубину этих полос составляла рыба крупная, ее можно было удерживать плетеными прутьями, перегородками из сушеных нитей, стебелей морской капусты.

Течение дней приносило рыболовецкие костяные крючки.

Пласты воды теперь были постоянны, изрезаны, пересечены, переплетены сосредоточенным ожиданием человека одетого в звериные шкуры.

Когда шел, моросил дождь, одежда составляла себя из высушенных, растянутых, перетянутых жилами рыбьих, звериных кишков. Под этой одеждой можно было себя видеть сухим всегда.

Вода продолжала прибывать, горы холодали, рос слой снегов.

Старик – алеут мог умереть, исчезнуть на долгое время, мог не запереть избу; и земля могла за это время отсутствия местного жителя, – подрасти, утолщиться на бугорок, на холм. На погибшие кустарники, стволы, дни, ночи.

В край вены за столь долгое отсутствие мог врасти каяк, лодка с гарпунером.

Проплывать по замерзшему проливу, заливу красноватому от заходящего солнца. Гарпунер мог отбрасывать руку назад, и целиться в корпус появившегося на поверхности моржа, тюленя. Мог гарпунить и кита, и чтобы кит не тонул, чтобы морской зверь не тонул – нужно было подвязывать к веревке, к гарпуну надутый большой пузырь. Когда раненый зверь захочет уйти на глубину, – надутый пузырь не даст исполнить спасительное намерение; и что вполне вероятно – не даст увлечь каяк с охотником за собой, в глубину.

Рана в теле кита, в теле моржа будет сильно давить и резать сердце тело, душу, сухожилия.

И кит будет двигать, стреножить только поверхность океана.

Исчезать в погоне за млекопитающим: за китом, за кашалотом, за тиранозавром.

В УТЕШЕНЬЕ ЖИВУЩИМ.

(продавленный обелиск)

Повесть

Процитировать несколько кусков о смерти, об убийствах, о подобранном на свалках хлебе – плесневелом, заскорузлым, вполне пригодным в человеческую еду, для человечьего желудка, пищеварения. Пригодны и для собачек, и для кошек, и для свиней, и для буйволов, для ишаков, для мулов, для прозябания. **"И внял я ангелов полет, и гад морских подводных ход и дольней лозы прозябанье..''**

И никогда не считать себя, человека, – что он чем-то выше, умнее кошки, собаки, енота. А только ниже. Ниже, ниже, только подлее, гадливее, неприспособленнее. Поэтому располагаться на пиру – в долине возле болот, возле и внутри впадин. А кошки, а собаки, а птицы – только на холме, только на вершине; только на дереве, только выше людского

состава.

И если это не понять, не осуществлять в жизни, при бытии – земля, небеса, состав земной, небесной коры рассыпется, самоуничтожится. И жалко будет собачек, кошек, птиц, китов, кашалотов, дельфинов, свиней, тигров, но только не людей. Потому что к гибели земной коры привели, гибель земной коры свершили только люди. Человечья подлая всеядность.

Убили двух русских женщин в глубине ущелья, в глубине своего дома двух русских пожилых женщин убили негодяи молодые, которых эти русские женщины поили и кормили. А потом отец этих молодых негодяев убил, зарезал еще одну пожилую русскую женщину у которой он хотел отнять деньги, чтобы на эти деньги устроить арестованным убийцам побег. И потом отцу-убийце скрыться в горах, в деревне, и никто его не будет искать.

А эти женщины были знаменитые: их племянник был чемпионом мира по борьбе самбо – Константин Градополов.

И убивали этих пожилых женщин – топориками по головам – молодые негодяи из Аутского района, печально знаменитого на износ, на нервно парализующую энергию разбоя.

Вот в каком мире жить, существовать, и потом еще просить о справедливости и великолепном гостеприимстве этих миров. Этих государств, проживающих в малярийном, заразном на инфекции краю.

И потом грабить, убивать по лесам, по дорогам, по курортным городам, и нигде не будет отрывать головы негодяям божья кара. Земля станет жирной от крови в этих местах. И поэтому бурая кровь, бурая почва, бурые от выпитой крови глаза.

Поймать в петлю волка – сучку вблизи человечьего жилья, потому что волк-сука украл из хлева двух поросят. Умерший волк будет томиться в бурной горной воде, холодеющей от рано выпавшего снега, и спустя несколько дней от волка будет уже выпадать шерсть, отваливаться кусками.

– А если просолить эту шерсть от самого начала, когда от волка еще шевелится горло...?

– Тогда можно спустя несколько дней растащить, расположить на стене, растянуть на гвоздях, просушить, и стеклом чуть очистить внутренню часть шкуры от жира, от жил; спать располагаться и на и под волчьей, очень теплой шкурой.

И следом заболеть, почти умирать долго и мучительно от сильного

удара в спину – огромного, озверевшего от человечьего насилия быка. Человек, – до этого убивший множество зверей и проевший, прокушавший так много звериных сердец, легких, почек, печени, звериных, собачьих, кошачьих скальпов, собачьих, рыбьих глаз. И потом еще о чем-то жалеть, просить о божьем снисхождении, о небесах.

Иметь и прозревать ударную силу века. Века – не времени, а глаза. Веко – составная часть зрения. Подблюдства. Составная часть подблюдства.

И кашлять надрывно, потому что перехвачено сердце, перехвачена мокрота реки.

И еще и уже из далеких времен соединить куски, соединить прошлое. Соединить даже испревшую ткань. Хоть цвет на золото остался.

КОЗЫРЬ Иван Михайлович. В 1901 году строил в Жоэкварском ущелье электростанцию у Принца Ольденбургского. Работал впоследствии механиком. Беглый казак с Кубани. Что-то натворил, сотворил с помещиком: поджег его дом. Прятался в Приэльбрусье. Потом оказался в Гаграх. Прожил восемьдесят шесть лет. Умер в 1972 году.

Жена Ивана Михайловича – Анна Ивановна. Работала у Принца официанткой при Принцевском дворце высоко на горе. Рядом с пристанью, откуда располагались старинный гагринский храм и римские купальни.

Анна Ивановна умерла в 1958 году в небольшом домишке рядом с морем, со старым базаром, с одноэтажным барачного типа домом рыбаков, вблизи четырех огромных пробковых дерева, кору от которых рыбаки использовали на поплавки для сетей.

Внучка Анны Михайловны – была замужем за дипломатом, побывала во многих странах. Еще от молодости приехала на свою родину в Гагры – к бабушке. Много раз приезжала. Потом внучка Анны Михайловны полюбила водочку. Связались с рыбаками – соседскими. И быстро пропала, исчезла в разложившиеся легкие, разложившиеся почки, в разложившуюся печень. Растворилась в парализованное судно, в парализованную рыбачью шхуну. А жаль. Ведь от детства, от юности, от моря гагринского была очень красивой, красивая.

Это судьба многих русских людей. Вообще людей не имеющих сильный позвоночник. Позвоночник, разломленный на куски и съеденный дьяволом. И слышно как хрустят поодиночке позвонки, позвоночки, сломленные на рельеф, на рельефе, на изумруд.

От внуков, от правнуков Ивана Михайловича и Анны Ивановны рассказывать про Принца Ольденбургского, основателя Гагринской Климатической станции:

– Подходит Принц к рабочим, спрашивает: "Ну как дела? В порядке?'' "– В порядке'', – отвечают рабочие. А сам Принц смотрит, зыркает глазом. И если видит, что плохо сделали – хрясть рабочего, рабочих тростью по спине, по плечам. И следом каждому протягивает десятку, червонец, чтобы смягчить удар. Принц был злой на работу. Работящим был, Императором Гагринской Климатической станции. Заместитель царя Российской империи Николая Второго – в Российской провинции. Во время Первой Мировой войны 1914 года моя бабушка, будучи официанткой при дворе Принца Ольденбургского – подкармливала пленных немцев, работающих на строительстве Гагринской электростанции, при возведении передового на всю Россию – хозяйства "Отрадное'', что на горе, рядом с "Фонтаном'', чуть выше памятника, в недалеком былом – брату Принца Константину. Это хозяйство богатело на быков, на коров, на буйволов, на колбасы-деликатесы, на сосиски-деликатесы, на сметану, на сливки.

А когда в Гагры ссылали революционеров, моя бабушка подкармливала и революционеров. И Принц называл мою бабушку: "Эх, революционерка''. И в этом вздохе Принца было, конечно, и сожаление и сострадание, и тепло. Принц был человеком демократических нравов, демократических порывов. И в Гаграх Принц был долго – пока сюда не явилась разбойницей Советская власть. И не переставила все места.Вообще, любая власть – подлая: она неправомерно возвышает одних и непровомерно уничтожает, убивает, опускает других, которые чаще всего умнее, благороднее тех, кто оказался у нынешнего произвола правящей кормушки.

Принц жил в Гаграх еще долго после тысяча девятьсот семьнадцатого года… Есть фотография, где Принц снят с моим дедом и племянником деда. Племянник деда был учащийся кадетского корпуса… И еще во дворе, под дождем уже почти сто лет стоит, лежит, покоится огромная ванна из легкого металла. Нержавеющая; метра два в длину ; очень глубокая, не меньше метра в высоту. И легкая, не больше двадцати пяти килограммов. И на втулке, на особом металле выгравировано: "Производство – Петрозоводск. 1901 года''. Тогда из Гагр, по Гаграм, по всем вечерам, дням, ночам, сразу после того, как из Гагр исчез, уехал, растворился в глубину океана Принц – как только пришла, приползла в Гагры Советская власть – Принцевский дворец, все Принцевские постройки начали грабить, растаскивать по углам, по собственным дворам, по подвалом, по садам. Всю утварь посудную, все картины великих художников, которые украшали Принцевский дворец, все серебро, все золото, весь мрамор, все изразцовые печи, все плиты расползлись по беднякам, по жуликам, по ворам, по чиновникам, по поварам, по псарням. Картина Веласкеса или Эль Греко висит в конюшне перед стойлом, перед пучком сена; и в эту картину великого мастера всматривается только конь, только овца, только кнур, только сифилисные глаза после исчезновения из Гагр – Основателя Гагринской Климатической станции в тысяча девятьсот двадцатом году.

Не чувствовать, не понимать скороспело засушенный плод. И никак не разобрать волну, притяжение, лунный состав перед высоко растущей горой.

Идти от тридцатого августа тысяча девятьсот девяносто третьего года:

– Каждому нужно победствовать, чтобы знать цену куску хлеба. И после холодного, зыбко-стонущего пляжа, мокрого песка хорошо разогреться сырой огромной, только что пойманной рыбой. В детстве, в юности уже в составе рыболовецкой бригады – я камбал огромных ловил, – говорит из своего каменистого двора – старый грек Дмитрий Георгиевич Пивтулиди. В прошлом и рыбак, и фотограф и экскурсовод, и садовник. – "Эх, пить будем и гулять будем. А смерть придет – помирать будем..'' Мимо моего огорода, засаженного фасолью, ходят горные коровы. Хотят подойти к фасоли, не могут. Ограда высокая… Здесь много ягоды-ожины. Я ее сушу на солнце, потом употребляю в чай, чай замешиваю с мятой и с чабрецом. Наверху-хорошее греческое кладбище. Наше греческое кладбище у села Альпийское – лучшее место земной коры; очень сухое. Здесь кости не гниют, а медленно растворяются в землю. Как перемешивается, перемешано сало с костями, с бедренной костью… Эти мои дни и сегодняшние, и завтрашние – мой труд, мое извечное копание в земле – кормилице. И утром встаю от земли и ночью встаю от земли. Между мной и землей – только дряхлый деревянный топчан под открытым небом. Поэтому свои труд никому не отдам... Недавно к соседу приехал турок из Турции.

Я у него спрашиваю:

– Ты откуда?

– Из Стамбула.

– А как раньше назывался Стамбул?

– Константинополь.

– Константинополь – по-гречески – город. Придет время и ты отдашь Константинополь грекам.

Турок согласился.

..Я много лет работал в Ткварчелах механиком, в шахтах. И поэтому знаю, – механик в Ткварчелах никого не должен бояться. Но с человека нужно требовать реально, что он может... Когда тебе тяжело передвигаться – я тебе достану лекарство, принесу. А когда будет легко – ты сам достанешь лекарство, принесешь.

Митя Пивтулиди – оригинальнейший человек, оригинальнейшая личность, живущая вблизи Собачьего хутора, - только чуть на горе – куда не приходит, не дастает комарийный заразный комар, от которого перемер почти весь Собачий хутор. От комара и от работы энкэвэдэ (НКВД) в конце двадцатых и все десятилетие тридцатых годов двадцатого века.

Именно Мите принадлежит великое на юмор и на истину крестьянско-народную определение:

– Митя, – спрашиваю я, спрашивает грек Костакис, – ты книжки читаешь?

– Читает тот – у кого не хватает, а я все знаю.

– Гениально, – кричит в восторге грек Костакис. – Этим словами, этой мудростью ты сравнялся с Кола Бруньоном, сравнялся с Ромен Ролланом – великим французским писателем, сравнялся с Ходжа Насреддином. Только ты утяжелен на античный профиль, на Анаксагора, на Эмпедокла, на прорванное горло царя Леонида... Этими словами – людей проверяешь, нужно проверять. Если человек умный он остолбенеет от этой святой юмористической правды, а если недоразвитый, он крикнет: "– А откуда здесь мудрость? Это же глупость. Разве можно обойтись без книг? Без книг мы историю знать не будем..''

Подходить к профилю, подходить к оригиналу. Подходить к огромному вместительному котлу, чернеющему на вырост, на вышину, на высоту куда помещается в полный рост человеческое тело.

И говорить об этнографии Гагр – инвалиду Великой Отечественной войны. – Владимиру Петровичу Ресненко, (старому тифлисцу, с тысяча девятьсот четырнадцатого года рождения; с конца сороковых годов двадцатого века поселившемуся в Гаграх, в Жоэкварском ущелье, рядом с бастионом полуобвалившимся декабриста и прозаика девятнацатого века Бестужева-Марлинского) человеку очень смелому, не боящемуся смерти, взрывному на эмоции – результат контузии, полученной на фронте, при обороне Керчи в 1942 году; в любых ситуациях, даже невыгодных, повторяющему свою главную формулу''. "Я говорю от имени великого русского народа'': В Владимире Петровиче Ресненко всегда жила **непреклонность**. Когда Владимиру Петровичу было уже под восемьдесят, и когда шла война Отечественная война Абхазии с Грузией, Ресненко рвался на фронт, чтобы с оружием в руках защитить Абхазию. Это о Ресненко сказал, – лучший по народности поэт СССР Александр Трифонович Твардовский:'' Но в испытаньях нашей доли была, однако, дорога та непреклонность отчей воли с какою мы на ратном поле в час горький встретили врага...''. **Твардовский – лучший поэт второй половины двадцатого века Россйского государства по государственности мышления, по масштабам мышления, по масштабам личности.** Ртом, голосом, умом Твардовского говорил весь русский, весь советский народ. "И неподкупный голос мой был эхом русского народа''.

Говорить о сороковых, для конца сороковых годов двадцатого века, говорить о Гаграх. Скажет человек с роскошной шевелюрой волос, скажет Ресненко:

– Куда делись две пушки, которые стояли у входа во дворец Принца Ольденбургского? И там были ядра. Еще о нашей древности.

Напротив гагринского горисполкома была живодерня в сороковые годы. Собак пойманных в брезентовые /очень плотная зеленая ткань/ , огромные купола-сачки затаскивали в металлические сетки – по которым пускался электрический ток. И когда собак скапливалось в достаточном количестве – пускали по этим проводам ток. Собаки скапливались в сетках, стояли прямо на оголенных проводах. Такая бессовестная картина для и в ущерб человеческому, человеческого назидания. Раньше из шкур собачьих делали нейлоновые перчатки, а сейчас собачьи шкуры выкидывают, уничтожают. Хоть в этом достигли гуманизма.

– А кто эти собачники-негодяи, занимающиеся убийством

великолепных на ум животных, наших преданных друзей? Я бы лично кто издевается над животными, кто убивает их, кто дает приказ отлавливать животных и уничтожать – самих бы уничтожал. Под небом имеют право жить весь состав растительного и животного мира. И только негодяю, негодяйским установкам дано возвышаться над тем или иным видом птиц ли, животных ли, млекапитающих ли...

– Ты прав, грек Костакис, – говорит Ресненко, – но для твоего утешения – собачники долго не живут. Они быстро от всяких болезней, от пьянки умирают. Но только жалко, что эти собачники нарастают. Нарастут непременно, потому что будут исходить приказы из горисполкомов, из администраций убивать животных. Поэтому негодяйство не прекратится никогда, не прекратится сволочная эра.

– Так хорошо помню алкашей горбатых, согнутых от собак, пойманных в брезентовые, очень плотные сачки, непроницаемые. Сколько трагедий случалось в собачьем мире, когда убивали, размазывали током собратьев, друзей, подруг, отцов, матерей этих собачек. Чумой нависает человечье лоно над теми, кто благороднее и чище их.

– И там, в начале Старогагринского парка Принца Ольденбургского , если просчитывать, идти от Дома служащих – был магазин "Автозапчасти'', – при Принце была водолечебница, и к ней шла узкоколейная конка. Ее тащили лошади. Под огромными соснами под которыми помещались, размещались жилища людские, птичьи жилища, лошадинные жилища, коровьи жилища, кроличьи существовал огромный сад с потайной жизнью детей, там дети играли в будущие города, в будущие корабли, в будущие бухты, заливы, проливы. Было как в детском зоопарке – пролистано светом, пролистано на свет внутрь, внутри плотных растений, внутри пальм, высоких трав, внутри кипарисов, внутри гладиолусов. Так плотно на влагу. От тех мест куда и где впоследствии сосредоточилась дача одного из руководителей СССР в тридцатые годы – Калинина, – был древняя лесопильня, когда бревна от вершин Гагринского хребта спускали по канатам. И там, возле "Фонтана'' были бараки, где жили рабочие – русские, турки... Читай "Челкаш'' **Максима Горького**... Корень рабочих у Принца были русские... Потом там возникла – туберкулезная больница. Там, где "Фонтан'', там, где памятник – там скотина пила воду.

В "Отрадном'', где сейчас цитрусовый совхоз – "Амцабз'' – откуда разворачивалась огромная пробковая роща, огромные заросли бамбука –

был коньячный завод. Принц наверху разводил виноградники... От Старогагринских мест, от старинной крепости, сплоченной на ветхозаветные блоки и составы вместе с человечьими и звериными костями, скелетами, и позвоночниками шли подземные коммуникации, подвалы, погребения, проходы во все углы, уголки, дыры, пещеры всех Гагринских ущелий, всех Гагринских холмов и вершин. От этих подземелий можно было затаиться на века – в гротах, в провалах откуда всегда скапливалась, накапливалась дождевая и родниковая вода – жилище. От близости моря вечного самшитового на запах прибоя, наката растворялись во мглу, в солнечный свет – семь бассейнов, вырытых Принцом в самом начале двадцатого века, до прихода революции. От этих бассейнов проросли огромные шатры каменные зонтичные, при сверхпрочной арматуре железобетонной – зонты, чтобы под этими зонтами из камня могли укрываться от дождя, прятаться от солнца – курортники из царской династии, среды, царской элиты в высшей степени аристократической, в высшей степени интеллигентной, в высшей степени начитанной , воспитанной на великой русской литературе девятнадцатого века, на античной Греции, на Гете. После Принца, при Советской власти, при руководителях района – людей не способных на культуру, на зодчество высоко- выйное – все эти бассейны из школы эпохи Возрождения были зарыты землей, а каменные зонты по образцу древней Греции были разбиты, растасканы для отхожих мест пролетариата. Чтобы потом пролетариат мог спросить: "А кто такой Гете?''. Спросить только под свою зазубрину, под свой амбициозный оскал.

Владимиру Петровичу Ресненко было умереть в две тысяча шестом году, в декабре, на девяносто третьем году жизни, и быть похороненным в Абхазии, в эстонском селении Сальме, на высоком холме среди чистой неги и далеко отброшенного на горизонты всегда светящегося моря.

Очень скорбеть об этой утрате, об этом износе стареющего человечьего тела, человечьего материала, насыщенного на высокую культуру, на реализованного маршала духа, на реализованного маршала человечьих полков, человечьих солдат.

Костакис выступил на похоронах старшего друга; выступил под шелестящий ласковый ветерок, под печаль, под непрекращающуюся перспективу:

– В Ресненко всегда жил Хемингуэй. Ресненко всегда жил "За рекой,

в тени деревьев''. В Ресненко всегда жил, как и в великом американском писателе – **"генерал внутреннего сопротивления''**. В нем всегда жил полковник Колдуэлл. В Ресненко всегда жила неплотно прикрытая дверь для входящих в высокий, высокогорный, альпийский дух. Владимир Петрович и сейчас на своем смертном одре лежит непокоренно. Он и там будет в первых рядах. Он и там будет говорить от имени – великого русского народа; говорить при непрекращающейся перестрелке рабов и работорговцев. Потому что везде видеть унижение, попытку унижения. Владимир Петрович ненавидел рабство, ненавидел пресмыкающихся перед власть имущими, ненавидел власть имущих. В нем всегда жило "восстание масс'' при огромной разнице доходов олигархов – воров и простых честных людей. Олигархов – воров при бурных аплодисментах правительства. Поэтому **память о нем непрекращающаяся** и под шелест трав и под шелест борьбы, под фиалковый отсвет ристалищ. Какие перед ним открываются двери! Как сладко и пленительно он всегда жил среди нас. Живет!

Говорить, говорить, чтобы заполнить утрату, заполнить нищу.

Гибель Италии. Гибель богов, Гибель Гагринской климатической станции. Гибель идеалов.

4.10.2006.

От кого-то грезить на благо. От кого-то грезить на свинец.

От **Левки Михайлова**, от Второго Собачьего хутора на Шапшаловке, от места кладбищенского, где весь хутор помирал от малярии в самом начале двадцатого века. И такое поголовное вымирание на протяжении века, на протяжении ста лет. Заполненность болотами, гнилушками, зверьми, змеями. Глаза рыб, людей, коров, диких кабанов, – заполненных трясиной, ряской. Голубоватой жижей на прокорм мертвым, мертвецам, когда заквашены в известь, в саваны. И плыть лодками по подземелью, по прорве. И все от тех мест и на горе. И внизу, в долине.

Раньше от этих мест не жил людской, человечий состав. Поэтому и костей человечьих мало, лежащих утробно, убиенно. Только иногда зажаты в тиски дико-свинской пастью. Но тоже находить пролет, проем. Находить отвагу в прожевывании пастью. Находить отвагу в прожевывании гнилостного, липкого состава, липкого существа, существования.

И от сплошных голодных человечьих примет. От насыщения человека человеком. От проедания человечины. И кто-то из Абхазии, из

малярийных долин, но не голодных, богатых на кукурузу, на фасоль. На убитого волка, убитого медведя, убитого вепря, через перевал исчезает в Приволжье, в степи, на хутора, и привозит к Холодной речке, к бывшему санаторию "Украина'', привозит к отвесным скалам своих родителей.

От этих мест начинается граница, начинается черта, начинается карантин, чтобы избавиться от инфекции. Через эти заслоны не пускают людей из других долин, из других проливов, из других холмов, из других накатов.

– Люди убегали от коллективизации, от сплошного загона в колхозы. И поэтому миллионы людей Приволжья, Украины, Кубани были заморены голодом. И мои деды, мои бабушки жили от этих принудительных мест, от этой сплошной закачки в коллективизацию. И мой отец, – говорит Левка Михайлов, уже семидесятилетий высоковыйный жердь на сохранившуюся осанку, – исчезает из Гагр на родину своих предков, приезжает по темноте к своим родителям в приволжские степи, в места вблизи Саратова, увозит отца, мать, бабушку. При приближении к гагринским отвесным скалам в районе Холодной речки, где стоит кордон, преграда, чтобы не пускать голодных, исчезающих в Абхазию из России, отец мой – Женя Михайлов, прячет своих родителей в балагане высоко в горах, в балагане чаландарей – тех, кто режет дранку. Договаривается с греками в Гаграх, и ночью на лодке эти греки, под страхом репрессий, под страхом долгосрочной тюрьмы, за два мешка кукурузы перевозят моего деда, бабку в Гагры, на Собачий хутор, в Шапшаловку, в места убийственного-малярийные, но не голодные, как и по всей, во всей Абхазии – Алма-матэр выживания многих и многих тысяч русских людей, убегающих из смерти в России.

От этих безоткатных долин, ложбин, урочищ можно было прокормиться и от бахчи, и от дикорастущих кустарников, и от дикорастущих плодовых деревьев, и от вечно ликующего богатого на горстку времен, на рыбу – морского наката, ликующего и на луну, и на звезды, и от удлиненного личика дельфина, и от света запряженного, наряженного в саван. И великолепия и волчьего праха.

Протаскивать, протягивать локоны, вьющиеся от гребня. Протягивать лавровый лист, табак, сморщенный на чужбине, на чужбину, коричневатый с золотым ворсом. Лежать как от сердца. Превращаться во флагман, в корвет. Протянуто от ардабалета на широкое, объемное

полотно волны. Протянуто, пробито от тысяча девятьсот четырнадцатого года. От Первой империалистической войны. От участника этой войны, этой бойни – Соловьева Григория Максимовича – тысяча восемьсот семьдесят шестого года рождения, привезшего с фронта Георгиевского кавалера, привезшего с фронта орден Георгиевский – высший знак солдатской доблести. Привезший с фронта – огромно-длинный-колющий нож. Нож вставлялся в ружье, в винтовку трехлинейную. И этот нож всегда применялся в штыковом бою. От этого ножа-кинжала звенящего на сталь, на отзвук. По истечению больше чем сотня лет – пропал, исчез, растворился багровый отблеск. Но на этот отблеск – вместо быстро проходящего времени наросла вечность.

Исчезли ножны стальные. Проломили, прорезали сердечный приют. Растворили ножны кусты ежевики, растворила поросль бузины, растворило фиолетовое обрамление. Растворили дожди, – плавкие для волн, для рокота и морского прибоя.

Этот нож от Георгиевского кавалера, эта доблесть Григория Максимовича, однако, не предохранила его от навета, от доноса его же ближних соседей – Севастьянова и Мельникова – милиционеров от тысяча девятьсот тридцать седьмого года. И обрек этот донос на смерть, на приговор – десять лет без права переписки. И только за то, что Соловьев Григорий Максимович, уже шестидесяти-четырехлетний, произнес у себя дома в кругу Мельникова и Севастьянова: "А что плохого сделал Председатель ЦИК Абхазии – Нестор Лакоба? За что Нестор был объявлен Берия врагом народа и выброшен из могилы в Сухуме? Лакоба всегда любил народ. И именно из-за Лакоба – коллективизация прошла по Абхазии не так жестко. И поэтому не было в Абхазии столь массовых репресий, столь массового голода как в России, как на Украине, как в Приволжье, как на Кубани..''

И в следующую ночь в окошко Соловьева Григория Максимовича постучали работники Гагринского НКВД, и увели, и сгноили в своих гагринских казематах вблизи Первого Собачьего хутора. Вблизи и на выходе из Жоэкварского ущелья.

И от мрака переходить на полотно заживающего от ран колотых хозяйского свинского – кнура, выхолощенной свиньи, как выхолощенного листа табачного, когда это полотно растянутое на море, на огромную

территорию таранит из времен Первой Империалистической войны немецкая подводная лодка. Но вблизи тепла, вблизи лета, вблизи города Новороссийска кому-то было выбраться на берег с зажатым в карманах штанов пригоршнями золота, доход от продажи табака англичанам в Одессе. И этот табак везли, доставили в Одессу по Черному морю армяне из Гагринских предместий, из старого на происхождение названия – Кирпичный завод.

Один из этих армян – Саркис Багдасарян, артвинец, беженец из Турции, вернее из Западной Армении, которую потом турки завоевали, присвоили. Саркис с кусками фамильного золота – сначала появился в Крыму, в Карасубазаре, открыл кофейню, но там дело не пошло, не пошла торговля, не начал накапливаться барыш, и Саркис – высокий ростом, оттянутый на амплитуду, с серебрянными насечками на тонком кожаном поясе, появился в Гаграх, открыл кофейню возле речки Цивцхаро, возле древних дубов, вблизи морского наката, вблизи густого леса. Наполненного шакалами, дикими кабанами. Медведями, змеями, густой накипью комаров заразных. Но людей в Новых Гаграх от самого начала двадцатого века было мало, и Саркису снова пришлось исчезнуть в сторону Кирпичного завода, в сторону Бзыби. И от былых еще дедовских богатств купить маленькую лесопильню, нанять кубанских рабочих, бзыбских крестьян – не менее пятидесяти человек, и начать разработку лесных массивов Гагринского хребта еще при всепоглащающейся деятельности Принца Ольденбургского. И все шло хорошо, но настало время коллективизации, время общей уравниловки, время бессовестной экспроприации, время бессовестного захвата чужих богатств. И чтобы не пропасть в сибирских концентрационных энкэвэдэшных концлагерях, Саркис Багдасарян, подарил свою лесопильню образовывающемуся колхозу, выпребовал себе справку, что он сдал всю свое хозяйство безвозмездно Советской власти, купил себе маленький одноэтажный домишко вблизи строящегося стадиона, рядом с домиком – завалюхой Шуркой Баркая, отцом знаменитого в будущем футболиста – Вовкой Баркая. Мать Вовки Баркая – Надя Калашникова, дворянка; спасалась в Абхазии от голода.

Саркис окружил себя молоденькими деревцами маслинными, прокалировал эти деревья на будущее крупные ягоды, будущие крупные плоды, – жирнеющие на будущее здоровое человечье сердце, на будущий здоровый желудок от проедания, проглатывания маслинных косточек.

Вскорости обзавелся новой семьей, потому что первая жена умерла, и от нового брака родился сын Сенька, будущий знаменитый продовец колониальных товаров, продавец колониальных товаров в самом центре товаров.

Чуть выше лавки колониальных товаров возвышался особняк одного из первых врачей Гагр – **Барановского.** Это был 1934 год.

От невоплощенной мечты. От невоплощенной грезы, от мозга, угасающего на территории, на пространства, на местности, на болота, на реки, на конвульсии. Пока – при проходящем береге, проходящем уюте, при глинистых обрывах, скальпелях, при еще не лысеющей голове, протянутой на яйцо, на вырост. Пока продолговато на лоно. По этой голове, по этой плоской площадке можно разводить колхозные поля сладкого болгарского перца, баклажанов, помидор, початков кукурузы. И всей этой заводи, наполненной на брюшину, для брюшины. Для требухи. Но именно это создает лоно, пространства для зачатий впечатлений, слепков, картин бытия – кому этими первобытными ощущениями руководствоваться потом всю жизнь, все дни, наполненные головками гадюк, головками ужей. Головками водяных крыс, головами быков. И от того же рассказ от Мечика, от Бобылевых, от Водолазовых, от Пивоваровых, от крупных мужчин, от больших водяных пространств, наполненных птицей и рыбой речной, но затрагивающей и болотные, медленно текущие воды, когда глаза ребятишек может пробить жало, яд гадюки, черной змеи, плавающей как корабли от малого каботажа. Но легко движущиеся как планеры, как аэростаты.

Это примерно от годов восьмидесятилетней давности. Когда еще гибнуть от малярийных болот и распухших животов от болезни.

И тогда от буйволов, мощных самцов, переплывающих реки, реку Бзыбь, реку Рионi, реку Кодор в поисках любви, в поисках буйволицы, в поисках загашения любовной энергии внутрь водоворота, внутрь смачно дышащего ущелья, сотканного из кровоточащих жил и конвульсий. Любовное ущелье соткано из содроганий, из узких струй кровяных, кровавых пока. Еще не переросших в желтую чашу, желтое – широко расфасованное блюдо. Такое широкое, объемное, что можно раскиснуть на жасмин.

За множество километров, верст истекать от поллюции буйволиной самопроизвольного извержения. Земля, – после прихода вся в скатах, в выбоинах, в рашпилях. Идти гундосо и сопровождать червивые распри. Гнилостные клубни для обильного пищеварения, для рассады, для клубка

удобрения. Месить для мига, чтобы не нарастала вершина.

И от похорон людей, волков, медведей, змей, от длительных гробов – серый ишак рядов с ишачихой застыли в склепе, в соитии, в мягком поглаживании позвоночника, – шершавого, сладостного, покатого под конус корабля, кораблинный. И так высоко смотреть с горы и проповедовать юность. И, конечно, срок сам себя не проговорил и не продлит.

11 октября 2006 года.

От пропадающего времени. От пропадающей памяти на износ. От шероховатости. От взъерошенных листьях на волках, на сгорбленных спинах, покрытых ворсом. Прикрыто сутуло и на ней. Иней вблизи от голубоватой ягоды и от сентября, сиреневых туманов и от оленей – головы смиренной под залежи.

И ягоды чернеющей – лавровишни, целебной ягоды, успокаивающей нервы, успокаивающей сердце, сердечные недуги. Как будто расфасовывать на лодках бриллианты, расфасованный профиль под дворянство, под интеллигентный просвещенный ум. И как зачеркивать скрижали. Чтобы не повторять пройденное иго, пройденные ристалища, пройденный круг.

Прикрывать глаза родниками. Закрывать от пепелищ – звездой. Пробиться на острия. Загородиться сполохами от наводнений.

От ишаков на проселочных дорогах. Ишаки, соединенные на цепочку дорог, на цепочку серебристых струй. Протаскивают начало дней. Протаскивают даже **до младенчество.** Еще только намываются камни, намывается еще только человеческий скелет, человечий круп. Еще ворсисто на ранний снег. **Еще до выпадающее время. До выпадающего скелета.**

Еще до перевалов, до высокогорных селений вблизи перевалов Санчарского, Марухского, Ауадхарского, Цебельдинского, Рицинских перевалов. От гула воды, водопадов, обрывов, ущелий. И еле шевелящиеся от высоты и от груза абхазские ишаки из времен Великой Отечественной войны – абхазская кавалерия, перевозившая на своих спинах, на ишачьих спинах, на ишачьих позвоночниках – боеприпасы, снаряды, минометы, пушки, зерно, картошку, мясо, консервы, воду для высокогорных воинских подразделений. Плыть как от брюха по волнам времен, по волнам поверий, по волнам уюта, по волнам древности, крепостных стен, плотному синему дыму, который держат в себе динозавры. На сгущенный зрачок птеродактилей, на сгущенный зрачок тиранозавров.

Крутить веретено на глазок, на зрачок ведьмы – колдовски, стерегущей пихтовое дупло. Стерегущей детские слезы, чтобы спрессовать их в гранит, в мрамор, чтобы разбрасывать их по узлам, которые дергают, которые держат звезды. Не обязательно для мрака. Может для веретена, для простушки золы. И колдовать, колдовать на сбруях.

От Александра /**Шурки Павличева**/ – короля гагринского футбола сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов двадцатого века: жителя селения Шапшаловка Гагринского уезда Черноморской губернии:

– В тысяча девятьсот тридцать четвертом году колхоз, который образовывался возле нашего Второго Собачьего хутора назывался – "РИЗИСПАЗИС'', Председателем колхоза тогда был Чангалиди, грек. В тысяча девятьсот тридцать седьмом году, если грек не брал российское /советское/ гражданство должны были уезжать в Грецию. Подготавливалась почва для массового переселения на Черноморское побережье Абхазии – грузинского населения. А в школу мы ходили Принцевскую, в ту, где во время Первой Мировой войны – был, располагался госпиталь для солдат, для офицеров, для генералов Царской армии. Тогда по морю ходили английские корабли. Ходили вдоль от Гагринского побережья недалеко. А Принцевская школа (Принцевский госпиталь) располагался на высокой горе, на очень видном холме. Принцевская школа сразу бросались в глаза кораблям. А там в 1914 году лежали раненые. И чтобы это Принцевское издание не обстреливали – на всю стену фасадную, парадную разложили, распространили, вписали в интерьер огромный Красный крест. Выложили ярко-красно. Чтобы это здание не обстреливали корабли. Есть, был такой закон войны пока она не стала ожесточенной – не бомбить, не простреливать Красные кресты, то есть не простреливать госпитали.. И когда давно уже минула, прошла война, прошла человечья бойня – этот огромный Красный крест стали замазывать, закрашивать, менять на белый цвет, на соединение со всей остальной стеной. И сколько не замазывали, не закрашивали красный цвет проявлялся все снова и снова. И так лет шестьидесят после Принца красный цвет госпитальный сопротивлялся на белый, нейтральный, на снежного покрова цвет. Как будто проклеивалась какая-то мистика о переложении света. Проклеивался свет запредельных границ, который нам недоступен, неясен, не будет ясен никогда.

Шура Павличев, Левка Михайлов июня 2002 года:

– В начале сороковых, в конце тридцатых годов этот высокий, на четыре метра в высоту камыш вдоль всей полосы Гагринского Черного моря, который сейчас исчез, – начинался широкой полосой от нынешней гостиницы "Абхазия'' до самой речки Бзыбь не меньше двадцати километров.

Отсюда, если идти со стороны гор, не доходя камыша, мы все ходили в колхоз после школы помогать матери собирать овощи, бахчу, табак, кукурузу. Наша полоса, где мы работали еще от самого отрочества протягивалась до речки Фонтанка от улицы Вазисубанской, от гагринской погранзаставы.

Гурцкая Аквсентий, будущий Герой Социалистического труда, был председателем другого колхоза "Атхада''. Он простирался от речки Фонтанка до речки Колхидка. Хороший был колхоз. Все выращивали: арбузы, дыни, баклажаны, сою, редьку. Шло на пропитание санаториям, дом отдыха, местным жителям.

Гурцкая Аквсентий приехал в Абхазию, в селение Калдахвары из Хоби, из мингрельских мест. Приехал в конце девятнадцатого века. Сначала пас коз, овец в семействе Ампар. Семейство Ампар одно из самых старых жителей Калдахвары. Ампары были в родстве с семьей Меладзе. Меладзе калдахварские по обычаю, по разговору – абхазы, а по происхождению – мегрелы. И в круг этих семейства вошел мегрел Аксентий, – женивший на одной из дочерей этого рода, – это из рассказа старейшины Гагр – Анкваб.

За мандарины лет двадцать пять назад можно было брать хорошие деньги. Наши мандариновые плантации тянулись от нынешней железной дороги до нынешней гостиницы "Абхазия''. С участка своего я брал в те время две тысячи рублей после продажи мандарин. Это был хороший доход.

Я за один год работая в механических мастерских, – столько не зарабатывал.

Отец Бикоса бросил его мать. Она осталась одна с тремя детьми. Дом Бикоса стоял на курьих ножках очень долгие годы. А этот новый дом Бикос построил, когда вернулся с Великой Отечественной войны. Бикос – легенда Гагр – очень сильный физически, но никогда не

обижающий слабых. Это есть великое нравственное начало. Огромная, оттянутая на корпус спина как выпрямленный лук. Так гордо носить эту спину, этот лук, эту уздечку, узду. Одну из сестер Бикоса – звали Деспина. Их мать – Катя Инапха, она была из Черной речки.

Мать Шурика Павличева – Дермановская Вильгельмина Антоновна. При Принце работала фрейлиной. У нее было три брата и две сестры. Они приехали в Гагры больше, чем сто лет назад из Новограда-Волынского, сейчас это Житомирская область Украины, а раньше при жизни Ангелины Антоновны эти местности были в составе Польши. От этого и всегдашняя вражда и война между Россией и Польшей за занятые территории.

А вот и старинное зеркало для прихожей, для залы, для красоты. Посмотрим внутреннюю сторону этого зеркала для прихожей, для залы. Для красоты.

"Изготовлено в 1889 году пятого сентября. Посеребрение стекол – Иван Эберг. Санкт-Петербург. И подарено Вильгельмине Антоновне Дермановской /Павличевой/. Работала фрейлиной у Принца; а потом официанткой в ресторане "Гагрипш''. Зеркало, привезенное Принцем из Санкт-Петербурга''.

А дед Нины Стаценко – жительницы этих мест – работал у Принца фотографом.

Илья Агрба имел двух буйволов. И возил бревна из леса по канатной дороге, по канатной шлее по низу ущелья в сторону Фонтана, к берегу моря, где эти бревна ожидали пароходы, чтобы везти их в Турцию, в Одессу.

Под мостом жили цыгане. Они делали цепи, цапки, лопаты. В их дворе всегда горел огонь для плавки железа, для нагревания его до красна, огонь для того, чтобы делать из железа, тянуть из полосы железа металлическую строчку для цепей, для ножей, для цалды. Цыгане – такие чернявые, красивые на вид, большеглазые, с медными обручами на лбах. Пристальные очи из загадочных стран, – откуда цыгане явились для тайны, для ворожбы, для чернеющих спрутов внутри подземных жилищ и наваждений. Так прикрыто на полотно, а не разгадать. Прятаться на очи, на зрачки, на огромные колодца, которые держат,

сущу и не проваливаются от телег, от таборов, от лошадей. И держат на себе все вбирающее зеркало. И исчезать за углы, за лампады, за светильники. Как волшебны те местности, где обитают цыгане.

Этот мост, построенный еще при Принце для того, чтобы под мост стекали дожди, чтобы под мост исчезала жижа, чтобы под мост стекали ливни. Тогда еще не было железной дороги, а двигались только брички и пролетки.

Где "Красный крест'', это местечко далеко за нынешний железнодорожный вокзал, далеко за Колхидское кладбище купил у князя Шервашидзе русский помещик Шапшалов. А дальше, вниз к морю, продолжались местности русского помещика Игумнова, который тоже купил земли у Шервашидзе. У меня в метриках написано – "Село Шапшаловка'', где я родился в тысяча девятьсот двадцать первом году.

Чуть на горе была огромная Пробковая роща. Вблизи был маленький заводик, где делали сельтерскую воду, то есть газированную. Мы пацанами лазили по этим местам уже давно заброшенным и находили этикетки к этой Ольгинской воде.

Медведи ходили по Калининской даче. Рядом в загонах содержались быки.

С рогаток били роздиков. Холодно, снег, руки замерзли, уже вечереет, закат нарастает на жутко красное бельмо над горизонтом и в горизонт, а мы в кустах отстреливаем черных певчих птиц. Бабушка твоя, Костакис, латышка Мина Яновна, жена нашего известного еще при Принце кровельщика Григория Максимовича Соловьева всегда кричала нам в нашу совесть: "Что вы делаете? Это же дроздики. Певчие птицы. Они так хорошо поют в наше и для нашего царствия. А вы их уничтожаете. Не будет вам за это пощады и на этом свете и на том..." – "Но кто ее слушал?! Но зато теперь, в своей старости, как я понимаю глубокую правду ее слов. **"Слова простые истины глубокой: теряя время, мы теряем честь...''**

Дикие козы ходили по этим зарослям, по этим тропинкам. Ведь человечье жилье здесь только нарождалось. И еще не были уничтожены человеком все пути.

В те времена от Второго Собачьего хутора, от болот, от Гнилушки

– от двадцатых годов двадцатого века – на каждую семью давали по одному гектару земли. Для кукурузы, для овощей, для садов, для фасоли, для сои, для жилища, для сараев, для свиней, для хлева, для мастерских, для сенокоса. Эти земли, если брать от моста Собачьего хутора. Сплошные испарения болотные, а внутри болот, внутри малярийной сферы, вовнутрь сосредоточены собаки как в сгусток из пчелиного роя. На этом собачьем рое можно было строить города – так он был плотен, неизбывен, не прекращающий. Сосредоточенное царство льдов как айсберг застыло на память. Как рот кашалота, как этот мощнейший корпус поднялся вертикально и держится и качается от начала позвоночника, от начала сосредоточенного хвоста. Сосредоточенного плавника.

Гасилин – сухонький мужичок, полутатарин. Плотник. Жил в сарае у Григория Максимовича Соловьева. Сарай был утепленный, стеной упирался в коровник.

Два пальца на правой руке были поражены, светились бледно-розово – замороженно. Так выглядит свеже просоленная барабулька. И когда Гасилин кушал барабульку, когда держал рыбу в руках и было чуть светло, пальцы Гасилина и рыба, которую он ел – сливались по цвету, на цвет. И казалось, что Гасилин кушает собственные пальцы.

Помнить Гасилина все время от мороза. От холода, от инея на деревьях и на картофельной залежалой ботве темнеюще – коричневой.

Гасилин первым браком был женат на Дуне Бойченко, родной сестре Никанора Бойченко, женатого на родной сестре Мины Яновны Соловьевой – Эмме, в девичестве – Цирулис, с латышского – жаворонок. Мина Яновна – жена Григория Соловьева. Бойченко Никанор – из донских казаков, из Клетского района Волгоградской области, спасался в Гаграх от голода, от коллективизации. Эмма Яновна – много младше своей сестры – разница в тринадцать лет, всюду сопровождала свою сестру защитницу. И вышла замуж за Никанора при поддержке старшей сестры, при ее инициативе. Нажил Никанор с Эммой двух дочерей – Елену и Юлю. Все долгое время жили здесь, на Собачьем хуторе, потом исчезли в Волгоградскую область, спасаясь от малярии, исчезли на родину Никанора Бойченко, когда опасность быть уничтоженным от уклонения вступления в колхоз исчезла.

Это было еще одна причина почему Никанор исчез из Гагр. Тянуло его родные края, в сухие жаркие волгоградские степи. На родине Никанор

Бойченко в селении Перелаз разводил при колхозе лис чернобурок, сторожил бахчу с арбузами, помидорами, дынями, огурцами, во время Великой Отечественной войны работал в милиции. Ездил в санях в огромном овечьем тулупе, закрывался в этот тулуп с ног до головы, когда рвалась и бушевала по полям метель. Отпускал вожжи, а кони, лошади знали свою дорогу домой без человечьей поправки, без человечьего неведения.

А Гасилин потом бросил, оставил Дуню Бойченко, родную сестру Никанора, якобы , из – за того, что она пила. Вскоре женился сразу после Великой Отечественной войны, уехал на житие в Симферополь. Часто после отъезда в Крым приезжал в Гагры, заходил Мине Яновне, спрашивал: "Вернулся ли из концлагеря сталинского – Григорий Максимович Соловьев, твой супруг?

Однажды пытался бабушку Костакиса, Мину Яновну Соловьеву, уже давно вдовую, обнять. Но бабушка Костакиса будучи выше Гасилина на две головы так ударила Гасилина кулаком в грудь, что он упал навзничь на спину. И долго не мог подняться. И что был для бабушки Костакиса маломощный Гасилин, когда бабушка еще в Первую Мировую войну живя при муже своем очень часто пьяненьком, сама запрягала, распрягала лошадей, сама стояла за плугом, когда сеяла кукурузу у себя на полях от самого Собачьего хутора до самого моря, до самой прибрежной полосы, до непроницаемой стены четырехметрового камыша в высоту, который высаживал еще Принц Ольденбургский для защиты земли от моря, от волн.

Костакис, внук Мины Яновны, сам несколько раз приезжал в Симферополь, навещал Гасилиных. Навещал, как бывших родственников. И во время очередного приезда в Симферополь, на улицу Высокая балка, узнал от сына Гасилина:

– А отец умер недавно, в 1970 году... Отец стал в последнее время разводить пчел. Как-то нанял машину, уехал с пчелками к подножию Кавказских гор, к черкесам. Расположил свою пасеку, отпустил машину, и сразу уснул в балагане. Утром проснулся, а пасеки, а ульев нет... Отец – туда, сюда, стал спрашивать, никого не знает. Так и уехал ни с чем. И от расстройств, от переживаний, от того что ушли все сбережения, от того, что был уже слабый, отец быстро и умер. А вскоре и умер и сын Гасилина. У сына Гасилина было слабое сердце. Но когда он видел Костакиса, проявлящего у него на пороге, оживлялся, и говорил быстро, радостно, скороговоркой: "Гагры, Гагры''. И вспоминал

свою юность, свои первые младенческие, детские годы, которые прошли в Гаграх вблизи болот, вблизи не прекращающего кваканья лягушек.

– Для меня пение лягушек – как сплошная завеса от переживаний, как сплошная завеса дождя от горя, как сплошная сетка часто меняющая положение – то горизонтально, то вертикально в которую можно лечь как в гамак и раскачивать лодку пребывания на земле. И это так упоительно, когда рядом горит огонь в кузне лучшего кузнеца Собачьего хутора – Жилина.

И от торговца свежей рыбой – кефалью, узконосого на профиль – Георгия Степаняна /Кипуза/, который от самой своей юности определил свой путь, свое направление от звезд: "Зачем мне горы и леса? Дайте мне гири и веса..." И от рыбешки, светящегося от янтаря, и от ранних звезд, когда они плещутся вдоль моря, когда они растворяют в себе, на себе человечьи сердца и смотрят на сердца как проплывающие красиво протуберанцы, великолепный состав медуз. Так звезды видят сердца.

От участков Куроченко, Кващуков, Кухалишвили, Инапха.

Вблизи домов-хижин из стен, замазанных глиной и побеленных, ходили дикие козы – так было тихо от человеческого голоса, никто этих коз не стрелял. Потому что ни у кого не было ружья. Ружье было только у кровельщика Григория Соловьева. А Гриша Соловьев запрещал своим сыновьям Пете и Коле браться за это ружье. Ружье это было набивное. Заряжалось дробью и порохом от отверстия, сверху, от дула.

А рядом от нас, прямо за огородами, ютилось множество перелетных птиц – уток, селезней. Просто все поля из-под прибранной бахчи к поздней осени покрывались этими птицами.

И Петя, твой, Костакис, дядя, когда ему было не больше тринадцати лет, всегда чуть-чуть несуразный, набил это ружье сверху, сверх всякой нормы дробью, порохом, залег за плетнем, за плетень, за забор, и выстрелил в птиц перелетных. Раздался выстрел. Ствол, к счастью, Пети, не разорвался, но вся округа покрылась плотным дымом. Мы, пацаны, испугались. Затаились. Никто не подходит к Пете. А он лежит и лежит. Наконец, стал подниматься. Весь черный, весь в пыжах, весь в синеве. Оглушен, но живой, не пораненный.

Отец мой, Аким, с года рождения 1877, умер в 1956 году. И что я хочу сказать еще про деда твоего Григория Максимовича. В Собачьем

хуторе он прожил не меньше сорока лет. От куска земли, где был, где существовало его жилище, весь его хозяйский двор, от конца двадцатых годов, от будущего родника Гараняна, начали разносить, разводить большой колхозный двор, и земля твоего, Костакис, деда как раз попадала, входила в территорию будущего обширного колхозного двора. И поэтому ваш Соловьевский род был перенесен, вам дали участок, тоже не меньше гектара в сторону моря в стороне будущей гагринской погранзаставы. Место было голое, еще более болотистое, чем наше. И дед твой не меньше сорок подвод земли навез с горы, чтобы хоть чуть поднять уровень земли, чтобы можно было хоть что-то сажать, посадить.

– До сих пор, спустя сто лет – еще хранится вдоль забора нашего железный плуг, которым бабушка, дедушка, отец, дядька пахали эту новую землю.

– Потом к вашему новому месту стали селиться новые люди, мало знакомые и вовсе незнакомые друг другу. Уже не было того общего хутора Собачьего от которого мы прожили столько десятков лет, – были дружны, пропитаны друг другом, пропитаны общей судьбой. И хотя уже наступало смутное, сталинско – подозрительное время, время доносов на самых близких, как того требовала пропаганда СССР тех лет – никто из Собачьего хутора друга на друга не донес в НКВД. В этот смрадный подвал смерти, загашенной на известку, на забетонированный слой песка во главе с мертвыми человечьими головами невинных.

И в новой среде, в новой обстановке, среди только начинающих приматриваться друг у другу людей и начались подкосы, налеты, наветы. Тем более пропаганда требовала у НКВД план по отсечению голов. И твой, Костакис, дед по своей искренности и чуть выпивши – и нарвался на негодяев – доносчиков милиционеров Мельникова и Себастьянова: нарвался на своих прилежных на подлость, на профессиональное исполнение своих обязанностей доносителей, человекоподобных. И пропал твой дед в тысяча девятьсот тридцать седьмом году из своего нового жилища, из своего нового только что вырытого перед домом колодца. Тогда не было водопровода, и люди копали по своим садам колодцы для бытия.

А расселение нашего Собачьего хутора, если стоять от моста, если стоять спиной к морю и по правую сторону от руки: Еськины, Джагалатян, Греческий дом /до родника Гараняна/, Кузнецовы, Соловьевы,

Павличевы, другой Павличев / Аким и Яков/. Дом персиянина. Дрогарь – извозчик. Здесь в основном были извозчики. Брички, лошади, запасы сена на чердаках. Только Еськины не были извозчики, дрогарями. А все остальные перевозили груз, такси'' – Новые Гагры – Старые Гагры''.

Потом отец мой Аким, чтобы не сделали кулаком власти, чтобы не приговорили к высылке в Сибирь или к расстрелу – продал свою лошадь хлебзаводу и сам устроился на эту бричку хлеб развозить.

От **Левки Михайлова** – высокогорно-отвесного на выгнутый туннель: с мешком за плечами, с горбом, с только что отлущенной фасолью: фасоль зернистая на профиль с мелкими кукушкиными яйцами, яичками:

– Михайлов Евгений Васильевич – 1903-1975 – годы жизни. Появился в Гаграх при Советской власти в 1919 году. Мастер по ремонту карет, линеек. Работал в мастерской – **"Гужтраспорт''** – колесником, делал колеса, ремонтировал.

Отец жил в Тифлисе. Приехал в Тифлис из Саратовской области. Был представителем из России. Когда начался голод пошли с братом, с инструментами по Грузии искать работу. Делали арбы. Всю Мегрелию, всю Абхазию прошли пешком, ходили по деревням мегрелов, абхазов – починяли арбы, телеги. Расплачивались хозяева с работникам людьми – вином, фасолью, мамалыгой.

Так дошли до Гагры, и остались.

Аким познакомил отца с матерью. Мать – Кузнецова Анна Ивановна. Родилась в Гаграх в 1907 году. Умерла в 1987. Родилась на Шапшаловке в доме, где раньше был Сельсовет.

Отец купил участок у Квашуковых. Отец построил дом одноэтажный, деревянные стены, замазаны глиной для тепла. Сверху и внутри побелены. Среди болот на островах едва холмистых.

Живем, спим, существуем под пение лягушек в соединении с соловьиной трелью, с пением жаворонков, под цвет огурцов, баклажанов, помидор, под целые километры перелетных птиц. Под вой шакалов, которые кружили наши дворы, затянутые плетнем из хвороста. Раньше железа было очень мало, только на плуги, на колеса, на лопаты, на кирки, на цалды.

По жизни , по нашим дням проходило только дерево – кормилица.

Была в селении Шапшаловка – пожарная вышка, еще Принцевская; ее разобрали. И отцу достался лес, который он и употребил на строительство, на обьустройство хозяйства, сараев, свинарника, подсобных

помещений.

Сосед – Аким Иванович Павличев – с броненосца "Потемкин, был матросом. У Акима было два брата. Они жили в Лазаревское. Братьев называли – ""зеленые братья''. Они прятались по лесам от властей, были против белых.

Аким умер в возрасте 76 лет, примерно в 1958 году. Колхозный кладовщик.

У него был большой огород. Самые ранние огурцы. Помидоры. Редиску только он выращивал.

Селим купил дом у Квашуковых, как и мой отец. У Квашуковых было очень много земли. Вирак – отец Селима, был австриец. Мать Селима русская женщина, очень красивая, прожила 90 лет.

Это все люди, наши, Шапшаловские.

Василенко жил на улице Портовой. У него была жена Марфа. Василенко был известный на округу пчеловод. Марфа была сестрой матери Селима. Сам Василенко болел диабетом. У него было во дворе много цветов. Василенко давал отцу – лошадь, подводу; "Я постарел. А ты, Женя, работай, пользуйся. Ты пришел только что с фронта, с Великой Отечественной войны. У тебя жена, трое детей..'' Хороший мужик был Василенко. Такой небольшого роста, полный от болезни, всегда от их двора кружили пчелы. Дом Василенко приземистый, как у всех в те времена – одноэтажный, крыт дранкой.

Дом рядом с Адочкой и Ирой Капба, замечательными людьми, истинно интернационалистами. Добрыми для соседей, очень отзывчивыми, авторитетными. Ира Капба умерла очень рано, едва закончив медицинский институт. А Адочка всю жизнь проработала педагогом. Директором школы номер два, которую мы все гагринские жители заканчивали. В те годы – до семидесятых годов двадцатого века – школа эта Принцевская высоко на горе, историческая школа, где еще от Первой мировой войны помещался госпиталь, – была единственная Средняя школа на все Гагры, на весь Гагринский район. На похоронах своей сестры так рано ушедшей, Адочка, очень красивая, дала обет, клятву никогда не выходить замуж. И этот обет она сберегла, сохранила. Так сильно сочувствуя своей горячо любимой сестре, ее раннему уходу.

Нас четыре брата. Володя Михайлов родился в 1925 году, умер.

Коля – с 1928 года. Вовка – с 1932 года. Я, Левка, с 1938 года. Все Шапшаловские, родом из болот, малярийные, всех трясло очень долгие годы, еле выжили. По десять, двенадцать раз в день температура прыгает – до сорока градусов.

Если бы не Федя Денин, женатый на Павличевой Нюре, вечно работающей в гагринской типографии, мы бы не выжили. Денин Федя был на всю округу – единственным фельдшером.

Шурик Паличев, сын Акима, лучший футболист по исторической перспективе Гагр, центральный защитник, сорок лет стоял на обороне, при обороне спортивных Гагр, стоял на обороне, при обороне гордости Гагр, высоко поднятой головы города. Шура Павличев, с тысяча девятьсот двадцать первого года рождения, израненный именно в ноги на фронтах Великой Отечественной войны, от покалеченных ног отстаивал честь Гагр достойно и бескомпромиссно. Шуру Павличева звали в свои футбольные клубы все без исключения команды СССР. Но Шура любил Гагры больше всего, любил золотое и зеленое поле своей юности и не мог оставить свою юность, свою молодость, свою зрелость, свою старость без присмотра. Не мог оставить свою гагринскую юность на сиротство, на юдоль. Поэтому всю жизнь работал слесарем в механических мастерских Гагр вместе со своим братом Виктором, тоже футболистом, вся жизнь которого прошла по дороге зеленеющей под прицелом и под профилем – "брат Короля''.

Наговаривать, наговаривать тексты, наговаривать, энергию, наговаривать поле, наговаривать весну, наговаривать тепло-несущие ветра о том, что молодость повернет вспять, и возвратится на беговую дорожку и растворит в себе набегающую старость, растворит в себе и для себя перемычку и створ времен. И вот мальчик Шура набегает на тень и тень уже солнечна. Перемыта на картофельную ботву и на кипарисовую хвою.

Из Отрадного ходила коляска, ходила бричка, запряженная лошадью. Бричка ходила из Отрадного в Старые Гагры, к торговому дому **Долидзе**. Домик Долидзе – впритык к Жоэкварскому ущелью, к окончанию пути, откуда ущелье расширяется на выброс, на перспективу, на древнюю Старогагринскую крепость, зажатую в огромные каменно-кирпичные блоки, уже глубоко просевшие в землю от набега накапливающихся времен, слоев земли, циферблата. **"А бег календаря и циферблата мешает нам понять, что мы летим''.**

Завязано на углы и на накипь узлов. Лежать на горле, от горла и бурить кровь. Бурить кровь как застывшие плиты. Бурить кровь Митридата. Располагать себя на лоно глаз, на лоно зеркал, на лоно морей.

И небольшой замок торгового дома **Долидзе** – из высоко выйных башен, остроконечных, готических, прикрыт темно-коричневой черепицей. Темно-глинистой, привезенной Принцем из Франции, из Марселя, портового города, города моряков. И на каждой черепице – клеймо, оттиск – "Марсель'' – бесценно на историю, на реликвию, только на музейные экспонаты, внесено в дебри ЮНЕСКО о сохранении наследия. Но после того как началось нашествие варваров, как пришли гунны, рычащие от сумасшествия стволы, особенно в конце двадцатого века, вся эта историческая перспектива была растаскана, разбита на апацхи, на мелкозернистые крыши захудалого упомрачения, когда были растасканы на клозеты даже крыши исторического комплекса – Принцевского дворца и пансионата "Жоэквара''. Ничего не стоит делать для человеческого рода. И Принц, конечно, был великим романтиком, когда Гагры из болот выводил на всемирно известную Гагринскую Климатическую станцию, когда выводил на античную перспективу гагринские Альпы. Гагринскому населению еще тысячи лет доходить до того, что сделал Принц для Гагр. Но это при условии, если человечество будет развиваться на нравстенность. Но этого не будет на все геополитическое пространство. И на все черные реки, на мрачную сосредоточенность заплесневелых изнутри пещер.

На бричке было написано, начертано, – ОТРАДНОЕ.

Бричка двигалась работала от Отрадненского мясокомбината, от Отрадненской бойни. Ныне это заброшенная площадь – город совхоза "Адзапш'' (бывшее – «Сихарули»).

Скотину гнали на убой, гнали через перевалы – кубанские и абхазские – черкесские пастухи.

Скотину резали специальными черкесскими ножами.

Готовили из убитой скотины – колбасы, пирожки. Эти продукты пользовались у Принца, у всей Гагринской Климатической станции, у новогагринского и старогагринского населения большим спросом. Из Отрадного везли масло.

И из старогагринского замка, из этого дома – сам хозяин – Долидзе

– торговал первоклассными продуктами.

Впоследствии вся многомощная семья Долидзе была уничтожена в застенках Советской власти, в застенках энкэвэдэ.

Помещик Игумнов из Пицунды, из селения Алахадзых вывозил заграницу бархатные персики огромной величины. Каждый персик обертывался в стружку, в опилки.

Принц, когда ехал на своем авто (единственное авто на все Гагры, на всю территорию до села Бзыбь) раздавал девочкам и мальчиком конфеты и пряники, если дети встречались на его пути. А взрослых бил кнутом, если они ему не кланялись.

В дни праздненств казаки, в том числе и во время приезда Принца в Гагры – крутили шашлыки из быков и баранов. И всех Принц угощал вволю.

Жена Принца была больна истерией. Передвигалась на коляске. Когда ей бывало легче, лучше – жена Принца вставала с коляски и шла пешком очень медленно и осторожно.

Принц, когда уехал из Гагр после революции Октябрьской Социалистической, – исчез в Финляндию или Швейцарию, и там построил усадьбу – городок, в точном соответствии с Гагринской Климатической станцией.

В Гаграх Принц оставил свою душу.

Душа Принца попрежнему прикрывает Гагры крыльями огромной светозарной улыбки.

Во время Великой Отечественной войны умерших от ран в санатории, в госпитале имени Челюскинцев хоронили на нашем кладбище в Шапшаловке в 1942-1943 годах. Теперь на этом месте стоит Торговый центр самый мощный на всю Абхазию, стоит Гагринский Госбанк, стоит воинская часть со своими танками, автомашинами. И давит, давит тела, кости, трупы, души погибших, умерших, погибших героев, погибших в юности, в зрелости, в старости, от болезней.

От этих мест все время разбиваются автомабили, тонут пароходы, лодки, фелюги, гибнут прохожие, рыбаки.

Это от того, что кладбища далжны дышать, жить свободно от небес , от звезд, от дождей, от снегов. От этих мест должны свободно ходить, плыть, лететь, летать души ушедших от мест погребения как

от неистребимого крыла.

И эти железобетонные перекрытия на кладбище Шапшаловском на путях так крепко нами любимых ушедших душ и сердец еще раз подтверждение нашей безнравственности.

От этих мест вообще идет мертвая аура – мщение мертвых за мертвых.

Это еще раз подтверждение нашей безнравственности, безнравственности гагринских всегдашних властей, бессовестных на наживу.

Бессовестных на все, что было после Принца. И это никакими заплатами не залатаешь. Эти дыры сквозят только на сморщенную чуму.

Зимой, в конце января подняться на гору, на Альпику, к высокогорному полугреку-полутурку Коче, больше чем восьмидесятилетнему, темнокоричневому на цвет, на улыбку, на морщины. Подняться к высокогорно-поднятому горлу, кадыку. Подняться на снег, подняться к Коче за сведениями о греках, живущих в Гаграх, в Абхазии, даже задолго до Великой Отечественной войны. Подняться к изгородям, к сараям. К клетушкам, где когда-то жили козы, коровы, быки, лошади, мулы, ишаки.

И все это самое богатое на всю округу хозяйство вел Юсуп Хаджи-Мустафа со своими многочисленными сыновьями, дочерьми.

Подняться к старику греку – за свежестью взгляда. Подняться на свое старекущее сердце, как на валун, как на амплитуду, как на взгорье подернутое солнцем и снегом. Припорошено на заячье ушко и яйцо. Подернутое на насмешливый взгляд комка пушистого счастья. Перевернуться как на сказку, как на юность: **«Идет, гудет, зеленый шум, зеленый шум, весенний шум..»** Наступить как на ободок из серебряного копытца.

Насыщаться на зрение, насыщаться на мандариновые деревья низкие на широкую реку, на многочисленные пятна, острова и плотно на ориентир. Насыщаться на пихтовые деревья, на кипарисовые. Насыщаться на далекий снег, на широкие орлиные крылья, на куски мира вроде высоких деревьев, вроде кроны, чтобы задерживать звезды.

Крона было плотная от снега и небеса редели от умирающих, от падающих звезд.

Было тихо от проступающих цветов, от проступающих оврагов.

Было тихо на слабеющие легкие.

Сидеть от снега, от теплого вечера, от широко выпуклого окна.

Виднеться на маслины, на вино, на кукурузный хлеб – чурек, виднеться на мягко сваренную армянскую со специями – фасоль.

Темнеющий на профиль старик, очень худой, очень стройный, в клетчатой рубашке будет говорить про древность, будет говорить про разрушенную, про спаленную еще до Великой Отечественной войны каменную церковь святого Георгия, каменную церковь высоко на горе, на высоко опрокинутые горизонты, на вставленные в зрение текучие звезды:

– Раньше здесь никто не справлял "Хендрелес'', этот мне непонятный и неизвестный праздник. Никто вблизи церкви святого Георгия не резал, не обрубал головы петухам, курам, баранам. К Святому Георгию никто не подносил отрубленные головы. Сколько я помню – здесь никогда не праздновали язычество. Могли в долине, в горах, в селениях зарезать скотину, птицу и раздать нищим, бедным, соседям. Село Альпийское распилили на проданную землю, превратили в местечко мертвых, в местечко и кладбище тех, кто здесь никогда не жил.

Распространяться вниз, в долину, и все займет лаковая на листья тишина. От тишины будет жирно на пальцы и на проставленные следы как ямочки парнокопытных животных, ямочки заостренные для клейма, для ярма. Так больно продавлены ориентиры словно это взгляды пропадающей конницы.

– Председателем колхоза «РИЗИСПАСИС» в начале тридцатых годов был мой отец – Юсуп Хаджи-Мустафа, пчеловод. Но мой отец был безграмотный, не мог ни читать, ни писать, расписываться едва мог. А на посту Председателя колхоза нужно читать документы. Поэтому мой отец проработал недолго. И новым Председателем колхоза стал Чангалиди Коля. Чангалиди – это турецкое слово. Чангалиди – тоже турецкое слово, но обозначает совсем другое, чем Чангалиди. Чигилиди – это крючок, борода, подбородок. Хотя по первоначальному звуку они очень близкие – Чангалиди и Чангалиди. Чингилиди – чудная, чудесная страна, чудесная на звук, на произношение фамилия. Чангал – по южно-черноморски взгляд, бешеный на любовь, бешеный на ласку, на сумасшедшую погоню за вечно бегущей собакой золотистого цвета, с вилящим, раскачивающимся профилем, с сияющим взглядом девчонка в синей косынке греческого цвета, античного на скалы вблизи пролива Горгоны и острова Кос... У Чангалиди Коли был сын неродной – Митя, небольшого росточка всегда. Раньше я его часто видел. Теперь не вижу...

А Колю Чангалиди посадили в 1937 по политически.

– А почему его посадили в 1937 году по-политически?

– А кто спрашивал?!.. От селения Альпийское посадили пять мужиков греков. И одного армяна – Чолокян... Отца Володи Матосяна, деда Героя Абхазии Сергея Матосяна тоже посадили на десять лет. Он вернулся.

– А где они сидели?

– На Магадане, на Колыме. Среди лютых морозов, на лесоповале. Из пяти мужиков – греков, арестованных по-политически, которые расписываться не могли, которые знали только лопату, кирку, цапку и кусок земли на горах, знали только каторжный труд, чтобы прокормить семью – никто не вернулся. Только один вернулся – Иониди Яни. Не успел он вернуться из заключения – из Колымы, в 1947 году, как его выслали в 1949 году – в Казахстан. Он там и скончался. А семья его уехала в Грецию... Из Верхнего Альпийского селения – арестовали шесть мужиков – греков – никто не вернулся... Анапа, Геленджик, Туапсе выслали греков, турков, армян. Раньше греки жили везде – Гагры, Пиленково, Леселидзе (Гечрипш), Сухуми, Афон – сейчас никто не живет.

Председатель колхоза «РИЗИСПАСИС» Чангалиди Коля был арестован в 1937 году, вернулся в 1947. Уехал вскоре на Кубань. У Коли жена была русская. Коля Чангалиди родился в 1885 году. Где и когда умер – не знаю.. Чингилиди Алексей парикмахер. Жена его Опсимания. Мать – Феди и Кости... Опсимания – хорошо пела, в бубен играла, участвовала в художественной самодеятельности местной гагринской огромной по населению общине греческой. Умерла в 1980 году. Похоронена на Колхидском кладбище. Алексей, муж Оптимании, умер, когда ему не было и семидесяти лет. Умер много раньше нашего возвращения из ссылки.

У этого грека парикмахера тридцатых, конец двадцатых годов двадцатого века, было двое сыновей – Федя, с 1918 года, и Костя с тридцатого года. Двое дочерей – Настя и Люба. Жили Чингилиди вначале в глубине Жоэкварского ущелья, а потом на улице Морская, рядом с типографией, в бараках, в одноэтажных жилищах. Федя очень чернявый работал массовиком затейником в дом отдыха «Боеприпасы». Федя часто водил своих отдыхающих на свидание с отдыхающими в санаторий «Челюскинцев». Устраивал перекрестные вечера-гадалки,

загадки, шарады, танцы. Работал на сближение санаториев. Работал на сближение долины и моря. «Челюскинцы» располагались у самого моря. А «Боеприпасы» на высокой горе, в окружении всегда фиолетовых глициний и раннего памятника Сталину. Федя – массовик был очень красивый, выглядел впечатляюще: в тонко-шерстяном костюме белого цвета на абсолютно смуглое лицо. Федя много возился с отдыхающими-курортницами. И шла молва, что Федя не способен иметь детей. Но однажды Феде попались женщина из Саратова. Пообщалась с Федей и уехала на Волгу. В скором времени сообщила Феде, что она родила сына и назвала его Петей. Федя тут же уехал в Саратов, привез женщину и сына. Обвенчался с ней и назвал сына – Сократом. Вот так и жил этот мальчик – в Саратове, когда он уезжал к бабушке и дедушке – его звали Петей, близкое созвучие с Федей, а когда приезжал в Гагры к отцу его звали Сократом, близкое по звуку с городом Саратовым откуда была его мать. Но вскоре Федя заболел раком желудка и умер, когда ему было всего сорок два года. Умер в 1960 году. Жена Феди тут же уехала на житие к себе на Волгу. Гагры ей не прижились, не пришлись по душе. Шло на мелкий камень, на щебенку, на белое полощущее полотно, шло на рашпиль в сандалиях на босу ногу. Шло на гоплитов в отточенный пролив, голубоглазый на серу и на вздох. Мягко шли загорелые ноги на бечеву.

Младший брат Феди – Костя вначале работал шофером, сильно поранился во время аварии. После многочисленных травм бросил шоферское дело – стал, по совету старшего брата, тоже массовиком-затейником в санатории «Челюскинцев». Был очень красив, имел большой успех у женщин-курортниц. Многие курортницы пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов после краткого общения с греком, сделали Гагры своей путеводной звездой.

Грек был аккордонист, знал все виды курортных развлечений. Был смугл, огромен, очень подвижен, великолепный танцор. Медленные танцы – танго, бостон, вальс-бостон были для грека изюминкой и шармом.

Вскоре после окончания грузино-абхазской войны Костя исчез в Грецию, и там вскоре умер. Было ему не больше семидесяти лет. Как и его отец, отцу.

Сын Кости исчез в Краснодарский край в местечко – Красная поляна. Исчез высоко в горы к хребту Ачишхо, Аибга. Исчез в высокогорный воздух в те года – целебный пока его не уничтожила высоковольтная

курортная цивилизация, высоковольтная курортная индустрия. Сын Кости – Юра женился на женщине с двумя детьми. Оброс хозяйством. Шоферит по Краснополянской трассе. Также высок, могуч как и его отец-баянист и соблазнитель курортниц.

Настя – дочь парикмахера в Гаграх долго не жила. Исчезла сразу после окончания средней школы в Гаграх – в Россию. И этим спаслась от ссылки, от высылки в Казахстан, – только потому, что она гречанка. Так всегда шло в России, в СССР, в Грузии, в Абхазии, во всем мире – преимущество одной нации над другой. Потом господствующая, профилирующая на сегодняшний день нация сменялась, уходила, и на смену этой господствующей нации сегодня шла другая нация, которая раньше ходила в унижении, в рабах, в слугах.

И это извечно для человеческого рода. Поэтому и справедливости не будет никогда.

Другая дочь парикмахера – Люба Чингилиди вышла замуж за грека Анести Андроникиди, специалиста по торговой части, очень резкого на слова, на ответ, на язык; юркого на бег, участвовал в марафонском беге на соревнованиях Гагринского района в тридцатых, сороковых годах двадцатого века. Прожил девяносто три года. Был с 1910 года. Был обаятелен в общении, и даже будучи в заключении, смог устроиться на зоне – в хлеборезку. Как-то грек Костакис упрекнул Анести:

« – Ты же, Анести, никогда не работал физически..

– Когда говоришь с настоящим греком – сначала вытри рот. Перед тобой великая цивилизация. И касательно твоей ехидности насчет моей физической работы. А физически в хлеборезке кто резал хлеб для заключенных?! Ты!?..»

У Любы, (умершей очень рано от рака груди – примерно в восьмидесятых годах двадцатого века) от Анести был сын Панджо, который после окончания строительного института женился на красивой гречанке – Лене Бумбуриди, гантиадской, из Гантиади (Пиленко, Цандрипш). У Панджо от Лены родилась двое детей – Одиссей и Эллада. Одиссей сейчас живет в Москве – провизор. А дочь живет в Греции. Очень красивые греческие дети. Как будто золотое свечение от солнца замешано на них, от них.

Анести когда-то купил дом у Христо Попандопуло возле берега моря, возле старого Старого базара, вблизи дома рыбаков. Там еще напротив Анести, рядом с трансформатором, жила семья турка безногого.

Ноги отрезаны чуть выше колен, всегда завернуты в плотную непромокаемую материю. Турок передвигался на низкой деревянной подставке с колесиками, на подшипниках. В этом доме всегда играли тайно от властей на деньги. Потом этот дом малюсенький турка купил старый житель Гагр **Петр Филлипович Молоко (Киселевы).**

И так много на неасфальт, так много на голую тщательно подметенную во дворе турка землю. Так узко на кусок земли. Так как будто земля примята, прижата. И вечный гул от многоголосого базара как стреха.

Семья этого Христо Попандопуло быстро пропала. Никто из этой семьи Попандопуло не жил больше, чем шестьдесят лет. Сам Христо-сапожник умер в семидесятых годах двадцатого века. Следом ушли и жена Христо и его сын.

И был еще Костя Попондопуло. Весь синий от пьянки. Как пронизан синим алкоголем. Потом у Кости от пьянки отнялись ноги. Мать этого Кости – русская Шура была, стала сразу после рождения, Кости – хромоногой. Всю жизнь эта семья скиталась по квартирам, по частным домам.

Домишки Гагр пятидесятых годов, сороковых, тридцатых, когда в Гаграх жило очень много греков, турков, персов – низкие, маленькие, щербатые, крыты дранкой, старым железом, камышом. И это свято на память, потому что пульсировало будущее юных сердец, когда им по десять, по двенадцать лет.

Понимать, поднимать память, взрывать, чтобы память не околела. От ночи терять нерв, от ночи терять профиль, терять ориентир корабля, ориентир эсминца. Как будто от старости ворошить зерно. И прикрыто на пепел. Словно моросить на дождь и нет калош.

Коча смотрит высоко с горы на краснеющую полоску моря, на краснеющую полосу горизонта:

– Когда море открывается, когда чистый горизонт зимой – будет холодно, будут звезды, если продувает от севера, если от севера идут долгие человеческие седые головы на небесах. Когда с юго-востока будет тепло... ...Брат Лены Бумбуриди (Андроникиди) был или начальником милиции в Гантиади или работал в Адлерском аэропорту. Умер четыре года назад от сахарного диабета, был, в возрасте когда ушел...

Федя, сын Алексея и Опсимании Чингилиди, культ-массовик затейник в дом отдыха «Боеприпасы» пел красиво. Все его любили. Даже скупой

на похвалу Анести Андроникиди хвалил Федю. Федя был общественный человек. Возле Феди было всегда хорошо, уютно. Такого как Федя – нет и не будет.

– Почему?

– Когда Федя появлялся – от него все становились счастливыми, веселыми. Есть же такие люди на свете, которые от себя распространяют тепло, озарение, сияние... После войны дом отдыха «Боеприпасы» переименовали: «Сельхозмаш». Все местные греки – до высылки в Среднюю Азию, в Казахстан – из нашего селения Альпийское – ходили в «Боеприпасы» на танцы. Спускались с горы, проходили внутри Сосновой рощи, внутри раскачивающихся мелодий, которые городили, проигрывали сосны очень высокие. Все колебалось на грозы, на молнии, на падающие звезды, на корабли сторожевые, на эсминцы вдоль наших сердец. Все было тревожно и все ожидали канонаду. Внутри сердца как фонари рвались нервы оповещения, нервы погранзастав, которые брали в штыки.

Греки в те года – довоенные составляли костяк молодежи Гагр, составляли костяк эллинской культуры. И как благодаря нацизму многолетнему по отношению к грекам Черноморское побережье растеряло Анаксагора и Гераклита – высшую элиту человеческого сознания. После исчезновения с берегов Черного моря греков, турков, персов климат заработал только на поражение. После исчезновения чернеющей кузни и хромоногого бога огня Гефеста. И так явно после греков стало работать на инфекцию.

Федя Чингилиди сначала своей жизни работал парикмахером, как и его отец. Работал на Старом базаре, рядом с лесопильней. Лес спускали с гор на лошадях – греки-чаландари. Феде к тому времени было за двадцать. Федя первый, кто мне оставил усы. Интересный факт моей биографии. Потом Феде надоело возиться с человеческими волосами. Федя устроился в дом отдыха «Боеприпасы». Федя еще до Великой Отечественной войны возил отдыхающих на озеро Рица – на открытых машинах. Машина на пятьдесят мест с открытым верхом – называлась «Торпедо». Опущен брезент на борта машины, обдувает ветерок. Но если начинается дождь – брезент натягивается на металлический каркас, на металлическую стальную арматуру.

От селения Альпийское в дом отдыха «Боеприпасы» греки шли ущельем, глубокими оврагами, сокращали пути. И там, где живут Бандурян, Верхний дом, вдоль их сада шла дорога к морю, мимо Госбанка Гагр,

начиная от двадцатых и до конца семидесятых годов двадцатого века.

Раньше жизнь Гагр сосредотачивалась вокруг Розового сада. И прямо за берегом к морю длился высокий обрыв. И от ущелья к морю по подземелью, под набережные, под городом шли две (из железобетона) трубы большого диаметра для стока воды из ущелья того, где до войны, под самой Сосновой рощей, дымилась греческая башня для обжига кирпича. И когда еще до войны Великой Отечественной стали копать заброшенный, заваленный огромными камнями овраг, – обнаружили железобетонный мост, который был сооружен еще Принцем Ольденбургским. Это местечко стали раскапывать, потому что вода стала во время дождей заливать центр города. Вода с гор стала литься поверх огромного диаметра труб древних. И когда обнаружили мост, растащили камни за несколько месяцев тяжелой работы – вода стала пробиваться, мощным потоком мчаться через и сквозь трубы еще тоже Принцевские – к морю, в море. И когда в 1932 году было большое наводнение – этот мост откопали. Все за двадцать лет было так завалено валунами, что над Гаграми стала скапливаться высокая каменная гора. Рабочие работали в этих карьерах в несколько ярусов. Тогда же не было техники никакой. Все вручную – кирка, лопата, носилки, тачка. Стоя на дне пропасти рабочие – в основном турки и греки – поднимали камни над головой на приступ, на площадку узкую. А тот рабочий, который стоял на более высокой ступени – поднимал камни еще выше, и таким образом десятки раз – пока не опускали камни на поверхность земли. Дальше камни складывались в тачки – и развозились по низким местам, свозились к берегу моря, забрасывались в болота, в зловоние, которым так насыщались Гагры. Насыщались болотами и лягушиным альтом, лягушиными перепонками.

– А эти места в Старых Гаграх, вблизи старогагринского базара, это жуткое здание-бывшие конюшни Принцевские, где в тридцатых годах убивали самых достойных людей. Им всем клеили одно: «Заговор против Советской власти. Троцкистский блок. Покушение на вождя...» А бедные крестьяне были такие чернорабочие, все в земле: само слово **заговора** никогда не слыхали...

– Тогда начальником Рай НКВД от тех мест, где расстреливали невинных в этих казематах подземных был Кирцхалидзе. Шофер у него был Мешишян Кивор. Машина разъезжала по городу. А сзади, как в люке, закрыт толстым листом железа бронированного сидел за

пулеметом – адъютант.

Отделом НКВД в Новых Гагр заведовал майор Арания. Он имел машину «Эмку». Шофер у него был Мосян Ардавас. А последующие года майор Арания заведовал в Гаграх охраной мостов.

И еще в гагринском НКВД работал Луков. Заместитель его был Ивановский. Этот отдел располагался там, где жил хирург Эйсинян, где раньше был военкомат, где сейчас православная церковь.

Коджава Митрофан Иванович был в те года первый секретарь райкома. И райком располагался там, где сейчас Колоннада. Там было и НКВД. Эти готические здания с элементами венецианской архитектуры мрачно нависали над Принцевским приморским парком. Загашены на подвалы, на подслушивающиеся голоса.

Луков любил пить. Любил не платить. И его однажды моряки раненые из госпиталя, который раньше располагался в здании санатория «Челюскинцев», и отлупили за это пристрастие Лукова не платить. Во время войны в Гаграх было много вина, водки, везде тороговали. Было много раненых, выздоравливающих моряков. Ходили офицеры сухопутных войск, морских войск, ходили летчики. По ночам в горы уходили работники НКВД, солдаты внутренних войск – на поиски немцев, которые могли спуститься с гор, с Рицинских перевалов, могли просочиться со стороны Туапсе, со стороны перевала Индюк.

Ходили по городу Капитаны первого ранга, Капитаны второго ранга. В тельняшках, в кителях белых, темных. Ходили истинные защитники Отечества. Мы, греческие мальчишики, спускались с гор, чтобы полюбоваться моряками, солдатами. Полюбоваться теми, кто столько раз смотрел в лицо смерти. Эти воины были для нас лучшими опорами на будущую достойно прожитую жизнь. И ненавидили тех, кто прятался за «бронь», чтобы не идти на фронт. Ненавидели тех, кто строил типовые сванские дома для будущих переселенцев из Грузии, хотя шла война и немцы уже заняли высогорное селение Псху – рывок, цитадель, чтобы овладеть черноморским берегом Абхазии, Сухумом. Немцы рвут горло России, а Берия, а Сталин уже строят дома для своей нации. Как мы ненавидели работников Гагринского Райсполкома, которые еще во время войны начали выгонять из домов греков, персов, турков, армян, русских, абхазов, местных грузин, чтобы обеспечить лучшие куски земли вдоль берега моря и бесплатные дома для своих людей, – пока все честные люди на фронте, пока воины – защитники своих жен, детей,

матерей – на войне. Потому и была война особенно ожесточенной что именно Людоед – профукал все нужное время для предотвращения агрессии. Именно Людоеду мы обязаны гибелью десятков и десятков миллионов лучших людей СССР. Поэтому: «Война – тебе, чума – тебе».

От отстроенных жилищ, от мулов, от ишаков, от коров от пастбищ, от отрезанных куриных, петушиных голов, корпусов. Тепло и на влагу, и на весну, и на пристроенные к небу водоросли, земные побеги, острия. Расположенные среди камней и на камнях по которым ползают, проползают мерещатся змеи, ужи, черепахи, ежи. Мерещится куст ежевики, ожины.

От простреленного горла, простреленного клыка.

От убитого дельфина коричневого цвета, попавшего в рыбацкие сети. Начинает вздуваться, пухнуть. Заглушать в себе самом звук, слух.

Мрачно на позвоночник и на его, на старика отброшенный кадык, темнеющий как птичья просфора, как пророслий рыбачий руль.

От красной земли, каменистой, просыхающей очень отвесно для быстрого роста и поспевания инжира и винограда. Для зрелости маслины, очень жирной на вкус, на размытые пальцы, на размятую ладонь.

Насыщать душу эллинским смальцем. Насыщать душу суховеем и жарой на пологих откосах, на исторических холмах.

И когда было вернуться из ссылки греческого, турецкого, персидского населения Абхазии из Казахстана, где постоянно растет напряжение от неисчислимых безбрежных пространств и пустынь –горы отвесные Абхазии, Гагр – пугали, уничтожали возможность скрыться, спрятаться, если горы начнут падать, начнут извергаться, когда в узкую долину потечет лава, и некуда будет спастись. Разве что в море, в солено-теплую воду, в солено-теплый животворящий простор, раствор. Но море для дыхания людского – иная среда, иная стихия, от воды человечьи легкие не продышат, не смогут преодолеть скорбь.

Идти как на перископ на подводную лодку и под глянец, под застывший шелк, под застывшее знамя.

Продувать легкие на перекат, продувать на перекат жабры огромных млекопитающих.

От Бориса Паланова, от конца тридцатых годов двадцатого века, от белеющей скалистой альпики, от огромных ужей, от множества

птиц.

– И Борис, и Герман, и Игорь Палановы в узких ущельях гор находили грибы. Несли домой в свою однокомнатную скитальческую обитель, сотканную из каштановых досок. Родители ребят солили эти грибы, мариновали. И делали это с таким мастерством, с таким вкусом и изяществом, что все гагринские санатории и дома отдыха наперебой покупали, закупали у Палановых этот сладчайший продукт. И ни мяса не нужно, ни шашлыков. И такие сладкие – эти "сопли'', такой сладкий этот густо-сваренный рассол так плотно замешан на лавром листу, листе. После сладкого молодого вина так изящно насыщаться этим грибковым, грибным эликсиром.. И эти ребята по лесам находили яички – кукушкины, яички дрозда. яички голубей, яички ласточек – выдували из яичек птичьих гущу-белок и желток – и сдавали, относили в школу номер два, в Принцевскую школу десятилетку – в музей по зоологии, по ботанике. Собирали гербарий.

– Гербарий.. – фактически построенный на трупах. Труп растений, труп птиц. И в этом есть иезуитство – разорять, уничтожать птичьи гнезда. Это все равно, что уничтожать человечье жилище руками, лапами ихтиозавров. Это все равно, что уничтожать пчелиное жилище, пчелиный медообразующий слой... Это – юношеская жестокость, вампиризм. И это свойство любой движущейся материи – обязательно давить тех, кто слабее, кто изящнее, кто красивее.. Конечно, если бы выросли, если бы не были убиты на войне – они бы поняли, осознали свои ошибки, осознали бы свои провалы в юность, в юности, и, конечно, им было бы стыдно. И они бы попросили бы у бога прощения, милости. Но там, на небесах, ничего не прощается, не прощается подлость, не прощаются уловки. Если бы там прощение всегда и всем – то и грешить можно было всегда; стать дьяволом в надежде, в уверенности, что там простят. Но факт "избиения младенцев'' все равно остается. И это ни в какой нише ни в какую нищу не уничтожить, не уничтожишь, ни спрячешь. Иначе на земле восторжествует – нечисть.

– Но это их единственный на мою память, – негуманистический поступок, – отвечал грек Коча, восьмидесятилетний. – А кто от юности был, прожил без греха – только ангел небесный.. Такие ребята были – красавцы. Герман Паланов писал стихи и печатался в литературном альманахе Союза писателей Абхазии. который выходил в Сухуми до войны Великой Отечественной... От этих ребят шла

такая мощная перспектива – русские великаны в Абхазии, у себя на родине – Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич... И так обидно и скорбно, что все они погибли на Великой Отечественной войне. Всем братьям Палановым едва минуло двадцать. Один умер – от воспаления легких в госпитале в Тбилиси, когда простыл на высоковольтных перевалах Псху на Санчарском перевале, обороняя Кавказ от немцев-фашистов в 1942 году; другой брат погиб в Белоруссии, в партизанском отряде; третий – пропал без вести. И муж Тамары, сестры старшей этих братьев, грек, Митя Мавроди – был майор-артиллерист, был ранен смертельно, и похоронен в Кисловодске. Во время войны – здесь, вблизи дома Палановых, была похоронена двухлетняя дочь Тамары, умерла от простуды. Домик палановский был сделан из досок, не заштукатурен , продуваем со всех сторон. Дочь Тамары похоронена среди вечных фиалок, вечных гладиолусов, над вечным морским покоем.

– Тамара Васильевна Паланова, заслуженная учительница Абхазской АССР, была моей крестной. Она крестила меня, когда мне было три года. И это было в 1944 году, – говорит грек Костакис. – Тамара Васильевна также крестила мою старшую сестру и брата... Скажи, Коча, а Борис Паланов, с кем ты больше всего дружил, был с какого года?

– С тысяча девятьсот двадцать пятого.

– Значит Борису не было и шестнадцати лет, когда он ушел на фронт. Действительно, святые младенцы. С какой святой патриотической верой: "Родина в опасности. Надо спасать''... Действительно, из вечности: **"Мы были высоки, русоволосы. В книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли не долюбив, не докурив последней папиросы..''** Как жаль, что я не расспросил подробно о бытии этих ребят у их родителей, у их сестры, когда они были еще живые. Мать ребят Палановых – Мария Васильевна умерла в 1959 году, отец – Василий Петрович – в 1974 году. А дочь их умерла – в 2005 году. И было ей восемьдесят восемь лет. Похоронены и мать, и отец, и сестра этих ребят героев – тут же на горе, в селении Альпийское, где до войны жили поголовно греки, а сейчас живут поголовно армяне...

– А ты, грек Коча, с какого года рождения?

– Я тоже с двадцать пятого.

– А почему тебя, как и Бориса, не взяли на фронт?

– А греков не брали на фронт.

– Почему? Кого-то брали, кого-то не брали... Кого-то выслали, высылали в Казахстан, Томскую область, а кого-то не высылали...

– Высылали тех, кто не был рожден в СССР. Кто родился в Советском Союзе – тех не высылали.

– Каждый по-своему говорит о трагедии греков, персов, турков в Абхазия в начале, середине тридцатых, сороковых годов двадцатого века... А те, кто уехал отсюда в Грецию – ТАМ тоже чужие, тоже "парашютисты'', тоже не коренные. Это они через три-четыре поколения станут своими. Только внуки, только правнуки. И даже тогда, и даже тогда... Несчастный людской простой человеческий состав, несчастное человечье жилище... агрессивное. Поэтому и нет пощады... Но почему одни нации рождаются под более счастливой звездой, а другие под более несчастной звездой? Или такого быть не может? И ты знаешь, что я подумал? Братья Палановы – все ушли на фронт добровольцами, были воспитаны патриотами своей страны. Не спрятались в лесах, в ущельях, за холмами. Не изувечили себя, не покалечили, чтобы не пойти на фронт. А сколько было негодяев, приспособленцев, спрятавшихся за чужие спины, добившихся брони, чтобы остаться в тылу. И вот этими негодяями пополнился, спасенный честными ребятами мир. Негодяи, трусы выжили за счет порядочных людей. Это очень трагично и непоправимо. Поэтому мир и идет под скальпель чумы. И эти негодяи, спрятавшиеся от войны, и стали править страной, когда погибли все честные люди.

Было на кровь и на матросские ленты. Когда узко – линкорно движется фарватер, разрезая нашу юность, наше отрочество.

Второй секретарь гагринского райкома Падзагуа – кричал Лукову:

– Когда ты начнешь платить за хлеб-соль?... Постесняйся...

Луков часто приходил к нам на гору, в селение Альпийское, приносил рыбу, хамсу. Греки же хамсаеды. И у нас дома мы кушали, пили вволю. У нас все было. И вино, и водка, и козы, и овцы, и лошади, и мулы, и быки. Лучше нас никто не жил. Мы в горах выращивали картофель, капусту. Наша семья была большая. Мы все трудились на земле, – не покладая рук.

Когда нас выслали в 1949 году за то, что мы греки, за то, что мы турки, за то, что мы персы – как наше сердце не разорвалось, когда

вслед нам – абсолютно голым, кричали вслед наши собаки, наши лошади, наши коровы, наши козы, наши дома. Наши коровники. И все это оставлять без присмотра на погибель наши усилия, наш труд. Сердце разрезал плуг железный, ржавый, ненавидящий нас.

Луков, Хухуа, (тогда начальник паспортного стола), пытались нас, нашу семью отстоять, но не смогли. Они и сами рисковали головой вступаясь за нас.

И напоследок на утешение всем живущим:

– Если богатеешь на своих мозолях – это хорошо.

Если богатеешь на чужих мозолях – это плохо.

И хорошее тебя найдет и отблагодарит.

И плохое тебя найдет – и отомстит.

И когда нас сажали на товарняки на станции Бызбь в тысячу девятьсот сорок девятом году – грек Соуксиди играл на киминче, плакал на киминче

Вырезать дырку в деревянном полу скотского вагона тайно вывезенной пилой, чтобы можно было выдохнуть во мрак сутулые от уродства кишки, скрюченные под туберкулез.

И от вечных слов матери, главных по надежде: **«Так не хочется уходить с этого двора..». Откуда прожито шестьдесят с лишним лет.**

Как соединено, вкраплено у Ивана Алексеевича Бунина: "У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому , когда я уходил с отцовского двора, сказать: "Прости родному дому!''

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце горестно и громко, когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом с своей уж ветхою котомкой!» 25.6.1922 года»

И еще из слов матери перед уходом, перед взлетом в иные заповедные, неизвестные края, неизвестные ориентиры:

«Вот я умру. Лягу в землю. В земле выздоровею И вернусь к вам, к себе домой, и буду вас, своих детей, ругать.

– За что?

– За что, что плохо ведете хозяйство..»

Надежнее этих слов, этих признаний, важнее для всех миров – для своего утешения – я ничего не слышал пока жил на земле, на поверхности деревьев, трав, лугов, волн, болезней.

Мое главное поражение в жизни – это смерть отца в 1943 году, когда мне было два года и три месяца. Отец убит немцем в Великой Отечественной войне.

Как сказал бы Хемингуэй: "Лучше отца я никого не видел на ринге''. Не житие без отца – моя главная потеря на земле, хотя мне уже под семьдесят. Поэтому немца – гитлеровца, гестаповца ненавижу: потому что он убил моего отца. Ненавижу работников гагринского НКВД тридцатых годов на Собачьем хуторе в подвалах которого был убит мой дед. Ненавижу работников НКВД тех лет, питавшихся человечиной за столом которых сидел главный людоед СССР. Убийство сорока миллионов лучших людей мира– вот результат его деятельности на земле.

Ненавижу все убийства на земле. Убийства людей, убийства животных, птиц, рыб, млекопитающих. Ненавижу выживание одного рода, вида за счет смерти другого рода, вида. Поэтому у всего живущего нет шанса на небесах. Слишком много нажрато крови, нажрато весны, нажрато осени за счет других, за счет другой весны, другой осени, жизни охотника за счет смерти благородного оленя, альпийского высокогорного человеческого тура. И именно поэтому: "Не стреляй в тех, кто на четырех ногах. Стреляй в тех, кто на двоих''.

Человека уже почти десять миллиардов, а высокогорных туров осталось не больше тысячи особей на земле.

Доколе Бог, если он есть, может смотреть на эту нечисть, агрессивночеловечью, на все это убийства младенцев! на убийства этой красы златорогой!

Поэтому – слепой, сирота, безотцовщина брошен на растерзание среди болот.

Состоять только в духовности, в духе, бестелесно, недоступно прощупыванию, недоступно звезде, недоступно лунному свету.

«..Там солнце светит, и звезда горит, и смуглый мальчик что-то говорит, и рыбаки выгаскивают сети, и весело стружат свой улов, и так шумят, что мне не слышно слов.

Но мальчик не нуждается в ответе..»

«Он строил «Ад», «Чистилище и «Рай», как строят дом – за

камнем камень, – где будет и собачий лай, и детский смех, и чье-то «Амен».

Божественный он строил дом на случай , если бога нету, чтобы не мыкаться потом с подругой по пустому свету..»

«Рай – это так недалеко... Там пьют парное молоко, там суп с тушенкою едят и с Дантом за полночь сидят.

Там столько солнца и дождей, чтоб вечно алы были маки; рай это там: где нет людей, а только дети и собаки.»

"МАМЕ''... "А мертвые беспомощны, как дети, друг к другу жмутся и глядят нам вслед. И ты глядишь в сиреневом берете, и падают снежинки на берет.

И даже с места сдвинуться не в силах, все ждешь, когда я за тобой приду... Так ждут нас наши мертвые в могилах, как дети у забора в детсаду.

Инна Кабыш, «Место встречи», «Новый мир», № 1, 1996 года.

Со всем согласен в стихах Кабыш. Только не согласен, что там едят мясо, что там убивают зверей, птиц, рыб. Что там вообще есть убийство.

Марта 2007. Гагры.

20.8.2000 года.

ПОРТРЕТЫ ЮНОСТИ

Быть в Старых Гаграх на территории санатория, и там прочесть мемориальную надпись, вылита на чугуне, на чугун, как на бессмертный мрамор:

"1941 – 1945 год.

Здесь в годы Великой Отечественной войны дислоцировались штабы 20 и 61 горнострелковой дивизии 46 армии, и размещался эвакогоспиталь

№ 2131''

Позвонить Ласкавой Наталье Георгиевне и передать ей этот текст. Ласкавая – работница госпиталей тех военных лет.

– Насколько я помню там, в годы войны были курсы политработников Действующей армии. Может быть, поэтому и потом все это было переведено в штабы дивизии; оттуда готовили морские кадры. Жалко, что куда-то уехала из Гагр – Шапошникова. Она работала в этом санатории. До войны Великой Отечественной он назывался «Санаторий 17-го партсъезда''. 17 съезд расстрелянных'', как говорили потом. Ведь всех участников семнадцатого партсъезда Сталин расстрелял, потому что почти все участники партсъезда проголосовали за Кирова как за Генерального секретаря КПСС. Проголосовали за Кирова, а не за Сталина. ...Про санаторий "17 партсъезда'' все знал Володя Сологуб... Но он умер недавно. И мог, конечно многое рассказать. Володя Сологуб был в составе этих курсов политработников. Сам вышел из этого крыла, курса.

В годы войны в самой крепости Старогагринской располагалась воинская часть.

И в ущелье Жоэкварском тоже располагалась воинская часть, пехотная.

На стенах старогагринской крепости за пятнадцать лет до абхазо-грузинской войны была проставлена мемориальная доска, где указывалось, что отсюда горно-пехотные батальоны ушли на Санчарский перевал. И там все эти батальоны молоденьких ребят погибли в снегах, вблизи местечка Псху. Погибли прежде всего потому, что были недостаточно экипированы. Почти голые застыли в снегах. Там счет был такой: один погибший немец на десять погибших советских солдат, офицеров.

Вот отношение советского командования к своим воинам.

Во время абхазо-грузинской войны 1992-1993 годов этот мрамор, это мемориальная доска была уничтожена каким-то несмышленышем. И куски этого мрамора раскрошились на трупах и будущих и бывших.

Какая-то воинская часть стояла, дислоцировалась в санатории "Маяк''. До войны и после войны Великой Отечественной, он назывался "Морфлот''. Однажды эта воинская часть нарушила светомаскировку, и немец ударил по этому Цихервинскому ущелью бомбой.

Мы ходили в этот санаторий после работы, после госпиталя на танцы к морякам. Там у нас было много знакомых. Двое из них-

лейтенант – ходили к нам домой, в гости. Ходили к матери, к отцу. Отец мой и мать моя были врачами.

Одного лейтенанта была фамилия – Моисеенко Николай. Капитан – лейтенанты. У моряков так: должность – капитан, а звание лейтенант. А другой – Анатолий Орлов.

– А кто был красивее?

– Конечно, Моисеенко.

– Откуда он был?

– Из Донбасса. Какие они был скромные, преданные Родине ребята! Как они красиво шли по улице! Начищенные, надраенные, стройные. Их было видно издалека. Одним словом – моряки.

– А где они служили?

– По-моему, на торпедных катерах.

– А торпедные катера приставали к Старогагринской пристани, подходили?

– Нет. Моряков в Гагры присылали только учиться. После учебы, после курсов отсылали обратно в Туапсе, в Поти , в Батум, в Новороссийск, в Евпаторию.

– Давай, поедем разыщем этих ребят.

– Да их давно нет в живых. Моисеенко было еще в 1942 году тридцать лет, а Орлову – двадцать шесть. Если мне уже семьдесят семь, то им уже под девяносто.

– Но все равно интересно как сложились их судьбы, их пристрастия, если они, конечно, вернулись с войны. Ведь бились их сердца, горели за Родину. Не может быть, чтобы просто так все пропадало в смерть, в небытие. Есть какая-то ущербность в этом небытии на которое обречен человек. Куда делись, куда девается их смех, их улыбки. Где-то они обретают, где-то наши улыбки существуют даже после нашей жизни на земле. Без этих ощущений не стоит жить. Не может быть, чтобы после нас ничего не остается, кроме материальных завес... Скажи, товарищ Ласкавая Наталья Георгиевна, а ты с ними гуляла возле моря?

– Гуляла. Но ни с кем не крутила. Я была строгих правил. А Ира и Лиля могли валять дурака с двумя, с тремя одновременно. Но не дальше духовных свиданий.

– А кто такие Ира и Ляля?

– Мы вместе работали в «Челюскинцах», в госпитале.

ИЗ ЛАСКАВОЙ НАТАЛЬИ ГЕОРГИЕВНЫ, августа 2002 года:

– В госпитале, в санатории "Челюскинцев'' в тысяча девятьсот сорок втором году не хватало врачей для многочисленных раненных, которых привозили из перевалов Санчар, Марух, перевал Доу, из района вблизи Туапсе, Новороссийска, Крыма... И у нас, в частности вместо хирурга, на эту должность был назначен врач – окулист. Сейчас не помню его фамилии...

Лежал у нас в палате парней очень юный – девятнадцатилетний калмык, калмычонок. У мальчика – солдата было поражение ноги. Его уже распирала газовая гангрена. И ближе к ночи у парня сильно разболелась нога. Парень кричал от боли. Мы – дежурные – позвали врача – хирурга – того самого окулиста-непрофиссионала в хирургической практике. И этот врач спал, когда мы его стали будить для тяжело раненного солдата. Врач не стал бежать на помощь солдатику. Закричал: "Завтра. Только завтра утром посмотрю эту солдатскую ногу...''

А когда он пришел утром – этот горе хирург – спасти ногу было уже нельзя. За ночь болезнь сильно продвинулась – к смерти солдата. И пришлось резать все ногу паренька – до икры.

И парень – калмычонок так сильно плакал от горя: "Ведь я же совсем молодой, как говорят – вся жизнь впереди...'' Мы ему говорили: "Ничего, приспособишься. Найдешь специальность, которая не будет требовать больших и частых передвижений...''

– А что это за газовая гангрена?

– От ранения, от раны начинают распространяться микробы, которые заражают всю кровь. А не только данный участок. По всему организму начинает распространяться инфекция... И этому парню – калмычонку должны были сделать – **лампасы**. То есть из ноги выпускать газы, которые скапливаются от раны. Должны были сделать разрезы в раненой ноге. А этого не сделали – и инфекция продолжила дальше рвать организм, распространяться... Прошло шестьдесят лет, а у меня в глазах этот парень-калмык.. Его боль. После операции – он попросил яблоко. И моя подруга Лиля Колесникова – медсестра – где-то достала ему большое, очень красивое яблоко.

– Ведь была зима. Где же она его достала?

– Не знаю.

– А вы по ночам часто оставались дежурить?

– Не так часто, не оставались.

– А вас патруль не останавливал, если заставал вас после ранних и поздних дежурство по палатам.?

– Я всегда удачно проскальзывала домой. Да нам и нечего было опасаться патруля. У нас же были соответствующие документы. Да я и жила недалеко от "Челюскинцев'' – в маленьком домике напротив нынешнего корпуса дом отдыха писательского – "Литфонд''. А Лиля Колесникова жила вблизи Центральной Гагринской больницы – чуть на горе, в домике художника Симонова. Ведь и Колесниковы и Симонов были же из Харькова. а к тому же Лиля была симпатичная, и патруль ее часто останавливал, чтобы просто поговорить, пообщаться. Ведь патрульные солдаты тоже молодые, почти юные. Да и госпиталь от дома, где жила Лиля был далековато и все по горе, по тропинке, среди ежевики, среди ярко-полевых цветов... И вдоль цветов явно реет полоска моря и явно выделят строгий девичий корпус...

– А куда потом делать Лиля? Куда делать после войны?

– Поступило куда-то учиться, в медицинское заведение. Осталась в Москве. Там вышла замуж очень неудачно за злавреднего полуполяка – полуеврея. Так и промучилась с ним всю жизнь.

– А она вышла за него замуж по любви?

– Конечно, нет. Она жила в начале в коммуналке. И в этой коммуналке жил этот зловредный тип. Он за Лилей постоянно ухаживал. Потом возникла проблема с жильем. И Лиле было, стало негде жить. А из Москвы уезжать не хотелось... Вот она и выскочила замуж, чтобы остаться в Москве...

– Вот и печальный финал так ярко начинающейся жизни на берегу моря, вблизи финиковых пальм, вблизи кипарисов, вблизи ярко проблескивающих лунных дорожек от горизонта, и от палат в госпитале, где лежали так ярко обозначенные от юности исковерканные тела юных жизней, так рано начавшихся страданий молодых корпусов из линейных кораблей вечности.

– Очень скорбно.

– Да. А для чего делать разрезы – так называемые лампасы на ранах при газовой гангрене?

– При газовой гангрене от этих ран идет очень неприятный запах,

когда эта инфекция продвигается вперед для заражения всего тела. Эти очень подвижные микробы. Микробы эти очень боятся кислорода, разлагаются...

Портреты нашей юности – любимые, желанные до слез.

Из матери, из 1937 года, из Очамчиры:

– Я была по душе техникумовским товарищам. И красивая, и работающая, и хорошо училась, и недотрога. Да и тогда такого не было, как сейчас, распущенности... И грекам нравилась и абхазам, и мингрелам, и русским... Все они были местные, очамчирские. И вдруг приезжает из Гагр – Коля Соловьев и их, местных, побеждает в очаровании. Я начинаю отдавать предпочтение Коле, твоему будущему отцу. И тогда очамчирские ребята начинают угрожать Коле: "Не ухаживай за Марией, а то мы тебя побьем". Тогда Коля уезжает в Гагры и привозит из Гагр своего младшего брата Петра. А у Петра был еще с давнишних времен парабеллум – длинный такой наган со времен гражданской войны. И вот отец твой и брат его приезжают в Очамчиры, идут в сторону сельскохозяйственного техникума, и видят группу ребят очамчирских, которые угрожали отцу. Тогда Петр выгаскивает из сумки парабеллум, и начинает стрелять в воздух, пугать моих товарищей по техникуму и влюбленных в меня.

За этот поступок твоего, Костос, отца исключили из техникума нашего очамчирского, где он учился на зоотехника.

И поэтому отец всю жизнь работал жестянщиком – до самой смерти на войне. И было отцу во время смерти на поле боя под Харьковом тридцать два года.

И еще из памяти о матери, о ее вечной жизни для меня: " – Костос, ты занимаешься писательством. Это хорошее дело. Поэтому мне твои деньги не нужны. Я тебя прокормлю и из своей старости – рисовой кашей. Я же работаю няней в круглосуточном детском саду..."

"ВОСПОМИНАНИЕ О ВОКЗАЛАХ"

"...вокзалы военной поры,
пороги задымленных зданий.

Прими же, промозглый перрон и зал ожиданий ненастный,
проклятье от ждавших напрасно,
от всех ожидавших – поклон.
...Суровую нить бытия вы сами собой выражали,
когда меня в путь провожали...
Дорога – ворожея колоду свою раскидала...
Но то, что скрипучая ось в теплушке юнцу нагадала,
еще не сбылось, не сбылось...”

Наум Кислик

Как и у цыган. Как и у сербов.

Высоковыйная линия творчества, бытия, совпадающая с миром не тыловиков, выпрашивающих бронь, а солдат-героев штыковых атак с немцем-гестаповцем, с энкэвэдэшником-гестаповцем двадцатых, тридцатых сороковых годов двадцатого века в СССР, убивающих по подвалам энкэвэдэ ни в чем не повинных людей, убитых за сдержанное движение жеста, убитых по приказу Людоеда об обострении классовой борьбы в СССР.

“Лунное регги’’. Далеко от земли вспоминаю забытые лица друзей. Время, стой, не спеши, дай запомнить грехи прошлой жизни моей. Только звезды горят, за хрустальным стеклом снова вижу забытый свой дом. Припев: Moonlight Reggie. Одинокой луной тесно связаны мы с тобой. Moonlight Reggie. Для тебя я пою в черном космосе одинокую песню мою. Помню ночь, свет луны, и с тобой мы в объятьях ночной тишины. Пусть пройдет много лет – я вернусь в теплый свет нашей полной луны. Только звезды горят, за хрустальным стеклом снова вижу забытый свой дом. Припев.

ПИСАТЕЛИ О ТВОРЧЕСТВЕ К. ГЕРДОВА

Я знаю Константина Гердова около двадцати лет и с огромным любопытством наблюдаю за его литературным и нравственным совершенствованием.

Несколько запоздало, как впрочем, многие из нас, прорвавший к сокровищнице человеческого опыта – мировой и отечественной культуре, он принялcz наверстывать упущенное – жадно, взахлеб. Первые его прозаические опыты были наполнены самыми различными литературными влияниями – от древних греков до Марселя Пруста и одесской школы: Бабель, Гехт, Багрицкий, Паустовский, Олеша, Катаев. Слог его нередко был туманен, высокопарен, но сквозь неуклюжесть грамматических и логических конструкций прорывалось главное: чувство огромного загадочного мира природы и жизни людей и попытки найти себя в природе и в людях.

Гердов родился в 1941 году в простой трудовой семье в Гаграх, и море стало одним из главных героев его произведений. Несмотря на то что он много работал и в Сибири, и на Севере, и в Средней Азии в составе геодезических и геологических экспедиций и писал об этом, наиболее пронзительно у него все-таки получалось море. Эта соленая морская вода стала как бы материнским молоком его прозы. Острое ощущение моря как части мировой бесконечности нередко доходит у Гердов до физического и духовного перевоплощения, когда он чувствует себя проливом, по которому проходят корабли, рыбачьи баркасы и в теле которого бесшумного скользят рыбы. Он умеет сказать о море по-своему тонко, поэтично: “В волне ценность вещи, которую держишь, но которой никогда не владеешь’’.

В последнее время Гердов, отойдя от одического воспевания моря, свойственного таким его ранним рассказам, как “Пролив’’, “Волна’’, написал цикл рассказов о тех людях, которых он хорошо знает с детства и которые, как он сам, неотделимы от моря. Эти люди – как бы человеческое лицо моря. Гердов прекрасно чувствует не только море, но и землю Абхазии, и главное – руки людей, возделывающих эту землю, дарящих ей свой труд, свою любовь. Именно таких людей Гердов и называет Опоры земли’’.Иногда диалоги и природа в рассказах Гердова существуют как бы обособленно, но когда наступает естественное слияние, жизнь предстает одновременно в ее земной конкретности, и в

то же время в ее возвышенности, и только на этом пути Гердова может ожидать успех.

Гердов – писатель, еще не окончательно сформировавшийся, но формирующийся чрезвычайно интересно. Он – весь в поисках, весь в тяге к новым формам, что не так часто встретишь у нынешних молодых писателей. Я не старался слишком "причесывать" его, – тогда бы исчезло своеобразие и даже особенное, очаровательное косноязычие, происходящее не просто от неумения писать, а от переполненности прелестью мира, любимыми лицами людей. Гердов нежно любит природу и людей как ее неотъемлемую часть. Его нежность к природе вырастает до лирического гражданского протеста, когда Гердов говорит о защите природы (как, например, в блестящем описании жестокой охоты на сайгаков). Наряду с неровностями, у Гердова есть замечательные художественные прозрения, и ряд его прозаических пассажей выглядит как первоклассные стихи в прозе. По натуре он – поэт, и его нельзя судить с обычной меркой обыденной, бытописательской прозы. Замечательно описан труд геологов – пролагателей будущих рек, – без какого-либо сусального приукрашивания и в то же время с неподдельной нежностью.

Стоит проникнуться авторским настроем гердовской прозы, и мы почувствуем запахи моря, дыхание земли, увидим обыкновенных людей, внутри которых прячутся тайны мира. Если стиль Гердова во многом еще несовершенен, то это несовершенство, происходящее от внутренней переполненности, я предпочту столь распространенной сейчас гладкописи, под которой пустота.

Гердов находится в стадии совершенствования, но это еще не означает совершенства. Иногда он излишне воспаряет над подробностями жизни, иногда в этих подробностях захлебывается, не умея выделить из конкретностей синтез жизни, то есть перевести первую реальность – реальность жизни – в уплотненную реальность искусства. Иногда для того чтобы написать правду, надо уметь выдумать. Опытный читатель заметит, что иногда язык Гердова, при всех его находках, сыроват, – высокопарное и земное как бы существуют в нем отдельно, не смешиваясь, как вода с маслом. Иногда дневниковость, зарисовочность загромождают мысль или, наоборот, мысль слишком отделена от натуры, слишком метафизична. Но Гердов зато нельзя упрекнуть в бесстрастности, в школярском перенесении усредненного языка

печатаемой ныне прозы на свои страницы. Порой Гердов косноязычен, но это трудности речи человека, которому есть что сказать, а это все-таки выше разбитной скороговорки самоуверенного болтуна, которому сказать нечего.

Талант К.Гердова и раньше был замечен В. Катаевым, Ю. Казаковым, Г. Семеновым, В. Маканиным, Ф. Искандером, так что я не одинок в своем положительном отношении к его поискам. Надо поддержать этого очень талантливого, ищущего писателя, – в перспективе, возможно, большого.

Представляя читателю рассказы и повесть Гердова, я хочу пожелать молодому писателю очиститься от всего лишнего, наносного, как самоочищается море от нефти и мусора. Но путь к избавлению от этого лежит не только в собственной замкнутой работе, но и в печатании. Мне кажется, что факт появления в центральной печати книги (первая книга К. Гердова вышла в Сухуми в 1978 году) поможет Гердову трезвей оценить и недостатки собственной работы и ощутить, собственные потенциальные возможности, в которые я верю и в которые, надеюсь, поверят читатели его книги.

Евг. Евтушенко
1984 год.

Я хочу обратить внимание читателей на творчество Костантина Гердова. Этот молодой писатель явно талантлив. Его рассказы, в основном написанные о Гаграх, об Абхазии, являют целую галерею персонажей ярких, индивидуальных. Они напоминают мне героев "Сказок об Италии" М.Горького – столько в них света, простора, жизнелюбия. И в то же время они самостоятельны, оригинальны.

Я считаю, что произведение, даже весьма талантливое, написанное о Гаграх заезжим писателем, будет поверхностно, экзотично.

В данном случае все, о чем пишет Гердов, впитано им, как говорится, с молоком матери. Он тут вырос, тут его друзья, тут его жизнь.

Несомненно, Гердов найдет дорогу к всесоюзному читателю.

Ю. Казаков, декабрь, 1974 года.

ДОРОГОЙ КОСТЯ! Получил твою книжицу и, хотя занят бесовски, тут же проглотил...

Спасибо тебе за милые слова, коих не заслуживаю в краску вогнал меня своей нежной морской чувствительностью.

Слушай, дружище, я сразу уловил еще тогда (Ташкент, 1977 год) по нескольким бегло просмотренным абзацам, что ты –писатель волей божией. Теперь я это узнал наверное. Конечно, страшно рад, особенно за то, что удалось проклюнуться в мир из своего яйца. А ведь сколько талантов так и спят, не смогли проклюнуться сквозь скорлупу публикации.

Получилось так, что мы с тобой параллельно – в одном и том же году – проклюнули свои скорлупки. Дальше – пойдет уже полегше. Може, и не полегше, но ведь – пойдет!

В тебе есть главнейшее от писателя: способность вчувствоваться, вчувствоваться в предметы, до того, что как бы самому становиться ими. Морем, проливом, весною или деревом. Отсюда живое чувство текущего времени, жизни, дыхание вечности /Дыхание Духа, что, повидимому, одно и то же/ – пронизывает лучшие страницы твоей прозы. Именно прозы. А не "рассказов''. Какие там к черту рассказы?! У тебя же, собственно, ничего не происходит, ни действия, ни тем более события / не о чем "рассказывать''/. Это скорее рассказ наоборот – антиновеллистика. Рассказывается ни о чем; просто скользит взгляд по вещам, людям, воспоминаниям детства; становится гулким от обретенной временной емкости; вбирает тайную связь и вязь вещей и повторяет сам очертания этой вязи – отсюда некая /порою/ причудливость слога и перескоки – перелеты и какое-то щемящее присутствие недосказанности, неясности /размытости, излюбленной тобою, неразгаданной, но угадываемой глуби, т.е. тайны. Пусть бездонность невидима, ведь дна-то нет для глаза, но именно это и притягивает глаз властно, и заставляет кружить, возвращаться, припадать, вливаться, сливаться...

О детстве посреди войны – пронзительно и высоко! "Фиолетовый страх".

Лучшая, высшая вещь, по-моему, финальная – "Дом предков'', аж дух захватывает от этого видения тайных нитей, что протянуты от истинных вещей в вечность. Умница, талантище!

Безумно захотелось поехать к тебе, свидеться, раскрыть живое лицо

встречи. Наговориться всласть, навеки вперед. И еще взглянуть на море, горы твоими глазами, "пропитаться лунным и звездным светом на берегу беспредельного моря'', тогда, может и мне сподобится "прозревать сквозь свою пустоту''. /''День детских игр''/.

Конечно, не все прекрасно. Есть шаги в не-куда, например, "Пляжи и мальчики'' – это, мне кажется, экзерсисы, что-то не наше, с чужого плеча, джойсо-прустовское – я в таких случаях за Фолкнера, за землю, пахучую и живую. Я против стеклянной техники, холодно-виртуозной. "Дом предков'' – вот он – путь, и обязательно в конце его величественный дом Романа. Работай над большой книгой, лелей замысел, живи им, а он – тобою. И проживешь счастливым.

Слушай, Костя. У меня будет возможность заехать к тебе, в твой Дом Предков, тем более, что своего мне бог не дал – я перекати – поле... Я буду в Тбилиси в конце января. Это уже точно. Потом к тебе, потом в Москву. Перед Тбилиси я дам тебе телеграмму. Только до того сообщи мне сюда, будешь ли ты в Гаграх в это время – начало февраля. Очень-очень хочу к тебе.

Свою книжку высылаю в Гагры. Она приедет к тебе через неделю, поелику не авиа.

Обнимаю тебя. Жму лапу. И – поздравляю из самых глубин души. Будь. Михаил.

Да! С Рождеством тебя и Новым годом!

Михаил Капустин – академик Российской академии наук, профессор, вице-президент РАЕН по гуманитарии, член международной Академии наук о природе и обществе, Академии Гуманитарных исследований, кавалер Мальтийского ордена.

* * *

Константин Гердов, мой земляк, живет в Гаграх.

К сожалению не я, а вездесущий Евгений Евтушенко его первым обнаружил и помог напечатать его первые рассказы.

Потом его заметили Валентин Катаев, Юрий Казаков, Георгий Семенов, Василий Аксенов, Борис Балтер и другие наши видные писатели.

Видение Константина Гердова очень емкое и часто выходит за сферы общепринятого языка. Его метафоры часто даются из подсознания, и чтобы их осмыслить – нужно недюжинное напряжение. Может даже создасться впечатление, что это написано шезофреником. **Но у шезофреников сильного поэтического слога – не бывает.** Мир

Гердова построен словно из какой-то неведомой нам галактики. Мир когда-нибудь вернется, обернется на открытия Гердова в области семиотики, семантики, структурологии, в какое-то еще непонятное до сих расположение языковых стихий в его прозе.

И если говорить на простом языке понятном для рядового читателя: тончайшее своеобразие его психологического рисунка почти не поддается пересказу. Это надо почувствовать. Это своеобразие заключается в иронии к самому себе, в добром отношении к окружающим, в глубоком чувстве воздуха Черноморья, Средиземноморья.

Фазиль Искандер

Творчество Константина Гердова знаю давно. Начиналось оно как бы с проявления стихийной талантливости. Юношеское изумление перед миром воплощалось здесь в изумление словом. Много была наивного, запутанного, но в целом и в ранние годы гердовская проза подкупала чистотой, кислородом, прозрачностью.

Сейчас значительно прибавилось мастерства. Книга "Лицо встречи'' демонстрирует это наглядно – страница за страницей. Читатель погружается здесь в своеобразный мир, написанный какбы импрессионистическим мазком и в то же время с некоторым ощущением античности , которое оживает на берегах Черного моря, в Абхазии. Следует сказать также, что с годами в рассказах Гердова появляется все больше и больше людей. Одушевляемая им '"неодушевленная'' природа раздвигается, давая место людям нашего Юга, психологическим и историческим портретам, но ей, природе, от этого не становится тесно.

Константин Гердов безусловно многообщающий талантливый прозаик. Он очень увлечен своим делом. Можно сказать предан ему целиком. Гердов выявляет свое внутреннее кредо, чтобы мы могли увидеть подсознательно неожиданный, недюжиный мир.

Василий Аксенов
10 октября 1978 года.

...Произведения К. Гердова, как и предложенная рукопись, читаются легко, а вот писать о них трудно, – в произведениях нет в привычном смысле сюжета, чтоб развивая его, показать характер, раскрыть конфликт,

поведать о коллизиях, хотя бессюжетность эта относительная. И в иной плоскости надо искать вышеназванные компоненты прозы; перед нами как о том справедливо писал Евгений Евтушенко, необычная проза; и в этой необычности есть свои плюсы /главным образом, сама необычность взгляда на явления и стиля/, происходящие, очевидно, от самой природы сложного повествования, в значительной степени подразумевающего читателя эстетически подготовленного, знающего почти профессионально Марселя Пруста, Джойса,Бунина, может, Набокова...

Чингиз Гусейнов, член Правления издательства "Советский писатель'', народный писатель Азербайджана.

1989 год.

Уважаемый Константин Николаевич!

Евтушенко передал мне вашу рукопись из которой я на выборку прочел несколько десятков страниц, в частности целиком "Пролив''. Считаю это талантливым, и мне понравилось. Но учтите всю серезность нашей критики и всю строгость издателей. Вам будет очень трудно. Готовы ли Вы к этому?

Валентин Катаев, 16 декабря 1970 года, Переделкино, Москва .

Лиана Панцулая, психолог.

НА ГРАНИЦАХ СТРУКТУР

Книга Константина Гердова (до этого выпущены в свет три книги: "Лицо встречи'', Сухуми, 1978 году; предисловие Евг. Евтушенко; "Перед будущей рекой'', Москва, 1984 г.), "Любимые морские города'' –Тбилиси, 1986, позволяет говорить о нем, как о писателе, который вслед за французскими модернистами, усомнился в таких представлениях, как, например, представление о "прозрачности'' для познающего субъекта собственного сознания, точнее, системы "сознание – бессознательное''

о сводимости всех слоев и уровней системы "сознание – бессознательное'' к единому рациональному центру, о сводимости мышления человека к его дедуктивной форме: "В удлиняющем блеске. Удлиняющий блеск не достать. Не посягнуть. Все высоко. Отливает равность освещений и делается голубым и глубоким. Пошло по верхнему позвоночнику: замерло в далеко внизу ощущаемом саду. В заросли ткемали, подливы уткнулся носом прохлады. Над ямой перевитой лианой. Спрыгнуть босиком на крики крыльев. Остановиться. Не у зелени, над бутонами: ждать цветов не распущенных заиндевевших хрусталем. Изломом форм. По ним стекать воздуху как нектару – с гор. Облицованных их стеклом. Превращение в малахит и все равно легким ветром – рассыпающимся в травах. Заснуть , до этого еще дробиться в изморось и отяжелеть на косах рос. Восхода нет. Рассветное питье его, их. Вверх, вниз, тью-тью – крыльями росчерк. В клювах работающая на износ, истекающая хрустом. Висит на колючем заборе, проволоке, которой много лет, успела истлеть – за ржавчиной. До нее, не достав, так и осталась целомудренной без наличия встреч – сплошная стена лаврового листа. И ароматы – через мандарины, персики, яблоки, сквозь изломанность своей же формы, всегда полукругом множества зерен в ягоде, поэтому и ароматной – никогда не достать действительной цены – наискось, прямо, напролом, приложиться осторожным птичьим шагом и затрепетать, только коснуться – стручком дыхания, дошедшем пусть даже легчайшим ветерком..'' – стр. 14, К. Гердов, "Любимые морские города''.

Когда читаешь повесть К. Гердова "'Всепоглощающее чрево'' прежде всего поражает странность повествования, отсутствие хронологии.

Повествование, в котором внутренний монолог сменяется метафорическим описанием того или иного психологического состояния героя, а описание природы на воспоминание, идет из глубины авторского Я.

Какие ориентиры можно выделить в этом повествовании?

Эта встреча героя с матерью Сони – женщины, которую он любил, письмо героя к Соне, ответное письмо Сони.

Эти события являются как бы вехами, во взаймодействии с которыми выявляется еще один герой повествования – время, в котором границы между прошедшим и настоящим размыты, и которое поднимается не только со дна памяти самого героя, но и общечеловеческой. Даже часто

используемая автором неопределенная форма глагола, инфинитив, дает ощущение времени с размытыми границами.

В письме к Соне герой пишит: "И пусть ты будешь прислушана к миру''. "Прислушан к миру'' и сам автор. Слух его улавливает многое. Мир в его повести предстает как единое целое, которое неотделимо от человека в котором вещи не могут существовать отдельно друг от друга. В его мире одно явление проступает сквозь другое, ощущается взаимопричастность бытия всех вещей.

В какой-то степени в его прозе осуществился высший принцип поэтического мышления – "все во всем''.

Так у него "курганы битв или погребений'' – это телескопы, в которое нас просматривает будущее, самолеты "по прожилкам пролитой крови восстанавливают свои очертания, если были разбиты, разбились, уничтожились на земле, потерпели авиакатастрофу, из человеческой пролитой крови опять будут настроены струны и самолетов и сердец. Из уничтоженной крови опять прорастут позвоночники в целости и сохранности''. Из прозы К. Гердова, "встают, живут лепестки розы – это то, что осталось от пролитой человеческой крови. Но это в том случае, если не пророс позвоночник для новой жизни людской, младенческой вначале."

В.В. Налимов в книге: "Вероятности модели языка'' пишет: "Логическая функция мышления человека не подавляет более богатую форму мышления человека''.

...''Полиморфизм языка позволяет вводить в нашу систему ту "рассогласованность'' без которой она была бы неполной''. "Нечеткие и неотчетливые по смыслу слова с неровными краями областей их значений – создают возможность для нарушения строго дедуктивных форм мышления''.

То, что не только логическое мышление, но и вся система "сознание-бессознательное'' /включая и подсознание / тысячами нитей связана с языком, было показано на Международном симпозиуме по проблеме бессознательного, прошедшего в Москве, совсем недавно.

Возвращаясь к книге К. Гердова, можно сказать, что автор дает реализацию мыслительных образований, не сводимых только к логической форме. Он как бы пытается вытянуть на свет те архаические пласты системы "сознание-бессознательное'', подчиненные иной, но не худшей, отличной от рациональной логики, которая досталась нам от предков,

но была вытеснена в область бессознательного логической формой мышления, и неизменно там присутствует.

Бессознательное в произведении Гердова узнается по двум основным специфическим чертам. "Первое: в бессознательном мир и человек образуют одно неделимое целое... Второе: в бессознательном прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, объединяются в одном психологическом акте'' /А.Г. Асмолов/.[1]

Все, кто читал прозу К. Гердова, каждый по-своему, говорят о своеобразии его таланта.

На первый взгляд может показаться, что художественный метод, используемый автором, во многом схож с методом модернистов, имеющий прямые аналогии в различных течениях современной философской и научной мысли Запада, в таких теориях, как "реальное время'' Бергсона, бессознательное Фрейда, семиотика и семиотическая лингвистика, трансформационная лингвистика Хомского. Но модернизму Запада был присущ парадокс: их влекли литературные эксперименты в области довербального сознания, влекли замыслы выразить языком то, что в системе "сознание-бессознательное'' существует "до языка'', в то же время, тесно связанные с французскими структуралистами, понимающими язык как объект, существующий в "себе и для себя'', они, вслед за Соссюром,[2] принимая его понимание языкового знака, отрицали возможность того, что "изучение языка служит одним из тончайших инструментов исследования истории материальной и духовной культуры'' /Л.А. Абрамян/. Понимая язык как единство "означающего'' и "означаемого'' и считая, что "означаемое'' или идеальная сторона языковой единицы является произвольной и не есть результат отражения объективной действительности , модернисты пытались выразить языком довербальные уровни, одновременно отрицая возможность по языку судить он них.

1. / Из книги "Бессознательное: природа, функции, методы исследования''. Москва, 1985 г.'' Статья А.Г. Асмолова: "На перекрестке путей к изучению психики человека: бессознательное, установка, деятельность'', с.7.

2./ Фердинанд Соссюр /1857-1913/ - выдающийся швецарский лингвист, один из основоположников и теоретиков современного языкознания.

Если говорить о художественном методе Гердова, то можно сказать

что его метод сопрягается с течениями научной мысли советских школ, а именно, с современной структурной лингвистикой, семиотикой, советской психологией, с теми представлениями (о языковом знаке, о роли фактора объективной действительности) в конструировании языковой единицы, которые существуют в советском языкознании.

Его, Гердова, попытки выразить до-языковые состояния не противоречат представлениям о языке, которые сводятся к тому, что по языку можно судить не только о языке, существующего в "себе и для себя', но и о внеязыковом мире.

Гердов пытается рассказать о мире не только через уровни сознания, на которых мысль оформляется с помощью логической формы мышления, но и через уровни, приближающиеся к уровням бессознательного.

Представления о мире через уровни сознания и бессознательного как бы просвечивают сквозь стены и проглядывают из всех окон языкового строения прозы К. Гердова.

Французский семиотик Жак Лакан считал, что "бессознательное сконструировано как язык''. Однако, трудно себе представить, в каких формах словесности можно точно запечатлеть речь бессознательного. Во всяком случае, она должна мало походить на речь пуриста, ратующего за чистоту языка.

Отсюда и темный стиль Гердова, так называемые "корявости'' языка, как признание того, что слои бессознательного не поддаются рационализации: "У ног никогда не осуществимого в роднике костра. Живет в душе, и если смотреть в родник – он, источник, обновляет ощущение. Булькать безмолвием. Каждому источнику перебегающие тени не узнать. Пока успокоится налитым сумраком. Одного и того же. Равняющее смысл всех одежд. Людей, белых передников искр. Наклоненность спин, лиц к костру, далеко за гневом их сосредоточения; много выше даже подозревающих. Уже неистребимой внешностью, предохранающей. Уйти костром. Упасть головой, не обжечься. Просто лечь травой, звуком, ветром, тишиной не шелохнуться. Судорогами грохочущих товарняков. Успокоенностью молитв не вознесенных, пропущенных гневом, тоской, каторгой, похоронными повестками. Незримое соучастие родников. Осенение перстом багровым. Прощающим. Местом замкнутым, изгибом для стока воды, чтобы литься собранным полем, источником вырождения возвышенности. Никого. В себе, опуститься вниз огромным полем засеянным, в фуражке с петлицами.

Хозяйским глазом взглянуть, примериться. Уйти чистотой по домам..'' /К. Гердов "Любимые морские города'', стр. 56-57/.

Воспользовавшись терминологией И.И. Ревзина, сводящего проблему образа к выделению "категориального'' смысла-образа, того смысла, который определяется данной специфической формой выражения, т.е языковой, и "перефрастического'' смысла, т.е. то, что может быть пересказано другими словами, можно сказать, что для образной системы прозы Гердова в большей степени характерен "категориальный'' смысл. И себя автор не мыслит раздельно с этим миром, с этим смыслом: "Аэродром прорезал меня, кусок земли на овраги''.

Мир его, Гердова динамичен, далек от равновесия, в котором "течет движение'', и скорее господствует хаос, чем гармония. Вселенная его – это живой, организм с богатырским дыханием. А ночь в ней – "единое существо, обладающее телом''.

Сама фраза короткая, "рваная'', использующая смысл, набираемый предыдущей, – создает впечатление о беспокойном, хаотичном мире. Можно добавить, чтобы использовать качество: фраза короткая, "рваная'', использует смысл, набираемый, но еще не воплощенный в предыдущей строке, в предыдущем смысле. Таким образом жизнь спешит, мысль спешит за быстротекущим днем, а остановиться для философского обобщения дня нет времени, нет срока. Поэтому остается смысл жизни, смысл прожитого дня непонятый человеком. Скапливается неосознанное, нереализованное прошлое. И вход в будущее тоже не прочитан , ибо не совсем понятно былое, не до конца осмысливается настоящее человечества. Проза Гердова как бы предостережение, что при возрастании информации мы можем растерять цельность души. Встает из прозы К. Гердова дилемма – или бежать за быстробегущим днем и в итоге не успеть на сохранение духовных ценностей, или стать анахоретом, зажить патриархальностью и добиться земной, библейской премудрости, мудрости, основательности дней, твердой руки мастера, воплощенной в камне, стоического профиля.

Рассмотрим со стороны структуры способ описания психологического состояния героя. Описание психологического состояния дано так, что в самой поэтике структурно сопряжены состояние героя и развернутая метафора, и мысль прочитывается именно в этой структуре. Так автором описано внутренее состояние героя после того, как его оставила любимая женщина: "Жарко тогда стало моему сердцу. Оно, как будто

загорелось, заполыхало. Горел от этой боли и внутренний мир. Он был огромен, как земной шар. Поэтому я сразу не умер. Медленно, день за днем сгорал. Сердце мое удлинялось, превращалось в километры пожариш. Вот-вот могла треснуть дорога и провалиться. Но, видимо, дорогу держал стальной позвоночник. Он выдержал. Остался скелет после пожара. Поэтому свободно гулял ветер. Был нищим, голым. Можно было где угодно разводить костры, ставить балаганы, ночлеги''.

При описании психологического состояния героя мысль автора выражается не дедуктивно, а стремится к непрямой наблюдательности и прочитывается по мере развертывания метафоры в семантической структуре самого текста. Вот встреча героя повествования с матерью женщины, которую герой когда-то любил, и, может быть, любит и сейчас. Нужно защититься от слов любящей свою дочь матери, бульдогообразной женщины: "Все это слышать, видеть. Поднять над собой щит. На щит поднимется море, схлынет. Ударит ветер, уйдет. Задрожит щит, покроется испариной лоб Костоса. Рука задрожит, но выдержит море''. Это уже развернута оборона, когда осада еще не снята. Структура образа в прозе Гердова такова, что в ней прочитывается мысль о взаимопричастности бытия всех вещей, в котором мечется, течет, видоизменяется сама стихия, и тяготеет к усмирению хаоса.

Эксперимент в области довербальных уровней сознания вынуждает Гердова отказаться от нормативной стилистики, основной постулат которой: "что не разрешено в явном виде – считается запрещенным'' и обратиться к тактике стилистики, для которой действует поступат: "все, что не запрещено в явном виде – считается разрешенным''. Гердов нарушает нормы, ориентируя поиск выразительных средств не только на семантику, но и на форму. Во многих случаях не соблюдаются "правила согласования и сильного управления, организующие грамматический костяк фразы'' /И.И. Ревзин/. Это как будто идет, движется корабль в неизведанные глубины, непознанные; корабль, корпус огромен, могут надвигаться льды, айсберги; место, где идет корабль, неизвестное, тайное, скрытое и управление действует чисто интуитивно, рискует, ибо рейс проходит среди белых пятен, где еще не проходили корпуса других кораблей. Это идет как обнаружение новых материков, карт нет, живет сплошной риск и тяга к новым землям, к новому свету, к новым морям. Потому что тесно на старой земле, нужно новые

формы жизни, новые структуры, новые дороги, звезды, кометы, галактики. Вот поэтому и рождается, и живет творчество вначале непонятое, неизвестное, живет вначале магия – потому что тайна, а потом, когда станут известны пути, магия обратится в науку, в дорогу, в тропу.

Гердов, отказавшись от описания картины одномерного человека, которая возникает при излишне упрощенных представлениях о нем, – дает образец прозы, в которой сделана попытка представить человека, мышление которого не сводится только к логической форме, а передать состояния и ощущения, существующие на довербальных уровнях сознания и составляющие богатство и непознанный потенциал его дней.

"В подвалы слов не раз сойдет искусство, держа в руке свой потайной фонарь " /С. Маршак/. М. Бахтин писал в 1924 году об "автономной причастности'' каждого явления культуры, слова, которые воспринялись как напутствие для моих попыток найти прямые аналогии художественного метода К. Гердова в течениях научной мысли советских школ: "Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность'' /М. Бахтин/.[1] В творчестве К. Гердова выразилось, на мой взгляд, нечто качественно новое. Никогда раньше не бывшее, что существовало только в непроявленных возможностях языка, в подсознании, было скрыто подводно, а в прозе Гердова проявилось и в построении фразы и в семантике. Из подсознания словно показался перископ, и хотя корабль еще не проявлен, но уже можно судить о направлении и о скрытых контурах движущейся цели. Может идти как "Титаник'', чтобы потом подняться кашалотом или китом. Или надземным, подземным мамонтом, Капитаном, Командором.

1. М. Бахтин "Вопросы литературы и эстетики'', М, 1975, стр.25.

Адрес: 384904, Сухум, ул. Тимирязева, 4,
Панцулая Лиана Александровна. *1990 г.*

Дмитрий Лакербай

МОДЕЛЬ ДЛЯ МИРА

Как мне представляется, о пафосе творчества К. Гердова и данной вещи'' ИЗ ГАГРЫ В МОСКВУ ЧЕРЕЗ КРЫМ НА ЭЛЕКТРИЧКАХ'' **/пособие для нищих в условиях демократии**/ лучше всего можно сказать авторским текстом: "Да потому ты любишь все стихи, все религии, – что у тебя большое сердце/.../. И если в мире было еще сто религий, ты бы всех понял и всех обнял..''

Однако, огульное, без разбору, восприятие должно было бы казаться плоским и скучным. И. К. Гердов, с детства зная это /о чем речь дальше/, идет не от философии казенного оптимизма или благостного, беспроблемного "пантеизма'', а от – вернее, к жизни, сама извечная, природная гармония которой суть взаимодействие и взаимоуничтожение /в общем росте / различных частностей, жесточайшее и порой безжалостное к человеку коловращение событий.

Но если это и эпос, то – "в пыли дорог душа'': иными словами, эпос странствующего романтика – жизнелюба, эпос субъективно-лирический, и на щите / пусть воображаемом/ странника начертано: "Вижу, понимаю и люблю''. В чем соль и сила этого наивно-несовременного взгляда, этой любви и жадности до людей, времени, обстоятельств?

Лучший ответ, как водится, авторский: "Что любил с самого детства свалки кормящие, одевающие, обувающие, воспитывающие на романтику... Любить госпитальные ямы, бинты окровавленные... Любил от свалок на берегу морей ветра, зной, плеск солнца... И всю эту любовь сохранить... И в творчество ввести эти свалки, этот приют души, очень стойко, обильно, многообразно''. Это признание поражает не фактом любви к полунищему послевоенному детству – а моделью мира и мироотношением, навсегда запечатленном в **логосе** Гердова. Перед нами как будто неразрешимое противоречие. "Свалка'', безусловно, – лучшее определение для гердовского лирического эпоса – чего там только нет! Однако "свалка'' в качестве модели мира – это, как правило, усталый от изощренности культурологических проекций, зацикленный на авторепрезентативности всей словесности, тотально скептический постмодернизм. Это взгляд постмодернизма уравнивает /нивелирует многократным умножением точек зрения /высокое и низкое, прекрасное и безобразное. И – взгляд Гердова. Но последний уравнивает не в скепсисе,

а в любви. **Более того: "свалка'' и есть та самая, любимая жизнь.** Гердов рассказывает немало жестоких историй, порой его слог как бы пропитывается сладострастным садизмом житейских подробностей: речитативность рапсода превращается в серостную публицистику, как правило, наивную – и в этих "садизме'' и "наиве'' весь секрет. О "прекрасном и яростном мире'', о его тайнах и кошмарах, о его людях и городах, о его истории и фантастике, о его реальности и призрачности – рассказывает ВЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК, у которого не было иного детства, кроме послевоенного – Великой Отечественной войны, – бедного и голодного, нищего – и прекрасного, когда умеешь любить. И он полюбил мир этой любовью нищего и голодного мальчика, и умудрился сохранить первозданную свежесть этой любви – а вместе с тем и ее своеобразную наивность, сочетание беспощадной зоркости и поразительной слепоты, эмоционально-нравственный, а не рационально-исследовательский подход к жизни – и многое другое.

"Лирический герой'' – прозы Гердова – "просветитель'' в детском смысле этого слова, ибо ему интересно решительно все. Он не мудрец, не философ, не гражданин мира культуры – он вечный НЕОФИТ / – 1 / новообращенный в какую-то религию; 2 / новый сторонник какого-л. учения. "Словарь иностранных слов''; 1986/ этого мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эти последствия и есть проза Гердова.

Странное, почти невозможное сочетание свалки и любви, эпического и лирического, взрослого и детского – но эта невозможность существования гердовского стиля /весьма и весьма мусорного с формальной точки зрения / и есть его главная сила, главное напряжение, главный, животворный узел противоречий. Все остальное – вариативно: от содержания до жанра /какое угодно, какой угодно или никакой/.

Как и всякое творчество, подобное тоже – обрастает, как корабль в долгом плавании, водорослями штампов и ракушками шаблонов. Это и назойливое педалирование приемов: от бесконечного инфинитива до "оригинальных'' предложно-падежных конструкций. Это и многоречивые страницы из учебников истории, из газет, абсолютно некритическое отношение к происхождению собственного слова, к его источнику. Думается, у гердовского стиля есть внутренние /а не декоративно-оригинальные / резервы: повышение роли историй / своих, чужих, действительных, вымышленных/, своеобразная новелизация,

"декамеронизация'' повествования; повышение роли "лирики времени'' / а не изолированных исторических справок/, вплоть до создания своеобразной поэзии в рамках субъективного эпоса – ведь многие строки по характеру откровенно поэтические. Одной из таких строчек, просто "уговаривающей'' сплести, нет – прочувствовать в единстве мир, себя и историю, я бы и хотел закончить:

"ПОДОШЛИ КОРАБЛИ И РАССМОТРЕЛИ СКВОЗЬ ВРЕМЯ''.

Дмитрий Лакербай, доктор филологических наук. Старший преподаватель Ивановского Университета. 10.08. 96.

ИЗ КНИГИ: «ДРЕВНИЕ ИГРЫ»

Эта книга о том, как появлялась , появлялась **доречь.** Доречь которая спустя миллионы лет превратилась, просочилась в реки, стала рекой, океаном.

Как блукая во тьме слова, первоначальные шепоты, шорохи обретали тот звук, тот знак, который потом, впоследствии, может быть, через тысячи лет стал, станет внятным для человечества звуковым предложением, предопределением. А это уже усилия лингвистики, структурологии. **Это усилия долитературы.** Эта усилия первобытного общества, когда оно только училась произносить звуки. Когда они только еще начинали наращиваться. Это усилия, это поиски мерцающего подсознания. Это усилия флагмана, огромного подводного корабля, субмарины, который поднимаясь с океанского дна превращается в черты, в очертания доступные человечьему глазу. Это усилия, первоосновы звукового, зрительного видения мира. **К. Гердов.**

"... Он /Юрий Олеша – К.Г./ написал бы много вещей, еще прекраснее того, что сделал, если бы в те дальние годы не шумели со всех сторон, что он должен писать, как все. И он пытался следовать этому, ибо полагал, что этого требует Советское время. Но оказалось потом, что Советскому времени нужен Олеша такой, как Олеша, а не такой, как все. Возможно, что выяснилось это чуть поздно.

Евг. Габрилович, "Искусство кино'', № 2, 1969 года

ВРЕМЯ

Множество слюны не наесть
надкусы горьки это когда жара увеличение
фокус всех вещей расплавить носильщиков где заработать
и раздвоение долго пока снятие, если есть
валяться удобрением
изжеванность трава пушисто броситься врассыпную
не подобрать вдребезги лучше подпалить
ударами полузабытья мокнуть сухо только перевернуть выглаженность
вот еще раз трещиной вдоль
тротуаром подметать... кругом сузить
лениво отступать спрут
исправить чуть мимо
липко притронуть щупальцы: пока запах
впритирку известь
укоротиться потом стеклом витрины.. подметки
щелью собак долго не лазить
только закончен
приносить свою приглаженность долго не выходить
лай ощетинить свой гравий сыпать, поэтому не просочить
шерсть зализанность поредеть свои места вдоволь
все смешать оглядыванию и здесь поток
лапа... расчленение... теперь знать щели ходить
тайна признания... язык паром
бурьян раздвинуть ... ясность калитки выхода свет
поправить сбитый загривок
хорошо галстуком пасти
до шеи белая шаль
трудность отпереть палки.. не только приподнять
чем насыпать... замусоленность штанов
обрубок вернуть еще не дойти
пропить стоимость
ветераны окликнуть прочь
станцией завысить панарошку
пропадать мостом, когда пустить
крест костыли: синяя форма одеть
где полосы внутрь

отказать россыпь двери
развенеть заливисто смех.. ее единственно пристать ожог
копье пристать дыхание шаги убрать... когда обратно предупредить, чтоб не было... перевал налиться...
синяя жила
ненужность вытребовать восвояси
хоть головой рельсы
штормом недавность
провести веточкой жасмина
пустынно уходит липкость песка
значит желтеть уже
скоро перестать течь
какие-то сети свои
и глыбой приподнять непрестанно обветренность
где оставить распластать мрамор, которому никогда не хватает пить
потресканность
стекать
взятие глохнуть
стеганность налива размах
отстаивать подпорку рухнуть
накрыть обрубки
все ссадины бег не оборачиваться
радость плена угроз
невидимость поводить пустырь
мел следов камня чернить
беззащитность нареза гнев, где напомнить; чужое горло задышать
застлать непроницаемость
свинец долго накоплять, пока закачаться
полными корзинами не тонуть
сдвоенность жерновов зева
кому, где гордости пресечь
пятнами озираться
сплошной поток гнать
сетки заборов навес: не достать труха
потолка пряности залечь
черной петлей пытать подорожник
раскачивать немоту

расширение восьмерка сантиметр только холод
синяя продолговатость снова мимо
просвечивание ног предохранять порез
присутствовать узостью всегда скользнуть
сразу высохнуть отдачей сок
поэтому любую пыль влаги
и не хрустом разлом долее
пощипывать нахождение
всегда найпись
лежать осыпь
чтобы не уплыть всегда сооружение захватить
щепкой, чтобы не определить камень
пропитанность, но пыль многих кошелок
выбирать безлюдие
мало чем оказать спины уступить
стекать вялость отнятие кожуры
клеить банки
не везти дорогу обойдется
внутрь одной меньше
пока не достать плеть, если изогнуть
там порезом мертвая петля разных
вдавливание поднимать, что не видеть
загородить опережение
пусто переменить положенность
пучком зелени овраг
показать оцепенение бродячих
сеном копн, когда даже течением не удержать поэтому не водить полоски камней скользить пятнами стоимость опустить великолепие ярость угла зачем предугадывать сбыться прохожим ею густота поэтому марево обронить пучок скрипа вдавить
прислонить достоинство лучше принять орешником
всех обрядов белеть изгородью
высушивать цветение болезней каких принять
вот обознать... видимо раньше уступить
чтобы некуда наполнить снятие плесени
хоть обсахарить ничтожество влаги
теперь пока снова потрескивание
снимать лестницу

где-то сгрудить темный вяз
выдуть
опасность давно разбить, поэтому подвал ловушки
висеть, где бы разность
вздрагивать конвульсии
пока размывать рыхлость
узнать
выше отстранение пройти жало
вот не пустырь, если перегреть
оставить банкой слонять
сухость рта негде передразнить
петлями сходить
смыкаться просветом
фиолетовостью отойти еще лежать
проскальзывать такт
обиться границей.. щелями сквозить
иногда волочиться большим порезом
накрапывание отяжелить выкупать недавно гравий
желание гноить
заражение колючей проволоки проткнуть
четкостью высветить: маячить круг
спустить шорох руины.. стихнуть плеск
взахлеб
осторожность еще оставить клубок
тянуть концы, скользить шкуркой: щупальцы
мохнатость звездой задобрить: душить
осыпаться... не вызнать
успеть не увеличением пусто помятой травой
притронуть остаток
умывать поднятием, хоть пробить
вынести водобоязнь
хоть быть ею
неприхотливость продыхать
тепло испечь в сморщенность поэтому накат
например, моря
бензином разлить дождь спросонья протирать осыпать воронку: почему гноем лучше проезжать развалины
подчинить спокойствие, когда никого нет

некому
перебитыми ручонками сжимать вслед
обуздать гордо осанкой
фонарь писк
остальное сопротивление вдавливать чуть пройти
пасмурность легких
оседать туман скольжение спуска
не густоты, даже настой кашлять
прихотливостью
жалость отстутствовать холодом лета: затопить
вплотную прикрыть линией шерсть отодвигать
пригоршни перелить
просто равность чуть открытие
проглянуть сторону пологость
бахромой пробежать
некуда поспешность успеть
явное намерение разметить
еще спуск, пусть хотя вязать
стуком белых колонн озябнуть
всплыть нагромождения цветов не дотянуть, если подобрать
поместить уютом
свернуть клубком
так иззябнет зеленое дополнение
отбытие поверить
не примирить, что гулкость отдать
даже цепочка светлая есть

насторожить трещины
выкупать междуцарствие
снова скованность продолжать копыта углов
чулки
дорожкой подстригать неугомонность
взрыхлить пыль плечей
плотность вить согнутость оцепенеть
столько исполнить неподъемность
не пересилить лететь шаль обвить
спешить вздрогнуть

свинцовость после снега не носить
стереть... параллель струй миновать расхождения
бессилие продвинуть отпечаток:лучше собрать, когда согласить
толчея
продолжение рассрочить длиной: не измениться
не скатывать полущубок перелить
засуха журавля опорожнить всякий случай: надломленность
определение
бессистемность дня не заинтриговать
различие
сходкой базара все даже не спешить
пустовать оком не вить приготовления
отстоялость острий... чувствовать запахом ладан
вычурность глицинии засинеть в светлом
рыжесть осадка сливает изменения
поэтому отвязывать
гарцевать радость расползаться, поэтому меняться положением
песок сереть бубны
подпоясать тазы красным всадником клекот
занести
временем беззразличие укутывать
головы высыпать оторопь
золой схватывать люльки старикам неторопливость запахнуть расслабленность
еще одна осыпь бормотанье раковость случая встретить еще пока протереть узор
самой незаношенность отплыть
финики возвышать пусть раскачивания
чалмы серебро вить холмы
след бедуин задымить караван рассеяния, чтоб приготовиться полукругом
товаром посвист лучше возвышение
обнаружение занести полудрему
рассыпание четок сгустить
вина рассеяния – прибылью сухость
узором прикрыть запрятанность скачки
еще громко безмолвие раскатисто
красным языком сразу изморось перебирать,

кого, укутать склонение
как и нет велеть
высвистывание определить уже треногой
вырвать бледность синеть
округом выдан желобок: запах пока вывесть
еще череда восьмерок петли
медных тазов наводить вход, чтобы поместить
обрывать всеми жилки
обносить окна
выхватывание рук сгрудить
копытами топь
седло страны выравнивать
котлованом засыпать
не их хребтами позвонки
баржами запить цвет
распускать
только сомкнуть обратно ход, чтобы смыть
засохнуть наждаком клиентов
сколько не добить легкие
греть руки большим, например море, река
спуском перекрытие сетки
скользят
горло барахтать вроде предупредить
теперь вскрыть погружение
аквамарин почти селезень
желание чисто процедить прорубь не замерзнет
покачивание, что стоит предосторожности
плен выдресировать лавирование
легко признание, когда пройдет
предусмотреть шум куда и столкновение подслеповатых пересмешек
рыжий хвост приманка охота выстрелами зверушек
Стойбище выговорить вслух
жару местность привязать
чудо смородины красной растворить глобус
не уходить течением
окостенением терять погремушки: все в снег изнывать духотой
хоть чем слышать поворотом
им журчать извилину кануть

потом пристать, оказаться отсчет
"Ой, да ты не стой, не стой –
да на горе крутой''
блекнуть очертание почти найтись ссылкой
твердость удержать скольжение
отвес метра висеть
намыв
просвечивание возможности обратно
созерцаний изменить отсутствием: их нет
пологость спуска разбежать удивление панам чистого поля
прогулять колоски льна
вот устать святость распластать
размыть древесины начало: слияние
одинаковость где выделить
благо плавить, что мимо близко
вечнозеленность подпалины затемнить
отсюда гривой лохматить не сшелохнуть
или остановить
наличие каких чар заподозрить золотистость
мгновениями: подпоясать, расписать шелк
теснить стволом давно замкнутость
тонкость: кожурой протереть
скоро иглами
если заморозок сыпать настоем
брожением высветить
просверлить лампадой
тусклость нехотя выпытывать нить сырости
провалить синие коченения
продрог
полоскать скалы
вымостить
безжалостью гряд наполнять
око фосфора точки свалки, лишь бы не оголение
негде собрать похищение, просто дом
куда повернуть тлеть сок
чтоб остановкой разобраться разъесть
всем состоять окружением
сдвигать новым

освобождением задушить
проваливаться задворками, что есть лишь
овал предметов присутствие оставлять
переставить роскошь нечто отличное себя
поэтому угнетением выше
клеткой величины всегда
создание бесплотность иным
эфир расставить зависимость
ручонки спины вылепить
только приход уже составить
может сыпь
возможность недостижения уже определить
поводом нет
лишь подобием незнакомости уже растасовать
можно не быть, но замереть стеклом: только одной высохнуть стук
постройку перенести
знание густоты не пролезть крыши
чернеть квадратом шифера
виноградин погремушки
звенеть отбором
расстаться одиночеством неимения
журчание перебирать
заговаривание малахита сказы
скрыть
замкнутость зубцы висеть: шлем прорасти ковыль
входить тайну: днем перистость высота
изливать млечность кругов не править
шорохом перепончатых чащи выступать: старость откровением
зеленоватость лика очертания
жемчугом разъесть изнутри раковина
скелет урчать створки взбухшей шерсть крыса

Гагры, 1969 г.
Лабуйя (Якутия, Колыма)

СТЕРЕЖЕТ БЕДУИН

Порог дома связан. Все это происходит на берегу, где глина поверх травы крыши черной драни вроде оврага дома белой ночи заходят. Несколько их. Заход вечера зыбок. Ему обязаны все колебания площади. От дома к дому перейти нельзя – проваливается площадь. Поэтому каждый должен подождать у своей завалинки. Это требовать от них неподвижности. Время приходит в себя, чтобы сосредоточиться. Тогда прерываются все связи, может тогда и дается наблюдательность, хоть чтоб что-то остановить. Достаточность расположенного намека. Чтоб свыкнуться с этой мыслью, и ничего не делать, чтобы избежать участи, которую нарекли. Люди сидя на ступеньках, за которыми нет перил. Но никто не падает, потому что вставать незачем. Вещи тоже застыли, чтобы мерзнуть. Их подвижность беспрекословна . Возле них никого нет. Остаться отрезком мгновения. Прожить не перечисляя события, которые можно переставить все положения, когда они кончаются. Их беспрерывно удлиняют или укорачивают, в зависимости от того что нужно. Это и есть прошлое. Что забыло прошлое о тебе, оно знает. Поиск прошлого тобой напоминает бессмысленную игру, в которой сам ты не знаешь, что ищешь. Ответ тревожен: прошлому неудобно стоять так каким ты его оставил. События перебирают тебя разноцветными камешками – все-таки можно прожить. Значит ты был неполон или двуличен, если предметы домыслили тебя иным, чем ты представлялся на самом деле. Они все имели ввиду. Сейчас они хотят внести поправку. Они всегда считали мир одушевленных предметов таким, каким он должен был стать. Дальше вину надежды независимо от них считать напрасной. Нежаркая вечерняя краска на траве. Неподвижностью акации свесить ветки бус. Раннее лето. Гроздья ягод. Они осыпаются собачьим зевом каждая. Это следят за ними глаза – так бы хотелось быть. Чем-то заполнить себя, когда ничего не меняется. Это наличие опыта помнить. Закоченевшее безмолвие пока тепло. Желтыми кашками перегорели окончания. Кошка ступеней застекленела в глазах. Секунды допустили себя прекращение ожиданий, пусто хоть и там ничего нет. И вдруг стало заметно: на ком-то старость телогрейки подвижностью рук пирамиды морской песок. Местами обнаруживалась текучесть в ней можно углубить яму, хоть спрятать кисть; перчатку на нее найти было нельзя. Значит кто-то обманывал условия, которые сами просили. Так просьба о помиловании,

часто застает тех, кто ее подал, на месте преступления. Спокойствие воды нести белые ожерелья ими подбирать приезжих. Это не относится к ним. Замечание их на одной территории не подлежит значению. Молчание учит говорить. Никто не знал их роста. Об этом твердили деревья. Им было тихо. Им заметно как сосредотачивается страница. Этого не будет. Но их отпечаток прочтут. И дан был слух для тишины. Смех переливаний в радости это текст не иметь ввиду.

Светло зеленые склоны гор пологи. Их подножие – чаша, потому что окружение кольца выдвигать требования, которые не могут быть иными. Потом они делаются коричневыми, начинать сгущение темноты. Окраске гор никогда не совпасть с течением времени. Время это сумма дней и ночей, если их отделить. Плотная земля, плотные камни когда-то тоже были временем проплывали пока не сгустились, осели. Земля будет попрежнему утолщаться, потому что время идет. И море тоже и деревья. Все, что совпадает. Но разрушения домов, потому что стоят. Иногда срывает крыши, чтоб течь: если стоять. Берегами тихо и одиноко. Чистое поле. Это отдельно. Тепло холодной воде. Ей далеко до дома. Скоро придет хозяин. В горах вяло. Их почти не видно. Вырисовываются силуэты вымерших ископаемых: значит стемнеет совсем. Загадки бродят по земле, подкрадываясь к кострам шакалами. Кому-то благостно погружение в сон: исчезли даже очертания. По ним можно ходить, они растворены: где-то для них условлено место; чем они заняты, пока чаша выравнивается в пустыню. Каждому предстоит отойти, но каждому своя мера или доля изгнания. Оставлять точно такие навесы, словно стража не ушла. Отдых никогда не присутствует плотью там, где он находился, где он нес свое дело. А может и не свое. Просто кому-то так нужно считать, что все, в ком заложена земля, несут именно те обязанности, для которых их вырастили. Бессловесное сочетание утрат не всегда. Из гор выходить труднее. Непроложенными тропинками лежат камни. Можно опуститься раньше, когда еще долго будут опустевшие перила. Где-то в ягодах костей заложен родник поверх плиты. В каждом спит надгробие, которое не поднять. Близ реки слушать горы. И пусть растет дерево. Шакалы пустынь не достойны ни одного, пусть даже зла, чтобы не отравить шакалов. В конце последнего дня все становятся благородными, чтобы не изменить прошлое. И прохладный ветер укутан в саван

тепла. Хоть сквозь решетки солнце не поднять. Вернемся к подчинению, где в нас самих расставлены границы, чтобы можно было что-то соблюсти. Часовые замерли у пограничных столбов. Им всегда холодно. Потому что стоят в них открытые местности. И не спрячешься никуда, даже, чтоб подстеречь, потому что прежде всего нужно перейти государство из которого ты идешь. Метры новой территории в тебе ничего не значат, кроме географических карт. Люди в задумчивых сумерках зажигают костры. На песке он быстро стынет, пока собирают ветки. Топить давно нечем, если не захватить с прежней стоянки. Это было долго, и когда возможность кустарников иссякла. Стали выкапывать коренья. Топить камнями просто сохранить тепло они никогда не загорятся. Восточность этих гор. Где-то нанизывания ран наличие света, но гасить дым снадобий наверно лечить. Привкус меди выливается в ожидание: должно случиться. Тайну запустения последних костров стережет бедуин. Ничего не будет от людей. В разрушениях прошли, исчезли даже пески не их занятий. Ими всегда собирались крепости. И то, что их доводили до конца это все причина их исчезновения, где они никогда не хотели быть. В свидетельствах домов живут недостроенные пауки. В собраниях ветра желание стемнеть. В следствиях храмов, гробниц всегда найти поселения, куда их перенесли? Стирать пыль. Время ходит пустыней рубищ в ничтожестве занятий, что некому себя преподать. Оно ложится, все равно кто-то придет. Смуглые женщины в стянутых обручем головами чистят песком, смешанным с золой, медные тазы. В жилище тазы быстро меркнут. Причиной круга отмечены их заботы.

Гагры, 1969 г.

ПОД ШЕЛЕСТЯЩУЮ ДРЕВНОСТЬ

Дождик выжал соломенную шляпу и надел на голову.

Он не обращал внимание на мокрое тело. Это было ни к чему.

Главное сохранить сухой голову.

Если он простудится, значит дождь будет идти неприкращающимся числом его болезни.

Подошел к окну. Слов слышно не было. Лишь мелодия. Ее нужно

заставить сосредоточиться на другом предмете. Но сейчас и это бы помогло. Все постороннее можно забыть, просто не замечать , говорят, что от этого постороннее ничего не теряет, продолжает оставаться. Дождь считал не так. Для него могло существовать лишь то, чем он полон. Он считал даже прошлое.

Дождь снял шляпу. И чем больше он стоял с открытой головой, тем волосы его делались суше. Мальчик был еще маленький и не мог так быстро меняться.

Поэтому он еще должен был иногда простаивать лишнее время, чтобы навести ливень на след. Снял ботинки, чтобы не мочить. И пошел лужами. Глубокими и мелкими. Чтобы смывать кровь. До госпитальных ям было далеко. Пока дойдешь не останется ничего. Намокшие бинты легко снимаются. И даже не нужно стирать потом. Просто прополоскать в соленой воде, которая всегда рядом.

Полное море виновных и невиновных.

Дождик был очень виноват перед собой и не только перед собой: вместо крови он оставлял просто лужи.

По ним далеко-далеко плескались грязная пена нетронутой воды, которую было некому глотать, даже собирать сачком. Она была противна и пахла канализацией.

Склоненными орешниками носиться по тихому ветру.
И ничего не доставать.
Простаивать улицей
Нетронутого джема.
Тайком шкафов
не выловленной ни одной шкурки.
Однажды выловленной
крышей
Ускакать в сырую ночь.
Пробиваться незначенной нигде тропою железной дороги.
Ничем не минувшей. Теряющим зноем.
Плавится очень часто. Вот исчезли и рельсы.
И поездам приделанных шин,
брошенных перевозов, мостов, стрелок.
И этим
длинных полос засеянных тополей, мотыльков, пчел,

бесшабашным колокольчиком уцелевшим.
Бежавшей головой марева, тепла.
Зной превращается в небольшое пятно,
чтобы уместится на уцелевшем дне
застоялой душистой водой.
Обнаруженных лишь под полом
Лодки долгого плавания,
Последние дни до того близкие,
Что запамятовались сменой погод.
В лодках долго простаивал причал.
Может подгнили и лесницы белой травой
подсыхающей смолы.
Испаряются постоянно и остаться этой жижей
Часто в них выделяются потрескавшиеся куски,
которые пропитаны дном
и поэтому неразделенны
пока есть лишь капля влаги.
У влаги дна не занимать.
Дышать, видеть этой одеждой, дыханием.
Хотя его давно нет на самом деле. Наоборот.
Мне ничего не понятно.
Если вообще нет, а в тебе есть, значит есть.
И никогда нет того, чего в тебе нет.
Насыпь идет по солнцу ее рельс и все ее ноги обожжены.
Дождик идет рядом по тропинке и вся его территория
заполнена ливнем.
Площадь гораздно больше его площади
занята рассматриванием солнечного тепла.
Он ходил по насыпи постоянно тем же шагом.
Оказывается он ни разу не ходил по ней.
Он идет, ливнем, у него все залито водой,

ботинки, припрятанные лодкой, давно промокли и ему трудно переставлять ноги по растрескавшейся от жары, липкой грязи. Ему было только дойти до сада. И там перестать.

Морем наблюдаемых дней. Они все.
Садом стоящего холма, тоже бывшего им.
Данные отголоски початых превращений.

Вершиной огромной сосны – самой поверхности.
Двумя волнами снизойти.
Не сразу образоваться лесом. Остальное внизу.
Накатами прорываться в отверстия,
захлестнуться ущельями клетки
высокой уже башни.
Холм на котором стоит сад, раньше был под водой. Это для ясности о чем всегда идет речь.
Поместиться всем.
Подняться накатами лесных зверушек
Зайцев петли, бурундучков, мишек, змей – полосатых волков серых.
Барахтаться.
Затопленной самой снеговой вершиной
Расплавиться вековым льдом.
Морской водой прикосновенной.
Просто смыть пеной самые долгие ожидания – простоять.
Последней волной спрудиться.
Вершиной никем не бывшей не успеть.
Волосатой рукой трезубца
Прогудеть звоном оленя.
Услышанным рогом спастись.
Те, кто услышат – спасаются.
Водой, которая уходит вспять.
Долго оставаться предгорием никем не населенным.
Уже зеленеющим снегом пастись.
Выкормить лишь чекалок.
Зверей покрупнее еще не развести.
Они тогда ушли дальше снеговых вершин.
и не вернулись дуплами лис.
Остались перемешанными ночлегами спутанных нор.
Выдержанные высоты смещены.
Легче было выдерживать тяжестью
ущелий погруженных мраком.
Закончиться отошедшей равниной.
Его, который всегда в отдалении. Уже выстроен железной крышей. Он так и не узнал. Но видимо не им. Так и не подняться. Лестницей чердачной до потолка. Отсутствием слуховых окон. Через них не

пробраться.
Почти в отвесности колокольни .
Потолком пыли
просочиться
Как будто процежена кровь
Через поднятое сукно . которое придерживает окна, чтобы они не упали вовнутрь.
Глаза вмерзают в эти стены, чтобы сверлить все, что припрятано без примеси следов.
Песком запорошить, засыпаться. Быстрой пластинкой кончиться.
Ну и что. Простоять неубранной лестницей.
Поэтому и не спешить.
Неустановленным садом
стоячих вод.
Идут приготовления к сдаче. Лодки подтягиваются к берегу.
Где все еще есть.
Водой не ушедшей звоном рога.
Сказкой что-ли. Моим велением.
Побродить
потолком, пока тронется.
Проснуться
завтраком.
Посаженными столами.
Пройтись заглавием всех шедших чаш.
Бродивших ног
усталых бегом. Чего ходить. Ничем не приготовленным. Не знать, где быть. Уже идти узнанной землей. Которую можно уже и не видеть. В закрытых глазах ощущений всплывают все привязанности в их дороге и обозначился ты поздний. Куда.
Просто белой лестницей.
Обделенным стаканом мучной пыли засыпать.
В берегах подтянуты яхты.
Белыми чалмами разноцветных фелюг. Без пристаней.
Не знали карандашей в которые еще не вошли побережья.
Тем, давно ушедшим.
Но чертами,
которые остались.

уже распорядиться.

Ни одной не найденной подводной чещуей, чтобы выдать очертания.

Плавать чертой остановки.

Прозрачной водой заморозиться

удобной бухты.

Была загружена огромными камнями и затонула. Вечным причалом. Хоть бы кто подошел, стало бы легче. Короткое время посещают замоpенные рыбы. Хамсой порванной сети всегда возле стоянок.

Вода сейчас доходит до последней ступени у закрашенной стены;

лодками ушедшей слизи веревок брошенных скелетов

не успевших рассосаться. Не узнать.

Ракушками разверстых.

Побитым стеклом.

Уйти огромной роскошью блистающего вала

последней поверхности смыть.

Унестись неначавшимся расследованием.

То, что было тайной шероховатой соли ровным блицем узреть там уже свертывающихся одинаковостей.

Рассосаться белыми стенами, пребывающих полос намытого известняка. Кем. Негашенной известью Нерасхватанной. Не растворить морской водой.

Останется камнем продырявленных ям. Жилищем осьминогов.

Клеткой хлынувшей ребер.

И внутри засквозиться белыми струйками.

Ушедшим верхом.

Сколько держать в замкнутости и не дойти. Лопнуть.

Равностью стен вновь обрести заболеваниями.

Долго шедшими выздоровлениями.

Продубиться кожей всех девятых валов, которое будут и присно. И выдержать все. Да их не было. Легкостью обкатанной гальки. И поместиться. Раньше не узнанным чьей поверхностью. Чем прикрыться. Дырявой рубашкой. Не в этом дело. Можно и ею. Просто слепотою. Не знать чем.

Просто быть, дышать что сверху, когда тесно трудно.

Девятым зрением расширять.

И не быть узнанной причиной.

Каким речам внимать.

Дыханием ничьим.

Может просто лететь в себя.

Может, вбирать и не чувствовать куда.

Брать до этого быть стойбищем.

Однажды впитанного оледенения.

Где-то повезло другим крылом и озеленеть.

Смениться и перенестись.

Самому не считаться узнанным. И услышанным.

Лишь солью перемешаться. Таким же составом.

Кем от меня ушедшим. Босыми.

Всем телом брошенных пресной водой. И потом дном.

Мгновеньем погруженным. Камнем. Клеткой панцирной. Всеми сторонами давлений. Не песка . Повернуться течением. Песком не засосать. Даже щиколоток. Грудой отвергнутых пролежней.

Сниматься с места.

"Под лежачий камень и вода не течет''.

Обмытых покрывалом. И ничего здесь не поделать.

Поверхностью мраморной. Особенно со всех сторон. Низом. Если телом далеким мерзнуть и всегда холодным. Мерзлотой покрывающей.

Кругом водорослей, схем.

И всем предохранением спешить.

Здесь наростом давно светлой кожи. Которой и нет. Захоронением до выпущенных встреч. Нечем смотреться. И наблюдать выношенных мертвецов

гальки намытой в итоге.

И госпитальных ям всем напомнить, что их то и не было.

Ведь лежит просто кусок омытого камня.

И как не согревать остаться льдом.

Выношенным водой.

Взболтать желтком.

Как делают гоголь-моголь.

И сорванной водой берега и не успеть сетью.

И процедиться землей.

Вновь установленного челна закрытых созвездий.

И просьбой не сотрясенного камня.

Отнятым местом какой-то кофейни инжирового дерева. Прийти и стать.

Там уже брошенным, давно установленным.

И обращенной больной не туда.

Нутром. Надежных защит.

Спокойствием всех вошедших, что ничего не произойдет.

Дамбой стен изломанных своей неподвижностью.

Мертвой гаванью разбитых штилей.

Найденным местом и сразу выловленным стрекотаньем. Шуршащими ногами плит. Заполниться двором.

И хотя недавней бурей бежать.

Все равно не исполниться парадным окном.

Что хотеть увидеть не миновать прошедшим зрением.

Чьим-то запоздалым забором.

Проверяют фасадом.

Кому задержать .

Выстроенной шеренгой шмыгнуть. Там и дырой отошедшего забора.

Изнутри не видеть. Как ни отталкивать. Еще рано.

Просто проверить наличие распустившимися водорослями рассыпаться.

Еще влажностью несобранных плит.

Отстутствием грабель радостью.

Еще илом скользить очень долго.

Благом пасмурности. Еще моросящих дождей.

Всегда вовремя уходящего мальчика, чтобы заморосить, когда всем плохо. Худеньких ног.

Всегда оставленного обеда.

Не успевшего временем стола.

Но не потресканных зато плит.

Наперекор зною треснуть

срединным двором.

Расколоться четвертью.

И пойти множиться зеленым окном.

Одинаковостью превращений лишь нашалить.

Рассыпавшимися водорослями собраться

всем перламутром колотым, ракушек, несваренных мидий, улиток.

Все полосой ила усыпанных блесток.

Ртутью неуловимых скольжений между пальцами невыловленных ящериц.

Серебром уходящих рук.

Сползающих постоянно, чтобы обнажить ил.

Дождиком прошедшим

уходящих ног

наполнить мокрые карманы несложенным

добром

Кустам рос обретать яркость посоленной воды.

Нетронутости всех оттенков, ослепившим ярким светом. Непривычным.

Схваченным теплом ни единого расстояния равенства. Слоем преломить. Ослабеть. Не спрошены впрочем. Просто победителем. В таких положениях условия не приняты, не прибраны.

Обувью испачканного сада. Иодом раствориться. И потом долго, весь день не болеть болезнью горла.

Шел дождик насупленными бровями и все утро настораживался перекличкой. Кто-то окликнется. Так и сознавалось.

Потом снова теплом испариться

Водорослями, чтобы не просыхать

оставленного сада. Подобранными карманами еще долго не научиться. Поэтому беречь засушенными связками медленно сползающих морем.

СКЕЛЕТЫ ВСЕХ ДЕРЕВЬЕВ

Расплесканным нутром

в небо обеих дат.

И снова не дойти.

Сползающим вечером пропахнуть.

Долго войти садом и уснуть.

Сначала неуютно разойтись.

Сыро, узко, пока станут шире. Не понять. И снова ходить, блуждать ненаходкой. Где поднять.

Доходить окончанием и меняется направление забот.

Серостью иссохшего двора

даже не зеленеющей.

Может где-то и не просохнуть

вялостью соли.

Убиенным ростком. И не достичь. Быстро приняться тополям.

Сухих голых веток. Ни листком.
Дно оставленных камешек.
Рогаток выдуманных наставлений.
Засушенными водорослями запретить.
Висеть ежеминутностью оборванной нитки.
Даже не кошкой. Тайком и всеми
не щедростью.
Увитых птицами разбитого крыла
расклевать роем предохраненной болезни.
Дышать легкостью отошедшей воды так и не до чего не дознаться.
Пока вода идет можно постоять,
пострелять птиц роскошеством камней.
Взамен не выловить.
Под каждым лежать тяжестью подобранной. И легче. Занимает много меньше места. Почти сухие.
Не лезть карманами свесившихся корней, волос, игл.
Тополями сквозить, кружиться.
Далекими выступами белых надгробий. Чего?
Так и не понятых.
Камней выдержанных и неуцеленных.
Просматриваться садом, и цедиться перехваченной белой пеной сквозь скелеты всех деревьев. Видимостью незеленеющих листьев. Сад устал смотреть окрестности, перелез через забор, и чтоб его никто не увидел отсутствующим, чтобы не расшалиться, – поднялся, чтобы смотреть выше. Медленным прибытием воды. Сначала желтой пеной всплывающих водорослей и всех недоразумений.
Сгибающейся клеткой
тех мест
уже подготовленных укреплений.
Отдых кольчугой трудно уловимого уже бега.
Так одним сломанным ребром и унестись безводностью всех пустынь.
Иному следу приуроченному
всей массой спинных ребер.
Гнуться и выдержать лишь сломанным позвоночником.
Хлынуть соком деревьев
далекого расстояния.
И не причастных

перевитым корнем.
Шелестом клейкого ветра заблудиться.
Не дойти даже до земли.
Остановиться где-то внизу, всех хлынувших бухт.
Давно установленных плит,
которые растекаются мглой,
стоит им только перепачкать белые ноги мраморных богинь, коричневой настоенной водорослями водой, чтобы теперь предохранить и море от болезни горла.
Странностями появившихся вдруг набережных.
Неожиданных причалов, бросившихся наперерез цветному мячу чьей подачи. Потом вброшенной в круг
давно исчезнувшей бухты
невидимого кольца
мраморных забытых
прикосновения рук. Угаданных.
Кому первому бросить круг разыгранных берегом матчей.
Входить в деревья сада
и оседать количеством малой воды.
Уже плескаться мальчишками
белой вихрастой пены.
И все равно не доставать, пока не заполнится кружевами, которые пока не достают.
Подсвеченные бурыми зарослями дат, когда опасностью заражения
были предохранены прежде всего белые ступни.
Потом дойти серебристыми стаями рыбок и прижиться у их ног, устроить там норы и превратиться в бурых собак, живущих
под камнями вздутых
подбородков, втиснуться в одно главное
пристальное дерево
той же широкой лестницы, разросшееся в неизвестное название принявших облик длины.
Втиснуть ее стволом.
Раздобриться даже корой.
Долго смотреть одним глазом.
И видеть его все далеко внизу.
Уже ослепленным.

Так медленно подниматься, что и после не достать до того, чтобы в него прямо на одинаковом расстоянии, не спуская низом глаза.

Не провороненных лет, где нет ничьей вины.

Засекреченной корой дерева.

Съузившим воду до себя.

Где никакой опеки. Пространной длины – все насквозь.

И где раздроблена вершина
раскрепощенной поверхности пут.
Началом от корня и в итоге ничего,
разбросаться пустым небом, необъятным.

Приведенным в порядок строю. Различенной неровностью. Долго идти и никогда не достичь, что много меньше.

Отдаться распоряжением втиснутых узоров.

Их нет и намеков. Лишь крупных планом не увидеть ничего. Замеченной плиты. Хоть и замеченной. Что-то понять. Остаться деревом.

Разбросаться по себе самому всем побережьем уроненным.

Каждой песчинкой уследить.

Травму единых плесков.

Рыбами окружить пляску откуда-то волейбольного мяча и заградить выстрелами бег.

Рыбаки ограничились распорядиться порванными сетями ножей.

Чтоб ячейками вылавливали будущие водоросли.

Истлеть долгим ростом. Где не удержать даже блеск чешуи.

Разобранными величиями еще не достигнутых сроков.

Оброниться узким деревом лестниц – не все сразу.

Ходить по ногами разрушенным прибоем с тех пор.

Ногами неустающих гулов оборачиваться постоянством.

Итогом всех найденных, ненайденных или просто приснившихся встреч.

Погруженностью клетки. Каждым появлением шагом по ней. Ступни трудной каждого разбитого ребра.

Хоть и покрытыми поверхностями вод.

Бессмысленностью болей неотступлений.

Зажить отколотым.

Идти постоянным прибоем. Улечься возвышенностью песка. Он долго был.

Не забыться, пока не стать признаком.

Захотеть, подойти, а не переулком.

Мальчиком стоять на краю его же середины.

Чуть выше хребта. Кроной волн нельзя быть: не успевают просохнуть. Замерзнуть, снова исчезнуть песком и снова ожидать себя, пока греется.

Дорогой баркасов простыть, пока придут. Загрязненностью тропы. Ошибки не знают. Высоким потрясением гальки.

Запустением никем не прибыть.

Страхом песка: все может быть.

Пустыней растворить или догнать.

Таким безлюдием даже ракушек.

Идите всеми улицами. Какими только не насаждениями. Плитами.

Пробиться пеленой.

Поиском босых надежд уязвить.

Где-то зашмыгать желтыми колючками остановок.

Пустых базаров лотков.

Привстать влажной галькой.

Увидеть выходящими из калитки
складками майки зализать
следы надтреснутой пеной.

Молча идти дорогой.

Потому не больной, что легкой.

Далекими сандалиями, чтобы причинить предосторожность.

Пылью щиколоток нуждаться в этой ступне.

Занесенной пустыней поверхностей, где уже нечего делать, если не изменить.

Слоем воды, чтобы жить,
нужно провести полоску весла.
Броситься камнем по обыкновению гладким, чтобы скользить.
Щепкой оброниться
деревом.
Только бы знать, что существует течение.
Ждать этого прихода. Потому что не миловать.

Знать раскаяние забот, чтобы снова запорошить линии, что никто не был.

Им все равно первым. Даже если отсутствием единственного места.

Например, почетное лицо гостиниц всегда оставлено. Возможностью беречь привязанность, чтобы не медяшками всех рук. Молча провожать взгляд. Оставаться движением. Теперь не замертвелостью. Успеть подготовить младенчество, даже уже заданное. Все равно стоять им. Куда бы ни идти. Бессмысленностью понятия. Всего сознательного обмана, трудностью перевернутых комнат. Предметами, поставленных вверх тормашками. Только выйти садом. Неправильностью. Невозможно заснуть. И сон о нем, когда в обязательности. Вещи задремали. Что было не было. Сонное царство.

Подошедший холм поставил на себя. Ничем не минувшим. Все оценено по тому, что лучше упрятано. Учтен каждый несрок рядов.

Не сосредоточием упустить.

И сразу поменяться местами.

Кораблями уходящих горизонтов просматривать щели.

Высокой горой.

Провести запотевшим стеклом – остаться.

Сделаться просто четче.

В высыпанных стволах о щелях наведено.

Даже виденным камнем брезента или кожи.

Собраться городом нацеленных рогаток.

Всеми мальчиками грохнуться не дошедшими до середины.

Окно прикрыто рукавом старой шинели.

Не считаться ни с чем. Равных начал. Всех родившихся картин разом.

Младшее море уступлено.

Дать ему возможность разглядеть высыпанный холм в которых щелями выстрелы.

Может он и старше. В заинтригованной поверхности перевернутых наблюдений. Притвориться невидимым и ничего не знающим тебе и времени день. Не успеть разобраться.

Это так показалось горизонтом.

А холм уже все знал.

И поэтому не дострелял. Просто приличием, что он старше. И больше его оно никогда не может быть. Потому что садом так много. И пустырями еще безжизненных пространств. Не заполнить. А этот помещен в одно дерево.

Ствол схвачен по всему началу.

Сад вмещает утопленные наименования всего, что будет впредь.

И еще остаться местностью, которая заготовлена и на потом в спуске.

И лишь тогда в саду, где в равенстве единство.

Никто не выходил за калитку открытую настежь.

И только поэтому щелью холма и даже океанским кораблем равным по величине.

Может даже превосходством дыхания нерастрелянного братства.

Камешки падали, не достигая кораблей.

Булькали и уходили взрываться дном.

Чтоб не повредить щемящей спичечной коробки.

Неуверенностью первых шагов земли.

Их нужно было сохранить.

Шедшие югом поврежденных часовых.

До которых нужно было дотянуться. Прежде чем приласкать. Близостью первого холма и поэтому сохранившим их.

Щели, полные карманов, поднимались снеговой вершины и растягивали спичечные коробки в длинные тлеющие сигары оставленного стола. Подниматься выше, чтобы предупредить их выстрелом, уже дошедшим до цели. Они старше. Это было уже их долгом подниматься

снегами. Разница даже и не одного полного дня лета.

Не выведенного никаким даже растающим камнем.

И проснуться даже сычом, если ему не спать.

Содрогаться жалобным ржанием лошадей

вспугнутых саванн.

Сном без лун, потому что кому-то бодрствовать.

Томиться рыбой вспугнутого куста

– уже содроганием. Быть всем .

И каждой минутой проплывать.

Показаться вдалеке сонным туловищем,

значит плыть в этом.

Шакалами провожать кровавое побоище, и их полудремой затаиться лакомством. Где-то тревога ночи. Где бы ни шумом – шорохом перепасть, ползти боком. Тоже опасностью.

Среди обратного дня лепить невыспавшимися пальцами фигурки их детей

Вольчих логовов.

Надтрескивать лбы снежной дорогой.
Приучаться дрожать.
Подводными камешками сходятся в южной цепи ожерельев.
Совершать балет угасшего камина.
Напрасной виной матерей. Ими же вытребованной. Расплатой неудачно перехваченного серебристого горла холмов гальки.
Ровной грядой.
Разностью одну войну заигрывать.
Поэтому лечь берегом всех изломанностей.
Разными домами намыть.
Рыбачьими поселками населиться у боков. Брести сетями. Потом долго освобождаться от них.
Расплавленной смолы камней уродующей бесшумность.
Морем его ног отмываться песком пятен.
Подплыть пензой его клетки. Чарующей легкости. Присоединить его след.

Безмолвием раздвинуть края.
Кончать присутствием даже игры.
Неосторожно прислушаться
зрением.
Прикрыться другим, переменой всех настроений обращаться в предмет. Но пропадать бесследно, чтобы исчезнуть.
Уйти ожиданием, когда вздумается.
Единственным спасением
не повторить.
Но подпольем жасмина зимой
задохнуться прелюдием какой-нибудь льдинки.
Дышать сиреневой мглой, пока игра пряталась в другое внимание.
Признаком тайного входа оставаться у двери.
Разглядеться штормами, потому что
камином давно поджидать себя.
Приоткрываться зрачком. Крутыми ступенями фонарей как долго менять керосин.
Остаться ровной поверхностью. Без вмятин. Какого-либо хождения. Сквозиться стопой. Множеством хамсы. Невозможностью взять. Заглядеться в него. И продолжать идти в нем остекляневшим глазом.

Застыть штормом. Каждым шагом, волной, мелким песком не достать.
Выше ржавчины гальки
сохнуть.
Шершавостью слюды.
Чещуя сжимается, даже не скользит
проходит мимо движения
подобрать.
Кошелкой сада. Засветиться желтком
где-то разлитым достаточностью, чтобы опоздать пока не о чем
скоро высоким забором
только привстать холмом, чтобы увидеть зачем.
Долго протянуться зданиями
холодом длинных знакомств купить прогулку
такого короткого выздоровления.
Шуткой своего мага иссякнуть.
Пристальным видением проходить
во множестве
не подозрением продуманности
всегда жить этим, пока не пройти разрешением самим.
Купить на базаре овальным мячом
лучше, чем тряпичным.
Зайти веткой
и долго играть с ним на лужайке.
Достаточностью стен, чтобы не разбиться вдребезги ручьями весенних камней, чтобы залить летом, и предохранить неясностью.
Уже двором постоянно стыть. Вынести дорожкой, плитой.
Чугунной сковородкой разложить.
Стоять сторожкой.
Закрыть глаза, чтобы кануть.
Замкнутостью розовых шипов
чтоб что-то делать
необходимостью разглядывать.
Смотреться
сборищем чей-то наблюдаемой игры быть.
Кому-то понравиться неуютностью, скольжением, наступлением сумерек в нем: мимозы, алычи
чем падать.

Если рассыпчатым шелком остаться. Падать им в сковородку, мешаться хамсой.

Сладко пахнуть приправами
удивительной обособленности
и не ими вовсе.
Все это быть стороной
сейчас занятой виноградниками. Поэтому ограничиться собой
и этим мгновением все настроение чередовать.
Каким забыть дном. Чтобы остаться.
Уйти глубоко.
Ввертываться числом
постоянным настроением,
сделать восприятие.
Лишь одно. Чадом хамсы пропитаться на полгода.

Быть водорослями поэтому йод растворил себя. Смотреться в его шаги. Сном, движением, возможностью идти, где расслабиться бегом.

Все видеть, сидеть его обрывом не одного, чтобы прсутствовать лишним. Усталым надзором нечем заняться. Его дом исчез теперь в нем. В нем не жил. Пустовать. Чем-то остаться и все по другому, когда бы не был,

вешать шторы, поджидать
грудной клеткой не знать расширения
будто все так. И ни чем. В одном запахе, месте. И ничего.

Потом прикрыть виноградным листом. Кончаться долгим предметом. Какими началами распустить. Присутствием мраморных барельефов. Пройти поперек. Обречь. Чуть пройти хворостом, известью , скамейкой.Остановиться маленьким столом. Пирогом вывернутой сковородки. Сухой. Ни намеком влажности. Стаканом воды вновь потревожить усталую плиту. Задеться ведром. Для того и создать. Улечься на стол просом мытого стакана. Хрустеть медленно, чтобы успеть. Ничем не задобрить. Даже хвостом. Тонуть ногами, чтобы остаться глиной.

Забытостью колючей проволоки сверху.
Провести потом.
Каким-то теплом той гальки откуда принес.
Насыпаться возвышенностью чтобы трудно преодолеть.

Высоким потолком постоянно сползать. Делаться шире. Толстым слоем рассыпаться.

Уменьшиться причиной боли.

Играть в футбол песка. Теперь улицы. Возможностью одеваться не босиком. Постоянно втаптывать.

Условия мелкой рыбы,
берегами удлиняют сети.
Случайно находкой вначале.
Потом опасностью не согнуться даже.

Не обязательно любовью к кому-то.
Кого так или иначе звать.
Просто местью, которая всегда не оплачена, всегда в долгу.
Искрящимся зноем пересечений.
Может быть подправлено сожалением.
Всегда на ножах.
Протяжним гоосом взывать и окончиться неприятием.
Числом всех сочувствий.
Очнулся исчезновением, еще не достигшем снега.
Сохранить благодарнось и опередить
пока добежать, -расстаять
в широкой полосе песка
местом надежд
лечь клеткой наискось.
Песок проходил своим садом без
единого дерева. Вот рассыпанная черешня. Успеть подобрать.
Образовавшийся срок. И уже знать.

Полосой затяжного шторма. Ничего, чтобы мимо. Любой ямой засыпаной , чтобы вновь наигравшейся работой открыть. И ходить вновь, искать слухом, чтобы подольше

куда бы упасть.
Чтобы было куда идти унять лившуюся кровь.
Оправдание своего присутствия,
стоять не зря.

Даже придумать, чтобы пойти. Продолжаться играми встреч, которые все равно не опередить.

Предугадать и разрушиться углом схемы.

Протягиваться полосой песка, намывать шлюпкой клетки. Поднимать на высоту киля. Ровным слоем. Поднять. Наклоненными

брызгами одного края не меняться. Начало, которое не успело стать скошенным. Давить бортом. Непроизношением дойти. Просто уменьшиться. Моллюской другого дна присосаться. Быть влажным и не просыхать зеленью. Идти клеткой ничего

не достигнутой

превратиться засохшим движением: сколько ни идти – вхолостую.

Возможности нет

всей шляпкой.

Она лежала на песке, ее нельзя было узнать. Стала ржавеющим якорем. В белых ракушках, которые к ней присосались, помещена она вся. Они успели увидеть. Лодка в них была свободной, они даже не достигали ее. Как предмет, она отделена от всех. Это не помешало ей быстро обжиться, потом успеть потонуть, вновь погрузиться. Ракушек много нарастает за ночь. Она пытается выброситься на берег. Эта дорога длинных захоронений, камней, ила. Иногда она проходит. Задыхаться без воздуха, чтобы найти себе дело. Кто затонет следующим. После лодки осталась длинная сигара невыигранного стола.

Вчера еще здесь. Стол остается. Там проделано препятствие. Если не так. Эта местность усилена тишиной. Она намеренна. Чтобы не успеть намыть дно. Появлялись видимые борта. Им приходилось стряхиваться

легким сроком.

И то же оброненным.

Слишком коротким опытом отпущенным, чтобы успеть.

Лежать мертвым облепленным песком. Без груза.

Песком постоянного окрыления

посидеть у якоря

помочь соскоблить наросты

и ожидать.

Быть всеми якорями. Никогда не нужным. Если покрасить то же. Слишком большим для приливов. Перевернутыми ногами. Разбежаться волной и окунуться пеной.

Берег полощется просто для игр.

Проследиться позицией. И лишь биноклем не на кого обращать.

Всегдашней виной не пролиться изобилием.

Тостов, столов, разученных маршрутов. Достаточно первой.

Выброшенными бревнами. Потрогать сдвинутой рукой. Устать

работой. Прилечь на бревно и долго спать. И самому не знать сколько. Может и мало. Почувствовать себя сухим, выпотрошенным поправить сползающие брюки, и перейти снова, где греет не так сухо.

Успеть выспаться в начинающем шторме.

Еще не опустился за борт. Песком намывающим.

Он снял соломенную шляпу, прикрыл ею голову на всякий случай.

Ноги вытянул в жару. Пусть сохнут. Остаться с мокрой головой.

Так трудно намочиться, выспаться за ночь.

Наклоненным веслом долго нависать каплей этой середины. Так и удержаться. Прыжком очутиться на неопущенной чешуе

выскользнувшей кефали.

Быстро перебежать за борт. Броситься в пересекающую сеть.

Коснуться лишь концом одежды

края. И срыться. Посмотреть песчинкой. Никого нет. И занятие работой, от которой он почти ушел.

Кормить рыб. Или просто бесполезно превращаться в гравий, которому еще нет никуда дороги. Даже коснуться лодки. И все-таки долго ждать. Может и никогда. Дождаться истлевшим якорем. И никем не узнанным. Старым в кругу. Потолкаться, и наверно, снова перелезть за надтреснутость доски и обратно

им же забиться о следующие превращения.

Бились волнами, штормами из щелей канувших вод.

Засорить. Броситься кравосмешением. И мешаться, мешаться, пока вовсе не разобьет нижнюю стену. Тогда хлынувшим песком. И гравием измельченным. И снова не опознать. В пробитую щель виден гравий. И быть камнем преткновения. Началом лишь лодки и моря. И килем бьющейся только воды. Долгого благополучия. Лодку одной влаги разделить. И качаться. Намывая свои территории. И всему поместиться. Быть многим моложе. Началом первой щели. Ненавистью. И лодкой.

Терял принадлежность.

Повел перемытой ключем, камнями, в которых навсегда остались немытые следы. И пустым городом. Обрушена стена. Далеко.

Чтоб даже и цветом.

Одна лодка предугадывает окрестности

прячется выступами глины

разглядевшие изменения проходят неизменно.

Влезть бортом. Чем подняться. Не серой ли сигарой руины того стеклянного дыма доверчивых надежд.

Никогда не довериться честью быть погребенным.

Рейдом приложиться и отослать туда, где не вычерпаться ведрами.

Опущенные капроновые нити.

Улечься боком и разглядеть вдруг себя старым небритым рыбаком.

Лоб соломенной шляпы. Веслом в его руках. Море песка уместилось в лодку на протяжении тысячей пустующих полос времени.

Запахом выброшены гильзы
в вывороченных телах дельфинов
пока еще залежами высушенной берегом хамсы.
Лишь неполным днем образованного моря
еще не успеет разобраться.
Расселились поселки возле
ям пустующей рыбы. Долго ожидать то, что обнаруживается много спустя.

Вдоль берега плыла шлюпка. Просмотрела сеть, которая вылиняла. Обернулась еще одним поселком. Начаться наводнением.

Что здесь еще пройдет косяк долгой рыбы.

Брести попрежнему лодкой. Лодка , была сухая с одной стороны.

Как и всегда.

Рыбой, конечно, долгой и вкусной, но очень скупой на зависть.

Очень редкой, чтобы кому-то завидовать
вымершим поселком,
чтобы кого-то прокормить.

Гагры –Лабуйя (Якутия, Колыма) 1968 г.

" – Гердов – это гений, но сырой'', – сказал Валентин Катаев, классик русско-советской прозы двадцатого века…

"– Как будто это можно поджарить''... – ответил Евгений Евтушенко, классик русско-советской поэзии двадцатого века, мой вечный защитник, мой вечный адвокат.

Переделкино, 16 января 1970 года.

"Или может быть, когда речь исчезнет. И останутся эти обломки, эта архитектура о том, что подсознание всегда властвовало над человеческим ориентиром, человеческим перископом"

Константин Гердов – Почетный член Русского ПЭН-Центра Всемирной ассоциации писателей, член Союза Россиских писателей, Абхазии, Украины, Москвы.

КОНСТАНТИН ГЕРДОВ

/КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ СОЛОВЬЕВ/

ИЗ АРКТИКИ, ИЗ МАТЕРИНСКОГО ЛОНА, ИЗ МИРОТВОРНОЙ БЕЗДНЫ

Роман. Эссеистика

Формат 60/90 1/16. Физ. печ. лис. 32,25.
Тираж 500 Заказ № 33

ГПП ''Дом печати''
г. Сухум. ул.
Эшба 168

2.К.Гердов
3.К.Гердов
4.К.Гердов
5.К.Гердов
6.К.Гердов
7.К.Гердов
8.К.Гердов
9.К.Гердов
10.К.Гердов
11.К.Гердов
12.К.Гердов
13.К.Гердов
14.К.Гердов
15.К.Гердов
16.К.Гердов
17.К.Гердов
18.К.Гердов
19.К.Гердов
20.К.Гердов
21.К.Гердов
22.К.Гердов
23.К.Гердов
24.К.Гердов
25.К.Гердов
26.К.Гердов
27.К.Гердов
28.К.Гердов
29.К.Гердов
30.К.Гердов
31.К.Гердов
32.К.Гердов
33.К.Гердов
34.К.Гердов
35.К.Гердов
36.К.Гердов
37.К.Гердов
38.К.Гердов
39.К.Гердов
40.К.Гердов
41.К.Гердов
42.К.Гердов
43.К.Гердов
44.К.Гердов
45.К.Гердов
46.К.Гердов
47.К.Гердов
48.К.Гердов